

ИТАЛО КАЛЬВИНО

мастера современной прозы

ИТАЛО КАЛЬВИНО





МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»
МОСКВА 1984

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ○ ИТАЛИЯ

Редакционная коллегия:

Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

ИТАЛО КАЛЬВИНО

ТРОПА ПАУЧЬИХ ГНЕЗД

РОМАН

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ

РОМАН

РАЗДВОЕННЫЙ ВИКОНТ

РОМАН

БАРОН НА ДЕРЕВЕ

РОМАН

ОБЛАКО СМОГА

ПОВЕСТЬ

ПУТЬ В ШТАБ

РАССКАЗ

ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

ББК 84.4Ит

К17

Составление и предисловие Р. Хлодовского

Редактор И. Заславская

Кальвино И.
К17 Избранное. Пер. с итал./Составл. и Предисл.
Р. Хлодовского.—М.: Радуга, 1984.—496 с.—
(Мастера современной прозы)

Советскому читателю хорошо знакомо имя одного из классиков современной литературы Италии. В сборник вошла трилогия «Наши предки», «реалистическая фантастика» которой восходит к поэтике Ариосто, итальянского поэта эпохи Возрождения. В книгу включены также роман «Тропа паучьих гнезд» и повесть «Облако смога», проникнутые антифашистскими, демократическими идеями, остро критикующие антигуманность буржуазного общества.

4703000000—353
К—63—84
030 (01)—84

ББК 84.4 Ит
И (Итал)

Все произведения, вошедшие в настоящий сборник, опубликованы на языке оригинала до 27 мая 1973 г.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме отмеченного в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1984

ОБ ИТАЛО КАЛЬВИНО, ЕГО ПРЕДКАХ, ИСТОРИИ И О НАШИХ СОВРЕМЕННОКАХ

1

Итало Кальвино всегда неожидан. Потому что он — Мастер. А также оттого, что даже в самых экстравагантных формах его произведений отражается время.

Неожиданностью оказался уже тот роман, с которого начинается эта книга. Правда, осознано это было не сразу. В 1947 году, когда «Тропа паучьих гнезд» стремительно исчезала с книжных прилавков, художественную неординарность Кальвино по-настоящему оценил, кажется, только Чезаре Павезе. Один из основоположников новейшей итальянской прозы сразу понял, что его талантливый ученик уверенно выбрал собственную дорогу, и пронизательно указал на его далеких литературных предков. Чем неожиданнее и беспримечнее художественное новаторство, тем глубже и народнее его национальные корни.

В 1947 году Итало Кальвино был еще совсем юн. Ему едва исполнилось двадцать четыре года, и гораздо больше, чем поэтика повествовательных структур, его интересовало то, что происходило в стране, народ которой сумел освободиться от фашистской диктатуры. Соглашаясь с мнением большинства тогдашних критиков, Кальвино не склонен был отделять шумный успех своего первого крупного произведения от подлинных и даже, как потом оказалось, мнимых завоеваний послевоенного итальянского неореализма. Вспоминая о том времени, он всегда говорит «мы». В 1964 году в предисловии ко второму изданию «Тропы» Кальвино писал: «Литературный взрыв тех лет был в Италии фактом не столько эстетическим, сколько физиологическим, экзистенциальным, общественным. Все только что пережили войну, и мы, самые молодые, но успевшие побывать в партизанах, ощущали себя не раздавленными войной, не побежденными, не «потерянным поколением», а победителями, выброшенными в жизнь напряжением только что закончившейся битвы, единственными хранителями ее наследия. И в этом не было ни бездумного оптимизма, ни мало чем оправданной эйфории. Наоборот — мы отстаивали свое восприятие жизни как чего-то такого, что можно начать с самого начала, свой страстный порыв решать самые общие проблемы, свою способность преодолевать скорбь и любые трудности. Но на первый план у нас выступала нахальная радость. Многие были порождены этой атмосферой, в частности художественный склад моих первых рассказов и моего первого романа».

Первые послевоенные годы были в Италии временем больших ожиданий и великой надежды. Спротивление на какое-то время сломало нацию и, казалось бы, полностью уничтожило вековые преграды между всегда несколько замкнутой в себе итальянской интеллигенцией и борющимся народом. Границы между искусством и действительностью стали вроде бы стираться. Кинорежиссеры снимали фильмы, в которых профессиональных актеров заменяли сицилийские рыбаки («Земля дрожит» Лукино Висконти) и взаправдавшие рабочие («Похитители велосипедов» Витторио Де Сика), а писатели-неореалисты строили свои произведения на материале отрывочных, но зато доподлинных воспоминаний о лично пережитых событиях, щедро насыщая повествование диалектными выражениями, услышанными у партизанских костров, в забытых переселенцами поездах, в нескончаемых очередях за оливковым маслом или керосином. В неореалистической литературе возобладала поэтика «лирического документа». Однако общей идейно-эстетической программы неореалисты не выработали. «Неореализм,— писал Кальвино,— не был школой. Он был собранием разных голосов, по большей части периферийных, многоплановым открытием различных Италий, а также — или даже прежде всего — открытием Италий, дотоле неведомых литературе».

Открытие «различных Италий» в пределах одной, но все еще по-настоящему не объединенной страны, или, как писал известный итальянский литературовед Карло Салинари, «открытие подлинной Италии, с ее отсталостью, нищетой и абсурдными противоречиями», было открытием большой художественной важности и огромного исторического значения. Это оно превратило неореализм в самое передовое течение послевоенной итальянской культуры: стремление к предельно точному воспроизведению действительности сочеталось у неореалистов, как утверждал все тот же Салинари, «с искренней и революционной верой в возможность нашего обновления, в прогресс всего человечества». Не надо полагать, будто самым главным в неореализме было изображение военного и послевоенного быта во всех его мелких натуралистических деталях и житейских подробностях. Это лишь внешняя сторона. Писатели-неореалисты бесстрашно поэтизировали «прозу жизни» именно потому, что верили в возможность эстетического преодоления быта и выхода к стоящей за ним глубоко человеческой жизненной правде. «Серость повседневных будней,— писал Итало Кальвино,— представлялась нам чем-то давным-давно изжитым: мы жили в красочном мире истории».

Порожденное сопротивлением фашизму искусство было искусством «ангажированным» или «завербованным». Эти придуманные французскими экзистенциалистами термины прочно вошли в литературную критику, хотя считать их особо удачными вряд ли правомерно. Во всяком случае, неореалистов никто не нанимал и не вербовал. Осознав свою ответственность перед людьми, они сделали свободный выбор и сами поставили свое мастерство на службу обществу и историческому прогрессу. Большинство из них именовали себя в ту пору коммунистами. Но ясностью политических взглядов неореалисты никогда не отличались. Гуманистические идеалы переплетались у них с сугубо интеллектуалистическими иллюзиями. Автор едва ли не первого в Италии «ангажированного» романа и один из мэтров итальянского неореализма Элио Витторини издавал в 1945—1947 годах влиятельный журнал «Политехникно», в котором, полемизируя с Пальмиро Тольятти, утверждал, будто можно состоять в коммунистической партии, не будучи марксистом, и что создание молодой, социалистической Италии должно начаться не с радикальной перестройки общественно-экономических отношений, а с формирования принципиально новой национальной культуры, широко открытой для всех проявлений жизни, науки и мысли, в том числе и буржуазно-декадентских.

2

Молодой Итало Кальвино примкнул к неореализму. Спротивление наполнило новым смыслом его юношеское абстрактно-этическое неприятие насилия и фашизма. Оказавшись в рядах партизан-гарibaldiйцев, он подхватывал их смачные, не всегда благопристойные словечки и присказки, а также — что гораздо существеннее — напряженно вслушивался в «безымянный голос эпохи, более мощный, нежели все наши индивидуальные, еще очень робкие модуляции и

каденции». Лидеры итальянского неореализма стали его первыми литературными наставниками. Сразу же после войны Кальвино сблизился не только с Чезаре Павезе, но и с Элио Витторини и напечатал в «Политехнике» несколько небольших рассказов. Витторини повливал также на замысел его первого романа. Начинаящий писатель из Сан-Ремо привлялся писать «Тропу паучьих гнезд» во многом из-за того, что незадолго перед этим были написаны «Люди и нелюди». Кальвино хотелось, чтобы его товарищи по Сопротивлению в Лигурии тоже имели «свой роман», такой, каким уже обладали боевики из миланского ГАПА.

Роман, однако, получился совсем другим. В «Тропе паучьих гнезд» не только отсутствовала своего рода антириторическая риторика в духе поверхностно усвоенного Хемингуэя, но и само Сопротивление в романе Кальвино было изображено совсем не так, как оно изображалось в произведениях подавляющего большинства итальянских неореалистов, без любования (не всегда оправданного) жестокостями гражданской войны и без какой-либо ностальгической идеализации партизан. В центре романа Кальвино оказались не типичные герои Сопротивления, а отряд Ферта, основное ядро которого составили бывшие реидивисты, дезертиры, спекулянты, мешочники — словом, как сказано в тексте, «люди, существующие в складках общества и за счет его пороков».

Такой выбор героев, разумеется, не случаен. Однако он был порожден не идейной незрелостью начинающего прозаика, не его стремлением дегероизировать борьбу народа против фашизма, а достаточно хорошо продуманной эстетической позицией. Именно она позволила Кальвино занять свое, особое место среди неореалистов, но в то же время не вывела его за идеологические пределы прогрессивной литературы послевоенной Италии. Пройдет несколько лет, и Итало Кальвино с никогда не покидающим его задором скажет о своем первом романе: «Я могу определить его как образец «ангажированной литературы» в наиболее содержательном и широком значении этого слова. Сейчас, говоря об «ангажированной литературе», зачастую неправильно понимают ее как литературу, служащую для иллюстрации какого-нибудь тезиса, взятого a priori, независимо от поэтического выражения. Между тем то, что именуется «engagement», идейностью, гражданственностью, может проявляться на всех уровнях. В данном случае «ангажированности» угодно было стать образами и языком, общим художественным складом, стилем, взрывом негодования, вызовом».

Итало Кальвино всегда оставался прежде всего художником. Но отнюдь не «чистым». «Тропа паучьих гнезд» создавалась им как роман социально-полемический. Полемика велась в нем сразу на два фронта. Роман был направлен как против тех, кто, отвергая идеалы Сопротивления, пытался связать с партизанским движением рост преступности, захлестнувшей нищету послевоенную Италию, так и против «священнослужителей Сопротивления, агнографического и залакированного», во что бы то ни стало требующих от литературы примитивно понятого положительного героя.

Ключ к идейно-художественному истолкованию «Тропы паучьих гнезд» находится в самом романе. Он помещен в текст почти не связанной с сюжетом IX главы, в которой читатель знакомится с комиссаром партизанской бригады Кимом, называющим себя большевиком. Важность этого персонажа подчеркнута предпоследним роману посвящением: «Киму и другим». «Другие» — это возглавлявшие итальянское Сопротивление коммунисты, такие, как Луиджи Лонго, которых Кальвино в сюжет не ввел, но без мыслей о которых это произведение не существовало бы как художественное целое. Объясняя командиру бригады Литейщику, почему он составил отряд Ферта из, так сказать, отбросов общества, из людей, которых толкает на борьбу «исконная ярость», «унизительность их жизни, мрак их пути, грязь их дома, непристойные ругательства, которым они выучиваются, будучи еще детьми», Ким говорит, что, хотя сама по себе такая ярость слепа, она может быть использована в борьбе против порабоощающей человека системы, ибо, кроме экзистенциальной, исконной ярости, «есть история». «В истории, — говорит Литейщику Ким, — мы — там, где освобождение, фашисты — на стороне прямо противоположной... Я считаю, что наша политическая работа состоит в том, чтобы использовать даже человеческую слабость в борьбе против человеческих слабостей, ради нашего освобождения, так же как фашисты используют нищету для увековечения нищеты и человека против человека».

Ким — интеллектuala. Он мыслит несколько абстрактно, и читателю романа не так уж трудно представить, почему обыкновенный рабочий Литейщик не желает с ним соглашаться. Однако именно потому, что Кальвино прежде всего художник, он не лишает даже этого интеллектуала, умеющего и любящего раскладывать людей по классовым полочкам («сюда — пролетариат, туда — крестьянство, потом... — люмпен-пролетариат»), прекрасно простой человечности. Рационализм в Киме от молодости. Главное в нем — не абстрактно-социологические схемы, главное — то, что реальная, классовая борьба против фашизма, включив Кима в ход истории, дала ему сознание своей истинной человеческой сущности, самым высоким и наиболее естественным проявлением которой всегда оставалась любовь. Расставшись с Литейщиком, комиссар Ким размышляет: «Я... иду по лиственничному лесу, и каждый мой шаг — история; я думаю: «Я люблю тебя, Адриана», и это — история, это будет иметь серьезные последствия, я стану действовать в завтрашнем бою как человек, который сегодня ночью подумал: «Я люблю тебя, Адриана». Возможно, я не сделаю ничего значительного, но история состоит из маленьких безмянных действий, возможно, я завтра умру... но все, что я сделаю, прежде чем умереть, и сама моя смерть станут частью истории, и все мои теперешние мысли окажут влияние на мою завтрашнюю историю, на завтрашнюю историю человечества...» Ким обрел душевную ясность. «А, б, в», — скажет он. Он продолжает думать: «Я люблю тебя, Адриана». Это — история. Это — и ничего, кроме этого».

3

Однако центральный герой «Тропы паучьих гнезд» все-таки не комиссар Ким. Душевная ясность, которую дало Киму его классовое самосознание, — это конечная цель формирования личности и в определенном смысле исторический идеал. Но «ангажированному» писателю Кальвино хотелось заниматься не столько идеалами, сколько живой жизнью и ее развитием. В предисловии ко второму изданию «Тропы» он скажет: «Процесс, ведущий к обретению такого самосознания, — вот что надо изображать! Пока останется хотя бы один человек, лишенный самосознания, нашим долгом будет заниматься этим человеком, и только им».

Кальвино устранил комиссара Кима из основного фабульного течения истории именно оттого, что в пору создания романа он склонен был разделять идеи Кима. «Тропа» стала одним из лучших итальянских романов о Соппротивлении в значительной мере потому, что она больше чем просто неореалистический роман об итальянском Соппротивлении, она своего рода современный воспитательный роман. Предметом художественного анализа в книге молодого Кальвино стал путь человека к обретению человечности благодаря включению себя в ход истории. Италю Кальвино хотелось прочертить такой путь с самого начала, и он сделал главным героем брата проститутки и доносчицы, явшающегося с уголовниками мальчишку Пина, живущего на самом дне итальянского общества и отчасти уже этим обществом развращенного. Однако именно потому, что Пин — ребенок, для него еще открыт путь в историческое будущее. В процессе развития сюжета Пин, попадая в партизанский отряд и соприкасаясь с прекрасной природой, освобождается от томящего его чувства одиночества и в конце концов не только находит свой пистолет, который связал его с миром взрослых, но также обретает в партизане по прозвищу Кузен того долгожданного Настоящего Друга, которого он может ввести в свой сокровенный, таинственный мир паучьих гнезд и который в свою очередь уводит его в мир настоящих людей, таких же больших и добрых, как он сам. Роман заканчивается на чуть печальной, но оптимистической ноте.

Финал романа несколько напоминает последние кадры фильма Чаплина «Новые времена». Возможно, это не просто случайная переключка. Строя свой первый роман, молодой Кальвино опирался на эстетический опыт мировой культуры и вовсе не считал, что неореалист должен ограничиваться непосредственным восприятием окружающей его жизни, забыв о предшествующей ему литературной традиции. «Чтение и жизненный опыт, — утверждал он, — единый мир. Всякий жизненный опыт, для того чтобы быть художественно интерпретированным, требует известного чтения и опирается на него. То, что книги всегда порождаются другими книгами, — правда, лишь на первый взгляд противоречащая другой правде,

согласно которой книги порождаются практикой жизни и взаимоотношениями между людьми».

Автор «Тропы паучьих гнезд» много читал. Падение фашизма открыло его поколению большой пласт художественной литературы, бывший при Муссолини под запретом. Роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» помог Кальвино художественно осознать опыт партизанской войны в горах Лигурии и изобразить отряд Ферта. Характерные хемингуэевские «подтексты» сформировали сюжетное развитие включенной в этот сборник новеллы «Путь в штаб». Но еще больше помогали ему советские писатели, особенно Александр Фадеев с его «Разгромом» и Исаак Бабель. Впоследствии Кальвино назовет «Конармию» «одним из образцовых произведений реализма XX века, порожденных отношением интеллигента к революционному насилию», а итальянская критика отметит прямое влияние этого новеллистического романа на «Тропу паучьих гнезд».

Однако органичнее всего Кальвино был связан с национальной традицией. Итальянские прозаики, особенно неореалисты, как правило, пренебрегали фавулой, считая ее чем-то внешним и для подлинно художественного произведения вовсе не обязательным. Верстыи о фавулах тоже не очень заботились. Вместе с тем именно итальянская литература породила такого непревзойденного виртуоза сюжетосложения, каким был Лодовико Ариосто. В статье «Три направления в итальянском романе» Кальвино скажет о создателе «Неистового Орlando»: «Из наших поэтов он мне ближе всех, и я не устаю его перечитывать».

Прочитанные книги привили Кальвино вкус к фавульности и научили его превращать хорошо построенный сюжет в действенное средство анализа противостоящей литературе действительности. Нахальный оборванец Пин не просто главный герой «Тропы» — он формообразующая сила, сюжетно охватывающая собранный в романе жизненный материал. Все происходящие события, за исключением чисто идеологической IX главы, увиденны глазами мальчика, живущего в мире народных сказок и воспринимающего окружающую его суровую, неприглядную жизнь сквозь призму приключенческих романов и фильмов. Отсюда — неореалистический язык романа, диалектальные и жаргонные словечки, отсюда же — авантюристичность и тот своеобразный, несколько сказочный колорит, которым окрашены быт и нравы Длинного переулка; партизанский повар Левша, похожий одновременно и на гнома, и на пирата Сильвера из «Острова сокровищ»; поле маков, где прячется Красный Волк, убежавший из тюрьмы, напоминающей рыцарский замок; лес, по которому бродит печальный великан Кузен. В упомянутой рецензии на «Тропу паучьих гнезд» Чезаре Павезе написал о романе молодого Кальвино: «В нем чувствуется дух Ариосто». И тут же добавил: «Но Ариосто наших дней именуется Стивенсоном, Кипплингом, Диккенсом, Ньюво и охотно переряжается в мальчика».

Рецензия Павезе не только порадовала Итало Кальвино, но и помогла ему осознать себя как писателя: «Мой творческий путь начал принимать четкие очертания».

Одновременно с «Тропой паучьих гнезд» писались рассказы. В 1949 году Кальвино объединил их в сборнике «Последним прилетает ворон». После этого о «сказочности» его неореализма заговорила вся итальянская критика. «Я не возражал,— признается Кальвино.— Я великодушно понимал, что это большое достоинство — быть сказочным, рассказывая о пролетариате и о незначительных событиях повседневной жизни».

Вообще говоря, сказочность, и особенно сказочные финалы, отнюдь не противоречила поэтике неореализма. В пределах художественного произведения сказочность как бы стирала противоречия между идеалами Сопроствления и порожденными им же социальными иллюзиями. После «Похитителей велосипедов» Де Сика и Дзаваттини создали «Чудо в Милане». Их же фильм «Крыша» был замаскированной, не очень типичной неореалистической сказкой. Если в рассказах Итало Кальвино сказочность оказалась заметнее, то только потому, что она была в них много откровеннее, обнаженнее и, я бы сказал, гораздо народнее. Она органически входила в характеры персонажей и определяла строение сюжета. Впрочем, возможность конфликта между идеалами и иллюзиями была предугадана еще в «Тропе паучьих гнезд». Шагая по лиственныйному лесу, комиссар Ким думает о партизанах, с которыми он только что расстался: «...Что они будут

делать «после»? Узнают ли они в послевоенной Италии сделанное ими? Поймут ли они систему, к которой придется тогда прибегнуть для продолжения нашей борьбы, долгой и все время различной освободительной борьбы? Красный Волк поймет, я уверен. Но неизвестно, как он будет вести эту борьбу на практике, когда не будет возможности совершать внезапные налеты и дерзкие побег, — он, такой находчивый и так страстно любящий приключения. Хорошо бы, все были такими, как Красный Волк... Однако среди нас окажутся и другие, которые, вновь став индивидуалистами, сохранят и тогда темную и уже бесплодную ярость. Эти докажутся до преступности, их затянет машина никчемной ярости... они забудут, что когда-то шли рядом с историей и дышали ее воздухом».

4

В конце 40-х годов Итало Кальвино попробовал писать неореалистический роман с положительным героем, но он у него не писался. Сопrotивление отошло в прошлое. Жизнь налаживалась, но совсем не так, как того хотелось всем, кто еще недавно воевал с гитлеровцами и с собственными фашистами. Опасения Кима подтверждались. 27 августа 1950 года в номере туринской гостиницы покончил жизнь самоубийством Чезаре Павезе. Элио Витторини вышел из рядов компартии и почти совсем отошел от художественной литературы. «Мы находились в самом разгаре «холодной войны», — вспоминает Кальвино. — В воздухе чувствовалось напряжение, мучительное и глухое; оно не облекалось в зримые формы, но владело нашими душами».

Об этом еще никто не говорил, но неореализм уже вступил в полосу кризиса. В основе его лежал кризис сознания антифашистской интеллигенции, мучительно переживавшей крушение иллюзий периода Сопrotивления.

Жизнь Итало Кальвино тоже входила в определенную колею — «в колею интеллигента в сером пиджаке и белой рубашке». Оглядываясь вокруг, писатель размышлял, почему же роман о рабочих у него все-таки не получается. «Слишком легко сваливать все на внешние обстоятельства, — думал Кальвино. — Вероятно, я просто не настоящий писатель. Подобно многим, я писал на волне периода перемен, а потом вдохновение мое иссякло».

Перемены в жизни никогда не кончаются. Бывает, что человек перестает их замечать, и плохо, если этот человек — писатель. Тогда он действительно «выдыхается» или начинает переписывать собственные произведения.

Кальвино не исписался. Вдохновение его не иссякло, но вдруг пошло совсем по новому руслу. В 1951 году Итало Кальвино закончил свой второй по времени роман — «Раздвоенный виконт».

Новый роман Кальвино не имел ничего общего ни с неореализмом, ни даже, казалось бы, с современностью. В романе рассказывалась совершенно фантастическая история виконта Медардо ди Терральбы, или, вернее, его враждующих между собой половин. Книга вызвала самые разноречивые отзывы критиков. Некоторые заподозрили роман в «реакционности». Зато он привел в восторг такого эстета, как Эмилио Чекки. Тот увидел в романе Кальвино «истинную, самую настоящую сказку о стародавних временах, наполненную ворожкой, барочными чудесами и причудливыми гротесками — совсем как на полотнах Иеронима Босха».

Критики менее изощренные искали у Кальвино «мораль» и подходили к роману «Раздвоенный виконт» не столько как к сказке, сколько как к притче. Они обнаруживали в нем главным образом аллегории. По их мнению, Кальвино поставил в своем «Виконте» извечную проблему борьбы добра и зла.

Итало Кальвино решительно воспротивился такой пресно-моралистической интерпретации. Он заявил, что проблема добра и зла никакого интереса для него не представляла — интересовала его «проблема раздвоения».

Роман «Раздвоенный виконт» — это прежде всего роман о современном человеке. «Современный человек, — объясняет Кальвино, — является человеком раздвоенным, изувеченным, уцербным, враждебным самому себе; Маркс назвал его «отчужденным», Фрейд — «подавленным»; древнее состояние гармонии утрачено, к новой цельности мы только стремимся. Именно в этом заключалось то идейно-нравственное ядро, которое я сознательно старался вложить в свой роман».

Вряд ли надо говорить, что писатель имеет в виду человека современного

капиталистического общества. В романе «Виконт» Кальвино одним из первых в Италии коснулся ставшей потом модной проблемы «отчуждения».

Классовая природа «отчуждения» проанализирована К. Марксом в «Немецкой идеологии». Маркс говорит, что стихийно возникающая совместная деятельность отдельных индивидов в развитом капиталистическом обществе «...представляется данным индивидам не как их собственная объединенная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают...»¹. Именно поэтому многие современные писатели Запада и Америки не только сами оказались в плену у «отчуждения», но и создали своего рода миф об «отчуждении». Согласно этому мифу, «отчуждение», иными словами, чувство глубокой растерянности, сознание собственного бессилия, неумение обрести реальные связи с другими людьми и т. д., является якобы закономерным порождением технического прогресса в век атома и кибернетики.

Для фантаста и сказочника Кальвино этот типично буржуазный миф отнюдь не характерен. Уже в романе «Раздвоенный виконт» он отказался признать «отчуждение» фатальной неизбежностью и чуть ли не естественным состоянием современного человека, как это делали не только модернисты, но даже такой большой писатель-реалист, как Альберто Моравиа. В этом Кальвино помог идеологический опыт периода Сопротивления.

Проблему «отчуждения» поставило перед Кальвино Время. Это оно связало роман «Раздвоенный виконт» с современностью, и не вопреки, а в значительной мере благодаря его, казалось бы, экстравагантной форме. Произведение Кальвино — не сказка и не притча, а философская повесть. В ее фантастических образах и ситуациях Кальвино удалось выразить не только «не облекавшееся в зримые формы» — а поэтому и непередаваемое методами неorealизма — «мучительное напряжение» особенно острого периода «холодной войны», но и не всегда еще в то время идеологически осознанные стремления передовой итальянской интеллигенции выйти из этого кризисного периода.

5

Создание «Виконта» вовсе не означало, что Кальвино окончательно порвал с неorealизмом и ушел в мир фантастического. Он по-прежнему писал неorealистические и просто хорошие реалистические рассказы. С большинством из них советский читатель знаком по книге «Кот и полицейский»². В 1954 году вышел сборник «Вступление в войну». За ним последовали «Трудные идилии», повести «Строительная афера», «Облако смога», «Аргентинский муравей».

В рассказах из сборника «Вступление в войну» сказочность отсутствовала. Но именно в 1954 году Итало Кальвино с головой погрузился в волшебный мир народных сказок. За два года упорной работы Кальвино отобрал и перевел на итальянский литературный язык двести народных сказок — ровно столько же, сколько содержалось в книге, изданной братьями Гримм.

Эти два года оказались очень важными в формировании Кальвино-романиста. Неверно думать, что Итало Кальвино «бежал» в мир сказок от современной ему действительности и от тех сложных проблем, которые ставила изменившаяся жизнь перед прогрессивной итальянской литературой. В трудные 50-е годы он, как прежде, оставался верен своему долгу писателя-антифашиста и демократа. Логика народных сказок — это, по мнению Кальвино, логика народа, логика самых простых и в то же время самых естественных отношений между человеком и человеком, между человеком и природой, между человеком и обществом.

«Итальянские сказки» вышли в свет в 1956 году. 10 декабря того же года был начат роман «Барон на дереве». Роман писался быстро — на одном дыхании. 26 февраля 1957 года Кальвино его уже закончил.

Созданный между 1956 и 1957 годами роман Кальвино рассказывал о событиях, происшедших в Италии на переломе XVIII и XIX столетий. Однако «Барон на дереве» в еще большей мере, чем «Виконт», роман о современности.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2 изд., т. 3, с. 33.

² Русский перевод: М., «Молодая гвардия», 1974.

В последней главе «Барона» брат Козимо Бьяджо, от лица которого ведется повествование, грустно замечает: «Я не знаю, что нам принесет этот девятнадцатый век, который начался плохо, а продолжается еще хуже. Над Европой нависла тень Реставрации; все реформаторы, будь то якобинцы или бонапартисты, разбиты: абсолютизм и иезуиты вновь торжествуют победу; идеалы юности, светлые огни и надежды нашего восемнадцатого века — все превратилось в пепел».

Можно ли проводить параллель между Бьяджо и Кальвино?

Кризис сознания, захлестнувший итальянскую интеллигенцию с начала 50-х годов, усугубили трагические события конца 1956 года: контрреволюционный мятеж в Венгрии, потом Суэцкий кризис. В это время немало итальянских писателей восприняло утрату иллюзий, порожденных Противлением, как крушение всех демократических и социалистических идеалов. Некоторые итальянские писатели оказались тогда в идейном тупике, из которого так и не нашли выхода.

Итало Кальвино к их числу не принадлежал. Но кризис затронул и его, оставил в душе до сих пор не изгладившиеся рубцы. Именно к этим годам восходят, по-видимому, истоки скептицизма Кальвино, а также той печальной иронии, которой проникнуты и его «Трудные идиллии», и его повесть «День счетчика голосов», и его роман «Барон на дереве». Это остроумная, озорная, веселая, но также и очень грустная книга. Особенно в конце. Там, между прочим, сказано: «...у нас были налицо все причины, вызвавшие Французскую революцию. Но вот только жили мы не во Франции, и революции у нас не было. Ведь мы живем в стране, где есть причины, но не бывает следствий».

В романе «Барон на дереве» ирония Кальвино направлена против помпезно-театрального чванства ставшего деспотом Наполеона, против сентиментального руссоизма лейтенанта Агриппы Палийона, «поэта и волонтера республиканской армии», и против просветительских иллюзий главного героя, простодушно мечтающего о «Всемирной республике свободных, равноправных и справедливых граждан». Источником грустной иронии романа становится и то, что о жизни, приключениях, мыслях и проектах мечтателя и энтузиаста Козимо ди Рондо рассказывает его брат Бьяджо, человек вполне обычный, такой же, как все.

Однако было бы совершенно неправильно видеть в романе Кальвино прежде всего скептицизм и главным образом иронию. Несомненно, роман написан в период сомнений и горьких разочарований. Но в «Бароне» отразился не один лишь идейный кризис итальянской интеллигенции, в нем отразилось также настоящее стремление Кальвино разобраться в этом кризисе, исторически осмыслить его, докопаться до его корней. «Хаосу действительности» Кальвино сумел противопоставить, с одной стороны, логику и оптимизм народной сказки, а с другой — разум и рационализм комиссара Кима. И это спасло его от пессимизма.

Кальвино и Бьяджо не тождественны. Позиции их в оценке исторической перспективы прямо противоположны. Имея в виду время создания романа «Барон на дереве», Итало Кальвино писал: «Это была эпоха переосмысления той роли, которую мы можем играть в историческом развитии, когда надежды и разочарования сменяют друг друга. Несмотря ни на что, мы шли к лучшим временам; надо было только найти правильную связь между индивидуальным сознанием и ходом истории».

Необходимость найти эту связь дала содержание роману «Барон на дереве». Она же породила его форму.

Форма романа или, вернее, форма неореалистического романа в то время стала казаться Кальвино устаревшей или, во всяком случае, не соответствующей новой идейной нагрузке. Она, по мнению Кальвино, непригодна для вскрытия подспудных процессов, происходящих в современном капиталистическом обществе. Писатель полагает, что на смену роману, отражающему действительность, должен прийти роман, действительность анализирующий. Во имя обожания логики жизни и истории Кальвино готов пожертвовать жизнеподобием образов и ситуаций и допустить некоторую рационалистическую деформацию действительности. Но это у него отнюдь не от модернизма. Кальвино опирается здесь на прочную литературную традицию — на традицию Ариосто и Рабле, Свифта, Вольтера, Дидро, а также Франса и Стивенсона. Наиболее плодотворной Кальвино кажется традиция Просвещения.

В «Бароне на дереве» нетрудно обнаружить характерные признаки и эссе, и

утопии, и, конечно же, философско-сатирической повести XVIII века. В то же время «Барон на дереве» очень типичный западноевропейский роман середины XX столетия. Пожалуй, никогда еще в истории литературы формы романа не были столь многообразны, как во второй половине нашего века.

6

Создавая «Барона», Итало Кальвино опять обратился к той же повествовательной форме, которую он использовал в романе «Раздвоенный виконт». Но связывают эти романы не только поиски в области формы. Их объединяет прежде всего общность проблематики. Проблема «отчуждения» получила в «Бароне на дереве» дальнейшее — более глубокое и, на мой взгляд, более реалистическое — разрешение.

Необходимость целостности человеческой личности в романе «Раздвоенный виконт» была лишь провозглашена как этический и эстетический идеал, но художественно этот идеал воплощен не был. Целостного Медардо ди Терралбу читатель не видел и представить себе не мог. Роман нуждался в продолжении.

«Роман «Раздвоенный виконт», — говорит Кальвино, — самим своим внутренним движением подвел меня к тому, что всегда было и остается главной темой моих произведений: человек добровольно принимает трудные правила и следует им до конца, ибо иначе он не был бы самим собой ни для себя, ни для других».

Но это уже тема не «Виконта», а «Барона».

Правило, которому неукоснительно следует барон Козимо ди Рондо, состоит в том, что он не имеет права касаться земли. Поэтому он проводит всю жизнь на деревьях.

Правило это подчеркнуто неправдоподобно. Оно создает парадоксальную ситуацию-конфликт, приводящую в движение сюжет романа. Для романов XVIII века такой прием обычен. Дальше сюжет развивается в границах как бы реально возможного. Фабула «Барона на дереве», по сути дела, не менее правдоподобна, чем фабула «Робинзона Крузо».

Но от целиком фантастического романа «Раздвоенный виконт» роман «Барон на дереве» отличается не только это. В своем новом романе Итало Кальвино отказался и от предельно абстрактного, подчиненного расчитанной схеме строения сюжета, и от превращения центрального персонажа в бесплотную иллюстрацию идеи. Дата в начале романа указана не случайно. В «Бароне на дереве» Кальвино не только вводит действие в конкретно-историческое время, но и придает видимость реально-исторических очертаний основным характерам и обстоятельствам. Исторический фон — Вольтер и «Энциклопедия» Дидро, Просвещение и Великая французская революция, наполеоновские войны и Реставрация — не только формирует идейную структуру романа, придавая ей конкретность, но и определенным образом освещает его персонажи. В старом бароне Арминьо Пьеваско ди Рондо, в его супруге, «генеральше» Конрадине, в их дочери Баттисте, в кавалере Энеа-Сильвио Карреге, в робком аббате Фохлафлере и даже в комическом разбойнике Джане Лесном нетрудно уловить знакомые черты тех самых чудачков XVIII века, которых мы все великолетно помним по романам Филдинга, Смоллетта, Стерна, Теккеря, Ньёво и Стивенсона. Все они гротескны. Это не живые люди, но живых людей они очень напоминают...

Козимо ди Рондо тоже чудак. С его культом Разума и Природы он довольно типичный «естественный человек» XVIII столетия. В то же время как художественный образ он принципиально и даже программно отличен от остальных персонажей романа. Он, пожалуй, еще меньше похож на них, чем Гулливер на лилипутов. Различие здесь не количественное, а качественное. Козимо ди Рондо воспринимается не как воплощение определенной идеи и не как литературный герой, а как живой человек, во всяком случае в первой части романа. Он светит собственным, а не отраженным светом. Он самый реалистический образ в романе, потому что авторское отношение к нему принципиально иное, чем к остальным героям. «С этим персонажем, — говорит Кальвино, — случилось нечто для меня необычное: я принял его всерьез, я поверил в него и отождествил себя с ним».

Итало Кальвино отнесся к Козимо ди Рондо точно так же, как он относился

когда-то к героям своих неореалистических рассказов. Именно поэтому главным героем «Барона на дереве» «приобрел черты характера с четко выраженными историческими признаками». Это позволяет Козимо ди Рондо не просто органично «вписаться» в исторический фон романа, но установить с окружающей его исторической действительностью такие гармонические отношения, которые являются условием и предпосылкой его собственной внутренней гармонии и цельности. Просветительские идеалы, которым Козимо следует, позволяют ему «одновременно быть другом своему ближнему, природе и себе самому».

Козимо ди Рондо не просто отличен от остальных героев романа, он противопоставлен им. По замыслу автора, он противопоставит им как нравственный и гуманистический идеал.

Протест Козимо ди Рондо по форме абсурден. Но такая парадоксальная форма избрана Кальвино, по-видимому, вполне сознательно: ею еще больше подчеркивается абсурдность тех форм жизни, против которых протестует герой.

Формы эти воплощают в романе и отец Козимо, о котором сказано, что он «всю жизнь руководствовался устаревшими представлениями, как это часто бывает в переходную пору»; и мать Козимо, урожденная фон Куртевиц, живущая воспоминаниями о войне за австрийское наследство и воображающая себя немецким генералом на поле боя; и его сестра, которая до конца жизни не изменила жестоком привычкам юности; и его дядя, о котором поговаривали, что он принял магометанство, и который составил сотни великолепных проектов оросительных каналов, но не сумел осуществить ни одного из них. Даже капризная и сумасбродная Виола противопоставит Козимо. В чем-то она внутренне богаче его. Но она живет только для себя. Поэтому ее жажда жизни оборачивается капризами и сумасбродством. В противовес «просветительской определенности» своего возлюбленного она воплощает в себе, по мысли автора, «присущую барокко, а затем и романтизму устремленность в ничто».

Во всех второстепенных персонажах романа «Барон на дереве» есть что-то от XVIII века, но все они живут вразрез со своим временем и находятся вне истории. Поэтому все они одиноки и замкнуты в своей маниакальности. Они живут вместе, но всегда остаются друг для друга чужими и загадочно-непроницаемыми. В этом они напоминают уже не столько чудачков Филдинга и Стерна, у которых чудачество было формой проявления их неповторимой индивидуальности и человечности, сколько «отчужденных» героев современных зарубежных романов и фильмов. Чудачества героев Кальвино лишь симулируют утраченную ими индивидуальность. Это уже не люди, а манекены. Именно поэтому смерть кавалера Карреги лишена в романе не только трагичности, но даже драматизма. Его отрубленная голова, которую пес Козимо вытаскивает на берег, кажется картонной.

Козимо идейно взаимодействует с другими героями романа прежде всего как с «отчужденными людьми» литературы середины XX века. Конечно, он и другие литературные персонажи романа «живут» в XVIII веке. Однако было бы ошибкой думать, что Козимо Пьеваско ди Рондо восстает в прямом смысле против абсолютизма и всех его проявлений в общественной, политической и частной жизни. «Барон на дереве» — роман не исторический, а философский. Протестуя против насилия над природой и человеком, главный герой романа Кальвино восстает не столько против абсурдных форм жизни, свойственных XVIII столетию, сколько против абсурдности «отчуждения». Он пытается внутренне преодолеть «отчуждение». Это одна из причин, почему он забирается на дерево.

Тем не менее Козимо — не Робинзон. И меньше всего он Робинзон XX века. Рассказывая о замысле романа «Барон на дереве», Кальвино писал: «Должен ли я был превратить его в историю о бегстве от человеческих взаимоотношений, от общества, от политики и т. д.? Нет, это было бы слишком просто и тривиально: игра начала интересовать меня лишь тогда, когда героя, который, в отличие от всех прочих, отказывается ходить по земле, я сделал не мизантропом, а человеком, заботящимся о благе ближнего, находящимся в курсе идей своего времени, желающим активно участвовать во всех сторонах жизни...»

Козимо — положительный герой. Кальвино связывает с ним свои гуманистические представления о целом человеке. Он единственный персонаж, который пытается принять участие в ходе истории (причем на стороне прогрессивных сил) и

который, вероятно, поэтому на протяжении почти всего романа не чувствует себя одиноким. Он не противопоставляет себя миру, и мир не кажется ему чужим, непознаваемым и неизменяемым. Именно это создает предпосылку для его деятельности, изменяющей природу и способствующей поступательному движению истории, для деятельности, которая и составляет главное содержание романа.

Однако не трудно заметить, что при всем этом образ Козимо очень противоречив. Я сказал бы даже, что образу, с которым Итало Кальвино связывает свои гуманистические идеалы и представления о человеческой целиности, свойственны трагические противоречия. Они проявляются во всем, начиная с абсурдной формы конфликта между Козимо и миром «отчужденности», и входят в композицию романа.

7

В двадцатой главе романа Бьяджо Пьяваско рассказывает о своей беседе с Вольтером. Естественно, что говорили они о Козимо. Старый философ спросил: «— Mais c'est pour approcher du ciel, que votre frère reste là-haut? ¹» — Брат утверждает,— ответил я,— что тому, кто хочет лучше рассмотреть землю, надо держаться от нее на известном расстоянии.

Вольтер весьма оценил мой ответ».

Как уже говорилось, Козимо отнюдь не созерцатель. Читатель легко убедится в этом, прочитав роман. Тем не менее о должной дистанции сказано здесь очень серьезно.

Козимо — человек общественный, или, как говорил Аристотель, политический: во время борьбы с лесными пожарами «он открыл в себе способность слитить людей и возглавить их». Он понял, что «содружество делает человека сильнее, являет всем лучшие качества каждого». Для этого создались тогда благоприятные условия. Во время борьбы с пожарами «у всех было общее дело и каждый ставил его выше своих собственных интересов».

Потом лесные пожары были побеждены. Вслед за этим в сознании Козимо происходит перелом. «Позже Козимо понял, что, когда общая задача разрешена, содружество уже не столь хороши, как прежде, и лучше вернуться к жизни в одиночестве, чем оставаться их руководителем».

Борьба с пожарами — почти аллегория. Речь идет о глубоких внутренних противоречиях. По мнению Кальвино, герой не может утвердить себя как личность, не обособляя себя от других людей. Но он обязан утвердить себя как личность именно для того, чтобы дать людям как можно больше. Вот почему и у Козимо «приверженность к жизни в содружестве с людьми» сочетается «с постоянным стремлением уйти от общества». Такая позиция представляется Кальвино неизбежной и вечной, и определяет ее не просто неприятие героем «существовавших тогда форм человеческого общежития». Не осуществленный Козимо «Проект Конституции Республиканской общины» предполагал эпилог. В эпилоге должно было говориться вот что: автор, основав на вершинах деревьев совершенное государство и убедив все человечество обосноваться в нем и жить счастливо, спускается вниз, чтобы поселиться на опустевшей земле.

«Известное расстояние» между Козимо и остальным человечеством, таким образом, сохраняется. Оно даже не сокращается, хотя человечество становится совершенным. Позиция барона на дереве программа. По мнению автора романа, это позиция, которую занимает сейчас значительная часть современной интеллигенции или которую, как ему кажется, она должна занять.

Нет нужды спорить с Кальвино и доказывать, что его мысль о необходимости одиночества для подлинного поэта, ученого и революционера по меньшей мере парадоксальна. Отметим другое: противоречия барона Козимо ди Рондо — это противоречия самого Кальвино и его романа.

Противоречивость идеала проникает в образ и раскалывает его изнутри. Неукоснительно следуя добровольно взятому на себя обязательству-правилу, Козимо сам творит себя и сам создает свою внутреннюю гармоничность и

¹ Ваш брат живет наверху, чтобы быть ближе к небу? (франц.)

цельность. Ему удается «стать самим собой для себя и для других». Он преодолевает «отчуждение», отчуждаясь от мира «отчужденного человека». Но именно поэтому его победа над «отчуждением» оказывается мнимой.

Можно ли сказать, что Козимо — человек цельный?

Правило, от которого не отступает Козимо, лишь одно из условий человеческой цельности, и притом формальное. Другим, и уже существенным, ее условием является решение той основной проблемы, которую ставил перед собой Кальвино, принимаясь за роман «Барон на дереве»: «Найти правильное соотношение между индивидуальным сознанием и ходом истории». Но можно ли сказать, что Козимо удалось его найти?

По-моему, нет.

Та гармония, которая устанавливается между Козимо, другими людьми и природой, на поверку очень непрочна и иллюзорна. Именно тогда, когда Козимо ди Рондо приходится соотносить себя со стремительным развитием истории на рубеже XVIII и XIX веков, он начинает терять свою человеческую реальность и историческую конкретность. Чем реальнее и драматичнее становится та историческая действительность, с которой соприкасается главный герой романа Кальвино, тем причудливее и фантастичнее делается его облик. Если в первой половине романа его еще можно представить собеседником Дидро или гостем барона Гольбаха, то во времена Великой французской революции и наполеоновских войн похождения барона Козимо ди Рондо начинают сильно напоминать приключения барона Мюнхгаузена. В конце романа странности Козимо принимают форму маниакальных чудачеств его отца и дяди. Так же, как они, он кончает полным и страшным одиночеством.

Впрочем, все это не значит, что Кальвино не понимает того, что стало ясно еще Шекспиру, создателю «Бури». Просто противоречия гуманистической культуры, основы которой были заложены в эпоху Возрождения, до сих пор остаются противоречиями. Их нельзя преодолеть изнутри. Они исчезают лишь тогда, когда старый гуманизм сменяется новым — социалистическим.

Кальвино остается в пределах гуманизма старого, так сказать — классического. Но в «Бароне на дереве» — и в этом эстетическая сила романа — иллюзии классического гуманизма художественно осознаны как иллюзии. Не только конец — весь роман Кальвино пронизан ощущением зыбкости и сказочной нереальности гуманистического идеала, воплощенного в Козимо ди Рондо...

Тем не менее ничего, кроме этого идеала, Итало Кальвино предложить современному человечеству, по-видимому, не может. Роман заканчивается патетическим апофеозом героя. Козимо возносится на небо и превращается в своего рода гуманистический миф.

8

Признавая, что «Барон на дереве» не разрешил поставленной в нем проблемы, Итало Кальвино писал: «Совершенно ясно, что сегодня мы живем уже не в мире чудиков, а среди людей, лишенных самой элементарной индивидуальности, до такой степени их личность сводится к абстрактной сумме заранее установленных норм поведения. Проблему теперь составляет не потеря части себя самого, а полная утрата всего себя — несуществование».

Проблема эта легла в основу написанного в 1959 году философского романа «Несуществующий рыцарь». (Трилогию «Наши предки» Кальвино открывает именно «Несуществующим рыцарем».) Однако и здесь проблемы «Барона на дереве» не нашли своего решения. И это неудивительно. «Отчуждение» — проблема не этическая, не эстетическая, а историческая. Решение ее — в революции, которую совершает то самое «большинство человечества», которое «отчуждение», по словам К. Маркса, «превратило... в совершенно «лишенных собственности» людей, противостоящих в то же время существующему миру богатства и образования...»¹.

Нельзя, конечно, соглашаться с теми взглядами, которых придерживается Кальвино, но упрекать его за пессимизм, думаю, все-таки не стоит. Он художник,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2 изд., т. 3, с. 33.

а не моралист. Возможно даже, он неважный философ. Сила его не в этом. Она — в гуманистической вере в цельную, не ущербную человеческую личность.

Мир, в котором живет Кальвино, ему не нравится. Он не хочет принимать его таким, каков он есть. Поэтому, подобно герою повести «Облако смога» (1958), Итало Кальвино постоянно преследует желание «найти новое толкование мира, которое придало бы какой-то смысл нашему серому существованию, отстояло бы утраченную красоту, спасло бы ее».

Это желание сделало Кальвино художником. Интересным и большим.

В последние годы Итало Кальвино много экспериментировал с литературными формами. В значительной мере экспериментален и его недавний роман «Если однажды зимней ночью путник...» (1978). Но касаться его я не стану: о нем уже превосходно написала Цецилия Кин¹. Роман опять доказал, что от Кальвино надо ждать многого. Потому что Итало Кальвино всегда неожиданен.

Р. Хлодовский

¹ «Литературная газета», 14 января 1981.

ТРОПА ПАУЧЬИХ ГНЕЗД



Il sentiero dei nidi di ragno

Перевод Р. Хлодовского



Киму и всем остальным

I

Чтобы попасть в переулок, солнечным лучам приходится падать отвесно, скользя по холодным стенам, раздвинутым грузными аркадами, сквозь которые виднеется узкая полоска густо-синего неба.

И они, солнечные лучи, падают отвесно мимо беспорядочно разбросанных окон домов, мимо веточек базилика и майорана, лезущих из выставленных на подоконники горшков, мимо развешанного на веревках белья и разбиваются о поднимающуюся ступеньками булыжную мостовую с желобом посередине для стока лошачьей мочи.

Едва лишь раздается крик Пина, крик, которым он затягивает песню, стоя с нахальным видом на пороге мастерской, или же крик, испускаемый им еще до того, как карающая длань сапожни-

ка Пьетромагро хватает его за загривок, и тут же из окон, точно эхо, несутся выкрики и проклятья.

— Пин! Такая рань, а от тебя уже нет никому покоя!

— Спой-ка еще что-нибудь, Пин!

— Пин, паршивец, тебя что — режут, что ли?

— Обезьянья рожа! Чтоб тебе подавиться! Тебе и твоему урокраду-хозяину! Тебе и чертовой подстилке, твоей сестре!

Но Пин уже стоит посреди переулка. Заложив руки в карманы слишком широкой для него куртки, он без тени улыбки оглядывает их всех одного за другим.

— Ты, Челестино, лучше бы уж помалкивал, в твоём-то шикарном костюмчике. Как там, пока не докопались, кто это слямзил отрезы в Моли Нуови? Ну да ладно, нам-то какое дело. Привет, Каролина, на этот раз ты ловко выкрутилась. Хорошо, что твой муженек не догадался заглянуть под кровать. И ты тут, Паска? Мне рассказывали про твою деревню. Говорят, Гарибальди как-то прислал вам мыла, а твои односельчане взяли его да и слопали. Мылоед ты, Паска, разрази меня гром! А знаешь ли ты, почему нынче мыло?

У Пина ломающийся голос подростка. Каждую реплику он начинает тихо, серьезно, но потом вдруг раздражается смехом, и его «хи-и-и...» звучит пронзительно, как свисток, а вокруг глаз, словно пчелиный рой, собираются темно-рыжие веснушки.

Пин всегда найдет над чем позубоскалить: ему известно обо всем, что происходит в переулке, и никогда нельзя угадать заранее, кто сейчас попадетя ему на язык. С утра до ночи он околачивается под окнами, то громко поет, то просто горланит. А в мастерской Пьетромагро под грудой дырявых сапог вот-вот рухнет стол и сапоги посыплются прямо на улицу.

— Пин! Обезьяна ты этакая! Харя неумытая! — кричит на него какая-то женщина. — Вместо того чтобы целыми днями болтаться по улице и всем надоедать, сделал бы лучше набойки на мои туфли. Скоро месяц, как они валяются в этой куче. Уж мне-то будет что порассказать твоему хозяину, когда его выпустят на волю!

Пьетромагро по полгода проводит в тюрьме, потому что ридился он неудачником. Как только где-нибудь неподалеку случается кража, его непременно упрятывают за решетку. Возвращаясь из тюрьмы, он обнаруживает гору драных сапог и открытую настезь мастерскую, в которой нет ни души. Тогда он садится у стола, берет из кучи ботинок, вертит его, разглядывает со всех сторон и швыряет обратно; затем сжимает в костлявых ладонях небритое лицо и раздражается проклятьями. Пин является, насвистывая, ни о чем не подозревая, и внезапно видит перед собой Пьетромагро, с уже занесенными кулаками, с желтыми кругами у глаз на темном лице, заросшем длинной жесткой, как собачья шерсть, щетиной. Пин вопит, но Пьетромагро уже крепко вцепился ему в загривок и не отпускает. Устав бить Пина, он

оставляет его в мастерской и засаживается в трактор. В этот день никто его больше не видит.

По вечерам раз в два дня к сестре Пина заходит немецкий матрос. Пин каждый раз поджидает его в переулке, чтобы выклянчить сигарету. Первое время матрос бывал щедр: он давал Пину три, а то и четыре сигареты. Подшучивать над матросом легче легкого, потому что тот ничего не понимает, только пучит глаза, и лицо у него при этом как простокваша—рыхлое и гладкое, выбритое до самых висков. Когда он поворачивается спиной, Пин корчит ему вслед рожи, зная, что матрос не обернется. Сзади вид у матроса забавный: две черные ленточки с бескозырки свисают до самой задницы, выпирающей из-под короткой куртки. Задница у него толстая, как у женщины, и на ней болтается громадный немецкий пистолет.

— Сводник... Сводник,—честят Пина из окон, но вполголоса, потому что с такими субъектами шутки плохи.

— Рогоносцы... Рогоносцы...—отвечает Пин, передразнивая своих обидчиков и давясь табачным дымом, слишком резким и едким для его детского горла. И чего это ради приходится им давиться до слез и отчаянного кашля! С сигаретой в зубах Пин заходит в трактор и говорит:

— Разрази меня гром! Тому, кто поднесет мне стаканчик, я расскажу такое, что он век будет мне благодарен.

В тракторе всегда одни и те же люди. Вот уже многие годы они просиживают здесь целыми днями, упершись локтями в стол, подперев подбородки кулаками и разглядывая мух на клеенке или уставившись в лиловую тень на дне стакана.

— Ты это о чем?—спрашивает Мишель Француз.—Твоя сестра снизила тариф?

Все смеются и стучат ладонями по цинковой стойке.

— Ну как, Пин, на это у тебя тоже готов ответ?

Пин смотрит на них снизу вверх сквозь густую копну жестких волос, закрывающих ему весь лоб.

— Разрази меня гром! Так я и знал. Посмотрите, он только о моей сестре и думает. Поверьте мне, он никогда не перестает о ней думать. Он прямо влюблен в нее. Влюбился в мою сестру, ну и отчаянный ты парень!

Все громко хохочут, дают ему подзатыльники и наливают стакан. Вино Пину не нравится. Оно дерет горло, и по коже бегут мурашки. После вина безумно хочется смеяться, кричать и безобразничать. Но Пин пьет. Он выпивает залпом стакан вина, так же как затягивается сигаретой, так же как по ночам с отвращением подглядывает за сестрой, валяющейся на постели с голыми мужчинами. В такие минуты ему кажется, будто его кто-то грубо ласкает, царапая кожу, и во рту у него появляется противный терпкий привкус, как от всего, чем занимаются мужчины: от табака, вина, женщин.

— Спой, Пин,—говорят ему.

Пин поет хорошо—серьезно, с чувством, поет ломающимся детским голосом. Он поет «Четыре времени года».

Увижу волю наяву
и ту, по ком я сохну,
хоть ночку с милой поживу—
и на свободе сдохну!

Мужчины слушают молча, опустив глаза, как в церкви во время молитвы. Все они побывали в тюрьме. Кто не сидел в тюрьме, тот не мужчина. Старая тюремная песня наполнена тем щемящим чувством, которое разливается по телу поздно вечером в камере, когда надзиратели запирают на засов решетки, когда мало-помалу затихают ругань и ссоры и слышен только голос, поющий вот эту самую песню, которую поет теперь Пин, и никто не кричит ему, чтобы он заткнулся.

Лежу—рука под головой,
луна—через решетку.
Лежу и слышу—часовой
дерет на вышке глотку¹.

По-настоящему в тюрьме Пин никогда не сидел. В тот раз, что его собирались отправить к «подонкам», он дал деру. Время от времени он попадает в лапы местной полиции за набеги на овощные лотки, но тогда он так верещит и плачет, что полицейские, не выдержав, отпускают его. Однако в камере предварительного заключения Пин побывал и знает, что это такое. Поэтому поет он хорошо, с чувством.

Пин помнит все старинные песни, которым его обучили завсегдагаи трактира. В них рассказывается о кровавых убийствах. Он знает песню «Вернись, Казерио...» и ту, о Пеппино, прикончившем лейтенанта. Все загрузили, устали в лиловое дно стаканов, разомлели, но Пин вдруг поворачивается на каблуках и, окутанный клубами табачного дыма, орет во всю глотку:

— «Глажу я по волосам—говорит она: не там! Ниже надо, знаешь сам. Коли любишь, дорогой, дальше руку запусти».

Мужчины принимаются дубасить кулаками по цинковой стойке, служанка спасает скачущие стаканы, все кричат: «Гу-у-у»—и хлопают в такт руками. А сидящие в трактире женщины, круглолицые пьянчужки вроде Солдатки, притопывают, пытаясь изобразить какой-то танец. Пину кровь бросается в голову; он сжимает зубы от ярости, но прокрикивает слова похабной песенки до тех пор, пока у него не перехватывает дыхание:

— «Я поглажу носик ей—говорит: вот дуралей, ниже, ниже поскорей».

¹ Перевод Е. Солоновича.

И все подпевают, отбивая ритм приплясывающей Солдатке.
— «Коли любишь, дорогой, дальше руку запусти».

В тот день немецкий матрос пришел в скверном расположении духа. Гамбург, его родной город, ежедневно сжирали бомбежки, и он каждый день ждал вестей о жене и о детях. Он был наделен пылким темпераментом, этот немец, темпераментом южанина, необычным для человека с берегов Северного моря. Он набил свой дом детшками и теперь, заброшенный войной далеко от родных, пытался спустить распирающее его человеческое тепло, привязываясь к потаскухам оккупированных немцами стран.

— Никаких сигареты не иметь,— говорит он Пину, который встречает его обычным: «Guten Tag».

Пин начинает ему ехидно подмигивать.

— Что, камерата¹, опять стосковался по нашим местам?

Немец тоже подмигивает Пину; он ничего не понимает.

— Не зашел ли ты, случаем, навестить мою сестру?— небрежно бросает Пин.

— Сестра дома нет?— спрашивает немец.

— Неужели ты ничего не слышал?— Пин строит постную поповскую физиономию.— Не знаешь, что ее, бедняжку, забрали в больницу? Дурная болезнь, но теперь ее вроде вылечивают. Если только болезнь не запущена. Конечно, она ее не вчера подхватила... Подумать только— в больнице! Бедняжка!

Лицо немца напоминает простоквашу. Он потеет и бормочет:

— Боль-ни-ца? Бо-лезнь?

Из окна второго этажа высовывается девица с лошадиным лицом и волосами как у негритянки.

— Не слушай его, Фрик, не слушай этого бесстыдника,— кричит она.— Он у меня еще поплачет, обезьянья харя! Скоро он меня совсем доконает! Иди сюда, Фрик, и не обращай на него внимания. Он шутит, черт бы его побрал!

Пин корчит ей рожу.

— Тебя прошиб холодный пот, камерата!— кричит он немцу и скрывается в переулке.

Порой от скверных шуток остается горький осадок. Пин бродит один по переулку. Все его ругают и гонят прочь. Ему хотелось бы побегать с ватагой товарищей: он показал бы им место, где пауки делают гнезда, или поиграл бы с ними в овраге. Но ребята не любят Пина: Пин водит дружбу со взрослыми. Пин умеет сказать такое, от чего те смеются или сатанеют; он не похож на других ребят, которые чаще всего не понимают, о чем говорят взрослые. Порой Пина тянет к сверстникам, ему хочется, чтобы они приняли его поиграть в орлянку или показали бы ему подземный ход, ведущий до самой рыночной площади. Но ребята

¹ Обращение, принятое в итальянской фашистской партии.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

сторонятся его, а бывает, и поколачивают. Ручонки у Пина тонкие-тонкие, и он из ребят самый слабый. Иной раз они обращаются к Пину с расспросами о том, что происходит между мужчиной и женщиной, но тогда Пин так потешается над ними и поднимает такой крик, что слышно на весь переулок, а матери ребят вопят:

— Костанцо! Джакомино! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не водился с этим невоспитанным мальчишкой!

Матери правы: Пин только и умеет, что рассказывать всякие истории о мужчинах и женщинах в постели, об убитых или посаженных в тюрьму. Он наслушался их от взрослых. Истории эти вроде сказок, которые взрослые рассказывают друг другу, и их было бы даже интересно послушать, если бы Пин не пересыпал свои рассказы издевками и словечками, о смысле которых сам ни за что не догадаешься.

Пину ничего другого не остается, как укрыться в мир взрослых—взрослых, которые от него тоже отворачиваются, взрослых, которые ему столь же чужды и непонятны, как и другим детям, но над которыми ему легче подшучивать—над их любовью к женщинам и над их боязнью жандармов,—подшучивать, пока им не надоедят его шутки и они не отвесят ему подзатыльник.

Пин пойдет сейчас в лиловый от дыма трактир, он станет говорить непристойности, он преподнесет этим мужикам такую неслыханную похабщину, что они расвирепеют и поколотят его; он споет им до того трогательные песни, что сам расплачется и заставит их разрыдаться; он придумает такие шутки и гримасы, что они надорвут себе животики,—все что угодно, лишь бы развеять томящее чувство одиночества, овладевающее им в такие вот вечера.

Но в трактире стена спин, через которую не продерешься. Тут какой-то новый человек, сухощавый и серьезный. Мужчины косятся на вошедшего Пина, потом оборачиваются к незнакомцу и что-то говорят ему. Пин чувствует: пахнет чем-то новеньким. Тем больше оснований продрасть вперед и, не вынимая рук из карманов, сказать:

— Разрази меня гром! Посмотрели бы вы, что за рожа была у немца.

Никто не отвечает. Все один за другим медленно отворачиваются. Только Мишель Француз смотрит на него пристально, словно видит впервые, а затем вяло роняет:

— Ты дерьмо и вонючий сводник.

Задорная усмешка на лице Пина сразу же гаснет, но он отвечает спокойно, прищулив глаза:

— Может, объяснишь, почему?

Жираф слегка поворачивает шею и произносит:

— Вали отсюда, вали! Мы не желаем иметь дело с теми, кто яхшается с немцами.

— Не сегодня завтра,— замечает Джан Шофер,— ты и твоя сестрица станете в «фашио»¹ важными шишками. С вашими-то связями.

Пин, как всегда, пытается отшутиться.

— Объясните мне, что происходит,— говорит он.— Я в «фашио» никогда не околачивался, даже в «балилле»² сроду не был, а моя сестра гуляет, с кем ей вздумается, и никто на нее не в обиде.

Мишель почесывает подбородок.

— Когда настанет день и все переменится— тебе понятно, о чем я говорю?— мы обреем твою сестру и пустим ее разгуливать голой, как ощипанную курицу. А тебя... тебе мы подыщем работенку, какая тебе даже не снилась...

Пин держится спокойно, но видно, что внутри у него все клокочет, он кусает губы.

— Когда настанет день и вы малость поумнеете,— говорит он,— я объясню вам, что к чему. Во-первых, мы с сестрой друг за друга не в ответе, и, коли вам это по душе, сводничайте сами. Во-вторых, моя сестра гуляет с немцами не потому, что она обожает немцев, а потому, что она интернационалистка, вроде дамочек из Красного Креста. Так же как она путается теперь с немцами, она будет путаться потом с англичанами, с неграми и прочими арапами, которые к нам пожалуют. (Рассуждать так Пин научился у взрослых, возможно даже у тех самых, с кем он сейчас говорит. Так почему же ему теперь приходится разъяснять им все это?) В-третьих, все мои дела с немцем сводятся к тому, что я вытягиваю у него сигареты, а взамен проделываю с ним шуточки вроде сегодняшней, о которой я вам и не подумаю рассказать, потому что вы мне осточертели.

Однако попытка Пина как-то вывернуться терпит провал. Джан Шофер говорит:

— Самое время для шуточек! Я был в Хорватии, так вот там, если какой-нибудь паршивый немчура совался в деревню к бабам, из него тут же делали покойника.

Мишель подхватывает:

— Не сегодня завтра и у нас ты найдешь своего немца где-нибудь на помойке.

Незнакомец, который все время сидел молча и даже ни разу не улыбнулся, тянет Мишеля за рукав.

— Не дело болтать здесь об этом. Вспомните, о чем я вам говорил.

Остальные кивают и смотрят на Пина. Чего им от него надо?

— Скажи-ка,— бросает Мишель,— а ты видел, что за пистолет у матроса?

— Пистолет что надо!— отвечает Пин.

— Так вот,— говорит Мишель,— ты нам его принесешь.

¹ Местная организация фашистской партии.

² Детская фашистская организация.

— А как это сделать?— удивляется Пин.

— Изловчись.

— Но как? Пистолет всегда болтается у него на заднице. Попробуйте за него ухватиться.

— Ну хорошо. А разве в определенный момент он не снимает штаны? Тогда, уверяю тебя, он снимет и пистолет. Ты входишь и забираешь его. Постарайся.

— Ну, если захочу...

— Послушай,— говорит Жираф,— мы тут не шутки шутить собрались. Хочешь быть с нами—сделай, что от тебя требуют. А коли нет...

— А коли нет?

— Коли нет... Тебе известно, что такое «гап»?

Незнакомец толкает Жирафа в бок и качает головой. Разговор ему явно не по душе.

Для Пина новые слова всегда овеваны дымкой таинственности, словно в них скрыт намек на что-то неведомое и запретное. «Гап»? Что еще за «гап»?

— Ясное дело—известно,— говорит Пин.

— Так что это?—не отстаёт Жираф.

— А то, во что ... тебя и всю твою родню.

Но мужчины пропускают его выходку мимо ушей. Незнакомец сделал им знак. Они сгрудились вокруг него, и он что-то говорит им вполголоса. Кажется, он мылит им шею, а они кивают и соглашаются.

До Пина опять никому нет дела. Сейчас он преспокойно уйдет. О пистолете лучше не заикаться. Все это ерунда. Мужчины небось о нем и думать забыли.

Однако, как только Пин оказывается в дверях, Француз поднимает голову.

— Так, значит, договорились, Пин?

Пину надо бы опять начать дурачиться, но вдруг он чувствует себя ребенком среди взрослых и замирает, опершись рукою о косяк.

— Иначе не показывайся нам на глаза,—предупреждает Француз.

Пин бродит по переулку. Вечер. В окнах загорается свет. Вдали в ручье заквакали лягушки. В эту пору ребята по вечерам сидят у луж и ловят лягушек. На ощупь лягушки холодные и скользкие. Они похожи на женщин—такие же гладкие и голые.

Проходит мальчик в очках. На ногах у него длинные носки. Это Баттистино.

— Баттистино, ты знаешь, что такое «гап»?

Баттистино хлопает глазами, его разбирает любопытство.

— Нет. А что это такое?

Пин начинает издеваться:

— Поди-ка спроси у своей мамочки, что такое «гап»! Скажи

ей: мама, подари мне «гап». Попроси ее об этом. Увидишь, что она тебе скажет!

Баттистино уходит вконец разобиженный.

Пин поднимается по переулку. Почти стемнело. Он чувствует себя одиноким и потерянным в этой истории, заполненной кровью и голыми телами, истории, именуемой человеческой жизнью.

II

В комнате сестры, если заглянуть в нее сквозь щель, всегда словно туман: видна узкая полоска комнаты, загромажденной вещами, отбрасывающими густую тень, и, когда приближаешь или отводишь от щели глаз, кажется, что все они меняют свои размеры. Кажется, будто смотришь сквозь женский чулок, и даже запах такой же самый. Это запах его сестры, он доносится из-за деревянной двери и исходит, видимо, от смятого платья и неприбранной, никогда не проветриваемой постели.

Сестра Пина с самого детства не пеклась о доме. Пин младенцем пронзительно заливался у нее на руках, и голова его вся была покрыта струпами, а она преспокойно укладывала его у плотомойни и убегала вместе с мальчишками скакать по квадратам, нарисованным мелом на плитах тротуара. По временам возвращался корабль их отца. Пину запомнились только отцовские руки, большие и голые, которые подбрасывали его вверх, сильные руки, перевитые черными жилами. Но после смерти матери отец стал приезжать все реже и реже, а потом и вовсе исчез. Поговаривали, что он завел себе другую семью в каком-то заморском городе.

Пин живет теперь не в комнате, а в чулане, в закутке за деревянной перегородкой с узким длинным окном, похожим на амбразуру, пробитую в покосившейся стене их старого дома. Рядом — сестрина комната. Перегородка, отделяющая ее от чулана, в огромных щелях. Сквозь них, если захотеть, все видно. За этой перегородкой — ответы на многие жизненные вопросы. Пин с раннего детства просиживал у перегородки часами, и от этого глаза у него сделались острыми, как булавки. Ему известно обо всем, что происходит там, за перегородкой, хотя он и не все понимает. Насмотревшись, Пин сворачивается клубком на кушетке и засыпает, обняв себя за плечи. Тогда тени чулана оборачиваются странными сновидениями, голыми телами, которые гоняются друг за другом, дерутся, обнимаются, пока не появляется кто-то большой, теплый и незнакомый, кто склоняется над ним, Пином, гладит его, обдаёт его своим теплом — и вот это-то и есть объяснение всему, далекий-далекий зов позабытого счастья.

Немец расхаживает по комнате в майке. У него розовые мясистые руки, похожие на ляжки. Он то и дело попадает в поле зрения Пина, прильнувшего к щели. На мгновение Пин видит колени сестры; они мелькают и прячутся под простыней. Пину

приходится изогнуться всем телом, чтобы проследить, куда денется ремень с пистолетом. Пистолет свешивается со спинки кресла, словно какой-то чудной плод, и Пину хочется, чтобы рука у него сделалась тонкая-претонкая и, как взгляд, могла бы проскользнуть в щель, схватить пистолет и втянуть его к себе в каморку. Немец разделся, на нем одна майка, и он хихикает. Он всегда хихикает, когда раздевается, потому что в глубине души он стыдлив, как девчонка. Немец ныряет в постель и гасит свет. Пин знает, что некоторое время будет темно и тихо. Только потом кровать начнет трястись.

Теперь самое время: Пину надо босиком, на четвереньках пробраться в комнату и бесшумно стянуть со стула ремень с пистолетом. И все это—не в шутку, чтобы было потом над чем посмеяться, а ради чего-то важного и таинственного, о чем говорили мужчины в трактире, и глаза у них при этом темнели. Пину все-таки хотелось бы всегда дружить со взрослыми, хотелось бы, чтобы они шутили с ним и поверяли ему свои секреты. Пин любит взрослых, ему нравится злить сильных и глупых взрослых, все сокровенные тайны которых ему известны. Он любит даже немца. Сейчас случится нечто непоправимое; наверно, после этого он больше никогда не сможет шутить с немцем; и с приятелями из трактира у него пойдет все совсем по-другому; случится что-то такое, что прочно свяжет его с ними, и им уже нельзя будет похабно острить; они станут смотреть на него всегда серьезно, с прямыми морщинками между бровей, и вполне можно спрашивать его о самых невероятных вещах. Пину хотелось бы лежать сейчас на кушетке и грезить с открытыми глазами, пока немец тяжело пыхтит, а сестра визгливо хохочет, словно кто-то щекочет ее под мышками,—грезить о шайке мальчишек, которые выберут его своим атаманом, потому что он знает все лучше всех, и о том, как они все вместе пойдут войною на взрослых, и одолеют взрослых, и совершат замечательные подвиги, после которых взрослым придется восхищаться им и тоже выбрать его своим атаманом; но они все равно будут любить его и гладить по голове. А вместо этого ему надо ползти одному, ночью, продираться сквозь ненависть взрослых и красть у немца пистолет; другим детям не приходится делать ничего подобного. Они играют жестяными пистолетами и деревянными саблями. Интересно, что бы они сказали, если бы он завтра встал среди них и, постепенно приоткрывая, показал им настоящий пистолет—блестящий, грозный, который, кажется, вот-вот выстрелит сам собой. Наверняка они бы наложили в штаны. Но возможно, Пину тоже будет страшно прятать настоящий пистолет у себя под курткой. Ему бы один из тех игрушечных пугачей, которые стреляют пробками. С пугачом он нагнал бы такого страху на взрослых, что они попадали бы в обморок и запросили бы у него пощады.

Вместо этого Пин стоит на четвереньках на пороге комнаты,

босой, с головой окунувшись в мужские и женские запахи, которые сразу же бьют ему в нос. Он видит смутные очертания мебели, находящейся в комнате, кресло, продолговатое биде, укрепленное на треножнике. Ну вот—с кровати начинает доноситься прерывистое дыхание; сейчас можно ползти, стараясь производить поменьше шума. Говоря по правде, Пин был бы даже рад, если бы скрипнула половица, немец услышал бы и неожиданно зажег свет, тогда Пину пришлось бы удирать, а сестра вопила бы ему вслед: «Скотина!» Ее услышали бы все соседи; об этом заговорили бы в трактире, и он мог бы рассказать Шоферу и Французу ночную историю с такими подробностями, что они поверили бы каждому его слову и сказали бы: «Что поделаешь! Сорвалось. Не будем больше говорить об этом».

Половица действительно скрипит. Но сейчас скрипит почти все, и немец ничего не слышит. Пин уже дополз до ремня. На ощупь ремень— вещь совсем обыкновенная, ничего волшебного в нем нет; он соскальзывает с кресла до ужаса легко и даже не ударяется об пол. Теперь «дело» сделано. Воображаемые страхи становятся страхом реальным. Надо поскорей обмотать ремень вокруг кобуры и запрятать под фуфайку, чтобы не запутаться в нем рукой или ногой; а затем потихоньку ползти обратно и только ни за что на свете не высовывать язык, потому что, если высунешь язык, может случиться нечто ужасное.

О том, чтобы вернуться к себе на кушетку и спрятать пистолет под матрас, куда Пин прячет украденные на рынке яблоки, нечего и думать. Немец скоро встанет, начнет искать пистолет и перевернет все вверх дном.

Пин выходит в переулочек. Пистолет его ничуть не волнует. Запрятанный под одеждой, он вещь как вещь, о нем можно забыть. Пину даже не нравится собственное спокойствие. Ему хотелось бы, чтобы при одной мысли о пистолете его охватывала дрожь. Настоящий пистолет! Настоящий пистолет! Пин пытается завестись. У кого есть настоящий пистолет, тот большой человек. Он может сделать все что угодно с женщинами и мужчинами, пригрозив, что пристрелит их.

Сейчас Пин вытащит пистолет и пойдет, выставив его прямо перед собой: никто не посмеет отнять у него пистолет, он на всех наведет страх. Однако обмотанный ремнем пистолет по-прежнему спрятан под фуфайкой, Пин не решается к нему прикоснуться. Он почти надеется, что, когда попытается его нащупать, пистолета на месте не окажется, что он растворится в тепле его тела.

Самое подходящее место, чтобы рассмотреть пистолет,— укромный уголок под лестницей, где ребята играют в прятки и куда попадает лишь косой свет фонаря. Пин раскручивает ремень, открывает кобуру и вытаскивает пистолет так, словно бы поднимает за шиворот котенка. Пистолет в самом деле большой и грозный. Если бы у Пина хватило духу играть с ним, он сделал бы из него пушку. Но Пин держит пистолет как бомбу.

Предохранитель? Где же предохранитель?

В конце концов Пин решаете прицелиться, но остерегается класть палец на спусковой крючок и только крепко сжимает рукоятку. Так тоже можно неплохо целиться и наводить пистолет на что угодно. Сначала Пин в упор приставляет пистолет к водосточной трубе, потом целит в свой палец, в свой собственный палец, делает свирепое лицо, откидывает голову назад и говорит сквозь зубы: «Кошелек или жизнь». Затем Пин находит старый ботинок и целится в него: в каблук, в подметку; потом проводит стволом по швам верха. Получается очень занятно: ботинок, предмет такой знакомый, особенно ему, ученику сапожника, и—пистолет, вещь таинственная, почти нереальная; о встрече ботинка с пистолетом можно было бы порассказать множество чудесных историй.

Пин не в силах дальше противиться соблазну и подносит пистолет к виску. Голова у него идет кругом. Еще ближе, пока кожа не почувствует холод стали. Теперь можно положить палец на спусковой крючок. Нет, лучше надавить стволом на скулу, пока не станет больно,—почувствовать стальной круг, за которым начинается пустота, где рождаются выстрелы. Если резко оторвать пистолет от виска, то, может, воздух, ворвавшись в ствол, вызовет взрыв? Нет, взрыва не происходит! Теперь можно засунуть ствол в рот и почувствовать его вкус у себя под языком. А потом—это самое страшное—поднести пистолет к глазам и посмотреть в него, заглянуть в темноту ствола, кажущуюся глубокой, словно колодец. Пин видел однажды мальчика, которому выстрелило в глаз охотничье ружье. Его везли в больницу. Половина лица у него была закрыта сгустком крови, а на другой половине повсюду чернели крупинки пороха.

Пин поиграл с настоящим пистолетом. Он наигрался им вдоволь; теперь его можно отдать мужчинам, которым он понадобился. Пину не терпится поскорее сбegrить пистолет. Если пистолета у него не будет, значит, он его вроде бы и не крал. Немец жутко озверевает и накинется на него, но Пин над ним опять посмеется.

Первой его мыслью было вбежать в трактир и заявить: «Он у меня, и я его никому не отдам!» Все придут в восторг и воскликнут: «Вот это да!» Потом он решил, что будет забавнее, если он спросит: «Угадайте-ка, что я принес?»—и, прежде чем ответить, заставит их малость помучиться. Конечно, они тут же подумают о пистолете, поэтому будет лучше, если он сразу заведет речь о нем, неся всякую околесицу, намекая, что дело, мол, не выгорело, а когда им станет совсем невмоготу и они перестанут вообще что-либо соображать, он выложит пистолет на стойку и скажет: «Взгляните, что я нашел у себя в кармане». Ну и лица же у них будут!

Пин входит в трактир на цыпочках, тихо-тихо. Мужчины по-прежнему болтают за стойкой; локти у них словно выросли в

нее. Нет только незнакомца, и стул его еще никем не занят. Пин стоит у них за спиной, а они этого даже не замечают. Пин ждет, когда они его вдруг увидят, вздрогнут и обрушат на него лавину вопрошающих взглядов. Однако никто не оборачивается. Пин двигает стул. Жираф выгибает шею, подмигивает и продолжает тихо разговаривать.

— Красавцы! — окликает их Пин.

Они смотрят на него.

— Образина, — беззлобно парирует Жираф.

Больше никто не произносит ни слова.

— Итак, — бросает Пин.

— Итак, — говорит Джан Шофер, — что новенького ты нам расскажешь?

Пин несколько растерян.

— Чего это ты раскис? — спрашивает Француз. — Спой-ка нам что-нибудь, Пин.

«Ясно, — думает Пин, — они меня тоже разыгрывают. На самом деле их прямо распирает от любопытства».

— Алле, — произносит он. Но петь не может. Язык липнет к гортани, во рту сухо. Так бывает, когда он боится расплакаться. — Алле, — повторяет Пин. — Так что же вам спеть?

— Что спеть? — переспрашивает Мишель.

Жираф говорит:

— Ну и тощица — скулы воротит!

Продолжать эту игру Пин не в состоянии.

— А этот парень? — спрашивает он.

— Кто?

— Парень, что сидел вот тут.

— А... — произносят они и качают головой.

Затем продолжают тихо переговариваться.

— Я-то, — говорит Француз, — не слишком скомпрометировал себя с этим Комитетом. Мне не хотелось бы погореть ради их прекрасных глаз.

— Ладно, — говорит Джан Шофер. — А мы что? Сказано: посмотрим. Все же не худо бы установить с ними связь, ничего пока не обещая, и выждать время. У меня свои счета с немцами с тех пор, как я побывал вместе с ними на фронте. Если придется драться — я не откажусь.

— Хорошо, — говорит Мишель. — Только учти — с немцами шутки плохи. А чем все кончится, пока еще не известно. Комитету угодно, чтобы мы создали «гап», ладно, создадим его как-нибудь сами.

— Пока что, — замечает Жираф, — сделаем вид, будто мы на их стороне и вооружаемся. Как только у нас будет оружие...

У Пина есть оружие. Он чувствует под фуфайкой пистолет и кладет на него руку, собираясь вытащить его в любую минуту.

— У вас нет оружия? — спрашивает он.

— Не твое дело, — отвечает Жираф. — Позаботься лучше о

пистолете своего немца. Понятно?

Пин напрягся. Сейчас он им скажет. «Угадайте»,— скажет он.

— Смотри только не прошляпай свой пистолет, если уж он попадет к тебе под руку...

Все получается совсем не так, как хотелось бы Пину. Почему им теперь вроде бы на все наплевать? Он уж жалеет, что украл пистолет. Хорошо бы вернуться и положить его на место.

— Ради пистолета,—говорит Мишель,—не стоит рисковать. Кроме того, он устаревшего образца: чересчур тяжелый, с таким не повернешься.

— Пока что,—говорит Жираф,—надо показать Комитету, что мы что-то делаем, вот что теперь важно.

И они продолжают разговаривать вполголоса.

Пин дальше не слушает. Теперь он твердо знает: пистолета он им не отдаст. На глазах у него слезы, и он кусает губы от злости. Взрослые—народ переменчивый и ненадежный; они не играют так честно, как дети, хотя у них тоже есть свои игры, одна другой серьезнее—игра в игру, и никогда не поймешь, какая из них взаправдашняя. Сперва казалось, будто они вместе с незнакомцем играют против немца; теперь же они вроде бы играют против незнакомца. Никогда нельзя верить ни одному их слову.

— Ладно. Спой-ка, Пин,—говорят они как ни в чем не бывало, словно бы между ними и Пином не был заключен нерушимый договор—договор, освященный таинственным словом «гап».

— Алле,—произносит дрожащими губами бледный Пин. Он знает, что не сможет петь. Он готов расплакаться, но вместо этого кричит пронзительно «хи-и», так, что у всех чуть не лопаются барабанные перепонки, и раздражается дикой бранью:

— Паскуды, ублюдки, сукины дети, мать вашу так!..

Все удивлены: чего это его разобрало? Но Пин уже выбежал из трактира.

Оказавшись на улице, Пин в первый момент хотел было отыскать того парня, которого они называли «Комитетом», и отдать ему пистолет. Теперь это единственный человек, которого Пин уважает. Прежде, такой серьезный и молчаливый, незнакомец вызывал у него чувство недоверия. Но теперь лишь он один смог бы понять его и оценить его подвиг. Может, он даже возьмет его с собой воевать с немцами. Вооружившись пистолетом, они вдвоем будут устраивать на дорогах засады. Но кто знает, где теперь Комитет. У прохожих о нем не спросишь: никто его здесь никогда не видал.

Пистолет останется у Пина. Пин его никому не отдаст и никому о нем не расскажет. Пин лишь намекнет, что наделен страшной силой, и его все станут слушаться. Тот, у кого есть настоящий пистолет, наверно, может играть в замечательные игры: в такие игры, в какие не играл еще ни один мальчишка. Но Пин не умеет играть. Он не умеет играть ни во взрослые, ни в детские игры. Поэтому Пин уйдет от всех подальше и станет

играть один со своим пистолетом. Он станет играть в такие игры, которые никто не знает и не сможет никогда узнать.

Уже ночь. Огородами и помойками Пин выбирается за пределы кучки старых домов. Железная сетка, огораживающая рассадники, бросает причудливую тень на освещаемую луной серебристо-серую землю. Куры спят рядком на насесте; лягушки выползли из воды и заливаются вдоль всего ручья, от истока до устья. Интересно, что будет, если выстрелить в лягушку? Вероятно, от нее останется лишь зеленый плевок, растекшийся по камню.

Пин идет тропинками, вьющимися вдоль ручья, по крутым, заросшим травой откосам. Тут есть дорожки, о которых не известно никому, кроме него. Кое-кто из ребят дорого дал бы, чтобы узнать о них. Есть, к примеру, место, где пауки делают гнезда. О нем знает только Пин, он один во всей долине, а то и во всей области. Никто из мальчишек никогда еще не видал пауков, делающих гнезда, никто, кроме Пина.

Может, когда-нибудь у Пина будет друг, настоящий друг, который все понимает и которого можно понять, тогда ему, только ему одному, покажет он паучьи норы. Каменистая тропинка, зажата между двумя заросшими травой откосами, круто спускается к ручью. Здесь, в траве, пауки роют норы, туннели, обмазывают их засохшей травяной кашицей. Интереснее всего, что у нор имеются дверцы, тоже сделанные из травяной кашицы, круглые дверцы, которые можно открывать и закрывать.

Когда ему случается сильно досадить кому-нибудь и раздражающий его яростный смех наполняет его муторной тоской, Пин бродит совсем один по тропинкам оврага и отыскивает место, где пауки роют норы. Длинным сухим прутиком можно добраться до самого конца норы и проткнуть паука, маленького черного паука, изрисованного серыми полосками—точь-в-точь как на летних платях старых святош.

Пину нравится разорять гнезда и протыкать сухим прутиком пауков. Он любит ловить кузнечиков—рассматривать вблизи их нелепые головы, похожие на морды маленьких зеленых лошадок, а затем раздирать их на кусочки и складывать из кузнечьих лапок причудливые арабески на каком-нибудь гладком камне.

Пин жесток с животными. Они такие же безобразные и непостижимые существа, как и люди. Вероятно, скверно быть маленьким насекомым—быть зеленого цвета, какать по капельке и все время бояться, что вот-вот появится какой-нибудь человек, вроде него, Пина, с огромным лицом, усыпанным рыжими и темными веснушками, и с пальцами, способными разорвать кузнечика в мелкие клочки.

Пин стоит сейчас совсем один среди паучьих нор. Вокруг него ночь, такая же нескончаемая, как лягушачий хор. Он один, но у него пистолет. Пин надевает ремень и прилаживает кобуру на

зadницу, как у немца. Только немец гораздо толще. Поэтому Пин надевает ремень через плечо, словно перевязь у мушкетеров, которых показывают в кино. Теперь пистолет можно вытащить таким же роскошным жестом, каким обнажают шпагу, и крикнуть: «За мной, каналы!», как кричат мальчишки, играя в пиратов. Непонятно только, какое удовольствие получают эти сопляки, когда проделывают такие вот штуки. Пину, после того как он попрыгал немного на лужайке с пистолетом в руке, целясь в тени, отбрасываемые стволами оливок, быстро наскучило это занятие, и он не знает, что же ему дальше делать с оружием.

Подземные пауки сейчас, верно, пожирают червей или же самцы совокупляются с самками. Они такие же омерзительные существа, как и люди. Пин направляет ствол пистолета на вход в нору, желая поубивать пауков. Интересно, что произойдет, если раздастся выстрел. Дома отсюда далеко, и вряд ли кто разберет, где стреляли. А потом немцы и полицейские часто палят по ночам в случайных прохожих, разгуливающих после комендантского часа.

Пин наставляет пистолет на нору и кладет палец на спусковой крючок. Невозможно удержаться, чтобы не нажать, но пистолет, конечно, поставлен на предохранитель, а Пин не знает, как он снимается.

Выстрел раздается так внезапно, что Пин не успевает даже почувствовать, когда он нажал на крючок. Пистолет выпал у него из рук, он дымится и заляпан землей. Туннель, ведущий в нору, обвалился. Сверху катятся комья глины, и трава вокруг обуглилась.

Пина охватывает сперва страх, а потом — восторг. Все получилось так здорово, и порохом пахнет очень приятно. Но его пугает, что лягушки вдруг умолкли; наступила полнейшая тишина, словно его выстрелом убита вся земля. Потом какая-то дальняя лягушка снова заводит песню, за ней другая, поближе, к той присоединяются остальные, и вот уже снова звучит весь хор. Пину кажется, что лягушки квакают теперь громче, гораздо громче, чем прежде. Возле домов лает собака, и какая-то женщина что-то кричит из окна. Больше стрелять Пин не станет, потому что и тишина, и все эти звуки наводят на него страх. Однако завтра ночью он вернется; тогда уж его ничто не испугает, и он выпустит все патроны; он будет стрелять даже в нетопырей и в кошек, шныряющих подле курятников.

Пока что надо найти место, куда спрятать пистолет. Может, засунуть его в дупло оливкового дерева? Или лучше закопать? Нет, лучше всего вырыть ямку в поросшем травой склоне, там, где находятся паучьи гнезда, а потом засыпать ее землей. Пин вырывает ногтями яму там, где склон густо изрешечен паучьими норами, опускает в нее пистолет в кобуре, снятой с портупеи, и прикрывает все дерном. Потом кладет сверху камни, чтобы можно было узнать место, и уходит, хлеща по кусту ремешком от

португее. Обратный его путь лежит через насыпи и небольшие каналы, в которые набросаны камни для перехода.

Пин тянет за собой ремешок от португее, опустив его в воду канавы, и насвистывает, чтобы не слышать кваканья лягушек, которое, кажется, становится с каждой минутой все громче и громче.

Начинаются огороды, помойки, дома. Подходя к ним, Пин слышит голоса. Говорят не по-итальянски. Давно наступил комендантский час, но Пин часто разгуливает по ночам, потому что он мальчик и патрули к нему не придираются. Но на этот раз Пин боится: а вдруг немцы ищут того, кто стрелял. Они приближаются к нему; он пытается удрать, но немцы что-то кричат и настигают его. Пин съезживается и, защищаясь, размахивает ремешком от португее, как хлыстом. Немцы устали как раз на ремешок: он-то им и нужен. Они внезапно хватают Пина за шкурку и тащат его за собой. Пин просит, умоляет, ругается, но немцы ничего не понимают. Они еще хуже, гораздо хуже, чем полицейские.

Переулочек заполнен вооруженными патрулями—немецкими и фашистскими, а также арестованными жителями, среди которых—Мишель Француз.

Пина ведут сквозь толпу вверх по переулочку; вокруг темно; только в самом конце ступенчатого переулочка видна площадка, освещенная косым светом фонаря, ослепительным из-за окружающего его мрака.

И в этом ослепительном свете фонаря в самом конце переулочка Пин видит матроса с жирным озверевшим лицом. Матрос указывает на него пальцем.

III

Немцы еще хуже, чем полицейские. С полицейскими можно хотя бы пошутить, сказать: «Если вы меня отпустите, я вас бесплатно пропущу в постель к моей сестре».

А немцы не понимают, о чем им толкуешь. Фашисты же народ нездешний—они не знают даже, кто такая сестра Пина. Это две разные породы: немцы—рыжие, плотные, бритые; фашисты—чернявые, костлявые, с лиловыми рожами и крысиными усами.

Утром в немецкой комендатуре первым допрашивают Пина. Перед Пином немецкий офицер с детским лицом и переводчик-фашист с небольшой бородкой. Кроме них, в углу—матрос и сестра Пина. Она сидит. Лица у всех злые. Видимо, матрос устроил страшный тарарам из-за своего пистолета. Наверно, он испугался, как бы его не обвинили, что он сам его кому-нибудь сбаврил, а потом наврал им с три короба.

На столе у офицера лежит португее, и первый вопрос, который он задает Пину, как она к нему попала. Пин почти что спит: он всю ночь провалялся на полу в коридоре, а рядом с ним

лежал Мишель Француз, и едва лишь Пин засыпал, как тот больно толкал его в бок и шипел ему на ухо:

— Если проболтаешься, мы спустим с тебя шкуру.

А Пин отвечал:

— Иди ты...

— Даже если тебя станут бить. Понял? О нас ни слова.

А Пин в ответ:

— Чтоб ты сдох.

— Усвой, если мои друзья увидят, что я не вернулся домой, тебе не жить.

А Пин на это:

— Холера тебе в бок.

Мишель до войны работал во Франции, в тамошних гостиницах. Поначалу устроился он неплохо, хотя порой его и обзывали «*macaroni*» и «*cochon fassiste*»¹. Но потом, в сороковом году, его начали сажать в концлагеря. С тех пор все пошло наперекос: безработица, репатриация, уголовщина.

Часовые в конце концов заметили, что Пин и Француз переговариваются, и мальчика увели, потому что Пин — главный обвиняемый и не положено, чтобы он с кем-либо общался. Пину так и не удалось поспать. К побоям он привык, они его не слишком пугают. Его тревожит только то, что он не знает, как ему себя вести на допросе. С одной стороны, ему хотелось бы расквитаться с Мишелем и всей его компанией — сразу же объявить немецким начальникам, что пистолет, мол, он отдал парням из трактира и что у них имеется даже «гап». Но стать доносчиком — это ведь так же непоправимо, как украсть пистолет: тогда ему больше не видать выпивки в трактире, не петь там песен и не слушать похабщину. А потом, вдруг в дело окажется впутанным Комитет, такой грустный и угрюмый, — это Пину вовсе не по душе, потому что из всех них Комитет — единственный приличный человек. Пину внезапно захотелось, чтобы Комитет, плотно закутанный в свой плащ, вошел в комнату для допросов и сказал: «Это я велел ему взять пистолет». Это будет смелым поступком, достойным такого человека, как Комитет, и с ним ничего не случится, потому что в ту самую минуту, когда эсэсовцы поволокут его в тюрьму, послышатся, как в кино, крики: «Наши! Наши!», а затем в комендатуру ворвутся люди Комитета и всех освободят.

— Я нашел ее, — отвечает Пин немецкому офицеру на вопрос о портуpee.

Тогда офицер берет портуpeeю со стола и изо всех сил хлещет его по щеке. Пин сразу же валится на пол. Он чувствует, как пучок иголок впивается ему в веснушки, а кровь течет по уже распухшей щеке.

Сестра испускает дикий вопль. Пин невольно думает, что ей

¹ «Макаронник», «фашистская свинья» (франц.).

случалось бить его и побольней и что сейчас она просто притворяется чересчур чувствительной. Фашист выводит сестру. Матрос, указывая на Пина, заводит какую-то нуду, но офицер велит ему заткнуться. Он спрашивает Пина, не надумал ли тот признаться, кто же все-таки послал его украсть пистолет.

— Я взял его,—говорит Пин,—чтобы застрелить кошку, а потом положил бы обратно.—Ему не удается соорудить невинную гримасу; он чувствует, что лицо раздулось, и у него появляется смутное желание, чтобы кто-нибудь пожалел его и приласкал.

Еще удар, впрочем, уже не такой сильный. Но Пин, помня о системе, которую он выработал с полицейскими, издает душераздирающий крик еще до того, как его коснулся ремень, и кричит не переставая. Начинаясь представление: Пин с плачем и воплями скачет по комнате, а немцы гоняются за ним, чтобы схватить его или хотя бы огреть ремнем. Пин кричит, хнычет, ругается и придумывает самые невероятные ответы на вопросы, которыми его продолжают осыпая.

— Куда ты девал пистолет?

Теперь Пин может даже сказать правду:

— В паучьи норы.

— Где они?

В глубине души Пину хотелось бы подружиться даже с этими людьми; полицейские его тоже поколачивали, а после принимались отпускать шуточки по адресу его сестры. Если бы они помирились, можно было бы повести их туда, где пауки делают гнезда; они, конечно, заинтересовались бы и пошли за ним, и он показал бы им все места. Потом они все вместе отправились бы в трактир за вином, а оттуда в комнату к его сестре—выпить, покурить и поглядеть, как она пляшет. Но бритые немцы и лиловорожие фашисты—люди совсем особой породы. С такими не столкуешься; они продолжают бить Пина, и Пин ни за что не расскажет им о паучьих гнездах. Он никогда не говорил о них даже друзьям—так неужто он расскажет об этом немцам!

Пин плачет: он ревет, преувеличенно захлебываясь, словно новорожденный, сопровождая плач выкриками, проклятьями и топотом, который разносится по всей немецкой комендатуре. Он не предаст Мишеля, Жирафа, Шофера и всех остальных. Они его настоящие товарищи. Сейчас Пин думает о них с восхищением. Ведь они враги всех этих ублюдков. Мишель может быть уверен—Пин его никогда не выдаст. До него, конечно, донесутся крики, и он скажет: «Железный парень этот Пин, он выдержит все, но не расколется».

Оглушительный рев Пина действительно слышен повсюду. Офицеры из других отделов выражают недовольство. В комендатуре всегда полно народу: сюда приходят за пропусками и продовольственными карточками. Не годится, чтобы все слышали, что у них избивают даже младенцев.

Офицер с детским лицом получает приказ прекратить допрос:

его следует продолжить завтра и в другом месте. Однако заставить Пина замолчать не так-то просто. Ему втолковывают, что все кончено, но их голоса тонут в пронзительных воплях. Они скопом приближаются к Пину, стараясь его успокоить, но он увертывается от них и верещит еще громче. Впускают сестру Пина, чтобы та утихомирила его. Пин тут же бросается на сестру, пытаясь ее укусить. Через некоторое время вокруг Пина уже толпятся солдаты и немцы, пытающиеся его как-то задобрить: одни гладят его по голове, другие вытирают слезы.

Под конец, совсем обессилив, Пин умолкает. Он охрип и тяжело дышит. Теперь солдат отведет его в тюрьму, а завтра снова доставит на допрос.

Пин выходит из комендатуры, конвоируемый вооруженным солдатом. Под густой шапкой волос лицо у Пина маленькое-маленькое, глаза заплаканы, а веснушки залиты слезами.

В дверях Пин сталкивается с Мишелем Французом, которого освободили.

— Привет, Пин,— говорит Мишель.— Иду домой. Завтра приступаю к службе.

Пин, отведя челюсть, подмигивает ему покрасневшим глазом.

— Да. Я порасспросил о «черной бригаде»¹. Мне растолковали, какими льготами они там пользуются и какое жалованье им идет. А потом, понимаешь, во время облав можно шарить по домам и реквизировать все, что попадает под руку. Завтра мне выдадут форму и оружие. У меня полный порядок, Пин.

На черном берете у солдата, ведущего Пина в тюрьму, вышита красная фашистская эмблема—розги и воткнутый в них топор. Это низенький парнишка с винтовкой больше его самого. Он не принадлежит к лиловорожей породе фашистов.

Они идут вот уже пять минут и все еще не перекинулись ни словом.

— Если захочешь, тебя тоже возьмут в «черную бригаду»,— говорит солдат Пину.

— Если захочу, то я ... твою чертову бабушку,— невозмутимо отвечает Пин.

Солдат надувает губы.

— Ох, посмотрите-ка на него! Что это ты о себе воображаешь? И у кого ты всему этому выучился?—Солдат останавливается.

— Давай-давай, пошевеливайся! Веди меня на каторгу,— ерепенится Пин.

— Ты что думаешь, тебя так преспокойно и отправят на каторгу? Прежде тебя будут поминутно таскать на допросы, и ты

¹ В июне 1944 г. Муссолини объявил о мобилизации всех членов фашистской партии и о создании карательных формирований—«черных бригад».

распухнешь от побоев. Тебе хочется получать по морде?

— А тебе хочется к чертовой матери?— говорит Пин.

— Пошел ты сам!— говорит солдат.

— Пошел ты, и твой папочка, и твой дедушка,— не унимается

Пин.

Солдат глуповат; всякий раз он обижается.

— Если не хочешь, чтобы тебя били, иди в «черную бригаду».

— А потом?— спрашивает Пин.

— Потом станешь участвовать в облавах.

— А ты участвовал в облавах?

— Нет. Я дневальный при комендатуре.

— Брось заливать! Расскажи лучше, скольких революционеров ты угробил.

— Клянусь тебе. Я никогда не участвовал в облавах.

— Ну да, кроме тех раз, когда участвовал.

— Кроме одного раза, когда меня взяли.

— Значит, тебя тоже брали на облаву?

— Да, это была замечательная облава, превосходно организованная, ничего не скажешь. Меня тоже взяли. Я прятался в курятнике. Облава была что надо.

Пин зол на Мишеля не потому, что тот, по его мнению, совершил подлость, именуемую предательством. Его злит только то, что всякий раз он ошибается и никогда не может угадать, как поведут себя взрослые. Он ожидает, что они будут думать так, а они думают совсем иначе—ни за что не догадаешься, что им еще придет в голову.

В конце концов, возможно, Пину тоже понравилось бы состоять в «черной бригаде», разгуливать обвешанным черепами и пулеметными лентами, наводить на окружающих ужас, быть со взрослыми на равных и чувствовать, что его так же, как и их, отделяет от остальных людей барьер ненависти. Может, пораскинув мозгами, он решит вступить в «черную бригаду»—по крайней мере так ему удастся заполучить назад пистолет и, возможно, даже открыто носить его, нацепив кобуру поверх мундира; кроме того, он сможет расчитаться за все с немецким офицером и фашистским унтером; отольются им его слезки, и он еще сумеет вдоволь поиздеваться над ними.

У «черных бригад» есть песня, в которой поется: «Мы ребята Муссолини, нас зовут прохвостами...» А дальше идут похабные слова. «Черным бригадам» можно петь на улице похабные песни, потому что они прохвосты Муссолини, и это здорово. Но дневальный—дурак, он действует Пину на нервы, вот почему Пин все время грубит ему, что бы тот ни сказал.

Под тюрму теперь заняли большую английскую виллу, потому что в старой крепости над портом немцы расположили противовоздушную батарею. Это чудная вилла. Ее окружает парк, засаженный араукариями, и она, с ее многочисленными башнями, террасами, крутящимися на ветру флюгерами, решетка-

ми, к которым теперь прибавились новые, всегда чем-то смахивала на тюрьму.

Теперь комнаты превращены в камеры, необычные камеры с деревянным полом и линолеумом, с мраморными каминами, с умывальниками и биде, заткнутыми тряпками. На башенках дежурят вооруженные часовые, а на террасах заключенные выстраиваются в очередь за пищей. Туда же их выводят на прогулку.

Пина приводят как раз во время раздачи пищи, и он сразу чувствует, что очень голоден. Ему тоже дают миску, и он становится в хвост.

Среди заключенных много уклонившихся от призыва в армию, а также много «чернорыночников» — подпольных мясников, спекулянтов бензином и валютой. Обычных уголовников почти не осталось: ведь воров теперь никто не ловит, — разве только те, кто не отсидели свой срок и уже слишком стары, чтобы их можно было забрать в армию, посулив амнистию. Политические узнаются по синякам на лицах и по походке — они ходят, еле волоча перебитые на допросах ноги.

Пин — тоже «политический». Это видно с первого взгляда. Пока он ест свое хлебово, к нему подходит высокий плотный паренек с лицом еще более распухшим и с еще более страшными синяками. Из-под кепки у паренька видна обритая голова.

— Здорово они тебя отделали, товарищ, — говорит он.

Пин смотрит на парня и не знает еще, как себя с ним повести.

— А тебя что — нет? — спрашивает он.

— Меня каждый день таскают на допрос, — говорит обритый. — И бьют воловьими жилами.

Паренек говорит это как-то очень значительно, словно оказывая Пину особую честь.

— Бери, если хочешь, мою похлебку, — говорит он Пину. — Я не могу есть, у меня все горло забито кровью.

Он харкает и выплевывает красный сгусток. Пин смотрит на него с интересом. Харкающие кровью всегда вызывали у него странное восхищение. Ему нравится смотреть, как плюют туберкулезные.

— Ты что — туберкулезный? — спрашивает он у обритого.

— Наверно, они сделали из меня туберкулезного, — соглашается обритый.

И опять он говорит об этом как-то очень значительно. У Пина он вызывает восхищение; может, они станут настоящими друзьями. Кроме того, обритый отдает ему свою похлебку, и Пин очень благодарен, потому что страшно голоден.

— Если так пойдет и дальше, — говорит обритый, — они искалечат меня на всю жизнь.

— Почему же ты не запишешься в «черную бригаду»? — спрашивает Пин.

Обритый встает и смотрит ему прямо в лицо своими заплывшими глазами.

— Ты что, не знаешь, кто я такой?

— Нет, а кто?

— Никогда не приходилось слышать о Красном Волке?

Красный Волк! Да кто же о нем не слыхал? После каждого налета на фашистов, после каждой бомбы, взорвавшейся у комендатуры, после того, как неведомо куда исчезает какой-нибудь доносчик или провокатор, люди говорят вполголоса: «Красный Волк». Пин знает еще, что Красному Волку шестнадцать лет и что прежде он работал в «Тодте» механиком. Пину рассказывали о нем многие ребята, пошедшие работать в «Тодт», чтобы избежать призыва. Этого парня прозвали Гепеу, потому что он носил кепку на русский манер и постоянно говорил о Ленине. Он был помешан на динамите и бомбах с часовым механизмом. Кажется, даже в «Тодт» он пошел только для того, чтобы научиться обращаться с минами. В результате в один прекрасный день железнодорожный мост взлетел на воздух, а Гепеу перестал показываться в «Тодте». Он прятался в горах и спускался в город по ночам—с бело-красно-зеленой звездой на русской кепке и с большим пистолетом. Он отрастил длинные волосы и стал называть себя Красным Волком.

И вот Красный Волк стоит перед Пином—в русской кепке, но без звезды, с большой обритой головой, подбитым глазом—и плюет кровью.

— Так это ты?—спрашивает Пин.

— Я,—говорит Красный Волк.

— Когда тебя сцапали?

— В четверг. На городском мосту—вооруженного и со звездой на кепке.

— Что с тобой сделают?

— Скорее всего, расстреляют,—говорит Волк как ни в чем не бывало.

— Когда?

— Видимо, завтра.

— Ну а ты?

Красный Волк сплевывает кровь.

— А сам-то ты кто такой?—спрашивает он Пина.

Пин называет свое имя. Он давно мечтал встретиться с Красным Волком и посмотреть, как он крадется ночами по улочкам старого города. Но Пин всегда немножко трусил из-за своей сестры, которая гуляет с немцами.

— Почему ты здесь?—спрашивает Красный Волк. Тон у него почти такой же требовательный, как у допрашивавших Пина фашистов.

Теперь черед Пина пустить пыль в глаза.

— Я спер пистолет у одного немца.

Красный Волк делает благосклонную гримасу.

— Ты из отряда?—спрашивает он серьезно.

— Я-то? Нет,—говорит Пин.

— Ты не организован. Ты не в «гапе»?

Пин в восторге, что опять слышит это слово.

— Да, да,—говорит он.—В «гапе»!

— Ты с кем?

Пин задумывается на секунду, а затем выпаливает:

— С Комитетом.

— С кем?

— С Комитетом. Ты разве его не знаешь?—Пин пытается говорить снисходительно, но это ему не больно-то удается.— Такой тощий, в светлом плаще.

— Чего ты плетешь? В Комитете так много людей, что никому не известно, кто из Комитета, а кто нет. Они готовят восстание. Ничегошеньки-то ты не знаешь.

— Раз о них никому не известно, значит, ты их тоже не знаешь.

Пин не любит разговаривать с парнями такого возраста, как Красный Волк. Они всегда хотят командовать, не доверяют ему и обращаются с ним как с малым ребенком.

— Я-то их знаю,—говорит Красный Волк.—Я из «сима»¹.

Еще одно таинственное слово. «Сим», «гап»... А сколько еще таких слов! Пину хотелось бы узнать их все.

— А я тоже все знаю,—говорит он.—Я знаю, что еще ты называешь себя Гепеу.

— Брехня,—говорит Красный Волк.—Не называй меня так.

— Почему?

— Потому что мы боремся не за социальную революцию, а за национальное освобождение. А когда народ освободит Италию, вот тогда мы и пригвоздим буржуазию к ответственности.

— Как это?—удивляется Пин.

— А вот так. Пригвоздим буржуазию к ответственности. Мне это объяснил комиссар бригады.

— Ты знаешь, кто моя сестра?—Вопрос к делу не относится, но с Пина хватит разговоров, в которых он ничего не смыслит, и он предпочитает говорить о вещах привычных.

— Нет,—произносит Красный Волк.

— Негра из Длинного переулка.

— А кто она такая?

— Как кто? Все знают мою сестру. Негру из Длинного переулка.

Невозможно поверить, чтобы такой парень, как Красный Волк, никогда не слышал о его сестре. В старом городе о ней болтают даже шестилетние мальчишки и вдобавок объясняют девчонкам, чем она занимается, валяясь в постели с мужчинами.

— Смотрите-ка, он не знает, кто моя сестра. Вот так да...

¹ Сим—военная разведка.

Пин собирается кликнуть других арестантов и начать валять дурака.

— На женщин я теперь даже не гляжу,— говорит Красный Волк.— Вот произойдет восстание, тогда будет время...

— Но если тебя расстреляют завтра?— изумляется Пин.

— Посмотрим еще, кто кого раньше расстреляет: они меня или я их.

— Как это так?

Красный Волк немного думает, потом наклоняется и шепчет Пину на ухо:

— У меня разработан план, если он удастся, я сбегу еще до завтра, и тогда все те фашистские ублюдки, которые меня избивали, здорово поплатятся—все до единого.

— Сбежишь, а куда ты денешься?

— Уйду в отряд. К Блондину. И мы проведем такую операцию—закачаешься.

— Возьмешь меня с собой?

— Нет.

— Ну, пожалуйста, Волк, возьми меня с собой.

— Меня зовут Красный Волк,— уточняет обритый.— Когда комиссар сказал мне, что Гепеу не подходит, я спросил у него, как же мне можно себя назвать, и он сказал: назови себя Волком. Тогда я сказал ему, что мне хотелось бы носить какое-нибудь красное имя, потому что волк—зверь фашистский. А он мне сказал: «Тогда назови себя Красным Волком».

— Красный Волк,— говорит Пин,— послушай, Красный Волк, почему ты не хочешь взять меня с собой?

— Потому что ты еще маленький, вот почему.

Поначалу, когда речь зашла об украденном пистолете, казалось, что они с Красным Волком могут стать настоящими друзьями. Но потом Красный Волк стал обходиться с ним как с молокососом, а это Пина всегда ужасно злит. Перед другими ребятами его возраста Пин может по крайней мере показать свое превосходство, рассказывая, как устроены женщины, но Красного Волка такими вещами не проймешь. А все-таки было бы так хорошо уйти с Красным Волком в отряд, устраивать большие взрывы и разрушать мосты, выходить ночью в город и выпускать автоматные очереди по немецким патрулям. Пожалуй, это даже лучше, чем «черная бригада». Вот только в «черной бригаде» носят череп, который выглядит гораздо эффектнее, чем трехцветная звезда.

Все это так необычно: он вместе с другими арестантами ест на террасе, сидя на корточках, и разговаривает с парнем, которого завтра расстреляют; повсюду вертятся флюгеры, а на башнях часовые с автоматами. Похоже на приключенческий фильм—вокруг раскинулся сад с черными тенями, отбрасываемыми силуэтами араукарий. Пин даже забыл, как его били в комендатуре: он не уверен, что все это ему не снится.

Тюремщики ставят Пина в шеренгу арестантов, чтобы развести всех по камерам.

— Ты в какой камере?— спрашивает Пина Красный Волк.

— Не знаю, куда они меня сунут,— отвечает Пин.— Я тут никогда еще не бывал.

— Мне надо бы знать, где ты находишься,— говорит Красный Волк.

— Зачем?

— После узнаешь.

Пин страшно злится на тех, кто то и дело твердит ему: потом узнаешь!

Вдруг ему начинает казаться, что в шеренге арестантов он видит знакомое лицо, очень знакомое.

— Скажи, Красный Волк, ты не знаешь вон того впереди— худющего, что едва ноги волочит?

— Обычный уголовник. Не обращай на него внимания. На уголовников не следует опираться.

— Почему? Я его знаю!

— Это пролетариат, лишенный классового сознания,— говорит Красный Волк.

IV

— Пьетромагро!

— Пин!

Надзиратель довел Пина до его камеры. Едва он открыл дверь, как Пин вскрикнул от удивления. На террасе он не ошибся: еле плетущийся арестант действительно был Пьетромагро.

— Ты его знаешь?— спрашивает тюремщик.

— Черт возьми! Еще бы мне его не знать! Это же мой хозяин!— восклицает Пин.

— Вот и прекрасно. Теперь тут вся ваша лавочка,— бросает тюремщик и запирает дверь.

Пьетромагро в тюрьме всего несколько месяцев, но когда Пин смотрит на него, ему кажется, будто прошли годы. От Пьетромагро остались кожа да кости. Желтая кожа висит на его шее дряблыми складками и покрыта колючей щетиной. Он сидит в углу камеры на клочке соломы, по бокам у него болтаются не руки, а палки. Увидев Пина, Пьетромагро встает. Обычно отношения между Пином и его хозяином всегда ограничивались бранью и тумаками. Но теперь, встретив хозяина здесь и в таком жалком виде, Пин рад и растроган.

Пьетромагро даже разговаривает теперь совсем по-другому:

— Пин! Ты тоже здесь, Пин!

Он говорит хриплым, жалобным голосом и совсем не ругается. Видно, что он тоже рад встрече. Он берет Пина за руки, но вовсе не для того, чтобы, как обычно, вывернуть их за спину. Глаза

Пьетромагро обведены желтыми кругами.

— Я болен, Пин,— говорит он.— Я очень болен. Эти ублюдки не хотят меня отправить в больницу. Здесь теперь ничего не поймешь. Тут сейчас одни политические. Не сегодня завтра меня тоже примут за политического и поставят к стенке.

— Меня они избили,— говорит Пин и показывает кровоподтеки.

— Значит, ты политический,— заключает Пьетромагро.

— Да, да,— говорит Пин,— политический.

Пьетромагро задумывается.

— Ясно, что политический. Я, как увидел тебя здесь, сразу подумал, что теперь ты пошел болтаться по тюрьмам. Стоит кому-нибудь угодить в тюрьму — и крышка, потом ему уже не выбраться: сколько бы его ни выпускали на волю, он все равно угодит обратно. Конечно, если ты политический, дело другое. Знаешь, кабы я понял это раньше, я бы тоже смолоду пошел в политические. От обычных преступлений нет никакого прока. Кто тащит помаленьку, идет на каторгу, а кто гребет миллионы, у того дворцы и виллы. За политические преступления тоже попадаешь на каторгу. От каторги все равно не отвертишься. Но у политических есть хотя бы надежда, что когда-нибудь мир станет лучше, что в нем не будет тюрем. Это мне растолковал один политический, с которым я сидел в тюрьме много лет назад. У него была черная борода, и потом он умер. Я знал уголовников, я знал спекулянтов, я знал валютчиков, я знал разных людей, но таких замечательных парней, как политические, не встречал никогда.

Пин не понимает как следует смысла всей этой речи, но ему жаль Пьетромагро, и он притих, глядя, как на шее хозяина дергается жила.

— Понимаешь, я болен и не могу мочиться. Мне бы в больницу, а я вот сижу на голой земле. У меня в жилах течет уже не кровь, а желтая моча. И я не могу больше пить вино, а мне ужасно хочется напиться, да так, чтобы неделю лыка не вязать. Знаешь, Пин, уголовный кодекс составлен неправильно. В нем написано, чего в жизни делать нельзя: воровать, убивать, скупать краденое, присваивать чужое,— но не написано, что тебе делать вместо этого, когда ты оказываешься в трудных обстоятельствах. Ты меня слушаешь, Пин?

Пин смотрит на его пожелтевшее лицо, заросшее густой щетиной, и ощущает на своем лице его тяжелое дыхание.

— Пин, я скоро помру. Ты должен дать мне одну клятву. Поклянись, что исполнишь, что я тебе скажу. Говори: клянусь, всю свою жизнь буду бороться за то, чтобы не было тюрем и чтобы переделали уголовный кодекс. Ну, говори же: клянусь.

— Клянусь,— говорит Пин.

— Ты не забудешь этого, Пин?

— Не забуду, Пьетромагро,— обещает Пин.

— А теперь помоги мне искать вшей,—говорит Пьетромагро.—Я совсем завшивел. Ты умеешь давить вшей?

— Умею,—говорит Пин.

Пьетромагро заглядывает внутрь рубахи и протягивает Пину подол.

— Смотри получше в швах,—советует он.

Выбирать вшей вместе с Пьетромагро не больно весело, но Пину жалко хозяина. Ведь жилы его наполнены желтой мочой и жить ему, вероятно, осталось самую малость.

— А мастерская? Как дела в мастерской?—спрашивает Пьетромагро.

Ни хозяин, ни подмастерье никогда не отличались трудолюбием, но сейчас они заводят разговор о работе, оставшейся недоделанной, о ценах на кожу и дратву, о том, кто же починит обувь соседям, если их обоих упрятали за решетку. Сидя на соломе в углу камеры и давя вшей, они говорят о подметках, о швах на ботинках, о сапожных гвоздиках и впервые в жизни не кланут свое ремесло.

— Послушай-ка, Пьетромагро,—говорит Пин,—а почему бы нам не устроить сапожную мастерскую в тюрьме? Стали бы чинить сапоги арестантам. А?

Пьетромагро над этим никогда не задумывался. Прежде он охотно отправлялся в тюрьму, потому что в тюрьме можно жить, ничего не делая. Но теперь предложение Пина ему вроде бы по душе. Может, если у него будет работа, болезнь от него отступится.

— Можно попробовать подать прошение. А ты согласился бы?

Да, Пин согласился бы. Такая работа была бы чем-то новым, придуманным ими самими. Она была бы чем-то вроде игры. И сидеть в тюрьме стало бы не так противно. Он сидел бы вместе с Пьетромагро, который бы его больше не бил, и пел бы песни—арестантам и надзирателям.

Как раз в эту минуту надзиратель открывает дверь, за ней—Красный Волк. Он показывает на Пина и говорит:

— Да, это тот самый парнишка, о котором я говорил.

Тогда тюремщик вызывает Пина в коридор и запирает камеру, где остается один Пьетромагро. Пин не понимает, чего они от него хотят.

— Пошли,—говорит Красный Волк.—Ты подсобишь мне вынести мусорный бак.

В коридоре неподалеку действительно стоит железный бак, доверху наполненный отбросами. Пин думает, что это жестоко—ставить зверски избитого Красного Волка на тяжелые работы, и что заставлять его, ребенка, помогать ему—тоже жестоко. Бак такой высокий, что достает Красному Волку до самой груди. И до того тяжелый, что его едва удастся сдвинуть с места. Пока они к нему прилаживаются, Красный Волк шепчет Пину в самое ухо:

— Не дрейфь, это удобный случай.—А затем говорит гром-

ко:—Я искал тебя по всем камерам, мне требуется твоя помощь.

Вот здорово! Пин и мечтать не смел о такой удаче. Правда, Пин быстро приравнивается к новой обстановке, и тюрьма тоже имеет свои хорошие стороны. Пожалуй, он не прочь бы посидеть тут немного, а затем—почему бы и нет!—можно и удрать вместе с Красным Волком. Но чтобы так сразу...

— Сам справлюсь,—говорит Красный Волк надзирателям, которые помогают ему взвалить бак на спину.—Пусть только мальчик поддерживает бак сзади, чтобы он не грохнулся.

Так они и идут: Красный Волк согнулся пополам под тяжестью бака, а Пин, подняв руки, придерживает бак за дно.

— Ты знаешь дорогу вниз?—кричат им вслед тюремщики.— Смотри, не скатись с лестницы.

Как только они сворачивают на первую площадку, Красный Волк просит Пина помочь поставить бак на подоконник. Он уже устал? Нет, Красному Волку надо ему кое-что сказать.

— Слушай меня внимательно: внизу, на террасе, ты выйдешь вперед и заговоришь с часовым. Ты должен привлечь его внимание так, чтобы он не спускал с тебя глаз. Ты маленький, и надо, чтобы, разговаривая с тобой, он наклонил голову. Но не подходи к нему слишком близко, усек?

— А ты что будешь делать?

— Я надену на него шлем. Сам увидишь. Я надену на него шлем Муссолини. Ты понял, что тебе делать?

— Да,—отвечает Пин, который пока что не понял ровно ничего.—А потом?

— Потом и скажу. Постой, давай руки.

Красный Волк достает кусок влажного мыла и намыливает Пину ладони; затем он намыливает ему ноги—с внутренней стороны, и гуще всего колени.

— Для чего это?—спрашивает Пин.

— Увидишь,—отвечает Красный Волк.—Я продумал план до мельчайших подробностей.

Красный Волк принадлежит к поколению, воспитанному на приключенческих книжках с картинками. Только он все в них воспринял всерьез, а жизнь его до сих пор ничему не научила. Пин помогает ему снова взвалить бак на спину и, когда они приближаются к террасе, выходит вперед, чтобы заговорить с часовым.

Часовой стоит у балюстрады и грустно поглядывает на деревья. Пин шагает к нему, засунув руки в карманы. Он опять в своей стихии. В нем снова проснулся уличный забияка.

— Эй!—говорит он.

— Эй!—откликается часовой.

Лицо у него незнакомое. Это печальный южанин с порезами от бритва на щеках.

— Разрази меня гром!—воскликает Пин.—Кого я вижу! А

я-то думаю: куда запропастилась эта старая сволочь. И вот, туды твою, где я тебя встречаю.

Печальный южанин смотрит на Пина, пытаясь приподнять опущенные веки.

— Кто ты? Кто ты такой?

— Собачья жизнь! Теперь ты станешь меня уверять, что не знаешь мою сестру!

Часовой что-то почувал.

— Никого я не знаю! Ты—арестант? Мне с арестантами разговаривать не положено.

А Красного Волка все нет и нет!

— Ко мне это не относится,—возражает Пин.—Ты, может, скажешь, что, с тех пор как служишь здесь, ни разу не заглядывал к одной брюнетке, такой курчавенькой...

Часовой растерян.

— Ну, заглядывал. Что из того?

— К той самой, что живет в переулке, в том, что за поворотом, ну, что сворачивает направо с площади прямо за перекресток, он еще поднимается ступеньками, словно лестница.

Часовой моргает глазами.

— А что тут такого?

Пин думает: «Видно, он и впрямь к ней навевался».

Красный Волк должен бы давно подойти. А что, если он один не удержит бак?

— Сейчас я тебе растолкую,—говорит Пин.—Знаешь, где рыночная площадь?

— Ммм...—произносит часовой и озирается по сторонам.

Так не пойдет. Надо придумать что-нибудь более завлекательное. Но если Красный Волк сейчас не появится, все пропало.

— Погоди,—говорит Пин.

Часовой косится в его сторону.

— У меня в кармане есть фото. Сейчас я тебе его покажу. Я покажу тебе только краешек. Головку. Потому что, если я покажу тебе ее целиком, ты потом всю ночь не заснешь.

Часовой наклоняется к Пину. Ему все-таки удается продрать глаза. Зрачки у него как у пещерного зверя. Наконец-то Красный Волк показался в дверном проеме. Он согнулся под тяжестью мусорного бака, но все-таки крадется на цыпочках. Пин засовывает обе руки в карман, вынимает их оттуда сжатыми вместе, словно он что-то спрятал между ладонями, и помахивает ими перед носом у часового.

— Ага! Тебе не терпится!

Красный Волк приближается тихо, широкими шагами. Пин медленно разжимает руки. Теперь Красный Волк стоит за спиной у часового. Часовой смотрит Пину на руки: они намылены—а почему? И где же фото? Внезапно ему на голову обрушивается лавина мусора. Потом что-то приплюсывает его сверху и сдавливает с боков. Часовой задыхается, но не может освободиться. Он

падает вместе с винтовкой и, чувствуя, что превратился в цилиндр, с грохотом катится по террасе.

Между тем Красный Волк и Пин уже перемахнули через балюстраду.

— Туда,— говорит Красный Волк Пину.— Хватайся и держись крепче.— Он показывает ему на водосточную трубу. Пину страшно, но Красный Волк толкает его, и ему приходится уцепиться за трубу. Намыленные руки и колени скользят. Он словно катится по лестничным перилам, но только теперь ему очень страшно: надо не смотреть вниз и поплотнее прижаться к трубе.

Красный Волк тем временем прыгает в сторону. Ему что— жизнь надоела? Нет, он хочет допрыгнуть до ближайшей араукарии и повиснуть на ее ветвях. Однако ветки под ним ломаются, и он летит вниз, сопровождаемый треском дерева и окруженный дождем мелких игольчатых листьев. Пин чувствует, что земля приближается, и не знает, за кого он больше боится— за себя или за Красного Волка, который, может быть, уже разбился насмерть. Пин, рискуя сломать ноги, опускается на землю и сразу же видит Красного Волка, лежащего под араукарией на гуде обломанных веток.

— Волк!— спрашивает он.— Тебе больно?

Красный Волк поднимает голову. Теперь уже не разберешь, какие ссадины на его лице остались от допросов, а какие появились после падения с дерева. Он озирается по сторонам. Слышны выстрелы.

— Ходу!— говорит Красный Волк.

Он прихрамывает, но все-таки бежит.

— Ходу!— повторяет он.— Туда!

Красный Волк знает здесь каждый уголок и ведет за собой Пина по запущенному парку, заросшему какими-то вьющимися растениями и колючей травой. С башенки по ним стреляют. Но в парке полно живых изгородей и хвойных деревьев, за которыми можно укрыться. Все-таки Пин не вполне уверен, что в него не попали. Известно, что сперва рану не чувствуешь, а потом вдруг валишься как подкошенный. Красный Волк проводит его через калитку в старой ограде и помогает перелезть через стену.

Неожиданно сумерки парка рассеиваются, и перед ними открывается сверкающий яркими красками пейзаж, словно кто-то свел переводную картинку. На мгновение они пугаются и бросаются наземь. Перед ними холм, а вокруг— бескрайнее море.

Они выбирают на заросший гвоздиками луг и ползут по нему, чтобы их не заметили женщины в огромных соломенных шляпах, занятые поливкой. За большим бетонным бассейном свалены свернутые в трубку циновки, которыми зимой накрывают гвоздики, чтобы уберечь их от холода.

— Сюда,— говорит Красный Волк.

Они распластываются за бассейном и загораживаются циновками.

— Здесь мы дождемся ночи,— говорит Красный Волк.

Пин вдруг вспоминает, как он цеплялся за водосточную трубу, как в него стреляли часовые, и его прошибает холодный пот. Когда вспоминаешь об этом, все кажется еще страшнее, чем было на самом деле. Но с Красным Волком можно ничего не бояться. Как хорошо сидеть вместе за бетонным бассейном. Кажется, что играешь в прятки. Только сейчас не разберешь, где кончается игра и начинается жизнь, и приходится играть всерьез. Но это-то Пину как раз и нравится.

— Ты ушибся, Красный Волк?

— Не слишком,— отвечает Красный Волк, он слюнявит палец и проводит им по царапинам.— Я же на ветки упал. У меня все было рассчитано. Ну как, пригодилось мыло?

— Разрази меня гром! Красный Волк, да ты просто чудо. И откуда ты все знаешь?

— Коммунисту надо знать все,— отвечает он.— Коммунист должен уметь справляться с любыми трудностями.

«Он— чудо,— думает Пин.— Вот только задается все время».

— Одно плохо,— говорит Красный Волк,— у меня нет оружия. Дорого я дал бы сейчас за «стэн».

«Стэн»— еще одно таинственное слово. «Стэн», «гап», «сим»— как бы их все запомнить? Но замечание Красного Волка радует Пина. Теперь он тоже может позадаваться.

— Мне об этом заботиться нечего,— говорит он.— Пистолет у меня есть, и я его никому не отдам.

Красный Волк подмигивает ему, стараясь не показать, что заинтересован.

— У тебя есть пистолет?

— Хм-хм,— бормочет Пин.

— Какого калибра? Какого образца?

— Настоящий пистолет. Одно немецкого матроса. Я его спер. Потому меня и засадили.

— Расскажи, как он устроен.

Пин пытается объяснить, а Красный Волк перебирает в памяти пистолеты всех систем и решает, что пистолет Пина— это «П-38». Пин в восторге: «Пе тридцать восемь!» Как здорово звучит: «Пе тридцать восемь!»

— Где ты его держишь?— спрашивает Красный Волк.

— В одном месте,— говорит Пин.

Теперь Пину надо решить, расскажет он Красному Волку о паучьих гнездах или нет. Конечно, Красный Волк необыкновенный парень: он все знает, он все умеет; но паучьи гнезда— страшная тайна, ее можно открыть лишь настоящему другу. Пожалуй, несмотря ни на что, Красный Волк Пину все-таки не очень нравится. Слишком уж он ни на кого не похож— ни на ребят, ни на взрослых: всегда говорит о серьезных вещах и совсем не интересуется его сестрой. Вот если бы его заинтересовали паучьи гнезда— дело другое. Тогда Пин простил бы ему

даже равнодушные к его сестре. В сущности, Пин не понимает, чего это мужчины в ней находят: у нее лошадиные зубы и черные волосатые подмышки. Тем не менее, беседуя с ним, взрослые в конце концов обязательно приплетают к разговору его сестру. Пин пришел к выводу, что она — пуп земли, а сам он — важная персона, потому что он ее брат, брат Негры из Длинного переулка. А все ж таки Пин уверен, что паучи гнезда гораздо интереснее и его сестры, и всего того, чем занимаются мужчины и женщины. Вот только ему никак не встретится человек, который бы это понял. Отыщи он такого человека, и он простил бы ему даже полнейшее безразличие к Негре.

Пин говорит Красному Волку:

— Я знаю одно место, где пауки делают гнезда.

Красный Волк отвечает:

— Я хочу знать, где у тебя «пе тридцать восемь».

Пин говорит:

— Как раз там.

— Объясни-ка мне, где это?

— Хочешь узнать, как устроены паучи гнезда?

— Я хочу, чтобы ты отдал мне пистолет.

— Почему это? Он мой.

— Ты ребенок, который интересуется паучими гнездами, на кой тебе пистолет?

— Разрази меня гром! Он мой, захочу — и заброшу его в овраг.

— Ты капиталист, — говорит Красный Волк. — Так рассуждают только капиталисты.

— Чтоб ты сдох! — кричит Пин. — Пропади ты пропадом!

— Ты что, спятил? Если нас услышат, нам крышка.

Пин отодвигается от Красного Волка, и некоторое время они сидят молча. Красный Волк ему больше не друг. Хотя он и спас его из тюрьмы, а что толку: дружбы у них все равно не получится. Но Пину страшно остаться одному, а эта история с пистолетом связала его и Красного Волка двойной веревочкой. Поэтому не надо отрезать путь к отступлению.

Пин видит, что Красный Волк нашел кусочек угля и что-то пишет на бетонной стенке бассейна. Он тоже берет кусочек угля и начинает рисовать неприличные картинки. Однажды Пин разукрасил стены домов в переулке такой похабщиной, что священник из их церкви подал в мэрию протест и заставил заново оштукатурить дома. Красный Волк пишет не отрываясь и не обращает на Пина внимания.

— Что это ты пишешь? — спрашивает Пин.

— Смерть наци и фашистам! — говорит Красный Волк. — Мы не должны терять даром времени. Пока что здесь можно заняться пропагандой. Бери уголь и тоже пиши.

— Я уже написал, — говорит Пин и показывает на неприличные рисунки.

Красный Волк приходит в ярость и все стирает.

— Ты, видно, совсем рехнулся! Ничего себе пропаганда!

— Какая пропаганда тебе еще нужна? Кто, по-твоему, припрется сюда читать твою писанину?

— Помолчи! Я все продумал: нарисую стрелку на бассейне, потом—на стене, и так до самого шоссе. Кто-нибудь заметит стрелку, пойдет по указанному пути и прочтает.

Еще одна из игр, в которые умеет играть только Красный Волк. Игры у него очень сложные, увлекательные, но совсем не веселые.

— А что же, надо писать: «Да здравствует Ленин!»?

Несколько лет назад в их переулке постоянно появлялась надпись: «Да здравствует Ленин!» Приходили фашисты, стирали ее, а назавтра надпись появлялась снова. Потом однажды арестовали плотника Франсэ, и надписи больше никто не видел. Говорят, Франсэ умер на каком-то острове.

— Пиши: «Да здравствует Италия!»,—говорит Красный Волк.—Пиши: «Да здравствуют Объединенные Нации!»

Пин не любит писать. В школе его били по пальцам, и у их учительницы кривые ноги. Кроме того, «Д»—такая буква, которая у него никогда не получается. Лучше подыскать слово полегче. Немного поразмыслив, Пин начинает выводить ругательства...

Дни теперь стали длинные, и все никак не стемнеет. Красный Волк то и дело поглядывает на руку. Рука для него—часы. Каждый раз, как он смотрит на руку, она становится все темнее. Когда он увидит только черную тень—значит, наступила ночь и можно уходить. Красный Волк помирился с Пином. Пин поведет его к тропе паучьих гнезд, и они выруют пистолет. Красный Волк встает: уже достаточно стемнело.

— Пошли?—спрашивает Пин.

— погоди,—останавливает его Красный Волк.—Я схожу на разведку, а потом вернусь за тобой. Одному не так опасно.

Пиину не хочется оставаться, но идти вот так, не зная, что делается вокруг, тоже боязно.

— Скажи, Красный Волк,—спрашивает Пин,—а ты меня не бросишь?

— Не волнуйся,—говорит Красный Волк.—Даю тебе слово, что вернусь. А потом отправимся за «ле тридцать восемь».

Пин остался один и ждет. Теперь, когда рядом с ним нет Красного Волка, все тени приобретают странные очертания, все шорохи кажутся приближающимися шагами. Вот матрос, ругающийся по-немецки на самом верху переулка: он пришел сюда за ним голый, в одной майке; он говорит, что Пин украл у него и штаны. Потом приходит офицер с детским лицом: он держит на сворке овчарку и хлещет Пина ремнем от португеи. У овчарки

морда переводчика с крысиными усами. Они направляются к курятнику, и Пину становится страшно, а вдруг он спрятался от них как раз в этом курятнике. Но нет, они заходят в курятник и обнаруживают там дневального, доставившего Пина в тюрьму, дневальный почему-то сидит нахохлившись, словно курица.

Вот в убежище Пина заглядывает знакомое улыбающееся лицо: да ведь это же Мишель Француз! Но Мишель надевает фуражку, и улыбка превращается в злобную усмешку. На Мишеле фуражка с черепом—такие носят в «черной бригаде». Наконец-то появляется Красный Волк! Но его догоняет какой-то мужчина, мужчина в светлом плаще; он берет Красного Волка за локоть и, указывая на Пина, недовольно качает головой: нет! Это—Комитет! Почему он не хочет, чтобы Красный Волк подошел к Пину? Комитет показывает на рисунки, которыми разукрашен бассейн, на огромные рисунки, изображающие сестру Пина в постели с немцем. За бассейном—куча мусора. Прежде Пин ее не замечал. Теперь он пытается вырыть в куче яму, чтобы спрятаться в ней, но натывается на человеческую голову. Кого-то заживо зарыли в мусоре. Да ведь это же часовой с печальным лицом, порезанным бритвой!

Пин вздрагивает и просыпается. Сколько он проспал? Вокруг—черная ночь. Почему Красный Волк до сих пор не вернулся? Может быть, он напоролся на патруль и его арестовали? Или, может, Красный Волк возвращался, звал его, пока он спал, и, не дозвавшись, ушел, решив, что Пина тут нет. Или же немцы в поисках их обоих прочесывают местность, и Красный Волк не может сделать ни шагу. Пин вылезает из-за бассейна. Кваканье лягушек заполнило весь небосвод, а море блестит в ночи, словно гигантский меч. Выйдя на открытое место, Пин ощущает себя до странности маленьким, и поэтому ему не страшно. Теперь Пин один, один во всем мире. Он идет по полю, засеянному гвоздиками и ноготками. Пин старается держаться склонов холмов, чтобы обойти верхом комендатуру. Затем он спустится в овраг: там он у себя дома.

Пин голоден. В эту пору уже созрели вишни. Вот дерево, растущее вдалеке от жилья. Каким чудом оно здесь выросло? Пин карабкается по веткам и начинает осторожно обирать ягоды. Прямо из-под рук у него выпархивает большая птица. Она здесь спала. В эту минуту Пин чувствует себя другом всему живому, и ему жаль, что он спугнул птицу.

Несколько утолив голод, Пин набивает карманы вишнями, слезает с дерева и продолжает путь, выплевывая косточки. Потом ему приходится в голову, что фашисты смогут по косточкам выследить его и настичь. Но нет, до такого никому не додуматься. Никому в целом свете, кроме одного человека—Красного Волка. Ну конечно же! Если Пин оставит за собой след из вишневых косточек, Красный Волк отыщет его, куда бы он ни забрел. Надо только выплевывать косточку через каждые два-

дцать шагов. Пин съест вишню, обогнув этот забор, вторую — у давилного пресса, третью — за мушмулой; так он дойдет до тропинки с паучьими норами. Однако вишни у Пина кончаются задолго до оврага. Пин понимает, что теперь Красному Волку его ни за что не найти.

Пин идет по дну почти пересохшего ручья, огибая большие белые камни. Камыши шуршат, как бумага. На дне луж спят угри, длинные, величиной с мужскую руку. Если вычерпать лужу, поймать их легче легкого. У истока ручья, в старом городе, плотно сбитом, словно сосновая шишка, спят насытившиеся любовью, пьяные мужчины и женщины. Сестра Пина спит одна или с кем-нибудь и позабыла о нем: ей нет дела, жив он или умер. Только его хозяин, Пьетромагро, не смыкает глаз, сидя на соломе в своей камере; смертный час Пьетромагро близок, потому что кровь в его жилах постепенно превращается в желтую мочу.

Пин дошел до родных мест: вот она, насыпь, вот тропа паучьих гнезд. Он узнает камни, проверяет, не разрыхлена ли земля. Нет, никто ничего не тронул. С несколько наигранным нетерпением он роет землю ногтями. Коснувшись кобуры, он испытывает такое же сладостное волнение, какое испытывал маленьким, щупывая под подушкой подаренную ему игрушку. Пин извлекает пистолет и пальцем выковыривает набившуюся в пазы землю. Из ствола быстро выползает паучок: он забрался туда и устроил там себе гнездо.

Пистолет великолепен! Это единственное, что у него осталось. Пин сжимает пистолет и воображает себя Красным Волком. Он пытается представить, что сделал бы Красный Волк, будь у него в руке этот пистолет. Но тут он вспоминает, что теперь он остался совсем один и никто ему уже не поможет — ни парни из трактира, такие ненадежные и непонятные, ни предательница-сестра, ни сидящий в тюрьме Пьетромагро. Даже обращаться с пистолетом Пин не умеет. Он не знает, как его заряжают. Если его схватят с пистолетом, то наверняка расстреляют. Пин засовывает пистолет обратно в кобуру и прикрывает его камнями и дерном. Теперь ему не остается ничего другого, как отправиться куда глаза глядят. Что ему делать — он не представляет.

Он идет по насыпи. Ночью, идя по насыпи, ничего не стоит потерять равновесие, и тогда либо промочишь ноги в канаве, либо сверзишься в кусты. Пин изо всех сил старается сохранить равновесие. Он сосредоточил на этом все свои мысли и надеется, что так ему удастся сдержать подкатывающие к горлу слезы. Но плач одолевает его, слезы застилают глаза, набегают на веки и ресницы. Сперва они тихо катятся по щекам, но затем судорожные рыдания раздирают ему грудную клетку. Мальчик плача идет по насыпи, а навстречу ему вырастает громадная человеческая тень. Пин замирает. Человек тоже останавливается.

— Кто идет? — окликает его незнакомец.

Пин не знает, что ответить. Его душат слезы, и он опять

разражается горьким, отчаянным плачем.

Человек подходит к нему. Он большой и толстый. Одет он в штатское, но вооружен автоматом. Через плечо у него перекинута свернутая в скатку короткая накидка.

— Чего ты плачешь?— спрашивает он.

Пин оглядывает его. Это громадный мужчина с приплюснутым лицом, похожим на маски, которыми украшают фонтаны. Усы у него висят книзу, а во рту почти не осталось зубов.

— Что ты здесь делаешь в такой поздний час?— спрашивает великан.— Ты потерялся?

Самое странное в облике этого человека—его шапка, вязаная шапочка, расшитая узорами по краям и с помпоном, не разберешь только, какого цвета.

— Ты потерялся. Но я не могу проводить тебя до дому. В городе меня только и ждут. Не могу я разводить по домам потерявшихся детей. Такое занятие не для меня!

Он говорит, словно оправдываясь, и не столько перед Пином, сколько перед самим собой.

— Вовсе я не потерялся!— заявляет Пин.

— Вот как? Тогда чего ж ты здесь шляешься?— спрашивает великан в вязаной шапочке.

— А сам ты чего тут делаешь?

— Bravo!— говорит великан.— Да ты не трус, но коли ты не трус, так чего же ты плачешь? Я хожу по ночам убивать людей. Испугался?

— Нет. Ты— убийца?

— Ну и ну! Теперь даже дети не боятся тех, кто убивает людей. Нет, я не убийца, но все-таки убиваю.

— Ты и сейчас идешь кого-нибудь убивать?

— Нет. Возвращаюсь.

Пину несколько не страшно. Потому что он знает: можно убивать и оставаться хорошим человеком. Красный Волк все время говорит про убийства, и все-таки он— хороший; живущий напротив их дома художник убил свою жену, и все-таки он— хороший; Мишель Француз теперь, верно, тоже убивает людей, но все равно он всегда останется Мишелем Французом. А потом, великан в шапочке говорит про убийства так грустно, словно казнится.

— Ты знаешь Красного Волка?— спрашивает Пин.

— Черт возьми! Еще бы! Красный Волк из отряда Blondина, а я в отряде у Ферта. Ты-то откуда его знаешь?

— Я был с ним, с Красным Волком, но я его потерял. Мы бежали из тюрьмы. Мы напялили шлем на часового. А перед этим меня отхлестали португеей. За то, что я украл пистолет у матроса моей сестры. Моя сестра—Негра из Длинного переулка.

Великан в вязаной шапочке поглаживает усы.

— Так, так, так,— говорит он, стараясь понять, что же все-таки произошло.— А теперь куда ты собрался?

— Не знаю,— говорит Пин.— Ты куда идешь?
— В лагерь.
— Возьмешь меня с собой?— спрашивает Пин.
— Пошли. Ты ел?
— Вишни,— говорит Пин.
— Ладно. Держи хлеб.— Он достает из кармана кусок хлеба и протягивает Пину.

Они идут оливковой рощей. Пин жует хлеб. По щеке у него время от времени стекает слеза, и он проглатывает ее вместе с мякишем. Великан берет его за руку— рука у великана огромная, теплая, рыхлая, словно ситник.

— Ладно, давай разберемся, что же все-таки произошло... Вначале, как ты говоришь, была женщина...

— Моя сестра,— поясняет Пин.— Негра из Длинного переулка.

— Естественно. В начале всех скверно кончающихся историй всегда оказывается баба. Так уж повелось. Ты еще молодой, запомни, что я тебе скажу: и в войне виноваты только женщины...

v

Проснувшись, Пин видит между ветвями деревьев кусочки неба, такого синего, что глазам больно. Уже день—ясный, погожий день, наполненный пением птиц.

Подле Пина стоит великан и скатывает короткую накидку, которой он его укрывал.

— Потопали, пока светло,— говорит он.

Они шли чуть не целую ночь. Подымались по оливковым рощам, потом брели по заросшим осокой пустошам, потом пробрались сквозь мрачный сосновый лес. Им попадались даже филины. Но Пин ничего не боялся, потому что великан в вязаной шапочке все время держал его за руку.

— Сон валит тебя с ног, мой мальчик,— говорил ему великан, таща его за собой,— но ведь не хочешь же ты, чтобы я взял тебя на руки?

У Пина в самом деле слипались глаза. Он с наслаждением бросился бы в море папоротников, которыми зарос подлесок, и утонул в них. Было почти утро, когда они вышли на поляну, где выжигали уголь.

— Тут мы сделаем привал,— сказал великан.

Пин растянулся на выгоревшей земле и, засыпая, видел, как великан прикрыл его своей накидкой, набрал хворосту и развел костер.

Теперь уже день. Великан мочится на погасшие угли. Пин становится подле него и тоже мочится. Тем временем он смотрит великану в лицо: Пин не успел еще как следует рассмотреть его при свете дня. По мере того как рассеиваются лесные тени и

Пину удается продрать слипающиеся от сна глаза, он начинает замечать в лице великана новые черты. Тот много моложе, чем ему показалось, и сложения он вполне нормального; у него рыжеватые усы и голубые глаза; маску на фонтанах он напоминает из-за большого беззубого рта и приплюснутого носа.

— Еще немного, и мы пришли,—то и дело говорит он Пину, пока они идут по лесу.

Он не умеет вести длинные беседы, но Пину даже нравится идти с ним молча. Пин чуть-чуть стесняется этого человека, который ходит по ночам убивать людей, но который был к нему добр и внимателен. Добрые люди всегда смущают Пина: никогда не знаешь, как себя с ними вести; вечно хочется чем-нибудь досадить им и посмотреть, что они на это скажут. Но великан в вязаной шапочке—случай особый. Он поубивал до черта людей и потому может позволить себе быть добрым.

Великан не может говорить ни о чем, кроме войны, которая никак не кончится; шесть лет он протрубил в альпийских стрелках, и вот опять ему приходится таскаться с автоматом на шею; единственные, кто хорошо устроились в это время, говорит он, так это женщины; он побывал всюду и понял, что нет никого хуже женщин. Вообще-то такие разговоры Пина не занимают, все теперь говорят одно и то же, но Пин еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь говорил такое о женщинах. Однако если подумать, то великан, конечно, прав, он не то что Красный Волк, который вовсе не интересуется женщинами. Похоже, он хорошо знает женщин и усвоил то, что Пин всегда понимал: он убедился, что женщины—существа отвратительные. Вот почему идти вместе с ним на редкость приятно.

Сосняк остался позади, и теперь они идут по каштановому лесу.

— Еще немного,—говорит великан,—и мы в самом деле будем на месте.

Действительно, им тут же попадается мул, взнузданный, но не оседланный, который бродит без присмотра и щиплет траву.

— Хотел бы я знать,—говорит великан,—какой сукин сын оставил его непривязанным? Поди сюда, Корсар, поди ко мне, мой хороший.

Он берет мула за уздечку и тащит за собой. Корсар—старый, облезлый мул, вялый и покорный. Между тем они вышли на лесную поляну, где стоит ветхий сарай—в нем, наверно, пекут каштаны. Вокруг ни души. Великан останавливается, вместе с ним останавливается и Пин.

— Что случилось?—удивляется великан.—Неужто они все ушли?

Пин догадывается, что, видимо, случилось что-то страшное, но он не понимает как следует, в чем тут дело, и не пугается.

— Эй! Есть тут кто?—говорит великан, но не слишком громко и снимает с плеча автомат.

Из сарая выходит маленький человечек с мешком. Завидев их, он швыряет мешок на землю и начинает бить в ладоши.

— О-ля-ля! Привет, Кузен. Нынче будет славная музыка!— Голосок у него резкий и пронзительный.

— Левша!—воскликает спутник Пина.—А где, черт возьми, остальные?

Человечек идет им навстречу, потирая руки.

— Три грузовика, три набитых солдатами грузовика едут по проселочной дороге. Их засекали нынче утром, и навстречу им отправился весь батальон. Скоро начнется концерт.

На человечке матросская курточка с капюшоном из кроличьего меха, прикрывающим его лысый череп. Пин решает про себя, что это, наверно, гном, живущий в лесной хижине.

Великан поглаживает усы.

— Хорошо,—говорит он,—надо бы и мне сходить пальнуть разок-другой.

— Если только успеешь,—замечает человечек.—Я остался приготовить обед. Уверен, что к полудню они закончат бой и вернутся.

— Мог бы присмотреть за мулом, раз уж ты здесь остался,—ворчит великан.—Если бы я его не встретил, он ушел бы к морю.

Человечек привязывает мула и смотрит на Пина.

— А это кто такой? Ты сделал сыночка, Кузен?

— Я скорее сдох бы!—отвечает великан.—Этот паренек устраивает вылазки с Красным Волком и отстал от него.

Не совсем точно, но Пин рад, что его так представили. Пожалуй, великан сделал это нарочно, чтобы придать ему больше веса.

— Ну вот, Пин,—говорит он,—это Левша, повар в отряде. Относись к нему с почтением, потому что он старше тебя и потому что иначе ты не получишь добавки.

— Послушай-ка, новобранец революции,—говорит Левша,—ты способен почистить картошку?

Пину хотелось бы ответить какой-нибудь непристойностью—просто так, ради первого знакомства,—но он как-то сразу не находится и говорит:

— Я-то? Конечно.

— Вот и чудесно. Мне как раз нужен поваренок,—говорит Левша.—Погоди, я схожу за ножами.—И он скрывается в сарае.

— Он правда твой кузен?—спрашивает Пин у великана.

— Нет, Кузен—это я, меня все так зовут.

— И я?

— Что и ты?

— Я тоже могу тебя звать Кузеном?

— Разумеется. Имя как имя, не хуже других.

Пину это нравится. И он решает сразу же попробовать:

— Кузен!—кликает он.

— Чего тебе?

— Кузен, для чего сюда идут грузовики?

— Чтобы спустить с нас шкуру. Но мы встретим их и сами спустим с них шкуру. Такова жизнь.

— Ты тоже пойдешь, Кузен?

— Конечно. Надо идти.

— А у тебя ноги не устали?

— Вот уже семь лет, как я хожу и сплю в сапогах. Даже если я умру, то умру в сапогах.

— Семь лет не снимать сапоги! Разрази меня гром, Кузен, а у тебя не воняют ноги?

Тем временем вернулся Левша. Но он принес не только ножи для чистки картошки. На плече у него сидит птица, которая бьет подрезанными крыльями. За ногу птица привязана цепочкой, словно она — попугай.

— Что это? Что это? — кричит Пин и подносит палец к клюву птицы. Птица вращает желтыми глазами и моментально клюет его в палец.

Левша хохочет.

— Что, сразу убрал руки, товарищ! Берегись, Бабеф — сокол мстительный.

— Где ты его взял, Левша? — спрашивает Пин, который все больше убеждается, что не следует доверять ни взрослым, ни их животным.

— Бабеф — ветеран нашего отряда. Я вынул его из гнезда, когда он был еще птенцом. Он тотем, талисман нашего отряда.

— Было бы лучше, если бы ты оставил его на свободе и дал ему сделаться хищной птицей, — замечает Кузен. — Ничего себе талисман. Он приносит несчастье, почище любого монаха.

Но Левша подносит ладонь к уху и делает им знак помолчать.

— Та-тата... Слышите?

Они прислушиваются: внизу, в долине, раздаются выстрелы. Автоматные очереди и несколько взрывов ручных гранат.

Левша бьет по ладони кулаком и визгливо хихикает.

— Ну вот, ну вот, я же говорил, что от нас никто не уйдет. Мы всем им продырявим черепушки.

— Ладно. Если будем сидеть здесь, не больно-то много мы их продырявим. Я схожу взглянуть, как там, — говорит Кузен.

— Погоди, — останавливает его Левша. — Не хочешь каштанов? Осталось с утра. Джилья!

Кузен резко поднимает голову.

— Кого это ты зовешь? — спрашивает он.

— Жену, — отвечает Левша. — Она здесь со вчерашнего вечера. В городе за ней охотится «черная бригада».

Действительно, в дверях сарая появляется женщина с обесцвеченными перекистью волосами, еще молодая, хотя и малость потрепанная. «Вот уж никогда не подумал бы, что у Левши такая молодая и такая хорошенькая жена», — думает Пин.

Кузен хмурит брови и поглаживает усы.

— Привет, Кузен!—говорит женщина.—Я к вам переселилась.—И она идет к ним, засунув руки в карманы: на ней брюки и мужская рубашка.

Кузен бросает взгляд в сторону Пина. Пин понимает: даже здесь невозможно избавиться от этих проклятых женщин; если все начнут таскать баб в отряд—добра не жди. И Пин горд оттого, что у него с Кузеном есть свои тайны—тайны, касающиеся женщин,—и что они понимают друг друга с одного взгляда.

— Ты принесла с собой хорошую погоду,—говорит Кузен с некоторой горечью и, стараясь не смотреть на нее, показывает на долину, где все еще слышны выстрелы.

— А какой тебе надо погоды?—вмешивается Левша.—Послушай, как поет станковый. А огнеметы! Ну и бардак! Джилья, дай ему миску каштанов, он хочет идти вниз.

Джилья смотрит на Кузена со странной улыбкой. Пин замечает, что глаза у нее зеленые и что шеей она поводит совсем как кошка.

— Нет времени,—бросает Кузен.—Мне действительно пора идти. Готовьте обед. Не робей, Пин.

Он удаляется с накидкой, свернутой в скатку, и автоматом наперевес.

Пину хотелось бы догнать Кузена и не отставать, но у него ломит кости после всех приключившихся с ним передраг, да и выстрелы в долине наводят на него страх. Наверно, неплохо было бы остаться здесь, с Левшой и его женой. Пин не возражал бы, если бы они оказались гномами, живущими в одинокой хижине посреди леса, он стал бы их приемным сыном и разговаривал бы с феями. Но у человечка в матросской курточке вид какой-то вредный и зловещий, как и у хмурого, сердитого сокола, сидящего у него на плече. Жена человечка все время про себя усмехается, а ее муж этого даже не замечает. Пину хочется сказать: «Смотри, Левша, разрази меня гром, на твоем месте я не больно-то доверял бы этой женщине».

— Ты чей, мальчуган?—спрашивает Джилья и проводит рукой по его густым взъерошенным волосам. Пин резко отстраняется: он не выносит женских ласк. К тому же ему не нравится, когда его называют мальчуганом.

— Твой сыночек. Разве ты не заметила, что нынче ночью кой-кого родила?

— Здорово сказано! Здорово!—каркает Левша. Он точит нож и приводит этим сокола в ярость.—У партизана никогда не спрашивают: ты чей? Ответь ей: я сын пролетариата, моя родина—Интернационал, моя сестра—революция.

Пин смотрит на него искоса и подмигивает.

— Что? Ты тоже знаешь мою сестру?

— Не обращай на него внимания,—говорит Джилья.—Он всем в отряде задурил голову перманентной революцией. Комиссары и те против него. Троцкист—вот что говорят они ему, троцкист.

«Троцкист» — еще одно новое слово.

— А что это значит? — спрашивает Пин.

— Сама толком не знаю, — отвечает Джилья, — но слово это к нему вполне подходит: троцкист!

— Дура! — кипятится Левша. — Я не троцкист! Если ты явилась сюда, чтобы злить меня, то я мигом отправлю тебя назад в город, в лапы к «черной бригаде».

— Мерзкий эгоист! — огрызается Джилья. — Из-за тебя...

— Цыц! — прикрикивает на нее Левша. — Дай послушать. Почему больше не поет станковый?

Действительно, станковый, который все время строчил не умолкая, вдруг замолчал.

Левша озабоченно смотрит на жену.

— Что там произошло? Кончились боеприпасы?

— ...Или убили пулеметчика, — с опаской замечает Джилья. Оба прислушиваются, потом переглядываются, и на их лица возвращается злоба.

— Так что же? — спрашивает Левша.

— Я говорила, — срывается на крик Джилья, — что из-за тебя я месяцами места себе не находила от страха, а теперь ты не желаешь, чтобы я здесь скрывалась.

— Сука! — кричит Левша. — Сука! Если я ушел в горы, то только потому... Ну вот! Опять заработал!

Станковый пулемет снова бьет короткими редкими очередями.

— Слава богу, — говорит Джилья.

— ...только потому, — вопит Левша, — что я не мог больше жить с тобой дома: противно было глядеть, что ты вытворяешь!

— Ах так? И когда только война кончится? Когда же наконец опять начнут ходить корабли и я буду видеть тебя не чаще двух-трех раз в год?.. Скажи-ка, что это за выстрел?

Левша озабоченно прислушивается.

— Вроде бы миномет...

— Наш или ихний?

— Дай послушать. Стреляют с той стороны. Ихний.

— С этой стороны — и вдоль долины. Это — наши.

— Тебе только бы поспорить. О чем я думал, когда с тобой связался! Ну конечно, наши... Слава богу, Джилья, слава богу.

— А что я тебе говорила! Троцкист — вот ты кто! Право слово, троцкист!

Пин упиается, теперь он в своей стихии. В переулке супружеские ссоры, случалось, тянулись целый день, и он часами слушал их под окном, словно радио, стараясь не пропустить ни одной реплики; время от времени он вмешивался в перебранку, выкрикивая какую-нибудь шуточку, да так громко, что ссорящиеся замолкали, а потом оба свешивались с подоконника и набрасывались на него.

Тут все это гораздо лучше: посреди леса, под аккомпанемент выстрелов и с новыми, смачными словечками.

Теперь все затихло, сражение в долине, видимо, закончилось; супруги сердито переглядываются, но молчат.

— Разрази меня гром!—изумляется Пин.—Неужели вы уже перестали? Или вы забыли, на чем остановились?

Левша и Джилья смотрят сперва на Пина, потом друг на друга, выжидая, пока один скажет что-нибудь такое, чтобы другой мог тут же начать ему перечить.

— Поют!—воскликает Пин. Из долины действительно несутся звуки какой-то песни.

— Поют по-немецки,—бормочет повар.

— Дурень!—кричит женщина.—Не слышишь, что ли, это «Красное знамя».

— «Красное знамя»?—Человечек поворачивается на пятках и хлопает в ладоши; сокол отваживается полетать над его головой на своих подрезанных крыльях.—Да, это «Красное знамя».

Левша бежит вниз по склону, напевая: «Красное знамя, ты победишь...», добегают до края обрыва и прислушивается.

— Да. Это—«Красное знамя».

Он возвращается бегом, радостно крича, а сокол парит над ним на цепочке, словно бумажный змей. Левша целует жену, дает подзатыльник Пину, и все трое, взявшись за руки, поют: «Красное знамя, ты победишь».

— Послушай,—говорит Левша Пину,—не думай, пожалуйста, что мы ссорились всерьез: мы просто шутили.

— Ну конечно же, шутили,—подтверждает Джилья.—Мой муженек малость глуповат, но он самый лучший муж в мире.

Говоря это, она откидывает с его головы меховой капюшон и целует Левшу в лысину. Пин не знает, верить им или нет, взрослые такие двуличные и лживые, но ему все равно весело.

— Скорее чистить картошку,—командует Левша.—Часа через два они вернутся, а обед еще не готов!

Они высыпают из мешка картошку и, усевшись рядышком, чистят ее и бросают очищенные картофелины в котел. Картофелины ледяные, у Пина коченеют пальцы, но все равно так хорошо чистить картошку вместе с этим странным гномом, не поймешь, злой он или добрый, и его женой, еще более непонятной. Джилья вместо того, чтобы чистить картошку, принялась причисываться. Это раздражает Пина: он не любит работать, когда рядом кто-нибудь бездельничает. Но Левша преспокойно продолжает чистить. Может, у них всегда так заведено и он уже привык?

— Что сегодня на обед?—спрашивает Пин.

— Козлятина с картошкой,—отвечает Левша.—Ты любишь козлятину с картошкой?

Пин хочет есть и говорит, что любит.

— А ты, Левша, хорошо умеешь стряпать?—спрашивает он.

— Еще бы!—воскликает Левша.—Это же мое ремесло. Я двадцать лет проплавал коком. Плавал на кораблях всех видов и всех наций.

— И на пиратских кораблях?—спрашивает Пин.

— И на пиратских.

— И на китайских кораблях?

— И на китайских.

— А ты знаешь китайский?

— Я знаю все языки на свете. Я умею готовить кушанья всех народов мира. Китайская кухня, мексиканская кухня, турецкая кухня.

— А как ты приготовишь сегодня козлятину с картошкой?

— По-эскимосски. Ты любишь эскимосскую кухню?

— Разрази меня гром, Левша! По-эскимосски!

Когда возвращаются первые партизаны, картошка уже кипит.

Пину всегда до смерти хотелось посмотреть на партизан. Поэтому он стоит разинув рот на лужайке перед сараем и не успевает присмотреться к одному, как появляются двое-трое других. Все они обвешаны оружием и пулеметными лентами.

Их можно принять за давно не стриженных и обросших бородами солдат, за армейскую роту, которая потерялась во времена давнишней войны и до сих пор блуждает по лесам в рваных шинелях, в разбитых сапогах, с ружьями, которыми пользуются теперь только для охоты на лесного зверя.

Они устали, вспотели и покрылись густым слоем пыли. Пин ждал, что они придут с песней, но они серьезны и молчаливы. Партизаны подходят к сараю и, не говоря ни слова, бросаются на солому.

Левша радуется, как собачонка, бьет кулаком о ладонь и хохочет.

— На этот раз мы их расколошматили! Как все было? Расскажите же!

Партизаны отмахиваются от него; они разлеглись на соломе и молчат. Чем они недовольны? Кажется, будто они вернулись, потерпев поражение.

— Так, значит, наши дела плохи? У нас большие потери?— Левша поворачивается от одного к другому и ни от кого не получает ответа.

Подошел Ферт, командир отряда. Это худой юноша, с нервно подрагивающими ноздрями, глаза его спрятаны под густыми черными ресницами. Он ходит, ругается со своими людьми, ворчит, что до сих пор не готов обед.

— Так что же все-таки произошло?—не унимается повар.— Победили мы или нет? Если вы мне сейчас же не объясните, что к чему, я не дам вам есть.

— Ну да, да, да, мы победили,—говорит Ферт.— Два грузовика выведены из строя, убито около двадцати немцев, недурные трофеи.

Он говорит обо всем этом пренебрежительно, словно не рад победе.

— Так что же—у нас большие потери?

— Двое ранены, но в других отрядах. Мы-то целехоньки. Понятно?

Левша пристально смотрит на командира: кажется, он начинает о чем-то догадываться.

— Не знаешь, что ли, что нас поставили по ту сторону долины? — кричит Ферт. — Мы не сделали ни единого выстрела! Надо, чтобы в бригаде наконец решили: либо нашему отряду нет доверия и тогда пусть отряд распускают, либо нас считают такими же партизанами, как и всех остальных, и посылают в дело. Если нас в следующий раз опять поставят в арьергард, мы не двинемся с места. А я подаю в отставку. Я болен.

Он сплевывает и уходит в сарай.

Появляется Кузен и окликает Пина:

— Пин, хочешь посмотреть, как проходит батальон? Спустись на край обрыва, оттуда хорошо видно дорогу.

Пин сбегает вниз и раздвигает кусты. Под ним — узкая дорога, и по ней вверх поднимается цепочка людей. Таких людей он еще никогда не видывал: все они яркие, блистательные, бородатые и вооружены до зубов. На них немыслимые шинели, сомбреро, каски, красные шарфы, меховые куртки, одни по поясу обнажены, на других фашистские мундиры, и у всех — драные сапоги; оружие у них разное и Пину совсем неизвестное. Вместе с ними идут пленные, бледные и подавленные. Пин не верит своим глазам, ему кажется, что это мираж, возникший на пыльной дороге.

Вдруг он вздрагивает: вон знакомое лицо. Ну, конечно же, это Красный Волк. Пин окликает его, и через минуту они стоят друг против друга. У Красного Волка через плечо немецкий автомат, нога у него распухла, и он прихрамывает. На нем неизменная русская кепка, но теперь она со звездой, с красной звездой, в центре которой белый и зеленый круг.

— Bravo! — приветствует он Пина. — Сам добрался. Ты молодец.

— Разрази меня гром! — восклицает Пин. — Каким образом ты очутился здесь? Я тебя столько прождал.

— Понимаешь, я пошел вниз взглянуть на стоянку немецких грузовиков. Забрался в соседний сад и с ограды увидел, как у грузовиков строятся вооруженные солдаты. Я сказал себе: тут готовится налет на наших. Если немцы собрались уже сейчас, то к утру они будут на месте. Тогда что было мочи я пустился бежать, чтобы предупредить наших, и поспел как раз вовремя. Но вот растянул ногу, она распухла, и теперь еле ковыляю.

— Ты чудо, Красный Волк, черт тебя побери! — говорит Пин. — Но все-таки подло было бросить меня одного. Ведь ты же дал мне честное слово.

Красный Волк сдвигает русскую кепку на затылок.

— Высшая честь, — говорит он, — это наше дело.

Между тем прибывают новые партизаны из отряда Ферта.

Красный Волк поглядывает на них сверху вниз и холодно отвечает на приветствия.

— Ты угодил в хорошенькую компанию,— замечает он.

— А что?— спрашивает Пин с некоторой тоской. Он здесь уже пообвыкся, и ему не хочется, чтобы Красный Волк опять его куда-нибудь утащил.

Красный Волк наклоняется к его уху.

— Только никому не проговорись. Я это точно выяснил: в отряд к Ферту направляют падло, отбросы бригады. Ты, видимо, попал сюда, потому что ты еще мальчик. Но если хочешь, я попытаюсь вызволить тебя отсюда.

Пину не по душе, что его взяли оттого, что он мальчик. Однако люди, с которыми он познакомился, вовсе не падло.

— Скажи мне, Красный Волк, а Кузен—тоже падло?

— Кузен из тех, кому надо предоставить делать, что ему вздумается. Он всегда бродит один, он молодец и мужик будь здоров. Он подчиняется здесь Ферту, но когда хочет— уходит, когда хочет— приходит, и никто его не держит.

— А Левша? Скажи, правда, что он троцкист?

«Может, он объяснит сейчас, что это значит»,— думает Пин.

— Он—экстремист. Мне сказал об этом комиссар бригады. Ты что, разделяешь его убеждения?

— Нет, нет!— пугается Пин.

— Товарищ Красный Волк,— восклицает Левша, подходя к ним с соколом на плече,— мы сделаем тебя комиссаром Совета старого города!

Красный Волк к нему даже не оборачивается.

— Экстремизм—детская болезнь коммунизма,— говорит он Пину.

VI

В лесу под деревьями стелются лужайки, ершащиеся каштановой скорлупой, и высохшие озера, заполненные пожухлыми листьями. По вечерам языки тумана облизывают стволы каштанов, покрывая их рыжей бородой мха и нежно-голубыми рисунками лишайника. Местонахождение лагеря угадывается издалека по дыму, поднимающемуся над верхушками деревьев, и низким звукам хора, гулко разносящимся в лесной чаще.

Отряд разместился в двухэтажном каменном сарае, первый этаж которого с земляным полом предназначался для скота, а на втором, устланном ветками, спали пастухи. Теперь и наверху и внизу—люди. Они лежат на подстилках из свежего папоротника и сена. Дыму от горящего внизу огня некуда выйти, и он собирается под шифером крыши. От дыма першит в горле и режет глаза. Люди кашляют. Каждый вечер они грудятся вокруг очага, зажженного в помещении, чтобы огонь не заметил враг, а в

центре — Пин, освещенный сбоку отблесками пламени. Он поет во все горло, как пел в трактире. Мужчины тут такие же, как там. Они тоже опираются на локти, и глаза у них такие же жесткие. Только они не смотрят тупо в лиловое дно стаканов. Их руки сжимают сталь оружия, завтра они пойдут стрелять в людей — во врагов.

Вот что отличает этих от прочих. Иметь врага — чувство это для Пина новое, неизведанное. В переулке мужчины и женщины днем и ночью ссорились, ругались, кричали, но там не было той ожесточенности, той страстной ненависти, которые не дают уснуть по ночам. Пин еще не знает, что это такое — иметь врага. В каждом человеческом существе для Пина есть что-то отвратительное, как в червях, и что-то доброе и теплое, к чему он тянется.

Но эти способны думать только об одном. Они словно замороженные, и когда они произносят определенные слова, то у них дрожит подбородок, горят глаза, а пальцы ласкают затвор. Они не просят, чтобы Пин пел им песни о любви или шуточные песенки, им нужны их песни, полные страсти и бури, или же песни о тюрьмах и преступлениях, песни, которые никто, кроме него, не знает, или же слишком уж похабные песни, слова которых приходится прокрикивать, потому что петь их слишком противно. Конечно, Пин восхищается этими мужчинами больше, чем другими людьми: они рассказывают о грузовиках, набитых растерзанными телами, о шпионах, которые голыми подымают в ямах.

Ниже, по склону, лес редет и переходит в поляну. Говорят, на этой поляне зарыты трупы шпионов. Ночью, проходя по ней, Пин малость побаивается: ему кажется, что вот-вот из травы высунется рука и схватит его за пятки.

Пин сделался своим человеком в отряде. Он со всеми запанибрата и знает, как над кем подшутить, чем кого разозлить, а кого и заставить полезть в драку.

— Разрази меня гром, командир,— говорит он Ферту,— мне сказали, что ты для прогулок в долину заказал себе форму — с погонами, шпорами и саблей.

Пин подшучивает над командирами, однако старается не сердить их. Ему нравится водить дружбу с начальством. А потом — так легко уклониться от наряда или пропустить свою очередь идти в дозор.

Ферт — худощавый юноша, сын переселенцев с юга. У него болезненная улыбка и веки, опускающиеся под тяжестью огромных ресниц. По профессии он кельнер. Неплохое ремесло: шьешься подле богачей — сезон работаешь, потом отдыхаешь. Но ему хотелось бы целый год валяться на солнце, закинув за голову нервные руки. И вдруг, неизвестно почему, им овладела слепая ярость. Она не дает ему ни минуты покоя, заставляет вздрагивать его ноздри, чуткие, как антенны, и с каким-то сладострастием сжимать в руках оружие. Командование бригады его недолюбливает, потому что Комитет дал ему неважную

характеристику, а также потому, что в боевых операциях Ферг действует, как ему заблагорассудится. Он любит командовать, но не любит подавать пример. И все же, когда ему захочется, он бывает на высоте. А командиры в бригаде наперечет. Потому-то ему и дали этот отряд, на который нельзя как следует положиться и который используют лишь для того, чтобы изолировать людей, плохо влияющих на остальных. Ферг обижается на командование, делает все по-своему и бьет баклуши. Он вечно твердит, что болен, и целыми днями валяется в сарае на подстилке из свежих папоротников, закинув руки за голову и прикрыв глаза длинными ресницами. От него был бы прок, окажись в его отряде комиссар, который знал бы хорошо свое дело. Но Джачинто, комиссара отряда, одолели вши. Он развел их на себе столько, что уже совершенно не способен справиться с ними. Точно так же он не способен завоевать хоть малейший авторитет ни у командира, ни у партизан. Время от времени его вызывают в батальон или в бригаду, требуют критически разобраться в сложившейся ситуации и попробовать найти выход. Пустая трата времени! Джачинто возвращается в отряд, опять чешется днем и ночью и притворяется, будто не замечает ни того, что делает командир, ни того, что говорят о нем люди.

Ферг выслушивает шутки Пина, подрагивая ноздрями и болезненно улыбаясь. Он говорит, что Пин — лучший боец в отряде, что сам он болен и хочет уйти на покой, что командование отрядом можно поручить Пину, тем более что при любом раскладе все будет делаться шиворот-навыворот. Тут все принимают дразнить Пина, спрашивая, на какой час назначена операция и сумеет ли он прицелиться и выстрелить в немца. Пин злится, когда ему говорят такое, потому что в глубине души он боится оказаться под огнем и не уверен, хватит ли у него духу стрелять в человека. Но в кругу товарищей ему хочется чувствовать себя с ними на равных, и он пускается выдумывать, что он сделает, когда его пошлют в бой. Поднеся кулаки к глазам, Пин изображает, будто строчит из пулемета.

Это его возбуждает: он думает о фашистах, о том, как его били, о лиловых небритых рожах в комендатуре; та-та-та — и все валяются мертвые и грызут кровавыми деснами ковер, постеленный под письменным столом немецкого офицера. Так и у него появляется грубое, суровое желание убивать, ему хочется убить даже забившегося в курятник дневального, что с того, что он придурок — именно за то, что он придурок; ему хочется убить и печального часового в тюрьме — именно за то, что он печальный, и за то, что лицо у него в порезах после бритвы. Это такое же глубоко запрятанное желание, как желание любви, — привкус у него неприятный и резкий, как у табачного дыма и у вина. Желание это, непонятно отчего, свойственно всем людям; удовлетворение его, видимо, сулит какое-то неведомое, таинственное наслаждение.

— Будь я, как ты, мальчишкой,—говорит Пину Дзена Верзила, по прозвищу Деревянная Шапочка,—я бы недолго думая спустился в город, застрелил офицера, а потом опять удрал бы сюда. Ты ведь мальчик, никто на тебя не обратит внимания, ты сможешь прошмыгнуть у них под самым носом. И удрать тебе будет гораздо легче.

Пин приходит в ярость: он знает, что они говорят все это только для того, чтобы посмеяться над ним, а потом они не дадут ему оружия и не выпустят из лагеря.

— Пошлите меня,—предлагает он.— Увидите, что пойду.

— Валяй!—говорят они.— Завтра отправишься.

— На что спорим, что я спущусь и кокну офицера?—спрашивает Пин.

— Ладно,—говорят они.— Ферт, ты дашь ему оружие?

— Пин—поваренок,—отвечает Ферт,—его оружие—нож для чистки картофеля и поварешка.

— Плевал я на ваше оружие. Разрази меня гром! У меня есть пистолет немецкого матроса, ни у кого из вас нет такого!

— Черт возьми!—смеются они.— А где ты его держишь? Дома? Матросский пистолет! Уж не водой ли он, часом, стреляет?

Пин кусает губы. Когда-нибудь он выроет пистолет и совершит чудеса—все просто обалдеют.

— На что спорим, у меня есть пистолет «пе тридцать восемь», я его спрятал в таком месте, о котором никому, кроме меня, не известно.

— Что ты за партизан, если прячешь оружие? Укажи место, и мы сходим за твоим пистолетом.

— Нет. Место знаю только я, и я никому не могу сказать, где оно.

— Почему?

— Там паучье гнездо.

— Заливай! Когда это пауки делали гнезда? Что они—ласточки?

— Если не верите, дайте мне ваше оружие.

— Свое оружие мы сами раздобыли. Оно у нас завоеванное!

— Разрази меня гром! Я свой пистолет тоже завоевал. В комнате сестры, пока матрос...

Они хохочут. В таких вещах они ничегошеньки не понимают. Пину хотелось бы партизанить в одиночку, только со своим пистолетом.

— На что спорим, что я найду твой «пе тридцать восемь»?

Вопрос задан Шкурой, хлипким, вечно зябнувшим пареньком, у которого на верхней губе только-только начали пробиваться усики. Шкура чистит затвор, усердно наяривая его тряпкой.

— Спорим хоть на твою тетку, что ты не знаешь место паучьих гнезд,—говорит Пин.

Шкура кладет тряпку.

— Сопляк! Мне известен в овраге каждый камешек. А со сколькими девчонками я валялся на берегах ручья—тебе даже не снилось.

У Шкуры две пожирающие его страсти: оружие и женщины. Он вызвал восхищение Пина, компетентно обсудив с ним всех проституток в городе, назвав цены, назначаемые его сестрой Негрой, что позволяет предполагать, будто он и ее хорошо знает. Пин и тянется к Шкуре, и вместе с тем испытывает к нему отвращение: хлипкий, вечно зябнущий Шкура постоянно рассказывает либо о девчонках, предательски схваченных за волосы и поваленных на траву, либо о новом, усовершенствованном оружии, которое выдали «черной бригаде». Шкура еще совсем юн, но он успел исколесить всю Италию, выезжая в лагеря авангардистов¹ и участвуя в их маршах. Он сызмальства возился с оружием и, еще не достигнув положенного возраста, побывал в публичных домах всей страны.

— Никто не знает, где находятся паучьи гнезда,—повторяет Пин.

Шкура смеется, обнажая десны.

— А я вот знаю,—говорит он.—Сегодня я иду в город реквизируть автомат у одного фашиста, заодно поищу и твой пистолет.

Шкура то и дело наведывается в город и возвращается обвешанный оружием. Ему как-то всегда удается пронюхать, где спрятано оружие, кто держит его у себя дома, и он идет на риск быть схваченным, лишь бы только пополнить свой арсенал. Пин не знает, верить Шкуре или нет. Может, Шкура и есть тот самый настоящий друг, которого он так долго искал, друг, который знает все о женщинах, о пистолетах и даже о паучьих гнездах? Но Пина отпугивают красноватые, холодные глазки Шкуры.

— Ну а если ты найдешь мой пистолет, ты мне его прине- сешь?—спрашивает Пин.

Шкура хохочет так, что десны вываливаются наружу.

— Если я его найду, он станет моим.

Отобрать оружие у Шкуры не так-то просто. Каждый день в отряде вспыхивают ссоры, потому что Шкура плохой товарищ и утверждает, что ему принадлежит право собственности на все собранные им боеприпасы.

Прежде чем уйти в партизаны, Шкура записался в «черную бригаду», чтобы получить автомат. С этим автоматом он носился по городу и стрелял во время комендантского часа кошек. Потом он дезертировал, прихватив с собой половину оружейного склада. С тех пор Шкура снует между городом и партизанским лагерем, раздобывая чудные автоматические винтовки, ручные гранаты и пистолеты. Он частенько заводит речь о «черной бригаде»; в его

¹ Члены фашистской молодежной организации.

рассказах она окрашена в дьявольские, но не лишённые привлекательности тона: «В «черной бригаде» делают так-то... В «черной бригаде» говорят...»

— Так я пошел, Ферт,—говорит Шкура, облизывая губы и шмыгая носом.

Никому не позволено уходить и приходиться, когда ему вздумается, но экспедиции Шкуры себя оправдывают: он никогда не возвращается с пустыми руками.

— Я отпускаю тебя на два дня,—говорит Ферт,—но не больше. Понятно? И без глупостей—не то тебя схватят.

Шкура продолжает облизываться.

— Я возьму с собой новый «стэн»,—говорит он.

— Нет!—возражает Ферт.—У тебя есть старый. Новый «стэн» понадобится нам.

Обычная история.

— Новый «стэн» принадлежит мне,—гнусит Шкура,—я его принес, я его и заберу.

Когда Шкура начинает задираться, глазки у него еще больше краснеют, словно он вот-вот заплачет, а голос становится еще гнусавее. Но Ферт холоден и непреклонен; только ноздри у него ходят ходуном.

— Тогда ты никуда не пойдешь,—говорит он.

Шкура плачется, припоминает все свои заслуги, говорит, что уйдет из отряда и заберет все свое оружие. Тут он вдруг получает звонкую, сухую пощечину.

— Ты сделаешь то, что я тебе прикажу,—говорит Ферт.— Ясно?

Товарищи смотрят на Ферта одобрительно. Они уважают Ферта не больше, чем Шкуру, но довольны, что командир поставил на своем.

Шкура шмыгает носом, а на его бледной щеке багровеет след пятерни.

— Ты об этом еще пожалеешь,—говорит Шкура. Он поворачивается и выходит из сарая.

В лесу туман.

Мужчины пожимают плечами. Шкура не раз устраивал подобные сцены, а потом всегда возвращался с хорошей добычей. Пин бежит следом за ним:

— Шкура, послушай, мой пистолет...—Он сам не знает, о чем же его попросить.

Но Шкура исчез. Голос Пина тонет в тумане. Он возвращается к остальным партизанам. В волосах у них—солома, в глазах—тоска.

Чтобы разрядить атмосферу, Пин принимается зубоскалить. Он подшучивает над теми, кто менее способен защищаться и кого легче всего разыграть. Сейчас предметом его насмешек оказываются четыре свояка-калабрийца—Герцог, Маркиз, Граф и Барон. Приехав сюда, чтобы жениться на четырех сестрах, переселив-

шихся в эти места из их родной деревни, они образовали что-то вроде самостоятельной партизанской группы под началом Герцога. Он из них самый старший и умеет заставить себя уважать.

На голове у Герцога надета круглая меховая шапка, спущенная на одно ухо; на его квадратном, диком лице топорщатся прямые усы. За поясом у Герцога заткнут громадный австрийский пистолет. Как только кто-нибудь пытается ему перечить, он тут же выхватывает пистолет и тычет его в живот собеседнику. При этом он бормочет страшные угрозы на своем грубом диалекте, переполненным сдвоенными согласными и чудными окончаниями:

— Жж... р-разворо-рочу!

Пин его передразнивает:

— У! Деревенщина!

Герцог, который не любит, чтобы над ним потешались, бросается за Пином с пистолетом и вопит:

— М-мозги выпущу! Р-рога поломаю!

Пин так расхрабрился потому, что он знает — другие партизаны на его стороне и в случае чего заступятся. Все они потешаются над калабрийцами — над Маркизом с его рылым лицом и лбом, начисто съеденным волосами; над Графом, тощим и меланхоличным, как мулат; над косоглазым Бароном — он из них самый молодой, — над его большой черной крестьянской шляпой и медальоном с изображением богоматери, который наподобие серьги болтается у него в ухе.

У себя в деревне Герцог был подпольным скотобойцем. Когда в отряде надо разделать тушу, он всегда берется за это дело. Он исповедует какой-то мрачный культ крови. Свояки часто покидают лагерь и отправляются в долину, на плантацию гвоздик, где живут их жены. Там они устраивают таинственные дуэли с фашистами из «черной бригады», засады, вендетты, словно ведут свою собственную войну, начавшуюся из-за каких-то древних семейных распрей.

Иногда по вечерам Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка просит Пина чуть-чуть помолчать: в книге ему попалось интересное место и он хочет почитать вслух. Случается, что Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка несколько дней не выходит из сарая, валяясь на слезавшемся сене и читая при свете керосиновой лампы большую книгу, на которой написано «Супердетектив». Он готов таскать с собой книгу даже в бой и, поджидая, пока появятся немцы, преспокойно читать, положив книгу на диск пулемета.

Сейчас он читает громко, с монотонной гемузской интонацией, читает какую-то историю о людях, исчезающих в таинственных китайских кварталах. Ферт любит, когда читают вслух, и велит всем помолчать. За всю жизнь ему ни разу не хватило терпения дочитать до конца хотя бы одну книгу, но однажды, сидя в тюрьме, он часами слушал, как какой-то старый заключен-

ный читал вслух «Графа Монте-Кристо», и это ему очень нравилось.

Но Пину непонятно, какое удовольствие можно получить от чтения, и он скучает.

— Деревянная Шапочка,— спрашивает он,— а что скажет твоя жена в ту самую ночь?

— В какую еще ночь?— удивляется Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка, который все еще не привык к шуточкам Пина.

— В ту самую ночь, когда вы впервые ляжете вместе в постель, а ты так все и будешь читать свою распроклятую книгу.

— У, дикобразина!— возмущается Дзена Верзила.

— Бычья Губа!— парирует Пин.

У генуэзца широкое бледное лицо, отвислые губы и водянистые глаза, глядящие из-под козырька фуражки, сшитой из такой грубой кожи, что она кажется деревянной. Дзена Верзила злится и пытается встать:

— Почему—бычья губа? Почему ты назвал меня бычьей губой?

— Бычья губа!— дразнит Пин, стараясь держаться подальше от длиннющих рук Верзилы.— Бычья губа.

Пин так расхрабрился, потому что хорошо знает: генуэзец никогда не даст себе труда погнаться за ним; он поворчит немного, а потом плюнет и опять примется читать заложенную большим пальцем страницу. Это самый ленивый человек во всей партизанской бригаде. Спина у него как у верблюда, но на марше он всегда находит какой-нибудь предлог, чтобы избавиться от поклажи. Все отряды постарались от него отделаться, и в конце концов его направили к Ферту.

— Это жестоко,— говорит Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка,— жестоко, что людям приходится работать всю жизнь.

Правда, есть страны в Америке, где можно стать богатым без большого труда: Дзена Верзила поедет туда, как только опять начнут ходить пароходы.

— Свободная инициатива, весь секрет в свободной инициативе,— говорит он, укладываясь на сено и вытягивая длинные руки. Затем он снова начинает шевелить губами и водить пальцем по книге, в которой рассказывается о жизни в этих свободных и счастливых странах.

Ночью, когда все давно уже спят на соломе, Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка или Бычья Губа загибает начальную страницу, закрывает книгу, тушит керосиновую лампу и, положив щеку на обложку, погружается в дрему.

Сны партизанам снятся редко, и сны у них короткие. Они порождены голодными ночами и связаны с едой, которой вечно не хватает и которую надо делить на всех. Это сны о хлебных огрызках, припрятанных в сундучке. Такие сны должны сниться бездомным собакам, грезящим о зарытой обглоданной кости. Только когда желудок набит, огонь пылает и днем отшагал не слишком много, можно позволить себе увидеть во сне голую женщину и утром проснуться в поту, опустошенным, но с таким радостным чувством, словно снялся с якоря.

Тогда мужчины, валяясь на сене, заводят разговоры о своих женщинах, о тех, какие у них были, и о тех, какие будут, загадывают, что случится, когда кончится война, и перебрасываются пожелтевшими фотографиями.

Джилля спит у стены рядом со своим низеньким, лысым мужем. По утрам она слышит разговоры мужчин, отягощенные желанием, и чувствует на себе их взгляды, которые ползут к ней, извиваясь, словно змеи в сене. Тогда она встает и идет к колодцу умыться. Мужчины остаются в темноте сарая, воображая, как она снимает рубашку и намыливает грудь. Ферт, который не участвовал в разговоре, встает и тоже идет к колодцу. Мужчины бранят Пина, который читает их мысли и подшучивает над ними.

Пин чувствует себя среди них словно среди завсегдаев трактира. Но мир этих мужчин с завшивевшими бородами, проводящих ночи на соломе, суровее и ярче. В них есть что-то новое, что притягивает и отпугивает Пина, а то, что они сходят с ума по женщинам, так ведь это же свойственно всем взрослым.

Время от времени они приходят в лагерь, ведя какого-нибудь незнакомого мужчину с позеленевшим лицом, робко озирающегося по сторонам, который, кажется, не решается даже моргнуть широко распахнутыми глазами и которому никак не удается разжать зубы, чтобы спросить о чем-то таком, что волнует его больше всего на свете. Незнакомец покорно уходит вместе с партизанами в сухие и туманные поля, начинающиеся за лесом, и никогда не бывает, чтобы он вернулся обратно; только порой вдруг замечаешь на ком-нибудь его шляпу, или куртку, или подкованные гвоздями ботинки. Все это таинственно и интересно. Пину всегда хочется пристроиться к маленькому отряду, шагающему по полю, но партизаны, ругаясь, гонят его прочь, и тогда Пин принимается прыгать перед сараем, дразнить вересковым венником сокола и размышлять о тайных ритуалах, совершаемых на влажной от росы траве.

Однажды ночью, желая подшутить над Пином, Ферт говорит ему, что на поле, на третьей меже, для него приготовлен сюрприз.

— Разрази меня гром, Ферт, какой сюрприз? — спрашивает Пин. Его разбирает любопытство, но сереющие в тумане лужайки внушают ему некоторый страх.

— Дойдешь до третьей межи и увидишь,— отвечает Ферт и усмехается, скаля гнилые зубы.

Пин идет один в темноте, и страх пробирает его до костей, как промозглый туман. Поглядывая на контуры горы, он придерживается кромки луга. Свет очага, разложенного в сарае, отсюда уже не виден.

Пин вовремя остановился, он уже занес было ногу. Под ногами у него что-то большое и белое, растянувшееся вдоль межи. В траве валяется разложившийся труп человека. Пин смотрит как завороченный: из земли поднимается черная кисть и скользит по трупу, цепляясь за него, словно рука утопающего. Нет, это не рука: это жаба, одна из тех жаб, что по ночам скачут по лугу; теперь она лезет на живот к покойнику.

Пин мчится по полю; волосы у него встали дыбом, а сердце вот-вот выскочит из груди.

Однажды в лагерь приходит Герцог. Вместе со своими свояками он отсутствовал несколько дней: они ходили в одну из своих таинственных экспедиций. На шее у Герцога черный шерстяной шарф, в руке он держит меховую шапку.

— Товарищи,— говорит он,— они убили моего свояка Маркиза.

Партизаны выходят из сарая и видят приближающихся Графа и Барона, на шее у которых тоже черные шарфы. Они несут гроб, сплетенный из виноградных лоз и веток оливы. В гробу лежит Маркиз, убитый на гвоздичном поле фашистами из «черной бригады».

Свояки ставят гроб перед сараем и склоняют обнаженные головы. Теперь видно, что с ними двое пленных. Это фашисты, которых захватили накануне. Они стоят босиком, лохматые и в сотый раз объясняют каждому, кто к ним подходит, что их мобилизовали насильно.

Герцог велит пленным взять кирки и лопаты и нести гроб на луг, чтобы там закопать его. Процессия пускается в путь: двое фашистов несут на плечах гроб, а по пятам за ним идут три свояка—Герцог в середине, остальные двое по бокам. В левой руке, на уровне сердца, они держат шапки: Герцог—круглую меховую шапку, Граф—вязаный башлык, Барон—большую черную крестьянскую шляпу; в правой руке у каждого—пистолет. Позади них, на некотором расстоянии, идут все остальные, и никто не произносит ни слова.

Потом Герцог затягивает заупокойную молитву. Латинские стихи в его устах звучат сердито, как ругательства, а свояки подтягивают за ним, держа в одной руке направленные на фашистов пистолеты, а в другой—шапки. Похоронное шествие продолжает медленно двигаться по полю. Герцог отдает короткие приказы фашистам идти помедленнее, держать гроб прямо и поворачивать, когда надо свернуть. Потом он приказывает плен-

ным остановиться и рыть могилу.

Партизаны тоже останавливаются на некотором расстоянии от них и наблюдают. Подле гроба и роющих могилу фашистов стоят три свояка-калабрийца с обнаженными головами и черными шерстяными шарфами на шее. Пистолеты их направлены на фашистов, и они бормочут латинские молитвы. Фашисты работают быстро: они уже выкопали глубокую яму и смотрят на свояков.

— Еще,— говорит Герцог.

— Глубже?— спрашивают фашисты.

— Нет,— говорит Герцог.— Шире.

Фашисты продолжают рыть и кидать вверх землю; они вырыли могилу в два, а то и в три раза шире, чем требуется.

— Хватит,— говорит Герцог.

Фашисты осторожно ставят гроб с телом Маркиза на середину могилы; затем они вылезают, чтобы закопать ее.

— Вниз!— приказывает Герцог.— Закапывайте, не вылезая из ямы.

Фашисты, стоя в могиле, бросают лопатами землю только на гроб и остаются в двух ямах, образовавшихся по обе стороны погребенного. Время от времени они оборачиваются, чтобы посмотреть, не разрешит ли им Герцог вылезти, но Герцог хочет, чтобы они продолжали закапывать его свояка, над гробом которого уже образовался большой могильный холм.

Поднимается туман, и партизаны расходятся, оставив у могилы свояков с непокрытыми головами и наведенными на фашистов пистолетами. Густой туман размывает силуэты людей и поглощает звуки.

История с похоронами калабрийца дошла до командования бригады и вызвала неодобрение. Комиссара Джачинто в очередной раз вызвали для рапорта. Тем временем оставшиеся в сарае мужчины дают волю яростному, разнузданному веселью, слушая шутки Пина, который, оставив на этот вечер в покое погруженных в траур калабрийцев, прицепился к Дзене Верзиле по прозвищу Деревянная Шапочка. Джилья стоит на коленях подле очага, время от времени подавая хворост мужу, который поддерживает огонь. Она следит за разговором и смеется, поводя своими зелеными глазами. Всякий раз взгляд ее встречается со взглядом затененных глаз Ферта, и тогда Ферт тоже смеется своим неприятным, болезненным смехом, и они смотрят друг другу в глаза, пока Джилья не опускает взгляд и не делается серьезной.

— Пин, перестань,— говорит Джилья.— Спой лучше «Кто в дверь мою стучится...»

Пин оставляет в покое генуэзца, чтобы позубоскалить над Джильей.

— А тебе хотелось бы, чтобы кто-то постучал в твою дверь,

когда твоего мужа не будет дома?

Левша поднимает лысую голову, покрасневшую от жаркого огня. Когда над ним издеваются, он кисло посмеивается.

— Мне хотелось бы, чтобы постучался ты и чтобы по пятам за тобой гнался Герцог с ножом и кричал: «Отрежу мошонку!» — а я захлопнул бы дверь перед самым твоим носом!

Но попытка втянуть в перепалку Герцога выглядит грубо и не имеет успеха. Пин подходит к Левше и подмигивает ему с ехидной улыбкой.

— Послушай, Левша, неужели правда, что в тот раз ты так ничего и не заметил?

Левша уже усвоил, в чем состоит эта шутка, и знает, что не надо спрашивать, о каком разе идет речь.

— Я-то нет. А ты? — отвечает он с кислой улыбкой; он понимает, что Пин от него не отвяжется, и видит, что все остальные уставились на мальчишку, ожидая, что же он еще выкинет.

— В тот раз, после того как ты целый год был в плавани, твоя жена произвела на свет младенца и отнесла его в приют. А ты вернулся и ничегошеньки не заметил?

Все громко хохочут и начинают приставать к повару.

— Неужто так оно и было, Левша? Ты нам об этом ничего не рассказывал.

Пожелтев, как лимон, Левша тоже хохочет.

— А что, — спрашивает он, — ты встретился с этим младенцем в приюте для убождков? Там он тебе обо всем и рассказал?

— Перестаньте, — говорит Джилья. — До чего же ты вреднощущий, Пин. Спой лучше ту песню: она такая хорошая.

— Если только захочу, — отвечает Пин. — Я не работаю по заказу.

Ферт медленно встает и потягивается.

— Ну-ка, Пин, спой ту, что она просит. А не то отправишься в дозор.

Пин приподнимает упавшую на глаза челку и подмигивает.

— Будем надеяться, что сегодня к нам не пожалуют немцы. Наш командир что-то сильно расчувствовался.

Он уже приготовился увернуться от затрешины, но Ферт смотрит своими затененными глазами на Джилью поверх большой головы бывшего кока. Пин становится в позу, поднимает подбородок, приглаживает волосы и начинает:

Кто в дверь мою стучится, кто в дверь мою стучит,
Кто в дверь мою стучится, кто в дверь мою стучит¹.

Это странная, жестокая песня, которой его выучила одна старуха из их переулка. Вероятно, некогда ее пели певцы на ярмарках.

¹ Перевод Е. Солоновича.

Откройте, это мавры, а я их командир,
Откройте, это мавры, а я их командир.

— Хворост,—говорит Левша и протягивает Джилье руку. Джилья подает ему пучок вереска, но Ферт тянется поверх головы повара и перехватывает вереск. Пин поет:

Скажите мне, Годея, скажите, где ваш сын,
Скажите мне, Годея, скажите, где ваш сын.

Левша все еще стоит с протянутой рукой, а Ферт кидает вереск в огонь. Потом Джилья подает над головой мужа связки сорго, и ее рука встречается с рукой Ферта. Пин продолжает петь, внимательно следя за происходящим:

Мой сын ушел на битву, ушел и не придет,
Мой сын ушел на битву, ушел и не придет.

Ферт удерживает руку Джильки в своей руке, свободной рукой он берет сучья и бросает их в огонь. Потом он отпускает ее руку, и они смотрят друг на друга.

Захочет есть мой мальчик—отравлена еда,
Захочет есть мой мальчик—отравлена еда.

Освещенный огнем очага, Пин не упускает ни одного движения. Каждый новый куплет он поет с нарастающей страстью, вкладывая в песню всю свою душу.

Захочет пить мой мальчик—отравлена вода,
Захочет пить мой мальчик—отравлена вода.

Ферт перешагивает через повара и подходит к Джилье; Пин поет так, что кажется, будто грудь его вот-вот разорвется.

С коня на землю спрыгнет и сгинет под землей,
С коня на землю спрыгнет и сгинет под землей.

Ферт присаживается подле Джильки, она подает ему хворост, а он подкладывает его в огонь. Партизаны жадно слушают: песня подошла к самому драматическому месту.

Ваш мальчик перед вами, ваш сын пришел домой,
Ваш мальчик перед вами, ваш сын пришел домой.

Пламя теперь поднимается слишком высоко. Надо бы выгнать головешки из огня и перестать подбрасывать хворост, а то

наверху может загореться сено. Но Ферт и Джилья продолжают передавать из рук в руки сухие сучья.

Прости меня, мой мальчик, за глупые слова,
Прости меня, мой мальчик, за глупые слова.

Пину жарко, он обливается потом и дрожит от напряжения. Последняя нога звучит так высоко, что в темноте под потолком раздается всплеск крыльев и хриплый клекот: это проснулся сокол Бабеф.

Он вынул меч—и на пол слетела голова,
Он вынул меч—и на пол слетела голова.

Левша сидит, положив руки на колени. Услышав, что проснулся сокол, он встает и идет его покормить.

И голову убийца глазами проводил,
И голову убийца глазами проводил.

Повар всегда носит с собой мешочек с требухой. Он сажает птицу себе на палец, а другой рукой сует ей в клюв кусочки красных, кровоточащих почек.

Где голова упала, там вырастет цветок,
Где голова упала, там вырастет цветок.

Пин делает глубокий вдох, чтобы закончить поэффектнее. Он подходит к Ферту и Джилье и кричит им почти что в ухо:

Другой цветок—мамашу сгубил родной сынок,
Другой цветок—мамашу сгубил родной сынок.

Пин кидается на землю: он вконец обессилел. Все громко аплодируют. Бабеф хлопает крыльями. В эту минуту сверху, где спят партизаны, несется крик:

— Пожар! пожар!

Пламя превратилось в гигантский костер, который, треща, охватывает солому, наваленную на деревянное перекрытие.

— Спасайся кто может!

Люди давятся, хватают оружие, обувь, одеяла, наступают на спящих.

Ферт быстро вскакивает, он уже овладел собой.

— Выносите все из сарая! Живо! Сперва—автоматы и боеприпасы, потом—карабины. И провизию, прежде всего провизию.

Босых, полуодетых людей охватила паника: они хватают первое, что попадает под руку, и давятся у выхода. Пин проскальзывает у них между ног и выбирается наружу. Он бежит

туда, откуда лучше виден пожар: какое великолепное зрелище!

Ферт вытащил пистолет.

— Никто не уйдет, прежде чем все не будет вынесено из сарая. Вытаскивайте — и назад. В первого же, кто отойдет от сарая, стреляю!

Пламя уже лижет стены, но партизаны справились с паникой, они бросаются в огонь и дым, чтобы спасти оружие и провиант. Вместе с ними — Ферт. Он отдает приказания, кашляя от дыма, выходит наружу, чтобы подгонять людей и не дать им разбежаться. В кустах он обнаруживает Левшу с соколом на плече и со всеми манатками. Пинками Ферт гонит его в сарай за котлом для варки пищи.

— Если увижу, что кто-нибудь отлынивает, — берегитесь!

Мимо Ферта проходит Джиля. Она спокойно направляется к горящему зданию, и на лице у нее, как всегда, странная улыбка. Ферт рычит:

— Шла бы ты отсюда!

Ферт — человек отпетый, но в нем бьется жилка настоящего командира; он понимает, что вина за пожар падет на него, что пожар случился из-за его всегдашней безответственности и безалаберности; он знает, что его наверняка ждут большие неприятности; но сейчас он опять командир и, поводя ноздрями, из самого пекла руководит эвакуацией сарая; ему удалось остановить паническое бегство разбуженных огнем людей, которые побросали бы все, лишь бы только спастись.

— Лезьте наверх, — кричит Ферт. — Там остался пулемет и два мешка с патронами!

— Невозможно! — кричат ему. — Перекрытие горит!

Вдруг раздается вопль:

— Перекрытие рушится! Спасайся!

Звучат первые взрывы — разрываются ручные гранаты, оставшиеся в соломе. Ферт командует:

— Всем покинуть помещение! Держаться от него на расстоянии! Уносите подальше все, особенно то, что может взорваться!

Пин со своего наблюдательного пункта на пригорке видит, как пожар вдруг превращается в щелкающий вихрь пламени, похожий на фейерверк, и слышит выстрелы, самые настоящие пулеметные очереди, которые прошивают пламя, после чего одна за другой рвутся обоймы. Издали это, должно быть, похоже на сражение. В небо летят снопы искр; верхушки каштанов кажутся позолоченными. Огонь перекинулся на деревья, и, возможно, сторит весь лес.

Ферт составляет список потерь: пулемет «брета», шесть дисков, два карабина, гранаты, патроны и центнер риса. Карьера его кончена, больше ему никогда не командовать, возможно, его расстреляют. Тем не менее он продолжает поводить ноздрями и отдавать приказы, словно речь идет о самой обычной перемене стоянки.

— Куда мы идем?

— Потом скажу. Прочь из леса. Вперед.

Отряд с оружием и снаряжением идет по лугам индейским строем, ступая след в след. Левша тащит на спине котел, на плече у него примостился Бабеф. На Пина нагрузили всю кухонную утварь. По рядам проходит:

— Немцы услышали пальбу и увидели пожар, скоро они станут наступать нам на пятки.

Ферт оборачивается. Лицо у него желтое и бесстрастное.

— Тихо. Попридержите языки. Идем дальше.

Кажется, что он руководит отступлением после проигранного сражения.

viii

Новый привал устроили на сеновале, таком низком, что в нем не разогнешься, с дырявой крышей, пропускающей дождь. По утрам партизаны разбредаются по поросшим рододендронами склонам, греются на солнце, валяются в покрытых росой кустах и выворачивают наизнанку рубашки, вылавливая вшей.

Пин любит, когда Левша посылает его по делам: с ведрами — к колодцу, чтобы наполнить водой котел, с маленьким топориком — за дровами в выгоревший лес, или к ручью — вылавливать стебли кресса, из которых повар готовит свои салаты. Пин поет, смотрит на небо, на окружающий его мир, омытый утренней влагой, на невиданные расцветки горных бабочек, которые вьются над лугами. Пин заставляет себя ждать, и Левша всякий раз приходит в бешенство: у него то гаснет огонь, то пригорает рис. Когда Пин возвращается со ртом, набитым земляникой, и глазами, в которых все еще порхают бабочки, повар осыпает его ругательствами на всех языках. Тогда Пин опять превращается в веснучатого пострела из Длинного переулка и ввязывается с Левшой в перепалку, которая длится часами, и собирает подле кухни разбредшихся по склону партизан.

Но утром, бродя по тропкам, Пин забывает про старые улицы, на которых скапливается лошачья моча, про мужские и женские запахи, источаемые смятой постелью его сестры, про острый привкус дыма, вырывающегося из открытых затворов, про красный, пронзительный свист ремня, которым его хлестали на допросе в комендатуре. Пин сделал здесь новые, интереснейшие открытия: он увидел желто-коричневые грибы, вылезающие из влажного перегноя, красных пауков, притаившихся в огромной невиданной паутине, длиннолапых и длинноухих зайчат, которые неожиданно выпрыгивают на тропинку и тут же исчезают, улетающая зигзагами.

Однако довольно случайного, мимолетного оклика, чтобы Пин снова заразился мохнатой, муторной кровожадностью, свойственной всему человеческому роду. И вот он уже широко раскрытыми

глазами, вокруг которых густо собрались веснушки, наблюдает за спариванием кузнечиков, или втыкает сосновую иголку в бородавку на спине у жабы, или же мочится на муравейник, глядя, как расслаивается пористая земля и как мутный поток уносит красных и черных насекомых.

Тогда Пин чувствует, что его по-прежнему притягивает мир мужчин, непонятных мужчин с мутным взглядом и губами, влажными от гнева. Тогда он возвращается к Левше, к Левше, который не умеет смеяться без нарастающей с каждым днем горечи, который никогда не ходит в бой и постоянно сидит подле кухонных котлов с соколом, сердито хлопающим у него на плече своими подрезанными крыльями.

Кузен—совсем другое дело. Он вечно причитает, будто только ему известно, как тяжела война, тем не менее он неустанно бродит один, не расставаясь со своим автоматом. Он возвращается в лагерь, чтобы через несколько часов снова уйти, но всегда делает это нехотя, словно из-под палки.

Когда надо кого-нибудь послать на задание, Ферт оглядывается по сторонам и спрашивает:

— Кто пойдет?

Тогда Кузен качает своей большой головой, похожей на маску фонтана, словно чувствует себя жертвой несправедливой судьбы, перекидывает через плечо автомат и, тяжело вздыхая, уходит.

Ферт развалился среди рододендронов, закинув руки за голову и положив на колени автомат; несомненно, командование бригадой решает сейчас, какому наказанию его подвергнуть. У партизан красные от бессонницы глаза и небритые лица; Ферту не хочется смотреть на них, потому что в их взглядах он читает немой укор и неприязнь. Все же партизаны ему подчиняются, словно бы они уговорились не давать себе распускаться. Но Ферт постоянно настороже и время от времени поднимается и отдает приказы: он не может допустить, чтобы партизаны хотя бы на мгновение перестали видеть в нем своего вожака,—это значило бы окончательно потерять над ними власть.

Пин не горюет о том, что сарай сгорел. Пожар был великолепен, а вокруг нового лагеря есть много замечательных мест, в которых для него много неизведанного. Пину чуть-чуть страшновато приближаться к Ферту: а вдруг Ферт захочет взвалить на него всю вину за пожар, ведь это он тогда отвлек его своей песней.

Но Ферт окликает его:

— Пойди-ка сюда, Пин.

Пин подходит к лежащему на спине командиру и не испытывает ни малейшего желания выкинуть какое-нибудь коленце: он знает, что все остальные ненавидят и боятся Ферта, и то, что сейчас он стоит рядом с командиром, наполняет его чувством гордости—он ощущает себя почти что его сообщником.

— Ты можешь почистить пистолет?—спрашивает Ферт.

— Ладно,— говорит Пин.— Разбери пистолет, и я его тебе вычищу.

Пин — мальчишка, которого все немного побаиваются из-за его шуточек, но Ферт чувствует, что сегодня Пин не позволит себе никаких намеков на пожар, на Джилью и на все остальное. Поэтому Пин сейчас единственное существо, с кем он может перекинуться словом.

Ферт расстилает на земле носовой платок и складывает на нем части пистолета, который он постепенно разбирает. Пин спрашивает, нельзя ли ему тоже поразбирать пистолет, и Ферт учит его, как это делать. До чего же хорошо разговаривать с Фертом вот так вполголоса и не осыпать друг друга оскорблениями! Пин сравнивает пистолет Ферта со своим, зарытым, и говорит, какие части у них не похожи, какие детали красивее у одного, а какие — у другого. Ферт не твердит, как обычно, что он не верит, будто у Пина есть зарытый пистолет. А может, это неправда, что все они не верят ему, может, они говорят так только для того, чтобы подразнить его? В сущности, Ферт тоже хороший парень — когда с ним вот так разговоришься; объясняя, как устроен пистолет, он увлекается и становится добрым. И даже пистолеты, когда беседуешь о них, разбираясь в их механизме, перестают быть орудиями убийства и оказываются причудливыми, волшебными игрушками.

Но остальные партизаны угрюмы и необщительны. Они не обращают внимания на Пина, который вертится подле них, и не желают петь. Скверно, когда уныние пронизывает людей, как холодный туман, когда они перестают доверять своим командирам и воображают, что их уже окружили немцы, карабкающиеся с огнеметами по поросшему рододендронами склону. Тогда людям начинает казаться, будто они обречены перебежать из долины в долину и гибнуть один за другим и что войне не будет конца. В такие минуты всегда завязываются разговоры о войне, о том, когда она началась, кому она понадобилась, когда она кончится и будет ли тогда лучше или еще хуже, чем прежде.

Пин не видит большой разницы между теперешним временем и тем, когда войны не было. Ему представляется, что с тех самых пор, как он родился, все только и говорили что о войне; вот только бомбежки и затемнения начались позднее.

Над горами то и дело пролетают самолеты, но здесь можно смотреть на них снизу вверх, не убегая в щели. Потом издалека, со стороны моря, доносятся глухие взрывы бомб, и люди начинают думать о своих домах, возможно уже разрушенных, и говорить, что война никогда не кончится и не поймешь, кому она нужна.

— Я-то знаю, кому она понадобилась! Я видел их своими собственными глазами! — Это встревает в разговор Жандарм. — Студентам, вот кому!

Жандарм еще более невежествен, чем Герцог, и почти так же

ленив, как Дзена Верзила; когда его отец, крестьянин, сообразил, что ничто не заставит его сына взять в руки мотыгу, он сказал: «Иди-ка в жандармы» — и тот пошел; носил черный мундир с белой портупеей, служил в городе и в сельской местности, никогда толком не понимая, что его заставляют делать. После «восьмого сентября»¹ его заставили арестовывать отцов и матерей тех, кто уклонился от призыва; однажды он узнал, что его собираются отправить в Германию, потому что пошли слухи, будто он за короля, и тогда он сбежал. Поначалу партизаны думали пустить его в расход за то, что он арестовывал их родителей, но потом поняли, что он просто жалкий бедняк, и направили в отряд к Ферту, потому что во всех остальных отрядах держать его не пожелали.

— В сороковом году я был в Неаполе, — говорит Жандарм, — и знаю, как было дело. Во всем виноваты студенты. Они размахивали флагами и плакатами, пели про Мальту и Гибралтар и требовали пятиразовой кормежки.

— Помолчи уж, — говорят ему, — ты ведь был тогда жандармом; ты же был на их стороне и разносил повестки в армию.

Герцог плюет и хватается за свой австрийский пистолет.

— Жандар-р-мы каналы, паскуды свинячьи, — цедит он сквозь зубы.

В его краях издавна воевали с жандармами; жандармов у них подстреливали даже на ступеньках придорожных часовен.

Жандарм пытается протестовать, размахивая большими крестьянскими руками перед малюсенькими глазками, спрятанными под низко нависшим лбом.

— Мы, жандармы... Мы, жандармы, были против них! Да, судари мои, мы были против войны, которую затеяли студенты. Мы поддерживали порядок. Но их было в двадцать раз больше, вот война и началась!

Левша сидит поодаль и страдает. Он помешивает рис в котле; если перестать его помешивать, рис тут же пригорит. Время от времени до него долетают отдельные фразы. Левше всегда хочется присутствовать при разговорах о политике: никто из них ничего не понимает, и надобно им все растолковывать. Но сейчас он не может отойти от котла; он ломает себе руки и подпрыгивает.

— Капитализм! — то и дело выкрикивает он. — Эксплуаторская буржуазия!

Ему хочется подсказать им нужное слово, но его никто не слушает.

— В сороковом году в Неаполе, — рассказывает Жандарм, — произошло большое сражение между студентами и жандармами.

¹ 8 сентября 1943 г. правительство Бадолье объявило о капитуляции Италии, после чего гитлеровская Германия оккупировала Северную и Центральную Италию.

Если бы мы, жандармы, сумели им как следует врезать, войны бы не было. Но студенты хотели спалить мэрию. Муссолини, хочешь не хочешь, пришлось начать войну.

— Бедняжка Муссолини!— смеются партизаны.

— Чума на тебя и на твоего Муссолини,— ругается Герцог.

Из кухни доносятся вопли Левши:

— Муссолини! Империалистическая буржуазия!

— Мэрию! Они хотели спалить мэрию! А что было делать нам, жандармам? Сумей мы поставить их на место. Муссолини бы войны не начал.

Левша разрывается между долгом, привязывающим его к котлу, и желанием поговорить о революции. В конце концов его вопли привлекают внимание Дзены Верзила. Левша делает ему знак подойти. Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка думает, что его зовут попробовать рис, и решает приподнять зад. Левша говорит ему:

— Империалистическая буржуазия, скажи им, что войну развязала буржуазия ради раздела рынков сбыта.

— Дерьмо!— говорит Левше Дзена и поворачивается к нему спиной. Рассуждения Левши ему давно осточертели: он не понимает, о чем тот твердит; он ничего не знает ни о буржуазии, ни о коммунизме; мир, где все должны трудиться, его не привлекает, он предпочитает мир, где каждый устраивается как умеет, работая помаленьку.

— Свободная инициатива,— зевает Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка, заваливаясь в рододендроны и почесываясь.— Я за свободную инициативу. За то, чтобы каждый мог свободно разбогатеть.

Жандарм продолжает излагать собственную концепцию истории: есть две борющиеся силы— жандармы, люди бедные, которые стараются поддерживать порядок, и студенты, отродье богачей, всякие важные шишки, адвокаты, доктора, комендаторы, выродки, получающие такое жалованье, какое бедному жандарму даже не снилось, но только им и этого мало, и они посылают жандармов воевать, чтобы получать еще больше.

— Ничего ты не понимаешь,— вылезает Левша, который не может больше выдержать и оставляет Пина присматривать за котлом.— Сверхприбыли— вот причина империализма!

— Иди-ка ты стряпать,— кричат ему.— Смотри, как бы рис опять не пригорел!

Но Левша стоит посреди партизан, низенький и неуклюжий в своей матроской курточке, заляпанной на плечах соколиным пометом, и, размахивая кулаками, не умолкая, говорит об империализме банкиров, о торговцах пушками, о революции, которая начнется во всех странах, как только кончится война,— даже в Англии и в Америке,— об уничтожении границ в красном флаге Интернационале.

Лица у партизан худые, заросшие бородами; волосы космами

свисают на скулы; на них одежда с чужого плеча, цвет которой смахивает на цвет серо-засаленной солдатской формы: пожарные куртки, шинели ополченцев, немецкие мундиры с сорванными нашивками. Они пришли сюда разными путями, многие дезертировали из фашистской армии или были взяты в плен, а потом отпущены на свободу; много желторотых юнцов, которыми движет упрямое своеобразие, неосознанное желание идти наперекор всем и всему.

Они не любят Левшу, потому что его ярость выливается не в выстрелы, а в слова и рассуждения, от которых никому ни жарко, ни холодно, потому что речь в них идет о врагах, которых они не знают,—о капиталистах, о банкирах. Почти так вот Муссолини пытался пробудить ненависть к англичанам и абиссинцам— народам, живущим за морем, которых никто никогда не видел. И все они издеваются над поваром: вскакивают на его узкие покатые плечи, похлопывают его по широкой лысине, отчего сокол Бабеф злится и вращает желтыми глазами.

Вмешивается Ферт; он лежит поодаль, покачивая на коленях автомат.

— Шел бы ты готовить еду, Левша.

Ферту тоже не по душе споры. Он любит говорить только об оружии и об операциях, о новых, укороченных автоматах, которыми начали пользоваться фашисты и которыми не худо бы обзавестись; но больше всего ему нравится отдавать приказы, устроить засаду, а потом неожиданно выскочить на дорогу, стреляя короткими очередями.

— Рис подгорает, иди же, рис подгорает, не слышишь, что ли, как пахнет?— кричат партизаны и пинками подгоняют Левшу.

Левша взывает к комиссару:

— Джачинто, ты же комиссар, почему ты ничего не скажешь? Для чего тебя сюда прислали? Правильно говорят, что это отряд фашистов: тут нельзя даже заикнуться о политике!

Джачинто только что вернулся из штаба бригады, но не успел еще толком ничего рассказать; он весь как-то усох и объявил только, что к вечеру прибудет бригадный комиссар для проведения инспекции. Узнав об этом, люди завалились в рододендроны: теперь придет начальство и во всем разберется, можно ни о чем не думать. Ферт тоже решил, что размышлять ему о чем-либо бесполезно, что бригадный комиссар скажет, какая судьба его ожидает, и улегся в траву; но он все же обеспокоен больше других и ломает пальцами ветки кустарника.

Левша упрекает Джачинто, что в отряде никто не разъясняет людям, ради чего они ведут партизанскую войну и что такое коммунизм. У Джачинто вши густо гнездятся у корней волос на голове и внизу живота. Каждый его волосок облеплен маленькими белыми гнидами, и Джачинто движением, сделавшимся уже механическим,— чик—давит гниды и вшей между ногтями больших пальцев.

— Ребята,—начинает он добродушно, чтобы никого не обидеть, даже Левшу,—каждый знает, для чего он ушел в партизаны. Я был прежде лудильщиком и ходил по деревням, мой крик разносился далеко, и женщины бежали за прохудившимися кастрюлями, чтобы я их запаял. Я заходил в дома, шутил с прислужой, иногда меня угощали яйцами и подносили стаканчик вина. Я располагался паять на лужайке, а вокруг меня всегда собирались ребятишки и смотрели, как я работаю. Теперь я не могу больше ходить по деревням, потому что меня арестуют, а к тому же начались бомбежки, которые все разрушают. Вот почему мы ушли в партизаны—для того, чтобы можно было опять паять кастрюли, чтобы вино и яйца продавались по сносной цене, чтобы нас не арестовывали и чтобы не было больше воздушных тревог. А кроме того, мы хотим, чтоб настал коммунизм—это когда не существует домов, где у тебя перед носом захлопывают дверь, и тебе приходится ночевать в курятнике. Коммунизм—это когда ты заходишь в дом, и если там едят похлебку, то тебя угощают похлебкой, даже если ты простой лудильщик, а если на рождество там едят пирог, то тебя угощают пирогом. Вот что такое коммунизм. К примеру: все мы здесь завшивели. Я пришел в командование бригадой и вижу, что у них там есть порошок против вшей. Тогда я сказал: хорошенькие вы коммунисты, если не прислали нам в отряд этого порошка. А они сказали, что пришли. Вот что такое коммунизм.

Люди слушают внимательно и одобрительно: такие слова всем им хорошо понятны. Тот, кто курил, передает чинарик товарищу, а кому надо идти в дозор, верит, что его не надули с очередью и сменят как раз вовремя. Теперь они говорят о порошке против вшей, который им обещали прислать, спорят, убивает ли он также и гниды или только одних вшей или вообще не убивает вшей, а лишь одурманивает их, так что через час они кусаются еще пуще.

Никто и не вспомнил бы теперь о войне, если бы о ней не завел речь Кузен:

— Говорите что хотите, но, по-моему, войны захотели женщины.

Когда Кузен принимается толковать о женщинах, он становится еще более занудным, чем повар. Но он хоть не старается никого убедить, и кажется, будто он жалуется самому себе.

— Я воевал в Албании,—говорит он,—я воевал в Греции, я воевал во Франции, я воевал в Африке, восемьдесят три месяца я провоевал в рядах альпийских стрелков. И во всех странах я видел набитые женщинами публичные дома, у которых солдаты становились в очередь, публичные дома для унтер-офицеров, публичные дома для офицеров. И я видел женщин не из публичных домов; они шатались с солдатами по пустырям или затаскивали их к себе в комнаты. Все они поджидали солдат, и чем вонючее и вшивее мы оказывались, тем они бывали довольнее. Однажды я дал себя уговорить и не получил никакого

удовольствия, не считая подцепленной мною болезни. Три месяца я мог мочиться, лишь держась руками за стенку. Так вот, когда человек попадает в чужую страну и не видит вокруг себя никого, кроме таких вот женщин, единственное, что его утешает,— это мысли о доме, о жене, если он женат, или о невесте, и он говорит себе: ее-то по крайней мере это миновало. Но потом он возвращается домой, ну и, конечно, обнаруживает, что, пока он находился далеко, его жена подрабатывала и спала то с тем, то с другим. Я говорю не о ком-то лично, а обо всех, потому что так случалось со всеми, имевшими дело с этими потаскухами.

Товарищи знают, что это история самого Кузена, которому в его отсутствие жена изменяла с кем попало и нарожала ему детей неведомо от кого.

— Но это еще не все,—продолжает Кузен.—Знаете, почему фашисты все время хватают наших? Потому, что полным-полно женщин, которые нас предают; жен, доносящих на мужей; все наши женщины, пока мы тут с вами разговариваем, сидят на коленях у фашистов и начищают оружие, которым те придут нас завтра убивать.

Теперь товарищи недовольно ворчат и говорят, чтобы он заткнулся: ладно, ему не повезло, его жена, чтобы избавиться от него, донесла на него немцам, и ему пришлось уйти в горы, но это еще не причина, чтобы поносить чужих жен.

— Женщины, уверяю вас, женщины,—не сдастся Кузен,—только они во всем виноваты. Мысль о войне Муссолини внушили сестры Петаччи¹.

Товарищи переговариваются и задирают Кузена: ну конечно, так сестры Петаччи и заставили Муссолини ввязаться в войну.

— Посмотрите вокруг,—говорит Кузен,—достаточно, чтобы где-нибудь появилась женщина... и сами знаете...

Теперь ему больше никто не возражает. Все поняли, на что он намекает, и хотя послушать, до чего он дойдет.

— ...появляется женщина,—продолжает Кузен,—и сразу находится дурак, который теряет голову...

Кузен предпочитает дружить со всеми, но язык у него без костей, и, когда ему приспичит что-нибудь сказать, он говорит это даже командирам.

— ...ничего еще, когда такой дурак—обыкновенный человек, но если он лицо ответственное...

Все смотрят на Ферта. Он лежит в стороне, но, несомненно, слушает. Все немного побаиваются, как бы Кузен не хватил через край и не разразился скандал.

— ...то кончит он тем, что из-за женщины спалит дом.

Теперь все сказано, думают они, сейчас что-то произойдет. Ладно, чем скорей, тем лучше.

В эту минуту раздается громкий гул, и все небо покрывается

¹ Речь идет о любовнице Муссолини Кларе Петаччи и ее семье.

самолетами. Общее внимание переключается. Летит большое соединение бомбардировщиков. Вероятно, когда оно снова скроется за облаками, какой-нибудь город останется лежать в дыму и развалинах. Пин чувствует, как земля дрожит от грохота и угрозы многих тонн бомб, проносящихся над его головой. В эту минуту старый город пустеет, а бедные люди теснятся в грязных щелях. Где-то южнее слышны глухие взрывы.

Пин замечает, что Ферт встал и с пригорка смотрит в бинокль на нижнюю часть долины. Пин подходит к нему. Ферт подкручивает линзы и улыбается своей болезненной и печальной улыбкой.

— Дашь мне потом посмотреть? — просит Пин.

— Держи, — говорит Ферт и протягивает ему бинокль.

Перед Пином мало-помалу вырисовывается последняя горная гряда, отделяющая их от моря, и большие беловатые клубы дыма, поднимающиеся к небу. Внизу еще гремят взрывы. Бомбежка продолжается.

— Ну же, бросай все, — бормочет Ферт и бьет кулаком по ладони. — И прежде всего на мой дом! Бросай все! И прежде всего на мой дом!

IX

К вечеру прибывают командир бригады Литейщик и комиссар Ким. Раздвигаются клубы тумана, словно дважды открывается дверь, и люди в хижине теснятся вокруг огня и предвстателей бригады. Вошедшие пускают по рукам пачку сигарет, и ее тут же опустошают. Сказать о них почти нечего: Литейщик — плотно сбитый мужчина с русой бородкой и в альпийской шапочке; у него большие светлые и холодные глаза, которые он приподнимает, поглядывая на собеседника исподлобья. Ким — долговязый, с длинным красноватым лицом и все время покусывает усики.

Литейщик — рабочий, родившийся в горах, он всегда спокоен и ясен. Он выслушивает всех с понимающей улыбкой, а сам тем временем решает, как разгруппировать бригаду, где следует поставить станковые пулеметы и когда надо будет ввести в дело минометы. Партизанская война для него — вещь точная и превосходно налаженная, как машина. Его революционный дух вызрел на заводе и хорошо вписался в панораму его родных гор, где ему знаком каждый камешек и где поэтому он может проявить всю свою смелость и находчивость.

Ким — студент. Больше всего он стремится к логичности, к ясному пониманию причин и следствий, но его разум постоянно сталкивается с неразрешимыми проблемами. В нем заложен безграничный интерес к людям. Вот почему он изучает медицину: он знает, что объяснение всему — в механизме живых клеток, а не в философских категориях. Он станет лечить мозг — он будет психиатром. Но людям он несимпатичен: он пристально смотрит

им в глаза, словно хочет прочитать самые сокровенные мысли, и вдруг ни с того ни с сего начинает задавать вопросы: об их родных, об их детстве. Дальше, за людьми, огромная машина развивающихся классов, машина, приводимая в движение незначительными, повседневными поступками, машина, в которой человеческие действия сгорают бесследно, машина, которая зовется историей. Все должно быть логично, все должно быть понятно — и в истории, и в человеческом сознании. Но между ними существует разрыв, темная зона, где коллективный разум становится разумом индивидуальным, порождая чудовищные отклонения и самые непредвиденные сочетания. И вот комиссар Ким с маленьким «стэном» на плече каждый день обходит отряды, беседует с комиссарами, с командирами, знакомится с людьми, копается в их мыслях, разбирает каждую проблему на составные части: «а, б, в», говорит он; все ясно; во всех людях все должно быть так же ясно, как в нем самом.

Партизаны окружили Литейщика и Кима и спрашивают у них, что нового на войне — на далеких фронтах и на той войне, что ведется у них под боком и угрожает их жизням. Литейщик показал на карте место, где вот уже много месяцев назад остановились англичане; это далеко на юге, и партизаны ругают англичан: англичане годятся лишь на то, чтобы бомбить их дома, они не продвинулись ни на шаг, даже не выбросили ни одного десанта. Литейщик объясняет, что надеяться на англичан нечего, что они и сами сумеют одолеть врага. Затем он сообщает главную на сегодня новость: немецкая колонна снова поднимается по долине, чтобы прочесать горы; им известно, где размещены лагеря партизан, и они выжгут все дома и селения. Но утром вся бригада займет позиции на горных высотах; другие бригады ее поддержат, на немцев внезапно обрушится шквал железа и огня, они рассеются по шоссе, и им придется вести бой, отступая.

Партизаны задвигались, кулаки их сжимаются, сквозь сжатые зубы вырываются восклицания; бой для них уже начался, у них такие же лица, с какими они идут драться, — суровые и напряженные; они шарят вокруг себя, чтобы почувствовать под рукой холодную сталь оружия.

— Немцы увидели пожар, вот и заявились, — говорит кто-то. — Мы так и знали.

Ферт стоит несколько поодаль, и отсветы огня падают на его опущенные ресницы.

— Ну да, и пожар тоже, — произносит Ким, медленно выпускающая облако табачного дыма. — Но случилось и еще кое-что.

Все замолкают. Даже Ферт поднимает глаза.

— Один из наших оказался предателем, — говорит Ким.

Атмосфера становится томительно-напряженной, как от ветра, пронизывающего до костей, — это промозглая атмосфера предательства, словно бы навеянная болотным ветром, который всегда приносит в лагерь подобные новости.

— Кто это?

— Шкура. Он объявился в «черной бригаде». По собственной воле. Никто его не арестовывал. По его вине уже расстреляли четверых наших. Он присутствует при допросе каждого арестованного и всех выдает.

Это одно из тех известий, от которых приходишь в отчаяние и которые мешают думать. Всего лишь несколько дней назад Шкура был здесь, среди них, и говорил: «Послушайте, сделаем налет, как я говорю!» Кажется даже странным, что у них за спиной не слышно тяжелого, простуженного дыхания Шкуры, который смазывает пулемет, готовясь к завтрашней операции. Но нет. Шкура там, внизу, в запретном для них городе, на его черном берегу большой череп, у него новое, превосходное оружие, и он больше не боится облав, в нем по-прежнему кипит его ярость, заставляющая его хлопать маленькими, покрасневшими от простуды глазками и облизывать пересохшие от горячего дыхания губы,— ярость, направленная против них, его вчерашних товарищей, ярость, в которой нет ни ненависти, ни обиды— так бывает, когда играешь с приятелями, но в этой игре ставка— жизнь.

Пин вдруг подумал о своем пистолете: а что, если Шкура, которому известны все тропки подле оврага, куда он таскает своих девчонок, нашел пистолет и теперь носит его поверх мундира «черной бригады» смазанным и начищенным до блеска; Шкура умеет обращаться с оружием. А может, все это враки, что он знает место паучьих гнезд; может, Шкура все это выдумал, чтобы пойти в город, предать товарищей и получить новое немецкое оружие, стреляющее почти бесшумно.

— Теперь надо убить его,—говорят товарищи.

Они говорят об этом так, словно смиряются с роковой неизбежностью, и, возможно, в глубине души предпочли бы, чтобы он вернулся к ним завтра, нагруженный новым оружием, и продолжал бы свою мрачную игру, ведя поочередно войну—то вместе с ними, то против них.

— Красный Волк спустился в город организовать против него «гап»,—говорит Литейщик.

— Я тоже ходил бы,—раздается несколько голосов.

Но Литейщик говорит, что теперь надо как следует подготовиться к завтрашнему бою, который будет решающим, и люди уходят проверять оружие и распределять между собой задачи, поставленные перед отрядом.

Литейщик и Ким отзывают в сторону Ферта.

— Мы получили рапорт о пожаре,—говорят они.

— Так вышло,—произносит Ферт. Он не хочет оправдываться. Пусть будет что будет.

— Кто-нибудь несет ответственность за пожар?—спрашивает Ким.

Ферт говорит:

— Во всем виноват только я.

Литейщик и Ким переглядываются. Лица у них серьезные. Ферт думает, что хорошо было бы бросить отряд и, спрятавшись в таком месте, о котором никому, кроме него, не известно, дожидаться конца войны.

— Ты можешь представить нам какие-то оправдания?— спрашивают они так спокойно, что это выводит его из себя.

— Нет. Так вышло.

Сейчас они ему скажут: «Вали отсюда!» Или же скажут: «Мы тебя расстреляем». Но вместо этого Литейщик говорит:

— Ладно. Об этом у нас будет время поговорить в следующий раз. Теперь нам предстоит бой. Ты как—в порядке?

У Ферта желтые глаза, и он смотрит в землю.

— Я болен,—говорит он.

— Постарайся поправиться к завтрашнему дню,—советует Ким.—Завтрашний бой для тебя очень важен. Очень, очень важен. Подумай об этом.

Они не спускают с него пристального взгляда, и Ферту еще больше хочется бросить все к чертовой матери.

— Я болен. Я очень болен,—повторяет он.

— Так вот,—продолжает Литейщик,—завтра вам надо удерживать гребень горы Пеллегрино от пилона до второго ущелья, понял? Потом придется сменить позицию, ты получишь приказ. Размести взводы и огневые точки получше: надо, чтобы в случае необходимости ты мог свободно маневрировать стрелками и пулеметными расчетами. В операции должны пойти все, все до одного, даже каптенармус и повар.

Ферт слушает указания, слегка кивая, а порой встряхивая головой.

— Все до одного,—переспрашивает он,—даже повар?—и задумывается.

— На рассвете все должны быть на гребне, ты понял?—Ким смотрит на него, покусывая усы.—Надеюсь, ты хорошо понял, Ферт?

Кажется, что в его голосе звучит теплота; но, может, это всего лишь его манера убеждать, потому что бой предстоит серьезный.

— Я очень болен,—говорит Ферт,—очень болен.

Комиссар Ким и командир Литейщик идут в сумерках по горам, направляясь в другой отряд.

— Ты убедился, Ким, что это было ошибкой?—спрашивает Литейщик.

Ким качает головой.

— Нет, это не ошибка,—говорит он.

— Да, да,—настаивает командир.—Это была твоя ошибочная идея—сформировать отряд целиком из ненадежных людей и поставить во главе еще более ненадежного командира. Видишь,

каковы результаты? Если бы мы распределили этих людей по разным отрядам, то, оказавшись в здоровой среде, они бы тоже выправились.

Ким продолжает покусывать усы.

— По мне,—говорит он,—лучше отряда не надо; я доволен им больше всех.

Еще немного, и Литейщику изменит его выдержка. Он поднимает свои холодные глаза и почесывает лоб.

— Послушай, Ким, когда же ты наконец поймешь, что у нас боевая бригада, а не лаборатория для экспериментов? Я понимаю, возможно, ты получишь творческое удовлетворение, проследив реакцию всех этих людей, которых тебе угодно расставлять по полочкам: сюда—пролетариат, туда—крестьянство, потом, как ты выражаешься,—люмпен-пролетариат... Мне кажется, что твоя политическая работа заключается в том, чтобы перемешать их всех, дать классовое сознание тем, у кого его нет, и достичь того знаменитого единства... Я не говорю уж, что так было бы гораздо лучше с военной точки зрения...

Киму нелегко выразить свои мысли; он качает головой.

— Ерунда,—говорит он,—ерунда. Люди дерутся все, во всех них кипит та же самая ярость, то есть не та же самая, у каждого своя ярость, но сейчас они дерутся все вместе, на равных, и они едины. Потом есть Ферт, есть Шкура... Ты не представляешь, чего им это стоит... И все-таки и в них та же самая ярость... Достаточно пустяка, чтобы спасти их или же совсем потерять... Вот это и есть политическая работа... Дать им смысл...

Когда Ким говорит с партизанами, анализирует обстановку, он бывает устрашающе ясным, диалектичным. Но в такой вот обычной беседе, с глазу на глаз, Ким излагает свои мысли путанно, и его заносит. Литейщик смотрит на вещи гораздо проще.

— Хорошо, дадим им этот смысл. Введем их, так сказать, в определенные рамки.

Ким раздувает усы.

— Понимаешь, этот отряд—не армия. Им не скажешь: это ваш долг. Тут ты не можешь говорить о долге, не можешь говорить об идеалах—родине, свободе, коммунизме. Они не желают слушать об идеалах, обзавестись идеалами—это легко, это все могут, у наших врагов тоже свои идеалы. Ты видел, что происходит, когда экстремист-повар заводит свои проповеди? Они кричат на него и гонят в шею. Им не нужны ни идеалы, ни мифы, ни возгласы «Да здравствует!». Тут дерутся и умирают, не восклицая: «Да здравствует!»

— А тогда почему?—Литейщик знает, за что он борется, для него все совершенно ясно.

— Послушай,—говорит Ким,—в этот час все отряды поднимаются на высоты, чтобы занять позиции; они идут молча. Завтра среди них будут убитые и раненые. Они это знают. Скажи, что

толкает их на такой путь, что вынуждает их драться? Видишь ли, среди партизан есть крестьяне, жители здешних гор, для них все это много проще. Немцы сожгли их селения, угнали коров. Для них это первая справедливая война, защита их родины. У крестьян есть родина. И вот ты их видишь среди нас, старых и молодых, с их ружьишками, в охотничьих бумазейных куртках; вооружились целые деревни; мы защищаем их родину, и они с нами. И родина становится для них идеалом всерьез, она становится чем-то большим, чем они сами, становится самой сутью борьбы; они жертвуют даже своими домами, даже своими коровами, лишь бы продолжать драться. Для других крестьян, напротив, родина остается чем-то узко эгоистическим: дом, коровы, урожай. И ради того, чтобы сохранить все это, они делаются шпионами, фашистами; целые деревни превращаются в наших врагов... Потом—рабочие. У рабочих за плечами своя история: забастовки, солидарность в борьбе за более высокую заработную плату, за лучшие условия труда. Рабочие—это организованный класс. Они знают, что существует лучшая жизнь и что за лучшую жизнь надо бороться. У них тоже есть родина, родина, которую предстоит завоевать, и они дерутся здесь, чтобы завоевать ее. В городе имеются предприятия, которые будут принадлежать им; они уже видят красные лозунги на стенах складов и флаги на заводских трубах. Но рабочие лишены всякой сентиментальности. Они понимают реальное положение вещей и знают, как изменить его. Потом некоторые интеллигенты или студенты, но их немного; их видишь то тут, то там, с их идеями, смутными, чаще всего ошибочными. Для них родина—слова или в лучшем случае книги. Но, сражаясь, они обнаружат, что их слова не имеют никакого смысла, и откроют новые ценности в человеческой борьбе и станут драться, не задаваясь никакими вопросами, пока не отыщут новые слова и опять не обретут утраченные, старые, но теперь звучащие по-иному, получившие совсем неожиданные значения. Кто еще? Да, иностранные военнопленные, бежавшие из концентрационных лагерей и присоединившиеся к нам; эти дерутся за самую настоящую родину, за далекую родину, на которую они жаждут вернуться и которая для них еще роднее именно потому, что далека. Но, понимаешь ли, все это—борьба символов; понимаешь, человек, для того чтобы убить немца, должен думать не о конкретном находящемся перед ним немце, а о каком-то другом, производя в своем сознании перестановку, подмену, в силу которой вещь или личность становится китайской тенью, мифом?

Литейщик ерошит русую бороду; никакого смысла он во всей этой речи не видит.

— Это не так,—говорит он.

— Это не так,—продолжает Ким,—я знаю. Это не так. Потому что есть нечто иное, общее для всех,—ярость. Отряд Ферта—карманники, жандармы, дезертиры, спекулянты, мешоч-

ники. Люди, существующие в складках общества и за счет его пороков, люди, которым нечего защищать и бороться тоже не за что. Они либо физически, либо психически неполноценны. У них не может зародиться революционная идея, ибо они слишком крепко привязаны к перемалывающему их колесу. Или же такая идея появляется на свет изуродованной, порожденной злобой и унижениями, такой, какой она предстает в бессвязных речах экстремиста-повара, напоминающих крики его сокола со связанными ногами. Почему же тогда они дерутся? У них нет никакой родины—ни настоящей, ни выдуманной. А между тем ты сам знаешь, что они обладают и мужеством, и ненавистью. С детства ими движет исконная ярость, пылающая или потухшая. Это—унизительность их жизни, мрак их пути, грязь их дома, непристойные ругательства, которым они выучиваются, будучи еще детьми. Все это становится ненавистью, неясной, глухой, беспредметной, которая здесь находит выход, превращаясь в пулеметную очередь, в вырытую могилу, в страстное желание убить врага. Но достаточно пустяка, одного ложного шага, душевного выверта—и они оказывают по другую сторону, как, например, Шкура, в «черной бригаде», и стреляют там с той же яростью и с той же ненавистью. В кого стрелять—им все равно.

Литейщик бормочет в бороду:

— Выходит, то, что воодушевляет наших партизан... и фашистов из «черной бригады»... это одно и то же?

— Одно и то же. Пойми, о чем я толкую. Одно и то же...—Ким останавливается и тычет куда-то пальцем, словно в книгу.—Одно и то же, но совсем наоборот. Потому что здесь— правда, там—ложь. Здесь что-то распутывается, там еще крепче заковываются цепи. То бремя зла, которое тяготеет над людьми Ферта, то бремя, которое тяготеет над всеми нами—надо мной, над тобой, та исконная ярость, которая заложена во всех нас и которая находит выход в выстрелах, в убийстве врагов,—все это то же самое, это заставляет стрелять и фашистов, это вынуждает их убивать с той же надеждой на очищение и освобождение. Но, кроме того, есть история. В истории мы—там, где освобождение, фашисты—на стороне, прямо противоположной. Ничто не пропадает даром, ни один жест, ни один выстрел, хотя он, как ты понимаешь, ничем не отличается от ихнего выстрела. У нас все служит освобождению если не нас самих, то наших детей, построению человеческого общества, в котором не останется места для злобы, светлого общества, где люди смогут быть добрыми. Противная сторона—это сторона бесполезных жестов, бесцельной ярости, бесполезной и бесцельной, даже когда она приводит к победе, потому что она не делает историю, потому что она служит не освобождению, а продолжению и увековечению той же ярости и той же ненависти. В результате через двадцать, через сто или тысячу лет мы снова сойдемся и возобновим наш бой с той же слепой ненавистью в глазах и пусть даже не отдавая

себе в том ясного отчета, мы — ради того, чтобы освободить себя, они — чтобы остаться рабами. В этом — смысл борьбы, подлинный смысл, всеобщий, более глубокий, чем всякие официальные формулировки. В стремлении человека к освобождению, просто-му, элементарному освобождению от унижения: для рабочего — это освобождение от эксплуатации, для крестьянина — от невежества, для мещанина — от его табу, для парии — от развращенности. Я считаю, что наша политическая работа состоит в том, чтобы использовать даже человеческую слабость в борьбе против человеческих слабостей, ради нашего освобождения, так же как фашисты используют нищету для увековечения нищеты и человека против человека.

В темноте видны голубые глаза Литейщика и его русая борода. Он качает головой. Он не знает, что такое ярость. Он точен, как механик, и практичен, как горец; борьба для него — хорошо налаженная машина, механизм и назначение которой ему отлично известны.

— Просто невероятно, — говорит он, — просто невероятно, как с такой дурью в голове ты можешь быть хорошим комиссаром и столь ясно объяснять людям их задачу.

Кима не огорчает, что Литейщик не понимает его: с людьми вроде Литейщика надо говорить, оперируя только четкими понятиями, для них существуют конкретные, определенные вещи и «дурь», для них не существует промежуточной, темной зоны. Но Ким не думает об этом, потому что он обладает, как ему кажется, некоторым превосходством над Литейщиком; его цель — научиться рассуждать так же четко, как рассуждает Литейщик; не надо только выходить за пределы той реальности, которая так естественна для Литейщика, все остальное не так уж важно.

— Ладно. Привет!

Они дошли до развилки. Теперь Литейщик пойдет к Ляжке, а Ким — к Грозе. Этой ночью перед боем надо проинспектировать все отряды, и им придется разделиться.

Все остальное не так уж важно. Ким шагает один по тропкам с болтающимся на плече маленьким «стэнэм», напоминающим сломанный костыль. Все остальное не так уж важно. В темноте стволы деревьев приобретают странные, человекоподобные формы. Человек всю жизнь носит в себе детские страхи. «Пожалуй, — думает Ким, — если бы я не был комиссаром, мне было бы страшно. Научиться ничего не бояться — вот конечная цель всякого человека».

Анализируя с комиссарами обстановку, Ким всегда бывает логичным, но, когда он размышляет, пробираясь один по горным тропинкам, вещи опять представляются ему таинственными и магическими, а жизнь людей — наполненной чудесами. «Наши головы все еще забиты чудесами и магией», — думает Ким. Ему то и дело кажется, что он бредет в мире символов, как маленький Ким — по Индии, маленький Ким из книжки Киплинга, столько

раз читанной в детстве.

«Ким... Ким... Кто такой Ким?..»

Почему он идет этой ночью по горам готовить бой, распоряжается жизнью и смертью? Ведь за спиной у него унылое детство ребенка из богатой семьи и тусклое отрочество робкого подростка. Порой ему кажется, что он находится во власти неистового душевного хаоса, что он действует под влиянием истерии. Но нет, мысли его логичны, он может четко проанализировать любое явление. Однако он не обладает внутренней ясностью. Внутренней ясностью обладали его буржуазные родители и деды, создававшие капитал. Внутренней ясностью обладают пролетарии, знающие, чего они хотят, крестьяне, стоящие на посту в своих селениях, внутренней ясностью обладают советские люди, которые разрешили все проблемы и теперь ведут войну упорно и методично не потому, что это прекрасно, а потому, что так надо. Обретет ли когда-нибудь внутреннюю ясность он, Ким? Может, когда-нибудь все мы придем к внутренней ясности и мы сможем многого не понимать, потому что наконец поймем все. А пока что мы придаем большое значение вещам, которых просто не существует.

Большевики! Советский Союз, страна, в которой, вероятно, уже обретена ясность. Наверно, там нет больше человеческой нищеты. А здесь у людей до сих пор мутные глаза и шершавые лица. Но Ким любит этих людей. Ими движет порыв к освобождению. Вот тот мальчик в отряде Ферта — как его зовут? Пин? На его веснушчатом лице сохраняется отпечаток ярости, даже когда он смеется... Говорят, он брат проститутки. За что он дерется? Он не осознает, что дерется за то, чтобы не быть братом проститутки. И те свояки — «деревенщина» — дерутся, чтобы не быть «деревенщиной», бедными переселенцами, на которых все смотрят как на чужаков. И тот жандарм дерется за то, чтобы не чувствовать себя больше жандармом, сыщиком, выслеживающим таких же, как он, людей. Потом Кузен — огромный, добрый и безжалостный Кузен... говорят, он ненавидит женщин и всегда вызывается убивать доносчиков... У всех нас имеется своя тайная рана, и мы деремся, чтобы избавиться от нее. Даже у Литейщика? Может быть, даже у Литейщика: его ярость порождена тем, что он не может переделать мир так, как ему хотелось бы. А вот Красный Волк — другое дело. Для Красного Волка возможно все, что он хочет. Надо научить человека желать того, что правильно и справедливо, — в этом состоит политическая работа, работа комиссара. Научить его, что правильно и справедливо именно то, чего он жаждет, — в этом тоже состоит политическая работа, работа комиссара.

Может быть, когда-нибудь я перестану понимать все это, думает Ким; я обрету внутреннюю ясность и увижу людей совсем в ином свете, пожалуй более правильном. Почему пожалуй? Ну, конечно же, тогда я не стану говорить «пожалуй» — во мне не

останется места для сомнений. И тогда я прикажу расстрелять Ферта. Пока что я слишком связан с этими людьми, со всеми их изломами. Даже с Фертом: я уверен, что Ферт ужасно страдает из-за своего ложного самолюбия, заставляющего его во что бы то ни стало вести себя как последняя сволочь. На свете нет ничего печальнее, чем быть злым. Однажды, мальчиком, я заперся у себя в комнате и не ел два дня. Я ужасно страдал, но двери не отпирал; ко мне пришлось лезть в окно по приставной лестнице. Мне очень хотелось, чтобы меня пожалели. То же самое происходит с Фертом. Но он знает, что мы его расстреляем. Ему хочется быть расстрелянным. У людей возникает порой такое желание. А Шкура, что делает сейчас Шкура?

Ким идет по лиственничному лесу и думает о Шкуре, расхаживающем по городу с черепом на берете в комендантском патруле. Он останется один на один со своей слепой, ничем не оправданной ненавистью, один на один со своим предательством, которое гложет его и делает таким злым, что для него уже нет спасения. Он станет в комендантский час выпускать очереди по кошкам, и горожане будут вздрагивать в постелях, разбуженные выстрелами.

Ким думает о колонне немцев и фашистов, которая, вероятно, уже движется по долине и к утру поднимется на горную гряду, чтобы сеять среди них смерть. Это колонна потерянных жестов; сейчас какой-то солдат проснулся от толчка грузовой машины и подумал: «Я люблю тебя, Кати». Через шесть-семь часов он умрет, мы убьем его; то же самое с ним случится, если он не подумал: «Я люблю тебя, Кати»; все, что он сделал и подумал,— пропало, вычеркнуто из истории.

Я же, напротив, иду по лиственничному лесу, и каждый мой шаг—история; я думаю: «Я люблю тебя, Адриана», и это—история, это будет иметь серьезные последствия, я стану действовать в завтрашнем бою как человек, который сегодня ночью подумал: «Я люблю тебя, Адриана». Возможно, я не сделаю ничего значительного, но история состоит из маленьких безымянных действий, возможно, я завтра умру, может быть даже раньше того немца, но все, что я сделаю, прежде чем умереть, и сама моя смерть станут частью истории, и все мои теперешние мысли окажут влияние на мою завтрашнюю историю, на завтрашнюю историю человечества.

Конечно, вместо того чтобы фантазировать, как в детстве, я мог бы сейчас мысленно разобрать во всех деталях атаку, расположение огневых точек и взводов. Но мне больше по душе думать о всех этих людях, присматриваться к ним, открывать в них что-то новое. Например, что они будут делать «после»? Узнают ли они в послевоенной Италии сделанное ими? Поймут ли они систему, к которой придется тогда прибегнуть для продолжения нашей борьбы, долгой и все время различной освободительной борьбы? Красный Волк поймет, я уверен. Но неизвестно, как

он будет вести эту борьбу на практике, когда не будет возможности совершать внезапные налеты и дерзкие побеги,— он, такой находчивый и так страстно любящий приключения. Хорошо бы, все были такими, как Красный Волк. Непременно надо стать такими, как Красный Волк. Однако среди нас окажутся и другие, которые, вновь став индивидуалистами, сохранят и тогда темную и уже бесплодную ярость. Эти докатятся до преступности, их затянет гигантская машина никчемной ярости: они забудут, что когда-то шли рядом с историей и дышали ее воздухом. Бывшие фашисты скажут: «Партизаны! А что я вам говорил! Я-то раскусил их сразу!» Те никогда ничего не поймут—ни теперь, ни после.

Однажды Ким обретет внутреннюю ясность. В нем и сейчас все уже стало на свои места: Ферт, Пин, свояки-калабрийцы. Он знает, как держать себя с одним и с другим, не испытывая ни страха, ни жалости. Порой, когда он идет ночью, ему приходится продирается сквозь душевный туман, как сквозь туман, поднимающийся сейчас от земли, но он—человек, умеющий анализировать, большевик, он объяснит комиссарам по пунктам: «а, б, в», он—человек, способный справиться с трудной ситуацией. «Я люблю тебя, Адриана».

Долина погружена в туман. Ким идет по каменистому склону как по берегу озера. Лиственницы выплывают из облаков, словно столбики, к которым привязывают лодки. Ким... Ким... кто такой Ким? Бригадный комиссар ощущает себя героем романа, прочитанного в детстве: Ким—это мальчик, наполовину англичанин, наполовину индеец, который странствует по Индии с Красной Ламой в поисках источника очищения.

Два часа назад он беседовал с этим мерзавцем Фертом, с братишкой проститутки; сейчас он подходит к лагерю Грозы, лучшему в бригаде. У Грозы есть взвод русских, бывших военнопленных, бежавших с фортификационных работ, которые ведутся на границе.

— Кто идет?

Это часовой. Он—русский.

Ким называет свое имя.

— Какие новости, комиссар?

Это Алексей, сын колхозника, он был студентом инженерного института.

— Завтра бой, Алексей.

— Бой? Ста фашистам капут?

— Не знаю, Алексей, скольким капут. Я не знаю даже, сколько их вообще.

— Соль и табак, комиссар.

«Соль и табак»—Алексею очень понравилась эта итальянская поговорка. Он постоянно повторяет ее вместо обычного приветствия.

— Соль и табак, Алексей.

Завтра предстоит большой бой. Ким обрел душевную ясность. «А, б, в»,— скажет он. Он продолжает думать: «Я люблю тебя, Адриана». Это—история. Это—и ничего, кроме этого.

Х

Утро, но пока еще не рассвело. Готовясь выступить, люди Ферта молча суетятся подле сарая. Они наворачивают на себя одеяла: прежде чем встанет солнце, на камнях горной гряды будет холодно. Люди думают не о том, что произойдет с ними, а о том, что случится с их одеялами, которые они возьмут с собой: потеряют ли они их, если придется отступить, или одеяла заскорузнут от крови, пока они будут умирать, или же их подберет какой-нибудь фашист, а потом станет хвастаться ими в городе как своими трофеями. Но какое значение имеют одеяла?

Слышно, как над ними, словно в облаках, проходит вражеская колонна. По пыльной дороге крутятся большие колеса; фары погашены, идут солдаты, уже уставшие, которые спрашивают у старшины, далеко ли до цели. Люди Ферта переговариваются вполголоса, словно немецкая колонна проходит за стеной сарая.

Они гремят ложками в котелках, выскребая вареные каштаны: кто знает, когда им доведется в следующий раз поесть. На этот раз в бой отправляется даже повар. Он раздает поварешкой каштаны и, еще не продав как следует глаза, бормочет под нос какие-то ругательства. Джилья тоже встала и бесцельно слоняется между готовящимися к бою людьми. Левша то и дело останавливается и посматривает на нее.

— Послушай, Джилья,—говорит он,—тебе не следует оставаться одной в лагере. Никогда не знаешь, как все обернется.

— А куда мне, по-твоему, деться?—спрашивает Джилья.

— Надень юбку и отправляйся в поселок, женщине ничего не сделают. Ферт, скажи ей, чтоб она уходила, что ей нельзя тут оставаться одной.

Ферт не стал есть каштаны; подняв воротник, он безмолвно руководит подготовкой к выступлению. Он не поднимает головы и отвечает не сразу.

— Нет,—говорит он.—Будет лучше, если она останется здесь.

Джилья бросает взгляд на мужа, словно говоря: «Вот видишь?» Партизаны толкают ее.

— Не путайся под ногами!—ворчат они. И она снова отправляется спать.

Пин тоже юлит у ног партизан, как охотничья собака, когда видит, что ее хозяин собирается на охоту. «Бой,—думает он, стараясь взбудоражить себя.—Сегодня бой».

— Так какую же мне взять?—обращается Пин к Джачинто. Комиссар не обращает на него внимания.

— Ты о чем?—спрашивает он.

— Какую винтовку мне взять?— уточняет Пин.

— Тебе?— удивляется Джачинто.— Ты никуда не пойдешь.

— Нет пойду!

— Убирайся! Сейчас не время таскать с собой ребятишек. Ферт не велел. Проваливай.

В Пине клокочет ярость. Он пойдет за ними без оружия и будет измываться над ними, пока они не выстрелят ему в спину.

— Ферт, Ферт, это правда, будто ты не хочешь, чтобы я шел?

Ферт не отвечает. Он жадно затягивается окурком сигареты, словно собирается его проглотить.

— Вот,— говорит Пин.— Разрази меня гром! Он сказал, что это брехня.

«Сейчас мне влепят по шее»,— думает Пин. Но Ферт ничего не говорит.

— Ферт, можно мне пойти в бой?— спрашивает Пин.

Ферт молча курит.

— Ты слышал, Джачинто,— кричит Пин,— Ферт сказал, что я могу идти.

Вот теперь Ферт прикажет: «Молчать! Останешься здесь!»— скажет он.

Но Ферт не произносит ни слова. В чем дело?

Пин говорит решительно и очень громко:

— Так я пошел.

Пин медленно направляется к месту, где лежит неразобранное оружие, и насвистывает, чтобы привлечь к себе внимание. Он выбирает карабин полегче.

— Я возьму вот этот,— говорит он громко.— Чей он?

Никто ему не отвечает. Пин возвращается назад и, держа карабин за ремень, размахивает им из стороны в сторону. Он усаживается на землю прямо против Ферта и принимается проверять затвор, прицел, спусковой крючок.

Пин напевает:

— А у меня ружье! А у меня ружье!

Кто-то обрывает его:

— Заткнись! Ты что, рехнулся?

Партизаны строятся по взводам и отделениям; несущие амуницию договариваются, когда они будут сменяться.

— Итак, всем ясно,— говорит Ферт.— Отряд займет позицию между пилоном на Пеллегрино и вторым ущельем. Командовать отрядом будет Кузен. Приказы получите из батальона.

Теперь на него обращены все взгляды— сонные мутные глаза глядят сквозь свисающие на лоб вихры.

— А ты?— спрашивают они.

У Ферта немного гноятся опущенные веки.

— Я болен,— говорит он.— Я не могу идти.

Ну вот, теперь будь что будет. Люди его больше ни о чем не спрашивают. «Я конченный человек»,— думает Ферт. Теперь будь что будет. Ужасно, что люди ему ничего не говорят, что они не

протестуют; значит, они уже поставили на нем крест, они рады, что он отказался от последней предоставленной ему возможности—вероятно, они ждали от него этого. Но все же они не понимают, что заставляет его так поступать; даже он сам, Ферг, толком этого не понимает. Но теперь будь что будет. Пусть катится все к чертовой матери.

А Пину-то все понятно. Он смотрит внимательно, прикусив язык, и щеки у него горят. Там, зарывшись в сено, лежит женщина, под мужской рубашкой у нее горячая грудь. По ночам на сене жарко, и женщина то и дело ворочается. Однажды, когда все спали, она встала, сняла брюки и голая завернулась в одеяла. Пин это видел. Пока в долине будет бушевать сражение, в сарае произойдут потрясающие вещи, в сто раз интереснее, чем бой. Вот почему Ферг не возражает, чтобы Пин пошел со всеми. Пин кладет ружье у ног. Он внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Партизаны готовы к выступлению. Никто не говорит Пину, чтобы он встал в строй.

В эту минуту на крыше начинает трепыхаться сокол: он бьет подрезанными крыльями так, словно его охватил приступ отчаяния.

— Бабеф! Я должен накормить Бабефа!—вспоминает Левша и бежит за мешочком с требухой, которой он кормит сокола.

Тогда все сразу набрасываются на Левшу и на его птицу: кажется, что им хочется излить на кого-то накопившуюся в них злобу.

— Чтoб ты подох вместе со своим соколом! Проклятая птица! Всякий раз, как она каркает, случается беда! Сверни ты ей шею!

Левша стоит перед ними с соколом, вцепившимся когтями ему в плечо; он сует ему в клюв кусочки мяса и с ненавистью смотрит на товарищей.

— Сокол мой, и вам нет до него никакого дела, захочу и возьму его с собой!

— Сверни ему шею!—кричит Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка.—Сейчас не время возиться с птичками! Сверни ему шею, а не то мы сделаем это сами!

Он протягивает к соколу руку, и тот так сильно клюет его в тыльную сторону ладони, что выступает кровь. Сокол нахотлился, расставил крылья и, не переставая кричать, вращает желтыми глазами.

— Ну что? Схлопотал! Вот это по-нашему,—говорит повар.

Все сгрудились вокруг Левши; бороды топорщатся от гнева, кулаки подняты.

— Заткни ему глотку! Заткни ему глотку! Он приносит несчастье! Он накличет на нас немцев!

Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка слизывает с руки кровь.

— Убейте его!—говорит он.

Герцог, на спине у которого ручной пулемет, вытаскивает из-за пояса пистолет:

— Я пр-ристр-релю его! Я пр-ристр-релю его!—мычит он.

Сокол не унимается, наоборот, он еще больше неистовствует.

— Алле,—решается Левша.—Алле. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вы этого хотели.

Она берет обеими руками сокола за шею и, зажав его между колен, сильно дергает шею вниз. Все замерли.

— Алле. Теперь вы довольны. Теперь все вы довольны. Алле.

Сокол больше не трепыхается; подрезанные крылья раскинуты, топорщившиеся перья поникли. Левша швыряет птицу в ежевику, и Бабеф застревает в кустах, повиснув вниз головой. Он еще один раз дергается и издыхает.

— В строй! Всем в строй, и пошли!—командует Кузен.— Пулеметчики—вперед, вторые номера за ними. Потом—стрелки. Тронулись!

Пин стоит в стороне. Он не встал в строй. Ферт поворачивается и уходит в сарай. Партизаны удаляются молча по дороге, ведущей в горы. Последним идет Левша в своей матросской курточке, вся спина которой заляпана птичьим пометом.

В сарае темно и пахнет сеном. Завернувшись в одеяла, мужчина и женщина улеглись спать в двух противоположных концах сарая. Они лежат неподвижно. Пин готов поклясться, что оба они не сомкнут глаз до самого рассвета. Он тоже укладывается и лежит с открытыми глазами. Он будет смотреть и слушать, он тоже не сомкнет глаз. Они даже не почесываются и мерно дышат. И все же они не спят. Пин это знает. Мало-помалу им овладевает дремота.

Когда он просыпается, солнце уже высоко. Пин один на примятом сене. Постепенно все вспоминается. Сегодня—бой. Почему же не слышать выстрелов? Сегодня командир Ферт устроит жене повара веселенький день! Пин встает и выходит. День такой же голубой, как другие дни, и даже страшно, что он такой голубой, день, когда громко поют птицы, и даже страшно оттого, что они поют.

Кухня помещается в полуразрушенном соседнем сарае. В кухне Джилья. Она развела огонь под котелком с каштанами. У нее бледное лицо и измученные глаза.

— Пин! Хочешь каштанов?—Она говорит это деланным материнским тоном, словно пытаясь его задобрить.

Пин ненавидит материнский тон женщин: он знает, что все это ложь, что они не любят его, так же как его не любит сестра, а только немного побаиваются. Он ненавидит их материнский тон.

Значит, «дело» сделано? А где же Ферт? Пин решает спросить обо всем Джилью.

— Ну, все в порядке?—говорит он.

— Что?—не понимает Джилья.

Пин не отвечает, он смотрит на нее исподлобья и корчит

презрительную гримасу.

— Я только что встала,— говорит Джилья с невинным видом.
«Поняла, сука,— думает Пин,— все поняла».

Но все же ему кажется, что ничего серьезного пока что не произошло: женщина вся в напряжении, кажется, что она затаила дыхание.

Появляется Ферт. Он ходил умыться: на шее у него болтается цветастое вылинявшее полотенце. У него лицо пожилого человека—изрытое морщинами, с глубокими тенями у глаз.

— Все еще не стреляют,— говорит он.

— Разрази меня гром, Ферт!— восклицает Пин.— Что они, заснули там, что ли!

Ферт не отвечает и цыкает зубом.

— Подумать только, вся бригада спит на гряде,— продолжает Пин,— а немцы крадутся сюда на цыпочках. «Raus! Raus!» Мы оборачиваемся—и вот они.

Пин показывает пальцем, и Ферт оглядывается. Потом, досадуя, что оглянулся, пожимает плечами. Он усаживается у очага.

— Я болен,— говорит он.

— Хочешь каштанов?— спрашивает Джилья.

Ферт сплевывает в огонь.

— От них у меня изжога,— говорит он.

— Тогда выпей одного бульона.

— У меня от него изжога.— Потом, подумав немного, говорит:— Давай.

Он подносит ко рту грязный котелок и пьет. Затем ставит его на землю.

— Ладно, а я поем,— заявляет Пин.

Он принимается выскрести горячее каштановое месиво.

Ферт поднимает на Джилью глаза. На верхних веках у него ресницы длинные и жесткие, а нижние—совсем без ресниц.

— Ферт,— произносит женщина.

— Да?

— Почему ты не пошел?

Пин засунул лицо в котелок и поглядывает на них через край.

— Куда не пошел?

— В бой, что за вопрос?

— А куда ты хочешь чтобы я пошел, куда ты хочешь чтобы я пошел, когда я сам не знаю, куда мне деться.

— Что-нибудь не так, Ферт?

— Что-нибудь не так! Если бы я знал, что не так. В бригаде мечтают меня повесить, давно мечтают. Они играют со мной как кошка с мышью. Каждый раз одно и то же: Ферт, ну же, Ферт, об этом поговорим потом, а теперь смотри, Ферт, подумай, Ферт, берегись, сколько веревочке ни виться, конец у нее один... К черту! Я больше так не могу. Если у них есть что мне высказать, пожалуйста, пусть выскажут. Я хочу наконец делать то, что мне хочется.

Джилля сидит несколько повыше его. Она долго смотрит ему в глаза и тяжело вздыхает.

— Я хочу наконец делать то, что мне хочется,— говорит Ферт Джилье, глядя на нее своими желтыми глазами. Он кладет руку ей на колено.

Слышно, как Пин громко чавкает, засунув голову в пустой котелок.

— Ферт,—говорит Джилья,—а если они сыграют с тобой какую-нибудь скверную шутку?

Ферт придвигается к ней и усаживается у ее ног.

— Я не боюсь умереть,—говорит он. Но губы у него дрожат. Губы у него как у больного мальчишки.—Я не боюсь умереть. Но прежде я хотел бы... Прежде...

Он закидывает голову и смотрит на Джилью снизу вверх.

Пин, не вынув ложки, швыряет котелок на землю. Дзинь— звякает ложка.

Ферт оглядывается на Пина. Он смотрит на него, кусая губы.

— Что?—спрашивает Пин.

Ферта передергивает.

— Не стреляют,—говорит он.

— Не стреляют,—соглашается Пин.

Ферт встал. Он нервно расхаживает из стороны в сторону.

— Принеси-ка немного воды, Пин.

— Сейчас,—отвечает Пин и начинает зашнуровывать башмаки.

— Ты бледна, Джилья,—говорит Ферт. Он стоит за нею и коленями касается ее спины.

— Возможно, я больна,—со вздохом отвечает Джилья.

Пин принимаетя распевать монотонно и бесконечно:

— Она бледна!.. Она бледна!.. Она бледна!.. Она бледна!.. Она бледна!..

Мужчина гладит женщину по щекам и закидывает ей голову.

— Больна тем же, чем и я? Скажи, ты больна тем же, чем и я?

— Она бледна... Она бледна,—распевает Пин.

Ферт поворачивается к нему с искаженным лицом.

— Ты принесешь наконец воды?

— Погоди...—говорит Пин.—Вот зашнурую другой башмак.

Он продолжает копать со шнурами.

— Я не знаю, чем ты болен,—говорит Джилья.—Чем ты болен?

Мужчина говорит тихо:

— Я болен так, что едва стою на ногах, я этого больше не выдержу.

По-прежнему стоя позади нее, он берет ее за плечи и притягивает к себе.

— Она бледна. Она бледна.

— Живее, Пин!

— Иду. Сейчас иду. Дай мне бутылку.

Потом Пин останавливается, словно прислушиваясь. Ферт тоже останавливается и смотрит в пустоту.

— Не стреляют,—говорит он.

— А? Правда не стреляют...—говорит Пин.

Оба молчат.

— Пин!

— Иду.

Пин уходит, помахивая бутылкой и насвистывая все тот же мотив. Сегодня у него будет чем поразвлечься. Пин их не пожалеет: Ферта он не боится, он больше никем не командует; раз он отказался идти на операцию, он больше не командир. Свист Пина теперь не доносится до кухни. Пин замолкает, останавливается и на цыпочках возвращается обратно. Наверняка они уже валяются друг на друге и кусаются, как собаки! Пин опять на кухне, среди обломков старых стен. Ничего подобного: они на том же самом месте. Ферт запустил руку в волосы Джильи, а та пытается вывернуться гибким кошачьим движением. Услышав, что вошел Пин, оба тут же резко оборачиваются.

— Ну?—спрашивает мужчина.

— Я вернулся за другой бутылкой,—говорит Пин.— Эта треснула.

Ферт сжимает ладонями виски.

— Держи.

Женщина усаживается подле мешка с картошкой.

— Хорошо,—говорит она.— Почистим картошку. По крайней мере хоть чем-то займемся.

Она вытряхивает мешок на землю, собирает картофелины и достает два ножа.

— Держи нож, Ферт, картошки тут хватит.

Пин находит, что притворяется она глупо и неумело.

Ферт без усталости гладит лоб.

— Все еще не стреляют,—говорит он.— Что-то произошло.

Пин уходит. Теперь он в самом деле пойдет за водой. Надо дать им время, а то ничего не получится. Подле колодца — куст, полный ежевики. Пин принимается поедать ягоды. Он любит ежевику, но сейчас она не доставляет ему никакого удовольствия. Он набил ягодами полный рот, но вкуса не чувствует. Ладно, он поел достаточно, теперь можно и вернуться. А может, еще слишком рано. Лучше сперва справить нужду. Пин садится на корточки среди кустов ежевики. Приятно тужиться и думать в это время о Ферте и о Джилье, которые гоняются друг за другом в развалившейся кухне, или о людях, голых и желтых, лязгающих зубами, которых на закате ставят на колени в вырытые ими могилы. Все это противно и непонятно, но есть в этом какая-то странная прелесть, как когда испражняешься.

Пин подтирается листьями. Все, он пошел.

В кухне картошка рассыпалась по земле. Джилья стоит в углу,

за мешками и котлом, и держит в руке нож. Мужская рубашка расстегнута, из-под нее выглядывают белые горячие груди! Ферт—по другую сторону барьера, он угрожает Джилье ножом. Ну конечно же: они гоняются друг за другом, пожалуй, сейчас пойдет резня.

Ничего подобного: они смеются; оба они смеются—они просто шутят. Смеются они невесело: такие шутки кончаются плохо; но они смеются.

Пин ставит бутылку.

— Вот вам вода,—говорит он громко.

Они кладут ножи и идут пить. Ферт поднимает бутылку и протягивает Джилье. Джилья прикладывает к ней и пьет. Ферт смотрит на ее губы.

Потом он говорит:

— Все еще не стреляют.—Он оборачивается к Пину.— Все еще не стреляют,—повторяет он.— Что могло там произойти?

Пин всегда доволен, когда к нему обращаются с вопросом как к равному.

— А что бы там могло произойти, Ферт?

Ферт пьет жадно, прямо из горла и никак не может остановиться. Оторвавшись, он вытирает рот:

— На, Джилья. Пей, если хочешь. А потом Пин принесет нам еще бутылку.

— Если вам угодно,—говорит Пин ехидно,—я принесу целое ведро.

Они переглядываются и смеются. Но Пин понимает, что смеются они не тому, что он сказал. Они смеются беспричинно, чему-то такому, что является их тайной.

— Если вам угодно,—говорит Пин,—я принесу столько воды, что вы сможете устроить баню.

Они продолжают переглядываться и смеяться.

— Баню,—повторяет мужчина, и не поймешь, то ли он смеется, то ли скрежещет зубами.—Баню, Джилья, баню.

Он берет ее за плечи. Вдруг он темнеет в лице и отпускает ее.

— Вон там. Посмотри туда,—говорит он.

В кусте ежевики, в нескольких шагах от них, застрял тощий сокол.

— Прочь! Прочь эту падаль,—кричит Ферт.— Не желаю ее больше видеть.

Он подходит, берет сокола за крыло и швыряет далеко, в рододендроны. Бабеф летит планируя, как он, вероятно, никогда не летал при жизни. Джилья удерживает Ферта за руку.

— Не надо! Бедный Бабеф!

— Прочь!—Ферт побледнел от гнева.— Не желаю его больше видеть. Пин, иди и закопай его! Иди и закопай! Бери лопату, Пин, и иди!

Пин смотрит на дохлую птицу, валяющуюся среди рододен-

дронов: а что, если она, такая вот дохлая, вдруг приподнимется и выключит ему глаз.

— Я не пойду,— заявляет он.

Ноздри у Ферта подрагивают, он кладет руку на пистолет:

— Бери лопату и ступай, Пин!

Пин поднимает сокола за лапу. Когти у сокола кривые и жесткие, как крючки. Пин идет с лопатой на плече и несет дохлую птицу вниз головой. Он пересекает поле рододендронов и выходит на луга. Луга поднимаются в гору скошенными ступенями. На них зарыты мертвецы с глазами, заполненными землей. Тут враги. И—товарищи. Теперь среди них будет еще и сокол.

Пин кружит по лугам. Ему не хочется, копая могилу для сокола, наткнуться лопатой на человеческое лицо. И наступить на покойника ему тоже не хочется—он их боится. И все-таки хорошо было бы вырыть мертвеца из земли, голый труп с оскаленными зубами и пустыми глазницами.

Пин видит вокруг себя одни только горы, глубокие долины— даже дна не видать,—крутые, высокие склоны, чернеющие лесами, и снова горы, горные цепи: одна, за ней другая—до бесконечности. Пин один на земле. Под землей—мертвецы. Другие люди остались где-то за лесами и горными склонами; мужчины и женщины бросаются друг на друга и убивают. Тощий сокол лежит у его ног. В ветренем небе плывут облака, огромные—над самой его головой. Пин роет яму для убитой птицы. Для нее хватит и маленькой ямы: ведь сокол не человек. Пин поднимает сокола; глаза у него прикрыты голыми бледными веками, почти как у человека. Если попытаться приоткрыть их, покажется круглый желтый глаз. Пину хочется кинуть сокола в воздушный простор долины и увидеть, как тот расправит крылья, взмоет вверх, сделает круг над его головой и полетит куда-нибудь вдаль. А Пин, как в волшебных сказках, пойдет за ним следом по горам и долам, пока не дойдет до сказочной страны, где все люди—добрые. Вместо этого Пин кладет сокола в яму и засыпает ее землей..

В это мгновение грохот заполняет долину: выстрелы, автоматные очереди, глухие разрывы, звук которых усиливается эхом. Это—бой! Пин от страха подается назад. Ужасающий треск разрывает воздух: стреляют близко, совсем близко, но не поймешь откуда. Скоро огонь обрушится на него. Скоро из-за горы с автоматами наперевес появятся немцы и подомнут его под себя.

— Ферт!

Пин удирает без оглядки. Он оставил лопату воткнутой в землю. Он бежит, а над ним раскалывается небо.

— Ферт! Джилья!

Теперь он бежит по лесу. Пулемет, ручные гранаты, выстрелы из миномета. Бой разразился неожиданно, словно проснулся после долгого сна, и непонятно, где он идет, может быть в двух

шагах отсюда; может, вот за этим самым поворотом тропинки Пин увидит захлебывающийся огнем пулемет и застрывшие в кустах ежевики трупы убитых.

— Помогите! Ферт! Джилья!

Пин выбежал на голый откос, заросший рододендронами. На открытом месте выстрелы звучат еще страшнее.

— Ферт! Джилья!

В кухне ни души. Они удрали! Они бросили его одного!

— Ферт! Стреляют! Стреляют!

Пин, плача, бегаёт по откосу. В кустах одеяло — одеяло, под которым шевелится человеческое тело. Тело, нет, два тела. Из-под одеяла высовываются две пары ног — они переплелись и вздрагивают.

— Бой! Ферт! Стреляют! Бой!

XI

До перевала Меццалуна бригада добралась после бесконечного многочасового марша. Дует холодный ночной ветер, пронизывающий до костей. Люди слишком устали, чтобы заснуть, и командиры приказывают сделать недолгий привал под прикрытием большой скалы. В полумраке туманной ночи перевал кажется ложбиной с размытыми очертаниями, расположенной между двумя скалистыми кручами, на которых висят кольца облаков. За перевалом лежат свободные равнины, там начинается зона, еще не оккупированная врагом. Люди не отдыхали с того самого часа, как ушли в бой, но дух их не сломлен: несмотря на то что все они смертельно устали, ими все еще движет азарт битвы. Бой был кровавым и закончился отступлением, но это не был проигранный бой. Войдя в долину, немцы обнаружили, что окружающие ее гряды гор кишат оружием партизанами, которые обрушили на них шквал огня. Много немцев попадало в кювет; несколько грузовиков вспыхнули как свечи, и от них не осталось ничего, кроме черной груды обломков. Потом к немцам прибыло подкрепление, но сделать им уже почти ничего не удалось. Было убито всего лишь несколько партизан, оставшихся на дороге вопреки приказу или отрезанных во время схватки с противником. Партизанские командиры, своевременно уведомленные о приближении новой автоколонны, вовремя отвели свои подразделения и ушли дальше в горы, избежав окружения. Немцы не такой народ, чтобы остановиться, получив по носу. Вот почему Литейщик решил, что бригада должна оставить это место, которое могло бы превратиться в ловушку, и переместиться в другие долины, которые еще не заняты партизанами и которые легче оборонять. Отступали под покровом ночи по горной тропе, ведущей к перевалу Меццалуна, — молча, организованно, с караваном мулов в арьергарде, везущим боеприпасы, еду и раненых.

Теперь, примостившись за скалой, люди Ферта лязгают зубами

от холода; они с головой закутались в одеяла и похожи на арабов в бурнусах. Отряд потерял одного человека — комиссара Джачинто, лудильщика. Он остался лежать на лугу, сраженный огнем немецкого крупнокалиберного пулемета. А одного из калабрийских свояков, Графа, легко ранило в руку.

Ферт вместе со своими людьми. Лицо у него желтое, а на плечах одеяло, придающее ему действительно больной вид. Молча, подергивая ноздрями, он одного за другим оглядывает людей из своего отряда. То и дело он вроде бы собирается отдать какой-то приказ, но удерживается. Никто из отряда не сказал ему еще ни единого слова. Если бы он что-нибудь приказал или если бы кто-нибудь из товарищей заговорил с ним, все, конечно, тут же бы восстали против Ферта и было бы сказано много жестоких слов. Но сейчас время для этого неподходящее. Это поняли все — и Ферт, и партизаны; словно по молчаливому уговору, он ничего им не приказывает и никого не подгоняет, а они все, что надо, делают сами. Отряд идет, поддерживая дисциплину, не разбредаясь и не препираясь из-за того, чей черед нести поклажу. И все-таки не скажешь, что у отряда нет командира. Ферт все еще командир, достаточно его взгляда, чтобы люди сразу же подтянулись. Ферт великолепный командир, он рожден быть командиром.

Кутаясь в башлык, Пин смотрит на Ферта, на Джилью, затем на Левшу. Лица у них обычные, повседневные, только осунулись от холода и усталости. На лице ни одного из них не прочтешь, что произошло этим утром. Проходят другие отряды. Некоторые из них останавливаются поодаль, другие продолжают марш.

— Джан Шофер! Джан!

В одном из остановившихся на привал отделений Пин замечает своего старого знакомого из трактира. Тот одет по-партизански и вооружен до зубов. Джан сперва не понимает, кто это его окликнул, потом тоже изумляется:

— О... Пин!

Оба они рады встрече, но выражают свои чувства скупой, как люди, не привыкшие говорить друг другу любезности. Джан Шофер выглядит теперь совсем по-другому: он около недели в партизанском отряде, но глаза его больше не похожи на глаза пещерного животного, слезящиеся от дыма и алкоголя, как у всех завсегдатаев трактира. По его щекам сразу заметно, что он решил отпустить бороду. Он в батальоне у Эфеса.

— Когда я заявился в бригаду, — рассказывает Джан, — Ким хотел определить меня в ваш отряд.

Пин думает: «Ему невдомек, что это значит. Видимо, незнакомец из Комитета, который был в тот вечер в трактире, представил обо всех них паршивый рапорт».

— Черт возьми, Джан, — восклицает Пин, — мы были бы вместе. Почему же тебя не направили к нам?

— Так. Сказали, что это теперь уже ни к чему: ваш отряд скоро расформируют.

«Ну конечно,—думает Пин,—только что появился, а уже все про нас знает». А вот Пину не известно ничего о том, что происходит в городе.

— Шофер,—говорит он,—что нового в переулке? И в трактире?

Джан хмурится.

— Ты что, ничего не слышал?—спрашивает он.

— Ничего,—говорит Пин.—А в чем дело? Солдатка родила ребенка?

Джан плюет.

— Не хочу больше слышать об этих людишках,—говорит он.—Мне стыдно, что я родился и вырос среди них. Мне уже давно стало тошно от тамошней жизни, от всех их рож, от трактира, от запаха мочи, которым провонял переулок... но я все оставался... Теперь мне пришлось удрать, и я даже чуть ли не благодарен той падле, которая на меня донесла...

— Мишель Француз?—спрашивает Пин.

— Француз тоже. Но пала не он. Француз ведет двойную игру с «черной бригадой» и «гапом» и все еще не решил, на чьей же он стороне...

— А остальные?

— У нас была облава. Всех похватали. Мы только-только решили создать «гап»... Жирафа расстреляли... Других — в Германию. Переулок почти обезлюдел... Неподалеку от пекарни упала бомба... Все либо переехали в другие места, либо переселились в щели... А здесь—совсем другая жизнь. Мне кажется, что я вернулся в Хорватию. Только там я был за фашистов.

— В Хорватию, разрази меня гром! А что, Шофер, ты делал в Хорватии? Занимался любовными шашнями?.. А что с моей сестрой? Она тоже переселилась в другое место?

Джан разглаживает свою начавшую отрастать бородку.

— Твоя сестра,—говорит он,—сама переселяла других! Сука она!

— Джан, объяснись,—говорит Пин, начиная валять дурака.— Я ведь могу обидеться.

— Болван! Твоя сестра в эс-эс, у нее шелковые платья, и она разъезжает в машине вместе с офицерами. Когда немцы пришли в переулок, она вела их из дома в дом, держа немецкого капитана под ручку.

— Капитана, Джан! Разрази меня гром, какая карьера!

— Вы говорите о женщинах, которые шпионят?—Это Кузен. Он вмешивается в разговор, просовывая между ними свое плоское усатое лицо.

— Об этой обезьяне, моей сестре,—говорит Пин.—Она с детства вечно шпионила. От нее надо было ждать чего-нибудь такого.

— Надо было ждать,—повторяет Кузен и печально смотрит куда-то вдаль из-под своей вязаной шапочки.

— И от Мишеля Француза тоже следовало ожидать,— замечает Джан.— Но он неплохой парень, Мишель, только прохвост.

— А Шкура? Ты не знаешь новичка в «черной бригаде», Шкуру?

— Шкура,— говорит Джан Шофер,— этот хуже всех.

— Был хуже всех,— раздается за ними. Они оборачиваются— это Красный Волк. Он пришел, обвешанный оружием и пулеметными лентами, захваченными у немцев. Ему устраивают шумную встречу. Все всегда радуются, когда видят Красного Волка.

— Так что же случилось со Шкурой? Как было дело?

Красный Волк говорит:

— Это была операция «гапа»,— и принимается рассказывать.

Иногда Шкура ходил ночевать к себе домой, а не в казарму. Он спал один на чердаке, где держал весь свой арсенал: в казарме ему пришлось бы поделиться оружием с другими «камератами». Однажды вечером Шкура идет домой, как всегда, вооруженный. За ним следует человек в штатском, на нем плащ, и руки он глубоко засунул в карманы. Шкура чувствует, что на него направлено дуло пистолета. «Лучше сделать вид, будто я ничего не замечаю»,— думает он и продолжает идти. На другой стороне улицы появляется еще один человек в плаще и тоже следует за ним, держа руки в карманах. Шкура сворачивает, оба сворачивают за ним. «Теперь надо быстро добежать до дома,— думает Шкура.— Как только я вскочу в подъезд, я спрячусь за косяк и начну стрелять, тогда им меня не достать». Но на тротуаре, перед подъездом, еще один человек в плаще, который направляется ему навстречу. «Лучше пропустить его»,— думает Шкура. Он останавливается. Трое мужчин в плащах тоже останавливаются. Шкуре не остается ничего другого, как поскорее дойти до подъезда. В подъезде, в самой глубине, прислонившись к перилам, стоят еще двое в плащах, и тоже засунув руки в карманы, но Шкура уже вошел. «Я попался в ловушку,— думает он,— сейчас они мне скажут: руки вверх!» Но кажется, что они на него даже не смотрят. Шкура проходит мимо них и начинает подниматься по лестнице. «Если они пойдут за мной следом,— думает Шкура,— я обернусь и выстрелю в пролет». На втором лестничном марше он оглядывается. Они идут следом. Шкура опять под прицелом их невидимых, спрятанных в карманы плащей пистолетов. Еще одна лестничная площадка. Шкура искоса поглядывает вниз. По каждому лестничному маршу позади него идет человек в плаще. Шкура продолжает подниматься, прижимаясь к стене, и повсюду на лестнице люди из «гапа»; один, два, три, четыре марша, и на каждом марше — человек, который держит его на мушке. Шестой этаж, седьмой; в вечерних сумерках по каждому маршу лестницы медленно поднимается человек в плаще. Это напоминает игру зеркал. «Если они не выстрелят прежде, чем я доберусь до чердака,— думает Шкура,— я спасен. Я забаррикадируюсь, а на

чердаке у меня столько оружия и бомб, что я смогу продержаться, пока не подспеет вся „черная бригада“». Он уже на последнем этаже, под самой крышей. Шкура взбегает по последнему маршу, открывает дверь, входит и захлопывает ее за собой. «Я спасен»,— думает он. Но за окном чердака на крыше стоит человек в плаще и держит его на мушке. Шкура поднимает руки, дверь за его спиной распахивается. С лестницы поднимаются люди в плащах и наставляют на Шкуру пистолеты. Потом один из них, неизвестно кто, выстрелил.

Партизаны, остановившиеся на перевале Меццалуна, сгрудились вокруг Красного Волка и затаив дыхание следят за его рассказом. Красный Волк иногда малость преувеличивает, но рассказывает он хорошо.

Кто-то спрашивает:

— Красный Волк, а ты был который из них?

Красный Волк улыбается и сбивает кепку на обритый в тюрьме затылок.

— Тот, что стоял на крыше,— говорит он.

Затем Красный Волк перечисляет оружие, которое Шкура насобирал у себя на чердаке: автомат, «стэн», станковый пулемет, ручные гранаты, пистолеты всех систем и калибров. Красный Волк уверяет, будто там был даже миномет.

— Взгляните,— говорит он и показывает пистолет и какие-то необычные ручные гранаты.— Я взял себе только вот это, у «гапа» с оружием хуже, чем у нас, и все пришлось оставить им.

Пин вспоминает вдруг о своем пистолете: если Шкура нашел место и забрал пистолет, «пе тридцать восемь» должен был находиться среди его оружия; но ведь пистолет принадлежит ему, Пину, и никто не имеет права забрать его.

— Красный Волк, послушай, Красный Волк,— говорит Пин, дергая его за полу куртки.— Не было ли среди пистолетов Шкуры «пе тридцать восемь»?

— «Пе тридцать восемь»?— переспрашивает Волк.— Нет, «пе тридцать восемь» не было. Там были пистолеты всех систем, но «пе тридцать восемь» в коллекции отсутствовал.

Красный Волк снова принимается описывать разнообразие редких экспонатов, собранных этим маньяком.

— Ты совершенно уверен, что там не было «пе тридцать восемь»?— спрашивает Пин.— Не взял ли его кто-нибудь из «гапа»?

— Да нет же! Неужто ты думаешь, что я не заметил бы «пе тридцать восемь»? Мы все вместе делили оружие.

«Значит, пистолет по-прежнему зарыт подле паучьих нор,— думает Пин,— он только мой, неправда, что Шкура знал место, никто не знает этого места, о нем известно одному лишь Пину, это волшебное место». Такие мысли его подбадривают. Что бы там ни случилось, существуют паучьи норы и зарытый пистолет.

Скоро утро. Бригаде предстоит многочасовой марш, но коман-

диры, приняв во внимание, что после восхода солнца передвижение такой длинной колонны людей по открытой дороге будет немедленно обнаружено, решают дожидаться ночи.

В этих местах раньше проходила граница. Многие годы итальянские генералы делали вид, будто они усиленно готовились здесь к войне, которая тем не менее застала их совершенно врасплох. В горах то тут, то там разбросаны длинные невысокие сооружения для размещения войск. Литейщик отдает приказ отделениям расположиться в них на ночлег и укрываться весь следующий день, пока не станет достаточно темно или туманно для того, чтобы можно было возобновить марш.

Каждому отделению отводится особое место. Отряду Ферта достается небольшой, стоящий поодаль барак из бетона, в стены которого вделаны железные кольца: тут, должно быть, находилась конюшня. Люди валяются на клочки перепрелой соломы и закрывают усталые глаза, в которых все еще мелькают картины боя.

Утром сидеть в конюшне — тоскливо: тесно от набившихся в нее людей, а для того чтобы сходить помочиться, приходится становиться в очередь — выходить разрешается только по одному; но по крайней мере здесь можно отдохнуть. Однако нельзя ни пить, ни разводить огня для приготовления пищи: внизу, в долине, расположены селения, в которых полным-полно шпионов, зыркающих вокруг в бинокли и прислушивающихся к каждому шороху. Еду готовят по очереди в полевой кухне с печной трубой, проложенной под землей и выведенной наружу где-то очень далеко.

Пин не знает, чем бы ему заняться. Он уселся в дверях и снял с себя разбитые башмаки и носки, на которых совсем не осталось пятно. Он разглядывает на солнце голые ноги, потирает мозоли и выскребает набившуюся между пальцами грязь. Потом принимается искать вшей: надо устраивать на них каждодневные облавы, а не то кончишь, как бедняга Джачинто. Впрочем, какой смысл избавляться от вшей, если однажды все равно умрешь, так же как Джачинто? А может, Джачинто не избавлялся от вшей, потому что знал, что умрет? Пину грустно. Первый раз он снимал вшей с рубашки вместе с Пьетромагро, в тюрьме. Пину хотелось бы быть сейчас вместе с Пьетромагро и опять открыть в переулке сапожную мастерскую. Но переулок их опустел: кто сбежал, кто в тюрьме, кто убит, а его сестра, эта обезьяна, разгуливает с немецкими капитанами. Скоро Пин окажется брошенным всеми в незнакомом мире и не будет знать, куда ему податься. Товарищи из отряда — народ непостоянный и чужой ему, вроде его трактирных приятелей, но они во сто раз привлекательнее и во сто раз непостижимее. Пин никак не может понять ни того яростного желания убивать, которое горит в их глазах, ни того скотства, с каким они совокупаются среди рододеңдронов. Единственный из них, с кем можно ладить, — это Кузен, большой, мягкий и беспощадный Кузен. Но сейчас его нет: утром, проснувшись, Пин

его не нашел. Кузен всегда куда-то уходит со своим автоматом и в своей вязаной шапочке, а куда — никто не знает. Теперь вот и отряд расформируют. Об этом Джану Шоферу сказал Ким. Товарищи этого еще не знают. Пин оборачивается к ним, те сбились на клочке соломы, что валяется на полу бетонного барака.

— Разрази меня гром! Не растолкуй я вам, что к чему, вы так бы и не догадались, на каком свете живете.

— В чем дело? А ну, выкладывай,—говорят они.

— Отряд распустят,—говорит Пин.—Как только придем в новый район.

— Брось! Кто тебе сказал?

— Ким. Клянусь.

Ферт делает вид, будто не слышит. Он-то знает, чем это пахнет.

— Не заливай, Пин. А нас куда денут?

Начинаются споры: кого в какое отделение могут направить и куда было бы лучше всего пристроиться.

— Неужели вы не знаете, что для каждого из вас формируется специальный отряд?—изумляется Пин.—Каждого назначат командиром. Деревянная Шапочка будет командиром партизан в уютных креслах. Точно. Партизанского отделения, которое будет отправляться в бой сидя. Разве нет солдат, разъезжающих на лошадях? Теперь появятся партизаны в креслах на колесиках.

— Погоди,—говорит Дзена Верзила по прозвищу Деревянная Шапочка, водя пальцем по «супердетективу»,—вот дочитаю, тогда я тебе и отвечу. Я уже догадываюсь, кто убийца.

— Убийца быка?—спрашивает Пин.

Дзена Верзила не понимает уже ничего—ни в том, что ему говорят, ни в книге, которую он читает.

— Какого быка?

Пин раздражается своим пронзительным «хи-и»: Верзила попался.

— Быка, у которого ты купил губу! Бычья Губа! Бычья Губа!

Деревянная Шапочка, чтобы приподняться, опирается на длинную руку, не отрывая, однако, пальца от строчки, которую он читал; другой рукой он шарит вокруг себя, пытаясь поймать Пина. Потом, убедившись, что это потребует от него слишком больших усилий, опять погружается в чтение.

Все смеются проделке Пина и приготовились к следующей: Пин, когда начнет свои насмешки, не остановится, пока не переберет всех, одного за другим.

Пин смеется до слез, весело и возбужденно. Он опять в своей стихии: среди взрослых, которые ему и друзья и враги, среди людей, с которыми можно вместе шутить, пока он не вылетит на них всю ту ненависть, которую они у него вызывают. Пин чувствует, как в нем растет жестокость: он будет язвить их без жалости и снисхождения.

Джилля тоже смеется, но Пин знает, что смеется она притворно: ей страшно. Пин то и дело поглядывает на нее: она не опускает глаз, но улыбка дрожит на ее губах; погоди, думает Пин, скоро тебе будет не до смеха.

— Жандарм!—воскликает Пин.

При каждом новом имени люди заранее ехидно усмеваются, предвкушая шуточку, которую сейчас выдумает Пин.

— Жандарму,—говорит Пин,—дадут специальный отряд...

— Для поддержания порядка,—говорит Жандарм, пытаюсь забежать вперед.

— Нет, красавчик, отряд для ареста наших отцов и матерей!

При упоминании о родителях партизан, которых взяли в качестве заложников, Жандарм каждый раз звереет.

— Неправда! Я не арестовывал ничьих родителей!

Пин говорит с едкой, убийственной иронией; остальные ему поддакивают:

— Не злись, красавчик, только не злись. Отряд для ареста матерей. На такие дела ты мастак...

Жандарм выходит из себя, затем решает, что лучше подождать, пока Пин выговорится и перейдет к другому.

— Теперь подумаем о...—Пин озирается по сторонам. Потом его взгляд останавливается, ухмылка обнажает десны, а глаз почти не видно из-за собравшихся вокруг них веснушек. Люди уже догадались, чей теперь черед, и едва сдерживают хохот. Ухмылка Пина как бы гипнотизирует Герцога, он топорщит усы и крепко сжимает челюсти.

— Я вам р-рога облымаю, я вам задницы р-разор-рву...— скрипит зубами Герцог.

—...Герцогу дадим отряд живодеров. Разрази меня гром! Герцог, ты всегда только грозишься, а я что-то никогда не видал, чтобы ты придушил кого-нибудь, кроме курицы.

Герцог кладет руку на австрийский пистолет и трясет головой в меховой шапке, словно собирается забодать Пина.

— Я тебе бр-рюхо вспор-рю,—рычит он.

Тут Левша делает необдуманый ход. Он говорит:

— А Пин? Кого мы дадим под начало Пину?

Пин смотрит на Левшу так, словно он его только что заметил:

— О, Левша, ты вернулся... Тебя так долго не было дома... Пока ты отсутствовал, тут произошла премилая история...

Пин медленно оглядывается: Ферг угрюмо сидит в углу; Джилья примостилась неподалеку от двери, на губах у нее застыла лицемерная улыбка.

— Догадываешься, Левша, каким отрядом тебе придется командовать?..

Левша кисло улыбается. Ему хочется предупредить шутку Пина.

— Отрядом котелков,—говорит он и хохочет так, словно сказал что-то необыкновенно остроумное.

Пин серьезно качает головой. Левша хлопает глазами.

— Отрядом соколов,— произносит он и пытается опять засмеяться, но из его горла вырывается лишь странный хрип.

Пин серьезен. Он делает отрицательный жест.

— Морским отрядом...— говорит Левша, и губы его уже не растягиваются в улыбку, на глазах у него слезы.

Пин корчит одну из своих лицемерно-шутливых физиономий; он говорит медленно и елеяно:

— Видишь ли, твой отряд будет почти таким же, как другие отряды. Только ходить он сможет лишь по полям, широким дорогам да по равнинам, поросшим травой...

Левша опять принимается смеяться, сперва тихонько, а потом все громче и громче; он еще не понимает, куда клонит мальчишка, но все равно смеется. Люди ловят каждое слово Пина; кое-кто уже сообразил, в чем дело, и хохочет.

— Он сможет ходить всюду, за исключением лесов... за исключением тех мест, где попадаются ветви, да... где попадаются ветви.

— Лесов... Ха-ха-ха... Ветви,— посмеивается Левша.— А почему?

— Потому что он там запутается... твой отряд... отряд рогачей!

Все заливаются таким раскатистым смехом, что он похож на протяжный вой. Повар встает, позеленевший, с плотно сжатыми губами. С его лица исчезает улыбка. Он озирается по сторонам, затем снова начинает хохотать, но глаза у него беспокойные, а рот кривится. Он смеется вымученным, развязным смехом, бьет себя по коленям и указывает пальцем на Пина, словно говоря: еще одна брехня.

— Пин... Вы только взгляните на него,— говорит Левша, делая вид, будто и он не прочь пошутить.— Пину... ему мы дадим отряд золотарей, вот кого мы ему дадим.

Ферт тоже встал.

Он делает шаг в их сторону.

— Кончайте волынку,— говорит он сухо.— Вы что, до сих пор не усвоили, что надо поменьше шуметь?

Впервые после боя Ферт отдает приказ. Но вместо того, чтобы сказать: «Кончайте волынку, потому что я не желаю больше этого слушать», он оправдывает свой приказ необходимостью соблюдать тишину. Люди поглядывают на Ферта искоса: он больше для них не командир.

Подает голос Джилья:

— Почему бы, Пин, тебе не спеть нам песню? Спой нам.

— Отряд золотарей,— каркает Левша.— С ночным горшком на голове... Ха-ха-ха!.. Вы только представьте себе: Пин с ночным горшком на голове...

— Какую, Джилья?— спрашивает Пин.— Ту, что в прошлый раз?

— Помолчите,— говорит Ферт.— Не знаете, что ли, приказа? Не знаете, что мы находимся в опасной зоне?

— Нет, другую,— говорит Джилья.— Ну, ты же ее хорошо поешь... Как это? Ойлила-ойлилой...

— С ночным горшком на голове.— Повар продолжает смеяться и бить себя по коленям, но на его ресницах дрожат слезы бессильной злобы.— А вместо автомата дадим ему клистир... Пин будет у нас выпускать клистирные очереди...

— Ойлила-ойлилой, Джилья, ты уверена...— говорит Пин.— В песнях с ойлила-ойлилой нет ничего такого...

— Клистирные очереди... Полюбуйтесь на Пина,— хрипит повар.

— Ойлила-ойлилой,— начинает импровизировать Пин,— муженек уходит в бой. Ойлилой-ойлила, дома ждет его жена.

— Ойлила-ойлилой, Пин паскуда сволочной.— Левша силится перекричать Пина.

Ферт впервые видит, что никто не желает ему повиноваться. Он хватает Пина за руку и выворачивает ее.

— Замолчи, слышишь, замолчи!

Пину больно, но он терпит и продолжает петь:

— Ойлилой-ойлила, командир, а с ним жена. Ойлила-ойлилой, разговор у них какой?

Повар силится ответить ему в рифму, перекричать его во что бы то ни стало.

— Ойлилой-ойлила, сука, б... его сестра.

Ферт выворачивает Пину обе руки; он чувствует в своих пальцах его хрупкие кости—еще немного, и они сломаются.

— Молчать, ублюдок, молчать!

У Пина из глаз катятся слезы, он кусает губы.

— Ойлила-ойлилой, он повел ее с собой. Ойлилой-ойлила, под кусток она легла.

Ферт выпускает руку Пина и затыкает ему ладонью рот. Жест необдуманный и рискованный. Пин вцепляется зубами в его палец и изо всех сил сжимает челюсти. Ферт испускает истошный вопль, Пин разжимает зубы и озирается по сторонам. Все взгляды обращены на него. Он окружен взрослыми, непостижимым и враждебным миром. Ферт облизывает кровоточащий палец, Левша все еще лихорадочно смеется, Джилья стоит бледная как мертвец, а все остальные затаив дыхание следят за происходящим, глаза у них блестят.

— Свины!— кричит Пин, разражаясь рыданиями.— Рогачи!

Теперь у него только один выход: уйти отсюда. Прочь! Пин выбегает. Теперь ему уготовано полное одиночество.

Ферт кричит ему вслед:

— Не смей выходить из укрытия! Вернись! Вернись, Пин!— И он намеревается бежать за ним вдогонку.

Но в дверях Ферт сталкивается с двумя вооруженными партизанами.

— Ферт. Мы пришли за тобой.

Ферт узнал их. Это ординарцы командующего бригадой.

— Тебя вызывают Литейщик и Ким. Для рапорта. Следуй за нами.

Ферт снова становится бесстрастным.

— Пошли,—говорит он и перекидывает через плечо автомат.

— Приказано без оружия,—говорят вошедшие.

Ферт не моргнув глазом снимает с плеча автомат.

— Пошли,—говорит он.

— И пистолет,—говорят они.

Ферт расстегивает ремень, и пистолет падает на пол.

— Пошли,—говорит он.

Пришедшие становятся по обе стороны Ферта.

Он оборачивается.

— В два часа наша очередь готовить еду. Припасите все загодя. В половине четвертого двое из нашего отряда должны сменить часовых. Очередность, установленная на прошлую ночь, остается в силе.

Ферт направляется к двери и уходит между двумя вооруженными людьми.

хп

Пин уселся на гребне горы. Он совсем один. Под его ногами отвесно спускаются поросшие кустарником скалы и открывается вид на долины, далеко-далеко, до самого низа, где бегут черные речки. Длинные облака ползут вверх по склонам, стирая деревья и затерянные в горах селения. Случилось нечто непоправимое—как тогда, когда он украл у немца пистолет, как тогда, когда он ушел от своих приятелей из трактира, как тогда, когда он бежал из тюрьмы. Он не сможет больше вернуться к людям из отряда, он никогда не сможет сражаться вместе с ними.

Это очень грустно—быть таким, как он, ребенком в мире взрослых, вечно ребенком, с которым взрослые обходятся как с игрушкой, забавной или докучной; не иметь возможности пользоваться тем таинственным и будоражающим, что принадлежит взрослым,—оружием и женщинами—и никогда не принимать участия в их играх. Но когда-нибудь Пин станет взрослым и сможет быть злым со всеми; тогда он сумеет расквитаться с теми, кто не был добр к нему. Пину уже сейчас хотелось бы стать взрослым или лучше не взрослым, а мальчиком, которым бы все восхищались и которого бы все боялись. Пину хотелось бы остаться мальчиком, но только чтобы взрослые избрали его своим предводителем за какой-нибудь замечательный подвиг.

Хорошо, Пин сейчас уйдет отсюда, уйдет подальше от этих ветреных, незнакомых мест и направится в свое царство, в овраг, в свое волшебное место, где пауки делают гнезда. Там зарыт его пистолет, носящий таинственное имя «пе тридцать восемь». Со

своим пистолетом Пин будет партизанить один, сам по себе, без того чтобы кто-нибудь вывертывал и чуть ли не ломал ему руки или посылал его закапывать соколов, желая тем временем поваляться с чужой бабой в рододендронах. Пин совершит великие подвиги, один, всегда один; он убьет офицера, капитана, капитана своей сестры, суки и доносчицы. Тогда люди из отряда станут его уважать и захотят идти вместе с ним в бой. Может быть, они научат его обращаться с пулеметом. И Джилья не станет больше говорить ему: «Спой-ка песенку, Пин», чтобы прижаться поближе к любовнику; у Джилья не будет больше любовников, и однажды она позволит ему, Пину, потрогать свою грудь, розовую и теплую под мужской рубашкой.

Пин начинает большими шагами спускаться по тропинке, ведущей с перевала Меццалуна: ему предстоит долгий путь. Но вскоре он понимает, что его планы надуманны и ровно ничего не стоят; он чувствует, он совершенно уверен в том, что мечтам его не суждено сбыться и что он, бедный, брошенный ребенок, обречен на вечные скитания.

Пин идет целый день. Ему попадаются места, где можно было бы замечательно поиграть: белые камни, по которым можно попрыгать, корявые деревья, на которые легко взобраться; белки на верхушках пиний, змеи, свернувшиеся в кустах ежевики,— великолепные мишени для стрельбы из рогатки; но Пину не хочется играть; он продолжает идти и идти до полного изнеможения, и печаль комком стоит у него в горле.

Он останавливается у какого-то дома и просит поесть. В доме живут старички, муж и жена. Они живут одни-одинешеньки и пасут коз. Старички приглашают Пина зайти, они дают ему молока и каштанов и рассказывают о своих детях, оказавшихся в далеком плену. Затем они усаживаются у очага и начинают молиться, перебирая четки. Старички хотят, чтобы Пин тоже помолился вместе с ними.

Но Пин не привык иметь дело с добрыми людьми и чувствует себя неловко. К четкам он тоже не привык. Пока старички, закрыв глаза, читают молитвы, Пин соскальзывает со стула и потихоньку уходит.

Ночь он проводит в стоге сена и утром продолжает путь, который идет теперь по более опасной местности, разоренной немцами. Однако Пин знает, что в некоторых случаях удобно быть маленьким. Даже если бы он сам назвал себя партизаном, ему все равно никто бы не поверил.

Внезапно путь ему преграждает немецкий караульный пост. Немцы еще издали мигают ему из-под касок. Пин направляется к ним с самым нахальным видом.

— Овечка,— говорит он.— Вы не видали мою овечку?

— Was?— Немцы не понимают, о чем он им толкует.

— Овечка. О-веч-ка. Бе-е-е... Бе-е-е...

Немцы смеются: они поняли. С такими лохмами и в таких

отрепьях Пина вполне можно принять за пастушонка.

— Я потерял овечку,— хнычет он.— Она прошла где-то здесь, я уверен. Куда же она запропала?— Пин проходит пост и идет дальше, крича:— Бе-е-е... Бе-е-е...

Море, которое вчера было темной подкладкой облаков на краю неба, постепенно становилось все более яркой полосой, и вот теперь оно превращается в огромную, грохочущую лазурь, раскинувшуюся за холмом и домами.

Пин у своего ручья. Вечер, но лягушек почти не слышно. Вода в лужах кишит черными головастиками. Тропа паучьих гнезд начинается отсюда, она за этими камышами. Это волшебное место, известное одному лишь Пину. Там с Пином могут произойти самые чудесные превращения, он может обернуться королем или лешим. Пин идет вверх по тропинке, и у него захватывает дух. Вот они, гнезда. Но вся земля вокруг перерыта. Повсюду видны следы человека, выдиравшего с корнем траву, ворочавшего камни, разрушившего норы, ломавшего дверцы, сделанные пауками из пережеванных листьев. Здесь побывал Шкура! Шкура знал место. Это он, обливая трясущиеся от злости губы, ногтями разрывал перегной, совал прутики в галереи, убивал одного за другим пауков—и все это только для того, чтобы найти пистолет «пе тридцать восемь»! Однако нашел ли он его? Пин не узнает того места, куда он зарыл свой пистолет: камней, которые он положил, больше не видно, трава вырвана. Место должно бы быть тут. Еще сохранилось вырытое им углубление. Но теперь оно завалено перегноем и кусочками туфа.

Пин плачет, закрыв лицо руками. Никто больше не вернет ему пистолета: Шкура мертв, в его арсенале пистолета не оказалось, кто знает, куда он его заделал или кому отдал. Пистолет— последнее, что оставалось у Пина в этом мире. Что ему теперь делать? В отряд он вернуться не может: он там слишком всем насолил— Левше, Джилье, Герцогу, Дзене Верзиле по прозвищу Деревянная Шапочка. В трактире была облава, там всех либо поубивали, либо угнали в Германию. Остался один Мишель Француз, он в «черной бригаде», но Пин не желает кончить так же, как Шкура, поднимаясь по длинной лестнице и каждую секунду ожидая выстрела в спину. Пин один на всей земле.

Негра из Длинного переулка примеряет новый голубой капот, когда раздается стук в дверь. Она прислушивается. В такое, как нынче, время она, когда заходит в свой старый дом в переулке, боится открывать дверь незнакомым людям. Опять стучат.

— Кто там?

— Отопри, Рина. Это я, твой брат Пин.

Негра открывает дверь, и входит ее брат, одетый в какие-то отрепья, непричесанный, с лохмами, спадающими до плеч, гряз-

ный, оборванный, в стоптанных башмаках, с щеками, измазан-
ными пылью и слезами.

— Пин! Откуда ты? Где ты пропадал все это время?

Пин входит в комнату и говорит охрипшим голосом:

— Только не приставай ко мне. Где был, там и был. Не
найдется ли у тебя чего поесть?

Негра говорит материнским тоном:

— Подожди, сейчас приготовлю. Присаживайся. Как ты,
должно быть, устал, бедняжка Пин. Тебе еще повезло, что ты
застал меня дома. Я здесь почти не бываю. Теперь я живу в
отеле.

Пин жует хлеб и немецкий шоколад с орехами.

— Я вижу, ты неплохо устроилась.

— Пин, как я о тебе беспокоилась! Чего я только не
передумала! Что ты делал все это время? Бродяжничал? Бунто-
вал?

— А ты?—спрашивает Пин.

Негра густо намазывает на кусок хлеба немецкое варенье и
протягивает Пину.

— А теперь, Пин, чем ты намерен заняться?

— Не знаю. Дай поесть.

— Вот что, Пин, остерегись соваться в партию. Знаешь, там,
где я работаю, нужны расторопные ребята вроде тебя, и тебе там
будет совсем неплохо. Работы—никакой: надо только прогули-
ваться днем и вечером и смотреть, кто что поделывает.

— Скажи-ка, Рина, у тебя есть оружие?

— У меня?

— Да, у тебя.

— Ну есть пистолет. Я его держу, потому что сейчас всякое
может случиться. Мне его подарил один парень из «черной
бригады».

Пин поднимает на нее глаза и проглатывает последний кусок.

— Покажи-ка мне его, Рина.

Негра встает.

— И чего тебе нейдет с этими пистолетами? Мало тебе того,
который ты украл у Фрика? Мой точь-в-точь похож на тот, что
был у него. Вот он, смотри. Бедный Фрик, его отправили на
Атлантику.

Пин как замороженный смотрит на пистолет: это же «пе-
тридцать восемь», его «пе тридцать восемь»!

— Кто тебе его дал?

— Я же тебе говорила: солдат из «черной бригады», блондин.
Он вечно зябнул. На нем было навешано—я не преувеличиваю—
шесть разных пистолетов. «На что тебе их столько?—спросила я
у него.—Подари мне один». Но он и слушать не хотел. Он прямо
с ума сходил по пистолетам. В конце концов он подарил мне вот
этот, потому что он был самый старый. Но он все равно
действует. «Чего ты мне даешь,—сказала я ему,—пушку?» А он

ответил: «Ничего, по крайней мере останется в семье». И что он этим хотел сказать?

Пин ее больше не слушает. Он крутит пистолет то так, то эдак. Прижав его к груди, как игрушку, он поднимает глаза на сестру.

— Послушай меня, Рина,— говорит Пин хрипло.— Этот пистолет— мой.

Негра смотрит на него сердито.

— Чего это тебя так разобрало? Ты что— стал бунтовщиком?

Пин роняет стул на пол.

— Обезьяна!— кричит он что есть мочи.— Сука! Шпионка!

Он засовывает пистолет в карман и уходит, хлопнув дверью.

На улице—ночь. Переулочек так же пустынен, как и тогда, когда он пришел. Ставни на окнах лавок закрыты. У стен домов навалены доски и мешки с песком, чтобы предохранить жилища от осколков.

Пин идет вдоль ручья. Ему кажется, что вернулась та самая ночь, когда он украл пистолет. Теперь у Пина есть пистолет, но все равно ничего не изменилось. Он по-прежнему один в целом мире; он, как всегда, одинок. Как и в ту ночь, его мучит один лишь вопрос: что ему делать?

Пин, плача, идет по насыпи. Сперва он плачет тихонько, потом раздражается громкими рыданиями. Теперь ему уж никто не встретится. Никто? За поворотом насыпи вырисовывается человеческая тень.

— Кузен!

— Пин!

Это волшебные места, где постоянно случаются всякие чудеса. И пистолет его тоже волшебный, он как волшебная палочка. И Кузен—великий волшебник с автоматом и в вязаной шапочке. Сейчас Кузен гладит его по волосам и спрашивает:

— Чего ты здесь делаешь, Пин?

— Я ходил забрать мой пистолет. Посмотри. Это пистолет немецкого матроса.

Кузен внимательно рассматривает пистолет.

— Хорош! «Пе тридцать восемь». Береги его.

— А ты, Кузен, чем здесь занимаешься?

Кузен вздыхает, и выражение лица у него, как всегда, печальное, словно ему приходится искупать тяжкую вину.

— Мне надо сделать один визит,— говорит он.

— Это мои места,— говорит Пин.— Заколдованные. Тут пауки делают гнезда.

— А разве, Пин, пауки делают гнезда?— спрашивает Кузен.

— Они делают гнезда только здесь,— объясняет Пин,— и больше нигде в целом мире. Я был первым, кто узнал об этом.

Потом сюда пришел этот фашист Шкура и все разрушил. Хочешь, покажу?

— Покажи мне, Пин, покажи. Подумать только—паучьи гнезда.

Пин ведет его за руку, рыхлую и теплую, как ситник.

— Вот, посмотри, тут были дверцы в галереи. Этот фашистский ублюдок все поломал. А вот одна нетронутая. Видишь?

Кузен присаживается на корточки и щурит в темноте глаза.

— Смотри, смотри! Дверца открывается и закрывается. А за ней—галерея. Она глубокая?

— Очень глубокая,—объясняет Пин.— И вся облеплена засохшей кашицей из травы. Паук сидит на самом дне.

— Давай зажжем спичку,—предлагает Кузен.

И оба они, присев на корточки, наблюдают, как пламя спички освещает вход в галерею.

— Давай бросим туда спичку,—говорит Пин.— Посмотрим, вылезет ли паук.

— Зачем?—возражает Кузен.— Бедные насекомые! Не видишь, что ли, сколько бед на них уже обрушилось.

— Скажи, Кузен, ты думаешь, они опять построят гнезда?

— Если мы не будем их трогать, думаю, что построят,—говорит Кузен.

— А мы вернемся еще как-нибудь взглянуть на них?

— Да, Пин, мы будем приходить сюда каждый месяц.

Как хорошо, что он нашел Кузена, которого интересуют паучьи гнезда!

— Скажи-ка, Пин...

— Чего тебе, Кузен?

— Видишь ли, Пин, я хотел тебе кое-что сказать. Я знаю, что ты меня поймешь... Видишь ли, я уже много месяцев не имел дела ни с одной женщиной... Ты знаешь, как это бывает. Послушай, Пин, мне говорили, что твоя сестра...

На лицо Пина возвращается ухмылка. Он—друг взрослых; в таких вещах он, конечно, разбирается и гордится тем, что, когда требуется, он способен оказывать взрослым такого сорта услуги.

— Разрази меня гром, Кузен. Ты недурно переспичь с моей сестрой. Я покажу тебе дорогу. Знаешь, где Длинный переулок? Чудесно. Дверь над истопником, на втором этаже. Иди спокойно: на улице ты никого не встретишь. Но с нею будь осторожен. Не говори ей, кто ты такой и что это я тебя послал. Скажи ей, что ты работаешь в «Тодте» и что ты тут проездом. Эх, Кузен, а ты еще так ругал женщин! Ступай, ступай, сестра моя брюнетка, и она многим приходилась по вкусу.

На большом печальном лице Кузена появляется жалкая улыбка.

— Спасибо, Пин. Ты верный друг. Я схожу и тут же вернусь.

— Разрази меня гром, Кузен! Ты отправляешься к ней с автоматом?

Кузен проводит пальцем по усам.

— Понимаешь, я не люблю ходить без оружия.

Пину смешно смотреть, как Кузен смущается. Главное, было бы из-за чего!

— Возьми мой пистолет. Держи! А автомат оставь мне. Я его покараулю.

Кузен скидывает автомат и сует в карман пистолет. Потом он снимает вязаную шапочку и тоже кладет ее в карман. Он слюнявит пальцы и пытается причесать себе волосы.

— Наводишь красоту, Кузен. Хочешь сразить ее. Поторапливайся, а то не застанешь ее дома.

— До свиданья, Пин,—говорит Кузен и уходит.

Пин остается один во мраке, подле паучьих нор, с автоматом, на который он опирается. Но Пин больше не отчаивается. Он нашел Кузена, а Кузен—это тот Настоящий Друг, которого он так долго искал, друг, интересующийся паучьими гнездами. Только Кузен такой же, как и другие взрослые. Его тоже почему-то неизъяснимо тянет к женщинам, и сейчас он направляется к его сестре Негре и будет обниматься с ней на смятой постели. А подумать—как было бы замечательно, если бы Кузену не пришла в голову такая идея, если бы они вместе посмотрели еще немного на паучьи гнезда, а потом Кузен опять бы завел свои обычные речи против женщин, которые Пин великолепно понимает и полностью одобряет. Но нет, Кузен такой же, как все взрослые, и с этим теперь ничего не поделаешь. Что-что, а это-то Пину известно.

В старом городе раздаются выстрелы. Что там стряслось? Может, патрули? Когда ночью слышишь выстрелы, всегда бывает страшно. Конечно, глупо было ради женщины соваться в фашистское логово. Пин боится, что Кузен напоролся на патруль или встретил у его сестры множество немцев и те его сцапали. А может, в сущности, так ему и надо. Что за радость вожжаться с этой волосатой лягушкой, его сестрой?

Но если Кузена схватят, Пин останется один с автоматом, который его пугает и обращаться с которым он не умеет. Пин надеется, что Кузена не схватили, надеется на это изо всех сил, не потому что Кузен—Настоящий Друг—он больше не Настоящий Друг, он такой же, как все,—а потому, что Кузен последний человек, который остался у него во всем мире.

Однако предстоит еще долго ждать, прежде чем выяснится, есть ли причина для беспокойства. Но нет, вот уже к Пину приближается тень, это он.

— Как ты быстро, Кузен, неужто управился?

Кузен качает головой, и выражение лица у него, как всегда, печальное.

— Знаешь, мне стало противно, и я повернул назад.

— Разрази меня гром! Кузен! Тебе стало противно!

Пин в восторге. Кузен действительно Настоящий Друг. Он все

понимает, даже то, что женщины — противные твари.

Кузен снова перебрасывает через плечо автомат, а пистолет возвращает Пину. Теперь они идут по полям, и рука Пина лежит в рыхлой и теплой ладони Кузена, похожей на ситный хлеб.

В темноте то тут, то там вспыхивают маленькие огоньки — это над изгородями пролетают светлячки.

— Все женщины таковы, Кузен,— говорит Пин.

— Да,— соглашается Кузен,— но не всегда так было: моя мать...

— Ты помнишь свою маму? — спрашивает Пин.

— Конечно,— говорит Кузен.— Она умерла, когда мне было пятнадцать лет.

— Она была хорошая?

— Да,— произносит Кузен,— она была хорошая.

— Моя мама тоже была хорошая,— говорит Пин.

— Полным-полно светлячков,— говорит Кузен.

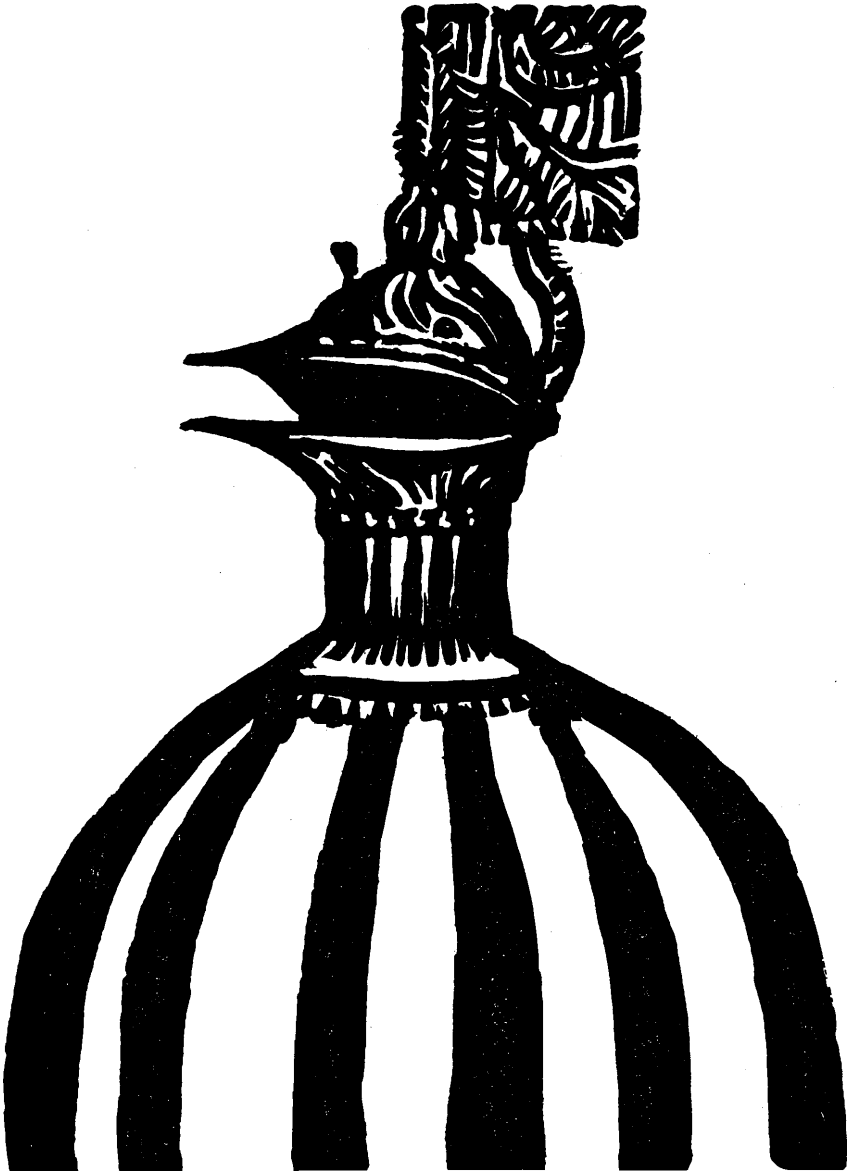
— А когда на них посмотришь вблизи,— говорит Пин,— они тоже противные. Такие рыжеватые.

— Правильно,— говорит Кузен.— Но когда на них глядишь вот так, они красивые.

И они продолжают свой путь ночью, среди летающих светляков — громадный мужчина и мальчик. Они идут и держат друг друга за руки.



НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ



Il cavaliere inesistente

Перевод С. Ошерова



1

Под красными стенами Парижа выстроилось воинство Франции. Карл Великий должен был произвести смотр своим палadiniам. Они дожидались уже больше трех часов. Стоял один из первых летних дней; небо было затянуто облаками, но это нисколько не умеряло послеполуденного зноя. Палadiniы варились в своих доспехах, как в кастрюлях, подогреваемых на медленном огне. Нельзя поручиться, что кто-нибудь из неподвижно стоявших рыцарей не потерял сознания либо не заснул, но, скованные латами, они держались в седлах все, как один, грудью вперед. Вдруг трижды взревела труба; перья на шлемах дрогнули, словно в застывшем воздухе дохнул ветерок, и тотчас же смолкло подобье морского рокота, что слышался до сих пор,—то явно был храп, приглушенный железом горлового прикрытия и шлема.

Вот наконец и он, Карл Великий, на коне, который кажется неестественно огромным; борода на груди, ладони—на луке седла, он подъезжал, приметный издали. Царствует и воюет, воюет и царствует—и так год за годом, вот только постарел немного с той поры, как собравшиеся воины видели его в последний раз.

Он останавливал коня перед каждым офицером и, наклонившись, осматривал его с головы до ног.

— А вы кто, паладин Франции?

— Саломон из Бретани, ваше величество!— рапортовал тот во весь голос, подняв забрало и открыв пышущее жаром лицо. И добавлял какие-нибудь практические сведения, вроде:— Пять тысяч конных, три тысячи пятьсот пеших, тысяча восемьсот обозных, пять лет походов.

— Вперед, бретонцы!— говорил Карл и — цок-цок! — подъезжал к другому командиру эскадрона.

— А вы кто, паладин Франции?— снова начинал он.

— Оливьер из Вены, ваше величество!— отчеканивал тот, едва только поднималась решетка шлема. И тут же:— Три тысячи отборной конницы, семь тысяч пехоты, двадцать осадных орудий. Победитель язычника Фьерабраса, по милости божией и во славу Карла, короля франков!

— Отлично, венец,— говорил Карл ему, а потом— офицерам свиты:— Кони немного отощали, добавьте им овса!— И отправлялся дальше.— А вы кто, паладин Франции?— повторял он все в том же ритме: «татáта—тататá—тátата...»

— Бернард из Монпелье, ваше величество! Победитель Брунамонта и Галиферна.

— Прекрасный город Монпелье! Город прекрасных дам!— И повернувшись к сопровождающему:— Проверь, не обошли ли мы его чином.— И тому подобное, весьма приятное в устах короля, но неизменно повторяемое вот уже много-много лет.

— А вы кто? Ваш герб мне знаком!

Он знал всех по гербам на щитах и не нуждался в рапортах, но так уж было заведено, чтобы они сами называли имя и открывали лицо. Потому что иначе нашлись бы такие, которые предпочли бы заняться чем-нибудь поинтереснее, а на смотр послали бы свои доспехи, засунув в них кого-нибудь другого.

— Галард из Дордони, сын герцога Амонского...

— Молодец, Галард, а что папаша?..— И снова: «татáта—тататá—тátата...»

— Гвальфрид из Монжуа! Восемь тысяч конницы, не считая убитых...

Раскачивались султаны на шлемах.

— Уггер Датчанин! Нам Баварский! Пальмерин Английский!

Наступал вечер. Уже нелегко было разглядеть лица между пластинами забрала. Каждое слово, каждое движение можно было предугадать, как и все прочее в этой длившейся столько лет

войне: каждую стычку, каждый поединок, который проходил по одним и тем же правилам, так что можно было заранее предсказать, кто победит завтра, кто будет повержен, кто явит себя героем, кто трусом, кому выпустят потроха, а кто легко отделается, лишь вылетев из седла и стукнувшись задом оземь. Вечером, при свете факелов, кузнецы молотом правили всегда одни и те же мятины на латах.

— А вы?

Король подъехал к рыцарю в светлых доспехах, только по краям окаймленных черным, остальное же было ослепительно ярким и безукоризненным, без единой царапины, хорошо пригнанным в каждом сочленении, и венчалось шлемом с султаном из перьев какого-то индейского петуха, переливавшихся всеми цветами радуги. На щите был изображен герб меж двух собранных складками полотен широкого намета, на гербе был такой же намет, обрамлявший герб поменьше, изображавший еще меньший намет с гербом посередине. Все более тонкими линиями изображалась череда распаивающихся наметов, в самом центре между ними, наверное, что-то было, но рисунок был такой мелкий, что и не разглядеть.

— А вы кто, такой аккуратный?..—спросил Карл Великий: чем дольше шла война, тем реже приходилось ему видеть, чтобы паладины так заботились о чистоте.

— Мое имя,—голос из-под закрытого забрала звучал металлически, отдаваясь легким гулким эхом, словно вибрировали не связки, а само железо лат,—Агилульф Гем Бертрандин де Гвильдиверн д'Альтро де Корбентраз-и-Сура, владетель Ближней Селимпии и Феца!

— А-а-а...—негромко произнес Карл Великий, оттопырив нижнюю губу, как будто хотел сказать: «Будь я обязан помнить всех по именам, тяжело бы мне пришлось». И тут же нахмурился:—А почему вы не подымете забрала и не покажете мне лица?

Рыцарь не шевельнулся; его рука в стальной, отлично пригнанной рукавице крепче сжала узду, меж тем как другая, державшая щит, как будто задрожала.

— Я к вам обращаюсь, паладин,—не отставал Карл.—Почему вы прячете лицо от своего короля?

Из-за подбородника раздался внятный голос:

— Потому что меня не существует, ваше величество.

— Еще чего!—воскликнул император.—Не хватало нам в армии рыцаря, которого не существует! Позвольте взглянуть.

Агилульф, казалось, поколебался еще мгновение, потом медленно, но твердой рукой поднял забрало. Шлем был пуст. Внутри светлых лат с переливающимся султаном никого не было.

— М-да, м-да, чего только не увидишь,—удивился Карл Великий.—Но как вам удастся служить, если вас нет?

— Силой воли,—сказал Агилульф,—и верой в святость нашего дела!

— Вот именно, вот именно, хорошо сказано, так и нужно исполнять свой долг. Что ж, для человека, которого не существует, вы держитесь молодцом!

Агилульф был замыкающим. Император, таким образом, закончил смотр и, повернув коня, удалился к королевским шатрам. Он был стар и пытался не слишком забивать голову сложными вопросами.

Трубач сыграл сигнал «разойдись». Как всегда, кони смешались в кучу, высокий лес пик наклонился и пошел волнами, как пшеничное поле под ветром. Рыцари спешивались, разминали ноги, оруженосцы уводили коней под уздцы. Потом из гущи людей и клубов пыли стали поодиночке возникать паладины и собираться в осененные разноцветными султанами кучки, чтобы вознаградить себя за эти часы вынужденной неподвижности шутками и хвастовством, болтовней о женщинах и почестях.

Агилульф тоже сделал несколько шагов, чтобы замешаться в какой-то кружок, затем без всякого повода перешел к другому, но не смог протиснуться, и никто не обратил на него внимания. Он немного постоял в нерешительности у всех за спиной, не принимая участия в разговорах, и отошел в сторону. Смеркалось. Радужные перья султана слились теперь в один неразличимый цвет, но светлая броня одиноко выделялась на лугу. Агилульф, как будто вдруг почувствовав себя голым, прикрыл грудь руками и приподнял плечи.

Потом он встряхнулся и широким шагом направился к конюшням. Придя туда, он обнаружил, что лошади не обихожены по правилам, накричал на стремянных, назначил наказания конюхам, проверил очередь нарядов, дал каждому новое задание, скрупулезно объяснив, как его выполнять, и заставив все повторить, чтобы убедиться, хорошо ли его поняли. И так как то и дело всплывали какие-нибудь упущения по службе, он по очереди подзывал к себе товарищей, паладинов-офицеров, отрывая их от праздных и приятных вечерних бесед, указывал им скромно, но неукоснительно твердо на все промахи и отправлял кого в пикет, кого стоять на часах, кого идти с патрулем и так далее. Он всегда был прав, и паладины не могли отвертеться, но не скрывали неудовольствия. Агилульф Гем Бертрандин де Гвильдиверн д'Альтро де Корбентраз-и-Сура, владетель Ближней Селимпии и Феца, был, конечно, образцовым солдатом, но все они его недолюбливали.

II

Ночь для стоящего лагерем войска течет так же размеренно, как звезды в небе: смена караула, офицер-разводящий, патрули. В остальное время — сплошная неразбериха действующей армии; дневное кишение, в котором любая неприятность

может возникнуть так же внезапно, как лошадь — взбеситься, стихает теперь, потому что сон одолел всех воителей и скакунов христианского стана: животные спят, стоя рядами, то и дело бьют копытами и коротко ржут либо всхрапывают, люди высвободились наконец из панцирей и шлемов и, довольные тем, что снова превратились в отдельные, не похожие друг на друга человеческие существа, храпят все как один.

Впрочем, и в стане басурман все то же самое: расхаживанье часовых; начальник караула, который смотрит, как выбегают последние песчинки в часах, и идет будить сменных; офицер, который использует бессонную ночь, чтобы написать жене. И оба патруля, христианский и басурманский, сближаются на расстоянии полумили, доходят почти до леса, но потом поворачивают один от одной, другой от другой опушки, возвращаются, так никогда и не повстречавшись, восвояси, докладывают, что все спокойно, и отправляются спать. Звезды и луна молчаливо проплывают над враждебными станами. Нигде не спится так сладко, как на военной службе.

Только Агилульф было отказано в этом утешении. Одетый в доспехи по всей форме, под кровом своего шатра, одного из самых прибранных и комфортабельных в христианском стане, он пробовал лечь на спину и вытянуться, но продолжал думать, и то были не блуждающие, дремотные мысли, а всегда строгие и точные рассуждения. Спустя немного он приподнимался на локте, так как чувствовал потребность чем-то занять руки, например почистить клинок меча, и без того начищенный до блеска, или смазать жиром сочленения доспехов. Но и это длилось недолго: вот он уже на ногах, вот выходит из шатра с копьем и щитом в руках, и его белеющий силуэт можно видеть по всему лагерю. Из островерхих шатров раздавался целый концерт — тяжелое дыхание спящих. Что такое эта возможность закрыть глаза, забыться, погрузиться в пустоту на несколько принадлежащих тебе часов, а потом проснуться и обрести себя прежним, снова связать нить своей жизни, Агилульф не знал и знать не мог, а потому его зависть к обладающим этим даром — спать, свойственным лишь тем, кто существует, была смутной: можно ли завидовать тому, чего ты не в силах себе представить? Больше всего его поражал и беспокоил вид голых ног, кое-где торчавших из-под полога вверх пальцами: заснувший лагерь был царством тел, лежбищем плоти ветхого Адама, источавшей запах выпитого вина и пролитого за день пота, а у входа в палатки валялись пустые доспехи, которые оруженосцы и челядинцы к утру начистят и приведут в порядок. Агилульф проходил мимо, внимательный, напряженный, надменный; тела — у тех, кто имел их, — вот что вызывало у него неприятное чувство, похожее на зависть, и вместе с тем заставляло сердце сжиматься от гордости и пренебрежительного превосходства. Вот они, прославленные соратники, именитые паладины, что они собой представляют? Доспехи, знаменующие их имя и

чин, свидетельствующие о совершенных подвигах, о мощи и доблести,— все это сейчас лишь жалкая оболочка, пустые железки, а люди — вон они храпят, вилочившись щекой в подушку и выпуская из открытого рта ниточку слюны. Зато уж его-то нельзя разобрать на части, расчленить: в любой час дня и ночи он был и оставался Агилульфом Гемом Бертрандином де Гвильдиверном д'Альтор де Корбенотраз-и-Сурой, который был тогда-то облечен титулом оруженосного владетеля Ближней Селимпии и Феца, прославил христианское оружие такими-то и такими-то подвигами, принял на себя в войске императора Карла Великого командование такими-то и такими-то частями. Ему принадлежали самые прекрасные, самые блестящие во всем стане доспехи, неотделимые от него, и он был лучшим офицером из многих, кичащихся своими отличиями, даже из всех офицеров. И все-таки он бродил по ночам, чувствуя себя несчастным.

Неожиданно раздался голос:

— Господин офицер, прошу прощения, когда придет смена? Я битых три часа торчу здесь!— Это был часовой, он опирался на копые, будто это не копые, а рогатина.

Агилульф ответил, даже не оглянувшись:

— Ты ошибся, я не разводящий!— и прошел дальше.

— Простите, господин офицер, я увидел, как вы тут кружите, вот и подумал...

Малейшее упущение по службе вызывало у Агилульфа неодолимую потребность все проверить, найти в чужих действиях оплошности и небрежности, он чувствовал острую боль за то дело, которое делается плохо или не к месту... Но осуществлять такую проверку и в такой час было вне его полномочий, это само по себе сочли бы неуместным, нарушающим дисциплину. Агилульф старался не давать себе воли, ограничить свои заботы частностями, за которыми надо проследить завтра, вроде сооружения для запасных копий или особых устройств для сена, чтобы оно не отсырело... И тем не менее его светлый силуэт вечно путался под ногами у начальника караулов, у дежурного офицера, у патруля, что обшаривал подвал в поисках бутылки вина, оставшейся со вчера... Каждый раз Агилульф одно мгновение раздумывал, как ему вести себя: как лицу, одно присутствие которого способно внушить уважение к власти, или как постороннему, который, оказавшись там, где ему делать нечего, отступает на шаг, скромно делая вид, будто его здесь и нет. В моменты колебаний Агилульф останавливался в задумчивости и не решался выбрать ни ту, ни другую линию поведения, только чувствовал, что докучает всем; ему хотелось бы войти хоть в какие-нибудь отношения с ближними, например выкрикивать приказы и ругаться, как унтер, или горлопанить и браниться последними словами, как в кабаке, среди собутыльников. Вместо этого он бормотал что-то невнятное в знак приветствия, прикрывая робость высокомерием или укрощая высокомерие робостью, и шел дальше, но

ему казалось, что те окликают его, он оборачивался, переспрашивал: «А?»—но тотчас же убеждался, что обращаются не к нему, и уходил так поспешно, будто спасался бегством.

Порой он забредал на край лагеря, в пустынные места выше по голому склону холма. Недвижимость ночи нарушало только легкое колыхание бесформенных теней на бесшумных крыльях, кружившихся так, что никак нельзя было понять направления полета: то метались нетопыри. Но даже их жалкое тело, то ли мышье, то ли птичье, было чем-то осязаемым и определенным, оно позволяло метаться в воздухе с открытой пастью и глотать комаров, меж тем как Агилульфа со всеми его доспехами через щели пронизывал ветер, пролетали комары, просвечивали лунные лучи. Беспредметная ярость, копившаяся в нем, вдруг прорвалась наружу: он вытащил из ножен меч, схватил его обеими руками и стал изо всех сил размахивать в воздухе, стараясь задеть каждого спускавшегося нетопыря. Напрасно: те продолжали свой полет без начала и конца, лишь чуть покачнувшись от сотрясения воздуха. Агилульф наносил удар за ударом, теперь он уже не метил в нетопырей; его взмахи приняли более правильное направление, какое предписывала наука фехтования на мечах; и вот уже Агилульф упражнялся, словно готовясь к предстоящему сражению, щегольски выделывая по всем правилам искусства парады, траверсы и ложные выпады.

Вдруг он остановился. Из-за изгороди на холме высунулся молодой человек и смотрел на него. Вооружен он был только мечом, а грудь была защищена легким панцирем.

— Ах, рыцарь!—воскликнул он.—Я не хотел вам мешать. Ведь вы готовитесь к сражению, да? Потому что с первыми лучами солнца начнется битва? Вы не позволите мне поупражняться с вами?—И, помолчав, прибавил:—Я прибыл в лагерь только вчера... Это будет мое первое сражение... Здесь все совсем не так, как я ожидал...

Агилульф стоял теперь боком, прижав к груди меч, сложив руки и заслонившись щитом.

— Диспозиция на случай вооруженного столкновения, принятая по обсуждению командованием, сообщается господам офицерам и войскам за час до начала операций,—сказал он.

Молодой человек немного смутился, словно его осадил на всем скаку, но потом, чуть-чуть заикаясь, начал с прежним жаром:

— А я... я прибыл как раз теперь... отомстить за отца... И пожалуйста, пусть кто-нибудь из вас, старших, будет так любезен научить меня, как мне сойтись в битве лицом к лицу с этим неверным псом, аргалифом Исохаром, да, именно с ним, и вонзить ему копьё промеж ребер, как он поступил с моим доблестным родителем, да сохранит господь славу моему имени, с покойным маркизом Герардом Руссильонским!

— Это очень просто, мой мальчик,—сказал Агилульф, и в

голосе у него даже звучало тепло, какое появляется у человека, который, зная все уставы и распределение обязанностей, с удовольствием выставляет напоказ свою осведомленность и приводит в замешательство неопытного собеседника.— Ты должен представить запрос в Суперинтендантство по делам поединков, мщениа и запятнанной чести, подробно изложив мотивы ходатайства, и там изучат вопрос, как лучше обеспечить тебе условия получения желаемой сатисфакции.

Юноша, ожидавший хотя бы знака изумления и почтения при имени отца, был уязвлен более тоном услышанного, нежели его смыслом. Потом он попытался обдумать сказанное рыцарем, но лишь для того, чтобы про себя все отвергнуть и не дать своему порыву угаснуть.

— Но какое мне дело до Суперинтендантства, рыцарь? Я тревожусь оттого, что спрашиваю себя, как быть, если в битве храбрость, которую я в себе чувствую, ожесточение, которого мне хватит, чтобы выпотрошить сотню басурман, мастерское владение мечом— потому что выучка у меня, доложу вам, отличная, я говорю, что, если в большой схватке, прежде чем я сориентируюсь,— словом, сам не знаю... Если я не отыщу этого пса, если он избегнет меня, я хотел бы знать, как поступаете в таких случаях вы, рыцарь, скажите мне, когда в бою должен решиться вопрос, касающийся лично вас, имеющий непреложное значение для вас, и только для вас одного.

Агилульф ответил сухо:

— Я строго придерживаюсь диспозиции. Поступай так же, и ты не ошибешься.

— Простите,— произнес молодой человек, доведенный почти до оцепенения,— я не хотел вам докучать. Для меня было бы удовольствием поупражняться на мечах с вами, с паладином. Потому что я, доложу вам, фехтую отлично, но иногда, особенно рано утром, мышцы окоченелые, холодные, не пружинят как следует. С вами такое случается?

— Со мной никогда,— сказал Агилульф, повернулся к нему спиной и тотчас ушел.

Молодой человек побрел по лагерю. Был смутный час, предшествующий рассвету. Между шатрами появлялись вставшие ото сна воины. Еще до того, как протрубили зорю, штабные были уже на ногах. В палатках командиров и ротных канцелярий загорались факелы, боровшиеся с полусветом, что сочился с небес. Действительно ли день, который занялся, будет днем битвы, как о том поговаривали с вечера? Новоприбывшего снадало волнение, но не такое, какого он ожидал, не то, которое привело его сюда; скорее, это было беспокойство, обретет ли он почву под ногами, потому что все, чего он касался, отдавалось гулкой пустотой.

Навстречу ему шли паладины, уже заточенные в сверкающие панцири, в шлемы с султанами и со скрывавшими лица забралами.

Молодой человек оглядывался им вслед, у него рождалось желание подражать их осанке, их манере поворачиваться всем туловищем, словно латы, шлем, оплечья—все вылито из одного куска. Теперь он и сам среди непобедимых паладинов, теперь он готов с оружием в руках показать себя в битве, уподобиться им. Но те двое, за которыми он последовал, вместо того чтобы сесть в седло, уселись за стол, заваленный бумагами,—наверняка то были высокие чины. Молодой человек поспешил представиться им:

— Я—вольноопределяющийся Рамбальд Руссильонский, наследник маркиза Герарда! Я пришел в войско, чтобы отомстить за отца, павшего смертью героя под стенами Севильи.

Те двое подносят руки к шлемам, снимают их, отделив подбородник от бармицы, и ставят на стол. Из-под шлемов появляются две лысые головы, два лица с желтоватой, дряблой, отвисшей мешками кожей и чахлыми усиками: лица писцов, службистов-бумагомарак.

— Руссильон, Руссильон,—бормочут они и, послунив пальцы, перебирают какие-то свитки.—Но ведь мы уже внесли тебя в списки вчера! Чего тебе еще надо? Почему ты не при своем подразделении?

— Я... я и сам не знаю... Просто этой ночью я не мог уснуть... все думал о сражении, я должен отомстить за отца, понимаете, должен убить аргалифа Исохара, а значит, мне надо искать... как его?.. Суперинтендантство по делам поединков, мщениа и запятнанной чести. Где оно?

— Гляди-ка, не успел явиться, а что выкладывает! Да ты-то откуда знаешь о Суперинтендантстве?

— Мне сказал рыцарь, как же его зовут?.. Ну этот, в светлых доспехах...

— Уф-ф! Его только не хватало! И во все ему надо сунуть нос, которого у него нет.

— Как? У него нет носа?

— Раз у него самого зудеть нечему,—сказал второй из сидевших за столом,—так он лезет чесать, где зудит у других.

— Почему у него зудеть нечему?

— А в каком месте, по-твоему, у него будет зуд? Мест-то нет никаких. Он—рыцарь, которого нет...

— Как нет? Он был, я его видел.

— Что ты видел? Железки... Он есть, и вместе с тем его нет, понимаешь, дурошлеп?

Никогда молодой Рамбальд не смог бы вообразить себе, что внешность бывает так обманчива: с того мгновения, как он попал в лагерь, все оказывалось иным, чем казалось.

— Значит, в войске Карла Великого можно быть именитым рыцарем со множеством титулов, можно исправно нести службу, быть доблестным воителем и в то же время совсем не обязательно существовать?

— Тихо! Никто не говорит, что в войске Карла Великого можно, а что обязательно. Мы только сказали: в нашем полку есть такой-то и такой-то рыцарь, вот и все. Что может быть вообще и чего не может быть, нас не касается. Понял?

Рамбальд направился к шатру Суперинтендантства по делам поединков, мщения и запятнанной чести. Молодой воин больше не позволял себе обольщаться насчет панцирей и пернатых шлемов: он понимал, что латы, восседающие за этими столами, прячут людешек хилых и пропыленных. Спасибо еще, что внутри доспехов есть хоть что-нибудь.

— Так значит, ты желаешь отомстить за отца, маркиза Руссильонского, в чине генерала? Ну что ж. Порядок таков: чтобы отомстить за генерала, необходимо убить трех майоров. Мы можем указать тебе таких, с которыми нетрудно справиться, и твое дело сделано.

— Нет, я плохо объяснил. Аргалиф Исохар—вот кого мне нужно убить. Это от его руки погиб мой отец.

— Да-да, мы поняли, но не думай, что победить аргалифа—такая простая штука... Хочешь четырех капитанов? Мы гарантируем тебе четырех басурманских капитанов за одно утро. Ведь четыре капитана идут за генерала армии, а твой отец был только бригадным генералом.

— Я буду искать Исохара и выпущу из него потроха. Только из него самого!

— И кончишь на гауптвахте вместо битвы, будь уверен! Подумай немного, прежде чем ерепениться. Если мы ставим тебе палки в колеса, значит, на то есть причины... а вдруг наш император ведет с Исохаром какие-нибудь переговоры...

Но тут один из служащих, который до поры сидел, зарывшись с головой в бумаги, поднял ее и радостно воскликнул:

— Все! Проблема решена! Никакого мщения не требуется. Позавчера Оливьер вообразил, что двое его дядюшек погибли в бою, и расквитался за них. А они валялись под столом пьяные. Как вам это нравится? Теперь на нашем счету две лишние мести. Вот все и уладилось: одну месть за дядю посчитаем как полмести за отца, и выходит, что у нас есть вакантный отмщенный родитель!

— О, мой отец!—Рамбальд был вне себя.

— Чего это тебя разобрало?

Сыграли зорю. В рассветных сумерках весь стан кишел рыцарями в доспехах. Рамбальд из Руссильона и рад бы замешаться в эту толпу, понемногу формирующуюся во взводы и другие регулярные части, но он не мог отделаться от ощущения, что весь этот скрежет железа о железо не больше, чем трепыханье жестких надкрылий насекомых, потрескиванье пустых оболочек. Многие рыцари были закованы в латы и шлемы, а ниже пояса, под набедренниками и крестцовым прикреплением, торчали ноги в штанинах и чулках, ибо для того, чтобы надеть

наглядвенники, наколенники и бутурлыки, воину нужно было сначала сесть в седло. Под таким стальным туловищем ноги казались особенно тонкими, вроде лапок кузнечика; что-то от кузнециков или муравьев было и в том, как при разговоре люди качали круглыми безглазыми головами и как они держали согнутыми руки, скованные налокотниками и наручами, так что вся эта суета напоминала копошение насекомых. Глаза Рамбальда что-то отыскивали в их гуще: то были светлые доспехи Агилульфа, которого он надеялся вновь увидеть, то ли потому, что его появление придавало бы и остальным войскам какую-то вещественность, то ли потому, что самым осязаемым представлялось ему до сих пор знакомство с несуществующим рыцарем.

Рамбальд заметил его под сосной, где тот сидел, выкладывая на земле маленькие сосновые шишки правильным узором из треугольников. На рассвете Агилульф всегда испытывал потребность поупражняться в точности: сосчитать предметы, разложить их в виде геометрических фигур, порешать арифметические задачки. Ведь в этот час все вещи теряют плотность темного силуэта, присущую им ночами, и понемногу обретают краски, но прежде проходят сквозь полосу неопределенности, едва тронутые светом и почти растаявшие в его ореоле; в этот час легче всего усомниться в существовании мира. Агилульфу каждый миг необходимо было ощущать перед собой предметы, подобные массивной стене, которой следует противостоять напряжением всей своей воли: только так он сохранял неприкосновенным свое самосознание. Если же, напротив того, мир вокруг окутывался туманом, делался неопределенным, Агилульф чувствовал, что и сам растворяется в мягком полусвете, и не мог добиться, чтобы из пустоты выплыла отчетливая мысль, быстрое решение, педагогическая придирака. Ему бывало плохо: в такие мгновения он чувствовал, что теряет себя, и нередко только крайним усилием воли не давал себе улетучиться. Тут он принимался считать: листья, камни, копья, шишки—все, что попадалось на глаза. Или выкладывать их прямыми линиями, правильными квадратами либо пирамидами. Поголощенность этой точностью позволяла ему одолеть дурное самочувствие, подавить в себе недовольство, беспокойство и расслабленность, вновь обрести привычную ясность и собранность.

Таким увидел его Рамбальд: сосредоточенными быстрыми движениями Агилульф выкладывал шишки треугольниками, потом на каждой стороне треугольника строил квадрат и с упорством одержимого пересчитывал шишки, сравнивая сумму из квадратов на катетах с суммой квадрата на гипотенузе. Рамбальду было понятно, что тут все идет по заведенному ритуалу, по формуле, но что же, что за этим скрывалось? Он испытывал смутное тягостное чувство, так как знал, что ему эти правила игры недоступны... Но в конце концов, разве его собственная воля отомстить за смерть отца, его пыл найти себе место в бою среди

воинов Карла Великого не такой же ритуал, как Агилульфово переключивание шишек с целью не погрузиться безвозвратно в ничто? Взволнованный и угнетенный этими нежданно нахлынувшими на него вопросами, молодой Рамбальд кинулся на землю и расплакался.

Вдруг он почувствовал, как на голову ему легла рука, железная, но легкая. Агилульф опустил рядом на колени:

— Что с тобой, малыш? Почему ты плачешь?

Упадок духа, приступы отчаяния или ярости в других человеческих существах немедленно возвращали Агилульфу спокойствие и совершенное самообладание. Он чувствовал себя неподвластным тревожностям и тревогам, которым подвержены существующие смертные, и это заставляло его относиться к ним свысока и покровительственно.

— Простите,—сказал Рамбальд,—наверно, это от усталости. Всю ночь я глаз не сомкнул, и теперь мне здорово не по себе. Вот если бы заснуть хоть на минуту... Но уже день. А вы... как вам удается все это выдерживать, вы ведь тоже совсем не спали?

— Мне было бы не по себе, усни я хоть на одно мгновение,— тихо сказал Агилульф,—я бы ни за что не нашел себя больше, потерял бы себя навсегда. Поэтому я и провожу без сна все ночи и дни.

— Это, должно быть, очень тяжело...

— Нет!—Голос снова стал сухим и звонким.

— И доспехов вы никогда не снимаете?

Агилульф опять перешел на шепот:

— Их не с чего снимать, так что в этом нет никакого смысла.

Рамбальд поднял голову и всмотрелся в разрезы забрала, как будто ища в темноте искру взгляда.

— Как это может быть?

— А как может быть иначе?

Железная рука светлых доспехов все еще лежала на голове молодого человека. Рамбальд ощущал лишь ее вес на голове, от нее, как от неодушевленного предмета, не исходило тепла человеческой близости—неважно, докучной или утешительной,—ее прикосновение давало себя знать лишь напряженным упорством, что овладевало им.

III

Карл Великий скакал верхом во главе войска франков. Целью марша было сближение с противником, поэтому ехали без спешки, не слишком резво. Императора тесно окружали палadini, уздой удерживавшие горячих коней; гарцуя, воины двигали локтями, и от этого их серебряные щиты поднимались и опускались, как жабры у рыб. И все войско напоминало длинную, покрытую чешуей рыбу, вроде угря.

Землепашы, пастухи, поселяне сбежались к обочине дороги.

— Вон тот—король, вон он—Карл.—И они кланялись до земли, узнавая императора не столько по незнакомому им венцу, сколько по бороде. Потом поспешно выпрямлялись, чтобы разглядеть паладинов.—Вон тот—Роланд! Нет, это Оливьер!—Каждого угадать они не могли, но это было и неважно: все, как один, были тут, и можно было поклясться, что ты видел, кого хотел.

Агилульф, ехавший среди паладинов, время от времени чуть опережал их галопом, потом останавливался и, поджидая остальных, то оглядывался, чтобы проверить, не растянулся ли строй, то поворачивался лицом к солнцу и как будто вычислял по его высоте над горизонтом, который теперь час. Агилульфа одолевало нетерпенье. Из всех только он держал в памяти распорядок марша, длину переходов и место, куда следовало прибыть дотемна. Остальные паладины—ну что же: сближение и есть сближение, как ни двигайся, хоть быстрее, хоть медленней, поэтому, под предлогом, что император стар и легко устает, они готовы были в каждой таверне застрянуть и устроить попойку. Они только и замечали, что вывески на тавернах да задницы служаков, а если б не это, то ехали бы как будто запакованные в сундуки.

Карл Великий, напротив, проявлял огромное любопытство ко всему, что попадалось на глаза.

— Глянь-ка, утки, утки!—восклидал он.

Утки шли небольшой кучкой вдоль дороги по лугу, а посреди них—человек, выделявавший черт знает что и непонятно зачем. Он передвигался на корточках, руки держал за спиной, ноги ставил плоско, как перепончатопалые, шею вытягивал и приговаривал: «Кря-кря-кря». Птицы не обращали на него внимания, как будто приняли его в свою стаю. Да взглянув на этого человека, и нелегко было отличить его от уток, потому что платье на нем, явно сшитое из кусков мешковины, было землисто-бурого оттенка с большими зеленовато-серыми пятнами, в точности как утиное оперенье, и к тому же пестрело разноцветными лоскутками и заплатками вроде радужных полосок у этих же водоплавающих.

— Эй, ты, по-твоему, так надобно кланяться императору?—кричали ему паладины, всегда готовые подлить масла в огонь.

Человек не обернулся, но утки, которых вспугнули голоса, разом взлетели. Человек какое-то мгновение помедлил, вытянув нос вверх и глядя на их полет, потом раскинул руки, прыгнул и, размахивая руками со свисавшими лохмотьями, попрыгал вслед за утками с веселым хохотом и криками «кря-кря».

Поблизости был пруд. Утки с лета сели на воду и легко, со сложенными крыльями пустились вплавь дальше. Человек, достигнув пруда, плюхнулся в воду вниз животом, поднял фонтаны брызг, забарахтался, попробовал снова закричать, но раздалось только бульканье, потому что он пошел ко дну, потом вынырнул, попытался плыть и вновь затонул.

— Он что, сторожит уток?—спросили воины у крестьянской девочки, которая подошла с тростинкой в руке.

— Нет, уток пасу я, это мои утки, а он, Гурдулу, тут ни при чем,—сказала девочка.

— А что он делал с твоими утками?

— Да ничего. На него временами находит, он видит их и думает, что он...

— Думает, что он тоже утка?

— Думает, что утки—это он. Таков уж он, наш Гурдулу, неразумный...

— А куда он сейчас девался?

Паладины подъехали к пруду. Гурдулу не было видно. Утки проплыли по зеркалу вод и продолжали путь по траве луга, мягко ступая перепончатыми лапами. Из прибрежных папоротников доносился лягушачий хор. Человек вдруг высунул голову из воды, как будто вспомнил, что надо вдохнуть воздуха. Он озирался в растерянности, точно не понимал, что такое эта бахрома папоротников, отражавшаяся в воде на расстоянии пяди от его носа. На каждой веточке сидело по маленькому скользкому зеленому существу, и каждое глядело на него, крича изо всех сил: «Ква-ква-ква!»

— Ква-ква-ква!—отозвался довольный Гурдулу.

На его голос лягушки ответили прыжками с папоротников в воду и из воды на берег, а Гурдулу с криком «ква» тоже сиганул, как лягушка, очутился на берегу, с головы до пят в грязи и в тине, присел по-лягушачьи на корточки и квакнул так громко, что под треск сломанных тростников и сухих трав опять свалился в пруд.

— Как это он не потонет?—спросили паладины у какого-то рыболова.

— Бывает, что Омобó забудется, потеряет себя... А потонуть он не потонет. Хуже всего, когда он попадает в сеть вместе с рыбой. Однажды с ним приключилось такое, когда он надумал ловить рыбу. Только забросил сеть, увидал, как рыба идет в нее, и вообразил себя этой рыбой, а потому сам нырнул и полез в сеть... Вот он какой, наш Омобо.

— Омобо? Разве его зовут не Гурдулу?

— Мы его называем Омобо.

— А та девочка...

— Ах, та? Она не из нашей деревни, может, у них его и зовут так.

— А он из какой деревни?

— Да не из какой, просто бродяга.

Конный строй двинулся мимо грушевого сада. Плоды на деревьях поспели. Воины подцепляли груши на острия пик и отправляли их в зев шлемов, откуда вылетали потом только отпрыски. И вдруг—кого они видят в ряду деревьев? Омобо-Гурдулу. Он стоял, подняв вверх изогнутые, как ветки, руки, а в

руках у него, на голове, во рту, в лохмотьях — везде были груши.

— Смотрите, теперь воображает себя грушей! — развеселился Карл Великий.

— Вот сейчас я его потрясу! — сказал Роланд и дал ему тумака.

Гурдулу сразу выронил все груши, которые раскатились по лугу; увидев, как они катятся, он не удержался и покатился тоже, как груша по лугу, и скрылся из виду.

— Смиловитесь над ним, ваше величество, — сказал старик садовник. — Мартинзулу иногда невдомек, что его место не среди растений и неодушевленных плодов, а среди верноподданных вашего величества.

— На чем же он свихнулся, этот сумасшедший, которого вы называете Мартинзулом? — благодушно спросил наш император. — По-моему, ему вообще невдомек, что у него творится в башке.

— Нам этого не понять, ваше величество. — Садовник говорил со скромной мудростью много повидавшего человека. — Сумасшедшим его, пожалуй, не назовешь, просто он есть, но сам не знает, что есть.

— Хорошенькое дело! Этот мой подданный, который есть, но сам не знает, что есть, и тот паладин, который знает, что он есть, а на самом деле его нет. Отличная пара, честное слово!

Карл Великий устал от верховой езды. Опираясь на плечи стремянных, пыхтя в бороду и ворча: «Бедная Франция...» — он спешился. И все войско, едва император ступил ногою наземь, остановилось, как по команде, и раскинуло бивак. Все достали котелки для довольствия.

— Притащите ко мне этого Гургур... как там его? — произнес король.

— Смотря по тому, через какую деревню он бредет, — сказал мудрец садовник, — и за каким войском увяжется — христианским или басурманским. То его зовут Гурдулу, то Гуди-Юсуф, то Бен-Ва-Юсуф или Бен-Стамбул, то Пестанзул или Бертинзул, то Мартин-добряк или просто Добряк, а то и Животина, или Зверь из Лога, или Жан Сбрендилло, или Пьер Сбрендуччо. А в каком-нибудь пропащем пастушьем балагане, может, его называют совсем иначе, и потом, я заметил, что всюду его имена меняются с временами года. Можно сказать, имена скатываются с него, как с гуся вода. А ему, как ни зови, все едино. Вы кличете его, а он думает, что козу, вы скажете «сыр» или «ручей», и он тут как тут.

Двое паладинов, Сансонет и Дудон, подошли, волоча Гурдулу как мешок, и пинками заставили его встать перед королем.

— Шапку долой, каналья! Не видишь, что ли, — перед тобой король?

Лицо Гурдулу осветилось — это было широкое загорелое лицо, в котором смешались черты франков и сарацин: россыпь рыжих веснушек на смуглой коже, прозрачно-голубые глаза с красными

прожилками по белкам, курносый нос и выпяченные губы; он был белокурый, но курчавый, борода жесткая и клочковатая. А в волосах запутались колючая каштановая скорлупа и сережки овса.

Гурдулу стал бить поклоны королю и забормотал часто-часто. Знатные господа, до сих пор слышавшие от него только звериные крики, изумились. Он говорил торопливо, глотая слова и заплетаясь языком, порой казалось, что он без запинки переходит с диалекта на диалект и даже с языка на язык — то ли христианский, то ли сарацинский. Полная непонятных и невпопад сказанных слов, речь его сводилась примерно вот к чему:

— Припадаю землей к носу, преклоняю стопы пред вашими коленями! Признаю себя августейшим слугой вашего покорнейшего величества, приказывайте себе, а я себе повинуюсь! — Он потряс в воздухе ложкой, которую носил за поясом. — А когда ваше величество говорит: «Приказываю, повелеваю и желаю» — и делает жезлом вот так, видите? — вот так, как я, и кричит, как я: «Приказываю-у-у-у, повелеваю-у-у-у и желаю-у-у-у!», все вы, подданные, должны мне повиноваться, а иначе я вас, собак, пересажаю на кол, а первым вон того, бородатого, с лицом как у старого дурака...

— Отрубить ему голову немедля? — спросил Роланд, обнажая меч.

— Смилуйтесь над ним, ваше величество, — сказал садовник. — Он обознался, как всегда: говорил с королем и сбился, так что не помнит больше, кто король — он сам или тот, с кем он разговаривает.

Из дымящихся котелков шел сильный запах съестного.

— Дайте ему манерку похлебки! — сказал милостивый монарх.

Гурдулу, корча рожи, кланяясь и бормоча что-то невнятное, ретировался под дерево, чтобы поесть.

— Что это он там делает?

Поставив манерку на землю, Гурдулу засовывал в нее голову, словно желал залезть внутрь. Добрый садовник подошел и потряс его за плечо.

— Ну когда ты поймешь, Мартинзул, что это ты должен съесть похлебку, а не похлебка — тебя? Не соображаешь? Нужно набрать ее в ложку и поднести ко рту...

Гурдулу стал с жадностью расправляться с похлебкой. Он орудовал ложкой с таким рвением, что порой ошибался целью. В дереве, под которым он сидел, зияло дупло, как раз на уровне его головы, и Гурдулу принялся ложками лить в него похлебку.

— Это не твой рот! Это дупло!

Агилульф с самого начала внимательно и с волнением следил за всеми движениями этого упитанного тела, которое каталось между сущими предметами и, как видно, было всем довольно, словно стригунок, что хочет почесать себе спину; у рыцаря слегка закружилась голова.

— Рыцарь Агилульф!— произнес Карл.— Вот что я вам скажу... Я назначаю этого малого вам в оруженосцы. Неплохая мысль, правда?

Паладины иронически хмыкали. Но Агилульф, который все принимал всерьез (тем паче ясно высказанный приказ императора), тотчас же обернулся, чтобы отдать новому оруженосцу первые распоряжения, однако Гурдулу, поглотив похлебку, упал и заснул в тени все того же дерева. Растянувшись на земле и разинув рот, он храпел, его грудь и живот вздымались и опалили, как кузнечные мехи. Жирная манерка откатилась и валялась возле его толстой босой ноги. Из травы вылез дикобраз, видимо привлеченный запахом еды, подобрался к манерке и принялся вылизывать последние капли похлебки. При этом он коснулся иглами босой подошвы Гурдулу, и чем дальше он продвигался за своей скудной поживой, тем сильнее колол голую стопу. Наконец побродяжка открыл глаза и стал оглядываться, не понимая, откуда взялась разбудившая его боль. Потом увидел босую ногу, лежавшую в траве, словно толстый поваленный кактус, и колючего зверька возле нее.

— Эй, нога,— заговорил Гурдулу,— нога, слышь, я тебе говорю. Чего ты тут валяешься, как дура? Не видишь, что ли, этот зверь тебя протыкает? Эй, нога-а-а! Вот глупая! Почему ты не уберешься в сторону? Или тебе не больно? Балда ты, а не нога! Ведь и нужно-то всего только малость отодвинуться. И надо ж быть такой дурехой? Нога-а-а, да послушай же! Так нет же, глядите, пусть лучше ее мучают! Отодвинься, полоумная, кому говорят! Ну, следи за мной, я тебе сейчас покажу, как надо...— С этими словами он согнул колено и подтянул к себе стопу, убрав ее от дикобраза.— Ну вот, проще простого, стоило мне показать, и ты сразу уразумела, что к чему. Бестолковая нога, и чего ты так долго давала себя колоть?

Гурдулу потер наболевшую подошву, вскочил, стал насвистывать, пробежался, сиганул в кусты, пустил шептуна— раз, другой— и скрылся.

Агилульф двинулся было следом, но тот как сквозь землю провалился. Вдоль всей долины полосами тянулись густо засеянные овсы, изгороди из земляничника и бирючины, дул ветер, порывы его несли цветочную пыльцу, бабочек, а по небу— белую пену облаков. Гурдулу будто растворился среди всего этого, он мог быть в том склоне, где солнце походило очерчивало скользящие пятна тени и света, или на противоположном— где угодно.

Неведомо откуда донеслось фальшивое пение:

— *De sur les ponts de Bayonne...*¹

Светлый доспех Агилульфа, хорошо просматривавшийся на бровке долины, скрестил руки на груди.

— Так что же, когда начнет тебе служить новый оружено-

¹ С мостов Байонны... (франц.)

сеч?—приставали к нему товарищи.

Агилульф в ответ машиналино, без всякого выражения заявил:

— Устное волеизъявление императора немедленно приобретает силу именного указа...

— *De sur les ponts de Bayonne*,— снова слышался голос, на этот раз много дальше.

IV

Еще смутно было в мире в тот век, когда ведется наша повесть. Повсюду можно было натолкнуться на такие предметы и мысли, формы и установления, которые не имели соответствий среди подлинно существующего. А с другой стороны, мир кишел предметами и свойствами, лишенными наименования и неотличимыми от всего остального. В те времена упорная воля существовать, оставить после себя след, войти в столкновение со всем сущим не использовалась полностью, так как многие—то ли по невежеству и жалкому своему состоянию, то ли, напротив, потому, что все им и так удавалось,—не испытывали в ней никакой надобности, и потому часть этой воли пропадала впустую. Но тогда могло случиться и так, что воля к существованию и самосознание, рассеянные в пространстве, собирались в некий сгусток, как невидимая водяная пыль образует хлопья облаков, и сгусток этот случайно или инстинктивно наталкивался на какое-либо имя и род, которые в те времена часто оставались вакантными, на какой-нибудь чин в штате войска, круг обязанностей, имеющих быть выполненными, и предустановленных правил, прежде же всего—на пустые доспехи, без коих во времена, подобные тем, даже существующий человек рисковал исчезнуть, не говоря уже о несуществующем... Так начались деяния стяжавшего себе славу Агилульфа де Гвильдиверна.

Я, повествующая о нем, зовусь сестра Феодора, монахиня ордена святого Коломбана. Пишу я в монастыре, пользуясь старыми хартиями, толками, услышанными в приемной, и редкими свидетельствами существовавших особ. У нас, монахинь, не так много возможностей вести беседы с военными, и то, чего не знаю, я стараюсь вообразить—как обойтись без этого? Не все в этой истории ясно мне самой. Можно нам посочувствовать: ведь все мы девушки хотя и дворянского звания, но из деревни, жившие всегда уединенно, сначала в затерянных замках, потом в монастырях. Кроме наших обрядов, трехдневных и девятидневных молитв, полевых работ, молотьбы, сбора винограда, порки слуг, подлогов, поджогов, повешений, солдатских набегов и грабежей, насилий да чумных поветрий, мы ничего и не видали. Что может знать о мире бедная монахиня? Итак, я с натугой продолжаю мою повесть, за которую принялась ради покаяния.

Бог знает, как удастся мне рассказать вам теперь о сражении, потому что от войны, боже избави, я всегда была далека и, если не считать двух-трех стычек на равнине под нашим замком — мы, маленькие девочки, следили за ними из-за зубцов стены, стоя среди котлов с кипящей смолой, и на следующее лето, играя по лугам, находили истлевающие, обсаженные шершнями тела убитых, во множестве оставшихся непогребенными, — ни о каких сражениях ничего не ведаю.

Рамбальд тоже ничего о них не ведал — и это при том, что всю свою молодую жизнь он ни о чем другом и не думал. Сегодня ему предстояло боевое крещение. Верхом, в конном строю, он ожидал сигнала атаки, не испытывая от этого ни малейшего удовольствия. Слишком много было на нем всего надето: железная кольчуга с капюшоном, латы с горловым прикрытием и оплечьями, набрюшник, шлем с остроносым забралом, из-за которого он с трудом мог что-нибудь различить, да еще плащ поверх доспехов, а в руках — щит выше его самого и пика, которой он при каждом повороте бил по голове соседей в строю; конь под ним из-за прикрывавшей его железной попоны был вовсе невидим.

Рамбальду почти что расхотелось испускать смерть отца кровью аргалифа Исохара. Проглядев какие-то бумаги, куда были занесены все соединения, ему сказали:

— Когда заиграет труба, мчись, наставив пику вперед, пока не пронзишь его. Исохар в боевом строю всегда сражается вот здесь. Если не своротишь в сторону, наверняка на него наткнешься, при том условии, конечно, что до этого не разбежится все вражеское войско, но этого никогда не бывает с первого удара. Бог мой, ну конечно, всегда возможно, что немного отклониться, но не беспокойся — не ты, так твой сосед непременно его подцепит. — И Рамбальду, поскольку дело обстояло так, все остальное было безразлично.

Признаком того, что начался бой, служил кашель. Внизу завиделось приближавшееся облако пыли, а другое облако поднялось с земли, потому что кони христиан тоже пустились во весь опор. Рамбальд раскашлялся, кашляло все императорское войско, закупоренное в своих доспехах, и под звуки кашля и конского топота неслось навстречу басурманской пылице, слыша все явственнее кашель сарадин. Два облака соединились; вся равнина оглашалась кашлем и стуком копий.

Искусство первой стычки состояло не в том, чтобы вздеть противника на пику (при таких щитах ты рискуешь ее сломать, да еще с разлету сам грохнешься лицом оземь), а в том, чтобы спешить его, просунув копьё между седлом и задницей в тот самый миг, когда конь — гоп-гоп — его подкидывал. Это могло выйти боком тебе самому, потому что наставленная вниз пика легко натыкалась на какую-нибудь преграду, а иногда вонзалась в

землю и, как рычаг, сбрасывала тебя с седла вверх тормашками. Поэтому стычка первых рядов состояла почти сплошь в том, что воины подлетали в воздух на пиках. А так как любое движение вбок было затруднено (с пикой нельзя повернуться ни на пядь, иначе можно угодить в ребро не только чужому, но и своему), то сразу поднималась такая буча—ничего не разберешь. Но тут-то галопом подъезжали лучшие бойцы с обнаженными мечами и рассекали общую свалку, врубаясь ударами сверху.

Но и они наконец оказывались щитом к щиту с лучшими бойцами противника. Начинались поединки, но земля была завалена ломаными доспехами и трупами, потому двигались воины с трудом и, если не могли достать друг друга, изливали душу в ругательствах. Тут дело решала степень оскорбления: в зависимости от того, каким оно было—смертельным, кровавым, нестерпимым, средним или же легким,—полагалось по-разному платить за него и в иных случаях воспламеняться ненавистью, завещаемой потомкам. Следовательно, главным было понять друг друга—а это нелегко маврам и христианам, которые и промеж себя говорили на разных наречиях. Если ты получал совершенно зашифрованное оскорбление, что было делать? Приходилось сносить его и, может быть, терпеть пожизненное бесчестье. Вот почему на этом этапе битвы появлялись стремительные отряды легковооруженных толмачей; они кружились тут же на своих лошаденках, на лету ловили ругательства и немедленно переводили на язык того, кому они предназначались.

— Хар-ас-Сус!

— Дерьмо червячье!

— Мушрык! Sozo! Mozo! Escalvão! Marrano! Hijo de puta!¹
Забалкан! Merde!²

Насчет этих толмачей с обеих сторон существовало молчаливое соглашение: убивать их не надо. К тому же они, чуть что, быстро удирали прочь, и ежели в такой суতোлке непросто было убить тяжеловесного рыцаря на огромном коне, который едва переставлял ноги под тяжестью брони, то нечего и говорить об этих попрыгунчиках. Но, известное дело, война есть война, и время от времени кто-нибудь из них навсегда оставался на поле битвы. Конечно, толмачи умели сказать «ублюдок» на двух-трех языках и тем прикрывались, но должны же были и они получить свою долю опасности! Поле сражения, если ты проворен на руку, всегда даст хороший урожай, особенно если выбрать подходящий момент, до того как налетит весь рой пехоты, которая хватается все, до чего дотронется.

Подбирать всякую всячину пехотинцам, благо они коротышки, гораздо удобнее, но всадники в седлах отличнейшим образом оглушают их клинком плашмя и всю добычу тащат к себе. Под

¹ Доддон! Шелудивый! Боров! Ублюдок! (искаж. исп.)

² Дерьмо! (франц.)

«всякой всячиной» разумеются не столько вещи, снятые с убитых, потому что раздеть убитого — дело, требующее внимания и времени, сколько оброненные вещи. Обычай идти в бой, нацепив на себя и на коня всю парадную сбрую, вел к тому, что при первой же стычке все это барахло сыпалось на землю. И тут уж кто думает о битве? Борются изо всех сил за то, чтобы подобрать их, а вечером, вернувшись в свой стан, барышничают и спекулируют. В обороте всегда одни и те же вещи, они переходят из стана в стан или от полка к полку в одном стане. Да и что такое война, как не этот переход из рук в руки все более побитого барахла?

С Рамбальдом все случилось совсем не так, как ему предсказывали. Он бросился вперед с копьем наперевес, в трепете нетерпения ожидая встречи двух отрядов. Встретиться-то они встретились, но так, что, казалось, все рассчитано заранее: каждый всадник проскочил между двумя противниками и враги даже не задели друг друга. Еще некоторое время оба отряда по-прежнему неслись каждый в своем направлении, показывая друг другу спину, потом развернулись, ища новой встречи, но первоначальный натиск явно ослаб. Как его теперь отыщешь среди всех, этого аргалифа? Рамбальд столкнулся щитом о щит с сарацином, твердым, как сушеная треска. Уступать дорогу другому, казалось, не желает ни один: они толкались щитами, а кони пирались всеми четырьмя копытами в землю.

Сарацин с бледным, как известка, лицом заговорил.

— Толмач,— крикнул Рамбальд,— что он говорит?

Трусой подъехал один из этих бездельников.

— Он говорит, чтобы ты его пропустил.

— Ни за что!

Толмач перевел; басурманин что-то возразил.

— Он говорит, что должен проехать по делам службы, иначе битва пойдет не по плану...

— Я пропущу его, если он мне скажет, где находится Исохар, в чине аргалифа.

Сарацин, что-то крича, указал рукой на холмик. Толмач пояснил:

— На той высоте слева!

Рамбальд повернул коня и поскакал во весь опор.

Аргалиф в зеленом плаще озирает горизонт.

— Толмач!

— Я здесь!

— Скажи ему, что я сын маркиза Руссильонского и явился отомстить за отца.

Толмач перевел. Аргалиф поднял руку, сложив пальцы щепотью.

— А кто это такой?

— Кто такой мой отец?! Ну, больше ты никого не будешь оскорблять!

Рамбальд обнажил меч. Аргалиф сделал то же самое.

Рубака он был отличный. Рамбальд успел почти что проиграть бой, когда вдруг, задыхаясь, подскакал давешний сарацин с бледным лицом; он что-то кричал.

— Остановитесь, сударь,—спешно перевел толмач,—прошу прощения за ошибку: аргалиф Исохар находится на высоте справа, а это аргалиф Абдул.

— Спасибо. Вы—человек чести,—сказал Рамбальд, отъехал чуть в сторону и, сделав мечом «на караул» аргалифу Абдулу, галопом поскакал к другой высоте.

При вести, что Рамбальд—сын маркиза Руссильонского, аргалиф Исохар сказал:

— Что такое?

Пришлось несколько раз прокричать об этом ему в ухо.

В конце концов он кивнул и поднял меч. Рамбальд устремился на врага. Но, едва они скрестили клинки, ему в душу закралось подозрение, что этот тоже не Исохар, и натиск его немного ослабел. Молодой человек призвал на помощь всю свою отвагу, но чем больше он старался, тем меньше был уверен, что перед ним его враг.

Эта неуверенность чуть было не стала для него роковой. Мавр теснил его, вступив в ближний бой, когда вдруг бок о бок с ними началась большая свалка. Офицер-магометанин замешался в самую ее гущу и вдруг громко вскрикнул.

В ответ на этот крик противник Рамбальда поднял щит, как бы прося передышки, и подал голос.

— Что он сказал?—спросил Рамбальд у толмача.

— Он сказал: хорошо, аргалиф Исохар, сейчас доставлю тебе очки.

— Ах, значит это не он!

— Я—очконосец аргалифа Исохара,—объяснил противник.— Очки—этот прибор у вас, христиан, еще не известен—это такие стекла, чтобы исправлять зрение. Исохар плохо видит вдаль и в сражении вынужден носить их. Но очки-то стеклянные и в каждой стычке разбиваются вдребезги. Я приставлен для того, чтобы подавать ему новую пару. И я прошу позволения прервать поединок с вами, потому что иначе аргалифу, при его слабом зрении, придется плохо.

— Ах, очконосец!—взревел Рамбальд, не зная, выпустить ли от ярости потроха врагу или броситься на истинного Исохара. Но много ли доблести биться с полуслепым противником?

— Вы должны меня отпустить, сударь,—настаивал очкода-тель,—потому что диспозиция сражения предусматривает, чтобы Исохар остался цел и невредим, а он если будет плохо видеть, то погибнет!—При этом он потрясал очками и кричал через голову Рамбальда:—Сейчас, аргалиф, сейчас несу!

— Нет!—сказал Рамбальд и ударом сбоку искрошил стекла. В тот же миг, словно звон осколков был для него сигналом

гибели, Исохар напоролся прямо на христианскую пику.

— Теперь,— сказал очкодатель,— ему уже не нужны очки: даже при его зрении он увидит гурий рая,— и, пришпорив коня, ускакал прочь.

Труп аргалифа свалился с седла, но его ноги остались в стременах, и конь приволок тело прямо к ногам Рамбальда.

Волнение при виде простертого на земле Исохара, смятение противоречивых мыслей и чувств: торжества по поводу свершившегося, можно сказать, мщения за кровь родителя, сомнения в том, по всем ли правилам оно свершилось, коль скоро он предал аргалифа смерти, разбивши вдребезги вражеские очки, растерянности из-за того, что вдруг исчезла цель, которая привела его сюда,— все это поселилось в душе лишь на миг. А потом он уже ничего не чувствовал, кроме легкости: ведь теперь он в гуще боя, не осаждаемый более одной неотвязной мыслью, может бежать, оглядеться вокруг, сражаться. У него словно выросли крылья на ногах.

Поглощенный до сих пор своей целью — убить аргалифа, он не обращал внимания на распорядок битвы и даже не думал, что в ней есть какой-то распорядок. Все было для него внове, восторг и ужас, казалось, только сейчас коснулись его. Земля покрылась уже сыпью мертвецов. Упавшие в доспехах, они застыли в самых немислимых позах, в зависимости от того, как легли наземь набедренники, и налокотники, и прочие железные части, которые громоздились кучей, но так или иначе поддерживали руки, а может, и ноги задранными вверх. Там и сям тяжелые доспехи дали трещины, из которых выпирали внутренности, как будто латы не были заполнены телами, а наудачу начинены потрохами, вылезавшими в первую попавшуюся щель. Это кровавое зрелище волновало Рамбальда: как же он мог позабыть, что все эти оболочки приводила в движение и наполняла силой горячая человеческая кровь! Все, кроме одной; а что, если непостижимая природа рыцаря в светлых доспехах распространилась сейчас по всему полю?

Рамбальд пришпорил коня: ему не терпелось оказаться лицом к лицу с живыми — неважно, друзьями или недругами.

Он ехал ложиной: кроме убитых да мух, жужжавших над ними, никого не было видно. Битва либо достигла момента затишья, либо бушевала совсем в другом месте. Рамбальд озирался вокруг. Вот стук копыт: на бровке холма появляется конный воин. Сарацин! Он оглядывается кругом, натягивает поводья, убегает. Рамбальд дает шпоры и пускается вдогонку. Вот он и сам уже на холме и видит, как сарацин скачет по лугу, иногда скрываясь за кустами орешника. Конь у Рамбальда как стрела — только и ждет случая пуститься вскачь. Молодой человек доволен: наконец-то среди всей этой неодушевленной шелухи конь становится конем и человек — человеком. Сарацин сворачивает вправо. Зачем? Теперь Рамбальд уверен, что нагонит его. Но

вот справа из зарослей выскакивает другой сарацин и перерезает ему дорогу. Оба басурмана поворачивают ему навстречу—это западня! Рамбальд кидается вперед с занесенным мечом и кричит:

— Труссы!

Один стоит прямо против него, грозный, в черном двурогом шлеме. Молодой человек наносит удар, клинок бьет плашмя о вражеский щит, но конь подается в сторону, теперь Рамбальда, подступая вплотную, теснит первый сарацин, и юноше приходится орудовать щитом и мечом да еще шенкелями заставлять коня поворачиваться на месте.

— Труссы!— снова кричит он.

Злость его— настоящая злость, бой— настоящий ожесточенный бой, а если он теряет силы, вынужденный не упускать из виду сразу двух противников, так это по-настоящему изнурительная слабость в костях и в крови, и пусть даже Рамбальд погибнет, теперь, когда он снова обрел уверенность в существовании мира, он не знает, есть ли гибель самый печальный удел.

Оба сарацина наседали. Он отступал. В рукоять меча он вцепился так, словно она ему опора: если выпустить, все погибло. И тут, в миг последней крайности, он услышал галоп. Этот звук, словно барабанная дробь, заставил обоих противников отступить. Отходя, они заслонялись поднятыми щитами. Рамбальд обернулся и увидел рядом с собой рыцаря в христианских доспехах и накинутаю поверх панциря темно-синем плаще. На шлеме развевался султан из длинных перьев того же цвета. Проворно орудуя легкой пикой, он держал на расстоянии обоих сарацин.

Теперь они бьются бок о бок, Рамбальд и неведомый рыцарь, который атакует, все шибче размахивая копьем. Один из двух противников пытается сделать обманное движение и выбить у него из рук копьё. Но синий рыцарь в тот же миг повесил его на опорный крюк и выхватил кинжал. Вот он бросается на басурманина. Рамбальд, видя, с какой легкостью наносит удары кинжалом пришедший ему на выручку незнакомец, едва не забыл обо всем: так бы стоял и смотрел. Но это длится лишь мгновение, потом он кидается на второго противника; громко лягают щиты.

Он сражался, а синий его поддерживал. И всякий раз, когда враги после новой неудачной атаки подавались назад, Рамбальд и рыцарь проворно менялись противниками, выматывая их несхожими своими умениями. Сражаться бок о бок с товарищем куда лучше, чем в одиночку: это и поддерживает, и подбадривает, и единый пыл сплавляет оба чувства— что есть у тебя недруг и есть друг.

Рамбальд, подзадоривая себя, часто кричит что-нибудь соратнику; тот не отвечает. Молодой человек понимает, что в бою нужно беречь дыхание, и тоже замолкает, но ему немного обидно, что он не слышит голоса товарища.

Недруги сходятся все ближе. Вот синий рыцарь сбрасывает с

седла своего сарацина, и спешенный противник пускается наутек в кусты. Другой набрасывается на Рамбальда, но в стычке у него ломается меч, и, боясь плена, он поворачивает коня и тоже удирает.

— Спасибо, брат,—говорит Рамбальд своему спасителю и открывает лицо,—ты избавил меня от смерти.—Он протягивает руку.—Меня зовут Рамбальд, я из рода маркизов Руссильонских, вольноопределяющийся.

Темно-синий рыцарь по-прежнему молчит, не называет своего имени, не пожимает протянутой руки и не открывает лица. Молодой человек краснеет.

— Почему ты мне не отвечаешь?

Но тут собеседник резко поворачивает коня и мчится прочь.

— Рыцарь, пусть я обязан тебе жизнью, такую неучтивость я расцениваю как смертельное оскорбление,—кричит Рамбальд вслед темно-синему рыцарю, но тот уже далеко.

Благодарность неведомому помощнику, молчаливое чувство общности, рожденное в бою, обида на неожиданную грубость, любопытство, разбуженное таинственным молчанием, ярость, утолненная на время победой, но теперь искавшая новый объект,—все это заставило Рамбальда прищипорить коня, пускаясь вдогонку за темно-синим рыцарем, и воскликнуть:

— Кто бы ты ни был, но за обиду ты заплатишься!

Но сколько ни дает он шпоры—конь не движется! Рамбальд натягивает поводья—голова коня падает. Всадник трясет его, не сходя с седла. Конь чуть покачивается, как деревянная лошадка. И тогда Рамбальд спешивается, поднимает железную пластину на морде и видит белый глаз: конь убит. Удар сарацинского меча, вонзившегося меж двух чешуй попоны, пришелся в самое сердце. Конь давно бы рухнул наземь, если бы железо, одевшее ему ноги и бока, не держало его стоймя, словно вкопанного. В сердце Рамбальда скорбь по доблестном скакуне, умершем стоя и до сей минуты служившем хозяину, на один миг одолела бешенство: он обхватил руками шею неподвижного как истукан коня и запечатлел поцелуй на холодном храпе. Потом встряхнулся, отер слезы и пеший помчался прочь.

Но куда ему было идти? Он без всякой цели бежал едва заметными тропками вдоль берега лесной речки, и вокруг не слышалось больше признаков битвы. След неведомого рыцаря он потерял. Рамбальд двигался наудачу, смирившись с мыслью, что тот скрылся, но все еще думая про себя: «Нет, я его найду хоть на краю света».

Сейчас, после такого знойного утра, его больше всего мучила жажда. Спускаясь к руслу, чтобы напиться, он услышал шуршание тростника: привязанный к орешине гибкой шлеей, на лужайке ципал травку конь, освобожденный от самых тяжелых частей доспеха, которые лежали рядом. Сомнений не было: то был конь неведомого рыцаря, и сам всадник наверняка недалеко ушел.

Рамбальд кинулся в камыши на поиски.

Достигнув русла, он высунул голову из зарослей: воин оказался здесь. Голова и верхняя часть туловища были еще упакованы в панцирь и шлем, непроницаемые, как скорлупа; зато набедренники, наколенники и бутурлыки были сняты и оставляли голым все от пояса до ступней, перешагивавших с камня на камень в речке.

Рамбальд не верил своим глазам. Потому что нагота эта была женской: гладкий живот с золотым пушком, округлые розовые ягодицы, длинные девичьи ноги. И эта половина девушки (вторая половина, спрятанная в скорлупу, выглядела еще более безликой и неодушевленной) поворачивалась, ища места поудобнее, потом поставила правую ногу на один, а левую на другой берег узкой протоки, слегка согнула колени и, спокойная и гордая, уперлась в них руками в железных налокотниках, наклонилась головой вперед, отставила зад. Округлые линии были плавны, пушок нежен; послышалось мелодичное журчание. Рамбальд незамедлительно влюбился.

Потом молодая воительница спустилась к реке, быстро омылась, подрагивая от холода, и побежала вверх, вприпрыжку переступая быстрыми розовыми ногами. И тут-то обнаружила Рамбальда, подсматривавшего из камышей.

— Schweine Hund!—крикнула она и, выхватив висевший у пояса кинжал, метнула его в Рамбальда, но не как доблестный воин, мастерски владеющий оружием, а как разъяренная женщина, которая в порыве злобы швыряет в голову мужчины тарелку, щетку, все что ни попадя.

Так или иначе, кинжал пролетел на волосок ото лба Рамбальда. Молодой человек ретировался, сгорая со стыда. Но уже через минуту он мечтал о том, как бы снова увидеть ее, найти способ открыть свое чувство. Послышался стук копыт, он бросился на лужайку: коня больше не было, девушка исчезла. Солнце клонилось к закату: только теперь он понял, что весь день прошел.

Усталый, без коня, слишком утомленный всем пережитым, чтобы быть счастливым, и слишком счастливый для того, чтобы понять, что разменял прежнюю свою страсть на чувства, еще более жгучие, он вернулся в лагерь.

— Знаете, я отомстил за отца, я победил, Исохар пал, я...—но говорил он сбивчиво, потому что торопился достичь конца своего рассказа,—и я сражался сразу с двумя, и тут подъехал мне на помощь рыцарь, а потом я обнаружил, что это не солдат, это женщина, очень красивая, лица, правда, я не видел, но поверх доспехов она носит темно-синее платье...

— Ха-ха-ха,—потешались его соседи по палатке, усердно растирая бальзамом синяки, покрывавшие грудь и руки, среди густого запаха пота, которым несет от доспехов каждый раз

¹ Свинья поганая! (нем.)

после битвы.—Ты влюбился в Брадаманту, цыпленок! И уж она в тебя, конечно, тоже! Да, Брадаманте нужны или генералы, или мальчишки с конюшни! Ты ее не получишь — и не мечтай, только соли ей на хвост насыплешь!

Больше Рамбальд не смог сказать ни слова. Он вышел из шатра; красное солнце скатывалось за горизонт. Еще вчера, видя, как оно заходит, он спрашивал себя: «Что будет со мною завтра на закате? Выдержу ли я испытание? Сумею ли доказать, что я мужчина? Оставить, шагая по земле, свой след?» И вот он наступил, закат этого дня, и первые выдержанные испытания уже ничего не значили, а новое испытание было неожиданным и трудным, однако подлинные доказательства могло дать только оно. В этом состоянии растерянности Рамбальду хотелось довериться рыцарю в светлых доспехах как единственному человеку, способному понять его, а почему — Рамбальд и сам не мог бы объяснить.

V

Моя келья прямо над монастырской кухней. Я пишу и слышу стук медных и оловянных тарелок: это сестры-судомойки перемывают скучную утварь нашей трапезной. Мне мать-настоятельница дала другое задание — написать эту повесть, — но все труды в монастыре, совершаемые с единственной целью — спасение души, в общем-то равноценны. Вчера я описывала битву, и звон посуды в мойке казался мне бряцанием копий о щиты и панцири, звоном шлемов, гулко отзывающихся на удары тяжелых мечей; с другой стороны двора долетал стук стана у сестер-ткачих, звук этот превращался для меня в топот коней, несущихся галопом; все, что слышали уши, мои полузакрытые глаза преображали в видения, а мои молчащие уста — в слова, и перо несло по белому листу им вдогонку.

Сегодня, видно, день жарче, запах капусты гуще, мой ум ленивее, а бряканье посуды не уносит меня дальше походных кухонь франкского войска: я вижу вереницы солдат у дымящихся котлов, слышу беспрерывный стук манерок и барабанную дробь ложек, удары половников о края посуды и скрежет их о дно пустых котлов или о покрытые наваром стенки... Картина эта, как и капустный дух, одни и те же в каждом полку — нормандском, анжуйском, бургундском.

Если сила армии измеряется производимым шумом, то звучное войско франков можно доподлинно узнать в час раздачи обеда. Шум раздается по долам и лугам, достигая того места, где с ним смешивается точно такой же отзвук, доносящийся от басурманских кухонь. Враги в этот час заняты тем же: поглощают проклятую капустную похлебку. Вчерашняя битва не грохотала так. И меньше воняла.

Итак, мне ничего не остается, как только представить героев

моей повести возле кухонь. Я вижу в дыму Агилульфа, наклонившегося над котлом, нечувствительного к капустной вони; он дает наставления поварам Овернского полка. Но тут прибегает юный Рамбальд.

— Рыцарь,—начинает он, не отдышавшись,—наконец-то я нашел вас! Дело, видите ли, в том, что я хочу стать паладином! Во вчерашнем бою я отомстил... в схватке... потом остался один против двоих... засада... и тогда... одним словом, теперь я знаю, что значит сражаться. Я хочу, чтобы в следующей битве мне отвели самое опасное место... или отправиться на поиски подвигов, чтобы стяжать славу... во имя нашей святой веры... спасти женщин, и увечных, и старых, и слабых... вы могли бы мне сказать...

Агилульф, прежде чем обернуться к Рамбальду, постоял к нему спиной, словно подчеркивая свою досаду на посмеявшегося оторвать его от выполнения служебных обязанностей, а потом, когда обернулся, заговорил свободно и гладко, явно довольный тем, что так быстро схватил внезапно предложенный ему предмет беседы и может со знанием дела исчерпать его:

— Судя по тому, что ты говоришь мне, вольноопределяющийся, я полагаю следующее: ты воображаешь, будто назначение паладина требует только одного, а именно—стяжать себе славу либо сражаясь во главе отрядов, либо совершая подвиги единолично—в защиту ли нашей святой веры, в оборону ли женщин, стариков и увечных. Я правильно понял?

— Правильно.

— Так вот, все перечисленное тобою является действительно особой функцией, вверенной избранному офицерскому корпусу, но...—тут Агилульф коротко засмеялся, и этот первый услышанный Рамбальдом смех из-под светлого забрала был вежливым и вместе с тем саркастическим...—но эта функция не единственная. Если желаешь, мне нетрудно перечислить тебе одну за другой все обязанности, входящие в компетенцию рядовых палладинов, палладинов первого класса, палладинов генерального штаба...

Рамбальд прервал его:

— Мне довольно будет следовать за вами и брать с вас пример, рыцарь!

— Следовательно, ты предпочитаешь раньше набраться опыта, потом изучить вопрос. Что ж, это допустимо. Как видишь, сегодня и каждую среду я нахожусь в распоряжении интендантства армии в качестве инспектора. С таковыми полномочиями я проверяю кухни Овернского и Пуатуского полков. Если ты пойдешь со мной, то понемногу на практике овладеешь этим требующим немалого искусства видом службы.

Рамбальд ожидал не этого, и ему стало не по себе. Но, не желая отступать от своих слов, он сделал вид, будто со вниманием следит за Агилульфом и слушает все, что тот говорит поварам, маркитантам и мойщикам посуды, поскольку еще наде-

ялся, что это — некий необходимый ритуал, предшествующий ослепительному подвигу.

Агилульф считал и пересчитывал отпущенные съестные припасы, порции похлебки, число манерок, имеющих быть наполненными, заглядывал в котлы.

— Знай, что в командовании войсками самое трудное — рассчитать, сколько манерок похлебки содержится в котле, — объяснял он Рамбальду. — Ни в одном полку счет не сходится. Или остается несколько порций, и потом не знаешь, куда они деваются и как за них отчитаться, или — если сократить отпускаемые припасы — порций не хватит, и по войскам ползет недовольство. Правда, у каждой походной кухни выстраивается очередь за остатками — всякие оборванцы, нищие старухи и калеки. Но это, само собой, грубое нарушение порядка. Чтобы хоть как-то во всем разобраться, я распорядился, чтобы в каждом полку список состоящих на действительной службе был дополнен именами бедняков, которые всегда являются во время кормежки. Только так можно узнать, куда деваются каждая манерка похлебки. Вот и пройдишь-ка по кухням, попрактикуйся в обязанностях палатина: надо проверить со списками в руках, все ли в порядке. Потом вернешься и доложишь.

Что оставалось Рамбальду? Отказаться, потребовать себе или славы, или ничего? А что, если он испортит себе всю карьеру из-за ерунды. И он пошел.

Вернулся он поскуцневший, с путаницей в мыслях.

— Мм-да, по-моему, все так и есть, как вы говорите, — сказал он Агилульфу, — и, бесспорно, это полное безобразие. К тому же все эти бедняки, что приходят за похлебкой, — братья они, что ли?

— Почему братья?

— М-м-м... Они похожи. Вернее даже, они все одинаковые, ничего не стоит их перепутать. Сперва я подумал, что это один человек переходит от кухни к кухне. А потом поглядел в списки — имена всюду разные: Боамолуц, Каротун, Балингаччо, Бертелла... Тогда я спросил у старшин, проверил: все правильно. Но это сходство...

— Пойду погляжу сам.

Оба направились к лагерю лотарингцев.

— Вот он, этот человек.

Рамбальд указал на какое-то место, как будто там кто-то был. Впрочем, и в самом деле был; но из-за выцветших зеленых и желтых лохмотьев, усыпанного веснушками и заросшего неровной щетиной лица первый взгляд миновал его — настолько он сливался цветом с землей и листьями.

— Да это Гурдулу!

— Гурдулу? Еще одно имя! Вы его знаете?

— Это человек без имени, так что зовут его кто как может. Благодарю тебя, вольноопределяющийся: ты не только вскрыл недостатки в наших вспомогательных службах, но и дал мне

возможность отыскать оруженосца, приставленного ко мне распоряжением императора, но потерявшегося.

Лотарингские повара, закончив раздачу порций палadiniам, оставили котел на произвол Гурдулу:

— Бери, тут вся похлебка твоя!

— Вся похлебка!—завопил Гурдулу, наклонился над котлом, словно свешиваясь с подоконника, и со скрежетом стал водить ложкой по стенкам, снимая самое драгоценное содержимое всякой посудыны—приставшую корочку.

— Вся похлебка!—гулом отозвалось в котле, который от неосторожных, вихляющихся движений Гурдулу опрокинулся и накрыл его.

Теперь бродяга оказался в плену перевернутой посудыны. И окружающие услышали, как он колотит по ней ложкой, словно по глухо звучащему колоколу, как гудит внутри его голос: «Вся похлебка!» Потом котел двинулся с места, как черепаха, снова перевернулся, и оттуда вынырнул Гурдулу.

С головы до ног залитый капустной похлебкой, он был весь в жире и в пятнах, да к тому же еще перемазан сажей. Юшка застила ему глаза, и, вытянув руки вперед, с криком: «Всё—похлебка!»—он двигался будто в плывь, потому что не видел ничего, кроме заливавшей ему все лицо похлебки.

— Всё—похлебка!—И он потрясал ложкой, как бы желая набрать ею и отведать всего, что было вокруг.—Всё—похлебка!

Наблюдая эту сцену, Рамбальд до того взволновался, что у него закружилась голова, не столько от омерзения, сколько от закрывшихся сомнений: а вдруг этот человек, что вслепую вертится перед ним, прав и весь мир—одна огромная мутная похлебка, в которой все предметы линяют и окрашивают друг друга? «Я не желаю становиться похлебкой! На помощь!»—готов был крикнуть Рамбальд, но увидел рядом Агилульфа, бесстрастно скрестившего на груди руки, так, будто он где-то далеко и вульгарность сцены его не задевает; и Рамбальд понял, что наставнику не понять его опасений. Чувство, которое он всегда испытывал при виде рыцаря в светлых доспехах, столкнулось с совершенно противоположным, которое сейчас внушал ему Гурдулу, и оба они как-то уравнивали друг друга, что помогло Рамбальду вновь обрести душевный покой.

— Почему вы ему не объясните, что не все похлебка, и не прекратите это представление?—обратился он к Агилульфу, причем сумел произнести все это ровным, ничуть не изменившимся голосом.

— Единственный способ внушить ему что-либо—поставить определенную задачу,—сказал Агилульф и повернулся к Гурдулу:—По повелению Карла, короля франков и повелителя Священной империи, ты стал моим оруженосцем и отныне должен во всем мне повиноваться. А поскольку Суперинтенданство погребений и последнего долга поручило мне позаботиться о похоронах

воинов, павших во вчерашнем бою, ты вооружишься мотыгой и лопатой и мы отправимся на поле, чтобы предать земле освященную крещением плоть наших братьев, которых господь принял в славе своей.

С собою он пригласил также Рамбальда, чтобы тот постиг еще одну деликатную обязанность паладинов.

Так они и отправились втроем: Агилульф шагал своей особенной походкой, которая, как он того ни хотел, не производила впечатления раскованной, но выглядела так, словно ноги ступали по колючкам; Рамбальд пялил глаза вокруг, стремясь узнать места, где мчался вчера под градом ударов; Гурдулу, с мотыгой и лопатой на плече, нисколько не осознав скорбной торжественности своей задачи, насвистывал и напевал.

Вот они проходят по гребню холма, с него открывается равнина, где схватка вчера была самой кровавой. Земля покрыта трупами. Неподвижные стервятники, вцепившись когтями в плечи и лица убитых, наклоняют головы и роются клювом в развороченных утробах.

Однако стервятникам не сразу приходит черед взяться за дело. Они спускаются, почуяв, что бой только идет к концу, но поле усеяно убитыми, закованными в сталь, на которой клювы хищников, сколько ни бей, даже царapiны не оставят. Едва наступает вечер, из обоих враждебных станов молчаливо, ползком являются мародеры. Высоко взмывших стервятники кружатся в ожидании, пока те расправятся со своей добычей. Первые лучи солнца освещают поле, белеющее совершенно голыми трупами. Стервятники опускаются снова и начинают пировать вовсю. Но им надобно торопиться, потому что не замедлят прийти могильщики и отнимут пищу у птиц, чтобы отдать ее червям.

Агилульф и Рамбальд мечами, Гурдулу — лопатой прогоняют темноперых гостей, и те разлетаются прочь. Потом все трое берутся за свою печальную работу: каждый выбирает себе убитого и за ноги волочит его вверх по склону, к месту, предназначенному для могилы.

Агилульф тянет труп и думает: «О мертвец, у тебя есть то, чего у меня не было и не будет: остов и мясо. Вернее, не у тебя есть, а ты есть остов и мясо — то самое, в чем я порой завидую существующим: в минуты уныния я ловил себя на этом. Есть чему завидовать! Да, я вправе считать себя обладателем особой привилегии, если могу без этого обходиться и делать все, что и они. Само собой разумеется — все, что считаю важным, и многие вещи мне удаются лучше, чем существующим, ибо мне не присущи их обычные изъяны: грубость, неточность, непоследовательность, вонь. Правда, тот, кто существует, вкладывает во все деяния нечто свое, придает им особый отпечаток, а мне этого ни за что не добиться. Но если весь их секрет здесь, в этом мешке с потрохами, то спасибо, обойдусь и так. И долина, полная голых разлагающихся тел, не вызывает у меня содрогания, как и резня,

учиняемая над живыми человеческими существами».

Гурдулу тянет труп и думает: «Ветры, что ты пускаешь, труп, будут повонючее моих. Не знаю, почему тебя все оплакивают. Чего тебе не хватает? Раньше ты сам двигался, теперь твоё движение перейдет к червям, которым ты идешь на корм. У тебя росли ногти и волосы, а теперь ты растечешься жидкостью, от которой выше подымутся под солнцем яровые травы. Ты станешь травой, после молоком коров, что съедят траву, кровью младенца, что выпьет молоко и так далее. Видишь, твоя жизнь не такая никчемная, как моя, труп!»

Рамбальд тянет труп и думает: «О мертвец, я бегу, бегу — а прибегу туда же, куда ты, и меня вот так же потащат за пятки. Эта погоняющая меня страсть, эта жажда сражаться и любить — что же они такое, если взглянуть на них твоими выпученными глазами, из твоей запрокинутой головы, что колотится о камни? Я думаю, мертвец, ты заставляешь меня думать, но что это меняет? Ничего. Кроме дней, оставшихся до могилы, ничего нет ни у нас, живых, ни у вас, мертвецов. И они даны мне, чтобы я не растратил их, не пустил прахом ни крупинцы из того, что я есть и чем могу стать. Чтобы я совершил славные подвиги в войне франков. Чтобы обнимал гордую Брадаманту, лежа в ее объятиях. Надеюсь, ты употребил свои дни не хуже, о мертвец! Как бы то ни было, твоя карта уже вышла. Моя еще лежит в колоде. И мне по душе, мертвец, мои заботы, а не твоей покой».

Распевая, Гурдулу готовится копать яму для мертвеца. Распластывает его по земле, чтобы снять мерку, намечает мотыгой длину могилы, отодвигает труп и принимается копать с великим рвением.

— Мертвец, тебе, наверно, скучно ждать. — Гурдулу поворачивает тело на бок, лицом к яме, чтобы гробокопатель был перед остекленевшими глазами. — Мертвец, ты бы тоже мог раз-другой ударить мотыгой. — Он ставит тело на ноги, пытается всунуть ему в руки мотыгу. Мертвец валится. — Ну ладно. Не выходит у тебя. Тогда так: выкопать я выкопаю, а яму засыплешь ты.

Яма готова, но, так как Гурдулу орудовал мотыгой весьма беспорядочно, она напоминает чашу, только неправильных очертаний. Теперь Гурдулу хочет ее опробовать. Он спускается и ложится. — Ох, как здесь здорово, как здесь хорошо отдохнуть! А земля-то мягкая как пух! И с боку на бок удобно вертеться! Мертвец, спускайся скорей, посмотри, какую я тебе выкопал яму! — Но тут же спохватывается: — Хотя раз мы договорились, что ты должен засыпать могилу, так лучше я останусь внизу, а ты сбрасывай на меня землю лопатой. — Он на миг замолкает. — Эй! Давай! Поживее! Чего же ты ждешь? Гляди, как надо! — Лежа на дне, он поднимает мотыгу и начинает сгребать сверху землю. Наконец на него обрушивается вся куча.

Агилульф и Рамбальд услышали приглушенный рев и не могли сразу понять — от страха ли орет Гурдулу или от удовольствия,

что его так хорошо похоронили. Они подросли как раз вовремя: еще чуть-чуть и покрытый землей оруженосец задохнулся бы до смерти.

Рыцарь нашел, что Гурдулу потрудился из рук вон плохо, да и Рамбальдовой работой остался недоволен. Зато сам он разметил целое кладбище, очертив четырехугольные ямы, вытянувшиеся ровными рядами по обе стороны от среднего прохода.

Возвращаясь под вечер, они шли лесной поляной, где лесорубы франкского войска запасали дрова для костров и бревна для осадных машин.

— А теперь, Гурдулу, наруби дров.

Но Гурдулу ударял топором куда попало и клал в связки сухой хворост вместе с зелеными ветками, папоротниками, лозами ивы, годными только на корзины, и кусками обомшелой коры.

Рыцарь инспектировал работу лесорубов, проверяя орудия и штабеля, а заодно объяснял Рамбальду, что вменяется в обязанность паладину в связи с древозаготовками. Рамбальд не слушал его: все время у него просился на язык один вопрос, и вот проходка с Агилульфом кончалась, а вопрос этот еще не был задан.

— Рыцарь Агилульф,— перебил он.

— Чего тебе?— спросил Агилульф, орудуя то одним, то другим топором.

Молодой человек не знал, как начать, не мог выдумать предлога, чтоб исподволь подойти к единственному волновавшему его душу предмету. Поэтому он, покраснев, спросил:

— Вы знакомы с Брадамантой?

При этом имени Гурдулу, который подходил к ним, прижимая к груди одну из своих смешанных вязанок, вдруг подскочил. В воздухе замелькали сучья, зеленые папоротники, можжевеловые ягоды, листья бирючины.

В руках у Агилульфа был необычайной остроты топор. Он взмахнул им, разбежался и ударил по дубовому стволу. Лезвие прошло сквозь него из конца в конец, начисто срубив дерево, которое, однако, осталось стоять на пне, до того точен был удар.

— Что случилось, рыцарь Агилульф?!— вскричал Рамбальд.— Что это на вас нашло?

Агилульф, скрестив руки, внимательно осматривал круглый ствол.

— Видишь?— сказал он молодому человеку.— Совершенно точный удар, без малейшего отклонения. Посмотри, какой гладкий срез.

VI

Писать повесть, за которую я взялась, гораздо труднее, чем я думала. Теперь пришел черед изобразить самое большое сумасбродство рода человеческого— любовную страсть, от чего

до сих пор меня удерживали мое монашество, затворничество и природная стыдливость. Не могу сказать, что я не слыхала даже разговоров о ней: напротив того, в монастыре, чтобы оберечь нас от искушений, иногда начинают о них беседовать — разумеется, в тех узких рамках, в каких мы способны говорить об этом предмете, имея о нем столь смутное представление; это бывает всякий раз, когда одна из бедных монахинь по неопытности оказывается беременной или, похищенная каким-нибудь знатым насильником, которому неведом страх божий, потом возвращается и рассказывает, что над ней учинили. Так что о любви, как и о войне, я изложу попросту все, что мне удастся вообразить: искусство писать повести в том и состоит, чтобы из немногого понятого нами в жизни извлечь все остальное. Но когда, закончив страницу, снова начинаешь жить, то замечаешь, что знала ты всего ничего.

А Брадаманта — разве она знала больше? Чем дольше вела она жизнь воительницы-амазонки, тем глубже неудовлетворенность закрадывалась ей в душу. Она избрала для себя жизнь рыцаря из любви ко всему строгому, точному, неукоснительно согласному с нравственным законом и требующему — в том, что касалось владения оружием и верховой езды, — крайней отточенности движений. И что же она видела вокруг? Потных мужиков, которые воевали небрежно, как придется, а едва освободившись от службы, садились за выпивку или же слонялись за ней по пятам, гадая, кого из них она решит взять к себе в шатер нынешним вечером. Ведь всем известно: рыцарство — великое дело, но рыцари — долдоны, привыкшие, правда, совершать подвиги, но без толку, как бог на душу положит, кое-как исхитряясь не нарушить правил, ибо присягали их соблюдать; а правила эти, черт их дерн, благодаря своей непреложности избавляли воинов от излишнего труда напрягать мозги. Война — это бойня либо тягомотина, и мало в ней такого, в чем нужно разобраться до тонкостей.

В сущности, Брадаманта была такая же, как они: быть может, все эти бредни о строгости и неукоснительности она вбила себе в голову, чтобы обуздать истинную свою природу. Например, во всем франкском войске не было другой такой неряхи, как она. Взять хотя бы ее шатер: большего бедлама, чем там, не найти было в лагере. Между тем как бедняги мужчины худо-бедно справлялись даже с теми делами, что принято считать женскими: со стиркой, штопкой, подметанием полов, уборкой ненужных вещей, — Брадаманта, воспитанная как принцесса и избалованная, ни к чему не прикасалась, и, если б не старые прачки и судомойки, которые всегда вертятся вокруг войска (все до единой воровки), ее шатер был бы хуже свинюшника. Но все равно она там почти и не бывала: день начинался для Брадаманты, когда она надевала доспехи и садилась в седло. Действительно, вооружившись, она становилась другой — блистала вся от гребня шлема до

поножей, хвастливо выставив напоказ самые новые и совершенные доспехи, украсив бармицу темно-синими лентами, и беда, если хоть одна из них оказывалась не на месте! В этом желании блистать ярче всех на поле брани сказывалось не столько женское тщеславие, сколько постоянный вызов паладинам, чувство своего превосходства, надменность. От воинов—и франкских, и неприятельских—она требовала совершенства и во владении оружием, и в его содержании, будто бы это признак душевного совершенства. А если ей случалось встретить такого, кто отвечал хоть в некоторой мере ее запросам, в ней просыпалась женщина, и весьма любвеобильная. Уж тут-то она полностью отступалась от своих суровых принципов: Брадаманта была любовницей нежной и в то же время неистойвой. Но если мужчина шел за нею по этому пути, забывался и терял над собой контроль, она тотчас разлюблила его и пускалась на поиски поистине алмазного закала. Однако же кого она могла найти? Никто из лучших христианских или вражеских рубак не имел для нее авторитета: за каждым она знала слабости и глупости.

Брадаманта упражнялась в стрельбе из лука на площадке перед своим шатром, когда Рамбальд, настойчиво искавший встречи, впервые увидел ее в лицо. На ней была короткая туника, обнаженные руки натягивали лук, лицо было немного нахмурено от усилия, волосы, схваченные на затылке, рассыпались по спине лошадиным хвостом. Но взгляд Рамбальда не останавливался на деталях: он увидел женщину целиком, ее облик и краски,— конечно, это она, которую он так отчаянно желал, хотя до сих пор почти и не видел,—и для него она уже не могла быть иной.

Стрела слетела с тетивы, вонзилась в служивший мишенью шест точно по прямой над тремя другими, пущенными раньше.

— Вызываю тебя на состязание!—сказал, подбежав к ней, Рамбальд.

Так юноша всегда бежит к женщине; но подлинно ли он движим любовью к ней? Разве это прежде всего не любовь к себе, не поиски доказательств собственного существования, какие может дать только женщина? Он бежит и влюбляется—юноша, неуверенный в себе, счастливый и отчаивающийся, для него женщина, безусловно, существует, и она одна может дать ему эти доказательства. Но женщина тоже и существует, и не существует: вот она перед ним, такая же трепещущая, неуверенная,—и как он не понимает этого? Что за важность, кто из них двоих сильный, кто слабый? Они равны. Но юноша не знает этого, потому что не хочет знать. Та, по которой он изголодался, существует, она реальная женщина. Она знает больше его, а может, меньше, но она, вообще, знает не то, что он, и ищет теперь иной формы существования. Они устраивают состязание в стрельбе, она кричит на него и не желает оценить его достоинства, а ему не понятно, что все это игра. Вокруг—шатры франкского войска, знамена на ветру, ряды коней, которым задали наконец овса.

Челядинцы накрывают для паладинов столы. А те в ожидании обеда стоят кучками вокруг, смотрят, как Брадаманта состязается в стрельбе из лука с юнцом. Брадаманта говорит:

— В цель-то ты попадаешь, но всегда случайно.

— Случайно? Я ни одной стрелы не промазал!

— Да хоть сто раз попади, все равно это случайно!

— А что тогда не случайно? Кто сумеет суметь не случайно?

По краю лагеря медленно проходил Агилульф; поверх светлых доспехов свисал широкий черный плащ, и шагал он как человек, который сам смотреть не желает, но знает, что на него смотрят, однако хочет показать, что ему это безразлично, тогда как ему это вовсе не безразлично, только иначе, чем могут истолковать другие.

— Рыцарь, иди к нам и покажи, как это делается...

В голосе Брадаманты не слышится обычного презрения и даже осанка стала чуть менее надменной. Она сделала два шага навстречу Агилульфу, протягивая ему лук со стрелой на тетиве.

Агилульф медленно подошел, взял лук, стряхнул с плеч плащ, одну ногу выставил вперед и вытянул вооруженные луком руки. Это не были движения мышц и сухожилий, которые стараются приладиться к цели, он заменял их силами, сменяющими друг друга в желаемом порядке: он установил стрелу по невидимой линии, перпендикулярной к мишени, двигая луком ни на йоту не больше, чем нужно, и спустил тетиву. Стреле ничего не оставалось, как попасть в точку. Брадаманта закричала:

— Вот это выстрел!

Агилульфу все было безразлично: он сжал все еще трепетавший лук в неподвижных железных руках, потом уронил его наземь, подобрал плащ, запахнулся, стянув его у нагрудной кирасы, и так удалился. Ему нечего было сказать, и он не сказал ничего.

Брадаманта подобрала лук, подняла его на вытянутых руках, тряхнула своим конским хвостом.

— Кто, кто еще выстрелит с такой меткостью? Кто сравнится с ним точностью и непогрешимостью во всяком деле? — повторяла она, отбрасывая ногами комья дерна и ломая стрелы о частокол.

Агилульф был уже далеко и не оборачивался, радужный султан был приспущен, словно рыцарь потупился, железные перчатки у нагрудной кирасы сжаты, позади волочился плащ.

Многие из собравшихся вокруг воинов уселись на траву, чтобы насладиться зрелищем, какое являла беснующаяся Брадаманта.

— Она с тех пор, как влюбилась в Агилульфа, места себе не находит, несчастная...

— Что? Как вы сказали? — Рамбальд, поймав на лету эту фразу, схватил за руку говорившего.

— Э, цыпленок, можешь пыжиться сколько хочешь перед нашей воительницей! Ей теперь нравятся только доспехи, лощеные что снаружи, что изнутри. Ты разве не знаешь, что она по

уши влюблена в Агилульфа?

— Как это может быть? Агилульф... Брадаманта... Как это возможно?

— Возможно. Когда баба утолит свою похоть со всеми существующими мужчинами, остается только хотеть мужчину, которого нет...

С недавнего времени для Рамбальда стало естественным побуждением в минуты растерянности и упадка духа разыскивать рыцаря в светлых доспехах. Он и сейчас испытал это чувство, но не знал, то ли спросить совета, то ли затеять с ним ссору как с соперником.

— Эй, белобрысая, а не жидковат ли он для постели?— окликали ее однополчане. Брадаманта пала, пала самым жалким образом: можно ли вообразить, чтобы раньше кто-нибудь осмелился говорить с нею таким тоном?

— Скажи,—не отставали нахалы,—если ты разденешь его догола, то за что схватишься?—И ухмылялись.

Рамбальд, в котором двойная боль—оттого, что так говорят о Брадаманте и так говорят об Агилульфе,—смешивалась со злостью от сознания, что сам он тут вовсе ни при чем и никому в голову не придет смотреть на него как на заинтересованное лицо, окончательно раскис.

Брадаманта вооружилась плетью и принялась размахивать ею в воздухе, разгоняя любовных—и в их числе Рамбальда.

— Так, по-вашему, я не настолько женщина, чтобы заставить любого мужчину делать то, что ему положено?

Наглецы, разбегаюсь, орали:

— Ух! Ух! Если хочешь, чтобы мы ему чего-нибудь одолжили, скажи только слово, Брадамá!

Рамбальд, подталкиваемый со всех сторон, бежал вместе с праздной толпой воинов, пока она не рассеялась. Возвращаться к Брадаманте он не имел желания, да и в обществе Агилульфа ему теперь было бы не по себе. Случайно рядом с ним оказался другой молодой человек, по имени Турризмунд, младший отпрыск герцогов Корнуэльских; он брел мрачный, потупив глаза в землю и насвистывая. Рамбальд пошел рядом с почти незнакомым ему сверстником и, чувствуя потребность излиться, заговорил первым:

— Я здесь новичок, но все тут как-то иначе, чем я думал, все ускользает, не дается, ничего не поймешь...

Турризмунд не поднял глаз, только на миг перестал насвистывать и сказал:

— Все сплошная мерзость.

— Видишь ли... вот что...—отвечал Рамбальд.—Я не такой пессимист, порой меня переполняет одушевление, даже восторг, мне кажется, будто я наконец все понял, и я говорю себе: если я наконец нашел правильный угол зрения, если на войне, которую ведет франкское войско, все так, то поистине об этом я и мечтал. Но на самом деле ни в чем нельзя быть уверенным...

— А в чем ты хочешь быть уверен?— перебил Турризмунд.— Гербы, чины, имена, вся эта помпа... Показуха одна! Щиты с подвигами и девизами паладинов не из железа, а из бумаги, ты их насквозь проткнешь пальцем.

Они подошли к пруду. По прибрежным камням, громко квакая, скакали лягушки. Турризмунд обернулся к лагерю и указал на реющие над частоколом знамена таким жестом, словно хотел стереть все это.

— Но императорское войско...— возразил Рамбалд. Его горечь осталась неизлитой, изливаниям преградил дорогу яростный протест, и молодой человек старался теперь только сохранить ощущение пропорций и найти место для собственных страданий,— но императорское войско, нужно признать, сражается за святое дело и защищает христианскую веру от басурман.

— Никто никого не защищает, никто не нападает,— отвечал Турризмунд.— Ни в чем нет смысла, война продлится до скончания веков, не будет ни побежденного, ни победителя, мы всегда будем стоять фронтом друг к другу... Одни без других были бы ничем, и что мы, что они давно позабыли, из-за чего идет война. Слышишь лягушек? Во всем, что делаем мы, столько же смысла и порядка, сколько в их кваканье и прыжках с берега в воду и из воды на берег.

— А по-моему, это не так,— сказал Рамбалд.— По-моему, все слишком четко распределено, размеренно... Я вижу доблесть, отвагу, но все пронизано таким холодом... А оттого, что здесь есть рыцарь, которого не существует, мне, честно говоря, становится страшно... И все же я им восхищаюсь, он все делает с таким совершенством и внушает больше уверенности, чем иные существующие. Я почти что понимаю...— он покраснел.— почему Брадаманта... Агилульф, без сомнения, лучший рыцарь в нашем войске.

— Тьфу!

— Что?

— Такое же надувательство, как и все остальное, даже хуже.

— Почему надувательство? Он-то если что делает, так на совесть.

— Ерунда! Все это пустые слова... Нет ни его, ни того, что он делает, ни того, что говорит,— ничего нет!

— А как же случилось, что он, имея такой изъян, какого ни у кого нет, занял свое нынешнее положение в армии? Только благодаря имени?

Турризмунд минуту постоял молча, потом тихо произнес:

— Здесь и имена подложные. Да если б я захотел, я бы тут все пустил на воздух. Нет даже клочка твердой земли, чтобы поставить ногу.

— Тогда, значит, никто не спасется?

— Может, и спасется, только не здесь.

— А где? И кто?

- Рыцари святого Грааля.
- Где же они?
- В шотландских лесах.
- Ты их видел?
- Нет.
- А откуда ты о них знаешь?
- Знаю.

Оба замолчали. Слышалось только кваканье лягушек. Рамбальд испугался было, что оно заглушит все, сведет и его существование к зеленому, склизкому, слепому раздуванию жабр. Но тут он вспомнил, какой явилась в бою Брадаманта с поднятым мечом, и страх был позабыт: ему вновь не терпелось сражаться и совершать подвиги перед ее изумрудными очами.

VII

Здесь, в монастыре, на каждую наложена своя епитимья, каждая по-своему должна заслужить спасение души. Мне выпало на долю писать повести—как это трудно, как трудно! На дворе лето в разгаре, из долины доносятся крики и плеск воды; моя келья высоко, и из оконца видна излучина речки, в нее окунаются голые крестьянские парни, а чуть подалеже, за купою ив, тоже сбросив платья, спускаются в воду девушки. Один из парней, проплыв под водой, вынырнул и смотрит на них, а они показывают на него пальцами и визжат. И я могла бы там быть—с пышной свитой, с такими же знатными, как я, барышнями, со слугами и служанками. Но святое наше призвание требует, чтобы преходящим мирским радостям мы противопоставляли нечто прочное... Прочное... да, если только и эта книга, и все, что мы делаем во имя благочестия, но с сердцем, обратившимся в прах, не есть также прах... более прах, нежели чувственные радости там, на речке, дышащие жизнью и ширящиеся, как круги на воде. Принимаешься писать со рвением, но приходит час, когда перо лишь скребет пересохшие чернила и с него не стекает ни капли жизни, потому что вся жизнь далеко-далеко за окном, далеко от тебя, и кажется, тебе никогда больше не найти убежища на странице, которую пишешь, открыть другой мир и вдруг перенестись в него. Быть может, так оно лучше; быть может, когда я писала с радостью, не было ни чуда, ни благодати, а был грех, идолослужение, гордыня. Стало быть, я далека от них? Нет, за писанием я не изменилась к лучшему, только порастратила запас неразумной, беспокойной молодости. Что мне воздастся за эти полные недовольства страницы? И книга, и обет будут стоять не больше, чем ты сама стоишь. Еще вопрос, можно ли спасти душу, мара бумагу. Пишешь, пишешь, ан душу-то и погубил.

Тогда, скажете вы, отправляйся к матушке настоятельнице, попроси заменить тебе покаянный труд, отправить тебя носить воду из колодца, сучить коноплю, лущить горох? Бесполезно.

Буду по-прежнему, как могу лучше, исполнять свой долг монахи-летописца. Теперь настал черед рассказать о пире паладинов.

Вопреки всем правилам императорского этикета Карл Великий садился за стол раньше времени, не дожидаясь прихода остальных сотрапезников. Усевшись, он начинает отщипывать кусочки хлеба или сыра, брать то оливку, то стручок перца—словом, понемногу от всего, что уже подали на стол. Мало того, еду он хватает руками. Да, нередко самодержавная власть заставляет даже самых терпимых монархов забыть всякую узду и порождает произвол.

Вразброд приходят паладины; в их парадных одеждах среди бархата и кружев все же виднеется железо кольчуг, правда с очень широкими кольцами, и начищенных до зеркального блеска лат, конечно не боевых, а разлетающихся в куски от одного удара кинжалом. Роланд первым садится одесную дяди-императора, за ним Ринальд Монтальбанец, Астольф, Анужолин Байоннский, Рикард Нормандский и все остальные.

На краю стола усаживался Агилульф, как всегда в боевых доспехах без единого пятнышка. Зачем являлся он за стол? У него не было и не могло быть аппетита, не было желудка, чтобы набить его, рта, чтобы поднести к нему вилку, горла, чтобы промочить его бургонским? И все-таки он никогда не пропускает этих пиров, что длятся порой часами,—а ведь он мог бы с большим толком употребить эти часы на служебные надобности. Но нет, он наравне с другими имеет право занимать место за императорским столом, и занимает его, выполняя церемониал пира с тою же тщательностью, как и все церемонии дневного распорядка.

Подаются обычные в армии яства: фаршированная индейка, гусь, жаренный на вертеле, а говядина—на угольях, молочные поросята, угри, дорады. Лакеи не успевают подать поднос, как паладины набрасываются на него, хватают пищу руками, раздирают на куски, пачкают себе латы, разбрызгивают соус. Суматохи больше, чем в бою: опрокидываются суповые миски, летят жареные цыплята, лакеи торопятся убрать поднос прежде, чем тот или иной обжора вывернет все его содержимое себе в тарелку.

Зато на углу стола, где Агилульф, все опрятно, спокойно и чинно, но от прислужников этот неедящий гость требует больше внимания, чем все прочее застолье. Везде грязные тарелки перемешались так, что незачем даже убирать их между сменами—каждый ест с чего придется, хоть со скатерти,—Агилульф же непрестанно требует новой посуды и новых приборов: тарелок, тарелочек, блюд, кубков всех форм и емкостей, вилок, ложек и ложечек, ножей—беда, если хоть один плохо наточен! И по части чистоты он так же придирчив: достаточно темного пятнышка на кубке или на приборе—и он отсылает их обратно. Потом кладет себе всего—понемногу, но кладет, не пропускает ни

одного нового блюда. Например, отрезает от жареного кабана ломтик, кладет мясо на тарелку, а на тарелочку—соус, потом острым-преострым ножом режет мясо на тончайшие полоски, перекладывает их одну за другой еще на одну тарелку, сдабривает соусом, пока они как следует не пропитаются, а пропитавшиеся кладет на новую тарелку и время от времени подзывает лакея, велит ему принять тарелку с мясом и принести чистую. С каждым блюдом он возится полчаса, не меньше. А о цыплятах, фазанах и дроздах что и говорить: над ними он трудится часами, прикасаясь к птице исключительно остриями ножичков, которых требует особо и заставляет менять несколько раз, пока не отделит от последней косточки самое тонкое и неподатливое волокно. О вине он тоже не забывает: то и дело разливает его по рюмкам и маленьким кубкам, во множестве стоящим перед ним, по чашам, в которых он смешивает вина, и время от времени протягивает чашу лакею, чтобы тот убрал ее и принес другую. Хлеба Агилульф переводит много: все время он скатывает из мякиша одинаковой величины шарики и раскладывает их ровными рядами на скатерти, а корку крошит и строит из крошек пирамидки, пока не устанет и не велит челяди смести их щеточкой. Потом начинает сызнова.

Как ни занят Агилульф, он не теряет нити разговора, завязавшегося посреди застолья, и вмешивается всегда вовремя.

О чем говорят палadini на пиру? По своему обыкновению бахвалются.

Говорит Роланд:

— Знайте, что битва при Аспромонте оборачивалась для нас худо, пока я не убил в поединке короля Аголанта и не захватил Дюрандаль. Он так в него вцепился, что, когда я отсек ему правую руку, пальцы его сжимали рукоять Дюрандаля и мне, чтобы отделить их, пришлось взять клещи.

Агилульф возражает:

— Не хочу тебя уличать, но точности ради скажу, что Дюрандаль был вручен нам неприятелем в ходе переговоров о перемирии пять дней спустя после битвы при Аспромонте. Меч фигурирует в перечне легкого оружия, которое по условиям мира отошло к войску франков.

Вступает Ринальд:

— И вообще Дюрандаль нельзя сравнить с Фусбертой. Я того дракона, с которым мы схватились при переходе через Пиренеи, перерубил надвое одним ударом, а вам известно, что шкура у дракона тверже адаманта.

Агилульф перебивает его:

— Давайте расставим все по местам: переход через Пиренеи имел место в апреле, а в апреле, как известно всякому, драконы меняют кожу и она у них мягкая и нежная, как у новорожденных.

Палadini гомонят:

— Да что там, днем раньше, днем позже, не там, так в другом

месте, но дело было именно так, и нечего цепляться за каждую задоринку.

Они не могли скрыть своей досады. Этот Агилульф, который всегда все помнит, который умеет по каждому случаю сослаться на документ, этот Агилульф, даже когда подвиг прославлен, всеми признан, даже когда его до мельчайших подробностей помнит всякий, кто его не видел, все равно хочет свести его к заурядному эпизоду военной службы, какие записываются в вечерний доклад командиру полка. С тех пор как существует мир, между истинными фактами войны и рассказами о них всегда была некоторая дистанция, но в жизни война не так уж важно, действительно произошли описываемые события или нет; есть ты, есть твоя мощь, есть присущий тебе образ действия—они и служат ручательством; и пускай все было не точь-в-точь так, но могло бы так происходить и, возможно, произойдет в другой раз при подобных обстоятельствах. А таким, как Агилульф, нечем подкрепить свои деяния, истинные или мнимые, все равно: либо они, заносимые день за днем в протокол, обозначены в послужном списке, либо нет ничего, одна темнота и пустота. И до того же состояния он хотел бы низвести товарищей, как губка напитанных бордо и бахвальством, прожектами, которые обращены в прошлое, ибо никогда не были исполнены в настоящем, легендами, которые приписываются то одному, то другому, но в конце концов находят своего героя.

Время от времени кто-нибудь призывает в свидетели Карла Великого. Но император столько воевал, что путает все войны и даже не слишком хорошо помнит, какую ведет сейчас. Его дело заниматься ею, этою войной, самое большее—думать о предстоящей, а на прошедших войнах как оно было, так и было; само собой, не все из того, о чем повествуют летописцы и сказители, нужно принимать на веру, но не императору же стоять за каждым и вносить поправки! Конечно, случись заковыка, такая, что может сказаться и на штатном расписании войска, и на присвоении чинов, дворянских титулов или раздаче земель, тут король должен сказать свое слово. Правда, свое—это только так говорится: воля Карла значит немного, нужно принимать во внимание результаты, судить по имеющимся доказательствам, уважать законы и обычаи. Поэтому, когда к нему взывают, он пожимает плечами и отделяется общими фразами, иногда одной только пословицей: «Кто знает! Побывал в сраженье—ври без заренья». А за то, что рыцарь Агилульф де Гвильдиверн, не переставая катать хлебные шарики, оспаривает всякую рассказанную историю—между тем как они, эти истории, пусть даже изложенные не в полном соответствии с истиной, составляют славу франкского войска,—император очень хотел бы вкатить ему самый скучный наряд, но Карлу говорили, что для Агилульфа любая тягостная служба—желанный повод показать свое рвение, так что это бесполезно.

— Не понимаю, зачем тебе копать во всех этих мелочах, Агилульф,—говорит Оливьер.—Слава о подвиге сама собой разрастается в народной памяти, и это доказывает, что слава наша подлинная, на ней зиждутся титулы и чины, которые мы добыли в боях.

— Только не мои,—отпарировал Агилульф.—Все мои титулы и звания я получил за дела вполне достоверные, засвидетельствованные неопровержимыми документами!

— С приписками!—произнес чей-то голос.

— Сказавший это ответит мне!—сказал Агилульф поднимаясь.

— Успокойся, не кипятись,—вмешались паладины.—Сам всегда оспариваешь чужие подвиги, а как дело коснулось тебя, другим рот затыкаешь.

— Я никого не оскорбляю, только уточняю время или место, и всегда с доказательствами в руках.

— Это я сказал и тоже внесу уточнения.—Молодой воин с поблдевшим лицом встал с места.

— Посмотрим, Турризмунд, что ты нашел сомнительного в моем прошлом,—сказал Агилульф молодому человеку, ибо говоривший был как раз Турризмунд Корнуэльский.—Может быть, ты желаешь опровергнуть тот факт, что я был посвящен в рыцари, так как ровно пятнадцать лет назад спас от насилия девственную дочь короля Шотландии Софронию, попавшую в руки двух разбойников?

— Да, я опровергну это: пятнадцать лет назад Софрония, дочь шотландского короля, не была девственна.

Вдоль всего стола прошел ропот. Свод действовавших тогда рыцарских законов предписывал следующее: кто спасал от неминуемой опасности невинность девицы знатного рода, того незамедлительно посвящали в рыцари; но за спасенную честь благородной дамы, уже потерявшей невинность, полагалась только почетная грамота и двойное жалованье в течение трех месяцев.

— Как ты смеешь утверждать такое и оскорблять не только мое рыцарское достоинство, но и честь девицы, которую я взял под защиту моего меча?

— И все-таки я это утверждаю.

— Где доказательства?

— Софрония—моя мать.

Крик изумления вырвался из груди паладинов. Значит, юный Турризмунд—не отпрыск герцогов Корнуэльских?

— Да, я родился двадцать лет назад, когда моей матери Софронии было тринадцать лет,—объяснил Турризмунд.—Вот медальон шотландского королевского дома,—и, засунув руку под колычугу, вытащил круглую ладанку на золотой цепочке.

Карл Великий, который до той минуты сидел, уставив взгляд и бороду в блюдо с речными раками, счел, что настало время поднять глаза.

— Молодой рыцарь,— произнес он голосом, в который постарался вложить как можно больше монаршей непререкаемости,— вы отдаете себе отчет в том, сколь серьезно сказанное вами?

— Целиком и полностью,— сказал Турризмунд,— причем для меня более, чем для кого-либо другого.

Все молчали: Турризмунд отрекался от принадлежности к роду герцогов Корнуэльских, что принесло ему, как младшему отпрыску, рыцарское звание. Объявив себя бастардом, пусть даже рожденным принцессой королевской крови, он сам навлекал на себя удаление из войска.

Но куда крупней была ставка Агилульфа в этой игре. До того как он спас невинность Софронии, вырвав ее из рук злодеев, Агилульф был просто безымянным воином в светлых доспехах, который наудачу странствовал по свету. Или, вернее (как выяснилось вскоре), то были светлые доспехи без воина внутри. Подвиг, спасший Софронию, дал ему право на посвящение в рыцари, а так как майорат Ближней Селимпии в ту пору был вакантным, то он принял этот титул. Его поступление на службу и все награды, чины и имена, полученные позже, были следствием того первого благородного деяния. Если бы было доказано, что спасенной им девственности не существовало, то разлетелось бы дымом его рыцарское достоинство и все совершенное им впоследствии не могло быть признано действительным, а значит, упразднились имена и звания и все присвоенное ему оказывалось таким же несуществующим, как и его личность.

— Еще девочкой моя мать забеременела,— рассказывал Турризмунд,— и, боясь гнева родителей, когда откроется ее положение, бежала из дворца шотландских королей и стала скитаться по тамошним плоскогорьям. Меня она родила на вересковой пустоши под открытым небом и вскармливала до пяти лет, бродяжничая по полям и лесам Англии. Мои первые воспоминания относятся к самой счастливой поре моей жизни, а положило ей конец вмешательство вон того типа. Я помню этот день. Мать оставила меня стеречь нашу пещеру, а сама отправилась, как обычно, в поля, где воровала нам пропитание. Она наткнулась на двух разбойников с большой дороги, которые хотели изнасиловать ее. Может быть, дело кончилось бы тем, что они поладили: ведь мать часто жаловалась на одиночество. Но явилась пустая броня в погоне за славой и обратила разбойников в бегство. Узнав о королевском происхождении матери, он взял ее под свое покровительство и препроводил в ближайший замок, к герцогам Корнуэльским, которым и поручил ее. Я между тем оставался в пещере, брошенный и голодный. Мать при первой возможности призналась герцогам в существовании сыночка, которого поневоле покинула. Отправили на поиски слуг с факелами, и я был доставлен в замок. Чтобы спасти честь царствующего дома Шотландии, связанного родством с Корнуэльскими владыками, я был усыновлен и признан сыном герцога и герцогини. Мне не дано

было больше увидеть мать, которая приняла постриг в одном из далеких монастырей. Груз этой лжи, исказившей естественный ход моей жизни, тяготил меня до сей минуты. Теперь наконец пришел мой час сказать правду. Что бы ни случилось, мне будет легче, чем до сих пор.

На стол подали сладкое — многослойный бисквит самых нежных тонов, но ошеломление, произведенное этим потоком откровений, было таково, что ни одна вилка не потянулась к онемевшим устам.

— А вы что можете сказать на все это? — спросил Карл у Агилульфа. Все отметили, что он не назвал его «рыцарь».

— Это ложь. Софрония была совсем девочка. Цветок невинности не был сорван — на этом зиждется мое имя и моя честь.

— Вы можете это доказать?

— Я буду искать Софронию.

— И вы надеетесь, что спустя пятнадцать лет найдете ее такой же? — злорадно сказал Астольф. — Столько не выдерживают и наши доспехи, а они из кованого железа.

— Она постриглась сразу после того, как я препоручил ее тому благочестивому семейству.

— В такие времена, как наши, да еще за пятнадцать лет, ни один монастырь в христианском мире не гарантирован от разграбления и разгона, и всякая монахиня успеет пять раз надеть и снять облачение...

— Как бы то ни было, девственность, отнятая силой, предполагает насильника. Я найду его и получу свидетельства, до какого срока Софрония могла считаться девицей.

— Даю вам разрешение отбыть немедленно, если желаете, — сказал император. — Полагаю, сейчас для вас самое ценное — право носить имя и доспехи, а право это в настоящий момент оспаривают. Если этот юноша говорит правду, я не могу оставлять вас на службе, не могу числить ни по какой статье, даже среди тех, кому задолжали жалованье. — Карл Великий не мог удержаться, и в тоне его речи ясно слышались облегчение и довольство — монарх как бы говорил: «Видите, вот мы и нашли способ избавиться от этого зануды».

Светлые доспехи накренились вперед, как никогда прежде обнаруживая пустоту внутри. Голос, исходивший оттуда, был едва различим.

— Да, мой повелитель, я отправляюсь.

— А вы, — обратился Карл к Турризмунду, — вы отдаете себе отчет в том, что, объявив себя рожденным вне брака, не можете более носить чин, положенный вам как сыну своих родителей? Известно вам хотя бы, кто ваш отец? Есть у вас надежда, что он вас признает?

— Нет, невозможно, чтобы я был признан.

— Это еще неизвестно. Всякий мужчина с течением лет пытается подвести итог прожитой жизни. Я сам признал всех

детей своих наложниц, а родилось их немало и, бьюсь об заклад, некоторые даже не от меня.

— Мой отец— не мужчина.

— А кто же? Вельзевул?

— Нет, ваше величество,— спокойно отвечал Турризмунд.

— Так кто он?

Турризмунд вышел на середину зала, преклонил одно колено и воздел очи к небу.

— Мой отец— Священный орден рыцарей святого Грааля,— сказал он.

Ропот пробежал по застолью. Некоторые паладины перекрестились.

— Моя мать была весьма смелой девочкой,— объяснил Турризмунд,— и забиралась в самую глубь лесов вокруг замка. Однажды в чаще она натолкнулась на стан рыцарей святого Грааля, укреплявших свой дух в удалении от мира. Девочка затеяла игры с этими воителями и с тех пор, как только могла ускользнуть из-под семейной стражи, отправлялась в их стан. Но спустя недолгое время она забеременела от этих детских игр.

Карл Великий на миг задумался, потом изрек:

— Рыцари святого Грааля дают обет блюсти чистоту, и ни один из них ни за что не признает тебя сыном.

— И я со своей стороны не хочу этого,— сказал Турризмунд.— Мать никогда не поминала мне о каком-нибудь из рыцарей в отдельности, но взрастила меня в сыновнем уважении к Священному ордену в целом.

— А орден в целом,— добавил Карл,— не связан обетом такого рода, и, следовательно, ничто не мешает ему признать себя отцом человеческого существа. Если тебе удастся отыскать рыцарей святого Грааля и добиться, чтобы тебя признали сыном всего ордена, взятого совокупно, твои права в войске, при тех особых преимуществах, которыми пользуется орден, останутся теми же, какие принадлежат отпрыску знатного семейства.

— Я отправляюсь.— сказал Турризмунд.

Тот же вечер— вечер отъезда— в стане франков. Агилульф тщательно экипировался и снарядил коня, оруженосец Гурдулу похвтал как придется одеяла, скребницы, кастрюли, свалил все в кучу, которая мешала ему видеть дорогу, пустился в обратную сторону, нежели хозяин, и поскакал галопом, теряя по пути всякую всячину.

Никто не пришел проститься с отъезжавшим Агилульфом, кроме нищих стремянных, мальчишек-конюхов и кузнецов, которые, не очень-то разбираясь, что к чему, все же осознали, что этот офицер хоть и самый занудливый, но зато и самый несчастный из всех. Паладины, под тем предлогом, что им не сообщили часа отбытия, не явились; впрочем, это и не был предлог: Агилульф, как вышел с пира, так ни с кем словом не перемолвился. Его отбытие даже не обсуждали: распределив

наряды так, что ни одна из его обязанностей не осталась без исполнителя, все молча сговорились, что отсутствие несуществующего рыцаря не заслуживает упоминания.

Единственно кого оно взволновало и даже потрясло — так это Брадаманту. Она кинулась к своему шатру.

— Быстро! — заорала она экономкам, судомойкам, горничным. — Быстро! — В воздух уже летели платья. латы, копыя и украшения. — Быстро! — И это было иначе, чем обычно, когда она раздевалась или была охвачена гневом, нет, Брадаманта готовилась сложить все по порядку, составить инвентарь имеющихся вещей и уехать. — Пошевеливайтесь, я уезжаю, уезжаю, ни минуты здесь больше не останусь, ведь он уехал, единственный, при ком и жить и воевать имело для меня какой-то смысл, а теперь тут осталось только сборище пьянчуг и насильников, вроде меня, вся наша жизнь — одно шатание между постелью и гробом, он один знал ее тайную геометрию, порядок, правило, умел понять, где начало, где конец!

Говоря все это, она облачилась в боевые доспехи, накинула темно-синий плащ и скоро сидела в седле, готовая к отъезду, мужеподобная во всем, кроме той гордой повадки, которая отличает военную выправку женщин, когда они доподлинно женщины. Вот она пустила коня во весь опор и, вырывая веревки шатров, опрокидывая частоколы и прилавки торговцев съестным, исцезла в высокоем облаке пыли.

Это облако увидел Рамбальд, пешком бежавший искать ее, и крикнул вслед:

— Куда ты, куда, Брадаманта? Вот я, здесь, я твой, а ты уходишь! — Он кричал с упрямым негодованием влюбленного, которое значит вот что: «Я здесь, молодой, полный любви, как может моя любовь не быть ей по душе, чего она хочет, та, что не берет меня, что не любит меня, чего она может хотеть сверх того, что я — я это чувствую — могу и должен дать ей?» Так неистовствует влюбленный, забыв сам себя, — в общем-то влюбленность в нее есть влюбленность в себя самого, в себя, влюбленного в нее, влюбленность в то, чем могли бы стать — и не стали — они оба вместе. В таком вот неистовстве Рамбальд бежал к своему шатру, снаряжал коня, готовил оружие, выюки и уезжал прочь, потому что только тогда можно хорошо воевать, когда среди наконецников пик виднеются губы женщины и все: раны, пыль, лошадиный пот — имеет вкус только благодаря их улыбке.

И Турризмунд отбывал в тот же вечер, такой же грустный и столь же исполненный надежд. Он хотел отыскать лес, темный, сырой лес своего детства, и дни, проведенные с матерью в пещере, а еще глубже — чистое братство своих отцов, вооруженных и бдящих у костров сокровенного стана, облаченных в белое, молчаливых, — в самой гуще леса, где низкие ветки почти касаются папоротников, а тучная почва родит грибы, которые никогда не видят солнца.

Карл Великий, встав из-за пиршественного стола, не совсем твердо держался на ногах; выслушав известие обо всех этих неожиданных отъездах, он направлялся к королевскому шатру и думал о временах, когда уезжали Астольф, Ринальд, Гвидон Лесной, Роланд,—уезжали за приключениями, которые в конце концов попадали в песни поэтов, а теперь нет возможности сдвинуть их с места, этих ветеранов,—разве что так велит прямой долг службы. «Пусть едут, они ведь молодые, пусть дерзают»,—повторял Карл, по свойственной людям действия привычке думая, что движение всегда благо, но уже чувствуя горечь, неизменную у стариков, которые больше страдают от утраты того, что было, чем радуются приходу нового.

VIII

Книга моя, уже наступил вечер, я стала писать проворнее, внизу, на реке, слышен только шум водопада, за окном беззвучно мелькают летучие мыши, где-то лает собака, на сеновале раздаются чьи-то голоса. Видно, мать-настоятельница все же выбрала для меня неплохую епитимью: временами я замечаю, что перо бежит по бумаге как бы само собой, а я бегу ему вдогонку. Мы оба, я и перо, мчимся к истине, и я все жду, что истина выйдет мне навстречу из-за белого листа, но достигну я этого, только когда похороню, работая пером, всю лень, все недовольства и всю зависть, во искупление которых я заперта здесь.

А потом достаточно мышиноного шуршания (на монастырском чердаке мышей полно) или порыва ветра, хлопнувшего рамой (мне бы только отвлечься, я тотчас иду отворять окно), достаточно, чтобы закончился один эпизод этой повести и начался другой или просто нужно было перейти на новую строчку,—и сразу перо опять становится тяжелым, как бревно, а бег к истине теряет уверенность.

Теперь мне надобно представить земли, через которые прошел в странствии Агилульф со своим оруженосцем; все должно уместиться на этой странице: пыльная большая дорога, река, мост—вот через него переезжает Агилульф, конь идет легко—цок-цок-цок, бесплотный рыцарь весит мало, конь может не уставая пробежать многие мили, и седок тоже не знает усталости. А теперь по мосту грохочет тяжелый галоп: тум-тум-тум! Это Гурдулу, он едет, обхватив за шею свою лошадь, головы их так близко, что не поймешь, то ли лошадь думает головой оруженосца, то ли оруженосец—головой лошади. Я черчу на бумаге прямую линию, кое-где она ломается под углом—это путь Агилульфа. А вот эта линия, вся в зигзагах и завитушках,—дорога Гурдулу. Увидев порхнувшую мимо бабочку, Гурдулу тотчас пускает лошадь ей вслед, ему уже кажется, что он верхом не на лошади, а на бабочке, поэтому он сворачивает с дороги и блуждает по лугам. Между тем Агилульф едет прямо вперед по

избранному пути. Иногда бездорожные пробеги Гурдулу совпадают с невидимыми кратчайшими тропками — а может быть, лошадь сама выбирает стезжку, потому что всадник и не думает ею править, — и, вдоволь покружив, бродяга оказывается на главной дороге бок о бок с хозяином.

Здесь, на берегу реки, я обозначаю мельницу. Агилульф останавливается спросить дорогу. Ему вежливо отвечает мельничиха, предлагает вина и хлеба, но он отказывается. Соглашается взять только овса для лошади. Путь рыцаря лежит в пыли и зное, добрые люди на мельнице дивятся, что его не мучит жажда.

Когда он уезжает, появляется, топоча, как конный полк на галопе, Гурдулу.

— Хозяина не видели?

— А кто твой хозяин?

— Рыцарь... нет, конь.

— Ты что, служишь у коня?

— Нет, это моя лошадь служит у коня...

— А кто едет верхом на коне?

— Э-э-э... это неизвестно.

— Кто же едет на твоей лошади?

— Гм! Спросите у нее!

— Ты тоже не хочешь ни есть, ни пить?

— Да-да! И есть, и пить!

Гурдулу глотает с жадностью все подряд.

А теперь я рисую город, опоясанный крепостной стеною. Агилульф должен через него проехать. Стража у ворот требует, чтобы он поднял забрало: им приказано не пропускать ни одного человека с закрытым лицом, потому что это может оказаться свирепый разбойник, что промышляет вокруг. Агилульф отказывается, бьется со стражей, прорывается, уносится прочь.

То, что я штрихами набрасываю дальше города, — это лес. Агилульф прочесывает его вдоль и поперек, пока не выгоняет из норы страшного бандита. Рыцарь разоружает злодея и притаскивает к тем самым стражникам, которые не хотели его пропустить.

— Вот тот, кого вы так боялись! Можете посадить его в колодки.

— О, благослови тебя бог, рыцарь в светлых доспехах! Но скажи нам, кто ты и почему никогда не поднимаешь забрала?

— Мое имя — в конце пути, — отвечает Агилульф и мчится дальше.

В городе одни говорят, что он архангел, а другие — что душа чистилища. Один замечает:

— Конь бежал так легко, как будто в седле никто не сидел.

Здесь кончается лес и пролегает другая дорога, она тоже ведет к городу. По этой дороге едет Брадаманта. Горожанам она говорит:

— Я ищу рыцаря в светлых доспехах. Знаю, что он тут.

— Его нет,— отвечают ей.

— Если его нет, значит, это он.

— Тогда отправляйтесь искать его туда, где он есть. Отсюда он ускакал.

— Вы в самом деле его видели? Белые доспехи, и кажется, будто в них человек...

— А кто же там, если не человек?

— Некто превосходящий любого человека!

— По-моему, у вас какая-то чертовщина,— говорит старик горожанин,— и у тебя тоже, рыцарь с нежным голосом!

Брадаманта спешит прочь.

Спустя немного времени на площади города осаживает коня Рамбальд.

— Здесь не проезжал рыцарь?

— Какой? Проехали двое, ты третий.

— Тот, который догонял другого.

— А правда, что один из них вроде бы и не мужик?

— Второй рыцарь — женщина.

— А первый?

— Его нет.

— А ты?

— Я? Я... мужчина.

— Слава богу!

Агилульф ехал в сопровождении Гурдулу. На дорогу выскочила фрейлина, в изодранном платье, волосы растрепаны, и бросилась на колени. Агилульф остановил коня.

— На помощь, благородный рыцарь,— взывала она,— в полумиле отсюда стая свирепых медведей осаждает замок моей госпожи, благородной вдовы Прискиллы. А в замке только мы, безоружные женщины. Никому нет ни входа, ни выхода. Меня спустили на веревке с зубцов стены, и я чудом избежала когтей этих хищников. Умоляю вас, рыцарь, освободите нас!

— Мой меч всегда готов служить вдовам и безоружным созданиям,— сказал Агилульф.— Гурдулу, возьми в седло эту девцу, она проводит нас к замку своей госпожи.

Пустились в путь по горной тропе. Оруженосец ехал первым, но даже не смотрел на дорогу: у женщины, сидевшей в его объятиях, сквозь разорванное платье выглядывали полные розовые груди, и Гурдулу чувствовал, что теряет голову.

Фрейлина глядела только назад, на Агилульфа.

— Какая благородная осанка у твоего господина,— сказала она.

— Угу,— отвечал Гурдулу, протягивая руку к теплой груди.

— В каждом движении, в каждом слове такая уверенность, такая гордость,— говорила она, не отрывая глаз от Агилульфа.

— Угу,— бурчал Гурдулу и, удерживая поводья на запястьях,

обеими руками пытался на ощупь убедиться, что человеческое существо на самом деле может быть вместе таким упругим и таким мягким.

— А голос,—говорила она,—резкий, металлический...

Из уст Гурдулу исходило теперь только невнятное мычание, потому что он уткнулся ими между шеей и плечом девушки и не помнил себя от ее аромата.

— Как моя госпожа будет счастлива тем, что именно он избавит ее от медведей!.. О, как я ей завидую!.. Постой-ка, мы сворачиваем с дороги! Что случилось, оруженосец, чем ты отвлекся?

На повороте тропинки стоял отшельник и протягивал чашку за подаванием. Агилульф, у которого было заведено каждому встречному нищему подавать милостыню в установленной сумме трех грошей, остановил коня и стал рыться в кошельке.

— Благослови вас бог, рыцарь,—сказал отшельник, пряча монеты в карман, потом сделал Агилульфу знак поклониться и зашептал ему в ухо.—За вашу доброту хочу вас предупредить: опасайтесь вдовы Прискиллы! Медведи—просто уловка: она сама их выкармливает, чтобы ее потом освободили самые доблестные рыцари, проезжающие по большой дороге,—так она заманивает их в замок, чтобы утолять свою ненасытную похоть.

— Наверно, так оно и есть, как вы говорите, брат мой,—сказал Агилульф,—но я рыцарь, и было бы неучтиво уклоняться от просьбы о помощи, когда ее недвусмысленно высказывает женщина в слезах.

— Вас не страшит пламя сладострастия?

Агилульф слегка смутился.

— Ну, там посмотрим...

— Знаете, чем становится рыцарь, после того как побывает в замке?

— Чем?

— Тем, что вы видите перед собой. Я тоже был рыцарем, тоже спас Прискиллу от медведей, и вот что со мною случилось.— Вид у него и в самом деле был плачевный.

— Я запомню ваш драгоценный опыт, брат мой, но перед испытанием не отступлю.— И Агилульф, пришпорив коня, нагнал Гурдулу и фрейлину.

— Бог весть что болтают эти отшельники,—сказала девушка рыцарю.— Ни среди клириков, ни в миру нигде так не сплетничают и не злословят, как они.

— А много их тут в округе, этих отшельников?

— Полным-полно. И то и дело появляются новые.

— Ну, мне это не грозит,—отозвался Агилульф.—Поспешим же!

— Я слышу рычание медведей!—вскрикнула фрейлина.— Мне страшно! Спустите меня с седла, я спрячусь за той изгородью.

Агилульф врывается на поляну, где стоит замок. Все вокруг черно: столько здесь медведей. При виде коня и всадника они скалятся и стенкой становятся бок о бок, преграждая дорогу. Агилульф, размахивая копьём, бросается в бой. И вот одни звери вздеты на пику, другие оглушены ударом, третьи забиты до полусмерти. Подъезжает Гурдулу на своей лошади и преследует уцелевших с рожном в руках. Спустя десять минут те звери, что не лежат, распластавшись коврами на поляне, забиваются в самую чащу леса.

Ворота замка отворились.

— Благородный рыцарь, могу ли я предложить свое гостеприимство и хоть отчасти отплатить за все, чем вам обязана?

На пороге появилась Прискилла в окружении своих дам и слуганок. (Среди них была и та девица, что препроводила сюда рыцаря и оруженосца: непонятным образом она вновь очутилась в замке и вышла уже не в лохмотьях, а в опрятном передничке.)

Агилульф, сопровождаемый Гурдулу, совершил въезд в замок. Вдова Прискилла была не очень высокая и не то чтобы в теле, но с округлыми формами; грудь тоже не была слишком пышной, зато не пряталась от взглядов; черные глаза блестели—словом, то была женщина, которой есть что предъявить. Она стояла, довольная, разглядывая светлые доспехи Агилульфа. Рыцарь был сдержан, но явно робел.

— Рыцарь Агилульф Гем Бертрандин де Гвильдиверн,— сказала Прискилла,— мне известно ваше имя, я знаю, кто вы есть, и знаю, что вас нет.

После такого сообщения Агилульф, словно освободившись от гнетущей неловкости, отставил в сторону робость и принял самодовольный вид. Однако он почтительно поклонился, встал на одно колено и сказал:

— Ваш покорный слуга,—а затем резко поднялся.

— Я много слышала о вас,—сказала Прискилла,— и с давних пор самым горячим моим желанием было встретиться с вами. Каким чудом вас занесло на эту глухую дорогу?

— Я странствую, чтобы отыскать, пока не поздно, девственность пятнадцатилетней давности,—ответил Агилульф.

— Никогда не слыхала о рыцарском странствии, цель которого была бы столь сомнительной,—сказала Прискилла.— Но если миновало уже пятнадцать лет, я не зазрюсь удержать вас на одну ночь просьбой погостить у меня в замке.— И она пошла со двора об руку с ним.

Прочие женщины не отрывали от него глаз до тех пор, пока он вместе с владетельницей не скрылся в анфиладе зал. Потом взоры их обратились на Гурдулу.

— О, какой здоровый малый этот стремянный,—захлопали они в ладоши. Гурдулу стоял дурак дураком и чесался.— Жаль только, что он такой блохастый и вонючий! Ну, живее, отмоём

его!—Они увели оруженосца в свои комнаты и там раздели догола.

Прискилла пригласила Агилульфа к столу, накрытому на двоих.

— Мне известна ваша обычная воздержанность, рыцарь,— начала она,—но я не знаю, как почтить вас иначе, нежели предложив поужинать. Разумеется,—добавила она лукаво,—изъявления благодарности, которые я имею в виду, на этом не кончатся.

Агилульф учтиво поклонился, сел против владельницы замка, раскрошил ломтик хлеба. Помолчав немного, он откашлялся и заговорил о том о сем.

— Поистине удивительные и нелегкие испытания, сударыня, выпадают на долю странствующего рыцаря. Их можно подразделить на несколько видов. Первый...—Так он ведет беседу, любезный, точный, осведомленный, иногда рискуя навлечь упрек в чрезмерном педантизме, но тут же изглаживая это впечатление легкостью перехода к другому предмету, перемежая серьезные речи остротами и шутками самого тонкого вкуса, оценивая людей и их поступки не слишком благосклонно, но и без чрезмерной строгости, так, что любое его мнение вполне согласуется с мнением собеседницы, которой он неизменно дает возможность высказаться, побуждая ее тактичными вопросами.

— Какое наслаждение беседовать с вами,—говорит Прискилла, утопая в блаженстве.

Вдруг Агилульф, так же неожиданно, как начал разговор, погружается в молчание.

— Пора послушать пение,—говорит Прискилла и хлопает в ладоши. В комнату входят певицы с лютнями. Одна начинает песню: «Единогор сорвет цветок», потом другую: «*Jasmin, veuillez embellir le beau coussin*»¹.

Агилульф находит нужные слова, чтобы похвалить музыку и пение.

Входит стайка девушек и заводит танец. На них легкие туники и цветочные плетеницы в волосах. Агилульф аккомпанирует им, отбивая такт железными рукавицами по столу.

Такие же праздничные пляски были и в другом крыле замка, в покоях фрейлин. Полураздетые молодые дамы играли в мяч и требовали, чтобы Гурдулу принял участие в их играх. Оруженосец, тоже одетый в тунику одной из дам, вместо того чтобы ждать на месте, когда ему будет брошен мяч, бегал за ним, стараясь любым способом им завладеть, и вступал в борьбу то с одной, то с другой фрейлиной; в схватке с нею он порой воспламенялся страстью другого свойства и валил даму на мягкое ложе, какие были расстелены вокруг.

¹ Жасмин, укрась прекрасную подушку (франц.).

— Ой, что ты делаешь! Пусти, осел! Ах, смотрите, что он со мной творит, нет-нет, я хочу играть в мяч, ах-ах-а-ах!

Гурдулу ничего уже не соображал. После теплого купания, которому его подвергли, среди этих нежных запахов и этой бело-розовой плоти, у него оставалось только одно желание: раствориться в общем аромате.

— Ах, ах, опять он тут, ой, мамочка, да послушай же, а-а-ах!

Остальные играли в мяч, как ни в чем не бывало, шутили, смеялись, напевали:

Вот те на, вот те на, в небесах летит луна!

Фрейлина, которую Гурдулу вырывал из круга, в последний раз протяжно вскрикнув, возвращалась к подругам с горящими щеками, чуть оглушенная, и, смеясь, хлопала в ладоши:

— Ну-ка, ну-ка, подавай мне!—и вступала в игру.

Проходило немного времени, и Гурдулу набрасывался на sledующую.

— Пошел, брысь, брысь, ишь какой приставучий, нахал, пусти, мне больно, да ну же...—Но вскоре оставляла сопротивление.

Другие дамы и девицы, те, что не участвовали в игре, сидели на скамейках и судачили:

— Это потому, знаете, что Филомена приревновала к Кларе, а на самом деле...—Она чувствовала уже, что Гурдулу облапил ее за талию.—Ах, какой ужас! Я говорила, что на самом деле Вильгельм, судя по всему, был с Юфимией... Да куда ты меня тащишь?—Гурдулу взваливал ее на плечи.—Поняли вы? А эта дура ревнует, как всегда...—И дама, не переставая болтать и жестикулировать на плечах Гурдулу, исчезала.

Немного спустя она возвращалась пунцовая, с оборванной шлейкой, и снова принималась тараторить:

— Так оно и есть, говорю вам, Филомена устроила сцену Кларе, а на самом деле он...

Той порой певицы и танцовщицы удалились из пиршественной залы. Агилульф принялся бесконечно долго перечислять сочинения, которые чаще всего исполнялись музыкантами Карла Великого.

— Стемнело,—заметила Прискилла.

— Уже ночь, глубокая ночь,—согласился Агилульф.

— Покой, который я вам отвела...

— Спасибо. Слышите, как поет в саду соловей.

— Покой, который я вам отвела... моя спальня.

— Ваше гостеприимство не знает предела... Соловей поет вон на том дубе. Подойдем к окну.

Он встал, протянул ей железную десницу, оперся о подоконник. Трели соловья послужили ему поводом вспомнить целый ряд стихов и легенд.

Но Прискилла коротко оборвала его:

— Одним словом, соловьи поют для любви. А мы...

— Ах, любовь!—воскликнул Агилульф, так резко повысив голос, что Прискилла слегка испугалась. Он же с места в карьер пустился в рассуждение о любовной страсти. Прискилла нежно зарделась, опершись на руку рыцаря, и втолкнула его в покой, где надо всем царило огромное ложе под пологом.

— У древних, поскольку любовь считалась божеством...— продолжал Агилульф скороговоркой.

Прискилла два раза повернула ключ в двери, подошла к рыцарю, совсем близко, склонила голову на панцирь и пролепетала:

— Мне холодно, камин погас...

— Суждения древних о том, где лучше предаваться любви,— сказал Агилульф,— в теплой либо холодной комнате, противоречат друг другу. Но большинство рекомендуют...

— О, вы, видно, знаете назубок все, что касается любви,— шептала Прискилла.

— Большинство рекомендуют избегать удушающей жары и склоняются в пользу естественного тепла...

— Так нужно позвать служанок, чтобы затопить?

— Я сам затоплю.

Агилульф внимательно осмотрел поленья в камине, раздул одну, потом другую головню, перечислил различные способы разжигать огонь в помещениях и под открытым небом. Его прервал вздох Прискиллы, и, словно внезапно сообразив, что новый предмет разговора губит возникшее было любовное трепетанье, Агилульф принялся расцвечивать речи об огне намеками и сравнениями касательно теплоты чувств и жара страсти.

Теперь Прискилла улыбалась с полузакрытыми глазами, протягивала руки к потрескивающему пламени, говорила:

— Какое дивное тепло... Как приятно, должно быть, наслаждаться им лежа под одеялами...

Разговор о постели заставил Агилульфа вновь пуститься в рассуждения: на его взгляд, труднейшее искусство стелить постель не ведомо ни единой служанке во Франции, и даже в самых знатных домах простыни всегда плохо заправлены.

— Не может быть! И в моей постели тоже?—спросила вдова.

— Нет сомнения, у вас поистине королевское ложе, другого такого нет во всех императорских землях, но, с вашего позволения, мое желание видеть вас исключительно в окружении вещей, всячески вас достойных, заставляет меня с огорчением взирать на эту складку...

— Ах, складка!—воскликнула Прискилла, также охваченная отныне тоской по совершенству, которая передалась ей от Агилульфа.

Покров за покрывом разобрали они постель, с досадой обнару-

живая мелкие неровности, шероховатости, простыни, натянутые где слишком, а где недостаточно туго; изыскания эти то доставляли пронзительную муку, то возносили все выше в небеса.

Сбросив все белье до тюфяка, Агилульф стал перестилать постель по правилам искусства. Все действия его были отработаны: ничто не делалось наудачу, были пущены в ход некие тайные приемы, которые он пространно объяснял вдове. Но время от времени что-нибудь да не удовлетворяло его, и он начинал все сначала.

Из другого крыла замка донесся крик, вернее даже, мычание или рев, невыносимо громкий.

— Что это? — вздрогнула Прискилла.

— Да ничего, это голос моего оруженосца, — сказал он.

С этим криком смешивались другие, более высокие, словно пронзительные вздохи, взлетающие к звездам.

— А это что? — озадаченно спросил Агилульф.

— О, это мои девушки, — отвечала Прискилла. — Играют... Что поделать, молодость!

Они снова стали приводить в порядок постель, порой прислушиваясь к ночным шумам.

— Гурдулу кричит...

— Как гомонят эти женщины!..

— Соловей...

— Кузнечики...

Постель была постлана, на сей раз безупречно. Агилульф обернулся к вдове. На ней уже ничего не было. Одежды целомудренно упали на пол.

— Обнаженным дамам, которые хотят испытать высший чувственный экстаз, — заявил Агилульф, — можно посоветовать объятия воина в полном вооружении.

— Молодец, нашел кого учить, — отозвалась Прискилла. — Я не вчера родилась. — С такими словами она одним махом заключила Агилульфа в объятия.

Один за другим перепробовала она все способы, какими можно обнимать dospехи, затем томно улеглась в постель.

Агилульф встал на колени у изголовья.

— Волосы, — сказал он.

Прискилла, раздеваясь, не распустила своих каштановых волос, собранных в высокую куафюру. Агилульф принялся изъяснять, как много значат для чувственных восторгов распущенные волосы.

— Попробуем!

Решительными и осторожными движениями железных рук он разрушил башню на голове, и пышные пряди рассыпались по груди и плечам.

— И все же, — прибавил он, — более искушен тот, кто предпочитает, чтобы тело дамы было обнажено, а голова не только

тщательно причесана, но и убрана вуалями и диадемами.

— Начнем сначала?

— Я сам причешу вас!— Он причесал ее, явив высшее умение в заплетении кос, укладывании их вокруг головы, прикреплении шпильками. Потом соорудил пышную куафюру с вуалями и нитками камней. Так прошел час, но, когда он поднес ей зеркало, Прискилла нашла, что никогда не была так хороша.

Она пригласила его лечь рядом.

— Я слышал,— сказал он ей,— будто Клеопатра каждую ночь мечтала, чтобы с нею лежал воин в доспехах.

— Никогда не пробовала,— призналась она.— Все снимали доспехи намного раньше.

— Что же, теперь попробуете.— Медленно, не комкая простынь, он в полном вооружении взошел на ложе и лег чинно, как в гробницу.

— Вы даже не снимете меча с перевязи?

— Любовная страсть признает только крайности!

Прискилла блаженно закрыла глаза. Агилульф поднялся на локте.

— Огонь задымил. Пойду посмотрю, почему не тянет камин.

В окно заглядывала луна. Вернувшись от камина к кровати, Агилульф остановился.

— Сударыня, пойдемте на бастионы, чтобы насладиться этими последними лунными лучами.

Он укутал ее своим плащом. Сплетя объятия, они поднялись на башню. Луна осеребрила лес. Кричала сова. Кое-где в замке еще светились окна, из них порой долетали крики, смех либо стон и рычание оруженосца.

— Вся природа—это любовь...

Они вернулись в спальню. Камин почти погас. Они присели рядом, чтобы раздуть уголья. Розовые колени Прискиллы касались металлических наколенников рыцаря, и от этого рождалась новая, совсем непорочная близость.

Когда Прискилла вернулась в постель, за окном брезжил свет.

— Ничто так не преображает женского лица, как первый луч зари,— сказал Агилульф, но, чтобы лицо было лучше освещено, ему пришлось передвинуть кровать вместе с пологом.

— Как я выгляжу?—спросила вдова.

— Вы прекрасны.

Прискилла была счастлива. Солнце восходило быстро, и, чтобы не упустить его лучей, Агилульф все время двигал кровать.

— Уже утро,—сказал он изменившимся голосом.—Мой рыцарский долг требует выступить в этот час в дорогу.

— Уже!—застонала Прискилла.—В такую минуту!

— Сожалею, благородная госпожа, но меня зовет высший долг.

— Ах, было так хорошо!..

Агилульф склонил колено.

— Благословите меня, Прискилла!

Но вот он уже встает, кличет оруженосца. Рыщет по всему замку, наконец находит его в какой-то конуре, обессиленного, спящего мертвым сном.

— На коня, живее!— Но приходится самому взгромоздить его в седло.

Солнце, восходя все выше, четко прорисовывает фигуры двух конных на фоне желтой листвы леса: оруженосец приторочен как две переметные сумы, рыцарь сидит прямо, чуть покачиваясь, как тонкая тень тополя.

Прискиллу окружили сбежавшиеся фрейлины и служанки.

— Как это было, госпожа, как это было?

— О, необыкновенно! Вот что значит... мужчина...

— Ну говорите же, расскажите, как было?

— Мужчина... Ночь... Непрекращающееся блаженство...

— Но что он делал? Что делал?

— Что можно сказать? Прекрасно... Великолепно...

— Но ведь он не такой, как все... Скажите же...

— Трудно собраться с мыслями... Столько всего... Лучше вы расскажите, как с этим оруженосцем.

— А-а... Ровно ничего, право, не знаю, может быть, ты?.. Или нет, ты! Я что-то не помню...

— Как так? Вас было хорошо слышно, милые мои!

— Да что про него, беднягу! Я не помню...

— И я не помню, может быть, ты?

— Я? Да что вы!

— Госпожа, расскажите про него, про рыцаря! Как вам Агилульф?

— О, Агилульф!

IX

Я, пишущая эту книгу по едва читаемым хартиям древней летописи, только теперь опомнилась и заметила, что заполнены страницы и страницы—а я нахожусь лишь в начале повести; только теперь пойдет собственно ее действие, то есть полное приключений странствие Агилульфа и его оруженосца за доказательствами, подтверждающими невинность Софронии; оно будет переплетаться со скитаниями преследуемой преследовательницы Брадаманты, влюбленного Рамбальда и Турризмунда, отыскивающего рыцарей святого Грааля. Но, вместо того чтобы проворно бежать у меня между пальцами, эта нить теряет натяжение и путается, а у меня мутится в глазах, как подумаю, сколько мне предстоит нанести на бумагу маршрутов и препон, погонь и обманов, поединков и турниров. Вот до чего изменило меня это

послушанье монастырского писца и вечная епитимья, требующая отыскивать слова и доискиваться до сути вещей: то, что люди считают (и я прежде считала) наивысшим удовольствием — само сплетение приключений, в котором и состоит рыцарский роман, — теперь представляется мне ненужной подливкой, напрасной раскраской, самой неблагоприятной частью моего урока.

Мне хочется рассказывать бегом, рассказывать наспех, разрывать каждую страницу так, чтобы поединков и сражений на ней хватило на целую поэму, но едва я останавливаюсь перечитать написанное, как замечаю, что перо не оставило следа и листы белы, как прежде.

Чтобы повествовать, как мне бы хотелось, эта белая бумага должна бы ошетиниться красноватыми утесами, рассыпаться густым песком с камешками, порости мохнатым можжевельником. А посреди всего, где извивается едва проторенная тропка, я проведу Агилульфа; он сидит в седле прямо, с пикой наперевес. И не только скалистой местностью должна бы стать эта страница, но и сплюснутым над скалами небосводом, таким низким, что остается место только для каркающего полета ворон. Мне бы схитриться и нанести пером штрихи, только очень легкие, потому что по лугу следует протянуть след лани, невидимой в траве, а через вересковую пустошь направить зайца, который выскакивает на открытое место, останавливается, принохивается, шевеля короткими усами, и тут же исчезает.

Все движется на гладкой странице, но движения не видно, ничего не меняется на ее поверхности, как на заскорузлой поверхности мира все движется и ничто в сути своей не меняется, потому что есть лишь пласт одной и той же материи, вроде листа, на котором я пишу; пласт этот стягивается и собирается в сгустки разной формы и плотности, разных оттенков цвета, но его можно представить себе и расправленным на ровной глади, вместе со всеми остальными сгустками — пернатыми, в шерсти или в шишках, вроде панциря черепахи, и притом что иногда какая-нибудь шерстистость, пернатость или шишковатость как бы двигается, — или это только изменение соотношений различных свойств, распределенных в однородной материи, без существенных перемещений. Мы можем даже сказать: единственное, что подлинно перемещается на этом фоне, — Агилульф, то есть не его конь, не его доспехи, но то одинокое, полное тревоги за себя и нетерпения, что странствует на коне внутри доспехов. Вокруг него шишки падают с веток, ручьи бегут по гальке, рыбки плавают в ручьях, гусеницы гложут листья, черепахи ковыляют, волочась твердым животом по земле, но это только иллюзия движения, вечный набег и отбег волн на воде. И в этой зыби барахтается Гурдулу, пленник пестрого ковра природы, вылепленный из того же теста, что и шишки, рыбки, гусеницы, галька, листья, всего лишь нарост на скорлупе мира.

Насколько труднее мне вычертить на бумаге бег Брадаманты,

или Рамбальда, или угрюмого Турризмунда! Для этого потребовался бы след легчайшего прикосновения на единообразной поверхности — такой получается, если линовать бумагу с обратной стороны булавкой, но и этот легчайший след все равно был бы заполнен и заляпан общемировым тестом, а в нем-то и были бы смысл, и красота, и боль, в нем и были бы настоящее трение и движение.

Но возможно ли было бы двигать дальше мою повесть, если бы я принялась мять таким образом чистые страницы, перекапывать их валами и обрывами, бороздить их морщинами и царапинами, из коих вычитывались бы конные пути паладинов? Лучше было бы для моей повести нарисовать карту тех мест: вот сладостная Франция, вот гордая Бретань, вот Ла-Манш в ряби черных валов, вот наверху горная Шотландия, а внизу — крутые Пиренеи, Испания, все еще под пятой басурман, Африка, родительница змей. Потом стрелками, крестиками и цифрами я могла бы обозначить маршрут того или другого из героев. Я уже сейчас могу стремительной, несмотря на несколько изломов, линией перенести Агилульфа на берега Англии и направить к монастырю, где пятнадцать лет назад затворилась Софрония.

По прибытии он находит на месте монастыря груды развалин.

— Слишком поздно вы подоспели, благородный рыцарь, — говорит один старик. — В этих долах не отзвучало еще эхо криков несчастных монахинь. Совсем недавно флот сарацинских пиратов высадился на здешнем берегу и разграбил монастырь, увез в рабство всех сестер, а строения поджег.

— Увез? Куда?

— Рабыни будут проданы в Марокко, сударь.

— А была среди монахинь та, что в миру звалась Софрония, дочь короля шотландского?

— Ах, вы имеете в виду сестру Пальмиру? Еще бы! Они, разбойники, сразу же взвалили ее на плечи. Пальмира хоть и не первой молодости, но все же поглядеть есть на что. Как сейчас помню ее крики, когда эти черномазые тащили ее прочь.

— Вы присутствовали при разграблении?

— А то как же, мы, деревенские, всегда на месте, известное дело.

— И не пришли на помощь?

— Кому? Ах, ваша милость, что с нас взять, все было так внезапно... а у нас ни командиров, ни опыта... Чем делать худо, лучше уже совсем не делать.

— А скажите, эта Софрония в монастыре жила благочестиво?

— В наши дни монахини разные бывают, но сестра Пальмира была во всем епископстве самая целомудренная и благочестивая.

— Гурдулу, быстро в гавань, мы отплываем в Марокко.

Волнистые линии, что я сейчас набрасываю,—это море, вернее, океан. Вот здесь я рисую кораблик, на котором совершает плаванье Агилульф, а с другой стороны—огромного кита, с надписью в рамочке: «Море-Океан». Эта стрелка намечает курс судна. Можно прочертить еще одну стрелку, намечающую курс кита; и вот они перекрещиваются. Значит, в этом месте океана произойдет встреча кита с кораблем, а так как кит у меня получился гораздо больше, то плохо придется кораблю. Теперь я рисую множество скрещенных в одной точке и указывающих в разные стороны стрелок, чтобы обозначить пункт, где между китом и судном шла ожесточенная битва. Агилульф сражается, как ему положено, и вонзает пику в бок чудовищу. Его обдаёт тошнотворная струя ворвани, которую я обозначаю этими расходящимися линиями. Гурдулу вспрыгивает на спину кита и забывает о корабле. Ударом хвоста кит опрокидывает судно. Агилульф в своих железных доспехах может только кануть напрямиком на дно. Прежде чем с головой скрыться в волнах, он кричит оруженосцу:

— Встретимся в Марокко! Я иду пешком!

В самом деле, Агилульф, как стоял, погружается на песчаное дно, на глубину в несколько миль, и широким шагом пускается в путь. Он то тут, то там встречается с морскими чудовищами и обороняется, нанося удары мечом. Вы сами знаете, единственная неприятность, которая грозит доспехам в глубине моря,—ржавчина. Но, будучи с головы до пят облит ворванью, светлый доспех защищен слоем жира и остается невредимым.

Теперь я рисую посреди океана морскую черепаху. Гурдулу проглотил с пинту соленой воды, прежде чем понял, что не море должно быть в нем, а он в море, и вскарабкался наконец на гигантский панцирь. То отдаваясь на волю черепахи, то пытаюсь ее направлять шлепками и пинками, он приближается к берегам Африки и тут попадает в сети сарацинских рыбаков.

Вытащив сети, рыбаки обнаруживают среди извивающихся краснобородок человека в заплесневелом, поросшем морской травой платье.

— Человек-рыба! Человек-рыба!—кричат они.

— Никакой не человек-рыба, а просто Гуди-Юсуф!—говорит их старшина.— Это Гуди-Юсуф, я его знаю.

В самом деле, имя Гуди-Юсуф было одним из тех, которыми называли Гурдулу у магометанских кухонь, когда он, сам того не замечая, переходил фронт и оказывался в султанском стане. Старшина рыбацкой артели служил солдатом в мавританском войске на Испанской земле; помня телесную крепость и душевную податливость Гурдулу, он взял знакомца к себе, чтобы сделать из него ловца устриц.

Однажды вечером рыбаки, и Гурдулу среди них, сидели на камнях марокканского побережья и по одной вскрывали выловленных устриц; вдруг из воды вынырнул султан, потом весь

шлем, потом панцирь—словом, весь доспех, который шаг за шагом вышел на берег.

— Человек-омар, человек-омар!—кричат рыбаки и, разбежавшись в страхе, прячутся за утесами.

— Никакой не человек-омар,—говорит Гурдулу,—а мой господин. Небось устали до смерти, рыцарь! Всю дорогу пешком!

— Я несколько не устал,—отвечает Агилульф.—А ты что здесь делаешь?

— Мы ищем жемчуг для султана,—вмешивается отставной солдат.—Он каждый вечер должен дарить очередной жене новую жемчужину.

Султан еженощно посещал одну из жен, коих было у него триста шестьдесят пять, так что на долю каждой приходилось одно посещение в год. И каждой султан имел обыкновение дарить жемчужину, поэтому всякий день купцы должны были поставлять ему новенькую. Поскольку в тот день запас у купцов исчерпался, они обратились к рыбакам, чтобы те достали жемчуг за любую цену.

— Вы так ловко умеете ходить по дну морскому,—обратился отставной солдат к Агилульфу,—почему бы вам не присоединиться к нашему промыслу?

— Рыцарь не присоединяется ни к чему, что предпринимается ради заработка, тем более врагами его веры. Благодарю вас, язычник, за то, что вы спасли и не дали умереть с голоду моему оруженосцу, но на то, что ваш султан не сможет этой ночью подарить жемчужину триста шестьдесят пятой жене, мне наплевать в высшей степени.

— Зато нам не наплевать, потому что нас возьмут в палки,—сказал рыбак.—Сегодняшняя брачная ночь не такая, как все. Она отдана новой жене, которую султан посетит впервые. Ее купили почти год назад у пиратов, но своей очереди она ждала до сего дня. Султану неприлично предстать перед нею с пустыми руками, тем более что речь идет о женщине вашей веры, да к тому же королевского рода: Софронии Шотландской, которую привезли в Марокко рабыней и сразу предназначили для серала нашего монарха.

Агилульф ничем не выдал своего волнения.

— Я помогу вам,—сказал он.—Пусть купцы предложат султану отправить новой жене вместо обычной жемчужины такой подарок, который утишит ее тоску по далекой отчизне—полное вооружение христианского воина.

— А где нам взять такие доспехи?

— Берите мои.

Софрония ждала наступления вечера в своих покоях дворца-гарема. Из-за решетки стрельчатого окна она глядела на пальмы в саду, бассейны, лужайки. Солнце садилось, муэдзин кричал с минарета, в саду раскрывались душистые ночные цветы.

Стучат. Час настал! Нет, это все те же евнухи. Они несут подарок султана: доспехи. Совсем светлые доспехи. Что это значит — неизвестно. Софрония, опять оставшись одна, садится к окошку. Она здесь уже почти год. Как только ее купили в жены, ей назначили очередь недавно получившей развод супруги, и очередь эта должна была наступить почти через год. День за днем без дела торчат здесь, в серале, да это еще бо́льшая скука, чем в монастыре.

— Не страшитесь, благородная Софрония,— произнес голос у нее за спиной. Она обернулась. Говорили с нею доспехи.— Я— Агилульф де Гвильдиверн, я снова спасу вашу незапятнанную добродетель.

— Эй, на помощь!— Жена султана вся задрожала. Потом опомнилась.— То-то мне показалось, что эти светлые доспехи мне знакомы! Это вы много лет назад появились как раз вовремя, чтобы помешать разбойнику взять меня силой...

— А сегодня я подоспел вовремя, чтобы избавить вас от позора нечестивого брака.

— Да... Всегда вы являетесь...

— А теперь под защитой моего меча я выведу вас за пределы султанских владений.

— Ну да... Конечно...

Евнухи, когда вернулись возвестить приход султана, были пронзены клинком меча. Окутанная плащом, Софрония бежала через сады бок о бок с рыцарем. Драгоманы подняли тревогу. Но тяжелые ятаганы были бессильны против точных и ловких ударов меча, а щит рыцаря в светлых доспехах выдержал натиск копий целого отряда. Гурдулу с лошадьми ждал, спрятавшись за кактус. В гавани уже стояла фелюга, готовая отплыть в христианские земли. Софрония глядела с верхней палубы, как отходят вдаль пальмы на побережье.

А теперь вот здесь, среди волн, я рисую фелюгу. Я делаю ее немного поболее прежнего судна, чтобы, повстречайся ей кит, несчастья не случилось. Этой изогнутой линией я намечаю курс фелюги, которую хочу довести до порта Сен-Малó. Но беда в том, что на широте Бискайского залива запуталось уже столько перекрещивающихся линий, что лучше отправить фелюгу вот этим путем дальше вверх. Но тут она как назло наталкивается на подводные рифы Бретани. Крушение, судно идет ко дну, Агилульф и оруженосцу с трудом удастся вытащить на берег Софронию целой и невредимой.

Софрония утомлена. Агилульф решает укрыть ее в пещере, а самому вместе с оруженосцем добраться до стана Карла Великого и возвестить, что девственность осталась нетронутой и законность его имени неоспорима. Я помечаю эту точку на бретонском побережье крестиком, чтобы потом можно было найти пещеру. Но не понимаю, что тут проходит за линия: теперь моя карта — сплошная сеть линий, прочерченных по всем направлениям. Ах,

вот оно что, эта линия соответствует пути следования Турризмунда. Значит, задумчивый молодой человек проезжает именно здесь и именно тогда, когда Софрония отдыхает в пещере. Он приближается, входит, видит женщину.

Х

Как попал сюда Турризмунд? Пока Агилульф перебирался из Франции в Англию, из Англии в Африку и из Африки в Бретань, мнимый отпрыск герцогов Корнуэльских прошел вдоль и поперек лесные дебри в землях всех крещеных племен, отыскивая тайный стан рыцарей святого Грааля. Так как Священный орден имеет обыкновение ежегодно менять пристанище и не обнаруживает своего присутствия непосвященным, Турризмунд не мог следовать никаким приметам и скакал наугад, вдогонку тому смутному ощущению, с которым отождествлялось у него имя Грааля. Но что искал он: орден ли благочестивых рыцарей или воспоминание о собственном детстве на вересковых пустошах Шотландии? Порой, когда перед ним неожиданно раскрывалась долина, черная от хвои, или пропасть, на дне которой среди серых скал шумел белый от пены поток, молодым человеком овладевало необъяснимое волнение, которое он принимал за предвестие: «Быть может, они здесь, они рядом!» А если из лоцины поднимался отдаленный мрачный звук рога, Турризмунд, отбросив все сомнения, спускался с любого обрыва, пядь за пядью нащупывая путь. И натыкался в лучшем случае на утомленного охотника или пастуха со стадом.

Достигнув далекой Курвальдии, он остановился в деревне и христа ради попросил у крестьян немного сыра и серого хлеба.

— Дать-то мы дали б вам с удовольствием, молодой господин,— сказал ему один козопас,— только поглядите на меня, на мою жену и детей, до чего мы дошли: кожа да кости! И так уж слишком много приходится жертвовать на содержание рыцарей! Вон тот лес кишит вашими сотоварищами, хоть и одеты они иначе. Там их целый отряд, и что до провианта, все они сидят у нас на шее.

— Рыцари в лесу? Как они одеты?

— Плащ белый, шлем золотой, а по бокам белые лебединые крылья.

— И очень благочестивы?..

— Да уж, в чем, в чем, а в благочестии им не откажешь. Во всяком случае, деньгами они рук не оскверняют, потому что не имеют ни гроша. Зато требуют они много, а нам приходится повиноваться. Теперь вот совсем положили зубы на полку: год неурожайный. Когда они явятся в следующий раз, что им дать?

Но молодой человек уже бежал к лесу.

Среди лугов, по спокойным водам ручья не спеша плыла стая лебедей. Турризмунд шел берегом следом за ними. Из гущи листвы донесся звук арфы: «Длинь-длинь-длинь!» Молодой рыцарь шел и шел, и казалось, что перебор струн то движется за ним, то опережает его: «Длинь-длинь-длинь!» Там, где в листве был просвет, вдруг появилась человеческая фигура. То был воин в шлеме с белыми крыльями, в руках он держал пику и маленькую арфу, на которой он время от времени наигрывал. «Длинь-длинь-длинь!» Он ничего не говорил, не приглашал Турризмунда взглядом, смотря мимо и словно не замечая прищельца, и все же, по-видимому, провожал его: когда стволы и кустарники разделяли их, он указывал дорогу, подзывая его мелодичным звуком: «Длинь-длинь-длинь». Турризмунду хотелось заговорить с ним, задать вопрос, но он не решался и молча шел следом.

Так они вышли на поляну. Повсюду стояли, поворотясь в разные стороны, воины с пиками, в золотых панцирях, закутанные в длинные белые мантии; все неподвижно уставились глазами в пустоту. Один кормил лебедя зернами, но все равно глядел куда-то вдаль. В ответ на новый перебор струн конный воин поднял к губам рог и громко протрубил сбор. Когда рог смолк, все воины двинулись с места, каждый сделал несколько шагов в ту сторону, куда смотрел, и все снова замерли.

— Рыцари...—заставил себя произнести Турризмунд,— простите меня, если я заблуждаюсь, но не вы ли рыцари святого Гра...

— Не смей произносить это имя!—прервал его голос за спиной. Рядом с ним стоял седоголовый рыцарь.— Мало тебе, что ты пришел нарушить наше благочестивое созерцание?

— О, простите!—обратился к нему молодой человек.— Я так счастлив оказаться среди вас! Если бы вы знали, сколько я вас искал!

— Зачем?

— Зачем?...—Нетерпеливое желание объявить во всеуслышание о своей тайне пересилило страх перед святотатством.— Затем, что я ваш сын!

Престарелый рыцарь остался невозмутимым.

— Здесь не признают ни отцов, ни сыновей,—сказал он после некоторого молчания.— Кто вступает в Священный орден, порывает все узы земного родства.

Турризмунд ощутил скорее разочарование, чем горечь быть отвергнутым: он в худшем случае ждал от своих целомудренных отцов негодующего отпора, который постарался бы преодолеть, приводя доказательства и взывая к голосу крови, но таким ответом был обескуражен: седовласый не отрицал допустимость такого факта, но наотрез отказывался его обсуждать.

— У меня есть единственное стремление: чтобы ваш Священный орден признал меня сыном,—пробовал настаивать Турризмунд.

мунд,—ибо я питаю к нему безграничное восхищение.

— Если ты так восхищаешься нашим орденом,—сказал престарелый рыцарь,—то единственным твоим стремлением должно быть, чтобы тебя допустили стать его членом.

— Так вы говорите, это возможно?!—воскликнул Турризмунд, привлеченный новой перспективой.

— Если ты будешь этого достоин.

— А что нужно сделать?

— Постепенно очиститься от всякой страсти и предаться одной лишь любви к святому Граалю.

— О, вы произносите его имя?

— Мы, рыцари, имеем это право, вы, непосвященные, нет.

— Но скажите, почему говорите вы один, а все остальные молчат?

— Мне вменено в обязанность вести сношения с непосвященными. Поскольку слова порой бывают нечисты, рыцари предпочитают от них воздерживаться, коль скоро их устами не глаголет Грааль.

— Скажите же, с чего мне начать?

— Видишь этот кленовый лист, а на нем каплю росы? Стой неподвижно и неотрывно смотри на эту каплю, слейся с нею, забудь в этой капле все на свете, пока не почувствуешь, что потерял самого себя, зато проникся беспредельной силой Грааля.

Сказав так, он удалился. Турризмунд стал смотреть на каплю, смотрел, смотрел, потом невольно задумался о своих делах, увидел взбиравшегося по листу паука, посмотрел на паука, снова уставился на каплю, двинул затекшей ногой. Фу, какая скука! То тут, то там появлялись из лесу и исчезали рыцари: еле переставляя ноги, с разинутым ртом и вытаращенными глазами, в сопровождении лебедей, чьи мягкие перья они время от времени поглаживали. Иногда кто-нибудь из них вдруг раскидывал руки и делал короткую пробежку, испуская при этом вопль облегчения.

— А вон те,—Турризмунд не удержался от вопроса престарелому рыцарю, вновь появившемуся рядом,—что на них находят?

— Экстаз,—отвечал тот,—которого тебе никогда не испытать при такой рассеянности и любопытстве. Эти братья достигли наконец полного слияния с универсумом.

— А вот эти?—спросил молодой человек.

Некоторые рыцари расхаживали, вихляя бедрами, словно охваченные сладострастной дрожью, и строили гримасы.

— Эти пребывают еще на промежуточном этапе. Прежде чем ощутить свое тожество с солнцем и звездами, неопит чувствует в себе лишь близлежащие предметы—но чувствует весьма сильно. А это производит определенное действие, особенно на самых молодых. Наши братья, которых ты видишь, испытывают особого

рода приятное возбуждение от течения воды в ручье, шелеста листвы, подземного прозябания грибов.

— И долго они это выдерживают?

— Понемногу братья достигают более высоких ступеней, когда им не только изблизи сообщаются трепетания сущего, но их овеваает великое дыхание небес, и они отрешаются от внешних чувств.

— И это со всеми бывает?

— Нет. А в полной мере — только с одним из нас, с Избранником, Королем Грааля.

Они дошли до поляны, где множество рыцарей упражнялось во владении оружием перед трибуной под балдахином, где неподвижно сидел или, вернее, скрючился даже не человек, а подобие человека, мумия, выряженная, как все, в мундир святого Грааля, только более пышный. Глаза на сухом, как скорлупа каштана, лице были открыты, даже вытаращены.

— Он жив? — спросил молодой человек.

— Жив, но любовь к Граалю отныне владеет им до такой степени, что ему не нужно ни есть, ни двигаться, ни справлять нужду, ни дышать. Он не видит, не чувствует. Никто не знает его мыслей, но наверняка в них отражается ход далеких светил.

— Зачем же его заставляют производить смотр войска, если он не видит?

— Таков церемониал Грааля.

Рыцари состязались друг с другом в рукопашном бою. Мечи они поднимали и опускали рывками, глядели в пустоту, шаги их были тяжелы и внезапны, как будто они сами не могли предвидеть, что сделают через мгновение. И все же ни один удар не попадал мимо цели.

— Как же они могут сражаться, если чуть не засыпают на ходу?

— Это Грааль внутри нас движет нашими мечами. Любовь ко всему сущему может принять форму ужасающей ярости и подвинуть нас с любовью протыкать неприятелей пикой. Наш орден непобедим в войне, потому что, сражаясь, мы не делаем ни усилия, ни выбора, но позволяем священному неистовству явить себя через посредство наших тел.

— И всегда все обходится хорошо?

— Да, для тех, кто лишился последних крох человеческой воли, так что лишь сила Грааля руководит малейшим его движением.

— Малейшим движением?.. Даже сейчас, когда вы просто идете?

Престарелый рыцарь шел как лунатик.

— Конечно. Я не двигаю ногой, а позволяю ей двигаться. Попробуй. Все начинают с этого.

Турризмунд попробовал, но не находил, во-первых, никакой возможности, а во-вторых, никакого желанья преуспеть в попыт-

ке. Был лес, густолиственный и зеленый, полный хлопанья крыльев и свиста, здесь бы ему от души побегать на воле, поднять из нор дичь, противопоставить этому сумраку, тайне, чужой природе себя самого, свою силу и храбрость, свой труд и пот. А вместо этого стой на месте и пошатывайся, как паралитик.

— Дай овладеть тобой,— поучал его престарелый рыцарь,— дай всему существу овладеть тобой.

— А мне, по правде говоря,— не выдержал Турризмунд,— мне больше хочется самому всем владеть.

Престарелый рыцарь скрестил руки у лица, как будто закрывая себе сразу и глаза, и уши.

— Тебе нужно пройти еще очень много, сын мой.

Турризмунд остался в лагере Грааля. Он старался учиться, подражать своим отцам или братьям (теперь он уже не знал, как называть их), пытался подавить всякое душевное движение, если оно казалось ему слишком личным, слиться со всем сущим в безграничной любви к Граалю, прислушивался, чтобы не упустить малейшего признака тех несказанных ощущений, которые приводили в экстаз рыцарей. Но дни проходили, а его очищение не продвигалось ни на шаг. Что больше всего нравилось им, у него вызывало омерзение: и голоса, и музыка, и вечная готовность трепетать. А больше всего — постоянное окружение собратьев в их особых одеяниях: полуголые, они носили только золотые панцири и шлемы, выставя напоказ белое-белое тело. Одни стареющие, другие — изнеженные юнцы, обидчивые и недотроги: соседство тех и других становилось ему все отвратительней. Прикрываясь россказнями, будто ими движет Грааль, они позволяли себе любую распущенность и при этом утверждали, что остаются чистыми.

Мысль о том, что и он мог быть зачат мужчиной с глазами, уставленными в пустоту, как будто не замечающим, что делает, и тотчас все забывшим, была для Турризмунда невыносима.

Пришел день сбора дани. Все окрестные деревни должны были в установленный срок поставлять рыцарям Грааля столько-то голов сыра, столько-то корзин моркови, мешков ячменя, молочных ягнят. Прибыли посланные от крестьян.

— Нет нужды говорить, что урожай по всей Курвальдской земле был нынче скудный. Не знаем даже, как прокормить детей. Нужда давит что бедного, что богатого. Благочестивые рыцари, мы пришли к вам, чтобы смиренно просить избавить нас в этот раз от подати.

Король Грааля оставался, как всегда, немым и неподвижным у себя под балдахином. Но в какой-то миг он медленно развел руками, которые держал сложенными на животе, поднял их к небу (ногти у него были предлинные), и рот его издал звук «и-и-и!».

При этом звуке все рыцари с наставленными копьями двинулись на несчастных курвальдцев.

— Караул! Защищайся!— закричали те.— За топорами, за серпами!— И они разбежались.

Ночью рыцари, воздев глаза к небу, под звуки рогов и бунчуков, двинулись походом на курвальдские селения. Из-за шпалер хмеля и живых изгородей выскакивали крестьяне, вооруженные вилами и садовыми ножами, пытаясь преградить дорогу рыцарям. Но что могли они против безжалостных копий! Прорвав жалкие шеренги защитников, рыцари гнали тяжелых боевых коней на хижинки из соломы и камня, слепленных глиной, круша их копытами, глухие к крикам женщин, телят и младенцев. Другие рыцари размахивали горящими факелами, поджигали кровли, сеновалы, хлева, убогие амбары, пока деревни не превращались в воящие и BLEЮЩИЕ костры.

Турризмунд, увлекаемый натиском рыцарей, был потрясен.

— Скажите мне, за что?— кричал он престарелому рыцарю, неотступно держась за ним как за единственным человеком, который мог выслушать его.— Значит, неправда, что вы исполнены любви ко всему существу! Эй, осторожно, вы затопчете старушку. Как у вас хватает духу свирепствовать против этих обездоленных? На помощь, сейчас загорится люлька! Что вы творите?

— Не смей пытаться намерения святого Грааля, неофит!— одернул его престарелый рыцарь.— Не мы это творим: святой Грааль пребывает в нас и нами движет! Предайся его неистовой любви!

Но Турризмунд спешил, чтобы помочь матери, дать ей на руки упавшего младенца.

— Не надо, не забирайте всего урожая! Я столько трудился!— взывал какой-то старик.

Турризмунд очутился рядом с ним.

— Отдай мешок, разбойник!— Он кинулся на рыцаря и вырвал у него добычу.

— Благослови тебя бог! Поди к нам!— звали его те из бедняков, что пытались еще сопротивляться вилами, ножами и топорами, укрываясь под защитой какой-нибудь стены.

— Становитесь полукругом, навалимся все разом,— крикнул Турризмунд и встал во главе крестьянского ополчения.

Прогоняя грабителей из домов, он очутился лицом к лицу с престарелым собеседником и еще двумя рыцарями с факелами в руках.

— Он предатель, взять его!

Завязалась большая драка. Курвальдцы налегали с рожнами, женщины и дети бросали камни. Вдруг затрубил рог: «Отступление!» Под натиском курвальдцев рыцари в нескольких местах подались назад и теперь выметались из деревни.

Тот отряд, который окружил Турризмунда, тоже отступил.

— Прочь, братья!— крикнул престарелый.— Устремимся туда, куда влечет нас Грааль!

— Да восторжествует Грааль!—прокричали остальные, поворачивая коней.

— Ура! Ты спас нас!—Крестьяне столпились вокруг Турризмунда.—Ты хоть и рыцарь, но великодушный. Наконец-то отыскался такой! Оставайся с нами! Скажи, чего ты хочешь: мы все тебе дадим.

— Теперь... чего я хочу... не знаю сам...—лепетал Турризмунд.

— И мы ничего не знали, не знали даже, что мы люди, до этого сражения... А теперь нам кажется, что мы можем... хотим... должны делать все... Даже если... такой ценой.—И они отворачивались, оплакивая своих погибших.

— Я не могу с вами остаться... Я не знаю, кто я... Прощайте!—Турризмунд помчался прочь во весь опор.

— Возвращайся!—кричали ему жители, но конь уносил его все дальше от деревни, от леса Грааля, от Курвальдии.

Турризмунд снова стал скитаться от племени к племени. Прежде он пренебрегал всеми почестями, всеми удовольствиями, мечтая о Священном ордене рыцарей Грааля как о единственном идеале. Теперь же, когда от мечты не осталось и следа, что еще могло поддерживать его в скитаниях?

Он кормился дикими плодами в лесах, бобовой похлебкой в монастырях, когда они попадались по дороге, морскими ежами на скалистых берегах. И вот, на песчаном берегу Бретани, ища ежей в приморской пещере, он замечает спящую женщину.

И та тоска, что погнала его по миру—тоска по лугам в мягком бархате трав, тронутых низко стелющимся ветерком, по ясным и пасмурным дням,—наконец-то при виде опущенных ресниц, длинных и черных, при виде пухлых бледных щек, и всей нежности этого вольно раскинувшегося тела, и руки, покоящейся на полной груди, и мягких распутившихся волос, при виде губ, бедра, пальца ноги тоска эта стихает и уходит.

Склонившись, он рассматривал ее, когда Софрония открыла глаза.

— Вы не сделаете мне зла,—мягко сказала она.—Чего вы ищите среди этих пустынных скал?

— Я ищу того, чего мне всегда не хватало, а что это—я узнал только сейчас, когда вас увидел. Как вы попали сюда на берег?

— Я была монахиней, но по принуждению должна была стать женой одного поклонника Магомета, однако этого не случилось, потому что я была триста шестьдесят пятой и вмешательство христианского оружия привело меня сюда, причем, возвращаясь, я стала жертвой кораблекрушения, подобно тому как покинула эти берега, став жертвой набега свирепых пиратов.

— Понимаю. И вы здесь одна?

— Мой спаситель отправился в императорскую ставку, чтобы покончить там, как я поняла, с некоторыми формальностями.

— Мне бы хотелось предложить вам стать под защиту моего меча, но я боюсь, как бы чувство, загоревшееся во мне, едва я вас увидел, не претворилось в такие намерения, которые вы едва ли сочтете честными.

— О, не тревожьтесь, я столько всего видела! Хотя всякий раз, как доходит до дела, выскакивает мой спаситель, всегда один и тот же.

— Он и сегодня появится?

— Кто знает!

— Как вас зовут?

— Азира или сестра Пальмира. Смотря по тому, где: в серале султана или в монастыре.

— Азира, мне кажется, я всегда вас любил... и уже терял с вами разум...

XI

Карл Великий скакал к Бретонскому побережью.

— Посмотрим, посмотрим, Агилульф де Гвильдиверн, не волнуется. Если вы говорите правду, если эта женщина еще девственна, как пятнадцать лет назад, то нечего и говорить, вы по праву были посвящены в рыцари, а тот юнец хотел нас надуть. Чтобы удостовериться, я прихватил в свиту повивальную бабку, которая знает толк во всем, что касается женщин, не то что мы, солдаты...

Старушка, которую погрузили на лошадь Гурдулу, стрекотала.

— Да уж конечно, ваше величество, все будет сделано как следует, даже если родится двойня.

Она была глуха и покуда не поняла, в чем дело.

Первыми в грот входят два офицера свиты с факелами. Выходят они в смущении.

— Ваше величество, девственница лежит в объятиях молодого солдата.

Любовников выволакивают пред лицо императора.

— Софрония, ты!— кричит Агилульф.

Карл велит молодому воину поднять забрало.

— Турризмунд!

Турризмунд бросается к Софронии.

— Так ты Софрония? О, моя мать!

— Вы знаете этого юношу, Софрония?— спрашивает император.

Женщина склоняет бледное лицо.

— Если это Турризмунд, я сама его вырастила,— говорит она еле слышно.

Турризмунд вскакивает в седло, кричит:

— Больше вы меня не увидите, я совершил несказанный грех

кровосмешения!—и пускает коня направо, к лесу.

Агилульф тоже пришпоривает коня прочь.

— Меня вы тоже не увидите! У меня нет больше имени! Прощайте!—Он углубляется в лес по левую руку.

Все исполнены смятения. Софрония закрывает лицо руками.

Справа слышится топот копыт. Турризмунд во весь опор мчит назад из лесу. Он кричит:

— Как так? Ведь она до недавнего часа была девственна! Как я сразу об этом не подумал? Она была девственна и не может быть мне матерью!

— Соболаговолите объяснить,—говорит Карл.

— В действительности Турризмунд мне не сын, а брат, единоутробный,—ответствует Софрония.—Шотландская королева, наша мать, когда отец уже больше года был на войне, произвела его на свет после случайной встречи... кажется, со Священным орденом рыцарей Грааля. Когда король известил о своем возвращении, эта коварная тварь (я поневоле должна отзывать так о своей матери) послала меня погулять с братиком, а сама велела завести нас в дебри и бросить. А для моего отца, который должен был вот-вот прибыть, она сплела чудовищный обман: сказала, будто я, тринадцатилетняя девочка, бежала, чтобы произвести на свет незаконного ребенка. Удерживаемая ложным почтением к родителям, я никогда не выдавала материнской тайны. Годы, что я прожила с младенцем братом в вересковых пустошах, были самыми счастливыми и свободными в моей жизни, особенно по сравнению с проведенными в монастыре, куда меня заточили герцоги Корнуэльские. До сегодняшнего утра я не знала мужчины, хоть дожила до тридцати трех лет, и первая же встреча, увы, оказалась кровосмесительной...

— Разберемся спокойно,—говорит Карл Великий примирительно.—Кровосмешение, конечно, есть, но между единоутробными братом и сестрой—это грех не самый тяжкий...

— Кровосмешения нет, ваше священное величество! Взвеселись, Софрония!—воскликает Турризмунд с сияющим лицом.—Выпытывая подробности своего рождения, я узнал тайну, которую намерен был сохранить навсегда: та, кого я полагал моей матерью, то есть ты, Софрония, родилась не от шотландской королевы, ты—побочная дочь короля и жены одного фермера. Король приказал своей супруге удочерить тебя, и та, которая, как я сейчас узнал, мне была матерью, а тебе—только мачехой, повинувалась. Я понимаю теперь, отчего она, принужденная королем против воли исполнять роль твоей матери, только и ждала случая от тебя избавиться, и сделала это, приписав тебе плод своей мимолетной вины, то есть меня. А поскольку ты дочь короля шотландского и крестьянки, я же сын королевы и Священного ордена, то связаны мы не узами крови, а только союзом любви, который свободно заключен здесь несколько часов назад и, я горячо надеюсь, будет с твоего согласия упрочен.

— По-моему, все разрешается к лучшему,—говорит Карл, потирая руки.—Но поспешим разыскать нашего доблестного рыцаря Агилульфа и уверить его, что его имя и титул вне опасности.

— Я по скачу, ваше величество,—говорит, выступая вперед некий рыцарь. Это Рамбальд. Он въезжает в лес, кричит:— Ры-ы-ы-ца-а-арь! Рыцарь Агилу-у-ульф! Рыцарь де Гвильди-ве-е-ерн! Агилульф Гем Бертрандин де Гвильдиверн д'Альтро де Корбен-траз-и-Сура, владетель Ближней Селимпии и Фе-е-еца-а! Все в поря-а-а-адке-е! Возвраща-а-айтесь!

Ему отвечает только эхо.

Рамбальд прочесал в лесу тропинку за тропинкой, пробирался без троп по ручьям и откосам, кликал, вслушивался, искал приметы, следа. Вот отпечатки конских подков. Они вдруг становятся глубже, как будто животное остановилось здесь. А с этого места след копыт опять делается легче, словно бы коня отпустили на волю. Но оттуда же берет начало другой след, отпечатки железных поножей. Рамбальд идет по этому следу.

Затаив дыхание, он вышел на поляну. У подножия дуба валялись на земле перевернутый шлем с радужными перьями, светлый панцирь, набедренники, наручи, рукавицы—словом, все части Агилульфо-ва доспеха, одни как будто бы намеренно сложенные пирамидой, другие—как попало. К рукояти меча была прикреплена записка: «Оставляю эти доспехи рыцарю Рамбальду Руссильонскому», а внизу—полросчерка, начатая и вдруг прерванная подпись.

— Рыцарь!—зовет Рамбальд. Он обращается к шлему, к панцирю, к дубу, к небесам.—Рыцарь! Наденьте доспехи! Ваше место в войске и среди французского дворянства неоспоримо!—Он пытается собрать доспехи, поставить их на ноги, продолжает кричать:—Вы существуете, рыцарь, отныне никто не вправе это отрицать!—Ничей голос не отвечает, доспехи не держатся на ногах, шлем валится наземь.—Рыцарь, вы столько времени существовали одной только силой воли, вы умудрялись все делать так, как будто вы существуете, зачем же сдаваться так сразу?—Но Рамбальд уже не знает, к кому обращаться: доспехи пусты, но не прежней пустотой, сохранившей в себе нечто, именованное рыцарем Агилульфом и теперь растворившееся, как капля в море.

И тогда Рамбальд распускает скрепы собственного панциря, разоблачается, надевает светлые доспехи, шлем Агилульфа, сжимает в руках щит и копьё, вскакивает на коня. В полном вооружении он предстает перед императором и его свитой.

— А, вы вернулись, Агилульф, все в порядке?

Но из шлема раздается совсем другой голос:

— Я не Агилульф, ваше величество.—Забрало поднимается и открывает лицо Рамбальда.—От рыцаря де Гвильдиверна остались только эти светлые доспехи и записка, в которой он мне их

отказывает. И теперь я жду не дождусь, когда можно будет броситься в бой.

И тут же трубят тревогу. Целая флотилия фелюг высадила в Бретани сарацинское войско. Франкское ополчение спешит строиться поотрядно.

— Бог внял твоему желанию,— говорит король Карл,— настал час битвы. Не посрами же доспехов, которые ты отныне носишь. Агилульф, при всем своем трудном характере, был доблестный воин!

Франкское войско сопротивляется вторжению, прорывает фронт сарацин, и юный Рамбальд первым бросается в прорыв. Он вступает в поединки, нападает, защищается, раздает и получает удары. Много магометан уже грызут землю. Рамбальд вздевает на копье одного за другим столько врагов, сколько может поместиться во всю его длину. И вот уже отряды вторгшихся басурман поворачивают, толкуются около пришвартованных фелюг. Теснимые оружием франков, побежденные отчаливают в открытое море, все, кроме тех, что остались удобрять мавританской кровью серую почву Бретани.

Рамбальд выходит из битвы с победой и без единой раны. Но доспехи, безупречные, девственно-чистые Агилульфовы доспехи все перепачканы землей, забрызганы вражьей кровью, покрыты следами ударов: вмятинами, царапинами, щербинами; султан сильно поредел, шлем поврежден, а щит облуплен как раз посредине таинственного герба. Теперь молодой воин чувствует доспехи своими, принадлежащими ему, Рамбальду Руссильонскому; ушло чувство неловкости, которое он испытал, надев их, броня сидит на нем как перчатка.

В одиночестве скачет он гребнем холма. Из долины слышится высокий голос:

— Эй, Агилульф, стой!

К нему направляется рыцарь. Поверх панциря у него темносиний плащ. Это Брадаманта, которая гонится за светлыми доспехами.

— Наконец-то я тебя нашла, светлый рыцарь!

Первым его желанием было крикнуть: «Брадаманта, я не Агилульф, я Рамбальд!»—но он решает, что лучше сказать это, сойдясь лицом к лицу, и поворачивает коня ей навстречу.

— Наконец-то ты сам скачешь ко мне, неуловимый воин!—воскликает Брадаманта.—О, если бы мне дано было видеть тебя все время скачущим рядом, тебя, единственного мужчину, который ничего не делает как попало, с бухты-баряхты, лишь бы полегче, как вся эта свора, что постоянно ходит за мной хвостом!—Говоря так, она пытается убежать от него, но все время оборачивается посмотреть, играет ли он с нею в догонялки.

Рамбальда так и подмывает сказать: «Как же ты не видишь,

что я тоже из тех, чьи движения неловки и каждый жест выдает беспокойство и неутоленное желание? Но и я хочу только одного: стать человеком, который знает, чего хочет». Чтобы сказать ей это, он несется во весь опор ей вслед, а она, смеясь, говорит:

— Вот об этом дне я мечтала всегда!

Он потерял ее из виду. Перед ним—уединенная травянистая лощина. Ее конь привязан к шелковице. Все напоминает тот первый день, когда он преследовал ее, еще не ведая, что она женщина. Рамбальд спешивается. Вот она—лежит на мшистом склоне. Доспехи она сняла, на ней лишь короткая туника дымчатого цвета. Лежа она раскрывает ему навстречу объятия. Рамбальд приближается в своих светлых доспехах. Самое время сказать ей: «Я не Агилульф, смотри, доспехи, в которые ты влюбилась, теперь носят тяжесть тела, пусть молодого и ловкого, как мое. Неужели ты не видишь, что эта броня потеряла свою нечеловеческую безупречность и стала родом одежды, предназначенным для боя, полезным и выносливым снаряжением, принимающим на себя все удары?» Ему хочется сказать все это, а он стоит с трясущимися руками, потом делает к ней несколько нерешительных шагов. Быть может, лучше всего было бы открыть лицо, снять доспехи, показаться в своем собственном обличье—именно сейчас, когда глаза у нее закрыты, а на губах выжидательная улыбка. Молодой человек нетерпеливо срывает с себя доспехи: вот сейчас Брадаманта откроет глаза и узнает его... Нет, она положила руку на лоб, как будто не желая мешать взглядом невидимому приближению несуществующего рыцаря. И Рамбальд бросается к ней.

— Да, да, я была уверена!—воскликает Брадаманта, не открывая глаз.—Всегда была уверена, что это возможно!—И она прижимается к нему. Они сливаются, и пыл у обоих равен.—Да, да, я была уверена!

Теперь, когда все совершилось, настал миг посмотреть друг другу в глаза.

«Она увидит меня,—думает Рамбальд, и в нем вспыхивают гордость и надежда,—и поймет все, поймет, как все было прекрасно и справедливо, и полюбит на всю жизнь!»

Брадаманта открывает глаза.

— Ты?!

Она вскакивает, отталкивает Рамбальда.

— Ты! Ты!—кричит она полным ярости голосом, а из глаз брызжут слезы.—Ты! Подлец!

Она уже встала на ноги и потрясает мечом, замахивается им на Рамбальда, опускает клинок ему на голову, но плашмя, оглушает его, так что он, подняв безоружные руки—то ли для того, чтобы защищаться, то ли чтобы обнять ее,—успевает только проговорить:

— Но скажи, скажи, разве не было хорошо?

Потом он валится без чувств и лишь смутно слышит топот коня—это она скачет прочь.

Если несчастлив влюбленный, который только воображает поцелуи, не зная их вкуса, то в тысячу раз несчастнее отведавший их вкус и тотчас же от них отлученный. Рамбальд по-прежнему живет жизнью неустрашимого воина, его копье прокладывает дорогу там, где схватка всего гуще. Когда среди мелькания клинков он замечает темно-синий отсвет, то бросается к нему с криком: «Брадаманта!»—но всегда тщетно.

Единственный, кому он хотел бы поведать о своих муках, исчез. Иной раз, когда Рамбальд кружит по лагерю, особенно прямая осанка каких-нибудь лат или резкий жест поднимаемого налокотника заставляют его вздрогнуть, потому что напоминают Агилульфа. Что, если рыцарь не растворился, что, если нашел себе другие доспехи? Рамбальд подходит и говорит:

— Не сочтите за обиду, сударь, но не могу ли я просить вас поднять забрало.

Каждый раз он надеется, что перед ним предстанет пустота, но всегда появляется нос, а под ним—завитые усы. Сказав: «Простите», Рамбальд уходит прочь.

И еще один человек ищет Агилульфа. Это Гурдулу, который всякий раз при виде пустого горшка, или трубы, или бады останавливается и кричит:

— Господин! Приказывайте, мой господин!

Однажды, сидя на лугу у обочины дороги, он произносил длинную речь в горлышко бутылки, но вдруг кто-то прервал его, спросив:

— Кого ты в ней ищешь, Гурдулу?

То был Турризмунд, который, торжественно отпраздновав в присутствии Карла Великого свадьбу с Софронией, ехал теперь с женой и пышной свитой в Курвальдию, ибо получил от императора титул графа Курвальдского.

— Ищу хозяина, вот кого,—говорит Гурдулу.

— В этой бутылке?

— Его ведь никогда не было, моего хозяина, значит, его так же может не быть в броне, как и в бутылке.

— Да твой хозяин растворился в воздухе!

— Значит, я теперь оруженосец воздуха?

— Поедем со мной, будешь моим оруженосцем.

Они прибыли в Курвальдию. Страну нельзя было узнать. На месте деревень поднялись города с каменными дворцами, каналами, водяными мельницами.

— Ну вот, добрые люди, я вернулся, чтобы остаться с вами!

— Ура! Здорово! Да здравствует Турризмунд! Да здравствует его супруга!

— Подождите ликовать, пока сообщу вам, с чем приехал: император Карл Великий, пред чьим священным именем вы будете поклоняться отныне и впредь, пожаловал меня титулом графа Курвальдского...

— А-а... М-да... Карл Великий? Вот оно что...

— Вы не понимаете? Теперь у вас есть граф. Я буду снова защищать вас от притеснений, чинимых рыцарями Грааля!

— О, этих-то мы уж давно выгнали изо всей Курвальдии. Знаете, мы так долго только подчинялись и подчинялись... А теперь увидели, что отлично можно жить и ничего не платить ни рыцарям, ни графам... Мы возделываем землю, заводим ремесленные мастерские, мельницы, сами стараемся добиться, чтобы все чтит наши законы, защищаем наши границы—словом, дела идут, грех жаловаться... Вы юноша благородный, и мы не забудем, что вы сделали для нас... Мы вам рады, живите здесь, только на равных...

— На равных? Так вы не хотите признать меня вашим графом? Но ведь это приказ императора, не понимаете, что ли? Не исполнить его невозможно!

— Э-э, все говорят «невозможно»... Избавиться от этих служителей Грааля тоже казалось невозможно... А тогда у нас были только ножи да вилы... Мы никому не хотим зла, а вам, господин, менее всего... Вы ведь хоть молодой, да ранний и знаете много такого, что нам и невдомек. Если вы тут останетесь на равных с нами и не будете самоуправствовать, то, может, и станете среди нас первым...

— Турризмунд, я устала от всех превратностей,—сказала Софрония, поднимая покрывало.—Здесьние люди выглядят разумными и учтивыми, а город—красивее и богаче многих... Почему бы нам не постараться прийти к согласию?

— А наша свита?

— Они все станут гражданами Курвальдии,—отвечали жители,—и каждый будет получать, сколько заслужит.

— И мне придется считать ровней своего оруженосца, вот этого Гурдулу, который даже не знает, существует он или нет?

— Узнает, научится... Мы тоже не ведали, что мы есть на свете. Существовать тоже нужно учиться.

хп

Книга, вот ты и кончена. Под конец я кинулась писать сломя голову. Переходя от строки к строке, я перескакивала от племени к племени, через моря с материка на материк. Что за неистовство, что за нетерпение обуяло меня? Как будто бы я все время чего-то жду. Но чего ждать сестрам, удалившимся сюда затем, чтобы избежать всегда изменчивых случайностей мира?

Чего я жду, кроме новых страниц, которые придется исписать, и привычных ударов монастырского колокола?

Но вот я слышу, как вверх по крутой дороге скачет конь, вот он останавливается прямо у ворот монастыря. Рыцарь стучится в них. Из моего окошка его не видно, но я слышу его голос:

— Эй, добрые сестры, эй, послушайте!

Разве это не тот голос—или я ошибаюсь? Нет, тот самый! Голос Рамбальда, который столько раз звучал на этих страницах. Что нужно тут Рамбальду?

— Эй, добрые сестры, сделайте милость, скажите, не нашла ли в вашей обители прибежище знаменитая воительница по имени Брадаманта?

Конечно, разыскивая Брадаманту по всему свету, Рамбальд должен был заехать и сюда.

Я слышу голос сестры-привратницы, она отвечает:

— Нет, рыцарь, тут нет никаких воительниц, есть только бедные набожные женщины, что отмаливают твои грехи!

Теперь моя очередь, я подбегаю к окну и кричу:

— Тут я, Рамбальд, тут, подожди меня, я знала, что ты придешь, сейчас спускаюсь и еду с тобой!

Я срываю с себя чепец, повязки, саржевую сутану, вытаскиваю из сундука мою дымчатую тунику, панцирь, налядвенники, шлем, шпоры, темно-синюю мантию.

— Подожди, Рамбальд, я здесь, я Брадаманта!

Да, книга! Сестра Феодора, рассказчица этой повести, и воительница Брадаманта—одно и то же лицо. Я то во весь опор мчусь по полям битвы, от поединка к поединку, от любви к любви, то на некий срок затворяюсь в монастырях, обдумываю и заношу на листы все случившееся со мной, стараясь понять. Когда я затворилась тут, то была в отчаянии от любви к Агилульфю, а теперь горю любовью к молодому, страстному Рамбальду.

Вот почему настал миг, когда мое перо пустилось вскачь. Оно бежало навстречу ему, знало, что он не замедлит явиться. Каждая страница хороша только тем, что, когда ее перевернешь, за нею окажется жизнь, которая ворошит и путает все листы книги. Перо бежит, движимое тем же наслаждением, которое гонит тебя бегом по дорогам. Глава, за которую принимаешься и не знаешь еще, о чем она будет повествовать, подобна углу, за который свернешь, выйдя из монастыря и не зная, встретишь ли ты там дракона, варварскую орду, заколдованный остров или новую любовь.

Я бегу, Рамбальд. Даже не прощаюсь с настоятельницей. Они меня знают и уверены, что после драк, поцелуев и обманов я снова вернусь в этот приют. Но теперь все будет не так... Будет...

От рассказов в прошедшем времени, от настоящего времени, которое попадалось мне под руку в тех кусках, что меня особенно

волновали, я пересела на твоего скакуна, будущее! Какие новые знамена выведишь ты навстречу мне на башнях еще не основанных городов? Какой дым подыметь от опустошаемых замков и садов, любимых мною? Какие непредвиденные золотые века ты готовишь — ты, неподвластное, ты, предвестник сокровищ, оплаченных дорогой ценой, ты, царство, которое мне предстоит завоевать, будущее...

1959



РАЗДВОЕННЫЙ ВИКОНТ



Il visconte dimezzato

Перевод М. Архангельской



1

Время было военное: христиане бились с турками. Мой дядя, виконт Медардо ди Терральба, следовал в лагерь христиан. Вдвоем с оруженосцем по имени Курцио они проезжали богемской равниной. В дымном неподвижном воздухе совсем низко, почти касаясь земли, пронеслись стаи белых аистов.

— Отчего здесь столько аистов?—спросил Медардо.— И куда они летят?

Дядя был новобранец, на службу он пошел, чтобы угодить герцогу, чьи владения граничили с нашими. Лошадью и оруженосцем обзавелся в последнем попавшемся ему на пути христианском замке и теперь спешил в ставку императора.

— На поле битвы они летят,—ответил оруженосец, мрачный как туча.— Теперь от них отбоя не будет.

Медардо вспомнил, что в этих краях появление аиста считается добрым предзнаменованием, хотел было приободриться, но вместо этого еще больше забеспокоился.

— А что им надо, этим голенастым, на поле битвы?—спросил он.

— Теперь они охотятся за человеческим мясом,—ответил оруженосец.— Что прикажете делать, если поля родят одну мякину, а реки обмелели от засухи? Нынче на падаль слетаются не вороны и не стервятники, а цапли, аисты и журавли.

Мой дядя был еще безусым юнцом, в том возрасте, когда все чувства, добрые и злые, слиты воедино, когда любое переживание, самое тяжелое и мучительное, наполнено и согрето любовью к людям.

— А куда подевались вороны и стервятники?—спросил дядя.— Где другие хищные птицы? С ними что приключилось?— Глаза его блестели, он был бледен как мел.

Оруженосец, смуглый усатый солдат, ответил, не отрывая глаз от земли— он вообще никогда не поднимал глаз:

— Они кормились трупами зачумленных, чума прибрала и их.

Он ткнул копьем в сторону чернеющих неподалеку кустов, и виконт, всмотревшись, понял, что это не кусты, а груды перьев да иссохших лап.

— Не разберешь, кто сдох раньше, птица небесная или человек, и кто кого успел сожрать,—добавил Курцио.

Спасаясь от чумы, косившей всех подряд, люди бежали куда глаза глядят, и в чистом поле их настигала смерть. Вся пустынная равнина превратилась в настоящую свалку мертвых тел— мужчины, женщины, нагие, обезображенные бубонами и, самое поразительное,— в перьях: казалось, перьями оделись их ребра и из костлявых рук вырастали черные крылья. Не сразу поймешь, что трупы стервятников смешались с человеческими в одну кучу.

Теперь их путь шел по местам былых сражений. Дядя и оруженосец продвигались вперед черепашьям шагом: начали артачиться лошади— то пытались свернуть в сторону, то вставали на дыбы.

— Что это творится с нашими лошадьми?—спросил Медардо оруженосца.

— Мой господин,—отвечал тот,—ничто так не пугает коня, как вонь от конских кишок.

Поле, где они проезжали, было усеяно лошадиными трупами— одни валялись, задрав копыта, другие застыли на коленях и зарылись мордой в землю.

— Почему они в таких странных позах, Курцио?

— Когда лошади вспорют брюхо,—объяснял Курцио,—она что есть сил старается удержаться свои потроха. Одни прижимаются брюхом к земле, другие опрокидываются на спину—смерть загребают и тех, и других.

— Можно подумать, что на этой войне погибают одни лошади.

— Ятаганом очень сподручно вспарывать брюхо лошадям — он словно нарочно для этого создан. Но наберитесь терпения, скоро дойдем и до людей. Сперва кони, всадники потом... А вон и лагерь.

На горизонте клубился дым, развевались императорские штандарты, торчали верхушки высоких шатров.

Всадники пустили лошадей в галоп. Теперь трупов стало меньше — всех убитых в последнем бою уже успели убрать и похоронить. Только кое-где на стерне валялись то рука, то нога, а чаще всего пальцы.

— Что за чудеса: вот еще один палец форменным образом указывает нам дорогу, — изумился дядя Медардо.

— Пальцы отрубают у мертвецов — те, на которых есть кольца. Да прости бог осквернителей трупов!

— Кто идет? — Дорогу им преградил часовой в плаще, густо поросшем грибами и мхом, словно ствол столетнего дуба.

— Да здравствует священная императорская корона! — крикнул Курцио.

— Смерть султану! — отозвался часовой. — И прошу вас, если встретите кого-нибудь из начальства, узнайте, скоро ли пришлют мне смену, а то я тут начал в землю вращать.

Над полем, над горами испражнений тучей нависала жужжащая мошкара, и, спасаясь от нее, лошади понеслись во весь опор.

— Дерьмо-то все еще на земле, — заметил Курцио, — а сами воины уже на небесах. — И он перекрестился.

У самого въезда в лагерь дорога по обеим сторонам была уставлена балдахинами, под которыми восседали роскошные пышнотелые дамы в длинных парчовых платьях, с обнаженной грудью; они приветствовали всадников громкими криками и смехом.

— Это куртизанки, — пояснил Курцио, — таких смазливых ни в одном войске нет.

Дядя уже проехал мимо, но все не мог оторвать от них глаз, рискуя свернуть себе шею.

— Берегитесь, господин, — добавил оруженосец, — эти дамы до того грязны и вонючи, что даже турки побрезговали бы такими трофеями. Тараканы, клопы, клещи на них кишмя кишат, а недавно завелись скорпионы и ящерицы.

Всадники миновали место расположения полевой артиллерии. По вечерам бомбардиры варили похлебку из репы прямо на стволах мортир и фальконетов, не успевших остыть после боя.

Подъехали повозки с землей, и орудийная прислуга взялась за сита.

— Порох на исходе, — объяснил Курцио, — но в земле, что с поля сражения, его сколько угодно, можно пополнить наш боезапас.

За артиллерией стояла кавалерия: там среди мириад мух,

увертываясь от копыт и раздавая во все стороны пинки и тумачи, оглушенные ржанием и надрываясь в крике, трудились не покладая рук ветеринары, они, как могли, подправляли четвероногих: сшивали раны, ставили на них смоляные пластыри, перевязывали.

Следом протянулся лагерь пехотинцев. Солнце клонилось к закату, и у каждой палатки сидели воины, опустив голые ноги в лохани с теплой водой. Ножные ванны они принимали, не снимая каски и не расставаясь с пикой, чтобы быть готовыми в любую минуту подняться по тревоге. В высоких шагтрах офицеры пудрили себе подмышки и обмахивались веерами.

— Не думайте, что они уж такие неженки,— сказал Курцио,— тут дело принципа: они доказывают, что и в походе чувствуют себя как у Христа за пазухой.

Виконта ди Терральбу немедленно провели к императору. В шатре, все стены которого были увешаны гобеленами и украшены трофеями, монарх, склонившись над картой, составлял планы будущих сражений. На столах громоздились груды карт, и император всаживал в них булавки—подушку с булавками держал перед ним маршал. Карты были так густо утыканы булавками, что за ними ничего не было видно—читая карту, император и его маршалы вытаскивали булавки, а потом втыкали их обратно. Лишние булавки, чтобы на занемать рук, они держали во рту и поэтому объяснялись посредством мычания.

При виде почтительно склонившегося юноши император издал вопросительное мычание и быстро вынул булавку изо рта.

— Рыцарь, только что из Италии, ваше величество,—представили его императору,—виконт ди Терральба, отпрыск знатного генуэзского рода.

— Произвожу его в поручики!

Дядя, звякнув шпорами, встал по стойке «смирно», а все карты, сметенные широким размахом монаршей десницы, оказались на полу.

В ту ночь Медардо, несмотря на смертельную усталость, не мог уснуть. Он час за часом вышагивал перед своей палаткой: перекликались часовые, ржали лошади, солдаты вскрикивали во сне. Медардо смотрел на горящие в небе звезды Богемии, думал о своем новом звании, о завтрашнем сражении, о далекой родине, о шелесте тростника на берегах ее рек. На душе у него было спокойно, он не испытывал ни тревоги, ни страха. Мир казался ему цельным и стройным, Медардо не обращал недоуменных вопросов ни ему, ни себе. И если бы он мог предвидеть страшную участь, уготованную ему, то и она, какой бы горькой ни была, показалась бы ему естественной и закономерной. Его взгляд стремился проникнуть за покрытый мраком горизонт, туда, где, как он знал, располагался вражеский лагерь; скрестив руки и обхватив себя за плечи, он радовался тому, что незнакомая

обстановка вовсе не пугает его и он так спокойно и уверенно чувствует себя здесь. Ему казалось, что кровь, пролитая на этой жестокой войне, растекается по земле тысячами рек и ручьев, омывает его, плещется у ног, но не было в нем ни ярости, ни сострадания.

II

Ровно в десять утра грянул бой. Верхом на лошади поручик Медардо оглядывал цепь христианского войска, приготовившегося к атаке; его разгоряченное лицо охлаждал ветер Богемии—он пахнул мякиной, будто прилетел с заброшенного гумна.

— Не вздумайте оборачиваться, господин,—воскликнул Курцио, который по-прежнему следовал за ним по пятам. Теперь он был в чине сержанта. И, как бы извиняясь за начальственный тон, тихонько добавил:—Нельзя перед сражением, плохая примета.

На самом деле он просто боялся, как бы виконт не пал духом—ведь эта вытянувшаяся перед ним цепочка и было все христианское войско, а позади, в резерве, всего-навсего несколько отрядов пехотинцев довольно потрепанного вида.

Но дядя смотрел вдаль, на облако пыли, выраставшее у горизонта, и думал: «Ну вот, это облако и есть турки, настоящие турки, а те, что рядом со мной сплевывают табак,—это наши закаленные в боях воины, а поющая труба—это атака, первая атака в моей жизни, а этот метеор, налетевший с оглушительным свистом и сотрясающий землю—на него с ленивой скукой взирают старые вояки и лошади,—пушечное ядро, первое в моей жизни вражеское ядро. Неужели мне когда-нибудь придется сказать: а вот это последнее?»

Обнажив шпагу, Медардо пустил свою лошадь галопом, он старался не терять из виду императорский штандарт, мелькавший то здесь, то там в дыму сражения; ядра, пущенные своими, проносились над его головой, турецкие—пробивали бреши в христианском войске и вздымали землю дыбом. «Ну где же турки? Где же турки?»—вертелось в голове у виконта. Что может сравниться с удовольствием увидеть врага и убедиться, что таким ты его себе и представлял!

Долго ждать не пришлось. Появились турки, да сразу двое. Лошади накрыты попонами, маленькие круглые кожаные щиты, темно-шафрановые полосатые халаты. И тюрбан, и лица цвета охры, и усы—точь-в-точь тот крестьянин из Терральбы, которого прозвали «турок Мике». Один турок упал, другой уложил нашего. Но появлялись все новые и новые—схватились врукопашную. Если ты видел двух турок, можешь считать, что видел их всех. Все одеты одинаково, все похожи как две капли воды. Лица обветренные, упрямые, как у крестьян. В общем, пожалуй, Медардо уже нагляделся на них и мог спокойно возвращаться в

Терральбу охотиться на перепелок, как раз поспел бы в самый сезон. Но служба есть служба. И потому он скакал по полю, отбивая удары ятаганов, наехал на низенького пешего турка и заколол его. Увидав, что это дело нехитрое, он решил поискать другого, повыше, на коне, и напрасно, потому что вреднее всех были коротышки. Подлезали под лошадей и одним махом вспарывали им брюхо.

Конь Медардо встал как вкопанный.

— Ты что это!— вскричал виконт.

Подъехал Курцио.

— Взгляните-ка сюда,— и показал ему лошадиные потроха, вывалившиеся на землю. Несчастное животное вскинуло голову на своего хозяина, и тут же опустило ее к земле, словно собираясь отведать собственных потрохов, но то была пустая бравада— конь рухнул и сдох. Медардо ди Терральба оказался пешим.

— Возьмите мою лошадь...— предложил Курцио, но, не успев даже договорить, упал с седла, пронзенный турецкой стрелой, и лошадь его понеслась прочь.

— Курцио!— вскричал виконт и подбежал к стенающему на земле оруженосцу.

— Не заботьтесь обо мне, синьор,— прошептал оруженосец,— дай бог, в лазарете еще не перевелась водка: каждому раненому причитаются полный котелок.

Дядюшка бросился в бой. Исход сражения был пока неясен. На поле царила полная неразбериха, но вроде бы наша брала. Во всяком случае, христианам удалось прорвать турецкий строй и окружить некоторые позиции. Дядя вместе с другими отчаянными головами уже был близко к вражеским орудиям, и турки отводили их назад, чтобы перенести огонь. Два турецких артиллериста тащили пушку на колесах. Неповоротливые, бородатые, в халатах до пят, они были похожи на звездочетов. «Сейчас я до них доберусь, тут им и крышка»,— твердил дядя. Он был неопытен, да еще охвачен горячкой боя, а потому и думать забыл, что пушки можно атаковать только с фланга или с тыла. Он бежал прямо на жерло, размахивая шпагой и рассчитывая насмерть перепугать «звездочетов». Пушка изрыгнула огонь прямо ему в грудь. Медардо ди Терральба взлетел на воздух.

Вечером, с объявлением перемирия, на поле боя выехали две телеги— одна для раненых, другая для убитых. Первичная сортировка происходила прямо на месте: «Этого я заберу, ну а этот твой». Тех, кого еще можно было заштопать, несли к раненым, кто был сплошь изрублен и изрешечен— грузили вместе с мертвецами, чтобы похоронить на освященной земле, а тех, от кого остались лишь клочки да ошметки, бросали на поживу аистам. В то время, ввиду огромных потерь, вышел указ: ранение

понимать широко. И потому Медардо, вернее, то, что от него осталось, сочли за раненого и погрузили на соответствующую телегу.

Второй этап сортировки происходил уже в лазарете. Он являл собой картину еще более ужасную, чем поле битвы. На земле тянулась бесконечная вереница носилок с несчастными страдальцами, а рядом свирепствовали лекари, хватая то щипцы, то пилу, то иглы, то ампутированные конечности, то мотки ниток. Они из кожи вон лезли, чтобы соорудить что-нибудь одушевленное. «Ну-ка отрежь здесь, зашей там, подай тампон». Они выворачивали вены наизнанку, как чулки, и засовывали обратно, залатанными и зашитыми на славу, напичканными толстенными нитками вместо крови. Когда кто-то из пациентов умирал, все, что у него оставалось подходящего, шло в дело. Больше всего хлопот было с кишками: стоило однажды их размотать—и обратно никак не приладишь.

Когда с тела виконта сдернули простыню, оно предстало перед всеми чудовищно обезображенным. Не было одной руки и одной ноги, мало того, исчезла вся левая часть груди и живота: выстрел в упор ее словно испепелил. От лица остался один глаз, одно ухо, одна щека, половина носа, половина рта, половина подбородка и половина лба—о том, что была и другая сторона, напоминала только случайно сохранившаяся прядь волос. Короче говоря, уцелела лишь половина виконта, правая, зато она была в целости и сохранности, без единой царапины, кроме длинной рваной раны на границе с левой половиной, от которой осталось одно воспоминание.

Костоправы ликовали: «Надо же! Какой интересный случай! Если он не умрет сию секунду, можно попытаться его спасти». Все они как один столпились вокруг виконта, а тем временем бедняги, истыканные стрелами, умирали от заражения крови. Чего с ним только не делали: ушивали, надшивали, подшивали. Хотите верьте, хотите нет, наутро дядя открыл единственный глаз, разинул половину рта, раздул ноздрю и начал дышать. Могучий дух виконтов ди Терральба победил. Дядя был жив, хотя и разорван пополам.

III

Когда дядя вернулся в Терральбу, мне было лет семь, может, восемь. Стоял октябрь, смеркалось, и небо заволочку тучи. Весь день мы провели на уборке винограда, и сквозь сетку лоз видели, как на сером море вырастают паруса корабля, шедшего под императорским флагом. В то время, стоило появиться кораблю, все говорили: «Не наш ли это господин возвращается?» Нельзя сказать, чтобы виконта ждали с таким уж нетерпением, просто всегда чего-нибудь да ждешь. Но на сей раз мы попали в точку: поздно вечером один парень по имени Фьорфьеро давил

виноград, усевшись на край чана, и вдруг крикнул: «Эй, погляди-те-ка вниз!» Почти совсем стемнело, и мы увидели, как под нами в долине вспыхнула дорожка из факелов, а потом, когда дорожка двинулась на мост, мы даже разглядели портшез. Сомнений быть не могло — виконт возвращался домой.

Новость быстро облетела всю округу, во дворе нашего замка стал собираться народ: родственники, слуги, сборщики винограда, пастухи, стражники. Не было только старого виконта Айольфо, отца Медардо, — он уже давно перестал выходить из замка, не спускался даже во двор. Устав от забот, он передал бразды правления своему единственному сыну еще до того, как тот отправился на войну. Его увлечение пернатыми, которых он разводил прямо в замке в огромном вольере, постепенно превращалось в настоящую манию: старик приказал перенести в вольер даже свою кровать и не выходил оттуда ни днем, ни ночью, запершись на ключ. Вместе с птичьим кормом ему передавали через железную решетку еду, и Айольфо по-братски делил трапезу со своими питомцами. В ожидании сына он мог часами разглаживать перышки у своих фазанов и голубей.

Мне еще не приходилось видеть такую тьму народа во дворе нашего замка: я только по рассказам знал, какими толпами сходилась народ в былые времена на праздник или воевать с соседним замком. Впервые я заметил, как обветшали стены и башни замка, как грязен двор, где кормили коз и ставили корыта со свиным пойлom. Ожидая виконта, все строили предположения, каким он к нам вернется; давно дошли до нас слухи о тяжелых ранениях, полученных им в бою с турками, но никто толком не знал, что с ним случилось: изувечен до неузнаваемости, превратился в калеку или отделался несколькими шрамами. Портшез заставлял предположить наихудшее.

И вот наконец носилки опустились на землю: во мраке за занавесками блеснул глаз. Старая Себастьяна, кормилица, сделала шаг навстречу, но из глубины портшеза предостерегающе взметнулась рука. Несколько резких судорожных движений и перед нами, опираясь на костыль, предстал Медардо ди Терральба. С головы до пят его окутывал черный плащ с капюшоном, справа плащ был откинут назад, открывая половину лица и половину туловища; вся левая сторона была скрыта, упрятана в сгибы и складки необъятной сумрачной мантии.

Несколько мгновений, в течение которых никто не проронил ни звука, он пристально смотрел на нас: вряд ли мы ему были интересны, просто этим взглядом он удерживал нас на расстоянии. С моря налетел порыв ветра, и на верхушке смоковницы застонала сломанная ветка. Плащ на дяде заколыхался, ветер надувал его, натягивал, как парус, казалось, ветер дует насквозь, не встречая препятствий, а под плащом вовсе ничего нет, он пуст, как плащ призрака. Потом, приглядевшись получше, мы поняли, что плащ держится на туловище, как знамя на древке: древком

служило правое плечо, рука, продолженная костылем, правый бок, нога; вся левая сторона... исчезла.

Козы, уставившись на виконта неподвижным, ничего не выражающим взглядом, сбились в кучу, и спины их образовывали странный геометрический рисунок. Свиньи, более впечатлительные и непосредственные, хрюкая и расталкивая друг дружку, бросились врассыпную, да и мы наконец не выдержали.

— Сынок,— вскричала кормилица Себастьяна и всплеснула руками.— Да что же это!

Дядя, крайне недовольный произведенным впечатлением, переставил костыль и двинулся к входу в замок, вышагивая наподобие циркуля. Но на ступеньках крыльца, поджав ноги, сидели носильщики—полуголые верзилы с золотыми серьгами в ушах, с бритыми затылками и волосами, собранными в чуб или задранными вверх, как гребешок. Носильщики вскочили, и один, с косичкой, видимо их главарь, сказал:

— Вы нам не заплатили, сеñор.

— Сколько?—спросил Медардо, и нам показалось, что он усмехается.

— Мы же вам говорили, во сколько станет перенести одного человека,—ответил носильщик с косичкой.

Дядя отвязал от пояса кошелек, и тот со звоном упал к ногам носильщика. Носильщик поднял его, взвесил в руке.

— Но ведь тут гораздо меньше, сеñор!—вскричал он.

— Ровно половина,—ответил Медардо.— И его плащ взвился в порыве ветра.

Дядя миновал носильщика и, подскакивая на своей единственной ноге, поднялся по ступенькам, вошел в дом через широко раскрытую двустворчатую дверь, ударом костыля с грохотом захлопнул обе ее створки, а когда они вновь приотворились, не забыл закрыть и эту узкую щель и окончательно скрылся от наших взглядов. Однако мы продолжали попеременно слышать стук то каблука, то костыля, а то и хлопающей двери, сопровождаемый лязгом засова, и могли следить, как он передвигается уже в самом замке, направляясь по коридорам к тому крылу, где помещались его личные покои.

За решеткой вольера виконта ждал отец. Но Медардо не зашел поздороваться с ним. В полном одиночестве он заперся на своей половине и ответил гробовым молчанием кормилице Себастьяне, которая еще долго, причитая на разные лады, стучалась к нему в дверь.

Себастьяна, высокая, полная, всегда ходила во всем черном, закутавшись в шаль. Старость ее не пригнула, не избородила морщинами ее румяные щеки, только глаза у нее запали; за свою долгую жизнь она вскормила своим молоком всех младенцев, переспала со всеми мужчинами и закрыла глаза всем мертвецам из рода Терральба.

Теперь она стучалась то к одному затворнику, то к другому, не

зная, как им помочь.

Назавтра Медардо по-прежнему не подавал признаков жизни, и мы снова занялись сбором винограда, но все как-то погрузстнели, и за работой только и разговоров было что о виконте: не то чтобы мы приняли его несчастье так близко к сердцу, просто все выглядело слишком уж таинственно и загадочно. Только одна Себастьяна осталась в замке и с тревогой ловила малейший шорох.

Старый Айольфо, словно предвидя, что сын его вернется столь мрачным и нелюдимым, заранее обучил чайку, свою любимую птицу, совершать полеты до того крыла замка, где располагались пустые тогда покои Медардо, и даже залетать в них через окошко. И вот однажды утром старик отворил чайке дверцу, проследил за ней взглядом, пока она не юркнула в окно к сыну и, посвистывая по-птичьи, принялся кормить своих сорок и синиц.

Вскоре что-то шмякнулось о его окно. Старик выглянул — на карнизе лежала мертвая чайка. Старик взял ее в руки: одно крыло было растрепано, словно его пытались оторвать, одна лапка сломана, словно ее сдавили в кулаке, и выбит один глаз. Старик прижал чайку к груди и заплакал.

В тот же день он слег в постель, и слугам через решетку вольера было видно, как он плох. Но старик заперся изнутри и спрятал ключи, так что помочь ему было невозможно. Вокруг его постели носились птицы. С тех пор как он занемог, они непрерывно кружили в воздухе, не давая себе ни минуты передышки.

На следующее утро кормилица заглянула в вольер и поняла, что виконт Айольфо умер. Все птицы до единой сидели на его постели, как на дереве, унесенном в открытое море.

IV

После смерти отца Медардо начал выходить из замка. Все та же кормилица, обнаружив однажды на рассвете распахнутые двери и пустые комнаты, первой забила тревогу. Целый отряд слуг был послан вдогонку за виконтом. По пути им попалась груша, на которой еще вчера вечером они видели незрелые плоды.

— Эй, гляньте-ка сюда,— крикнул один из слуг.

На фоне светлеющего неба они разглядели груши и пришли в ужас. И было отчего: не осталось ни одной целой груши, все были разрезаны пополам, правые половины (или левые, в зависимости от того, откуда на них смотреть) висели на своих черенках, а левые исчезли, то ли обрезанные, то ли откушенные.

Это дело рук виконта — решили слуги. Все ясно, он столько постился, сидючи взаперти, ночью ему наконец стало невтерпёж, вот он и забрался на первое же дерево и наелся груш до отвала.

Вскоре слуги наткнулись на лягушку, от которой осталась

всего лишь половина, но и в таком виде—до чего живучи эти твари!—она все еще подскакивала на валуне. «Мы на правильном пути!»—смекнули слуги и двинулись дальше. Но скоро сбились со следа, потому что прошли мимо затерявшейся в зелени половины дыни, и им пришлось возвращаться назад.

Следы привели их в лес, где им сразу попался на глаза боровик, разрезанный пополам, за ним такой же мухомор,—так, кружа по лесу, они все время натыкались то на один, то на другой гриб, высунувший из земли только половину ножки, на которой сидела только половина шляпки. Грибы были разделены пополам на удивление аккуратно, вторая их половина исчезла, не обронив даже споры. Это были самые разные грибы: дождевики, маслята, поганки—ядовитые вперемежку со съедобными.

Следуя этой путеводной нити, слуги вышли на луг, что звался Монашьим, там среди трав блестело озерцо. Уже совсем рассвело, и на гладкой воде отчетливо отражалась закутанная в плащ тшедушная фигура Медардо. А по всему озерцу плавали белые, желтые, коричневые грибы, вернее, их исчезнувшие половинки. На воде грибы казались целыми, и виконт смотрел на них во весь свой единственный глаз. Слуги, спрятавшись на другом берегу и не смея вымолвить ни слова, тоже стали разглядывать грибы и вскоре заметили, что тут одни съедобные. Куда же подевались поганки и мухоморы? В пруд он их не бросил, так что же он сделал с ними? Слуги опростелью бросились обратно в лес. Долго искать не пришлось, они встретили тут же на тропинке мальчика с корзинкой, доверху наполненной половинками ядовитых грибов.

Этим мальчиком был я. Ночью я в одиночестве играл на Монашьем лугу: неожиданно выскакивал из-за дерева и сам себя пугал,—и вдруг на лугу, залитом лунным светом, появился дядя, он прыгал на единственной ноге, в руке у него была корзинка.

— Привет, дядя!—крикнул я ему. Впервые мне удалось с ним поздороваться.

Он вроде бы не очень обрадовался встрече со мной.

— Вот, грибы собираю,—пробурчал он.

— И много набрал?

— Можешь поглядеть.

Мы присели с ним на бережку. Он стал перебирать грибы: одни кидал в воду, другие оставлял в корзине.

— На, возьми,—сказал он, передавая мне корзину с отобранными грибами.—Пожарь себе.

Я было хотел спросить его, почему в корзине не целые грибы, а половинки, но, подумав, счел это невежливым, а потому просто поблагодарил его и убежал. Я как раз шел просить кого-нибудь пожарить мне грибы, когда встретил слуг и узнал, что все грибы ядовитые.

Когда кормилице Себастьяне рассказали эту историю, она воскликнула:

— От Медардо осталась злая половина! Боже мой, чем еще

кончится сегодняшний суд?

В тот день был назначен суд над разбойничьей шайкой, которую схватили накануне стражники нашего замка. Разбойники были из местных, и потому судить их должен был виконт. И вот суд начался: однобокий Медардо, закрутившись как винт, сидел в кресле и кусал ноготь. Привели разбойников в кандалах, их главарем оказался молодой парень по имени Фьорфьеро — тот самый, что первым заметил портшез с виконтом. Появилась потерпевшая сторона — тосканские рыцари, которые проезжали через наши леса, направляясь в Прованс, тут-то Фьорфьеро со своей шайкой напал на них и обчистил. Фьорфьеро в свое оправдание говорил, что проезжие рыцари охотились на землях виконта и он не мог этого так оставить, а поскольку стражникам до того дела было мало, вынужден был сам напасть на тосканцев и отобрать оружие. Надо сказать, в те годы разбойничьи налеты не были редкостью и не карались чрезмерно строго. Наши леса к тому же весьма благоприятствовали подобной деятельности, так что даже некоторые члены нашего семейства, особенно в смутные времена, присоединялись к разбойничьим шайкам. А уж о том, чтоб подстрелить оленя в чужом лесу, и говорить нечего — это вообще не считалось за преступление.

Но кормилица Себастьяна тревожилась не зря. Медардо признал Фьорфьеро и всю его шайку виновными в грабеже и приговорил к повешению. А поскольку потерпевшие в свою очередь были повинны в браконьерстве, их он тоже отправил на виселицу. А чтобы наказать нерасторопных стражников, не сумевших предотвратить ни того, ни другого преступления, он и этих приказал повесить.

Всего виконт приговорил к смертной казни около двадцати человек. Этот жестокий приговор поверг нас всех в печаль и уныние: судьба дворян из Тосканы, которых никто из нас до той поры и в глаза не видел, никого не беспокоила, но к разбойникам и к стражникам мы питали самые добрые чувства. Пьетроцьодо, седельных и плотницких дел мастер, получил приказ строить виселицу. Пьетроцьодо был работник серьезный, вдумчивый, всякую работу выполнял на совесть. С тяжелым сердцем он взялся за топор (двое осужденных приходились ему родственниками), и получилась у него не виселица, а целый лес, в котором можно даже заблудиться. То было столь искусное сооружение, что все его веревки приводились в движение одним воротом, и такое огромное, что позволяло повесить одновременно куда больше двадцати человек, чем и воспользовался виконт, повесив через каждых двух человек по десять кошек. Трупы людей и кошек болтались на виселице три дня, и поначалу ни у кого не хватало духу смотреть на них. Но вскоре все отметили, какое внушительное зрелище они собой являют, и нами овладели столь противоречивые чувства, что приказ снять трупы и разрушить великолепное сооружение был встречен ропотом.

То было для меня счастливое время: мы с доктором Трилэни дневали и ночевали в лесу, охотясь за окаменевшими раковинами морских моллюсков. Доктор Трилэни, англичанин, попал к нам после кораблекрушения: бочку бордо, на которую он забрался, прибил к нашему берегу. Всю жизнь он прослужил судовым врачом, где только не побывал, каким опасностям не подвергался, плавал даже со знаменитым капитаном Куком, но ничего так и не увидел, потому что не высовывал носа из каюты: только и знал резаться в карты. Оказавшись у нас, он тут же пристрастился к вину под названием «канкароне», самому терпкому и забористому из наших вин, и так его полюбил, что всегда таскал с собой на ремне полную флягу. Он поселился в Терральбе и стал нашим лекарем, но больным толку от него было мало: он с головой ушел в ученые изыскания и, не зная покоя ни днем ни ночью, пропадал в полях и лесах — а я вместе с ним. Сначала его увлекла хворь, которая случалась у кузнечиков, — сколько труда надо было положить, чтобы ее обнаружить, ведь от нее страдал один кузнечик на тысячу и сам не замечал, что хворает, но доктор Трилэни задался целью выявить все случаи заболевания и победить болезнь. Потом он усердно выискивал следы того периода, когда наша земля была морским дном, и мы сгибались под тяжестью осколков кремнистой породы, в которых доктор умудрялся углядеть скелеты допотопных рыб. И наконец, последняя его пламенная страсть — блуждающие огни. Трилэни был уверен, что ими можно управлять, с этой целью мы ночи напролет несли караул на нашем кладбище в ожидании, когда среди могильных холмиков, свежих или заросших травой, замаячит слабое сияние, и тогда мы старались подобраться к нему поближе и поймать (при этом не погасив) в мешок, флягу, бутылку, грелку или дуршлаг — с емкостями мы экспериментировали беспрестанно. Доктор Трилэни поселился в домишке у самого кладбища, когда-то в нем жил могильщик, но то было во времена бездумной роскоши, войн и эпидемий, когда такой работой еще можно было прокормиться. Доктор оборудовал у себя лабораторию и битком набил ее склянками самых разных форм для хранения огней, сачками, вроде рыбных, для их поимки, перегонными кубами и тигелями, чтобы наблюдать, как эти бледные огоньки рождаются из кладбищенской земли и трупных миазмов. Но доктор был неспособен долго усидеть в своей лаборатории: возиться с весами и пробирками быстро ему надоело, и мы вместе отправлялись на охоту за новыми чудесами природы.

Я был сиротой, ни господа, ни слуги не считали меня за своего, поэтому я был свободен как воздух. Терральбы в конце концов признали меня родственником, но имени их я не носил, и никто не занимался моим образованием. Моя несчастная мать была дочерью виконта Айольфо и старшей сестрой Медардо, но

она уронила честь семьи, сбежав с вольным стрелком, который впоследствии стал моим отцом. Я родился в охотничьей хижине, на вересковой пустоши, вскоре мой отец был убит в драке, и мать мыкалась одна-одинешенька в нашем убогом жилище, пока ее не доконала пеллагра. Тогда мой дед Айольфо сжалился надо мной и взял в замок; заботилась же обо мне Себастьяна. Помню, когда Медардо был еще подростком, он допускал меня, тогда еще совсем карапуза, к своим играм и обращался со мной как с равным, но с возрастом дистанция между нами увеличивалась, и я затерялся для него в толпе челядинцев. Теперь же в докторе Трилэни я нашел товарища, которого у меня до сих пор не было.

Доктору было шестьдесят лет, но ростом он был с меня, носил парик с нахлобученной поверх треуголкой, морщинистое лицо его напоминало сушеный каштан, ноги, чуть ли не до середины ляжек обтянутые гетрами, казались необыкновенно, непропорционально длинными, как у сверчка, отчасти еще и потому, что ходил он семимильными шагами. Он неизменно появлялся во фраке светло-каштанового цвета с красной отделкой и при фляге на ремне через плечо, доверху наполненной «канкароне».

Охотясь за блуждающими огнями, мы совершали длинные ночные походы на окрестные кладбища, где, бывало, наблюдали свечение такое сильное и таких красивых цветов, какого на нашем заброшенном погосте за всю жизнь не увидишь. Но беда, если наша возня на кладбище обращала на себя внимание: однажды нас приняли за святотатцев, разоряющих могилы, и десятка полтора крестьян, размахивая ножами и вилами, бросились за нами в погоню.

Со всех сторон нас обступали скалы и бурные горные потоки, но мы с доктором Трилэни неслись очертя голову. Разъяренные крестьяне настигали нас. В месте, зовущемся Чертов Скачок, через бездонную пропасть был переброшен деревянный мостик. Мы с доктором решили не перебегать на ту сторону, а укрыться за выступом скалы прямо на краю пропасти, и вовремя: крестьяне уже наступали нам на пятки. Они потеряли нас из виду и с криком «Куда подевались эти ублюдки?» бросились прямо на мост. Раздался страшный треск, и мост рухнул в бурлящий внизу поток.

В первое мгновение мы с доктором Трилэни вздохнули с облегчением: опасность миновала,—но тут же нас снова охватил ужас, когда мы поняли, какой страшной смертью погибли наши преследователи. Не сразу решились мы заглянуть в поглотившую их темную бездну. Оторвавшись от этого жуткого зрелища, мы обратили внимание на остаток моста: бревна были крепкие, ни одного гнилого, разлом шел лишь посередине, как будто их подпилили—иначе и не объяснишь, как толстенное дерево так ровно сломалось.

— Я знаю, чьих это рук дело,—сказал доктор Трилэни. Понял все и я.

И тут же мы услышали быстрый стук копыт, и у края пропасти вырос всадник, закутанный в черный плащ. Виконт ди Терральба, улыбаясь ледяной треугольной улыбкой, созерцал трагическую картину подготовленной им катастрофы, последствия которой вышли неожиданными даже для него самого: вместо того чтобы отправить нас с доктором на дно пропасти, он спас нам жизнь. Не в силах сдержать дрожь, мы смотрели, как виконт скачет прочь на своем тощем коне, который прыгал по скалам так, словно его вскормила коза.

Дядя в то время иначе как верхом не ездил: Пьетрокьо, седельных дел мастер, сделал по его заказу особую сбрую: на одном стремени была страховка ремнями, к другому был приделан противовес. На седло сбоку крепилась шпага и костьль. Вот так виконт и скакал по всей округе: на голове — широкополая шляпа с пером, левая сторона которой тонет в развевающемся плаще. Едва заслышав стук копыт его коня, все кидались врассыпную — пожалуй, даже Галатео-прокаженный не наводил такого страха, — прятали детей, скот и даже за посадки не были спокойны, потому что злора виконта не щадила ничего и могла каждую минуту вылиться в самые неожиданные и непонятные поступки.

Виконт никогда не испытывал ни малейшего недомогания и потому ни разу не прибегнул к услугам доктора Трилэни, но, случись такое, не знаю, что бы стал делать доктор, который изо всех сил старался не попасться дяде на глаз и даже избегал разговоров о нем. Стоило упомянуть о виконте, о его жестокости, как доктор начинал мотать головой и кривить рот. «Ой-ой-ой!.. Шш-шш-шш!..» — бормотал он, словно услышал что-то непристойное. Поспешно меняя тему, он принимался рассказывать о путешествиях капитана Кука. Однажды я поинтересовался, как он объясняет, что виконт, от которого осталась всего половина, вовсе не собирается на тот свет, но он тут же завел свое: «Ой-ой-ой!.. Шш-шш-шш!..» Похоже, для медицины в лице доктора дядя не представлял особого интереса, и вообще я мало-помалу убеждался, что Трилэни пошел по медицинской части, следуя желанию родителей или по семейной традиции, а сам к искусству врачевания тяги особой не имел. Наверно, и с корабля бы его вышибли в два счета, не играй он столь ловко в карты — а благодаря этому таланту знаменитые мореплаватели во главе с капитаном Куком старались во что бы то ни стало заполучить его в свой экипаж.

Однажды ночью доктор Трилэни ловил сетью блуждающие огни на нашем старом кладбище, как вдруг перед ним предстал Медардо ди Терральба. Конь виконта щипал траву на могиле. Доктор все еще не мог прийти в себя от испуга и замешательства, когда виконт подъехал к нему и прошамкал (после ранения дикция у него стала никуда не годной).

— Ловите ночных бабочек, доктор?

— Ах, милорд, — едва слышно залепетал доктор, — ах, ах, не

совсем бабочек, милорд... Блуждающие огни, если позволите, блуждающие огни...

— А-а, блуждающие огни. Я тоже не раз задумывался об их происхождении.

— С некоторых пор, милорд, это и составляет предмет моих скромных исследований.—Голос доктора, несколько ободренного благосклонным тоном виконта, стал чуть громче.

Треугольное лицо Медардо, обтянутое пергаментной, как у мертвеца, кожей, искривила улыбка.

— Ваши изыскания заслуживают всемерной поддержки,— сказал он.—К сожалению, наше заброшенное кладбище не дает вам как следует развернуться. Но я обещаю завтра же принять необходимые меры.

А назавтра был день, когда вершилось правосудие, и виконт приговорил к смертной казни с десятков крестьян за то, что, по его подсчетам, они не снесли в замковые кладовые и амбары всей причитающейся с них доли урожая. Казненных похоронили в той части кладбища, где были только безымянные могилы, и теперь по ночам на кладбище больше не было недостатка в блуждающих огнях. Доктора Трилэни прошиб холодный пот от такой помощи, хоть он и нашел ее весьма для себя полезной.

Пьетрокьодо, располагая такой богатой практикой, день ото дня совершенствовал свое мастерство. Построенные им виселицы являли собой чудо столярного искусства и технической выдумки, да не одни только виселицы, но и дыбы, испанские сапоги и другие орудия пыток, с помощью которых Медардо вырывал признания у своих жертв. Я частенько зааживал в мастерскую Пьетрокьодо и мог часами смотреть, как ловко и ладно он работает. Но на душе у седельщика было беспокойно. Ведь строил он не что-нибудь, а виселицы, и казнили на них невинных. «Было бы неплохо,—думал он,—смастерить эдакое что-нибудь в том же роде, но без членовредительства и смертоубийства. Уж я бы постарался. И что бы это могла быть за штука?..» Но ответа на этот вопрос не было; он гнал из головы досужие мысли и возвращался к своим смертоносным изделиям, которые, что ни день, выходили у него все стройнее и все удобнее в работе.

— Ты не думай, для чего они,—говорил он мне.—Просто полюбуйся на дело рук человеческих. Ну разве не красота?

Я смотрел на искусно прилаженные один к другому брусья, на вязь канатов, железные мускулы лебедек и блоков и старался не думать про то, как раскачиваются на ветру трупы, но чем сильнее старался, тем больше думал и наконец говорил Пьетрокьодо:

— Не выходит у меня.

— А у меня, парень, выходит?—откликнулся он.—У меня выходит?..

Время было тяжелое, крови лилось много, но и радости свои тоже были. Совсем славно бывало, когда солнце стояло высоко, море сверкало золотом, куры кудахтали над снесенным яйцом и где-то вдалеке слышался рожок прокаженного. Прокаженный каждое утро собирал подающие для своих товарищей по несчастью. Звали его Галатео, он всегда носил на шее охотничий рожок, и с его помощью издалека предупреждал о своем появлении. Женщины, заслышав рожок, выносили на улицу яйца, кабачки, помидоры, а иной раз даже небольшую кроличью тушку и тут же поспешно прятались вместе с детьми — никто не должен оставаться на улице, когда появляется прокаженный: проказа передается на расстоянии и даже видеть прокаженного опасно. Галатео, в рваном кафтане до пят, опираясь на тяжелый посох, медленно проходил обезблюдившими улочками. У него были длинные, как пакля, волосы и круглое белое лицо, уже слегка тронутое болезнью. Он складывал дары в заплечную корзинку и своим медоточивым голоском выкрикивал слова благодарности попрятавшимся крестьянам. Не упускал он случая и вернуть что-нибудь ехидное, какую-нибудь шуточку.

В то время проказа гуляла по всему побережью, и поблизости от нас находилось местечко Пратофунго, заселенное одними прокаженными; через Галатео мы помогали им чем могли. Когда кто-нибудь из моряков или крестьян подхватывал проказу, он прощался с родными и друзьями и перебирался в Пратофунго, там он доживал остаток своих дней, пока болезнь не сводила его в могилу. Ходили слухи, что в Пратофунго каждому вновь прибывшему устраивается развеселая встреча: в такой день до поздней ночи на всю округу разносились музыка и пение.

Люди много чего рассказывали о Пратофунго, и, хотя ни один здоровый там никогда не бывал, никто не сомневался, что жизнь в Пратофунго — одно сплошное удовольствие. Это местечко, до того как стало лепрозорием, было самым настоящим притоном: там селились проститутки, туда устремлялись моряки любого цвета кожи и любой веры; похоже, что распутство по наследству передалось и нынешним жителям Пратофунго. Прокаженные не возделывали землю, кроме одного-единственного виноградника; сажали они виноград земляничного сорта, и вино из него поддерживало их круглый год в состоянии легкого опьянения. Их излюбленным времяпрепровождением была игра на музыкальных инструментах собственного изобретения, к примеру на арфах, к струнам которых они приделывали множество колокольчиков; любили они также распевать фальцетом или размалевывать яйца красками поярче, словно у них никогда не кончалась пасха. За такими занятиями, украсив обезображенное чело венками из жасмина и нежась в звуках сладчайшей музыки, они забывали об остром человечестве, с которым их разлучил недуг.

Ни один местный лекарь не рисковал пользоваться прокаженными, и, когда у нас поселился доктор Трилэни, у многих

появилась надежда, что уж он-то, во всеоружии науки, сумеет избавить наш край от ужасной напасти. Я тоже очень надеялся на это по своим тайным, мальчишечьим причинам: уже давно мечтал я попасть в Пратофунго и побывать на празднестве прокаженных, и, если бы доктор решил испытать свои снадобья на прокаженных, возможно, он хоть раз да взял бы меня с собой. Однако надеялись мы впустую: едва заслышав рожок Галатео, доктор пускался наутек — казалось, никто так не боится заразы, как он. Несколько раз я принимался расспрашивать его о прокаже, но он отвечал туманно и уклончиво, как будто уже само слово «проказа» приводило его в замешательство.

Не знаю, почему мы продолжали считать его врачом: он был полон интереса к животным, особенно к низшей фауне, к минералам, к явлениям природы, но люди и их недуги вызывали в нем отвращение и ужас. Он не выносил вида крови, до пациентов дотрагивался только кончиками пальцев, а навещая тяжелого больного, затыкал нос шелковым платочком, смоченным в уксусе. Стыдливый, как девушка, при виде обнаженного тела он краснел; осматривая женщину, не поднимал глаз и лепетал что-то невнятное: похоже, за время своих долгих плаваний по морям и океанам он от женщин совершенно отвык. К счастью, в то время роды у нас принимал не лекарь, а повитуха, иначе нашему доктору пришлось бы туго.

Дядю увлекли поджоги. По ночам на бедном крестьянском дворе внезапно вспыхивал сеновал или дрова, заготовленные на зиму, а то пожар занимался прямо в лесу. До утра мы сражались с пламенем, передавая по цепочке ведра с водой. Жертвами неизменно оказывались бедняки, уже имевшие стычки с виконтом, который день ото дня отдавал все более суровые и несправедливые распоряжения, да еще вдвое увеличил и без того непомерную подать. Поначалу виконт истреблял только хозяйственные постройки, но постепенно стал подбираться и к жилью — люди говорили, что он появляется ночью, бросает зажженный прут на крышу и тут же скачет прочь на своем коне, но никому ни разу не удалось застать его на месте преступления. Однажды сгорели дед с бабкой, в другой раз у мальчика от ожогов сошла кожа с лица. В крестьянах росла ненависть к виконту. Самые заклятые его враги были гугеноты, жившие на Коль-Жербидо; там мужчины, опасаясь поджогов, по очереди стояли на карауле ночи напролет.

Ни с того ни с сего виконт решил навеститься в Пратофунго — плеснул на соломенные крыши горячей смолой. У прокаженных есть одна особенность — они не чувствуют боли от ожогов, и, если пожар захватит их во сне, они сгорят, не проснувшись. Однако, уже скача к замку, дядя вдруг услышал, как в Пратофунго запела скрипка, — селение бодрствовало, предаваясь своим

обычным увеселениям. Все прокаженные получили ожоги, но им это было нипочем, пожар их даже развлек. С огнем они справились быстро, и дома их мало пострадали, может оттого, что были насквозь пропитаны проказой.

Злоба виконта не пощадила и его собственного жилья. Пожар вспыхнул в том крыле замка, где жили слуги, оно запылало в мгновение ока, а виконт уже скакал прочь под отчаянные вопли несчастных, захваченных в огненный плен. Виконт, несомненно, покушался на жизнь Себастьяны, своей кормилицы и, можно сказать, второй матери. Себастьяна никогда не упускала случая упрекнуть виконта за каждое его новое злодеяние; привычка властвовать, которую женщины сохраняют навсегда в отношении тех, кого знали детьми, не изменила ей и когда все единодушно признали, что натура виконта непоправимо извращена зверской, маниакальной жестокостью. Себастьяну извлекли из обуглившегося здания в самом плачевном состоянии — ожоги надолго приковали ее к постели.

Однажды вечером дверь ее комнаты отворилась и перед ней предстал виконт.

— Откуда эти пятна у вас на лице, кормилица? — спросил Медардо, указывая на ожоги.

— Таковую печать оставляют твои грехи, сынок, — спокойно ответила старуха.

— Что у вас с кожей, кормилица, на ней живого места нет, наверно, это очень мучительный недуг?

— Мои мучения ничто, сын мой, по сравнению с тем, что ожидает тебя в аду, если ты не опомнишься.

— Поправляйтесь поскорей, не хотел бы я, чтобы о вашей боли знали люди.

— Чего уж мне так о себе заботиться, замуж выходить поздно. Совесть чиста, и слава богу. Желая тебе того же.

— Так вы не знаете, что за вами пришел жених? Он ждет вас.

— Не к лицу тебе, сынок, увечному смолоду, издеваться над немощной старостью.

— Я не шучу. Слышите, кормилица, это ваш жених играет под окном.

Себастьяна прислушалась: где-то неподалеку от замка пел рожок прокаженного.

Назавтра Медардо послал за доктором Трилэни.

— У нашей старой кормилицы на лице выступили подозрительные пятна, — сказал он доктору. — Похоже на проказу. Доктор, мы полагаемся на вашу прославленную ученость...

Трилэни только кланялся.

— Это мой долг, милорд... всегда к вашим услугам, милорд... — лепетал он.

Отпущенный виконтом доктор немедленно улетучился из замка и укрылся в лесу, успев, однако, прихватить с собой бочонок «канкароне». Целую неделю о нем не было ни слуху ни

духу. Когда он появился вновь, кормилицу Себастьяну уже отправили к прокаженным.

Кормилица ушла из замка вечером на закате, вся в черном, под вуалью. Она понимала, что участь ее решена: иного пути, чем в Пратофунго, у нее не было. Выйдя из своей комнаты, она прошла по обезлюдевшим коридорам и лестницам, спустилась во двор, на улицу—кругом ни души, все попрытались, никто не хотел встречаться с ней. Раздался негромкий, на двух нотах музыкальный призыв—впереди на тропинке она увидела Галатео с поднятым к небу рожком. Кормилица не спеша ступила на тропинку, прямо перед ней висел багровый шар заходящего солнца; Галатео шел далеко впереди, то и дело останавливаясь, будто для того, чтобы взглянуть на шершней, гудящих среди листвы, и выводил на рожке протяжную ноту; кормилица в последний раз смотрела на сады, на берега реки; она чувствовала за изгородями присутствие людей, которые все больше и больше отдалялись от нее, и продолжала свой путь. В полном одиночестве, если не считать бредущего далеко впереди Галатео, она добралась до Пратофунго, и ворота закрылись за ней, и поплыли вдаль звуки арф и скрипок.

Доктор Трилэни сильно разочаровал меня. Он и пикнуть не посмел, когда кормилицу Себастьяну отправили в лепрозорий, а ведь ему-то было прекрасно известно, что пятна у нее на коже ничего общего с проказой не имели,—столкнувшись с такой явной трусостью, я впервые почувствовал к доктору неприязнь. К тому же он не взял меня с собой в лес, хотя опять-таки прекрасно знал, что по части малины и охоты на белок я кое-что смыслю. Отныне даже блуждающие огни потеряли для меня интерес, и я теперь бродил один, надеясь завести новых друзей.

Больше всего меня тянуло к гугенотам с Коль-Жербидо. Эти люди бежали из Франции, где король вздохнуть не давал тем, кто исповедовал их религию. Пробираясь через горы, они потеряли все свои священные книги и теперь не могли ни Библию прочесть, ни службу отслужить, ни псалом спеть, ни молитву вознести. Подозрительные, как все, кто подвергаются преследованиям и живут среди иноверцев, они отвергли всякое Писание и не принимали никаких советов касательно богослужения. Если кто-то приходил к ним и назывался их братом гугенотом, они из страха, что это подосланный папой шпион, замыкались в молчании. Гугеноты занялись возделыванием тощих земель Коль-Жербидо и трудились до изнеможения с утра до ночи, женщины наравне с мужчинами, в надежде, что на них снизойдет благодать. Не слишком разбираясь в том, что нужно считать прегрешением, они вводили на всякий случай все новые и новые запреты и неусыпно следили друг за другом, не выдаст ли кто жестом, взглядом своего преступного намерения. Сохранив крайне смут-

ные воспоминания о вероучении своей церкви, они совсем перестали почитать имя бога и все другие священные имена из страха допустить какое-либо кощунство. Они совершенно отказались от богослужений и, возможно, запретили себе даже размышлять о боге, однако имели вид сосредоточенный и серьезный, словно только о нем и думают. Зато изнурительный земледельческий труд, вынужденная бережливость и добропорядочность женщин со временем приобрели для них силу заповеди.

Все, как один, высоченные, жилистые, они жили одной большой семьей с многочисленным потомством, работать в поле выходили как на праздник—в черном, наглухо застегнутые, мужчины в широкополых покатых шляпах, женщины в белых чепчиках. Мужчины носили длинные бороды и шагу не делали без ружья, однако только пугали выстрелами воробьев—охотиться им запрещала вера.

С известняковых склонов, где с превеликим трудом гугенотам удавалось вырастить тщедушный виноград и чахлую пшеницу, доносился голос старого Иезекииля, который в неизменном колпаке, потрясая в воздухе кулаками, вскидывая седую козлиную бороденку и выкатывая глаза, распекал своих близких, склонившихся над землей: «Чума и холера! Чума и холера! Ты что, заснул с мотыгой, Иона? Вырви траву, Сусанна! Товия, разбросай навоз!» Он отдавал бесчисленные приказания и делал несметное число замечаний с такой яростью, словно погонял верту лентяев и бездельников. И всякий раз, перечислив тысячу неотложных дел, от каждого из которых зависит судьба всего урожая, он сам принимался за работу, разгоняя всех вокруг и не переставая вопить: «Чума и холера!»

Его жена, напротив, никогда не повышала голоса, казалось, она в отличие от остальных твердо знает, во что верит, знает до мельчайших подробностей, хоть и молчит об этом. Ей достаточно было только пристально взглянуть своими огромными—до самых ресниц—зрачками и промолвить, скривив губы: «Так ли это, сестра Рахиль? Так ли это, брат Аарон?», и редкие улыбки моментально слетали с губ, и лица вновь становились серьезными и сосредоточенными.

Как-то вечером я забрел на Коль-Жербидо и застал гугенотов за молитвой. Они молились молча, не складывали молитвенно руки, не преклоняли колен, просто выстроились в ряд прямо на винограднике, мужчины с одной стороны, женщины с другой, а старый Иезекииль, с бородой, падающей на грудь, впереди всех. Опустив длинные узловатые руки и сжав кулаки, они смотрели перед собой и, хотя казались погруженными в себя, тем не менее замечали все, что делается вокруг. Товия, протянув руку, смахнул гусеницу с виноградной лозы, Рахиль подошвой раздавила улитку, а сам Иезекииль вдруг снял шляпу и замахал ею на воробьев, сгоняя их с посевов.

Потом они запели псалом. Слов они не помнили, выводили

одну мелодию, да и ту неуверенно, кто-то все время фальшивил — впрочем, возможно, фальшивили все, но это их не останавливало, и, кончив одно песнопение, они сразу начинали другое, все так же без слов.

Кто-то дернул меня за рукав — маленький Исайя делал мне знаки молчать и идти за ним. Исайя был мой ровесник и младший сын старого Иезекииля, он унаследовал от родителей суровое, сосредоточенное выражение лица, не лишнее, однако, хитрости и лукавства. Пока мы на четвереньках выбирались с виноградника, Исайя говорил мне:

— Теперь долго не угомонятся, вот тощица! Пойдем ко мне, в мою берлогу!

Свое убежище Исайя держал ото всех в секрете. Там он прятался, когда был не расположен пасти коз или собирать с овощей гусениц. Он проводил целые дни в полном безделье, а тем временем отец, надрываясь в крике, искал его повсюду.

У Исайи в берлоге был запас табака и на стене висели длинные майоликовые трубки. Набив одну из них, он протянул ее мне. Показал, как раскуривать, и сам при этом, как заправский курильщик, выпускал огромные кольца дыма — я еще не видел, чтобы кто-нибудь из мальчишек курил с такой жадностью. Я же попробовал впервые, мне сразу стало нехорошо, и я бросил. Чтобы подбодрить меня, Исайя достал бутылку граппы и налил мне немного, от граппы у меня начались спазмы в животе, я закашлялся. А Исайя пил ее, словно воду.

— А я бутылку выпью — и ни в одном глазу, — похвастался он.

— Как тут у тебя интересно, где ты все это взял?

Исайя прищелкнул пальцами.

— Стибрил.

Он был главарем шайки мальчишек из наших, из католиков; они промышляли по соседним деревням, не только обирая фруктовые сады, но и наведываясь в дома, в курятники. Они только и делали, что сквернословили, да почище самого Пьетро-кодо: изучили самую крепкую ругань и делились своими познаниями — католик с гугенотом и наоборот.

— Я не только ругаюсь, — рассказывал мне Исайя, — я еще лжесвидетельствую, не поливаю фасоль, не почитаю отца с матерью и поздно возвращаюсь домой. Вообще-то я хочу совершить все грехи на свете, даже такие, до которых, как мне говорят, я еще не дорос.

— Все грехи? — переспросил я. — А убийство?

Он пожал плечами.

— Нет, убивать я никого не собираюсь, пока мне это ни к чему.

— А вот мой дядя убивает и заставляет других убивать только потому, что это ему доставляет удовольствие — так все говорят. — Мне хотелось самому чем-то похвастаться.

Исайя сплюнул.

— Забава для психов,— отрезал он.

Где-то близко прогремело, и полил дождь.

— Тебя будут искать,— сказал я Исаяе. Меня-то никто никогда не искал, но я видел, что других мальчишек вечно разыскивают родители, и считал это делом первостепенной важности.

— Подождем, когда дождь перестанет,— сказал Исаяя,— а пока сыграем в кости.

Он вынул кости и стопку монет. Денег у меня не было, а потому я поставил на дудку, ножик, пращу и все проиграл.

— Не отчаивайся,— утешил меня под конец Исаяя,— я ведь жутьничую.

Наружу не выглянешь: гремит гром, сверкают молнии, ливень—как из ведра. Пещера Исаяя постепенно заполнялась водой. Исаяя выбрал место посуше, чтобы спрятать табак и другие свои запасы.

— Теперь зарядил на всю ночь. Давай переберемся в дом от греха подальше.

Мы промокли до нитки и вывозились в грязи, пока добрались до дома старого Иезекииля. Гугеноты сидели вокруг стола при свете лампы и старались вспомнить что-нибудь из Библии. Однако, опасаясь исказить ее смысл и содержание, делали вид, что просто рассказывают прочитанные где-то и когда-то истории.

— Чума и холера!— вскричал Иезекииль, когда сын показался в дверях, и так ударил кулаком по столу, что лампада погасла.

От страха у меня застучали зубы. Исаяя и ухом не повел. За окнами творилось что-то невообразимое: казалось, все громы и молнии обрушились на Коль-Жербидо. Пока вновь затеплили лампаду, старик, потрясая кулаками, вспоминал сыну все его проступки, и выходило, что гнуснее грехов не бывало, хотя знал он лишь малую их толику. Мать одобрительно кивала, а все остальные—сыновья, зятья, невестки и внуки—слушали, поникнув головой и закрыв лицо руками. Исаяя как ни в чем не бывало уписывал дыню. Я же, оглушенный раскатами грома и голосом Иезекииля, дрожал как осиновый лист.

Выволочку прервали караульные, вымокшие до нитки: от такого дождя не спасешься, даже закутавшись с головой в дерюгу. Гугеноты, вооружившись ножами, вилами и ружьями, дежурили по ночам, чтобы виконт, открыто объявивший им войну, не застал их врасплох.

— Отец! Иезекииль!—взмолились караульные.—Погода собачья! Вряд ли Одноногий пожалует по такой грозе. Можно нам побыть дома, отец?

— А что, никаких следов Однорукого?—спросил Иезекииль.

— Никаких, отец, только вот горелым пахнет—молнии подпали. Такая ночь не для Одноглазого.

— Ладно, оставайтесь дома и переодевайтесь. Да принесет эта буря мир Однобокому, а заодно и нам с вами!

Одноногий, Однорукий, Одноглазый, Однобокий—всеми этими

прозвищами гугеноты наградили моего дядю, я никогда не слышал, чтобы они называли его настоящим именем. Говоря о нем, они сразу переходили на фамильярный тон, словно враждовали с ним испокон веку и потому почти сроднились. «Однорукий, ну-ну... Ох уж этот Одноухий»,—перемигивались и пересмеивались они, понимая друг друга с полуслова, как будто темное безумие Медардо было для них понятным и само собой разумеющимся.

Они продолжали спокойно беседовать, как вдруг среди завывания бури услышали стук в дверь.

— Кому это не сидится дома в такую погоду?—спросил Иезекииль.— Сию минуту отворите!

Дверь отворили: на пороге стоял на своей единственной ноге виконт, с его черного плаща ручьями стекала вода, шляпа с пером промокла насквозь.

— Я поставил своего коня у вас в хлеву,—сказал он.— Дайте приют и мне, прошу вас. Ночь нынче не для прогулок.

Все посмотрели на Иезекииля. Я спрятался под стол, испугавшись, что дядя обнаружит меня в стане врагов.

— Садитесь к огню,—сказал Иезекииль.— Для гостей в этом доме дверь всегда открыта.

У дверей лежала куча тряпья—его расстилали под деревьями во время сбора оливок. Медардо устроился на нем и заснул.

Гугеноты в полумраке собрались вокруг Иезекииля.

— Отец, Одноногий у нас в руках!—зашушукались они.— Неужели мы дадим ему уйти? Неужели позволим и дальше губить невинных? Иезекииль, не настало ли время Косозадому платить по счету?

Старик воздел кулаки к небу.

— Чума и холера!—его крик, приглушенный до шепота, не стал от этого менее яростным.— Где это видано, чтобы в нашем доме подняли руку на гостя? Я сам буду сидеть подле него и охранять его сон.

И с ружьем через плечо он встал около спящего виконта. Медардо открыл свой единственный глаз.

— Что вы здесь делаете, отец Иезекииль?

— Охраняю ваш сон, мой гость. Вас многие ненавидят.

— Да, это так,—согласился виконт,—я поэтому не ночую в замке, боюсь, как бы слуги не придушили меня во сне.

— И в моем доме вас не любят, синьор Медардо. Но сегодня вас никто не потревожит.

Виконт помолчал.

— Иезекииль, я хочу принять вашу веру,—молвил он.

Старик не ответил ни слова.

— Меня окружают ненадежные люди,—продолжал Медардо,—я хочу разделаться с ними и призвать в замок гугенотов. Вы, отец Иезекииль, будете моей опорой. Я объявлю Терральбу территорией гугенотов и поведу войну против католических

князей. Во главе войска я поставлю вас и ваших родных. Так вы согласны, Иезекииль? Вы можете обратить меня в вашу веру?

Старик, недвижимый, как скала, стоял перед ним; через его широкую грудь наискось лег ружейный ремень.

— Я мало что помню из нашей веры,— сказал он,— так что не мне обращать кого бы то ни было. Я со своими грехами останусь на этой земле, а вы с вашими оставайтесь на своей.

Виконт приподнялся на локте.

— А вам известно, Иезекииль, что я пока что не сообщал инквизиции о еретиках в моих владениях? Пошли я ваши головы в подарок епископу, и курия сейчас же вернет мне свое благорасположение.

— Наши головы пока еще при нас, виконт, и получить их довольно трудно, но получить то, чего вы добиваетесь, еще труднее.

Медардо вскочил на ноги и распахнул дверь.

— Лучше я буду спать вон под тем дубом, чем в доме врагов!— крикнул он и выскочил под дождь.

Старик призвал родных.

— Дети мои, писано есть, что первым к нам пожалует Одноногий. Теперь он ушел, и дорога в наш дом опять свободна. Не отчаивайтесь, дети мои, может, в другой раз гость придет с добром.

Все головы склонились—бородатые мужские и женские в чепцах.

— Но даже если не придет никто,—добавила жена Иезекииля,—сами мы не тронемся с места.

Внезапно небо прорезала молния, от грома задрожали черепицы на крыше и стены каменной кладки. «В дуб попала молния! Дуб горит!»—закричал Товия.

Гугеноты с фонарями выскочили из дома—огромный дуб с одной стороны весь обуглился от макушки до корней, с другой—остался целехоньким. В шуме дождя донесся далекий стук копыт, и при вспышке молнии гугеноты увидели закутанную в плащ острую как бритва фигуру всадника.

— Ты спас нас, отец,—сказали гугеноты.—Спасибо, Иезекииль!

Небо прояснялось, на востоке занималась заря.

Исайя отозвал меня в сторону.

— Нет, ты скажи, они и впрямь чокнутые?—зашептал он и показал целую пригоршню блестящих побрякушек.—Пока его лошадь стояла без присмотра в хлеву, я повиытаскивал из седла все золотые заклепки. А наши олухи—хоть бы один почесался!

Проделки Исайи не вызывали у меня особого восторга; что до его родственников, они меня просто пугали. Потому я решил

держаться от них от всех подальше и часто в одиночестве ходил к морю собирать моллюсков и ловить крабов. И вот однажды, сидя верхом на прибрежном камне, я пытался выманить краба из норки, как вдруг увидел в спокойной воде отражение шпаги, занесенной над моей головой,—от ужаса я свалился в море.

— На, держись,—крикнул мне дядя, появление которого застало меня врасплох; теперь он протягивал мне обнаженный клинок.

— Нет-нет, я сам.—И я стал карабкаться на валун, который отделился от скалистого берега и торчал в море.

— Что, охотишься на крабов?—спросил Медардо.—А я на осьминогов.—И он показал мне свою добычу: целый мешок огромных осьминогов, коричневых и белых. Все они были разрублены шпагой пополам, но продолжали шевелить щупальцами.

— Все целое можно разделить надвое,—сказал дядя, улегшись на камни и поглаживая судорожно дергающиеся половинки осьминогов,—каждый может избавиться от своей тупой и самодовольной целостности. Я был целым, и все казалось мне запутанным, но естественным, а мир был пуст, как воздух; я смотрел на него сквозь пыльное стекло и думал, что вижу все, но видел лишь оболочку. Если ты когда-нибудь станешь половиной себя самого, чего я тебе от души желаю, мой мальчик, тебе откроется такое, что люди с целыми мозгами понять не способны. Ты потеряешь половину себя и половину Вселенной, но оставшаяся половина будет в тысячу раз глубже и драгоценней. Тогда и самому тебе захочется, чтобы все вокруг было разорвано пополам, по твоему образу и подобию, потому что и красота, и мудрость, и справедливость есть лишь в том, что изодрано на куски.

— Ой-ой-ой, сколько же тут крабов!—Я притворялся, что всецело поглощен охотой, и старался держаться подальше от дядиной шпаги.

Только когда дядя со своими осьминогами ушел, я решился вылезти на берег. Но его слова продолжали звучать у меня в ушах, и я все думал, как же нам спастись от этого всеразрушающего безумия. Куда ни посмотри: Трилэни, Пьетроцьодо, гугеноты, прокаженные—все мы жили под знаком его половинчатости, ей служили, и нам не было от нее спасения.

VI

Крепко-накрепко привязанный к седлу, Медардо ди Терральба спозаранку носился по горным тропам, останавливал своего скакуна над самым обрывом, окидывал окрестности хищным взглядом. И вот однажды он увидел пастушку Памелу, расположившуюся на лугу со своими козочками.

Виконт задумался: «Что же это получается? Почему мне, человеку, способному столь остро чувствовать, вовсе не знакомо

чувство, которое обычные люди называют любовью? И если они превыше всего ценят эту жалкую страстишку, то сколь величественна и ужасна будет моя любовь?» И он повелел себе влюбиться в Памелу — пухленькую пастушку, которая в простеньком розовом платье, босая лежала в траве, дремала, болтала с козочками или нюхала цветы.

Но пусть холодные размышления виконта не введут нас в заблуждение. За логику он ухватился просто из страха — хотел заглушить смутное волнение крови, которое давно позабыл и испытал вновь при виде Памелы.

В полдень, возвращаясь домой, Памела вдруг заметила, что у ромашек на лугах осталось вдвое меньше лепестков, словно кто-то взял и оторвал у каждой по половине соцветия. «О господи! — сказала про себя Памела. — Сколько у нас девушек, и надо же, чтобы именно со мной такое приключилось». Памела, конечно, поняла, что в нее влюбился виконт. Она собрала искалеченные ромашки, принесла их домой и заложила между страницами молитвенника.

Днем Памела пошла с утиным выводком на Монаший луг. На лугу ковром рос белый пастернак, но его постигла участь ромашек: кто-то словно отхватил ножницами половину соцветия. «Господи боже мой, — сказала про себя Памела, — да ведь и впрямь я ему приглянулась». Она собрала букет из половинок пастернака, чтобы украсить им зеркало на комод.

Бросив думать о виконте, она обвязала косу вокруг головы, разделась и пошла купаться в пруд вместе с утками.

Вечером Памела возвращалась домой полем, сплошь усеянным одуванчиками. И у одуванчиков с одной стороны облетел весь пух, словно на них подули либо с одной стороны, либо половиной рта. Памела сорвала несколько белых полушарий, подула на них, и нежное оперенье полетело вдаль. «Господи боже мой, вот несчастье-то, — сказала себе Памела, — да ведь он втюрился в меня по уши. Что-то будет?»

Домишко у Памелы был совсем-совсем маленький: загонишь на ночь коз да уток, и повернуться негде. Вокруг дома роились пчелы — родители Памелы держали пасеку. А подвал кишмя кишел муравьями: только тронь стену рукой, так облепят, живого места не останется. Потому-то мать Памелы спала в скирде соломы, отец в пустой бочке, а Памела в гамаке, подвешенном между фиговым и оливковым деревом.

Подойдя к дому, Памела остановилась как вкопанная — на пороге лежала мертвая бабочка, одно ее крыло было расплющено камнем. Памела взвизгнула, прибежали родители.

— Кто здесь был? — спросила она.

— Только что проскакал мимо наш виконт, — отвечали мать с отцом, — сказал, что гонится за бабочкой, которая его ужалила.

— С каких это пор бабочки начали кусаться?

— Вот и мы удивляемся.

— Ничего тут удивительного нет. Виконт просто влюбился в меня. Надо ждать беды,—объявила Памела.

— Ладно-ладно, не выдумывай, вечно городишь невесть что,—отмахнулись от нее старики, как всегда и везде они отмахиваются от молодежи, впрочем, и молодежь платит им тем же.

Назавтра Памела погнала коз на пастбище и собралась было передохнуть на своем любимом камешке, но, подойдя к нему, в ужасе вскрикнула. Зрелище было жуткое: половина летучей мыши и половина медузы, мышья истекает черной кровью, медуза сочится чем-то липким, у мыши расплющенное крыло, у медузы дряблая студенистая бахрома. Пастушка поняла, что это послание. «Сегодня вечером у моря»,—догадалась она. Памела собрала всю свою храбрость и решила, что пойдет на свидание.

Она пришла на берег, устроилась на гальке и заслушалась тихим плеском волн. Вдруг галька зазвенела от топота копыт, и к ней подскакал виконт. Остановился, отвязал ремни, соскочил с коня.

— Памела, я решил влюбиться в тебя,—торжественно провозгласил виконт.

— И по такому случаю,—накинулась на него Памела,—вы разрываете на части все живые существа?

— Ах, Памела,—вздыхнул виконт,—только такой язык и понятен людям. Живое, встречаясь с живым, всегда стремится его уничтожить. Пойдем со мной, и, поверь, тебе будет спокойно, я по крайней мере знаю, что делаю, и творю зло так же, как другие, только более твердой рукой.

— Вы что же, и меня разорвете пополам, как ромашку или медузу?

— Я пока не знаю, что сделаю с тобой, но, когда ты станешь моей, передо мной откроются большие возможности. Я отведу тебя в замок, запру, скрою от людских глаз, время будет в нашей власти, и мы сумеем вместе во всем разобраться и решить, как нам дальше быть.

Памела растянулась на гальке, Медардо опустил на колено возле нее. Рука его, энергичными жестами подкрепляя сказанное, иногда касалась Памелы, но он не стремился продлить прикосновение.

— Все это прекрасно, но сначала я должна узнать, что именно вы со мной сделаете. Давайте попробуем прямо сейчас, тогда мне легче будет решить, идти с вами в замок или нет.

Узкая, крючковатая рука виконта медленно-медленно тянулась к щеке Памелы. Рука слегка дрожала: то ли он собирался поглядеть щечку, то ли царапнуть. Но рука так и не достигла цели: виконт внезапно отдернул ее и поднялся во весь рост.

— Ты мне нужна только в замке,—заявил он, взбираясь на коня,—я сию минуту велю приготовить для тебя башню, там ты и поселишься. Даю тебе день на размышление, завтра буду за ответом.

И, пришпорив коня, он помчался прочь.

Назавтра Памела полезла на шелковицу за ягодами и вдруг среди листвы услышала кудахтанье и хлопанье крыльев. С перепугу она чуть не свалилась вниз. К длинной ветке был привязан за крылья петух, и его терзали жирные гусеницы, синие и мохнатые,—кто-то водрузил скопище этих хищниц, обитающих на соснах, прямо петуху на гребень.

Без сомнения, то было еще одно ужасающее послание виконта. «Завтра на заре, в лесу»,—догадалась Памела.

Прихватив корзинку для еловых шишек, Памела отправилась в лес—Медардо вышел к ней из-за дерева, опираясь на костыль.

— Ну так что?—спросил он у Памелы.—Решила, идешь в замок?

Памела разлеглась на хвойной подстилке.

— Решила,—ответила она, едва поворотив голову к виконту,—решила, что ни за что туда не пойду. Коль вам так хочется, давайте встречаться здесь, в лесу.

— Ты пойдешь в замок, говорю я тебе. Башня для тебя уже готова, ты там будешь полной хозяйкой.

— Запереть меня задумали, а там, не ровен час, пожар вспыхнет или крысы загрызут... Знаю я вас! Дудки! Говорю вам, я буду ваша, извольте, но прямо здесь, на сосновых иголках.

Виконт присел возле нее. Зажав в руке сосновую иголку, он пощекотал ей шейку Памелы. Памела вся покрылась гусиной кожей, но не двинулась с места. Она смотрела на лицо виконта, склоненное над ней: профиль, который всегда остается профилем, даже если смотреть анфас, два доведенных только до середины ряда зубов, которые сейчас, когда виконт улыбался, напоминали ножицы.

Медардо сломал иглу в кулаке.

— Только в башне ты мне нужна, только в башне, за семью замками!

Пастушка совсем осмелела и, болтая в воздухе голыми ножками, повторяла:

— Здесь, в лесу, согласна, в неволе—никогда, хоть убейте!

— Я тебя заставлю сделать по-моему,—сказал Медардо, положив руку на круп коня, который все это время гулял по лесу, но сейчас, словно нарочно, оказался рядом. Он вскочил в седло и умчался прочь по лесной тропе.

Ночь Памела, как всегда, провела в своем гамаке, подвешенном между оливковым и фиговым деревом, а утром—о, ужас!—нашла на себе маленький кровоточащий трупик: половину белки. Зверек был разрезан, как обычно, вдоль, но рыжий хвост остался в неприкосновенности.

— Господи, какая же я несчастная!—пожаловалась она родителям.—Этот виконт не дает мне проходу!

Отец с матерью передавали белку из рук в руки.

— Вы только посмотрите,—заметил отец,—хвост-то он не

тронул. Пожалуй, это хороший знак...

— Может, он постепенно добреет?...— подхватила мать.

— Он ведь обычно все разрезает пополам,— продолжал отец,— а вот хвост, самое красивое, что есть у белки, не тронул.

— Может, он хотел этим сказать,— поддержала мать,— что и в тебе не тронет все хорошее и красивое.

Помела схватилась за голову.

— Батюшка, матушка, что вы такое городите? Вы что-то скрываете от меня? Виконт говорил с вами?

— Говорить не говорил, но просил передать, что собирается зайти, посулил кое-что нам на бедность,— ответил отец.

— Батюшка, если он придет, отвори улы, пусть его встретят пчелы!

— Дочка, но ведь Медардо, кажется, и впрямь меняется к лучшему...— твердила мать.

— Матушка, если он придет, привяжите его к муравейнику!

Ночью загорелась скирда соломы, где спала мать, и развалилась бочка, в которой спал отец. Утром, когда старики созерцали последствия катастрофы, появился виконт.

— Сожалею, что напугал вас сегодня ночью, но я не знал, как лучше приступить к делу. Ставлю вас в известность, что мне пришлось по душе ваша дочь Памела и я хочу взять ее к себе в замок. И потому требую, чтобы вы передали ее мне из рук в руки. Жизнь ее изменится, да и ваша тоже.

— Вы и представить себе не можете, какое это счастье для нас, ваша милость,— отвечал старик,— но уж вы-то знаете, что за несносный характер у моей дочери. Подумать только, она велела мне отворить улы и напустить на вас пчел...

— Страшно вымогивать, ваша милость,— говорила старуха,— она велела привязать вас к муравейнику...

Хорошо еще, что в тот день Памела рано вернулась домой. Она обнаружила родителей с кляпами во рту, отца— привязанным к улы, мать— к муравейнику. Хорошо и то, что пчелы знали старика, а муравьям было не до старухи. Иначе бы Памеле их не спасти.

— Теперь вы видите, как он добреет, ваш виконт,— развела руками Памела.

Но стариков не так легко было урезонить. На следующий день они связали Памелу и заперли ее в доме вместе со скотиной, сами же отправились в замок объявить виконту, чтобы присылал за дочерью: они, мол, готовы ее выдать.

Да забыли старики, что Памела умела разговаривать со своими питомцами. Утки клювами освободили ее от веревок, а козы рожками проломили дверь. И Памела, прихватив самую любимую козочку и самую любимую уточку, выбралась из дому и бросилась в лес. Она поселилась в пещере, о которой знала только она сама да еще один мальчик, который приносил ей еду и сообщал последние новости.

Этим мальчиком был я. Навещать Памелу в лесу для меня было одно удовольствие. Я приносил ей фрукты, сыр, жареную рыбу, а она угощала меня козьим молоком и дарила утиные яйца. Когда Памела купалась в пруду или в ручье, я стоял на страже, чтобы кто-нибудь ее случайно не увидел.

Время от времени в лес наведывался дядя, но нам на глаза не показывался—мы догадывались о его присутствии по обычным его козням и шуткам. Так, Памела вместе с козой и уткой вдруг попадала в оползень, или сосна, к которой она прислонилась, начинала валиться, и оказывалось, что ее подрубил под корень топором, или, нагнувшись к ручью, находила там останки убитых животных.

Дядя пристрастился ходить на охоту—чтобы управляться с арбалетом, ему хватало одной руки. Он еще больше похудел и помрачнел, словно какой-то червь точил то, что оставалось от его тела.

Как-то раз мы с доктором Трилэни шли по полю, и откуда ни возьмись на нас налетел виконт—он чуть не задавил доктора, сбив его с ног. Конь встал, придавив копытом грудь англичанина.

— Послушайте, доктор,—сказал дядя,—у меня такое впечатление, будто нога, которой у меня нет, устала от ходьбы. Вы можете объяснить, что это значит?

Трилэни смутился, по обыкновению забормотал что-то невнятное, и виконт поскакал прочь. Но, видно, вопрос поразил доктора, и он надолго задумался, обхватив голову руками. Мне еще не приходилось видеть, чтобы анатомическая проблема вызывала в нем такой живой интерес.

VII

Вокруг всего Пратофунго тянулись заросли перечной мяты и розмарина; сами они выросли, или их здесь насадили—этого никто не знал. Сладковатый аромат кружил мне голову, когда я бродил близ селения прокаженных, надеясь как-нибудь повидаться со старой кормилицей Себастьяной.

С тех пор как за Себастьяной закрылись ворота Пратофунго, я все чаще и чаще чувствовал себя сиротой. Я был в отчаянии, что ничего о ней не знаю. Даже спрашивал о ней у Галатео, когда он приходил к нам в деревню (конечно, взбирался на дерево повыше, чтобы быть в безопасности), но Галатео к мальчишкам относился недоверчиво—сколько раз они бросали на него с деревьев живых ящериц—и потому выкрикивал мне в ответ какую-то обидную ерунду своим медоточивым голоском. Теперь мне еще больше не терпелось попасть в Пратофунго: к любопытству прибавилось желание повидаться с кормилицей, и я целыми днями бродил в благовоющих лабиринтах на границе селения.

И вот однажды в зарослях тимьяна я наткнулся на старика прокаженного. Одетый во все светлое, в соломенной шляпе,

старик шел в Пратофунго; я решил расспросить его о кормилице и подобрался немного ближе, чтобы не кричать во все горло.

— Эй, господин прокаженный! — окликнул я его.

Но в этот момент, возможно разбуженный моим голосом, прямо рядом со мной сел и потянулся еще один прокаженный. У него была седая борода, редкая, но пушистая, а лицо все шелушилось, как сухая древесная кора. Он вынул из кармана дудку, повернулся ко мне и вывел на ней игривую трель. Только тут я заметил, что в этот предзакатный час, куда ни глянь, повсюду в тени кустарников отдыхают прокаженные; один за другим они поднимаются и уходят навстречу заходящему солнцу: все в светлых балахонах, в руках — музыкальные и садовые инструменты, и они наигрывают на них, стучат, звенят. Я отпрянул от бородатого прокаженного и чуть было не налетел на прокаженную без носа — она причесывалась среди кустов лавра, — и, куда бы я ни бросался, везде путь мне преграждали прокаженные, свободной была лишь дорога в Пратофунго: уже виднелись его соломенные крыши, украшенные бумажными змеями, до них было рукой подать, оставалось лишь спуститься со склона.

Прокаженные вроде бы и не обращали на меня внимания, лишь изредка кто-нибудь подмигнет да крутанет шарманку, и все же мне казалось, что этот поход был предпринят специально для меня и теперь меня тащат в Пратофунго, как пойманного зверя. Мы шли по улице среди домов, выкрашенных в лиловый цвет. Из одного окна выглянула полуодетая женщина с лирой в руках — лиловые пятна усеивали ее лицо и грудь, — она крикнула:

— Садовники вернулись, — и ударила по струнам.

В окошках и на террасах показались и другие женщины; они потягивали бубнами, напевая:

— Садовникам привет! Садовникам привет!

Я старался не приближаться к домам и ни до кого не дотрагиваться, но не мог вырваться из плотного кольца прокаженных, да еще на каждом крыльце сидели мужчины и женщины в рваных выцветших балахонах, не прикрывавших язв и срама, зато волосы у них были обязательно украшены боярышником и анемонами.

Прокаженные устроили что-то вроде концерта — как мне показалось, в мою честь. Одни играли на скрипках и, стоило мне на них взглянуть, кланялись, задерживая смычок на одной ноте, другие, поймав мой взгляд, принимались квакать по-лягушачьи, третьи дергали за нитки марионеток очень странного вида. Каждый гнул свое, но было у них еще что-то вроде припева, который они повторяли все вместе:

Как повадился цыпленок
Ежевiku клевать.
Был цыпленок беленьким,
Стал цыпленок рябеньким.

— Я ищю свою кормилицу, старую Себастьяну!—закричал я.—Где она, ответьте!

Прокаженные покатались со смеху, вид у них был лукавый и насмешливый.

— Себастьяна,—завопил я что есть мочи.—Себастьяна! Где ты?

— Она тут, мальчик, хороший мальчик,—и какой-то прокаженный показал мне на одну из дверей.

Дверь эта распахнулась, появилась очень смуглая женщина, возможно сарацинка, полуголая, с татуировкой, за ней, как хвост, волочился бумажный змей. Она пустилась в пляс, делая непристойные жесты. Я не очень хорошо понял, что последовало за тем: мужчины и женщины смешались в кучу, и началось то, что, как я потом узнал, называется оргией.

Я съежился в комок, и тут ко мне пробилась Себастьяна.

— Грязные развратники!—возопила она.—Хоть бы ангельской души постыдились!

Себастьяна схватила меня за руку и потащила за собой.

Как повадился цыпленок
Ежевику клевать.
Был цыпленок беленьким,
Стал цыпленок рябеньким,—

неслось нам вдогонку.

На Себастьяне было светло-лиловое платье, похожее на монашескую рясу, на лице ее, без единой морщинки, уже выступило несколько уродливых пятен. Я был счастлив, что нашел кормилицу, но терзался мыслью, что теперь обязательно заболею проказой—ведь Себастьяна взяла меня за руку. Я признался ей в этом.

— Не бойся,—успокоила меня Себастьяна,—мой батюшка был пиратом, а дедушка отшельником. Я все травы знаю, любую болезнь вылечу, даже басурманскую. Прокаженные дурманят себя душицей и мальвой, а я потихоньку готовлю отвары из бурачника и сурепки, так что, пока ноги меня держат, проказа мне не страшна.

— А что за пятна у тебя на лице?—спросил я, успокоившись, но все же не до конца.

— Канифоль. Пусть думают, что я тоже заболела, пойдем ко мне, выпьешь теплого отвара на всякий случай—береженого бог бережет.

Она отвела меня в свою хижину, на отшибе, удивительно чистенькую и аккуратную.

— Что Медардо? Как он?—накинулась она с расспросами, но мне и двух слов не дала сказать, сразу перебила:—Ах, негодяй! Ах, разбойник! Влюбился, видите ли! Ах, бедная девушка! А

здесь-то, здесь такое творится, вы там и представить себе не можете! Они все пускают на ветер. Мы отрываем от себя последние крохи, а они все разбазаривают. И Галатео этот хорош гусь! Отъявленный мошенник, и не он один. А что тут творится по ночам! Впрочем, и днем ничуть не лучше. Женщины бесстыдницы, в жизни таких не видела. Платья себе и то не зашьют. Рвань беспутная! Я ведь все это так прямо им и выложила... Если бы ты только слышал, что они наговорили мне в ответ...

Очень довольный свиданием с кормилицей, я на следующий день пошел ловить угрей.

Закинув удочку в заводь, я задремал. Сколько проспал, не знаю, разбудил меня какой-то шум. Открыв глаза, я увидел над своей головой чью-то руку, а на ней мохнатого красного паука. Я обернулся — за мной стоял дядя в своем черном плаще.

Я в ужасе вскочил на ноги, и в это мгновение паук тянул дядю за руку — и был таков. Дядя припал к руке губами и отсосал немного крови.

— Я вижу, что ядовитый паук спускается с ветки прямо тебе на шею, а ты спишь, — объяснил он, — я подставил свою руку, вот он меня и укусил.

Ясное дело, ни одному его слову я не поверил — дядя уже раза три вот так пытался отправить меня на тот свет. Правда, сейчас его действительно укусил паук, и рука распухла на глазах.

— Ты, наверно, мой племянник? — спросил дядя.

— Да, — ответил я, несколько удивленный: до сих пор дядя виду не подавал, что знает меня.

— Я сразу тебя узнал, — сообщил он и добавил: — Эх ты, паук! У меня ведь всего одна рука, ты что же, совсем безруким меня хочешь оставить? Но пусть уж лучше мучаюсь я, чем этот мальчуган.

До сих пор, насколько мне известно, дядя таких речей никогда не вел. Меня даже сомнение взяло: а вдруг он говорит правду, вдруг он и впрямь стал добрым, но я тут же спохватился — что ему стоит, этому искусному обманщику, меня вокруг пальца обвести.

Правда, он и на себя был что-то непохож: лицо никакое не злобное, а скорее хмурое и печальное, да и одет немножко по-другому — весь в пыли, черный плащ разорван и облеплен сухими листьями и каштановой скорлупой, камзол не из черного бархата, как обычно, а из облезлой линялой бумазеи, на ноге вместо кожаного тугого сапога — шерстяной чулок в сине-белую полоску.

Я решил дать ему понять, что мне до него дела мало, и пошел проверить, не попался ли на удочку угорь. Угря я не поймал, зато на крючке блестело золотое кольцо с бриллиантом. Сняв его, я увидел герб виконтов Терральба.

Виконт следил за мной издалека.

— Не удивляйся,— сказал он,— я проходил мимо и увидел, как бьется угорь, попавшийся на крючок, и так мне стало его жаль, что я его тут же выпустил, но потом подумал, ведь из-за этого пострадает рыболов, и решил возместить ему ущерб, а кольцо— это единственная оставшаяся у меня ценная вещь.

Я слушал его разинув рот.

— Тогда я еще не знал, что рыболов— это ты. А потом увидел тебя в траве, ты спал, но радость от встречи с тобой тут же прогнал испуг, когда на твоей шее я увидел паука. Остальное тебе известно.— И он с грустью взглянул на свою опухшую руку.

Скорее всего, это было сплошное вранье, но я все думал: как было бы прекрасно, если бы он вдруг действительно переменялся, и сколько радости принесло бы это Себастьяне, Памеле и всем тем, кто страдал от его жестокости.

— Дядя,— предложил я Медардо,— жди меня здесь. Я сбегая к кормилице Себастьяне: она все целебные травы знает и наверняка даст мне что-нибудь от паучьих укусов.

— Кормилица Себастьяна...— протянул виконт, лежа на спине и прижимая руку к груди.— Кстати, как она поживает?

В то, что Себастьяна не заболела проказой, я решил его не посвящать, только пробормотал второпях:

— Да так себе. Ну, я побежал,— и помчался что есть духу: мне не терпелось узнать мнение Себастьяны насчет всех этих странных превращений.

Кормилица была у себя. С трудом переводя дыхание и запинаясь от волнения, я довольно сбивчиво рассказал ей, в чем дело. К моему удивлению, Себастьяну больше заинтересовал паучий укус, чем хорошие поступки Медардо.

— Красный паук, говоришь? Да-да, я знаю, какая здесь нужна трава... Помню, у нашего лесника разнесло руку... Так он подобрел, говоришь? Что я могу тебе сказать, он и в детстве был такой, сразу его не разберешь. Просто к нему тоже надо иметь подход... И куда же я задевала эту траву? Одной примочки будет достаточно. Озорник с малых лет... Ага, вот она, я нарочно припрятала этот мешочек... Вот всегда так: случись с ним что, бежит к своей кормилице... А что, глубокий укус?

— Кажется, глубокий, левая рука ужасно распухла...

— Хе-хе, малыш!— засмеялась кормилица.— Левая! Да где она у Медардо, левая-то? Он ее в Богемии оставил, у турок, дьявол их заberi, ведь всю левую половину так там и оставил...

— Да-да, конечно!.. Только я что-то не понимаю: он стоял там, я здесь, руку он протянул вот так... Что же это получается?

— Похоже, ты левую руку от правой отличить не можешь?— набросилась на меня кормилица.— Я тебя в пять лет этому научила.

Я окончательно запутался. Конечно, Себастьяна права, но у

меня, хоть тресни, перед глазами стоял Медардо с распухшей левой рукой.

— Скорей отнеси ему траву, скорей,—поторапливала меня кормилица, и я помчался обратно.

Еле дыша, я прибежал к речке, но дядя, видно, меня не дождался. Я поглядел по сторонам: его и след простыл.

Под вечер я гулял в оливковой роще. И снова встретил дядю: закутанный в свой черный плащ, он стоял на берегу реки спиной ко мне и смотрел куда-то вдаль. При виде его меня вновь, как и прежде, охватил страх, с превеликим трудом мне удалось выдать из себя:

— Дядя, вот трава... от паука...

Половина лица, искаженная ужасной гримасой, мгновенно обрнулась ко мне.

— Какая еще трава? Какой паук?—обрушился он на меня.

— Трава для лечения...—пролепетал я.

Лицо у него было уже не такое, как днем, исчезли печаль и кротость, правда, он пытался, улыбаясь через силу, их вернуть, но притворство было слишком очевидным.

— Ах, ну да, да... Молодец... Положи пока травку вот сюда, в дупло... я потом ее заберу.

Я послушался и сунул руку в дупло. И угодил прямо в осиное гнездо. Разъяренные осы набросились на меня. Спасаясь, я метнулся к реке и нырнул. Пришлось некоторое время поплавать под водой, пока осы не отстали. Высунув голову из воды, я услышал зловещий смех удаляющегося виконта.

Значит, он снова всех нас провел? Но все-таки кое-что в этом деле показалось мне совершенно необъяснимым, и я решил посоветоваться с доктором Трилэни. Доктор был у себя, в своем домишке у кладбища, и—удивительное дело—сидел при свете масляной лампы над анатомическим атласом.

— Доктор,—кликнул я его,—бывает, чтобы человек, которого укусил красный паук, остался целым и невредимым?

— Красный паук, говоришь?—встрепенулся доктор.—Кого еще укусил красный паук?

— Моего дядю, виконта, я даже бегал за целебной травой к кормилице, а тут он из доброго, каким притворялся, вновь превратился в злого, и никакой помощи ему не понадобилось.

— Я сам только что лечил виконта, его укусил в руку красный паук,—сказал Трилэни.

— Как вам показалось, доктор, он был добрый или злой?

И доктор рассказал мне следующее.

На виконта, которого я оставил лежать в траве с опухшей рукой, набрел проходивший мимо доктор Трилэни. По обыкновению вдав в панику, доктор прячется за деревьями. Но Медардо, услышав шаги, приподнимается и зовет:

— Эй, кто там?

Англичанин в ужасе—«Не дай бог, узнает, что это я, такое

надо мной учинит...»—спасается бегством, но, споткнувшись, падает в реку. Хоть доктор Трилэни и провел всю свою жизнь в открытом море, плавать он так и не научился и потому барахтается посреди заводи и зовет на помощь. Виконт кричит ему: «Держитесь, я сейчас», выбегает на берег, уцепившись укушенной рукой за выступающий корень дерева, спускается в воду и вытягивается так, чтобы доктор мог ухватиться за его ногу. Прямой и длинный, он протягивает себя доктору, как жердь, и тот, держась за нее, выбирается на сушу.

Вот они оба в безопасности, и доктор лепечет:

— Ах, боже мой, милорд... спасибо, огромное спасибо, милорд... как мне отблаготворить...—и чихает прямо в лицо виконту, потому что, конечно, успел простудиться.

— Будьте здоровы,—отзывается Медардо,—и, пожалуйста, завернитесь в мой плащ.—И накидывает его доктору на плечи.

Доктор отказывается, окончательно смутившись. Но виконт настаивает:

— Берите, берите, он ваш.

Тут доктор Трилэни замечает, что у Медардо распухла рука.

— Кто это вас укусил?

— Красный паук.

— Позвольте мне помочь вам, милорд.

Он ведет виконта к себе, в домишко у кладбища, прикладывает к его руке целительные примочки и перевязывает ее. Виконт тем временем добродушно и любезно беседует с ним. Они расстаются, договорившись встретиться в самое ближайшее время и упрочить знакомство.

— Доктор,—сказал я, выслушав его рассказ,—виконт, которого вы лечили, вскорости вновь впал в свое злобное безумие и напустил на меня осинный рой.

— Да, только это был другой виконт, не тот, которого я лечил.—И доктор подмигнул мне.

— То есть как это?

— Скоро поймешь. А пока никому ни слова. И не мешай, мне надо кое в чем разобраться, тут скоро такое заварится...

И доктор Трилэни, забыв обо мне, вновь погрузился в стол новый для него предмет—анатомию человека. Его целиком захватила какая-то мысль: несколько дней подряд он был на удивление замкнут и задумчив.

Со всех сторон к нам стали поступать известия, подтверждающие неожиданную раздвоенность в характере Медардо. Детей, заплутавшихся в лесу, к величайшему их ужасу, отыскивал получеловек на костыле и за руку отводил домой, да еще угощал при этом виновными ягодами и сладкими пирожками; он же помогал бедным вдовам перетаскивать хворост, лечил собак от змеиных укусов; бедняки находили у себя то на подоконнике, то на крыльце

таинственные дары; фруктовые деревья, поваленные ветром, кто-то подымал и укреплял на прежнее место еще до того, как хозяин успевал высунуть нос из дома.

Но, к сожалению, тот же полувиконт, закутанный в черный плащ, сеял на своем пути ужасные злодеяния: исчезнувших младенцев находили в пещерах, вход в которые был завален камнями, на старушек обрушивались деревья и каменные лавины, от едва начавших созреть тыкв оставались одни ошметки.

Для арбалета виконта уже давно единственной мишенью служили ласточки, причем Медардо не убивал их, а только ранил и уродовал. Правда, теперь частенько можно было увидеть и ласточек, чьи сломанные лапки были заботливо перевязаны, а вместо шины положен прутик, а на помятые крылья наложены пластыри,—выраженные таким странным манером, ласточки держались из осторожности стаями, словно выздоравливающие больные из птичьей лечебницы, и, самое удивительное, говорили, что лечит их все тот же Медардо.

Однажды Памелу с козочкой и уточкой в пустынном месте, далеко от ее обычного убежища, застала гроза. Памела знала, что поблизости есть один грот, правда совсем маленький, едва заметное углубление в скале, там она и решила спрятаться. Но грот оказался занят: наружу высовывался залатанный сапог, а владелец его лежал в гроте, съжившись под черным плащом. Памела отпрянула назад, но виконт заметил ее и выскочил под проливной дождь.

— Сюда, сюда, девушка, укройся здесь,—предложил он.

— Ни за что!—воскликнула Памела.—Тут одному-то не вернуться, вы что, задавить меня решили?

— Не бойся,—успокоил Памелу виконт.—Я останусь снаружи, а ты вместе с козочкой и уточкой прекрасно там устроишься.

— Козочка с уточкой могут и помокнуть.

— Мы укроем и их, вот увидишь.

— Что ж, поглядим,—решила Памела, до которой уже дошли слухи о странных приступах доброты, случающихся у виконта. Она притулилась в гроте, прижав к себе своих питомцев. Виконт остался стоять у входа, да еще прикрыл его своим плащом так, чтобы дождь не замочил ни уточку, ни козочку. Памела взглянула на его руку, держащую плащ, задумалась, поглядела на свои руки, сравнила правую с левой и наконец громко расхохоталась.

— Очень рад, что тебе весело, девушка,—сказал виконт,—но над чем же ты смеешься, если не секрет?

— Смеюсь, потому что все теперь ясно как белый день—а мои-то бедные земляки совсем разума лишились.

— Отчего так?

— Не могут никак понять, почему вы то добрый, то злой. А все очень просто.

— То есть?..

— На самом деле вы просто другая половина виконта. Виконт, который живет в замке, злой виконт—одна половина. А вы—другая, ее считали погибшей, а она, оказывается, тоже вернулась. И эта половина—добрая.

— Как мило с твоей стороны. Спасибо.

— За что меня благодарить, ведь так оно и есть.

И вот какую историю рассказал Медардо Памеле в тот вечер. Пушечное ядро вовсе не разнесло в клочья левую половину его тела. Ядро разорвало Медардо надвое: одну половину нашли, когда подбирали раненых, а другая так и осталась лежать под грудой человеческих костей и мяса. Поздно ночью по полю проходили два отшельника—то ли истинные слуги божьи, то ли чернокнижники,—судьба их забросила, как нередко бывает в военное время, в голую пустыню между двумя вражескими лагерями, и не случайно, ибо они, поговаривали, поклонялись и христианской Троице, и басурманскому Аллаху. И вот эти отшельники, по велению своего всеединого благочестия, извлекли из-под останков вторую половину тела Медардо, отнесли его к себе в пещеру, ухаживали своими бальзамами и мазями и спасли от смерти. Как только к раненому вернулись силы, он распрощался со своими спасителями и пустился в обратный путь, в родной замок. Он шел месяцы, шел годы, ковыляя на своем костыле, повидал многие христианские народы и поражал всех встречных добрыми делами.

Рассказав Памеле свою историю, добрый Медардо в свою очередь захотел выслушать ее. Пастушка поведала ему, как мучает ее своей назойливостью злой Медардо, как пришлось ей бежать из дома и скитаться по лесам. Рассказ Памелы не оставил доброго Медардо безучастным: сердце его разрывалось на части, он преисполнился сострадания и к пастушке, защищавшей свою добродетель, и к злому Медардо, влачившему жалкое, беспросветное существование, и к бедным, заброшенным родителям Памелы.

— Ну уж нет!—воскликнула Памела.— Мои родители самые настоящие разбойники. Их жалеть себе дороже.

— Да ты только подумай, Памела, как им грустно сейчас в их ветхом домишке, никто о них не позаботится, никто не поможет в поле, в хлеву.

— Да пусть этот хлев обрушится им на голову!—возмутилась Памела.— В конце концов, нельзя же быть таким мягкосердым. Что же это такое, вы даже вашу правую половину готовы пожалеть, и вас не возмущают безобразия, которые она тут творит!

— Да как же я могу его не жалеть? Уж кому, как не мне, знать, что такое остаться половиной человека.

— Но вы-то другой, тоже немного не в себе, но все-таки добрый.

— О Памела,—сказал ей тогда добрый Медардо,—это такое

благо—быть половиной самого себя, только тогда начинаешь понимать, какие муки испытывает любое живое существо от своего несовершенства. Когда я был целым, я жил только для себя, я был глух к чужим несчастьям, а они повсюду, они там, где целому человеку их никогда не увидеть. Ведь не я один, Памела, растерзан, разорван, но и ты тоже, да и все люди на свете. И только теперь, когда я утратил целостность, мне сделалось близко все вечное, все ущербное, что только есть на земле. Пойдем со мной, Памела, тебе станет больно от чужих язв, и, врачуя их, ты излечишь и свои.

— Все это очень даже красиво,—отвечала Памела,—но у меня у самой хватает неприятностей из-за вашей правой половины. Вот ведь влюбилась в меня и неизвестно что замышляет надо мной сотворить.

Дождь кончился, и дядя убрал плащ.

— Я тоже влюбился в тебя, Памела.

Памела выскочила из грота.

— Вот здорово! На небе радуга, а у меня новый ухажер. Правда, тоже не весь, но зато с добрым сердцем.

Они шли по непросохшим лесным тропинкам, ветки осыпали их брызгами, на левой половине губ виконта играла ласковая полуулыбка.

— Что будем делать?—спросила Памела.

— По-моему, надо навестить твоих несчастных родителей и помочь им по хозяйству.

— Вот сам и навещай их, коли есть охота.

— Разумеется, есть, дорогая.

— А мне и здесь хорошо.—И Памела остановилась вместе с уточкой и козочкой, всем своим видом показывая, что больше не делает ни шагу.

— Сообща творить добро—единственный способ любить друг друга.

— Вот жалость-то. А я думала, есть и другие.

— До свидания, дорогая. Я принесу тебе яблочный пирог.—И виконт, налегая на костыль, удалился.

Памела осталась с козочкой и уточкой.

— Что скажешь, козочка? Что скажешь, уточка? Всех тронутых я как магнит притягиваю!

VIII

С возвращением левой половины виконта, столь же доброй, сколь правая была злой, в Терральбе началась новая жизнь.

Утром я сопровождал доктора Трилэни, обходившего больных: доктор наш помаленьку стал возвращаться к своему настоящему делу, у него вдруг открылись глаза, и он увидел, сколько вокруг хворей да недугов. И не удивительно—откуда здоровью-то

взяться—ведь что ни год, то недород.

Мы шли деревенской улицей и на каждом шагу убеждались, что дядя уже побывал здесь. Разумеется, добрый дядя: он каждое утро тоже навещал больных, бедняков, престарелых— словом, всех, кто нуждался в помощи.

В саду у Бачиччи на гранатовом дереве все спелые плоды обвязаны платочками. Ясное дело—Бачичча мучается зубами, вот дядя и обвязал гранаты, иначе бы они перезрели и лопнули, пока хозяин болеет. А для доктора Трилэни это знак: надо пойти к больному и захватить с собой щипцы.

У настоятеля Чекко на террасе в горшке рос чахлый подсолнух. И вот мы видим трех куриц, привязанных к перилам террасы: они вовсю клюют зерно, и белый помет летит на землю под подсолнухом. Нетрудно догадаться, что у настоятеля понос. Привязав куриц, дядя обеспечил растение удобрением и одновременно предупредил доктора Трилэни, что настоятель срочно нуждается в его помощи.

Вот на крыльцо к старой Джиромине взбираются длинной вереницей улитки, и все крупные, хоть сейчас на сковородку. Улиток дядя принес из лесу в подарок Джиромине, но это и сигнал доктору—мол, у бедной старухи совсем плохо с сердцем, входи потише, не испугай.

Все эти фокусы добрый Медардо выдумывал и для пользы больных, чтобы не пугать их заранее— пусть доктор пойдет к ним как бы невзначай,—и для самого доктора Трилэни: зная, как обстоит дело, и не страшась неведомых хворей, он без опаски переступал порог чужого дома.

Время от времени вся округа приходила в смятение: «Злыдень! Злыдень! Спасайся кто может».

Значит, где-то поблизости скачет злая половина моего дяди. Тогда все стремглав прятались, первым—доктор Трилэни, а я вместе с ним.

Мы мчались мимо домика Джиромины—на крылечке лишь скользкая, в обломках ракушек полоса из раздавленных улиток.

— Он здесь! Караул!

На террасе настоятеля Чекко куры привязаны возле разложенных сушиться помидоров и гадят на это добро.

— Караул!

В саду Бачиччи разбитые гранаты валяются на земле, а с дерева свисают клочки платков.

— Караул!

Вот так мы и жили: с одной стороны—благодаяния, с другой—злодейство. Добряк (так прозвали левую половину дяди в отличие от Злыдня—правой половины) почитался чуть ли не как святой. Калеки, бедняки, обманутые женщины, все, у кого на душе тяжело, бросались к нему за помощью. Ему ничего не

стоило самому стать виконтом. Но он продолжал жить бродягой, без устали ковлял по округе, опираясь на костыль, в своем драном черном плаще и сине-белом штопаном-перештопаном чулке и рвался облагодетельствовать всех на свете — и тех, кто просил его помощи, и тех, кто, бранясь, гнал его вон. И не дай бог, овечка подвернет себе ногу в овраге или пьянчуга в трактире выхватит нож, а то жена-прелюбодейка побегит ночью на свидание к любовнику, всегда откуда ни возьмись перед ними предстанет виконт, черный, сухой как щепка виконт, с неизменной ласковой улыбкой, всегда готовый помочь, дать добрый совет, отвратить от насилия и греха.

А Памела все еще жила в лесу. Она соорудила себе качели между соснами, потом еще двое — что покрепче для козочки, что полегче для уточки — и проводила время, качаясь вместе с ними. Всегда в один и тот же час из-за сосен, ковляя, выходил Добряк с узелком за плечами. В узелке было рваное, грязное белье, которое Медардо собирал у одиноких стариков, сирот, больных и приносил Памеле чинить и стирать, чтобы и она по мере сил творила добро. У Памелы было мало развлечений в лесу, и она охотно бралась за работу, а Медардо помогал ей. Выстирав белье в ручье, она развешивала его на веревках от качелей, а Добряк, усевшись на камень, читал ей «Освобожденный Иерусалим».

Чтение Памелу не очень увлекало: удобно разлегшись на траве, она искала у себя вшей (в лесу она немножко запаршивела), почесывалась прутиком, зевала во весь рот, подбрасывала голыми ножками камешки и одобрительно рассматривала свои розовые, толстые как раз в меру ляжки. Но Добряк не отрывался от книги и декламировал одну октаву за другой в надежде просветить ум этой дикарки.

Как-то раз смертельно соскучившейся Памеле — ей было невдомек, о чем там толкует виконт, — удалось-таки науськать на него своих питомиц: козочка лизнула Добряка в лицо, а уточка села к нему на книгу. Медардо отпрянул, захлопнув книгу, и как раз в это мгновение из-за деревьев на полном скаку вылетел Злыдень, потрясая огромной косой. Удар пришелся на книгу: Злыдень одним махом разрубил ее пополам. Левая часть с корешком осталась в руках Добряка, а правая разлетелась по воздуху множеством полулистов. В мгновение ока Злыдень пропал в лесу: конечно, метил он в Добряка, и, если бы не козочка с уточкой, тому бы не сносить головы. Белые страницы с оборванными виршами Тассо кружили по ветру и медленно опускались на ветки сосен, траву, воду. Взобравшись на холм, Памела любовалась порханием бумажных бабочек.

— Вот красотища! — восторгалась она.

Несколько страничек занесло на тропинку, которой проходили мы с доктором Трилэни. Доктор поймал одну на лету, повертел, пытаясь прочесть стихи без начала и конца, и покачал головой: «Тут ничего не разберешь...»

Вскоре даже гугеноты прослышали о Добряке, и теперь старый Иезекииль то и дело взбирался на самую высокую гряду, засаженную пожелтевшими виноградными лозами,— оттуда видна была тропинка, поднимающаяся к ним из долины.

— Отец,—спросил его один из сыновей,—вы часто поглядываете в сторону долины. Ждете кого-нибудь?

— Всякий человек ждет,—ответил Иезекииль,—праведный ждет с упованием, неправедный—со страхом.

— Может быть, вы ждете, отец, этого Хромого-На-Левую-Ногу?

— И ты о нем слышал?

— Внизу только и говорят о Кривом-На-Правый-Глаз. Вы думаете, он и к нам пожалует?

— Почему бы ему не прийти, если наши люди, как и он сам, живут не во зле?

— Уж очень крута горная тропа, трудно взойти по ней с костьюлем.

— Того Колченогого это не смутило, он поднялся по ней на коне.

Гугеноты, услышав голос Иезекииля, побросали работу и столпились возле него. При одном упоминании о виконте их пробирала дрожь.

— Отец наш, Иезекииль,—обратились они к нему,—помните, в ту ночь, когда к нам приходил Тощий и от удара молнии сторело поддуба, вы сказали, что, возможно, когда-нибудь гость придет к нам с добром.

Иезекииль мотнул бородой в знак согласия.

— Отец, а Хромой-На-Левую-Ногу, подобный тому, другому, телом, но не душой, сердобольный столь же, сколь другой жестокосерд, не есть ли он суженый нам гость?

— Любой путник, идущий к нам любым путем, может им быть. Может им быть и он.

— Дай-то бог,—сказали гугеноты.

Жена Иезекииля, не расставаясь с нагруженной хворостом тележкой, выступила вперед—взор ее был устремлен в пространство.

— Будем уповать на лучшее,—сказала она.—Но кто бы ни шел по нашей тропе, пусть даже бредет по ней хромой, несчастный калека, что вернулся с войны, ожесточившись или умилившись сердцем, все равно наш долг остается прежним—жить по справедливости и возделывать наши поля.

— Иначе и быть не может,—отвечали гугеноты,—у нас и в мыслях не было ничего другого.

— А раз мы все согласны,—заклЮчила женщина,—давайте вернемся к работе.

— Чума и холера!—завопил Иезекииль.—Кто разрешил вам бросить мотыги?

Гугеноты разошлись по винограднику, разобрали мотыги,

брошенные прямо на борозде, но в это время Исая, который, покидая отец отвлекся, успел влезть на фиговое дерево за ранними плодами, закричал:

— Эй! К нам кто-то едет на муле!

И точно: по тропинке поднимался мул, а на нем человек, вернее, половина человека, привязанная к вьючному седлу. Это был Добряк с его новой собственностью—он купил старого, облезлого мула, когда того собирались утопить в речке—ни на что другое он не годился, даже на живодерню его не принимали.

«Весу во мне вдвое меньше,—подумал Добряк,—меня он как-нибудь выдержит. Да и мне польза, смогу делать добрые дела не только в своей округе». И вот для начала он решил наведаться к гугенотам.

Гугеноты встали в ряд и встретили его пением псалма. Старик Иезекииль приветствовал его как брата. Добряк, спешившись, торжественно ответил на приветствия, поцеловал руку у жены Иезекииля, которая не изменила сурового и хмурого выражения лица, поинтересовался здоровьем каждого, хотел было погладить жесткие лохмы Исая, но тот увернулся, справился у каждого о его заботах и выслушал, волнуясь и негодуя, историю всех их злоключений. Гугеноты весьма тактично обходили молчанием преследования за веру и корили своих гонителей лишь за злую волю. Медардо предусмотрительно не упоминал о вражде между своей церковью и протестантской; гугеноты со своей стороны не вдавались в тайны вероучения, отчасти из страха погрешить против богословских истин. Закончили они туманным исповеданием человеколюбия, осудив в общих чертах насилие и принуждение. Единодушие было полное, но особой теплоты не чувствовалось.

Потом Добряк осмотрел поля, посочувствовал гугенотам—уж больно скудный в этом году выдался урожай, порадовался тому, что по крайней мере рожь у них в этом году уродилась хорошая.

— Какую цену вы за нее спрашиваете?—поинтересовался Медардо.

— Три скудо за фунт,—отвечал Иезекииль.

— Три скудо за фунт? Но, друзья мои, беднякам в Терральбе и это не по карману. Вам, наверно, неизвестно, что в долине всю рожь побил град и теперь только вы можете спасти людей от голодной смерти...

— Все это нам известно,—отвечал Иезекииль,—слава богу, у нас есть возможность продать рожь повыгодней.

— Но подумайте, каким благодеянием будет для этих несчастных, если вы снизите цену... Сколько добра вы можете сделать...

Старый Иезекииль остановился и, скрестив руки на груди, посмотрел на Добряка, другие гугеноты последовали его примеру.

— Творить добро, брат мой,—сказал Иезекииль,—нужно, не снижая цены.

На поле под палящим солнцем трудились престарелые, худые как щепки люди.

— Что с вами? Вы так плохо выглядите,— обратился Медардо к старику с бородой до земли.— Как вы себя чувствуете?

— Для моих семидесяти я еще молодец: мотыгой могу отмахать десять часов кряду. Утром съел тарелку похлебки из репы—и до завтра сыт.

— Это Адам, мой двоюродный брат,—представил старика Иезекииль,—таких работников поискать.

— Но в вашем возрасте надо почаще отдыхать и хорошо питаться,—начал было Добряк, но Иезекииль тут же оттащил его в сторону.

— Здесь все зарабатывают свой хлеб в поте лица, брат мой,—сказал он тоном, не допускающим возражений.

По приезде Добряк собственноручно привязал мула и спросил мешок овса—пусть мул подкрепится после трудной дороги. Иезекииль с женой переглянулись: на их взгляд, такой животине и клочка сена за глаза хватило бы, но отказывать гостю при первом знакомстве им тоже не хотелось, и они распорядились задать мулу овса. Но у Иезекииля, видно, на душе кошки скребли: не мог он допустить, чтобы этот одер уничтожал их овес,—и он потихоньку от гостя подозвал к себе Исаяю.

— Исаяя, пойди отбери у мула овес и дай ему чего-нибудь другого, только тихо, чтоб никто не видал.

— А что ему дать—слабительное?

— Брось эти шуточки, найдешь чего-нибудь, осевки какие-нибудь или шелуху от гороха.

Исаяя исполнил поручение, отнял у мула овес и получил от него такого пинка, что надолго охромел. Зато припрятал оставшийся овес, чтобы потом продать, а отцу сказал, что мул успел сожрать все подчистую.

Темнело. Добряк с гугенотами стояли посреди поля, говорить больше было не о чем.

— Нам бы еще часок поработать, гость наш,—сказала жена Иезекииля.

— Тогда не буду вам мешать.

И добрый Медардо удалился на своем муле.

— И этого война не пощадила!—воскликнула жена Иезекииля, когда Медардо уехал.—Сколько их в здешних краях! Вот горемычные!

— Горемыки, чего уж тут говорить,—согласились с ней все домочадцы.

— Чума и холера!—вопил, потрясая кулаками, старый Иезекииль, а это значило: либо работник не сделал своего дела, либо засуха сделала свое.—Чума и холера!

Часто по утрам я заглядывал к Пьетрокьодо в мастерскую поглядеть, как он трудится над очередным заказом виконта. С некоторых пор плотник жизни стал не рад, и все после того, как Добряк повадился к нему по ночам: уж так он его корил за пособничество злодейству, уж так уговаривал послужить своим мастерством добру.

— Но что же мне строить, господин Медардо?—спрашивал Пьетрокьодо.

— Сейчас я тебе объясню: ты можешь, к примеру...—И Добряк принимался описывать, что он ему заказал бы сам, будь он, вместо другой своей половины, виконтом, и объяснения свои подкреплял такими чертежами, что в них сам черт бы не разобрался.

Поначалу Пьетрокьодо казалось, что Добряк подбивает его построить орган, самый большой на свете и самый сладкозвучный, и он уже начал подыскивать подходящее дерево для трубок, но после очередного разговора с Добряком мысли его несколько спутались: по всему выходило, что тот собирается пропускать через трубки не воздух, а муку. Органу предстояло быть еще и мельницей, чтобы молоть зерно для бедняков, и одновременно было бы неплохо сделать его печью и выпекать в нем пшеничные лепешки. Добряк каждый раз вносил все новые усовершенствования, перевел на рисунки пропасть бумаги; Пьетрокьодо никак не мог угнаться за ним, и немудрено, потому что этот орган-мельница-печка должен был еще таскать ведра из колодцев, чтобы облегчить труд ослов, кататься на колесах, чтобы обслуживать сразу несколько деревень, и к тому же по праздничным дням порхать в небе и ловить сетями бабочек.

И плотника брало сомнение: а вообще в человеческих ли силах делать добрые механизмы и не одни ли виселицы и орудия пыток выходят из-под рук человека сработанными на славу, без сучка без задоринки? Ведь и впрямь, стоило Злыдню только намекнуть Пьетрокьодо на свой новый замысел, как у мастера тут же в голове являлся план, все ему представлялось в подробностях, до последнего гвоздя, он был готов немедленно взяться за дело, и вещь у него получалась на удивление—сразу видно, что и труд тут приложен, и фантазия.

— Почему же так выходит, неужто злоба во мне такая?—терзался мастер, продолжая тем временем прилежно и усердно работать над новыми приспособлениями для истязаний.

Однажды я увидел у него очень странную постройку: между двумя белыми столбами шла перегородка черного дерева, через которую в двух местах была пропущена веревка, заканчивающаяся петлей.

— Что это вы делаете, мастер Пьетрокьодо?—удивился я.

— Виселицу, чтобы вешать в профиль.

— Для кого же она предназначается?

— Для того, кто и судья и подсудимый в одном лице. Одной половиной головы он приговаривает себя к смертной казни, а другой влезает в петлю и приказывает долго жить. Я бы, конечно, не отказался, чтобы эти половины поменялись местами.

Я сразу понял, в чем дело: Злыдень, видя, что популярность его доброй половины растет не по дням, а по часам, решил покончить с ней, и побыстрее.

Оказывается, он уже успел создать стражников.

— В наши владения проникла некая темная личность, которая сеет повсюду раздоры и смуту. Завтра же выследить преступника и предать его смерти.

— Будет исполнено, ваша милость,— отвечали стражники. Где уж кривому Злыдню заметить, что при этом они перемигивались.

А дело в том, что в замке уже давно готовился заговор, в котором стражники тоже принимали участие. Заговорщики задумали захватить и уничтожить теперешнего виконта, а замок и титул передать его левой половине. Она, однако, ничего об этом не знала. И вот как-то ночью добрый Медардо проснулся на своем сеновале в окружении стражников.

— Не пугайтесь,— обратился к нему их начальник,— виконт распорядился убить вас, но мы устали от его жестокости и порешили убить его самого и посадить вас на его место.

— Господи, что я слышу? Как вы могли? Что с виконтом?

— Пока ничего. Но утром мы его прикончим.

— Какое счастье, что еще не поздно! Вы не убьете его, не обагрите рук его кровью, и так слишком много крови пролилось. Чего хорошего ждать от правления, которое начинается с убийства?

— Ладно, мы запрем его в башне, пусть там и сидит.

— Не поднимайте руку ни на него, ни на кого бы то ни было! Заклинаю вас! И я скорблю при виде преступлений виконта, но выход у нас один—своим благородством, своей добродетелью постоянно подавать ему хороший пример.

— Тогда нам придется убить вас, господин.

— И это неправильно. Я же сказал вам, чтобы вы никого не убивали.

— Но как нам быть? Либо мы восстаем против виконта, либо ему повинемся.

— Возьмите вот эту склянку. В ней на доньшке остаток той самой мази, при помощи которой богемские отшельники вернули меня к жизни: она меня не раз спасала при перемене погоды, когда начинал ныть весь мой огромный шрам. Отнесите эту склянку виконту и скажите только одно: это подарок человека, который знает, что такое иметь обрубленные вены.

Стражники пошли к виконту с пузырьком, и виконт отправил их на виселицу. Чтобы спасти стражников, остальные заговорщики решили поднять восстание. Но, не имея опыта, они сразу

выдали себя, и бунт был потоплен в крови. Добряк носил цветы на могилы и утешал вдов и сирот.

Вот только старую Себастьяну почему-то ничуть не трогала доброта Добряка. А ведь ни от кого другого она не видела такой заботы и почтения: Добряк проводывал ее всякий раз, когда отправлялся кого-нибудь благодетельствовать. Себастьяна неизменно читала ему нотации. То ли ею двигал извечный материнский инстинкт, то ли от старости у нее помутилось в голове, но Медардо продолжал для нее оставаться единым, и она бранила одну его половину за проступки другой, давала одной советы, которым могла последовать только другая, и так далее, и тому подобное.

— Зачем ты свернул шею петуху бабушки Биджин, ведь у этой бедняжки только он один и оставался? Не пора ли за ум взяться, не маленький уже!

— Но почему ты говоришь это мне, кормилица? Ты ведь знаешь, что я тут ни при чем.

— Ничего себе! Давай-ка разберемся: кто же, по-твоему, это сделал?

— Я, но только...

— Ага! Вот видишь!

— Но я же не виноват.

— Эх, хоть я и старуха, но пока еще в своем уме. Стоит мне прослышать о каком-нибудь безобразии, я сразу понимаю, чьих рук это дело. И говорю про себя: «Голову могу дать на отсечение, тут без Медардо не обошлось».

— И ошибаетесь, как всегда!

— Это я-то? Эх, что от вас, молодых, еще услышишь? Ты лучше скажи: кто подарил костыль старику Исидоро?

— Я подарил, это я признаю.

— Да ты еще хвастаешься! Конечно, теперь ему будет чем колотить свою жену...

— Но он говорил мне, что ему ноги отказывают, что его подагра совсем замучила.

— А ты уши развесил... И отдаешь ему свой костыль. Завтра он сломает его о спину жены, а ты будешь ковылять с палкой. Совсем ума нет! Сам не знаешь, что творишь! Зачем напоил быка Бернардо водкой?

— Это не я...

— А кто же еще? Только и слышишь от людей: виконт да виконт...

Однако частые визиты Добряка в Пратофунго объяснялись не только его привязанностью к кормилице, в то время он с превеликим рвением взялся помогать прокаженным. Не боясь

заразы (видимо, стараниями таинственных отшельников он был надежно от нее защищен), Медардо свободно разгуливал по Пратофунго, подробно расспрашивал каждого о его житье и не оставлял человека в покое, пока не исчерпает весь запас своих благодеяний. Из Пратофунго он то и дело гонял своего мула к доктору Трилэни—посоветоваться и запастись новыми медикаментами. Доктор все еще не решался приближаться к прокаженным, хотя, вдохновляемый Медардо, начинал ими интересоваться.

Намерения у моего дядюшки были серьезные: он задумал исцелить не только тела прокаженных, но и их души. Потому он все время путался среди них, читал им мораль, совал нос в их дела, возмущался и проповедовал. Прокаженные не знали, куда от него деваться.

Временам счастливой вольности пришел в Пратофунго конец. От этого зануды спасения не было—вечно он маячил перед глазами на своей единственной ноге, приставал со всякими нравоучениями, не давал пожить в свое удовольствие, знай срамил и стыдил перед всем честным народом. Даже музыка стала прокаженным не в радость—еще бы, когда тебе все время твердят, что она слащавая, легкомысленная и сладострастная. Диковинные музыкальные инструменты прокаженных постепенно покрывались пылью. У женщин, лишившихся развлечений, все мысли были теперь только об их страшном недуге, и они проводили вечера в слезах и унынии.

— Добрая половина похуже злой будет,—говорили в Пратофунго.

Восхищение Добряком постепенно угасало, и не только среди прокаженных.

— Спасибо еще, что его разорвало надвое,—вздыхали люди,—разорви его на три части, мы бы и не такое увидели.

Гугеноты теперь выставляли охранение не только от Злыдня, но и от Добряка, который, отставив всякие церемонии, заявлялся к ним в любое время дня и ночи, выведывал, сколько мешков у них в закромах, стыдил за высокие цены, а потом трезвонил об этом по всей округе и вредил их коммерции.

Так проходило время в Терральбе, все вокруг казалось каким-то унылым, бесцветным, мы не видели выхода, загнанные в угол бесчеловечной злобой и столь же бесчеловечной добротой.

Уж так водится, что лунными ночами в низких душах змеиным клубком сплетаются черные мысли, а в благородных—расцветают лилеи добра и самоотречения. И среди отвесных скал Терральбы бродили обе половины Медардо, обуреваемые противоположными страстями.

Но вот решение было принято, наутро оба перешли к действиям.

Мать Памелы пошла за водой, угодила ногой в петлю и свалилась в колодец. Повиснув на веревке, она вопила: «Помогите!» — и в проеме колодца на фоне неба появился профиль Злыдня.

— Я искал случая с вами поговорить. Дело вот в чем. Памелу часто видят с одним бродягой. Вы должны заставить его на ней жениться. Он ее скомпрометировал и обязан это сделать, если считает себя благородным человеком. Таково мое мнение, а больше я ничего вам объяснять не собираюсь.

Отец Памелы нес на жом мешок с оливами, но не заметил, что мешок дырявый и на тропинке остается след из оливок. Наконец старик почувствовал, что ноша сильно полегчала, и скинул ее на землю — мешок был почти пуст. Но тут он увидел Добряка, который, оказывается, шел за ним по пятам и, поднимая одну за другой оливы, собирал их в свой плащ.

— Я шел за вами — хотел поговорить, заодно мне удалось спасти ваши оливы. Мне тут пришла в голову одна мысль. Давно я стал догадываться, что порой сам мешаю счастью других, о котором так пекусь. Я думаю покинуть Терральбу. Но при условии, что это вернет мир и покой двум людям: вашей дочери, которая вынуждена ютиться в пещере, хоть достойна королевских чертогов, и моей несчастной правой половине, которая чахнет от одиночества. Памела с виконтом должны сочетаться браком.

Памела в лесу играла с белкой, как вдруг откуда ни возьмись ее мать — будто бы за еловыми шишками.

— Памела, — говорит она ей, — пора наконец этому бродяге по прозвищу Добряк на тебе жениться.

— Ты что, сама до этого додумалась?

— Он тебя ославил на всю округу, пускай теперь женится. Он покладистый, чего ни попросишь, не откажет.

— Да кто ж это тебя надоумил?

— Помолчи, знала бы кто, поостереглась бы язык-то распускать. Злыдень собственной персоной, наш сиятельный виконт, вот кто мне это присоветовал.

— Черт побери! — Памела уронила белку на землю. — Какую еще ловушку он мне готовит?

Только Памела принялась учиться свистеть на стручке, откуда ни возьмись ее отец — будто бы по дрова.

— Памела, — говорит он ей, — хватит тебе морочить голову нашему виконту Злыдню, соглашайся, но при одном условии — пусть венчается с тобой в церкви.

— Это ты сам придумал, а может, кто помог?

— Разве тебе не хочется стать виконтессой?

— Сначала ты ответь на мой вопрос.

— Тогда слушай: советует это нам святой души человек, бродяга по прозвищу Добряк.

— Господи, да он совсем сбрендил! Ну погодите, вы у меня оба попляшете!

Проезжая на своем одре зарослями колючего кустарника, Злыдень в который раз обдумывал свой хитроумный план: если Памела выходит замуж за Добряка, перед лицом закона она становится женой Медардо ди Терральбы, то есть его самого. И тогда он вправе отобрать Памелу у соперника, тот и пикнуть не посмеет...

Но вдруг на его пути вырастает Памела и говорит:

— Виконт, я согласна, мы можем пожениться.

— Кто это «мы»?

— Мы с вами. Я перееду в замок и стану виконтессой.

Этого Злыдень никак не ожидал. «Раз так,— подумал он,— то нет никакой необходимости ломать комедию и выдавать ее замуж за мою левую половину, я женюсь на ней сам, и дело с концом».

— Согласен,— ответил виконт.

— Тогда сговоритесь с моим отцом.

Вскоре Памела встречает Добряка на муле.

— Медардо,— говорит она,— делать нечего, я в тебя влюбилась, и, если хочешь моего счастья, проси моей руки.

Бедняга, который ради ее же блага решил на такую жертву, застыл с раскрытым ртом. «Но если она почитает за счастье выйти за меня, не могу же я заставить ее выйти за другого»,— подумал он и ответил:

— Дорогая, я тотчас же начну готовиться к свадьбе.

— Но прошу тебя—сговорись с моей матерью.

Как только стало известно, что Памела выходит замуж, вся Терральба переполошилась. Кто говорил, что она выходит за одного Медардо, кто— за другого. А ее родители, словно нарочно, вносили еще большую путаницу. Конечно, для чего замок надраивали и украшали, если не для свадебного торжества? Виконт сшил себе черный бархатный костюм с огромным буфом на рукаве и еще одним на штанине. Но и бродяга щеголял в заштопанном носке, а мула своего выскреб до блеска. На всякий случай в церкви начистили все подсвечники.

Памела объявила, что до начала торжеств останется в лесу. Она возилась с приданым, и я бегал по ее поручениям. Памела сшила себе белое платье с длиннющим шлейфом, фату, сплела венок и пояс из стебельков лаванды. А из остатков материи она смастерила подвенечные платья для козочки и для уточки и бегала вместе с ними по лесу, пока фата не разорвалась в клочья

о ветки, а шлейф не подмел все лесные тропинки и не собрал всего лесного мусора.

Только ночью в канун свадьбы Памела была задумчива и даже немного встревожена. Она сидела на холмике, поросшем зеленой травой, укрыв шлейфом ноги и подперев рукой голову со съехавшим набок лавандовым венком, вздыхала и смотрела на окружавшие ее леса.

Я оставался при ней безотлучно—нам с Исайей, который, однако, до сих пор носа не казал, поручили быть друзьями невесты.

— Ты за кого выходишь замуж, Памела?—спросил я ее.

— Понятия не имею,—вдохнула она,—и что-то меня ждет, радость или беда?

А из чащи доносился то гортанный выкрик, то протяжный вздох. Женихи, закутанные в черные плащи, в предсвадебном томлении блуждали по лесным оврагам, один—на тощем коне, другой—на облезлом муле, и стонали, вздыхали, предаваясь тревожным думам. Конь скакал по обрывам и кручам, мул карабкался по склонам и косогорам, но ни разу всадники не встретились друг с другом.

А на рассвете конь на полном скаку сорвался в овраг, и Злыдень опоздал к свадьбе. Мул, наоборот, трусил тихо, да лихо, и Добряк точно ко времени поспел в церковь, как раз вместе с невестой, за которой мы с Исайей несли шлейф: Исаяя, правда, упирался изо всех сил и все норовил на нем прокатиться.

Когда к алтарю приковылял на костыле один Добряк, зрители были явно разочарованы. Но брак был заключен по всем правилам, молодые сказали друг другу «да», обменялись кольцами, и священник провозгласил:

— Медардо ди Терральба и Памела Маркольфи, объявляю вас мужем и женой!

В этот самый момент из придела, налегая на костыль, вышел виконт—его новый бархатный костюм с буфом имел вид самый плачевный.

— Медардо ди Терральба—это я,—объявил он.—Памела—моя жена.

Добряк заковылял к нему навстречу.

— Нет, я тот Медардо, за которого вышла замуж Памела.

Злыдень отбросил костыль и выхватил шпагу. Добряку ничего не оставалось, как последовать его примеру.

— Защищайся!

Злыдень сделал выпад, Добряк парировал, и оба они в ту же секунду оказались на земле.

Фехтовать, стоя на одной ноге, невозможно, и соперники сразу это поняли. Дуэль пришлось отложить, чтобы подготовиться к ней как следует.

— Ну вы как хотите,—сказала Памела,—а я, пожалуй, вернусь к себе в лес.—И она убежала из церкви, волоча по земле

шлейф, который больше никто не поддерживал. На мостике ее дождались козочка и уточка—они всюду пропустили вслед за ней.

Дуэль должна была состояться на рассвете следующего дня на Монашьем лугу. Пьетроцьодо сочинил эдакую ногу-циркуль: она крепилась к поясу и упиралась в землю под углом. В таком положении дуэлянты чувствовали себя вполне уверенно, могли сделать шаг вперед и в сторону, могли двигать корпусом. Прокаженный Галатео, который раньше был дворянином, взял на себя обязанности распорядителя, Злыдень выбрал своими секундантами отца Памелы и начальника замковой стражи, Добряк—двух гугенотов. Доктор Трилэни обеспечивал медицинскую помощь, он приволок кипу бинтов и огромную бутылку с бальзамом, как будто предстояло настоящее сражение. В результате мне повезло: сам доктор унести все это был не в состоянии, и я получил возможность увидеть дуэль собственными глазами.

Занимался бледный рассвет, когда на лугу сошлись два тощих черных дуэлянта. Прокаженный дунул в рожок—подал сигнал начинать; небо задрожало, как натянутая струна, кроты в своих норах глубже зарылись в землю, сороки, спрятав голову под крыло, с криком вырвали у себя по перу, червь сожрал собственный хвост, гадюка впилась в себя зубами, оса сломала жало о камень. Все на свете взбунтовалось против себя: лужи подернулись льдом, лишайник превращался в камень, а камень в лишайник, палые листья становились землей, вязкая смола душила деревья. Человек, взяв в обе руки по шпаге, кинулся сам на себя.

И на этот раз Пьетроцьодо потрудился на славу: циркули чертили на лугу круг за кругом, и дуэлянты бросались в атаку, закрывались, уходили, делали ложные выпады. Но все их усилия пока были безрезультатны. При каждом выпаде шпага неизменно попадала в развевающийся плащ противника, под которым была пустота, а должна была быть та самая половина виконта, которая и наносила удар. Несомненно, будь дуэлянты целыми, а не половинами, они давным-давно продырявили бы друг друга. Злыдень дрался с яростным остервенением, однако ни одна его атака не достигала цели. Добряк фехтовал изящно и ловко, как всякий левша, но только и делал, что колол плащ противника.

Наконец эфес уперся в эфес, ножки циркулей, как зубья борозы, врылись глубоко в землю. Злыдень резко отпрянул назад, потерял равновесие, но, падая, сумел нанести рубящий удар страшной силы: удар пришелся параллельно огромному шраму Добряка, почти по нему, так что сразу было не понять, попал виконт или промахнулся. Но тут же кровь брызнула из головы, проступила на плаще, от груди до бедра, и все стало ясно. Добряк рухнул на землю, но в последний момент успел,

словно нехотя, взмахнуть шпагой, и она тоже прошла где-то рядом с телом противника, вдоль самого рубца, от темени до копчика. Теперь и у Злыдня из всего огромного шрама хлестала кровь. У дуэлянтов были вновь обрублены вены, и открылась старая рана, которая когда-то разделила их надвое. Оба навзничь лежали на лугу, и кровь их снова сливалась вместе.

Я не мог оторваться от этого ужасного зрелища и не сразу заметил, что происходит с Трилэни, а он скакал от восторга на своих длинющих, как у кузнечика, ногах, бил в ладоши и кричал:

— Он спасен! Он спасен! Я знаю, что делать!

Через полчаса в замок принесли одного раненого. Злыдень с Добряком были крепко-накрепко перевязаны вместе. Доктор заботливо приладил друг к другу все внутренности и кровеносные сосуды, а потом перебинтовал, истратив при этом чуть не километр бинтов, так что раненый теперь напоминал египетскую мумию.

Дядя долго находился между жизнью и смертью, и мы по очереди дежурили возле него, даже по ночам. Однажды утром кормилица Себастьяна, взглядевшись в его лицо, пересеченное от лба до подбородка багровым шрамом, который спускался по шее и дальше, вдруг сказала:

— Глядите-ка, он, кажется, шевельнулся.

Действительно, по лицу дяди пробежала дрожь, и доктор заплакал от радости, увидав, что вслед за одной щекой стала подергиваться другая.

И вот наконец Медардо открыл глаза, разомкнул губы, поначалу лицо у него было несколько перекошено: один глаз мрачный, другой — приветливый, лоб с правой стороны нахмурен, с левой — гладкий, на левой половине рта играет улыбка, на правой — застыла злобная гримаса. Но постепенно все пришло в соответствие.

— Он здоров, — объявил доктор Трилэни.

— Значит, теперь у меня будет настоящий муж! — воскликнула Памела.

Так дядюшка Медардо вновь стал обычным человеком — не злым и не добрым, а таким, в котором равно намешано и злобы, и доброты, то есть на первый взгляд таким, каким он был до того, как его разорвало пополам. Однако он ничего не забыл из того времени, когда существовал в двух лицах, и потому стал мудрым. Он прожил счастливую жизнь, народил кучу детей, и крестьяне не могли на него нарадоваться. Наша жизнь изменилась к лучшему. Не знаю, может, кто и надеялся, что с излечением виконта наступит эпоха сказочного благоденствия, но, конечно, одного здорового виконта мало, чтобы поправился весь мир.

Тем временем Пьетроцьодо вместо виселиц стал строить мельницы, а Трилэни, увлекшись корью и рожей, совершенно

забросил блуждающие огни. И только я среди всеобщего стремления к гармонии и совершенству грустил и страдал от своей неполноценности. Порой человек чувствует себя ущербным, а все дело в том, что он слишком молод.

Я стоял на пороге юности, но все еще прятался в лесу под деревьями, среди огромных корней, и выдумывал всякие истории. Сосновые иголки превращались в рыцарей, дам, шутов, я раскладывал их перед собой и воображал себя героем бесконечных романтических приключений. Иногда мне становилось стыдно за свои выдумки, и я убегал домой.

И вот настал день, когда меня покинул даже доктор Трилэни. Однажды утром у нас в заливе стали на якорь корабли под английским флагом. Вся Терральба, кроме меня, который и не подозревал о таком событии, высыпала на берег. Матросы толпились у борта, висли на реях, они показывали ананасы и черепа, разворачивали свитки с английскими и латинскими изречениями. На капитанском мостике в окружении офицеров стоял капитан Кук в треуголке и парике и рассматривал берег в подзорную трубу; увидав доктора Трилэни, он сейчас же велел передать ему флажками следующее распоряжение: «Доктор, немедленно поднимайтесь на борт. Мы не закончили партию».

Доктор попрощался со всеми в Терральбе. Матросы запели гимн «Австралия, Австралия!» и подняли доктора на корабль верхом на бочке «канкароне». После чего корабли снялись с якоря.

Я ничего этого не видел. Спрятавшись в лесу, я выдумывал свои истории. Поздно, слишком поздно узнав о случившемся, я со всех ног бросился на берег.

— Доктор! Доктор Трилэни! Возьмите меня с собой! Вы не оставите меня, доктор!—кричал я что есть мочи.

Но корабли уже исчезали на горизонте, и я остался здесь, у нас, в мире бесконечных обязанностей и блуждающих огней.

1951



БАРОН НА ДЕРЕВЕ



Il barone rampante

Перевод Л. Вершинина



I

Последний раз мой брат, Козимо Пьоваско ди Рондо, был в кругу семьи 15 июня 1767 года. Я помню все так, будто это произошло вчера. Мы сидели в столовой нашей виллы в Омброзе; в окна заглядывали густые ветви могучего дуба. Был полдень, и наша семья, по старинному обычаю, уже сидела за столом, хотя в то время многие дворяне переняли у ленивого французского двора манеру обедать ближе к вечеру. Помнится, с моря дул ветерок, шевеля листву. Козимо крикнул:

— Сказал — не буду, значит, не буду! — И оттолкнул тарелку вареных улиток.

Подобного непослушанья никто не ожидал.

Во главе стола восседал наш отец, барон Арминио Пьоваско ди Рондо, в давно вышедшем из моды парике а-ля Людовик XIV с

длинными, закрывавшими уши локонами. Впрочем, почти все, что носил наш отец, давно вышло из моды.

Между мной и Козимо поместился аббат Фошлафлер, милостынеподатель нашей семьи и наставник — мой и брата. Напротив сидели мать семейства «генеральша» Конрадина ди Рондо и наша сестра Баттиста, домашняя монахиня. На противоположном конце стола восседал облаченный в турецкие одежды кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега, управляющий, он же управитель земель и вод в наших владениях. Будучи незаконным братом отца, он доводился нам дядей.

Несколько месяцев назад, когда Козимо исполнилось двенадцать, а мне — восемь, нас допустили за родительский стол. Впрочем, я удостоился этой чести раньше срока: они не хотели, чтобы я обедал один. Я говорю «удостоился чести» не без горечи. На самом деле для нас с Козимо сразу же кончилось привольное житье, и нам оставалось лишь оплакивать обеды в нашей комнатке, в компании одного только аббата Фошлафлера.

Аббат, сухой, морщинистый старик, слыл янсенистом. Ему и в самом деле пришлось бежать из своего родного Дофине, чтобы спастись от суда инквизиции. Но непреклонность характера, которую все дружно восхваляли, высокие нравственные требования к себе и другим постепенно уступали место природной вялости и равнодушию, словно долгие раздумья в те часы, когда он сидел, устремив глаза в пустоту, породили в нем скуку и отвращение ко всему и убедили, что даже самая малая трудность есть перст судьбы, а значит, бесполезно с ней бороться.

Обеда под надзором аббата, мы, прежде чем сесть за стол, долго повторяли вслед за ним молитвы и в начале трапезы в полном молчании размеренно поглощали пищу ложку за ложкой; горе тому, кто поднимал глаза от тарелки или глотал бульон, громко хлюпая. Но уже после первого блюда аббат утомлялся и, вперив взгляд в пространство, причмокивал языком при каждом глотке вина, словно ему остались лишь эти преходящие, минутные радости. Второе мы уже преспокойно ели руками, к концу обеда начинали кидаться огрызками груш, а старый аббат лишь время от времени лениво бросал:

— O-oh bien! O-oh alors!¹

Теперь же, за общим столом, нас ожидали обычные семейные попреки — самая печальная страница детства. Отец и мать глаз с нас не спускали, только и слышно было: «Кур едят ножом и вилкой», «Сиди прямо», «Убери локти со стола». И в довершение всего эта язва Баттиста, наша милая сестрица, ухмылялась.

Все шло одно к одному: на нас кричали — мы делали назло, нас наказывали — мы упрямылись еще больше, и так до тех пор, пока однажды Козимо не отказался есть улиток, твердо решив отделиться и пойти своим путем.

¹ Ну! Да ну же! (франц.)

Это переплетение взаимных обид стало для меня понятным много позже, а тогда, в восьмилетнем возрасте, все казалось игрой; даже воюя со взрослыми, мы как будто играли в войну, я и не подозревал, что за упорством брата кроется нечто более глубокое.

Наш отец, барон ди Рондо, был, несомненно, человек незлой, но очень скучный—скучный хотя бы потому, что всю свою жизнь руководствовался устаревшими представлениями, как это часто бывает в переходную пору. Смутные времена вызывают у многих смутные стремления, и люди начинают действовать совершенно невпопад. Вот и мой отец, когда все клокотало в ожидании великих перемен, носился со своими притязаниями на титул герцога д'Омброза и ни о чем другом не думал, кроме генеалогии, престолонаследования и соперничества или союза с владельцами ближних и дальних замков.

Одним словом, мы жили так, будто нас в любую минуту могли призвать ко двору—не знаю уж—императрицы ли австрийской, короля Людовика или же этих коронованных дикарей из Турина. Если на второе подавали индейку, отец бдительно следил, режем ли мы ее и сдираем ли кожицу по всем правилам придворного этикета, а аббат, которому надлежало во всем подпевать отцу, почти не притрагивался к еде, дабы самому не оскандалиться. Здесь же за обедом нам открылась вся фальшь души кавалера-адвоката Карреги: под полой его длинного турецкого одеяния исчезали целые индюшачьи ножки, потом он, спрятавшись в винограднике, с аппетитом поедал их, откусывая кусок за куском. Мы с Козимо готовы были поклясться—хотя нам ни разу не удалось поймать его на месте преступления, столь ловко и быстро он это проделывал,—что он садился за стол с карманами, полными обглоданных косточек, и высypал их потом на тарелку вместо исчезнувших нетронутыми кусков индюшатины.

Наша матушка, «генеральша» Конрадина ди Рондо, в счет не шла, так как даже за столом она сохраняла свои по-военному резкие манеры.

— So! Noch ein wenig! Gut!¹—командовала она, и никто не находил в этом ничего особенного. Но нас она стремилась приучить если не к этикету, то к дисциплине и помогала мужу своими уместными скорее на плац-параде приказами:

— Sitz' ruhig!² Вытри рот!

И только Баттиста, домашняя монахиня, чувствовала себя за столом в своей стихии: с упорством и тщанием, чуть ли не на отдельные волокна, разрезала она цыплят специальными остро отточенными ножичками, какие были только у нее и очень походили на ланцет хирурга. Отец, которому следовало бы ставить ее нам в пример, не решался взглянуть на нее: своими

¹ Так! Еще немного! Довольно! (нем.)

² Сиди смирно! (нем.)

частыми мелкими зубами и выпученными глазами на желтом мышинном личике, затененном широким накрахмаленным чепцом, она нагоняла страх даже на него. Итак, нетрудно понять, что именно за столом получало выход все накопившееся раздражение, вся давняя неприязнь между членами нашего семейства и обнаруживались странности одних и лицемерие других, вот почему и бунт Козимо вспыхнул за столом. Именно по этой причине я рассказываю столь подробно о наших семейных трагедиях, тем более что в жизнеописании моего брата, как вы убедитесь в дальнейшем, уже больше не придется описывать накрытый стол.

Столовая была единственным местом, где мы встречались со взрослыми. Все остальное время мать проводила у себя в комнатах за вышиванием и плетением кружев, ибо нашей «генеральше» ди Рондо были ведомы только эти два традиционнo женских занятия и лишь в них давала она исход своей страсти к военным наукам. Обычно на ее кружевах и вышивках были изображены топографические карты: разложив их на подушках или гобеленах, матушка отмечала булавками и флажками места сражений времен войны за австрийское наследство, которые знала на память. Иногда она вышивала пушки, намечая цветной ниткой выходящую из их дула линию полета ядер и углы прицела, поскольку была весьма сведуща в баллистике и к тому же в ее распоряжении имелась библиотека ее отца-генерала—бесчисленные военные трактаты, таблицы прицелов и географические атласы.

Матушка, урожденная фон Куртевиц, была дочерью генерала Конрада фон Куртевица, который двадцать лет назад во главе войск Марии-Терезии, императрицы австрийской, захватил наши земли. Она рано лишилась матери, и генерал брал ее с собой в походы. Ничего романтического в этих скитаниях не было, путешествовала она в лучших каретах, в сопровождении многочисленных служанок, останавливалась в самых богатых замках. Наша будущая мать проводила время за плетением кружев, и все рассказы, будто она на верном коне мчалась в гущу битвы,— сплошные выдумки. На моей памяти она всегда была особой мирной, невысокого роста, с красноватой кожей и вздернутым носом, а страсть отца-генерала к военным наукам она лелеяла, вероятно, в пику мужу.

Отец был одним из немногих дворян в нашей округе, которые приняли в войне сторону австрийков. Он с распростертыми объятиями встретил генерала фон Куртевица в своем поместье, отдал в его распоряжение своих людей и, дабы показать свою безграничную преданность делу императрицы, женился на Конрадине—все это в надежде стать герцогом д'Омброза. Но, как всегда, фортуна повернулась к нему спиной—императорские войска вскоре ушли, и генуэзцы обложили его непомерными налогами.

Зато он получил отменную жену. Когда ее отец Конрад фон

Куртевиц умер во время похода на Прованс и императрица Мария-Терезия прислала ей золотое ожерелье на камчатной подушечке, Конрадину стали почтительно именовать «генеральшей». С отцом они почти всегда ладили, хотя, возвращенная в походах, матушка мечтала о войнах и сражениях и нередко с упреком называла отца безнадежным фантазером и неудачником.

Впрочем, оба они на всю жизнь застряли во временах войны за австрийское наследство: она со своей баллистикой, а он со своим генеалогическим древом. Она мечтала об офицерском чине для нас, все равно в чьей армии, а он спал и видел меня или Козимо мужем какой-нибудь графини, наследницы имперского курфюрста. Несмотря на все это, они были превосходные родители, до того, однако, поглощенные своими химерами, что мы оба росли, предоставленные сами себе. Хорошо это было для нас или плохо? Трудно сказать. Хотя жизнь Козимо сложилась столь необычно, а моя протекла столь скромно и заурядно, детство мы провели вместе, были равно безразличны ко всему, что заботило взрослых, и упрямо старались отыскать непроторенные пути. Мы взбирались на деревья (эти невинные детские игры окружены для меня теперь ореолом первого посвящения и предзнаменования — тогда же я, конечно, об этом не думал), одолевали вброд ручьи, прыгая с камня на камень, разведывали пещеры на берегу моря, скатывались по мраморным перилам парадной лестницы на нашей вилле.

Эта мальчишеская забава стала одной из главных причин ссоры Козимо с родными: как-то раз он был сурово и, по его глубокому убеждению, несправедливо наказан, и с тех пор в нем зрела вражда к семейству (а может, и к обществу или даже ко всему миропорядку), открыто проявившаяся пятнадцатого июня.

Честно говоря, нам еще раньше строго-настроено запретили съезжать по перилам — отнюдь не из страха, что мы сломаем руку или ногу (отцу с матерью это даже в голову не приходило, и, верно, потому мы никогда ничего не ломали), а по той причине, что, подросши и став тяжелее, мы могли разбить статуи предков, по приказу отца венчавшие перила на каждом марше. Однажды Козимо уже сбил статую нашего прапрадеда в полном епископском облачении и был примерно наказан. После того случая он научился тормозить в последний миг и спрыгивать за секунду до неминуемого, казалось бы, столкновения со статуей. Я подражал ему во всем и тоже выучился этому маневру, но, будучи по натуре нерешительным и осторожным, спрыгивал посреди пролета или же спускался не так быстро, то и дело приостанавливаясь. И надо же было случиться, чтобы аббат Фошлафлер вздумал подниматься по лестнице как раз в ту минуту, когда Козимо стрелой скользил вниз. Аббат неторопливо переступал со ступеньки на ступеньку, раскрыв молитвенник и вперив взгляд в пустоту, словно дряхлый петух. Хоть бы он дремал на ходу, как обычно! Увы, то была одна из редких минут,

когда и зрение и слух его бодрствовали. Он увидел моего старшего брата и подумал: «Перила, статуя, сейчас Козимо на нее налетит, мне тоже попадет за то, что я не уследил», ибо за каждую нашу проделку изрядно попадало и ему. И он бросился к перилам, пытаясь удержать Козимо. Брат налетел на беднягу аббата, увлек его за собой (аббат был весьма щуплый), не сумел затормозить и с удвоенной силой обрушился на статую нашего предка Каччагуэрру Пьоваско, доблестного крестоносца, павшего в Святой земле. Все трое свалились у подножия лестницы: бесстрашный рыцарь, разлетевшийся на тысячу гипсовых осколков, Козимо и аббат. Козимо пришлось выслушать длиннейшую нотацию, его основательно выпороли, заставили читать молитвы и заперли в темной комнате, посадив на хлеб и воду, точнее, на хлеб и холодный суп. И тогда Козимо, который считал виновным не себя, но аббата, отвечал гневным возгласом:

— Плевать я хотел на всех ваших предков, батюшка!

Так впервые заговорил в нем бунтарский дух.

В сущности, такой же одинокой и мятежной душой была и наша сестра Баттиста: ведь стать затворницей ее принудил отец после некой истории с молодым маркизом делла Мела. Что у нее произошло тогда с маркизом, так никто в точности и не узнал! Каким образом этот отпрыск враждебного семейства проник в наш дом? И с какой целью? Чтобы соблазнить нашу сестрицу и даже насильно овладеть ею—доказывали мои отец и мать в бесконечных препирательствах с семейством дела Мела, возникших по этому поводу. Однако мы никак не могли представить себе этого веснушчатого рохлю в роли злодея-соблазнителя, да еще нашей сестры, которая была куда здоровее его и даже с конюшенными тягалась, чья рука крепче. И почему кричал он, а не она? И разве не странно, что наш отец и сбежавшиеся слуги увидели, что панталоны соблазнителя изорваны в клочья, словно когтями тигрицы?

Семейство дела Мела не признало, что их сын посягнул на честь Баттисты, и не согласилось на их брак. И тогда отец заточил сестру в доме, и она стала затворницей, даже не дав обета терциарии¹, ибо ее призвание к монашеской жизни было весьма сомнительно.

Коварство ее природы особенно проявилось в кулинарном искусстве. Она была отменной кулинаршей, ибо необходимых для этого качеств—терпения и выдумки—у нее хватало, но стоило ей побывать на кухне, как за столом нас подстерегали всевозможные сюрпризы: так, однажды она приготовила хлебцы с паштетом, надо признаться, удивительно вкусные, но что они из мышинной печенки, милая сестрица сказала, лишь когда мы все съели да еще похвалили ее. Я уже не говорю о твердых и зазубренных, как

¹ Терциарии—лица, живущие вне монастыря, но соблюдающие монашеский устав.

пила, задних ножках саранчи, выложенных в виде мозаики на пыльном торте, о свиных хвостиках, запеченных так, что их можно было принять за кределли. Как-то раз она, неведомо зачем, сварила ежа со всеми иголками—видно, ей хотелось поразить нас лишь в тот миг, когда с блюда снимут крышку, потому что она и сама не притрунулась к нему, хотя обычно ела все свои яства, а ежик был маленький, розовый, наверняка очень мягкий. Вообще многие отвратительные блюда она готовила скорее из желания ошеломить нас, хотя при этом ей явно доставляло удовольствие, что мне с Козимо приходилось есть вместе с ней кушанья, от вкуса которых мороз подирал по коже. Свои изысканные блюда Баттиста готовила с тщательностью ювелира, призвав на помощь все животное и растительное царство. То она сварит кочан цветной капусты с заячьими ушами и в кафтанчике из заячьего меха, то свиную голову с торчащим изо рта, словно высунутый язык, красным омаром, клешни которого крепко сжимали как бы только что вырванный у борова язык. И наконец—улитки. Баттисте как-то удалось обезглавить бесчисленное множество улиток, а их мягкие головки она, видимо, на зубочистках, по одной воткнула в каждое пирожное. Когда их подали на стол, они показались нам стайкой крохотных лебедей. Сам вид этих лакомств был отвратителен, а когда мы представляли себе, с каким рвением и усердием Баттиста готовила эти блюда, как ее тонкие руки разрывали бедных улиток, нам и вовсе становилось не по себе.

Эта страсть сестры к улиткам, в истязание которых она вкладывала столько мрачной выдумки, и подвигла нас к бунту. Нами руководило и сострадание к бедным животным, и отвращение к запаху вареных улиток, а главное—неосознанный протест против всех и вся, и не следует удивляться, что именно так решился Козимо на смелый поступок, имевший столь неожиданные последствия.

Однажды мы разработали хитроумный план. Как-то раз кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега, по обычаю, доставил в дом полную корзину съедобных улиток, их снесли в подвал и ссыпали в бочку, где кормили одними отрубями, чтобы бедные твари попостились и очистили желудок. Едва мы сняли крышку, как увидели подобье ада. Несчастные улитки в предчувствии агонии еле-еле ползали по дну среди остатков отрубей, полосок высохшей пены и разноцветных фекалий, напоминавших о тех счастливых временах, когда они жили на воде и лакомились свежей травкой. Одни улитки уже вылезли из своего домика, вытянув голову и расставив рожки, другие спрятались, лишь высунув чуть-чуть недоверчивые рожки-антенны, третьи собрались в кружок, как кумушки, многие оцепенели и заснули, а некоторые уже подошли и валялись на боку. Чтобы спасти их от встречи с жестокой поварихой, а нас самих—от ее яств, мы проделали в днище бочонка дыру и, дабы побудить улиток к

бегству, выложили из нарезанной травы и меда потайную тропку между другими бочками и ящиками к окошку, выходявшему на запущенную, поросшую сорняками грядку.

На другой день мы спустились в погреб и со свечой в руках стали осматривать стены и все закоулки. План удался на славу.

— Смотри, вот одна! А вон еще! Гляди, куда эта забралась!

Улитки вытянулись в ряд вдоль нашей тропинки из травы и меда и одна за другой одолевали путь от бочки к окну.

— Живее, улиточки! Бегите во всю прыть!—не в силах удержаться, мы торопили их, увидев, как медленно они ползут и как некоторые из них отползают в сторону по грубой, шершавой стене, привлеченные налетами винного камня и плесенью.

Погреб был темный, заставленный бочками, с неровным полом, и мы надеялись, что никто не обнаружит здесь наших улиток и они все до одной успеют удрать.

Однако наша неугомонная сестрица имела обыкновение ночью шарить по дому, охотясь за мышами со свечой в одной руке и ружьем в другой. Этой ночью она спустилась в погреб, и огонек свечи осветил на потолке заблудившуюся улитку и полоску серебряной пены.

Прогремел выстрел. Мы подскочили в кроватях, но тут же снова уткнулись в подушку—все в доме привыкли к ночной охоте затворницы. Но Баттиста, своим нелепым выстрелом расплющив бедную улитку и отбив кусок штукатурки, завизжала не своим голосом:

— На помощь! Они убегают! На помощь!

Сбежались полураздетые слуги, отец, вооружившийся саблей, аббат без парика; кавалер-адвокат Каррега спросонья ничего не понял, но во избежание всяких неприятностей удрал из дому и улегся спать в стожке соломы.

При свете факелов все занялись охотой: хотя суп из улиток всем изрядно надоел, но люди из обычного самолюбия не хотели признаться, что их разбудили и подняли с постели из-за пустяка. Кто-то обнаружил дыру в бочке, сразу поняли, что это наших рук дело. Отец ворвался к нам в спальню, размахивая кучерским кнутом, и наши спины, ноги и зад были мгновенно разукрашены фиолетовыми полосами, потом нас посадили в темную комнату, где продержали три дня взаперти на хлебе, воде, салате, старой, жилистой говядине и холодном супе, который, по счастью, очень нам понравился. А пятнадцатого июня, ровно в полдень, вся семья как ни в чем не бывало собралась за столом. И что же нам приготовила Баттиста, верховный правитель нашей кухни? Суп из улиток и на второе жареные улитки. Козимо ни к чему даже не притронулся.

— Ешьте, не то снова отправитесь в чулан!

Я сдался и стал неохотно глотать моллюсков. Конечно, с моей стороны это было предательство, и Козимо почувствовал себя совсем одиноким, уходя, он унес с собой досаду на меня, не

оправдавшего его надежд. Но мне было всего восемь лет, да и можно ли сравнивать мою силу воли, особенно в детские годы, с человеческим упорством, которым была отмечена вся жизнь моего брата.

— Ну как? — повторил отец.

— Нет и еще раз нет! — ответил Козимо и отодвинул тарелку.

— Вон из-за стола!

Но брат и без того уже поднялся и вышел из столовой.

— Куда ты?

Через стеклянную дверь мы увидели, как он берет свою треугольную шляпу и маленькую шпагу.

— Куда надо!

Он помчался в сад.

Немного спустя мы увидели через окно, что Козимо взбирается на падуб. Одет и причесан он был со всей тщательностью, ибо по требованию отца в таком виде обычно являлся к столу, несмотря на свои двенадцать лет: треугольная шляпа, напудренные волосы, завязанная лентой косица, кружевной галстук, зеленый фрак, желтые панталоны, шпага и длинные гетры из белой кожи — единственная уступка нашему деревенскому образу жизни. Поскольку мне было лишь восемь лет, мне разрешили пудрить волосы только по праздникам, а шпагу не позволили носить вовсе, хотя ее-то я бы с удовольствием нацепил.

Козимо взбирался на узловатый падуб, цепляясь руками за ветки и крепко сжимая ногами ствол, с ловкостью и быстротой, приобретенной в наших долгих совместных странствиях по деревьям.

Я уже упоминал, что мы проводили на деревьях целые часы — не для того, чтобы, как многие мальчишки, нарвать плодов или разорить птичьи гнезда, а просто ради удовольствия карабкаться вверх по сучковатому стволу, то и дело повисая на ветвях, взбираться как можно выше и, отыскав укромное местечко, смотреть с высоты на мир и потешаться над прохожими, внезапно окликая их. Поэтому я не удивился, что Козимо, когда его беспричинно обидели, решил укрыться на старом падубе, любимом нашем дереве, ветви которого свешивались к самым окнам столовой, что позволило брату принять оскорбленную и гордую позу на виду у всего семейства.

— Vorsicht! Vorsicht!¹ Он же упадет, бедняжка! — испугалась матушка, которая с радостью послала бы нас обоих под огонь неприятельских пушек, но приходила в ужас от любой нашей игры.

Наконец Козимо добрался до крепкого раздвоенного сука и устроился там поудобнее: свесил ноги, скрестил руки и спрятал ладони под мышками, втянув голову в плечи и надвинув на лоб треугольную шляпу.

¹ Осторожно! Осторожно! (нем.)

Отец высунулся из окна.

— Ничего, устанешь торчать на дереве, живо образумишься!— крикнул он.

— Не образумлюсь,— ответил Козимо с ветки.

— Ну так я тебя вразумлю, как только спустишься.

— А я никогда не спущусь.

И он сдержал слово.

II

Козимо сидел на дереве. Ветви падуба сплелись и, словно высокие мосты, повисли над землей. Дул легкий ветерок, светило солнце. Лучи пробивались сквозь листву, и нам, чтобы разглядеть брата, приходилось прикрывать глаза ладонью. Козимо смотрел на мир с высоты; оттуда все казалось иным, и это само по себе уже было занятно. Аллеи, грядки, гортензии и камелии, железный столик, чтобы пить кофе прямо в саду,—все выглядело необычно, по-новому. За виллой кроны деревьев редели, и можно было разглядеть спускавшиеся уступами огородики и поля, укрепленные каменной стеной. Гребень холма темнел оливковыми рошицами, еще дальше—селение Омброза вонзало в небо свои остроконечные крыши из красной черепицы и шифера, а ниже, в порту, развевались флаги судов. Вдали, уходя за горизонт, простиралось море и качался на волнах медлительный парусник.

Барон и генеральша после кофе спустились в сад. Они любовались розами, притворяясь, будто не замечают Козимо. Отец поддерживал супругу под локоть, но вдруг она выдернула руку, и они о чем-то заспорили, сильно жестикулируя. Я же подошел к падубу, делая вид, что занят игрой, а на самом деле желая привлечь внимание Козимо. Но он еще таил обиду на меня и неотрывно смотрел куда-то вдаль. Я перестал притворяться и спрятался под скамейку, чтобы незаметно наблюдать за братом.

Козимо чувствовал себя на дереве дозорным. Он все видел, и сверху все ему представлялось крохотным. Через лимонную рощу шла женщина с корзиной. На холм взбирался погонщик, держась за хвост мула. Он так и не встретились. Женщина обернулась на стук кованых башмаков и побежала к дороге, но опоздала. Тогда она громко запела, но погонщик уже свернул вправо. Он прислушался, крикнул «но-о!» и щелкнул кнутом. Этим все и кончилось.

Козимо с дерева видел и крестьянку, и ее дружка.

В глубине аллеи показался аббат Фошлафлер с раскрытым молитвенником в руках. Козимо схватил что-то, не то маленького жучка, не то кусок коры, и бросил аббату на голову, но промахнулся. Потом стал ковырять своей тонкой шпатель в дупле. Из дупла появилась разъяренная оса. Козимо отогнал осу взмахом шляпы и долго следил за ее полетом, пока она не скрылась в огороде за тыквой. Кавалер-адвокат Энеа-Сильвио

Каррега, как всегда, проворно вышел из дому, спустился по лестнице в сад и мгновенно исчез в винограднике. Козимо перебрался на ветку повыше, чтобы удобнее было следить за ним. Вдруг густая листва заколыхалась, и с дерева взлетел дрозд. Козимо огорчился, что просидел наверху столько времени, но птицы так и не заметил. Он заслонился от солнца ладонью и обвел взглядом соседние деревья, высматривая, не прячутся ли там другие дрозды. Нет, больше птиц не было.

Рядом с падубом рос вяз, и кроны деревьев почти соприкасались. Одна из ветвей вяза была на полметра выше ветки падуба, поэтому брату легко было перелезть на вяз и покорить его вершину, еще не разведанную нами из-за того, что нижние сучья дерева росли высоко и взобраться на них с земли было почти невозможно.

С вяза Козимо, выискивая сучья, вплотную подходившие к веткам соседнего рожкового дерева, перелез сначала на него, а оттуда — на тутовник. Мне снизу видно было, как брат путешествует по деревьям нашего старого сада.

Толстые ветви раскидистого тутовника свешивались через изгородь, отделявшую нашу виллу от сада д'Ондарива. Хотя мы и были соседями, но ничего не знали о маркизах д'Ондарива, потому что уже несколько поколений их род владел ленными правами, на которые претендовал мой отец, и упорная вражда разделяла обе семьи не менее прочно, чем массивная, поистине крепостная стена, воздвигнутая уж не знаю кем — отцом или маркизом д'Ондарива, — разделяла наши виллы. К тому же соседи ревниво оберегали свой сад, в котором, по слухам, росли самые диковинные растения.

Еще дед нынешних владельцев виллы, ученик Линнея, через своих многочисленных родичей при дворах Франции и Англии раздобыл ценнейшие ботанические диковины из всех колоний. Много лет подряд выгружали в Омброзе мешки с семенами, саженцы, цветы в вазах и даже целые деревья вместе с землей, пока наконец вилла д'Ондарива не стала, по слухам, подобием диких лесов Вест-Индии, Южной и Северной Америки или даже Новой Голландии.

Мы с Козимо видели лишь, как склонялись к изгороди темные листья растения, вывезенного из американских колоний и называемого магнолией, и как на его черных ветвях колыхался мясистый белый цветок.

С тутовника Козимо соскочил на край изгороди, балансируя руками, прошел по ней и спустился с другой стороны, где прямо к стенке подбирались цветы и листья. Потом он исчез из виду. О том, что я расскажу сейчас, как и о многих других событиях своей жизни, брат сам сообщил мне впоследствии, а кое-что я восстановил по скупым свидетельствам очевидцев или воссоздал своим воображением.

Козимо сидел на магнолии. Хотя ветки у магнолии очень

густые, брат, привыкший одолевать любые деревья, без всякого труда лазил по ней. Ветви под тяжестью его тела не ломались, хотя были не особенно крепкими, с нежной черной корой, которую ботинки Козимо безжалостно сдирали, оставляя на ней белые раны. Ветерок шевелил листья, переворачивая их то матовой, то блестящей стороной, и обдавал Козимо запахом свежести. Весь сад был полон благоухания, и Козимо, которому пока не удавалось окинуть его взглядом — такой он был густой, — полной грудью вдыхал этот поток ароматов, знакомых ему, впрочем, еще с тех пор, когда ветер доносил к нам в сад диковинные запахи, столь же таинственные, как и сама соседняя вилла. Брат разглядывал незнакомые деревья и дивился, какие у них чудные листья и стволы. У одних листья были маленькие, перистые, а стволы гладкие, у других большие листья блестящие, словно омытые дождем, а стволы были шершавые, узловатые. В саду было тихо-тихо. Только стайка крохотных крапивников с криком сорвалась с дерева да откуда-то доносился нежный мелодичный голосок:

— Oh là là... La ba-la-ñoïre!¹

Козимо посмотрел вниз. На качелях, подвешенных к огромному дереву, раскачивалась девочка лет десяти. Волосы у нее были белокурые, высокая прическа выглядела немного смешно для маленькой девочки, голубое платье сшито совсем как у взрослой, широкая, раздуваемая ветром юбка была отделана кружевом.

Девочка, разыгрывая из себя светскую даму, откинула голову и прищурила глаза. Она ела яблоко, то и дело наклоняясь к руке, которой сжимала его и одновременно держалась за веревку качелей; когда качели опускались совсем низко, она отталкивалась носком туфельки. Откусив кусочек, девочка выплевывала кожуру, напевая свое «Oh là là là! La ba-la-ñoïre...», и при этом вид у нее был такой, словно ей уже неинтересны ни качели, ни песня, ни даже яблоко — у нее совсем другое на уме.

Козимо с верхушки магнолии спустился как можно ниже, уперся ногами в раздвоенную ветку и облокотился на нее, словно на подоконник. Качели взлетели высоко-высоко, прямо к его носу. Девочка о чем-то задумалась и вначале ничего не замечала. Потом вдруг она увидела на ветке мальчишку в треуголке и гетрах.

— Ай! — вскрикнула она.

Яблоко выпало у нее из рук и покатилось к магнолии. Козимо вынул шпагу, свесился с нижней ветки, дотянулся до яблока острием шпаги и проткнул его, а затем галантно протянул девочке, которая тем временем успела еще раз опуститься и взлететь ввысь на качелях...

— Возьмите, оно не грязное, только побилось немного.

Белокурая девочка уже пожалела, что так откровенно изуми-

¹ О-ля-ля... Качели! (франц.)

лась, увидев на магнолии незнакомого мальчишку, и снова приняла гордый, независимый вид и задрала носик.

— Вы вор?—спросила она.

— Вор?—обиделся было Козимо. Но тут же подумал, что теперь это вовсе не так плохо.— Да, я вор,—сказал он, надвинув шляпу на лоб.— Вам это не нравится?

— Что же вы собираетесь украсть?

Козимо посмотрел на яблоко, надетое на острие шпаги, и вспомнил, что за столом он почти не притронулся к еде.

Он почувствовал голод.

— Это яблоко,—сказал он и стал снимать кожуру шпагой, отточенной, несмотря на строжайший запрет родителей, остро-остро.

— Значит, вы воруете фрукты?—заклчила девочка.

Брат вспомнил о ватаге крестьянских ребят из Омброзы, которые перелезали через заборы и очищали сады. Ему было строго-настрого приказано держаться подальше от этой породы мальчишек, а теперь он впервые позавидовал их веселому и привольному житью. Может, хоть сейчас ему удастся стать таким же свободным, как они.

— Да,—подтвердил он. Потом нарезал яблоко дольками и принялся его уплетать.

Белокурая девочка засмеялась, и все время, пока качели летели вверх, а затем вниз, не умолкал ее звонкий смех.

— Подите вы! Я всех этих ребят знаю! Они мои друзья. Они все нечесаные, босые, оборванные, а вы в гетрах и в парике!

Брат стал красным, как кожура яблока. Парик ему самому очень-то нравился, зато гетры были предметом его гордости, а эта девчонка насмеяется над тем и другим и считает, что даже жалкие, шнырящие по садам воришки, еще минуту назад презираемые им, и те выглядят лучше! А главное, эта барышня, которая изображает из себя хозяйку сада д'Ондарива, дружит с воришками, а не с ним. Все это донельзя обижало и злило Козимо и вызывало в нем какое-то ревнивое чувство.

— О-ля-ля... В гетрах и парике!—пропела девочка на качелях.

В Козимо заговорила гордость.

— Я не воришка, как ваши знакомые!—крикнул он.— Я вообще не вор. Просто мне не хотелось вас пугать. Если вы узнаете, кто я, вы умрете со страху. Я—разбойник! Страшный разбойник!

Девочка невозмутимо раскачивалась на качелях и, казалось, норовила угодить туфелькой прямо в нос Козимо.

— Вот и неправда! А где у вас ружье? У всех разбойников есть ружья! Или мушкеты! Я их видела! Они пять раз останавливали нашу карету по дороге из замка сюда.

— Зато главаря не видели! А я главарь! Главарь разбойников ружья не носит. У него только шпага. Вот она!—И он показал свою короткую шпагу.

Девочка пожалала плечами.

— Главаря разбойников,—объявила она,—зовут Лесной Джан. Он на рождество и пасху всегда приносит нам подарки!

— Вот как!—воскликнул Козимо ди Рондо, в котором проснулась старая семейная неприязнь.—Значит, мой отец правду говорит, что маркиз д'Ондарива покровительствует всем бандитам и контрабандистам в округе!

Качели понеслись вниз, и девочка не оттолкнулась, а резко притормозила ногой и соскочила на землю. Пустые качели подскочили и задергались на веревках.

— Сию же минуту слезайте. Как вы смели проникнуть на наши земли!—сердито воскликнула девочка, погрозив Козимо пальцем.

— Я к вам не проникал и не слезу,—отпарировал Козимо с не меньшим жаром.—На вашу землю я не ступал и не ступлю, если б даже мне пообещали все золото мира!

Тут девочка спокойно взяла веер, лежавший на плетеном кресле, и, прохаживаясь взад и вперед, стала им обмахиваться, хотя в саду было совсем не жарко.

— Сейчас я позову слуг и велю им схватить вас и хорошенько высечь,—невозмутимо сказала она.—Тогда у вас навсегда пропадет охота забираться на чужие земли.

Она то и дело меняла тон, и брат каждый раз совершенно терялся.

— Здесь, наверху, нет земли, и тут вам ничего не принадлежит!—объявил Козимо.

Его так и подмывало добавить: «И потом, я герцог д'Омброза, хозяин всех окрестных земель», но он сдержался, потому что ему было не по душе повторять всегдашние речи отца, особенно теперь, когда он поссорился с ним и убежал из-за стола. А главное, притязания на герцогский титул всегда казались ему нелепостью. Не хватает только и ему, Козимо, хвастливо объявить себя герцогом! Но отступить было поздно, и он твердо продолжал:

— Здесь вам ничего не принадлежит. Ваша только земля. Вот если бы я ступил на нее, это было бы вторжением в ваши владения. А наверху я могу лазить где мне вздумается.

— Значит, наверху все твое...

— Конечно! Это мои владения.—Он неопределенно показал рукой на ветви, на пронизанную солнцем листву, на небо.—Все ветки принадлежат мне. Пусть твои слуги попробуют меня изловить!

Он ожидал, что девочка снова начнет смеяться над его бахвальством. Но неожиданно его слова заинтересовали ее.

— Ах так! А куда простираются твои владения?

— За оградой до самой оливковой рощи на холме, а в лесу до самой епископской земли. Всюду, куда можно добраться по деревьям.

— До самой Франции?

— Еще дальше. До Польши и Саксонии,— ответил Козимо, который из всей географии знал лишь те страны, которые упоминала мать, рассказывая о войне за австрийское наследство.— Но я не такой вредный, как ты. Приглашаю тебя в мои владения.

Теперь оба перешли на «ты», но первой так обратилась к нему она.

— А качели чьи?—спросила девочка и уселась на них, держа в руке раскрытый веер.

— Качели твои,—решил Козимо.— Но раз они привязаны к этой ветке, значит, они в моей власти. Когда ты касаешься ногой земли, ты в своих владениях, а когда поднимаешься вверх—в моих.

Девочка оттолкнулась и, крепко сжимая руками веревки, вымыла вывысь.

Козимо спрыгнул с магнолии на толстый сук, к которому были привязаны качели, и стал их раскачивать, схватившись за веревки. Качели взлетали все выше и выше.

— Страшно?

— Нет. Как тебя зовут?

— Меня Козимо. А тебя?

— Виоланта, но все зовут меня просто Виола.

— А меня Мино. Потому что Козимо—стариковское имя.

— Мне это имя не нравится.

— Какое? Козимо?

— Нет, Мино.

— А... Тогда зови меня Козимо.

— И не подумаю! Послушай, давай с тобой раз и навсегда условимся.

— О чем?—буркнул Козимо, совсем растерявшись.

— Вот о чем. Я могу подниматься в твои владения и быть твоей гостьей. И я неприкосновенна. Прихожу и ухожу, когда захочу. Согласен? Ты же неприкосновенен только в своих владениях, на деревьях. Но стоит тебе коснуться земли в нашем саду, ты сразу станешь моим рабом и тебя закуют в цепи.

— Я никогда не спущусь на землю, ни в твоём саду, ни в моем. Для меня оба сада—вражеская страна. Лучше ты поднимайся ко мне на деревья. Можешь взять и своих друзей, которые воруят фрукты, а я возьму моего брата Бьяджо, хоть он немного трусоват. Мы создадим войско и проучим всех, кто живет на земле.

— Нет-нет, ничего подобного. Дай мне объяснить, что и как. Ты хозяин всех деревьев, не так ли? Но если ты хоть раз коснешься земли, ты потеряешь все свое царство и станешь последним из рабов. Понял? Если даже ветка обломится и ты свалишься, все пропало!

— Я в жизни не падал с деревьев!

— Пускай. Но если ты упадешь, то превратишься в пепел, и ветер развевает его по свету.

— Это все твои выдумки. Я не стану слезать на землю ни за что.

— До чего ж ты скучный!

— Ну ладно, согласен. Давай играть. А на качелях я могу качаться?

— Если только сумеешь сесть на них, не коснувшись земли.

Рядом с качелями Виолы на том же дереве висели вторые. Чтобы они не сталкивались, веревки укоротили, завязав их узлом. Козимо, уцепившись за веревки, соскользнул вниз, подобрался к узлу, распутал его и встал на качели. Все это он проделал с необыкновенной легкостью — ведь не зря матушка заставляла нас часами заниматься гимнастикой. Затем он пригнулся, переместив центр тяжести тела вперед, и, резко выпрямившись, взлетел ввысь. Качели, пролетая на одинаковой высоте, неслись навстречу друг другу и на миг встречались на полпути.

— Лучше сядь и оттолкнись ногами. Тогда ты еще выше поднимешься, — невинным голоском предложила Виола.

Козимо в ответ состроил гримасу.

— Ну не будь же таким упрямым. Спустись вниз и подтолкни меня, — ласково улыбаясь, попросила она.

— Нет. Мы же договорились, что я не должен ступать на землю. — Козимо снова ничего не мог понять.

— Ну будь так добр, подтолкни.

— Нет.

— Ха-ха! Ты чуть не попался. Если бы ты коснулся земли, то сразу все потерял бы!

Виола сошла на землю и стала легонько подталкивать качели Козимо.

Раз! Внезапно она схватилась за сиденье, на котором стоял Козимо, и опрокинула его. Счастье еще, что Козимо крепко держался за веревки! Иначе бы он камнем рухнул на землю.

— Изменница! — крикнул он и стал взбираться наверх, цепляясь за обе веревки, но подняться было куда труднее, чем спуститься, тем более что белокурая девочка, призвав на помощь все свое коварство, дергала снизу веревки и раскачивала их во все стороны. Наконец Козимо дополз до крепкого сука и сел на него верхом. Кружевным галстуком он вытер пот с лица.

— Ха-ха-ха! Ничего у тебя не вышло.

— Еще чуть-чуть — и вышло бы.

— Я думал, ты мне друг!

— Ах, ты думал! — Она вновь стала обмахиваться веером.

— Виоланта! — донесся до них пронзительный женский голос. — С кем это ты разговариваешь?

На белой лестнице, ведущей к вилле, показалась высокая худая синьора в широкой юбке. Она поднесла к глазам лорнет. Козимо, немного оробев, укрылся в листе.

— С одним мальчиком, ma tante,¹—ответила белокурая барышня.—Он родился на вершине дерева и теперь заколдован, так что не может спуститься вниз.

Козимо, весь красный от смущения, спрашивал себя, зачем девочка сказала это: чтобы высмеять его перед теткой, или высмеять тетку в его глазах, или просто чтобы продолжить игру; но нет, скорее всего, девочке одинаково неинтересны и он, и игра, и тетушка, которая, подойдя к дереву, пристально разглядывала моего брата, словно диковинного попугая.

— Uh, mais c'est un des Piovasques, ce jeune homme, je crois. Viens, Violante!²

Козимо сгорал от унижения. Узнав его, синьора не выказала ни малейшего удивления и даже не поинтересовалась, как он очутился у них в саду. Твердо, но не строго позвала она Виолу, и та покорно, ни разу не обернувшись, пошла за ней. Всем своим видом они словно показывали, что он для них ничего не значит, вернее, как бы и не существует вовсе.

Чудесный, необыкновенный день подернулся пеленой стыда и досады.

Но вот девочка сделала тетке знак, та нагнулась, и Виола что-то зашептала ей на ухо. Тетушка снова навела свой лорнет на Козимо.

— Ну, молодой человек, не соблаговолите ли вы выпить с нами чашечку шоколада? Тогда и мы сможем познакомиться с вами,—она искоса взглянула на Виолу,—коль скоро вы стали другом нашей семьи.

Козимо смотрел на тетю и племянницу, широко раскрыв глаза. Сердце у него учащенно билось. Его пригласили в гости д'Ондари-ва, самая чванливая семья в округе Омброзы, и недавнее унижение оборачивалось торжеством: он расквитался с отцом, на которого его вечные недруги всегда глядели сверху вниз, а теперь они признали его, и посредницей служила Виола. Отныне он будет играть с ней в этом саду, столь не похожем на все другие! Но одновременно Козимо испытывал и совершенно противоположное, хоть и смутное, чувство, в котором сливались робость, гордость, сознание своего одиночества и своего долга. В полном смятении Козимо ухватился за ветку над головой, взобрался вверх в самую гущу листвы, перелез на другое дерево и мгновенно исчез.

III

Казалось, этот день никогда не кончится. То и дело в саду слышался шум, треск сучьев. Мы выбегали в надежде, что это он, что Козимо надумал спуститься вниз. Но где там: я увидел,

¹ Тетушка (франц.).

² А по-моему, это молодой человек из семейства Пьоваско. Поди сюда, Виоланта! (франц.)

как закачалась верхушка магнолии с белым цветком, затем появился Козимо и ловко перелез через ограду. Я взобрался на тутовое дерево и пополз ему навстречу. Увидев меня, он нахмурился: обида еще не прошла. Он уселся на ветке чуть повыше меня и стал шпагой делать зарубки, всем своим видом показывая, что не желает со мной говорить

— А на тутовник совсем не трудно взбираться,— сказал я, чтобы втянуть его в разговор.— Мы на него раньше не лазили.

Брат продолжал ковырять острием кору, потом ядовито спросил:

— Ну что, понравился тебе суп из улиток?

Я протянул ему корзину.

— Мино, я тебе принес две сухие винные ягоды и кусок торта.

— Тебя они послали?— все еще отчужденно сказал он, но при виде корзины у него слюнки потекли.

— Нет. Знаешь, мне пришлось тайком удрать от аббата!— торопливо проговорил я.— Они велели мне до позднего вечера учить уроки, чтобы я с тобой не увиделся. Да только старик заснул. Мама боится, что ты упадешь и ушибешься, она хотела послать слуг на розыски, но отец, когда увидел, что тебя нет больше на падубе, решил, что ты спустился. Он сказал, что ты наверняка спрятался где-нибудь в темном уголке и горько раскаиваешься в своем проступке и, значит, бояться за тебя нечего.

— Я и не думал слезать!— сказал брат.

— Ты был в саду у д'Ондарива?

— Да, но я перелезал с дерева на дерево, а земли не касался.

— Почему?— спросил я.

Брат впервые объявил об этом своем правиле, но сказал о нем так, словно мы обо всем договорились заранее и теперь он старается заверить меня, что не нарушил его. Я не посмел приставать к нему с расспросами.

— Знаешь,— сказал он вместо ответа,— сад этих д'Ондарива и за день не исследуешь! Посмотрел бы ты, какие там деревья! Из Америки!— Тут брат вспомнил, что он в ссоре со мной и потому не должен мне рассказывать про свои удивительные открытия. Он умолк, потом сердито добавил:— Но тебя я туда не возьму. Можешь теперь гулять с Баттистой или с кавалер-адвокатом.

— Мино, ну возьми меня, возьми!— воскликнул я.— Ты не сердись. Эти противные улитки мне в рот не лезли, но отец с матерью так кричали, что я не выдержал.

Козимо с жадностью уплетал торт.

— Я испытаю тебя,— сказал он.— Тебе придется доказать, что ты со мной, а не с ними.

— Только прикажи. Я все сделаю.

— Достань мне длинные и крепкие веревки, а то в некоторых местах, не обвязавшись, не проберешься. И еще блок, крюки и гвозди, только большие...

— Ты что, лебедку хочешь сделать?

— Мне надо будет поднять наверх всякую всячину: доски, планки, там видно будет.

— А-а, ты надумал построить на дереве хижину. Но где?

— Может, потом и построю. Место мы найдем. А пока я буду тебя ждать вон на том дубу. Я спущу на веревке корзину, а ты положишь в нее все, что мне нужно.

— Зачем? Ты так говоришь, как будто решил прятаться очень долго. Думаешь, тебя не простят?

Он вспыхнул и сердито посмотрел на меня.

— Очень мне нужно, чтобы меня прощали! И вовсе я не прячусь! Я никого не боюсь. А ты что, боишься мне помочь?

Я, конечно, понял, что брат не хочет спускаться, но притворялся, будто не догадываюсь об этом, в надежде, что ему придется сказать: «Я останусь здесь до чая или до ужина, до заката или до темноты». Одним словом, я ждал, что он назовет какой-то срок, соразмерный с нанесенной ему обидой. Между тем он ничего такого не говорил, и мне стало как-то не по себе.

Снизу донесся голос. Отец звал:

— Козимо! Козимо! — Потом, заранее убежденный, что тот не ответит, он стал звать меня: — Бьяджо! Бьяджо!

— Пойду узнаю, чего им надо. Потом все тебе расскажу, — поспешно сказал я.

Должен признаться, что моя готовность все сообщить Козимо обьяснялась отчасти и желанием поскорее улизнуть, чтобы мне не пришлось, если меня застигнут за беседой с братом на верхушке тутовника, разделить с ним неотвратимое наказание. Но Козимо, видимо, не заметил легкого облачка страха на моем лице и отпустил меня, равнодушно пожав плечами и тем давая понять, насколько ему безразлично все, что скажет отец.

Когда я вернулся, Козимо сидел на том же дереве, удобно устроившись на обрубленном суку, обхватив руками колени и опершись на них подбородком.

— Мино! Мино! — крикнул я, из последних сил карабкаясь по стволу тутовника. — Тебя простили! Они ждут нас! Папа и мама уже за столом и раскладывают торт по тарелкам. Сегодня у нас торт с шоколадным кремом. И готовила его не Баттиста! Знаешь, она, наверно, заперлась у себя в комнате, у нее вся желчь разлилась от злости! Они погладили меня по голове и сказали: «Беги к бедному Мино и скажи, что мы его прощаем. И больше не будем об этом вспоминать!» Спускайся же скорей!

Козимо покусывал тоненький лист. Даже не пошевелился.

— Вот что, постарайся незаметно достать одеяло и принеси мне. Ночью наверху, должно быть, холодно.

— Не собираешься же ты провести всю ночь на деревьях!

Брат ничего не ответил. Он продолжал жевать листок и смотрел прямо перед собой. Я проследил за направлением его взгляда и увидел, что он прикован к стене сада д'Ондарива, из-за

которой выглядывал белый цветок магнолии и где высоко над деревьями парил бумажный змей.

Настал вечер. Слуги накрывали на стол, в зале зажглись свечи. Козимо с дерева видел, конечно, все эти приготовления к ужину; и барон Арминио, обращаясь к теням за окнами, крикнул:

— Не хочешь спускаться, умрешь с голоду!

В тот вечер мы впервые ужинали без Козимо. Он оседлал крепкий сук старого падуба, и нам видны были только его болтающиеся в воздухе ноги. Правда, различить их можно было, лишь подойдя к окну, потому что столовая была освещена, а в саду царила темнота.

Кавалер-адвокат тоже почел своим долгом высунуться из окна и что-то сказать, но, как обычно, сумел и тут остаться в стороне.

— О-о-о... Крепкое дерево,— пробормотал он.— Такое лет сто простоит.

Потом он добавил несколько слов по-турецки— должно быть, название дерева. Со стороны можно было подумать, что все дело в дереве, а не в моем брате.

Что же до нашей сестры Баттисты, то она явно завидовала Козимо. Привыкнув ошеломлять всю семью своими выходками, она впервые почувствовала, что ее превзошли; теперь она сердито грызла ногти, причем подносила палец к рту сверху вниз, поднимая для этого руку и выставив локоть.

Наша матушка-генеральша вспомнила, как солдаты-дозорные сидели на деревьях, охраняя бивак не то в Словении, не то в Померании, и как, заметив издали врагов, они успели предупредить отряд об опасности. Эти воспоминания, перенесшие «генеральшу» в столь милую ее сердцу атмосферу войны и подсказавшие ей наконец-то объяснение поступку старшего сына, сразу рассеяли все ее страхи и даже преисполнили матушку некоторой гордостью. Никто, однако, ее не поддержал, кроме аббата Фошлафлера, который поддакивал ей с самым серьезным видом, подтверждая справедливость проводимых матушкой сравнений, ибо он готов был ухватиться за любой повод, лишь бы признать случившееся вполне естественным и, таким образом, избежать всяких тревожений и возможных неприятностей.

После ужина мы сразу же отправлялись спать— и в тот вечер тоже не изменили заведенному обычаю. Мои родители твердо решили, назло Козимо, не обращать на него внимания и подождать, пока усталость, неудобное пристанище и ночной холод не принудят его спуститься. Все разбрелись по своим комнатам; зажженные свечи по всему фасаду дома, как горячие глаза, впивались в черные квадраты окон. Как, должно быть, тосковал по теплу брат, ночевавший прямо под открытым небом, при виде такого близкого и родного дома! Я подошел к окну и скорее представил, чем разглядел, как он сидит на ветке, прислонившись

к стволу и кутаясь в одеяло. Чтобы не упасть, он, верно, крепко обвязался веревкой. Взошла поздняя луна и повисла над кронами деревьев. По затихшему ночному парку гулял ветер, шелестя листвою, откуда-то издалека долетали приглушенные звуки. Время от времени снизу слышался глухой рев — море дышало. Стоя у окна, я прислушивался к этому прерывистому дыханию и пытался представить, как там, наверху, брат тоже прислушивается к ночным шорохам и звукам. Рядом с ним — теплый очаг, но, лишенный убежища, отданный во власть ночи, которая одна царит вокруг, он тесно прижимается к единственному другу — старому падубу с шершавой корой, в мелких трещинах которой спят личинки насекомых.

Я улегся, но свечи не погасил. Быть может, видя свет в окне своей комнаты, брат почувствует себя не таким одиноким. Мы спали с ним в одной комнате, и наши детские кровати стояли почти рядом. Я смотрел на его неразобранную постель, на тьму за окном и беспокойно ворочался, впервые, наверно, поняв, какое это счастье — забраться раздетым и разутым в теплую постель с белоснежными простынями. И в то же время я отлично представлял себе, как плохо приходится сейчас брату, который, закутавшись в грубое шерстяное одеяло, сидит привязанный к дереву, не в силах пошевелиться и размять затекшие ноги в гетрах. С той ночи это чувство уже не покидало меня: какое счастье спать в своей постели, на чистых простынях и мягком матрасе!

Впервые за долгие часы я подумал не о том, кто был предметом всех наших тревог, а о самом себе; с этой мыслью я и уснул.

IV

Не знаю, правду ли пишут в книгах, что в древние времена обезьяна, прыгая с дерева на дерево, могла бы, не касаясь земли, добраться из Рима в Испанию. В наши дни столь густые леса остались лишь на берегах Омброзского залива и на склонах долины, вплоть до самых гребней гор. Лесами наши места и славились повсюду.

Я больше не узнаю нашей округи. Сначала пришли французы и стали рубить деревья, словно это трава на лугах — скосишь ее, а на следующий год она такая же густая. Однако деревья не выросли. Мы думали, что виноваты плохие времена, войны, Наполеон, но истребление лесов не прекратилось и позже. И теперь нам, старикам, больно смотреть на голые склоны холмов.

Прежде, куда ни пойдешь, между тобой и небом была сплошная листва. Ниже по склону долины росли лимонные рощи, но и среди них высились искривленные смоковницы, и густые купола их тяжелых листьев совсем закрывали небо. Кроме смоковниц, здесь были вишни с красноватой листвой; нежная айва, персики, миндаль, тоненькие грушевые деревья, отягощен-

ные плодами, сливы, рябина, рожковые деревья, и тутовник, и узловатый орешник. За садами начинались заросли олив — сплющенное серебристо-серое облако, простиравшееся до самого моря. Вдали, зажатое сверху портом и снизу скалами, виделось селение. И даже здесь меж крышами тянули ввысь свои косматые кроны буки, платаны, чуть реже — падубы. Эти горделивые, не приносившие дохода деревья нашли себе приют в тех местах, где местная знать построила виллы и обнесла решеткой парки.

Над оливковыми рощами начинался настоящий лес. Видимо, прежде пинии господствовали в долине и на холмах, потому что и теперь еще, вклиниваясь узкими полосками между садами, они спускаются по склонам гор до самого берега моря. Раньше и дубовые рощи встречались куда чаще, чем можно предположить сейчас, когда они стали первой и самой желанной жертвой топора. Таков был окружающий нас мир зелени, который мы, обитатели Омброзы, почти не замечали.

Первый, кто о нем подумал, был Козимо. И он понял, что по этому густому лесу можно пройти много миль, не спускаясь на землю. Иногда путь ему преграждали участки голой земли, и Козимо приходилось делать большой крюк. Но вскоре он разведал все необходимые ему дороги и определял расстояние не нашими мерками, но прикинув в уме, какие места ему придется огибать. Если же ему не удавалось перескочить на ветку соседнего дерева, Козимо прибегал ко всяким хитростям и уловкам, о которых я расскажу немного позднее.

А пока нам еще предстоит описать то утро, когда Козимо, влажный от росы, оглушенный гомоном скворцов, проснулся на падубе, чувствуя, что ноги и руки у него затекли, а спину отчаянно ломит, но все же совершенно счастливый, и отправился на разведку неведомого мира. Он добрался до последнего на краю усадебных парков дерева — то был платан. Вниз полого спускалась долина в шапке облаков, над шиферными крышами домиков, прятавшихся под обрывистым берегом и похожих на россыпь камней, клубился дым и зеленым сводом нависала листва смоковниц и вишен, а чуть ниже — персиковых и сливовых деревьев, топорищивших свои крепкие, грубые ветви. Брат видел все, даже траву, былинку за былинкой, но только не землю, скрытую от него вялыми листьями тыквы, кустиками салата или цветной капусты в огородах. И так было по обеим сторонам долины, в которую огромной воронкой врезалось море. Время от времени на все вокруг как бы набегала невидимая, а порой и неслышимая волна; но и то, что можно было услышать, внушало смутную тревогу: внезапный пронзительный визг, затем вроде бы треск ломаемых сучьев и глухой удар, словно от падения на землю; потом снова — крики, но другие, яростные, казалось, скопьявшиеся в том месте, откуда минуту назад доносился визг. Затем — снова тишина, наполненная, однако, таинственным предчувствием чего-то, что вот-вот должно случиться совсем в другом месте. И

верно, вскоре вновь раздавались голоса и крики, и каждый раз они долетали оттуда, где покачивались на ветру остроконечные листья вишен. Поэтому Козимо частицей своего разума, которая рассеянно витала где-то далеко (другой его частицей он по-прежнему все понимал и предугадывал заранее), так определил свое впечатление: вишни переговариваются.

Козимо направился к ближней вишне, вернее, к целой цепочке высоких деревьев с густой зеленой листвой и черными спелыми ягодами; но он еще не научился различать, что на самом деле есть и чего нет в этом мире ветвей. Он добрался до вишен, откуда только что несся гомон,—все было тихо. Брат сидел на нижних ветвях и необъяснимым образом чувствовал каждую вишенку над собой: казалось, будто все они уставились на него, словно дерево было усыпано не вишнями, а глазами.

Козимо поднял голову — и плюх! — в лоб ему сразу же угодила переспелая вишня. Он широко раскрыл глаза, которые слепило яркое восходящее солнце, и увидел, что и его дерево, и соседние облепили мальчишки. Поняв, что их заметили, мальчишки все разом заверещали, визгливо, но не слишком громко:

— Посмотри, какой красавчик!

Раздвигая перед собой листву, они спустились поближе к ветви, на которой сидел мальчик в треуголке. Одни из них были в обтрепанных соломенных шляпах, другие с непокрытой головой, третьи закрывались от солнца пустыми мешками. Рубашки и штаны у них были рваные, у одних ноги босые, у других — обмотаны тряпками; некоторые, чтобы легче было лазить по деревьям, сняли свои деревянные башмаки и повесили их на шею. Это была шайка воришек, шнырявших по чужим садам, которых я и Козимо, повинувшись строгому наказу родителей, всячески избегали. Но в то утро брат, казалось, только их и искал, сам ясно не понимая, чего ждет от этой встречи.

Он спокойно поджидал их, а они спускались все ниже, указывали на него пальцем и своими резкими приглушенными голосами насмешливо спрашивали, чего ему здесь надо. Они плевались в него косточками и метали червивые или поклеванные дроздами вишни, раскрутив их сначала за черенок, словно пращу.

— Ого! — внезапно воскликнули они — значит, увидели висевшую на боку у брата шпагу. — Смотрите-ка, что у него там за штука! — И давай хохотать. — Мухобойка!

Вдруг они перестали смеяться и умолкли все разом. Сейчас случится нечто совершенно невероятное. Вот будет умора! Двое маленьких сорванцов тихонько забрались на сук и оттуда приготовились накинуть брату на голову пустой мешок. Обычно в эти грязные мешки они складывали свою добычу, а опорожнив их, напяливали на голову, словно капюшон. Еще секунда — и брата накрыли бы мешком — он и опомниться бы не успел, — связали бы его, как тюк белья, и хорошенько отдубасили.

Но Козимо то ли учуял опасность, то ли, быть может, ничего

не заподозрил, а просто, оскорбленный тем, что оборванцы смеются над его шпагой и, значит, задевают его честь, выхватил клинок из ножен и вскинул над головой. Шпага проткнула мешок, и тут Козимо его заметил. Он подпрыгнул, вырвал мешок у мальчишек из рук и швырнул его далеко в сторону.

Маневр удался на славу. Вся шайка воскликнула «ох!», недовольная и одновременно восхищенная. Потом все мальчишки стали осыпать двух неудачников, упустивших мешок, насмешками на своем диалекте:

— Раззявы! Сони!

Не успел Козимо порадоваться своей победе, как буря разразилась под деревьями: в мальчишек полетел град камней, раздались крики, лай собак.

— Теперь вам не удрать, воришки паршивые!

Кверху грозно торчали зубья вил. Мальчишки мгновенно подобрали ноги и сжались на ветвях в комочки. Поднятый ими шум всполошил крестьян, которые и без того всегда были начеку. Атака велась крупными силами. Крестьянам и арендаторам долины надоело терпеть, что у них крадут едва созревшие ягоды и фрукты, и они объединились, так как с этими сорванцами, которые все вместе налетали на чей-нибудь сад, опустошали его и мигом перебирались в другой, можно было бороться лишь сообща, иначе говоря, устроить засаду в одном из не тронутых еще садов и захватить всю шайку на месте преступления.

Спущенные с цепи собаки лаяли, яростно оскалив зубастые пасти, и становились на задние лапы у подножия вишен, крестьяне угрожающе поднимали вилы. Несколько мальчишек спрыгнули на землю как раз вовремя, чтобы испытать на своей спине остроту вил, а на заду — крепость собачьих зубов. С дикими воплями мчались они по саду, продираясь головой сквозь густые шпалеры виноградных лоз. Больше никто уже не решался спрыгнуть вниз: все мальчишки и вместе с ними Козимо испуганно жались к ветвям. Крестьяне уже приставляли к деревьям лестницы и лезли вверх, выставив вперед наточенные вилы.

Прошло несколько минут, прежде чем Козимо сообразил, что смешно ему трусить только оттого, что трусили эти воришки, и столь же смешно думать, будто они ловчее и проворнее его. Вот и сейчас они сидели, как остолопы, застыв на ветках, — чего они ждут? Ведь можно преспокойно удрать! Забрался же он по деревьям в этот сад — значит, можно улизнуть тем же путем. Он нахлобучил на голову треугольную шляпу, отыскал ветку, которая послужила бы ему мостиком, и с последней вишни перебрался на рожковое дерево, а оттуда, повиснув на суку, перескочил на сливу и помчался дальше. Мальчишки, увидев, что он шагает по деревьям, словно по земле, поняли, что им надо спешно последовать за ним — иначе нелегко будет отыскать безопасный путь, — и молча на четвереньках поползли следом по его извилистой дороге. Тем временем он взобрался на смоковницу, одолел живую

изгородь на краю поля, подтянулся к веткам персикового дерева, таким тонким, что двух человек сразу они бы не выдержали. С персикового дерева уже нетрудно было ухватиться за кривой ствол оливы, росшей у самой стены. С оливы он перескочил на дуб, протянувший через речушку одну из своих могучих ветвей, и по ней перебрался на деревья у противоположного берега. Крестьяне с вилами, уже решившие, что воришки у них в руках, вдруг увидели, как сорванцы, словно птицы, несутся по воздуху. Вместе с обезумевшими от лая собаками крестьяне бросились в погоню, но им пришлось обогнуть сначала изгородь, затем стену и, наконец, одолеть речку. В этом месте мостков не было; пока они искали брода, мальчишки успели удрать и теперь, как все люди, бежали по земле, сверкая голыми пятками. На дереве остался лишь мой брат.

— Куда же делся этот воробей в гетрах?— удивлялись мальчишки, не видя его впереди.

Они подняли головы: он все еще прыгал с оливы на оливу.

— Эй ты, спускайся! Им теперь нас не поймать!

Но он не слез, с одного сука перешагнул на другой, перебрался на соседнюю оливу и исчез в серебристой листве.

Теперь шайка бродяжек, с мешками на головах, вооружившись палками, совершила набег на вишни в глубине долины. Они действовали весьма последовательно, опустошая одну ветку за другой, как вдруг увидели на самом верхнем суку мальчишку в гетрах, который сидел, держась за сук сплетенными ногами, двумя пальцами срывал за черенок спелые вишни и клал их в лежавшую на коленях треуголку.

— Эй, откуда ты взялся?— набравшись наглости, крикнули они.

Но в глубине души сильно удивились: казалось, он прилетел по небу.

Брат невозмутимо брал сочные вишни из шляпы и отправлял их в рот. Потом со свистом выплевывал косточки, стараясь не запачкать при этом фрак.

— Что этому сладкоежке здесь нужно?— спросил один из мальчишек.— Чего он путается у нас под ногами? Мог бы у себя в саду вишни лопать.— Они все же немного робели, так как поняли, что на деревьях он им всем нос утрет.

— Среди этих сладкоежек по ошибке рождаются иногда неплохие ребята. Вроде Синфорозы,— сказал невысокий мальчуган.

Услышав это таинственное имя, Козимо весь обратился в слух и покраснел, сам не зная почему.

— Синфороза нас предала!— воскликнул другой.

— Но для сладкоежки она храбрая девчонка. Если б она и сегодня затрубила в рог, нас бы врасплох не застали.

— Если этот сладкоежка хочет, мы можем принять его в свою шайку. (Козимо понял, что сладкоежками они называют обитателей вилл, дворян и вообще всех высокопоставленных особ.)

— Послушай, ты,—сказал один.—Давай договоримся: если хочешь, можешь очищать сады вместе с нами, но за это покажешь нам все дороги, которые знаешь.

— И поможешь забраться в сад твоего отца,—сказал другой.—А то мне там однажды в зад соли всадили.

Козимо слушал их рассеянно, погруженный в свои мысли.

— Кто эта Синфороза?—спросил он наконец.

Тут все оборвыши захохотали так громко, что чуть не попадали с веток от смеха. Некоторые откинулись назад, держась за ветку одними ногами, а двое или трое даже повисли на руках, не переставая вопить и заливаться смехом.

Понятно, что крики и смех снова навели садоводов на след. Наверно, они и были где-то неподалеку, эти крестьяне с собаками, потому что тут же послышался лай и подбежали люди с вилами. Но в этот раз, наученные недавним поражением, они первым делом забрались по приставным лестницам на соседние деревья и окружили мальчишек частоколом вил и грабель. Собаки, увидев на деревьях сразу столько людей, в первый момент не сообразили, на кого же бросаться, и только злобно лаяли, подняв морды. Воспользовавшись этим, мальчишки мигом спрыгнули на землю и бросились врассыпную мимо вконец растерявшихся собак, и, хотя кое-кому из беглецов и не удалось уберечь ноги и зад от укуса или удара камнем или палкой, большинство остались целыми и невредимыми.

На дереве сидел теперь один Козимо.

— Слезай же!—кричали ему мальчишки.—Ты что, заснул? Прыгай, пока не поздно!

Но он лишь крепче сжал коленями ветку и выхватил шпагу. С соседних деревьев крестьяне тянули к нему вилы на длинных палках, но Козимо, размахивая шпагой, заставлял врагов держаться подальше, пока одному из них не удалось прижать его вилами к стволу.

Вдруг раздался голос:

— Стойте! Это же сын барона Пьоваско! Что вы тут делаете, синьорино? Как это вас угораздило связаться с воришками?

Брат узнал Джуа делла Васка, отцовского работника.

Крестьяне убрали вилы. Многие сняли шапки. Козимо двумя пальцами приподнял треугольную шляпу и слегка кивнул.

— Эй, там, внизу, привяжите собак!—крикнул Джуа.—Дайте ему слезть. Синьорино, вы можете спуститься, но только будьте осторожны. Уж больно дерево высокое. Подождите, мы лестницу приставим. Потом я вас провожу домой.

— Нет-нет, спасибо,—ответил брат.—Не беспокойтесь, я дорогу знаю. Свою дорогу я сам знаю.

Он скрылся за стволом и перепрыгнул на другую ветку,

пополз вверх, забрался на сук повыше, снова исчез из виду, и теперь были видны лишь его ноги, потому что выше начиналась густая листва. Потом ноги подпрыгнули, и брат словно растворился в воздухе.

— Куда он делся?— недоумевали крестьяне, не зная, куда смотреть—вниз или вверх.

— Вон он!

Брат показался на верхушке соседнего дерева и снова исчез.

— Вон он!

Брат уже перебрался на другое дерево, он раскачивался, словно на ветру, потом сделал прыжок.

— Упал! Нет. Вон он, там.

Сквозь листву видны были лишь треугольная шляпа и фалды фрака.

— Что у тебя за хозяин?— изумленно спрашивали крестьяне у Джуа делла Васка.— Человек он или зверь? А может, это сам черт?

Джуа делла Васка не знал, что отвечать, и только испуганно перекрестился. Издалека донеслось пение Козимо, вернее, протяжный крик:

— О, Син-фо-ро-за-а-а!..

v

Синфороза... Мало-помалу из разговоров мальчишек Козимо узнал очень много о той, кого они так называли,—о девочке, которая жила в одной из вилл, всегда носилась на маленьком белом коньке и завела дружбу с ними, оборванцами, одно время покровительствовала им и, будучи властной по натуре, даже верховодила ими. Синфороза скакала на своем белом коне по дорогам и тропинкам и, как только видела неохраняемый сад со спелыми плодами, сзывала мальчишек, а сама, словно кавалерийский офицер, руководила набегом. На шее у нее висел охотничий рог. Пока шайка обчищала миндальные или грушевые деревья, Синфороза носилась по прибрежным холмам, откуда была видна вся округа, и, едва замечала подозрительные приготовления садоводов или крестьян, готовившихся захватить воришек врасплох, трубила в рог. При первых же звуках рога мальчишки прыгали с деревьев и убегали прочь. Пока Синфороза была с ними, их ни разу не удавалось изловить.

Что случилось потом, понять было довольно трудно. «Предательство» Синфорозы, кажется, состояло в том, что она заманила своих друзей себе на виллу полакомиться фруктами, а потом выдала слугам, которые хорошенько отдубасили их палками. К тому же девочка отличала сразу двоих мальчишек: одного звали Бель-Лорé (за это приятели издевались над ним до сих пор), другого—Угассо. Потом она взяла и стравила их друг с другом. Кажется даже, мальчишкам досталось от слуг не за воровство

фруктов, а за поход, который двое ревнивых избранников, объединившись, предприняли против своей недавней повелительницы.

Мальчишки вспоминали и о тортах, которые она им не раз обещала. Однажды она и в самом деле угостила их тортом, но испеченным на касторовом масле, и потом ворishiки целую неделю маялись животом.

Не знаю, был ли тому причиной какой-нибудь один ее скверный поступок или все вместе, но только дружбе банды с Синфорозой пришел конец, и теперь мальчишки вспоминали о девочке на белом коньке с горечью, но и с сожалением.

Козимо слушал их с величайшим интересом, то и дело кивая, словно каждая новая подробность лишь дополняла уже знакомый ему образ, и наконец решил спросить:

— В какой же вилле живет эта Синфороза?

— Как, выходит, ты ее не знаешь?! Вы же соседи! Синфороза с виллы д'Ондарива!

Понятно, Козимо и без них знал, что предводительницей этих бродяжек была Виола, девочка, которая качалась на качелях. Я думаю, он потому и принялся тут же разыскивать эту шайку, что Виола, по ее словам, знала всех окрестных ворishiек, опустошавших сады. С этого момента овладевшее им смутное беспокойство стало еще острее. То ему хотелось возглавить банду и обчистить деревья в саду д'Ондарива, то, служа ей, объявить войну всем этим оборванцам: сначала натравить их на Виолу, а потом сделаться ее спасителем, совершить подвиги, о которых ей потом рассказывали бы с восхищением. Тем временем он неотступно следовал за мальчишками, и, когда они спускались, он оставался на дереве один, и по лицу его, словно тучка по ясному небу, пробегало облако грусти.

Внезапно он вскакивал и ловко, словно кот, перепрыгивающий с ветки на ветку, отправлялся путешествовать по фруктовым садам, тихонько насвистывая сквозь зубы. Мотив был прерывистым, беспокойным, а сам Козимо смотрел перед собой широко раскрытыми глазами и, кажется, ничего не видел, лишь инстинктивно сохранял равновесие, точь-в-точь как коты.

Он как одержимый много раз проносился по нашему саду.

— Он здесь! Он здесь! — принимались мы кричать, потому что, чем бы мы ни занимались, все наши мысли были о нем. Мы считали, сколько дней и часов он уже провел на деревьях. Отец говорил:

— Он сошел с ума! В него вселился бес, — и нападал на аббата Фошлафлера: — Надо же изгнать из него беса! Чего вы ждете? Я вам говорю, аббат! Что вы тут стоите сложа руки? В моего сына бес вселился, понимаете, вы, *sacré nom de Dieu!*¹

Аббат внезапно пробуждался, будто само слово «бес» вызыва-

¹ Черт бы вас взял! (франц.)

ло в его уме стройную цепочку идей, пускался в долгие и сложные богословские рассуждения о том, как распознать присутствие бесов, и непонятно было, возражает ли он отцу или разглагольствует вообще. Одним словом, он так ни разу и не высказался определенно — возможно ли существование какой-либо взаимосвязи между моим братом и бесом или такое предположение следует отвергнуть а priori.

Барон терял терпение, аббат совершенно запутывался в своих рассуждениях, а мне очень скоро надоело слушать их обоих. У матери же понятное беспокойство и все растущее чувство смутной тревоги со временем, как и все ее чувства, вылилось в практические решения, в поиски действенных мер и орудий, как и подобает истинному полководцу. Отыскав где-то длинную подзорную трубу на треноге, она приникала к ней глазом и долгими часами сидела на террасе, беспрерывно подкручивая окуляры, чтобы даже сквозь густую листву держать Козимо на прицеле, хотя готов поклясться, что увидеть его мать в эти минуты просто не могла.

— Ты его еще видишь? — спрашивал из сада отец, беспокойно расхаживая под деревьями. Ему самому удавалось обнаружить сына, лишь когда тот был прямо у него над головой. Матушка-генеральша кивала и знаком повелевала нам молчать и не мешать ей; у нее был такой вид, словно она с какой-нибудь возвышенности наблюдала за передвижением вражеских войск. Иногда она смотрела и просто ничего не видела, но почему-то решала, что Козимо должен появиться именно в этом месте, и ни в каком другом, и наводила туда подзорную трубу. Время от времени мать, видимо, признавалась себе в своей ошибке и тогда, оторвавшись от трубы, принималась изучать кадастровую карту, разложив ее на коленях. При этом одну руку она задумчиво подносила ко рту, а другой водила по извилистым линиям на карте, пока не устанавливала, где должен сейчас находиться ее сын, а затем, рассчитав угол склонения, наводила трубу на верхушку одного из деревьев в этом море зелени, медленно подкручивала окуляры, и по затрепетавшей на ее губах улыбке мы сразу догадывались, что она увидела Козимо, что он на самом деле там! Тогда она брала лежавшие рядом разноцветные флажки, уверенно и ритмично взмахивала ими, передавая какие-то условные сигналы. До того времени я не знал о существовании сигнальных флажков и об умении матери орудовать ими и теперь слегка обиделся. Как хорошо было бы, если б она научила нас играть во флажки, особенно раньше, когда мы с Козимо были совсем маленькими. Но мать ничего не делала ради забавы, так что глупо было и надеяться на это.

Должен, однако, сказать, что, несмотря на все свое военное снаряжение, она оставалась нежной матерью, у которой от страха замирало сердце, а рука нервно комкала носовой платок. Но можно предположить, что, изображая из себя генерала, матушка обретала некоторое успокоение, и постоянная тревога ослабевала,

она в глубине души была добрая, мягкая женщина, а унаследованные от предков фон Куртевиц воинственные повадки были ее единственной защитой от сложностей жизни.

Однажды, подав сигнал флажком и посмотрев в подозрную трубу, она вдруг начала радостно улыбаться, лицо ее просветлело. Мы сразу поняли, что Козимо ответил ей, уж не знаю как, быть может помахав шляпой или покачав ветку. С той поры матушка совершенно переменялась, ее былая тревога утихла, и, хотя ее судьба была так не похожа на судьбы других матерей, она первая примирилась со всеми чудачествами Козимо. Конечно, сын «генеральши» вел весьма странную жизнь и не хотел делить с нами тихие семейные радости, но матушке, казалось, достаточно было его неожиданных приветов и беззвучных сигналов, которыми они обменивались.

Любопытно, что мать не питала никаких иллюзий, будто сын, коль скоро он послал ей привет, теперь спустится и вернется в дом. Отец же пребывал в постоянном ожидании этого события, и малейшая новость, касавшаяся Козимо, пробуждала в нем несбыточные надежды.

— Ах так! Видите? Он непременно вернется!

Лишь матушка, которая была, пожалуй, очень далека от Козимо, принимала его таким, каков он есть,— верно, потому, что не пыталась объяснить себе его поведение.

Однако вернемся к тому дню.

Из-за матушкиной спины высунулась Баттиста, которая теперь почти не выходила из дому. Она с улыбочкой на лице протягивала тарелку с кашей, высоко воздевая ложку.

— Козимо! Хочешь попробовать?

Но, получив от отца пощечину, скрылась в доме. Кто знает, какое адское варево она приготовила. Брат тут же исчез.

Я мечтал присоединиться к нему, особенно теперь, когда узнал, что он сдружился с шайкой маленьких оборванцев. Казалось, он отворил предо мной двери таинственного царства, и я готов был вступить в него без прежнего страха и недоверия, с неподдельным восторгом.

Я носился между плоской крышей и чердачным окном, откуда мог обозревать зеленое море крон, и скорее слухом, чем зрением, по взрывам криков и воплей, узнавал, в каких садах сейчас разбойничает банда сорванцов; я видел, как покачивались верхушки вишен, как чья-то рука протягивалась и срывала спелые ягоды, как на миг показывалась взлохмаченная или повязанная мешком голова, среди множества голосов я различал голос Козимо и спрашивал себя: «Как же он там очутился?! Ведь минуту назад он был в парке! Неужели он лазает по деревьям проворнее белки?»

Помнится, рог затрубил, когда вся шайка забралась на сливовые деревья возле Васка Гранде. Я тоже услышал его звуки, но ничего не понял. Зато все эти оборвыши!.. Брат рассказывал потом, что они от неожиданности мгновенно притихли, словно

позабыли, что это сигнал тревоги, и лишь мучительно сомневались, не ослышались ли они, неужто в самом деле вновь затрубила в рог бесстрашная Синфороза, которая носилась по дорогам на белом коньке, предупреждая их об опасности. Внезапно они скатились с деревьев и бросились прочь. Нет, они не спасались бегством, а убежали, чтобы отыскать, настигнуть ее, Синфорозу.

На сливе остался лишь Козимо — лицо его горело. Увидев, что мальчишки бегут к вилле, и поняв, что они помчались ей навстречу, он запрыгал по ветвям, каждый миг рискуя свалиться и сломать себе шею.

Виола ждала их на холме у поворота дороги. Девочка неподвижно сидела в седле, одну руку с зажатыми поводьями она опустила на холку скакуна, в другой держала маленький кнут. Она поглядела на мальчишек сверху вниз, подняла кончик кнута ко рту, стала его покусывать. Платье на ней было голубое, рог — позолоченный, на тоненькой цепочке.

Оборввши остановились все разом и тоже принялись покусывать сливы или пальцы, рубцы на руках и ладонях, края мешков.

И вот нехотя, совсем беззлобно, словно борясь со смущением и втайне надеясь, что их прервут, они стали тихо-тихо, слегка нараспев скандировать:

— Зачем... пришла... Синфороза... уходи... мы с тобой... не дружим больше... ха-ха... ха-ха... ты трусиха...

Зашелестели ветви, и вот в листе высокой смоковницы показалась голова Козимо; он дышал тяжело, прерывисто. Девочка, покусывая кнут, одним взглядом обвела всех — и моего брата, и притихших мальчишек. Козимо не удержался: еще не отдышавшись, он выпалил:

— Знаешь, я с тех пор ни разу не слезал с деревьев!

Подвиг воли и духовной стойкости должен оставаться тайным, бессловесным. Едва человек заговорит о нем, начнет им похваляться, как подвиг теряет смысл, кажется смешным и даже жалким. Брат, едва успев произнести свои слова, уже пожалел об этом. Ему все вдруг стало безразлично и даже захотелось слезть и покончить все разом. Особенно после того, как Виола неторопливо вынула кнут изо рта и очень вежливо сказала:

— Ах так?.. Bravo, мой скворец!

Оборванцы сначала захихикали, а потом залились неудержимым смехом, засвистели, завизжали, широко разинув рты. Брат наверху подскочил от гнева, и непрочная ветка, не выдержав, предательски надломилась у него под ногами. Козимо камнем полетел вниз.

Он падал, раскинув руки, даже не пытаясь ухватиться за сучья. Первый и последний раз, за всю его проведенную на деревьях жизнь, у него не появилось ни осознанного, ни инстинктивного стремления ухватиться за сук. Но, к счастью, фалда зацепилась за нижнюю ветку, и Козимо повис вниз головой в

каком-нибудь метре от земли.

Кровь прилила к голове—ему казалось, что он по-прежнему краснеет от стыда. Он открыл глаза: вопящие оборванцы стояли вниз головой, потом в каком-то бешеном порыве один за другим стали делать стойку на руках и так сразу вернулись в нормальное положение; они словно вцепились в опрокинутую над бездной землю, а белокурая девчонка взлетела ввысь на вздыбившемся коньке. Брат поклялся себе, что больше никогда даже словом не обмолвится о своей жизни на деревьях.

Рывком схватился он за ветку, подтянулся и уселся на ней верхом. Виола, утихомирив конька, точно сразу утратила интерес ко всему, что произошло. Козимо мгновенно забыл о своем унижении. Девочка поднесла рог к губам и протрубила глухой сигнал тревоги. При первых же звуках рога мальчишки, которых, как позже рассказывал Козимо, при виде Виолы охватывало то же странное возбуждение, какое овладевает зайцами в лунные ночи, обратились в бегство. Хотя они знали, что это лишь игра, но непроизвольно подчинились знакомому сигналу и сейчас, подражая на бегу звукам рога, неслись вниз по спуску вслед за Виолой, которая летела впереди на своем коротконогом коньке.

Они бежали вниз сломя голову, почти вслепую и потому то и дело теряли Виолу из виду. Вдруг она резко свернула в сторону от дороги, оставив мальчишек далеко позади. Куда бежать дальше? Она скачет прямо по лугам, мимо оливковых рощ, полого сбегаящих в долину, находит дерево, по ветвям которого карабкается Козимо, делает круг и уносится дальше. Еще минута—и она появляется у другого дерева, а над ней мой брат продирается сквозь листву. Так кривыми, как ветки оливковых деревьев, путями они постепенно спускались в долину.

Маленькие ворюшки, поняв наконец, что эти двое заигрывают друг с другом—она с седла, он—с ветвей,—все, как один, принялись свистеть, зло и насмешливо. И так, с громким свистом, они умчались к Каперсовым воротам.

Виола и мой брат остались одни в оливковой роще. Но вскоре Козимо с огорчением заметил, что, едва оборванцы удрали, веселость Виолы заметно потускнела, уступила место скуке. У него зародилось подозрение, что и саму игру она придумала, чтобы позлить мальчишек, но вместе с обидой пробудилась надежда, что и скучающей она притворяется, желая позлить его: ведь ясно, что ей непременно надо кого-то злить, чтобы ее ценили еще больше. Все это Козимо, тогда совсем мальчишка, скорее угадывал, чем чувствовал, и я могу себе представить, как иступленно он полз и полз по шершавой коре деревьев, ничего не собирая вокруг.

Внезапно с прибрежного холма в них полетели мелкие камешки, галька. Девочка склонилась к шее конька и умчалась, зато мой брат, сидевший внизу на кривом суку, оказался отличной мишенью. Но брошенные снизу камешки уже не причиняли ему

вреда, лишь два или три угодили в лоб и в уши. А оборванцы хохотали и свистели как оглашенные. Крикнув напоследок: «Синфороза хуже мороза», они убежали.

И вот они добрались до Каперсовых ворот, где по высокой городской стене вьются плети зеленого каперса. Из лачуг доносятся гневные окрики матерей. Но ругаются они не из-за того, что сыновья вернулись домой так поздно, а потому, что те нагрянули как раз к ужину, хотя могли бы и сами раздобыть себе еду. В покосившихся лачугах, дощатых балаганах, фургонах и палатках ютились самые последние бедняки Омброзы, до того жалкие, что им приходилось селиться здесь, за воротами,— ни в городе, ни в деревне. Этих людей согнали с насиженных мест и привели сюда, за тридевять земель, голод и отчаянная нужда, царившие во всем государстве.

Вечерело, растрепанные женщины кормили грудью младенцев, разжигали дымящиеся печурки; одни нищие, вытянувшись на траве, разбинтовывали раны, другие с хриплой руганью играли в кости. Маленькие воришки потонули в дыму очагов и громкой перебранке, они получали затрещины от матерей и затевали между собой злобные драки, валяя друг друга в пыли. Их лохмотья уже приобрели тот же серый цвет, что и у остальных, а чистая и звонкая, как у птиц, радость в этом сгустке предельной нищеты и злобы сменилась глухим отупением. И когда они увидели, как мимо галопом скачет белокурая Виола, а за ней прыгает по ветвям Козимо, то бросили на них испуганный взгляд и отпрянули, стараясь затеряться в пыли и дыму печей, точно между ними и Виолой с Козимо внезапно выросла невидимая стена.

Но у Козимо и Виолы все это лишь на секунду мелькнуло перед глазами. Вмиг остались позади крики и плач женщин, детей, дым очагов, сливавшийся с вечерними тенями, и вот уже Виола мчится по берегу мимо пиний.

Дальше начиналось море. Слышно было, как хрустит галька. Стемнело. Хруст гальки все ближе, все громче: это несется белая лошадка, высекая искры из камешков. С низкой кривой пинии брат следил за светлой тенью, скакавшей по берегу. В черном-пречерном море вздыбилась волна с тоненьким пенным гребнем, поднялась, опрокинулась и, ослепительно белая, захлестнула прибрежные камни. Едва различимый силуэт конька с маленькой наездницей пронесся вдоль белой кромки волны, и лицо Козимо, приникшего к дереву, обдали холодные соленые брызги.

В эти первые дни жизни на деревьях у Козимо не было определенной цели или плана, им владело лишь желание получить узнать свое новое царство, стать его безраздельным владыкой. Он хотел бы сразу же обозреть его пределы, раскрыть все его

неразгаданные тайны, изучить его ветку за веткой, дерево за деревом. Я говорю «хотел бы», потому что он то и дело появлялся в парке у нас над головой; выражение его лица было напряженное, озабоченное, как у дикого животного, которое, даже оставаясь неподвижным, в любой миг готово метнуться прочь.

Почему он возвращался в парк? Глядя в матушкину трубу, как он перескакивает с платана на дуб, мы могли подумать, что движет им страстное желание делать все нам наперекор, заставить нас сердиться или мучиться. Я говорю «нас», потому что так и не понял, что он думает обо мне. Когда ему было что-нибудь нужно от меня, наша дружба, казалось, не ставилась под сомнение; иной же раз он проносился надо мною, как бы не замечая.

В парке он долго не задерживался. Его неудержимо влекла к себе магнолия у стены, и он пропадал в соседском саду даже в те часы, когда белокурая девочка еще не вставала или когда бесчисленные гувернантки и тетушки уже уводили ее домой. В саду д'Ондарива ветви извивались, словно хоботы огромных животных, с земли звездочками тянулись к небу зубчатые листья, зеленые, как кожа ящериц, и с легким бумажным шелестом покачивался желтый тонкий бамбук. Желая до конца насладиться этой необычной растительностью, пронизанной необычным светом и необычной тишиной, Козимо повисал вниз головой на самом высоком дереве, и тогда опрокинувшийся сад становился лесом, каких не бывает на земле, становился иным миром. И тут появлялась Виола. Козимо замечал ее, когда она уже взлетала ввысь на качелях или сидела в седле, либо слышал в глубине сада глухие звуки охотничьего рога.

Маркиз и маркиза д'Ондарива ни разу не дали себе труда подумать, куда исчезает их дочь. Пока она ходила пешком, за ней неотступно следовали многочисленные тетушки, но, вскочив в седло, она мгновенно становилась свободной как ветер, ибо тетушки ездить верхом не умели и, естественно, не могли уследить, куда умчалась их племянница. Нелепая же мысль о том, что Виола может водиться с оборванцами и бродягами, родителям даже в голову не приходила. Но вот сына этих Пьюаско, который по деревьям забирался к ним в сад, они заприметили сразу и были настороже, хотя и сохраняли мину презрительного равнодушия.

У нашего же отца горечь, вызванная сыновним непослушанием, сливалась с давней враждой к маркизам д'Ондарива, и он готов был обвинить во всем только их, словно это они завлекли Козимо в свой сад, принимали его как дорогого гостя и даже подстрекали продолжать мятежную игру. Внезапно отец принял решение устроить облаву и схватить Козимо, причем не в наших владениях, а в саду у соседей. Точно желая яснее выказать свои агрессивные намерения, он не возглавил облаву и не обратился самолично к соседям с требованием вернуть ему сына — что было бы хоть и несправедливо, но зато пристойно для дворянина в

отношениях с другим дворянином,— а послал к ним целое войско слуг под командованием кавалер-адвоката Энеа-Сильвио Карреги.

Вооруженные лестницами и веревками, они подошли к воротам виллы д'Ондарива. Кавалер-адвокат в длинном халате и феске бормотал витиеватые извинения, прося позволения войти. В первый момент соседи решили, что слуги пришли подрезать несколько наших деревьев, ветви которых свисали в их сад. Но, увидев, как кавалер-адвокат мечется между стволами с задранной головой, и услышав его отрывистое бурчание: «Изловить, изловить», они спросили:

— Кто это у вас удрал? Попугай, что ли?

— Сын, первенец, отпрыск,— торопливо ответил кавалер-адвокат и, велев прислонить лестницу к индийскому каштану, собственной персоной полез на дерево.

Сквозь ветви видно было, что Козимо сидит на суку и как ни в чем не бывало болтает ногами. Виола столь же невозмутимо уходила по аллее, гоня обруч. Слуги протягивали кавалер-адвокату веревки, с помощью которых тот должен был, не знаю уж каким образом, изловить непокорного Козимо. Но прежде чем кавалер добрался до середины лестницы, Козимо уже перебрался на верхушку соседнего дерева. Энеа-Сильвио несколько раз приказывал перенести лестницу, вытаптывая при этом очередную клумбу, но Козимо в два прыжка оказывался на другом дереве.

Внезапно Виолу окружили тетушки и прочие родственницы, увели ее в дом и заперли в комнате, чтобы она не видела всего этого переполоха. Козимо отломил ветку и, взмахнув ею, со свистом рассек воздух.

— Не можете ли вы, дорогие господа, продолжить охоту в вашем собственном обширном парке?— произнес маркиз д'Ондарива, величественно появляясь на ступенях лестницы в халате и в феске, что придавало ему необыкновенное сходство с кавалер-адвокатом Энеа-Сильвио Каррегой.— Я вам говорю, почтенные Пьоваско ди Рондо!— Широким жестом руки он объял разом Козимо на дереве, дядюшку, слуг и все, чем мы владели за пределами стены.

Тут кавалер Каррега сменил тон. Он семенил рядом с маркизом и как ни в чем не бывало восхищался фонтанами и бассейнами и бормотал, что знает, как сделать струю еще красивей и сильнее, к тому же, если сменить наконечник, она сможет послужить для поливки газона.

Этот разговор был новым доказательством того, сколь ненадежным и даже вероломным был нрав нашего дядюшки: отец, исполненный самых враждебных намерений в отношении соседей, дал ему недвусмысленное поручение, а дядюшка завел с маркизом д'Ондарива любезную беседу, словно пытаясь заручиться его благосклонностью. Тем более что свои таланты приятного собеседника наш дядюшка проявлял, лишь когда это было ему выгодно и как раз в тех случаях, когда отец больше всего

надеялся на его нелюдимый, угрюмый характер. Но самое любопытное, что маркиз внимательно слушал его, задал множество вопросов и повел осматривать все свои фонтаны и бассейны. Оба были примерно одного роста, в одинаковых длиннополых одеяниях, так что их можно было легко спутать; а сзади плелись многочисленные слуги, соседские и наши, с лестницами, недоумевая, что же им теперь делать.

Тем временем Козимо преспокойно прыгал по деревьям, росшим у самых окон виллы, пытаюсь через занавеси разглядеть, в какой из комнат заточили Виолу. Наконец он ее увидел и бросил в окно сухую ягоду.

Окно растворилось, девочка высунулась и сердито сказала:

— По твоей милости я сижу взаперти.— И задернула занавеску.

Радость Козимо вмиг сменилась отчаянием.

Когда брат приходил в ярость, всем остальным было чего опасаться. Мы смотрели, как он бежит (если только можно применить этот глагол к движению не по земле, а по непрочным веткам, растущим на разной высоте, над пустотой), и нам казалось, что вот-вот он оступится и упадет, чего с ним, впрочем, ни разу не случилось. Он прыгал, быстро-быстро переступал ногами по наклонной ветке, цеплялся рукой за сук, мгновенно перескакивал на ветку повыше и после нескольких весьма рискованных курбетов молниеносно исчезал.

Куда он стремился? В тот раз он перескочил с падуба на оливу, с оливы на бук и очутился в лесу. Здесь он остановился, чтобы перевести дыхание. Под ним расстилалась поляна. Густая зеленая трава, то и дело меняя оттенки, волнами перекатывалась под порывами ветра. В воздухе плыли невесомые пушинки одуванчиков. Посреди луга высилась одинокая, недосягаемая для Козимо сосна с продолговатыми шишками. Пестрые дятлы, стремительные птицы с коричневыми пятнистыми перьями, сидели на усеянные иглами ветки, кто на самый краешек, кто бочком, кто вниз головой и хвостом вверх, и жадно клевали гусениц и семечки.

Страстное, неудовлетворенное желание войти в этот недоступный мир, заставившее Козимо проложить неведомые пути по деревьям, не угасло в нем и теперь и влекло его проникнуть еще глубже, познать каждый лист, каждую чешуйку, пушинку, каждый шорох. То была любовь, которая связывает со всем живым охотника и побуждает его, не ведающего, как ее выразить, наводить свое ружье. Козимо еще не умел определить это чувство и стремился утолить его в яростных поисках новых открытий.

Лес был глухой, непроходимый. Козимо должен был шпагой расчищать себе путь, и мало-помалу он забыл о своих горестях,

захваченный борьбой с густыми ветвями и боязнью слишком удалиться от знакомых мест, в чем не хотел признаваться даже самому себе. Прокладывая себе дорогу сквозь чащу, он внезапно увидел прямо перед собой два желтых, блестящих глаза, неотрывно следивших за ним. Козимо выставил вперед шпагу, отогнул ветку, а затем, придерживая ее, позволил ей распрямиться. Он облегченно вздохнул и посмеялся над своим испугом: теперь он убедился, что желтые глаза принадлежали всего лишь коту.

Однако кот стоял перед его взором и после того, как он отпустил ветку, и Козимо вдруг снова задрожал от ужаса, потому что этот кот, очень похожий на домашнего, был так страшен, что от одного взгляда на него хотелось отчаянно закричать. Трудно даже объяснить, что в нем было особенно пугающего: обыкновенный кот вроде тигрового, только немного побольше. Впрочем, рост его сам по себе ничего не значил: страшными были его усы, стоявшие торчком, словно иглы дикобраза, его свистящее дыхание, вырывавшееся из-за двойного ряда отточенных, как лезвия, зубов (Козимо, казалось, не только слышал, но и видел это злобное дыхание), его уши, острые, как два язычка пламени, настороженные, покрытые обманчиво нежной на вид шерсткой. Ощетинившись, дикий кот легонько вздрагивал всей кожей, словно от щекотки, на перехваченном судорогой горле раздувался белый воротничок, от которого расходились по бокам полосы. Хвост застыл в таком невероятном положении, что казалось, он вот-вот обломится.

Все, что Козимо увидел, на миг отведя ветку и тут же ее отпустив, дополнялось тем, чего он хотя и не успел увидеть, но все же отлично себе представлял: под густыми пучками волос на лапах скрывались грозные когти, готовые впиться в жертву; к тому же на Козимо по-прежнему глядели эти глаза с желтой дужкой вокруг черных зрачков, и слышалось глухое ворчание хищника. Значит, перед ним самый свирепый и страшный во всем лесу дикий кот.

Все кругом смолкло: ни щекота, ни шороха. Дикий кот прыгнул, но не на Козимо, а почти вертикально вверх, скорее удивив, чем напугав брата. Страх нахлынул чуть позже, когда Козимо увидел хищника на ветке прямо у себя над головой. Зверь весь напрягся, видны были его брюхо, поросшее густой белесой шерстью, поджатые лапы, впившиеся в дерево когти. Хищник изогнул спину, зашипел «ф-ф-ф» и явно приготовился броситься на Козимо.

Брат уверенным, почти машинальным движением спустился пониже. «Ф-ф-ф», «ф-ф-ф», — зафыркал дикий кот, прыгнул вправо, затем влево и снова очутился на ветке точно над головой у Козимо. Брат повторил свой маневр, но ветка, которую он оседлал, оказалась самой нижней на буке. Правда, он рос высоко над землей, но лучше уж было отважиться и прыгнуть вниз, чем ждать, что предпримет хищник после того, как прервется

издавать эти леденящие душу звуки — что-то среднее между свистом и мурлыканьем.

Козимо согнул ногу, собираясь спрыгнуть вниз. Но вместе с естественным инстинктом самосохранения в нем проснулась упрямая гордость, и он лишь крепче стиснул коленями ветку, готовый скорее умереть, чем спуститься на землю. Зверь решил, что враг потерял равновесие и это самый удобный момент напасть на него, он бросился на Козимо, оцетинившись, выпустив когти и злобно шипя. Козимо не нашел ничего лучшего, как зажмуриться от страха и выставить шпагу. Зверь легко разгадал этот нехитрый маневр и обрушился брату на голову, надеясь вцепиться в него острыми когтями и увлечь за собой на землю. Однако когти лишь скользнули по щеке, и так как брат крепко сжимал коленями ветку, то не упал, а лишь навзначь растянулся на ней. Хищник, меньше всего ожидавший этого, пролетел мимо цели и стал боком падать на землю. Пытаясь уцепиться когтями за дерево, он на лету перевернулся. И за эту секунду Козимо в молниеносном победном порыве успел сделать выпад и, вонзив шпагу зверю в живот, проткнул его насквозь.

Брат, залитый алой кровью, был спасен; от самого глаза до подбородка щеку прорезала глубокая тройная царапина, но зато враг болтался на шпаге, словно курица на вертеле. Козимо крепче прижал к ветви, судорожно сжимая в руке шпагу с убитым зверем, и в исступлении кричал от боли и счастья, как и всякий, кто впервые одержал победу и теперь знает, какая это мука — победить, знает, что ему уже нельзя свернуть с избранного пути, тогда как поверженный всегда может отступить.

Таким я увидел его в нашем парке: лицо и жилет залиты кровью, косица растрепана, треугольная шляпа смята, и в руке зажат хвост мертвого зверя, который теперь казался самым обыкновенным котом.

Я бросился к матушке на террасу.

— Матушка, он ранен! — закричал я.

— Was? Как это ранен? — Она уже наводила свою подозрную трубу.

— Ранен, как всякий раненый! — ответил я, и матушка, очевидно, нашла мое объяснение вполне исчерпывающим, потому что, следя в трубу за братом, который с невиданной быстротой прыгал с ветки на ветку, она сказала:

— Das stimmt!¹

Она тут же стала готовить бинты, пластыри, мазь в таком количестве, что их хватило бы на целый батальон, и вручила все это мне, наказав отнести Козимо. У нее ни на миг не пробудилась надежда, что он хоть для лечения вернется домой. Я помчался с пакетом бинтов в парк и стал ждать Козимо на последнем тутовом

¹ Так и есть! (нем.)

дереве возле стены сада д'Ондарива, потому что Козимо уже исчез за магнолией.

Полный ликования, брат появился в саду соседей, крепко держа в руке убитого зверя. Что же он увидел на дорожке у самой виллы? Готовую к отъезду карету, слуг, укладывающих багаж на империал, одетую по-дорожному Виолу в окружении гувернанток и суровых теток в черных платьях; девочка нежно обнимала на прощанье маркизу и маркиза.

— Виола!—крикнул брат, высоко подняв за хвост дикого кота.—Куда ты?

Окружившие карету тетушки подняли глаза и, увидев окровавленного, в изодранной одежде, похожего на безумца мальчишку с мертвым зверем в руке, недовольно поморщились.

— Ici de nouveau! Et arrangé de quelle façon!¹

И принялись лихорадочно подталкивать Виолу к дверцам кареты.

Виола обернулась, надменно вздернула носик и безразличным голосом, в котором звучала, однако, досада на родных, а возможно, и на самого Козимо, громко сказала, явно отвечая на его вопрос:

— Меня посылают в пансион!—И пошла к карете. Больше она не обернулась и не удостоила взглядом ни Козимо, ни его охотничий трофей.

Слуги уже захлопнули дверцы кареты, кучер влез на козлы, но Козимо, который никак не мог примириться с отъездом Виолы, попытался привлечь ее внимание и объяснить, что посвящает ей свою кровавую победу, но смог лишь крикнуть:

— Я победил кота!

Просвистел кнут, и карета тронулась; тетушки замахали платками, из окна кареты донесли слова Виолы: «Какой молодец», сказанные не то с восхищением, не то с насмешкой.

Таким было их прощание. Огромное напряжение, боль от ран, разочарование оттого, что подвиг не принес ему славы, горечь внезапной разлуки—все это нашло выход в отчаянных рыданиях и яростных криках. С дикими воплями он срывал и ломал ветви.

— Hors d'ici! Hors d'ici! Polisson sauvage! Hors de notre jardin!²—визжали тетушки, а слуги маркиза подбежали к дереву с длинными палками и стали бросать в Козимо камни.

Козимо с ревом швырнул мертвого зверя в лицо одному из своих врагов. Слуги схватили дикого кота за хвост и бросили на свалку.

Узнав, что наша маленькая соседка уехала, я вначале надеялся, что Козимо спустится на землю. Не знаю уж почему, но я во многом связывал с ней решение брата остаться на деревьях.

Однако он ни словом не обмолвился о такой возможности.

¹ Опять он здесь! И в каком виде! (франц.)

² Вон отсюда! Вон отсюда! Дикарь! Прочь из нашего сада! (франц.)

Пришлось мне самому влезть на дерево с сумкой бинтов и пластыря, и Козимо стал лечить раны на лице и плечах. Потом он попросил леску и крючок и, усевшись на оливковом дереве, нависавшем над свалкой, выудил мертвого зверя. Он содрал с него шкуру, выдубил ее как умел и сделал себе шапку. Это была первая меховая шапка из тех, что он носил потом всю жизнь.

Последнюю попытку изловить Козимо предприняла наша сестрица Баттиста. Понятно, все свои приготовления она, как обычно, держала в тайне и ни с кем не советовалась. Ночью она притащила в парк приставную лестницу и котелок с птичьим клеем и обмазала им снизу доверху рожковое дерево, на котором Козимо появлялся каждое утро.

Утром мы увидели прилипших к стволу бедняг щеглов, отчаянно бивших крыльями, маленьких, намертво схваченных клеем крапивников, ночных бабочек, принесенные ветром листья, хвост белки и оторванную фалду фрака Козимо. Не знаю уж, сел ли брат по неосторожности на ветку и потом сумел освободиться, или же эту фалду он оторвал нарочно, чтобы подшутить над нами, что более вероятно, поскольку он давно уже не носил фрак. Так или иначе, но густо намазанное клеем дерево вскоре засохло.

Постепенно мы все, даже отец, уверились, что Козимо никогда больше не спустится на землю. С того дня как мой брат стал путешествовать по деревьям всей Омброзы, отец не решился высунуть нос за ворота, терзаясь мыслью, что его герцогское достоинство окончательно подорвано. С каждым днем он все худел и бледнел—то ли от тревоги за сына, то ли от страха за свои династические права. Впрочем, одно было тесно связано с другим, ибо Козимо был старший сын и законный наследник, и если трудно признать бароном мальчишку, который, словно рябчик, прыгает по ветвям, то уж сыну претендента на титул герцога так вести себя и вовсе не подобает. Эти тревоги отца были, понятно, излишни, потому что жители Омброзы и так смеялись над притязаниями отца, а дворяне с соседних вилл считали его безумным.

К этому времени у дворян вошло в обычай селиться в удобных живописных виллах, а не в фамильных замках. Каждый стремился жить, как простой горожанин, избегая лишней доуки. Кому было дело до старинного герцогства Омброзского?! В том и заключалась прелесть Омброзы, что она принадлежала всем и никому. Маркизы д'Ондарива имели на нее известные права и владели почти всеми землями вокруг, но с давних времен Омброза стала свободной общиной, платившей дань Генуэзской республике. Мы могли бы спокойно жить в своих наследственных владениях, которые удалось даже расширить, когда обремененной долгами общине пришлось продать нам часть своих земель. Чего

же еще желать?! Вокруг до самого моря простирались виллы и парки богатых дворян. Все жили весело, обменивались визитами и вместе ездили на охоту; все стоило недорого, и дворянство наше пользовалось почти теми же благами, что и вельможи при дворе, не зная при этом расходов, неизбежных в столице, на службе у королевской семьи или при любом участии в государственных делах. Однако отцу нашему все это было не по душе: он чувствовал себя государем, свергнутым с престола, и в конце концов порвал всякие отношения с соседями-дворянами; матушка, будучи иностранкой, с ними никогда не зналась, что имело свои преимущества. Не встречаясь ни с кем, мы избегали многих трат и могли скрывать всю скудость наших финансов.

Нельзя сказать, чтобы наши отношения с крестьянами Омбросы были лучше: простоватые и неотесанные, они интересовались лишь своими делами. В те времена у богатых семей постепенно вошло в обычай пить подслащенный лимонад, что способствовало расцвету торговли лимонами. Садоводы повсюду насадили лимонные деревья и восстановили порт, давно разрушенный и разоренный пиратскими набегами. Живя посредине, между Генуэзской республикой, владениями короля Сардинии, Королевством Французским и епископскими землями, они торговали со всеми и ни о чем бы не беспокоились, если бы не тяжкие налоги, которые взимала Генуэзская республика. В день их взыскания у многих скудела мошна, и каждый год это служило поводом к нападениям на сборщиков налогов. Наш отец, едва вспыхивали эти волнения, неизменно решал, что ему вот-вот предложат титул герцога. Он выезжал на площадь и предлагал жителям Омбросы свое покровительство, но каждый раз должен был спасаться бегством под градом гнилых лимонов. И тогда он утверждал, что это иезуиты, как обычно, устроили против него заговор. Дело в том, что барон вбил себе в голову, будто между ним и иезуитами идет борьба не на жизнь, а на смерть. И Общество Иисусово думает лишь о том, как бы ему напасть. В свое время у него действительно были с ними нелады из-за сада, на который претендовали одновременно наша семья и иезуиты. Возник спор, и барон, который тогда был в дружбе с епископом, сумел выжить отца-провинциала из епархии. С тех пор он был непоколебимо убежден, что орден подсылает агентов, готовящих покушение на его права и даже на жизнь, и со своей стороны старался набрать ополчение из верных людей, чтобы освободить епископа, попавшего, по его мнению, в плен к иезуитам. Он давал убежище и оказывал покровительство всем действительным и мнимым жертвам иезуитов и потому выбрал нам в наставники старого янсениста, мысли которого обычно витали в облаках.

Одному-единственному человеку отец доверял целиком и полностью: то был кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега. Барон

питал слабость к своему единокровному брату и любил его, как единственного и несчастного сына.

Трудно сказать, сознавали мы тогда это или нет, однако на нашем отношении к дядюшке сказывалась ревность—ведь отцу пятидесятилетний брат был дороже, чем мы, сыновья. Впрочем, не мы одни поглядывали на него косо. Мать и Баттиста притворялись, будто почитают дядюшку, а сами терпеть его не могли; сам же он под личиной покорности скрывал презрение ко всем и ко всему, а может быть, просто ненавидел и нас, и даже отца, которому был стольким обязан. Кавалер-адвокат говорил мало, иной раз его можно было принять за глухонемого или подумать, что он не знает нашего языка. Одному богу известно, каким образом ему прежде удавалось вести дела в суде, если он и раньше, до турок, был таким же странным. Вероятно, он был человек способный, если обучился у турок сложным расчетам плотин и водохранилищ—единственное его достоинство, предмет неумеренных похвал моего отца.

Я не знал толком о его прошлом: ни того, кем была его мать, ни каковы были в молодости его отношения с нашим дедушкой (наверняка дедушка был к нему привязан, иначе бы не послал Энеа-Сильвио учиться на адвоката и не исхлопотал бы ему титул кавалера), ни как он попал в Турцию. Мы даже не знали, точно ли в Турции он пробыл долгое время или же в какой-нибудь из берберийских стран—в Тунисе либо в Алжире, словом, среди мусульман. Говорили, что он и сам принял мусульманскую веру. Впрочем, чего только о нем не рассказывали: будто бы он занимал в Турции важную должность не то советника султана, не то главного хранителя водоемов при Диване, но потом, то ли после заговора придворных, то ли из-за подозрения султана, что Энеа-Сильвио поглядывает на его жен, то ли из-за карточного долга, он впал в немилость и был продан в рабство. Освободили его венецианцы, захватившие турецкую галеру, где наш дядюшка, прикованный цепью вместе с остальными рабами, был гребцом. В Венеции он жил словно нищий, пока не попал в какую-то темную историю и не угодил снова в колодки. Утверждают, что он ввязался в драку, но трудно себе представить, с кем мог подраться этот робкий человек. Из тюрьмы его вызволил наш отец благодаря посредничеству чиновников Генуэзской республики, и вот среди нас появился лысый, чернобородый человек, молчаливый, вечно испуганный, закутанный в широкое платье с чужого плеча. Я был тогда совсем маленьким, но тот вечер навсегда врезался мне в память. Отец велел всем относиться к дядюшке с должным почтением, назначил его своим управляющим и выделил ему кабинет, который кавалер-адвокат вскоре завалил всякими бумагами. Энеа-Сильвио Каррега носил халат и похожую на феску ермолку, какие весьма часто надевали дворяне и богатые горожане, сидя в своих кабинетах; впрочем, в отличие от них наш дядюшка в кабинете почти не сидел и постепенно стал

разгуливать в таком одеянии по полям и по деревням. В конце концов он и к столу начал являться в своих турецких одеждах, и, что самое странное, отец, столь неукоснительно требовавший соблюдения этикета, примирился с этим.

Несмотря на свои обязанности управляющего, кавалер-адвокат почти никогда не разговаривал ни с крестьянами, ни с арендаторами, ни с батраками, ибо по натуре был человеком боязливым и отличался косноязычием. Поэтому хозяйствовать, отдавать приказы, распоряжаться людьми на деле приходилось отцу. Энеа-Сильвио Каррега лишь регулярно заполнял счетную книгу, и не знаю уж, потому ли наши дела шли так плохо, что он прескверно вел счета, или же он прескверно вел счета, потому что наши дела шли так плохо. Кроме того, кавалер-адвокат производил расчеты и набрасывал чертежи водохранилищ, испещрял линиями и цифрами большую черную доску, делая внизу надписи турецкой вязью. Время от времени отец на несколько часов запирался с единокровным братом в его кабинете, и только в этих случаях кавалер-адвокату приходилось так долго сидеть в своем кресле. Вскоре из-за двери до нас долетал сердитый голос отца, то приглушенный, то громкий, как обычно бывает при ссоре, но голоса дядюшки почти никогда не было слышно. Затем дверь распахивалась, появлялся кавалер с феской на макушке; семена и путаясь в полах халата, он подходил к стеклянной двери веранды и скрывался в парке или в поле.

— Энеа-Сильвио! Энеа-Сильвио! — кричал отец, несясь за ним следом.

Но кавалер-адвокат уже был в винограднике либо в лимонной роще, и виднелась лишь его красная феска, покачивавшаяся среди листвы и упрямо уходившая все дальше и дальше. Отец гнался за ним, не переставая звать его на бегу. Немного спустя они вместе возвращались домой, отец что-то доказывал, сокрушенно разводя руками, а дядюшка, маленький, сторбленный, шел рядом, засунув руки в карманы своего халата.

УШ

Все последние дни Козимо состязался с земными жителями, состязался в зоркости и ловкости. Ему хотелось проверить, на что он способен, оставаясь здесь, на деревьях. Он вызвал своих приятелей на состязание, кто дальше метнет камешки. Происходило оно у Каперсовых ворот, возле балаганов бедняков и бродяг.

Козимо метал камни с голого, полужасохшего дуба, когда увидел скачущего на коне человека в черном широком плаще, высокого и слегка сутулого. Он узнал отца. Мальчишки мгновенно разбежались; с порогов своих жалких лачуг женщины смотрели, что будет дальше.

Барон Арминьо подъехал к самому дереву. Солнце горело алым закатным пламенем. Козимо сидел на голой, без листьев,

ветке. Впервые после того памятного обеда они вновь встретились лицом к лицу. С той поры прошло немало дней. Многие изменилось: отец и Козимо знали, что дело теперь не в улитках и не в сыновнем послушании или отцовской власти. Все разумные и логические доводы, которые они могли привести друг другу, были уже неуместны, но им надо было хоть что-то сказать.

— Вы стали посмешищем для всей округи!—с горечью проговорил отец.— Что и говорить—это достойно дворянина!

Он обратился к сыну на «вы», как и обычно, когда читал ему суровую нотацию, но сейчас в этом обращении сквозила пролеглая между ними глубокая отчужденность.

— Дворянин, батюшка, остается дворянином и на земле, и на верхушке дерева,—ответил Козимо и тут же добавил:—Если только ведет себя подобающе.

— Весьма похвальное суждение,—мрачно согласился отец.— Между тем совсем недавно вы украли сливы у одного арендатора.

Это была правда. Брат был застигнут врасплох. Что он мог возразить? Он улыбнулся, но не нагло или цинично, а скорее робко, и густо покраснел.

Отец тоже улыбнулся печальной улыбкой и тоже почему-то покраснел.

— Вы водитесь с шайкой отвратительных нищих оборванцев,—сказал он.

— Нет, батюшка, я сам по себе, а они сами по себе,—твердо ответил Козимо.

— Я предлагаю вам спуститься на землю,—спокойным и унылым голосом сказал отец,—и вернуться к выполнению ваших обязанностей дворянина.

— Мне очень жаль, но я не намерен вам подчиниться, батюшка,—отозвался Козимо.

Оба испытывали неловкость и скуку. Каждый знал наперед, что скажет другой.

— А ваши занятия? Ваш долг христианина?—вопросил отец.—Вы что же, намерены расти, как дикарь в лесах Америки?

Козимо молчал. До сих пор он этими вопросами не задавался, да и не хотел их решать. Наконец он сказал:

— Разве нельзя научиться добру, сидя на каких-нибудь два метра выше остальных?

Ответ был весьма дипломатичен, но в нем было неподдельное желание приуменьшить значение своего поступка. А это уже говорило о слабости.

Отец сразу это заметил и перешел в наступление.

— Непокорность не поддается измерению,—отпарировал он.— Иной раз кажется, что прошел два шага, а на самом деле это путь без возврата.

Брат мог ответить громко звучащей фразой, скажем каким-нибудь латинским изречением; сейчас мне, как назло, ни одно не приходит в голову, но тогда мы знали на память великое

множество этих изречений. Но Козимо надоел торжественный тон, он высунул язык и крикнул:

— Зато я с деревьев писаю куда дальше!

Фраза в общем-то довольно бессмысленная, но зато она решительным образом пресекла разговор.

Оборвыши у Каперсовых ворот, как будто услышав ответ Козимо, зашумели, захохотали. Конь барона ди Рондо испуганно шархнулся, отец натянул поводья и наглухо запахнул плащ, готовясь умчаться прочь. Но потом обернулся, высвободил правую руку из-под плаща и, показывая на внезапно затянувшееся черными тучами небо, воскликнул:

— Не забывай, сын мой, что есть бог всемогущий и он может написать на всех нас!

С этими словами он пришпорил коня и поскакал прочь. Дождь, такой долгожданный для всей округи, начал падать крупными редкими каплями.

Из лачуг выскочили мальчишки с мешками на головах и запели:

— Дождик, дождик, лей сильнее, станет людям веселей!

Козимо исчез в мгновенно намокшей листве, с которой, едва он хватался за ветку, на голову ему обрушивались струйки воды.

Когда я заметил, что пошел дождь, мне стало жаль брата. Я представил себе, как он, насквозь промокший, прижимается к шершавому стволу, не в силах укрыться от косых струй. Но я знал, что даже буря не заставит его спуститься на землю. Я побежал к матери.

— Дождь идет. Что теперь будет с Козимо, матушка?

Матушка отодвинула занавеску, выглянула в окно. Она была совершенно спокойна.

— В непогоду самая большая неприятность—это размокшая грязь, а наверху ее нет.

— А вдруг листва не защитит его от ливня?

— Тогда он спрячется в укрытие.

— В какое укрытие, матушка?

— Он наверняка его пригладил заранее.

— Может, мне все же поискать Козимо и дать ему зонтик?

Слово «зонтик» словно оторвало нашу матушку от наблюдений за местностью и перенесло ее в привычную сферу материнских забот.

— Ja, ganz gewiß!¹ И бутылку подогретого яблочного сиропа. Заверни ее в шерстяной чулок. Захвати еще клеенку, чтобы расстелить на ветках. Тогда ему не страшна будет сырость. Где он сейчас, бедняжка? Будем надеяться, ты его разыщешь!

Нагруженный свертками, я шагнул под дождь, раскрыв огром-

¹ Да, конечно! (нем.)

ный зеленый зонт. Другой зонтик, для Козимо, я держал под мышкой.

Я пронзительно свистнул, но ответом мне был лишь неумолчный шум дождя в листве. Было темно, сад кончился, я не знал, куда дальше идти, и брел наугад по скользким камням, по мокрой траве, по лужам, громко свистя, а чтобы мой свист был слышен и наверху, я откидывал назад зонтик, и струи воды хлестали меня по лицу, смывая звуки с губ. Я хотел пройти к общинным землям, где росли высокие деревья, на них-то, думалось мне, брат и устроил себе укрытие, но в темноте я сбился с пути и теперь стоял у какого-то дерева, крепко сжимая в руке зонтики и свертки, и лишь бутылка сиропа в шерстяном чулке немного согревала меня.

Вдруг я разглядел сквозь тьму огонек наверху меж деревьев: то не мог быть ни свет луны, ни мерцание звезд.

— Козимо-о-о!

— Бьяджо-о-о! — донесся сверху голос, заглушаемый шумом дождя.

— Где ты?

— Здесь!.. Я спущусь, но ты побыстрее, не то я весь вымокну.

Встреча состоялась на ветле. Закутанный в одеяло, Козимо спустился на самый нижний сук и показал мне, как перебраться по густо переплетенным ветвям на бук с длинным гладким стволом; отсюда и пробивался этот слабый свет. Я отдал брату зонтик и часть свертков, и мы попробовали лезть с раскрытыми зонтиками, но это оказалось невозможно: нас все равно поливал дождь. Наконец мы добрались до цели. Я ничего не увидел, кроме слабого света, казалось проникавшего через ткань палатки. Козимо поднял полог и пропустил меня вперед. При свете фонаря я увидел нечто вроде маленькой комнатки, завешенной со всех сторон коврами и материей. Подпорками служили деревянные рейки, и все это сооружение держалось на крепких ветвях. Вначале укрытие брата показалось мне королевскими покоем, но вскоре я на себе испытал, сколь оно непрочное; лишний человек уже угрожал его шаткому равновесию, и Козимо пришлось срочно заделывать отверстия и укреплять подпорки. Брат выставил наружу оба раскрытых зонтика и попытался закрыть ими две дыры на потолке, однако вода просачивалась в других местах, и постепенно мы оба изрядно вымокли, а уж холодно здесь было так же, как под открытым небом.

Впрочем, брат натаскал сюда столько одеял, что можно было зарыться в них, высунув наружу только голову. От фонаря струился зыбкий, неровный свет, а ветки и листья отбрасывали на потолок и стены этого странного сооружения причудливо переплетенные тени.

Козимо большими глотками пил яблочный сироп, радостно причмокивая.

— Хороший у тебя дом,—сказал я.

— О, это только на первое время,—поспешно ответил брат.— Я что-нибудь получше придумаю.

— Ты его сам построил?

— А кто же еще? Это мое тайное убежище.

— Но я-то смогу сюда приходить?

— Нет. Ты наведешь на след остальных.

— Отец сказал, что больше не станет тебя искать.

— Все равно это укрытие должно оставаться тайным.

— Из-за этих воришек? Но ведь они твои друзья?

— Когда как.

— А девочка на белом коне?

— Тебе-то что?

— Я просто подумал, если вы друзья, то, верно, играете вместе.

— Как когда.

— А почему не всегда?

— Иногда мне не хочется, иногда ей.

— А ее ты бы сюда позвал?

Козимо, помрачнев, пытался расправить смятую циновку.

— Если бы она пришла, я бы ей позволил подняться,—мрачно ответил он.

— Значит, она сама не хочет?

Козимо растянулся на полу.

— Она уехала.

— Скажи,—вполголоса спросил я,—вы жених и невеста?

— Нет,—ответил брат и надолго замкнулся в молчании.

На следующий день погода прояснилась, и было решено, что аббат Фошлафлер начнет давать Козимо уроки. Как и где, барон не объяснил. Грубоватым тоном он приказал аббату, чтобы тот поискал Козимо («Чем ворон считать, сходили бы вы, monsieur l'abbé...») и задал ему перевести отрывок из Вергилия. Сообразив, что поставил аббата в тупик, и желая облегчить ему задачу, отец позвал меня и сказал:

— Иди и скажи Козимо, чтобы он через полчаса был в саду на уроке латыни.

Он произнес это как можно естественнее; в том же тоне он намеревался говорить о старшем сыне и впредь, ибо отныне, хотя Козимо оставался на деревьях, все должно было идти, как прежде.

И урок состоялся. Брат, сидя на ветке вяза и свесив ноги, аббат—внизу, посреди лужайки на скамеечке, в один голос повторяли гексаметры. Я играл неподалеку и на минуту потерял их из виду. Когда я вернулся, аббат тоже оказался на дереве. Болтая длинными тонкими ногами в черных чулках, он пытался усесться на развилке сука, а Козимо помогал ему, поддерживая за локоть. Наконец они нашли удобную для старого аббата позицию и, склонившись над книгой, вдвоем стали разбирать

трудное место. Брат, видимо, занимался с великим усердием. Потом ученик исчез, я не заметил как: быть может, аббат даже наверху отвлекся и по давней привычке бессмысленно уставился в пустоту, но только теперь на суку, чуть сторбившись, сидел лишь священник в черной сутане, с раскрытой книгой на коленях и, разинув рот, следил за полетом красивой белой бабочки. Когда бабочка улетела, аббат заметил, что сидит на дереве, и перепугался. Он обхватил ствол руками и принялся кричать: «Au secours! Au secours!»¹, пока не прибежали слуги с лестницей. Мало-помалу он успокоился и осторожно слез вниз.

Словом, Козимо, хотя и убежал от нас, жил рядом, почти так же, как прежде. Он был отшельником, который не избегает людей. Скорее можно было даже сказать, что люди неудержимо влекут его к себе.

Он пробирался по деревьям туда, где крестьяне мотыжили землю, ворошили навоз, косили траву на лугу, и вежливо их приветствовал.

Крестьяне удивленно задирали головы, и он сразу же показывался, ведь ему уже не доставляло никакого удовольствия крикнуть «ку-ку» и спрятаться— прежде это было нашей любимой забавой, когда мы вместе лазали по деревьям. Первое время крестьяне, видя, как он прыгает по ветвям, не знали, что делать: то ли поздороваться, почтительно сняв шляпу перед молодым бароном, то ли прикрикнуть на него, как на обыкновенного сорванца.

Постепенно они привыкли к нему и перекидывались с ним несколькими фразами о работе в поле, о погоде и даже признавали, что понимают его игру в жизнь на деревьях, игру, которая была не хуже и не лучше других господских причуд.

Козимо целыми часами сидел на дереве, наблюдая за работой крестьян, спрашивал их об удобрениях, о семенах,— раньше, когда он жил на земле, ему это и в голову не приходило, потому что дворянская спесь не позволяла ему заговаривать с работниками и крестьянами. Теперь же он иной раз подсказывал им, ровно ли они ведут борозду, оповещал, созрели ли уже в соседском огороде помидоры; нередко он вызывался исполнить их мелкие поручения— попросить у жены одного из жнецов точильный брусок или передать, чтобы пустили в огород воду.

Если же, выполняя поручения, он замечал с дерева, как на поле пшеницы опустилась стая воробьев, то немедленно начинал кричать и размахивать шляпой, чтобы спугнуть их.

В своих странствованиях по лесу ему реже случалось встречаться с людьми, зато каждая встреча надолго оставалась в

¹ На помощь! На помощь! (франц.)

памяти, потому что мы с вами таких людей и в глаза не видывали. В те времена бедный бродячий люд, случалось, надолго селился в лесу: угольщики, лудильщики, стекольщики, которых голод целыми семьями выгонял из деревень и заставлял добывать хлеб отхожим промыслом. Они располагались со своим немудреным инструментом прямо под открытым небом, спали в шалашах из веток. Вначале пробиравшийся по деревьям юноша в меховой шапке нагонял на них страх, особенно на женщин, принимавших его за злого духа. Но постепенно брат подружился с ними и целыми часами наблюдал за их работой, а вечером, когда они усаживались у костра, спускался на нижнюю ветку и жадно слушал всякие любопытные истории. На этих островках выжженной земли больше всего было угольщиков. Они хрипло кричали на своем непонятном бергамском наречии: «Nuga! Nota!» Эти бергамасцы были сильными и молчаливыми людьми и крепко держались друг друга — одна большущая семья, которая рассеялась по всем лесам и была неразрывно связана родством, дружбой и даже старыми обидами.

Козимо частенько служил у них гонцом: выполнял поручения, передавал важные новости.

— Ваши родичи из-под Красного Дуба велели сказать, чтобы вы Nanfa la Nara Nota l'Noc¹.

— Передай им: Hegn Hobet Nó de Not².

Козимо запоминал эти таинственные гортанные звуки и старался их повторить, так же как он подражал веселому щебетанию птиц, будивших его на рассвете.

Слух о том, что сын барона ди Рондо уже несколько месяцев не слезает с деревьев, распространился очень скоро, но отец пытался держать это в тайне хотя бы от людей, приезжавших из дальних мест.

Однажды у нас остановились графы д'Эстома, направлявшиеся во Францию, где у них были владения близ Тулона. Не знаю, какие взаимные интересы скрывались за этим визитом: кажется, чтобы закрепить выгодную епархию за своим сыном-епископом или отсудить какие-то земли, они нуждались в поддержке моего отца, а тот, само собой разумеется, уже строил воздушные замки, узрев в этом союзе надежную опору своим династическим притязаниям на Омброзу. Был устроен званый обед, и я умирал со скуки, слушая, как отец и граф д'Эстома рассыпаются в любезностях. Среди гостей был сын графа, тщедушный щеголь в парике. Отец представил гостю детей, иными словами — одного меня, и сказал:

— Моя дочь Баттиста, бедняжка, живет как затворница, она такая набожная, боюсь, вам не удастся ее увидеть!

Не успел он договорить, как вдруг появилась эта дура в

¹ Положили мотыгу у сломанного дерева (*бергамский диалект*).

² Пусть идут сюда! (*бергамский диалект*)

монашеском чепце, но напудренная, разряженная, в лентах и митенках. Впрочем, ее тоже можно было понять — ведь после той истории с маркизом дельла Мела она не видела ни одного юноши, кроме слуг да крестьян. Молодой граф д'Эстома крайне любезно поклонился ей, а она истерически захихикала. В голове у отца, который давно поставил на будущем дочери крест, мгновенно начали роиться всевозможные проекты, но граф д'Эстома не проявил к ней никакого интереса.

— Мсье Арминию, у вас, кажется, есть еще один сын? — спросил он.

— Да, старший, — ответил отец. — Но надо же так случиться, он сейчас на охоте.

Он не солгал, потому что Козимо теперь целые дни проводил в лесу, охотясь на зайцев и дроздов. Ружье ему достал я, то самое легкое ружье Баттисты, с которым она прежде охотилась на мышей, но потом, забросив свои ночные вылазки, повесила его на гвоздь и забыла о нем.

Граф стал расспрашивать о дичи, что водилась в окрестностях. Отец отвечал весьма неопределенно: лишенный терпения, невнимательный к окружающему миру, он не умел охотиться. Тогда я пришел отцу на помощь, хотя мне было строго-настрого запрещено вступать в разговоры взрослых.

— Ты-то откуда это знаешь, малыш? — удивился граф.

— А я подбираю птиц и зверей, убитых братом, — начал было объяснять я, — и приношу их на...

Но тут отец перебил меня:

— Кто тебе позволил вмешиваться в разговор? Отправляйся играть!

Мы сидели в саду, и, хотя вечер уже наступил, было еще светло. И вдруг, шагая по платанам и вязам, появился Козимо в меховой шапке, в гетрах, с ружьем через одно плечо и с вертелом — через другое.

— О-о! — изумленно воскликнул граф, приподнимаясь и вертя головой, чтобы лучше видеть. — Кто это? Кто это там на деревьях?

— Что, что? Право, не знаю. Вам, вероятно, показалось, — пробормотал отец, глядя не на деревья, а графу в глаза, словно желая убедиться, не ошибся ли он.

Между тем Козимо остановился прямо над нами, упираясь широко расставленными ногами в раздвоенный сук.

— Ах да, это мой сын Козимо, знаете, они с Бьяджо совсем еще дети. Он хотел нас удивить, вот и забрался на верхушку дерева.

— Это ваш старший сын?

— Да-да, он старше Бьяджо, но совсем ненамного. Понимаете, они совсем еще дети, вот и придумывают всякие игры.

— Однако он очень ловко лазает по ветвям. Да еще с такой амуницией!

— Да, играют...— пробормотал отец: ложь стоила ему величайшего напряжения, он даже весь покраснел.— Что ты там делаешь? Ну? Слезай же! И поздоровайся с его сиятельством!

Брат снял меховую шапку, поклонился.

— Мое почтение, ваше сиятельство.

— Ха-ха-ха!— засмеялся граф д'Эстома.— Чудесно, превосходно! Позвольте, ну позвольте ему остаться, мсье Арминио! Какой смелый мальчик, как уверенно он шагает по деревьям!— Граф не переставая смеялся.

А его болван сынок без конца повторял:

— *C'est original, ça! C'est très original!*¹

Козимо уселся на суку. Отец переменял тему и болтал, болтал без умолку, пытаясь отвлечь графа. Но граф время от времени поднимал глаза и неизменно видел моего брата то на одном, то на другом дереве: только что он чистил ружье, минуту спустя уже смазывал салом кожаные гетры или надевал перед сном теплую фланелевую рубашку.

— О, посмотрите-ка! Этот молодой человек умеет все делать, не слезая с дерева. Ах, как он мне нравится! О, я непременно расскажу об этом при дворе, как только попаду туда! И, конечно, моему сыну-епископу. И княгине, моей тетушке!

Отец едва сдерживал бешенство. К тому же его преследовала ужасная мысль: куда-то исчезла Баттиста и вместе с нею молодой граф. Козимо по обыкновению отправился на разведку и вскоре вернулся, совсем запыхавшись.

— Она его икать заставила! Она его икать заставила!

Граф встревожился.

— О, это так неприятно! Мой сын не переносит икоты. Милый мальчик, пойди и посмотри, прошла ли у него икота. Скажи им, чтобы они шли сюда.

Козимо умчался и почти тотчас же вернулся.

— Они там бегают,— с трудом переводя дыхание, выпалил он.— Баттиста хочет засунуть ему под рубашку живую ящерицу, чтобы у него икота прошла. А он не дается!— И умчался смотреть, что будет дальше.

Так мы провели на вилле весь вечер, ничем не отличавшийся, по правде говоря, от других вечеров, и Козимо сверху принимал участие в наших беседах. Но это происходило в присутствии гостей, и слух о странном поведении моего брата распространился по всем королевским дворам Европы, к вящему стыду нашего отца. Стыду совершенно безосновательному, ибо граф д'Эстома вынес благоприятное впечатление о нашей семье, и вскоре моя сестра Баттиста обручилась с молодым графом.

¹ О, это оригинально! Это так оригинально! (*франц.*)

Оливы с их шершавой корой и кривыми сучьями открывали для Козимо удобный, торный путь: дружелюбные и выносливые, эти деревья давали ему проход и приют, хотя толстых веток у олив немного и особенно на них не порезвишься. А вот на фиговом дереве, где, правда, надо сначала попробовать, выдержит ли тебя сук, Козимо крутился как хомяк. Часто он сидел в беседке из ливы, видел, как в лучах солнца, пронизывающих каждый листок, вырисовывается узор прожилок, как наливаются зеленые плоды, слышал, как терпко пахнет млечным соком, по капле стекающим из тонкой шеи черенка. Фиговое дерево околдовывает тебя, обволакивает запахом камеди и жужжанием шершей—немного спустя Козимо начинало казаться, что он сам сливается с деревом, и он в замешательстве уходил.

Приятно сидеть на крепкой рябине и ветвистом тутовнике, жаль только, что их так мало. Редки у нас и ореховые деревья, которые даже у меня, когда я смотрел, как брат исчезает в ветвях старого орешника, необъятного, как высоченный дворец со множеством покоев, вызвали подчас желание последовать за ним и тоже навсегда поселиться на деревьях, что, впрочем, оставалось несбыточной мечтой. Столько уверенности и силы в этом горделивом дереве, так упрямо хочет оно быть тяжеловесным и крепким, что это заметно даже по листьям.

Козимо охотно проводил целые часы среди волнисто обрезанных листьев каменных дубов, которые он прежде, когда разговор заходил о деревьях нашего парка, называл падубами—очевидно, под влиянием изысканной речи отца.

Брат любил и потрескавшуюся кору платанов, куски которой он в задумчивости отгибал пальцами—понятно, не из инстинкта разрушения, а словно желая помочь дереву сбросить ветхие одежды. Нередко он подрезал эту белую кору, открывая полосы старой рыжеватой плесени. Любил он и деревья с бугристым стволом, особенно вяз, у которого шершавые бугорки выбрасывают нежные побеги, пучки зубчатых листочков и кисти крылатых семян. Но карабкаться по вязу нелегко, потому что его тонкие и густые ветки круто устремляются ввысь и через них не проберешься. Козимо предпочитал всем деревьям буки и дубы: ведь на сосне ярусы непрочных, утыканных иглами веток подступают друг к другу так тесно, что нельзя ни опереться, ни выпрямиться. Что же до каштана, то его колючие листья, шершавая кора, забравшиеся на самую вершину ветви, утыканные острыми шипами плоды словно нарочно отпугивают непрошенных гостей.

Все эти различия Козимо понял постепенно, вернее, обнаружил, что понимает их, ибо приязнь или неприязнь к разным деревьям зародились у него уже в первые дни, словно природный инстинкт. Теперь он жил в совсем ином мире—мире узких и кривых мостков над пустотой, мире бугристой, чешуйчатой или

морщинистой коры, зеленых лучей, меняющих оттенки в зависимости от густоты листвы, мире тоненьких листьев, вздрагивающих на своих черенках от малейшего дуновения либо развевающихся, как паруса, под клонящими дерево порывами ветра. Наш земной мир там, внизу, казался ему плоским, а фигуры — искаженными. Нашему пониманию было просто недоступно многое из того, что видел и узнавал Козимо, который долгими ночами слушал, как в стволе набухают волокна, откладываясь в годовые кольца, как расплывается под северным ветром пятно плесени и в гнездах уснувшие птицы невольно зарываются головой в самые мягкие перышки под крылом, как просыпается гусеница и пробивает яичко птенец сорокопуга. Настает такой миг, когда тишина полей и лесов рассыпается в ушной раковине пылинками разных звуков: каркнула ворона, взвизгнула во сне собака, послышался и смолк шорох в траве, прошуршал по камням какой-то зверек, и над всем этим непрерывный звон цикад. Звуки настигают друг друга, и слух приучается различать все новые и новые шорохи, так же как пальцы, разбирающие пряди нечесаной шерсти, отыскивают в каждой из них все более тонкие, почти неосязаемые нити. Вдали не умолкает кваканье лягушек, но оно остается лишь фоном и не в силах изменить поток звуков, как непрерывное мерцание звезд не меняет силы света, льющегося с летнего неба. Но стоит подняться ветерку, как звуки обновляются. И лишь на самом дне ушной раковины по-прежнему звучат и переливаются бормотание и рокот — это дышит море.

Наступила зима, Козимо надел меховой кафтанчик. Он сам сшил его из шкурок разных зверей, убитых им на охоте: зайцев, лисиц, куниц и хорьков. А на голове он носил все ту же меховую шапку. Сшил он и теплые, с подкладкой штаны из козьей шкуры, и кожаные наколенники. Что же до обуви, то в конце концов Козимо понял, что для жизни на деревьях удобнее всего домашние туфли с мягкой подошвой, которые он и смастерил, кажется, из шкуры барсука. Теперь брат был надежно защищен от холода. Надо сказать, что в те времена зимы у нас были довольно мягкие, без нынешних жестоких холодов, которые, как говорят, выкурили из России Наполеона и гнались за ним до наших мест. Однако и тогда провести зимнюю ночь под открытым небом было не слишком приятно. От ночных холодов Козимо нашел спасение не в палатке или в шалаше, а в подвешенном на суку мешке из вывернутых мехом внутрь звериных шкур. Брат забирался в такой мешок, исчезал в нем с головой и вскоре засыпал, свернувшись клубком, словно младенец.

Если ночную тишину нарушал необычный шум, из мешка высовывалась меховая шапка, дуло ружья, а затем и голова Козимо, таращившего глаза в темноту. Крестьяне говорили, что

во тьме глаза у него светятся, как у кота или филина, но я этого не замечал ни разу.

А когда на заре поднимала крик сойка, из мешка показывались две руки со сжатыми в кулак пальцами, потом пальцы разжимались, руки медленно расходились в стороны и наконец, позевывая, вылезал сам Козимо с ружьем на плече и пороховницей у пояса, широко расставив слегка искривившиеся от лазанья на четвереньках ноги. Размяв затекшие суставы, встряхнувшись и почесав под мышками, Козимо, бодрый и свежий, начинал свой день.

Он направлялся к источнику, ибо изобрел или, вернее, соорудил подвесной источник, придя на помощь природе. Неподалеку был ручей, водопадом низвергавшийся с обрыва, а рядом топорщил свои ветви старый дуб. Козимо из коры тополя сделал желоб метра в два длиною, по нему подвел воду прямо к ветвям дуба, так что мог тут и пить, и умываться. А что он мылся, я знаю точно, потому что сам не раз видел это,—не слишком часто и даже не каждый день, но мылся.

Мыло я ему приносил. Иной раз, когда на него нападала охота, он устраивал настоящую стирку. Для этого специально втащил на дуб корыто. А белье развешивал сушиться на веревках, протянутых между ветвями.

Словом, он все делал, не слезая с деревьев. Даже наловчился жарить на вертеле убитую дичь. Делал он это так: огнивом поджигал сосновую шишку и бросал ее вниз прямо в очаг—его соорудил я из гладких камней,—затем набрасывал сверху сучья и хворост и с помощью кочерги, привязанной к длинной палке, регулировал пламя так, чтобы оно добиралось до вертела, подвешенного на двух ветках. Все это требовало особой осторожности, потому что в лесу легко вызвать пожар. Недаром очаг был сложен под тем же дубом, возле водопада, откуда, в случае пожара, нетрудно было добыть сколько угодно воды.

Так благодаря своей богатой охотничьей добыче, которую он съедал сам или выменивал у крестьян на овощи и фрукты, Козимо жил хорошо, сытно и не нуждался в нашей помощи. Однажды мы узнали, что каждое утро брат пьет парное молоко: он приручил козу, которая влезала на свисавший к самой земле сук оливкового дерева, вернее, вставала на него задними ногами, и Козимо сам доил ее, пристроив на ветке ведро. В такой же дружбе он был с рыжей падуанской курицей, отличной несушкой. Он смастерил ей в дупле дерева потайное гнездо и обычно через день находил там яйцо, которое тут же выпивал, проделав иглой две дырочки.

Сложнее всего было с отправлением естественных надобностей. Вначале Козимо не обращал на это внимания и справлял нужду, где придется. Но потом, поняв, что так некрасиво, отыскал в уединенном месте на берегу горной речушки Поганки ольху, свисавшую над водой, и по утрам со всеми удобствами

устривался на раздвоенном суку. Поганка была речушкой мутной и бурливой, с поросшими камышом берегами. Жители ближних селений сливали в нее помои. Так что юный отпрыск барона Пьюаско ди Рондо вел себя на деревьях вполне благопристойно, уважая внешние приличия и не теряя уважения к самому себе.

Поскольку Козимо жил охотой, ему недоставало необходимого помощника—собаки. Правда, я сразу же бросался в кустарник искать дроздов, бекасов, перепелов, сраженных в небесах метким выстрелом брата, а иной раз и лежавшую с вытянутым хвостом лисицу, которую он, просидев всю ночь в засаде, подстреливал у самых зарослей вереска. Однако мне редко удавалось удрать к брату в лес: мешали уроки аббата Фошлафлера, занятия, месса, семейные обеды и ужины—одним словом, сотни домашних обязанностей и правил, которым я подчинялся, сознавая в глубине души справедливость беспрестанно повторяемой фразы: «В семье и одного бунтаря предостаточно»,—фразы, наложившей отпечаток на всю мою жизнь.

Поэтому Козимо почти всегда отправлялся на охоту один и, чтобы достать подстреленную дичь, прибегал к помощи своего рода рыболовных снастей: шнура с прикрепленными к нему большими или маленькими крючками. Случалось, правда, что подбитая иволга повисала своими желтыми крыльями на ветвях, но довольно часто бекас или другая птица так и пропадали где-нибудь в кустах ежевики, сплошь облепленные черной массой муравьев. До сих пор я говорил только об одной из обязанностей собак—приносить добычу хозяину. Потому что в то время Козимо охотился почти всегда из засады, просиживая целое утро либо всю ночь на суку, поджидая, когда сядет на ветку дерева дрозд или выбежит на полянку заяц. Если брат терпел неудачу, то отправлялся бродить по лесу, прислушиваясь к пению птиц или пытаясь угадать, где проходят тропы пушных зверей. Заслышав лай гончих, несущихся за лисой или зайцем, он убирался подальше, ибо знал, что ему, одинокому охотнику за случайной дичью, эта добыча заказана. Привыкший уважать права других, он, хоть и мог с деревьев первым заметить и взять на мушку зверя, поднятого чужими собаками, ни разу не вскинул ружья. Козимо ждал, пока на тропинке не появится задыхающийся от быстрого бега охотник, весь обратившийся в слух и растерянно рыскающий глазами по сторонам, и тогда показывал ему, в какую сторону удрал зверь.

Однажды брат увидел лису, огненное пятно в зеленой траве; лиса тяжело дышала, усы у нее стояли торчком. Миновав луг, она исчезла в зарослях вереска. Сзади послышалось «вау-вау!». Это заливались лаем собаки. Они промчались галопом, уткнув носы в землю. Дважды они теряли лисий след и наконец повернули под прямым углом.

Они были уже совсем далеко, когда, рассекая траву и время от времени выныривая из нее, появилось что-то похожее скорее на рыбу, чем на собаку,— маленький дельфин, который несся вперед с радостным тьяканьем. Мордочка у этой собаки была более острой, а уши длиннее, чем у гончих. Сверху казалось, что она плывет, шевеля плавниками или перепончатыми лапами. Ног у нее словно не было вовсе, а тело—поджарое, вытянутое. Наконец собака выбежала на открытое место, и Козимо увидел, что это такса. Наверно, песик присоединился к своре гончих, но, совсем еще молоденький, почти щенок, быстро отстал. Лай охотничьих собак перешел в злобный вой—они окончательно потеряли след и теперь уже не бежали всей сворой, а разбрелись в разные стороны, обнюхивая поросшую густой травой поляну и пытаясь—слишком, пожалуй, нетерпеливо—учуять запах лисы, но прежний их пыл и ожесточение пропали, и некоторые уже незаметно воспользовались передышкой, чтобы задрать лапу у камня.

И тут, полная глупого торжества, их настигла такса; она летела, вскинув мордочку и шумно дыша. Она беспричинно и лукаво лаяла: «Гав! Гав!» Гончие в ответ злобно зарычали: «Р-р-р-р»—и бросили искать лисий след, разинув на таксу страшные зубастые пасти, но тут же забыли о ней и помчались дальше.

Козимо следил за собачкой, которая вслепую кружила по лугу. Такса, задумчиво поводявшая носом, увидела человека на дереве и завильяла хвостом. Козимо был уверен, что лиса все еще прячется в зарослях. Охотничьи собаки растерячно и отрывисто лаяли где-то вдалеке у холмов, понукаемые прерывистыми голосами охотников. Козимо крикнул таксе:

— Ищи же, ищи!

Маленькая такса принялась обнюхивать землю, она то и дело поднимала мордочку и глядела на брата.

— Ищи, ну ищи!

Такса исчезла. Козимо услышал треск ломающихся кустов и потом неожиданное: «У-у-у!» Такса подняла лису.

Зверь помчался по лугу. Но можно ли стрелять в лису, поднятую чужой собакой? Козимо дал лисе уйти, так и не выстрелив. Такса посмотрела на него недоуменным взглядом—так смотрят собаки, когда чего-то не понимают, но сомневаются, можно ли этого не понимать,—затем, опустив нос, снова бросилась вдогонку за лисой.

«Гав! Гав! Гав!» Она погнала лису по кругу. Вот они уже бегут назад. Стрелять или не стрелять? Козимо опять опустил ружье. В устремленном на дерево взгляде таксы отразилась настоящая боль. Она больше не лаяла и, бессильно свесив язык ниже ушей, все же неотступно преследовала зверя. Круги, по которым она гнала лису, вконец запутали остальных собак и самих охотников. На тропинку выскочил старик с тяжелой аркебузой.

— Послушайте!—крикнул ему Козимо.—Это такса ваша?

— Чтоб тебе провалиться вместе со всеми твоими родными! — рявкнул в ответ старик, который был явно не в духе. — Дураки мы, что ли, охотиться с таксой?

— Значит, я могу стрелять в зверя, которого она поднимет? — настаивал Козимо, стремившийся поступать строго по правилам.

— И еще в господа бога и всех его святых! — ответил старик и со всех ног понесся дальше.

Пес снова пригнал лису к дереву. Тут уж Козимо выстрелил и уложил ее наповал. С того дня Козимо стал хозяином собаки. Он дал ей имя Оттимо-Массимо.

Прежде Оттимо-Массимо был бездомным псом, присоединившимся к стае гончих из юного задора. Но откуда взялась эта такса? Чтобы узнать это, Козимо направился туда, куда она вела его. Такса, почти касаясь животом земли, пробиралась сквозь кусты, перепрыгивала через ямы и все время оборачивалась и смотрела, поспевают ли за ней мальчик наверху. Путь их был столь необычен, что вначале Козимо не догадался, куда они попали. Когда же наконец понял, сердце запрыгало у него в груди — это был сад маркизов д'Ондарива. Вилла была заколочена, жалюзи опущены, лишь на чердаке ставни одного окна громко хлопали при каждом порыве ветра. Неухоженный сад больше, чем когда-либо, походил на тропический лес. Оттимо-Массимо, ошалев от радости, носился, словно у себя дома, по заросшим дорожкам и отданным на милость сорняков клумбам, с лаем гонялся за бабочками.

Вдруг он исчез в кустах. Потом вернулся, держа в зубах ленту. У Козимо сердце забилось часто-часто.

— Что это, Оттимо-Массимо? Чья это лента? Ну отвечай же!

Оттимо-Массимо ласково вилял хвостом.

— Принеси сюда, Оттимо-Массимо! — Козимо спустился на самую нижнюю ветку и взял у собаки изо рта выцветший лоскуток, который прежде наверняка был лентой в волосах Виолы, так же как Оттимо-Массимо, конечно, была такса Виолы, о которой хозяйка, верно, забыла в суматохе отъезда. Козимо даже смутно припомнил, что прошлым летом Виола несла в надетой на руку корзине щенка, которого ей, видно, только что подарили.

— Ищи, ищи, Оттимо-Массимо!

Такса кидалась в заросли бамбука и возвращалась с новыми предметами, принадлежавшими раньше Виоле, — скакалкой, обломками бумажного змея, веером.

На вершине самого высокого дерева в саду брат вырезал острием шпаги «Виола и Козимо», а чуть пониже, уверенный, что девочке это понравится, даже если она называла собаку по-другому, — «такса Оттимо-Массимо».

С тех пор, увидев на дереве брата, я твердо знал, что внизу, почти касаясь брюхом земли, легонько трусит Оттимо-Массимо.

Козимо обучил его идти по следу, делать стойку, поднимать и приносить дичь—словом, всему, что должна делать охотничья собака, и не было в лесу зверя или птицы, на которых они бы не охотились вместе. Чтобы отдать хозяину добычу, Оттимо-Массимо карабкался передними лапами по стволу как можно выше. Козимо спускался, брал у него изо рта зайца или куропатку и ласково гладил верного пса. Этим и ограничивались их изъяснения дружбы и знаки взаимной привязанности. Но ни на миг не прекращался их незримый разговор, причем достаточно было одному отрывисто пролаять с земли, а другому тихонько прищелкнуть языком или пальцами, как обоим все становилось понятно.

Они никогда не изменяли этой дружбе—дружбе столь необходимой им обоим, и, хотя отличались своими повадками от остальных людей и собак мира, все же были счастливы, как могут быть счастливы вместе человек и собака.

XI

Долгое время, пока Козимо мужал, охота была для него всем. И еще, пожалуй, рыбная ловля: смастерив удочку, он подстерегал угрей и форелей в тихих заводях. Иной раз поневоле думалось, что отныне его органы чувств и сами инстинкты стали иными, чем у нас, и те шкуры, которыми он в отличие от нас прикрывал свое тело, в точности отвечали перемене самого его естества. Он постоянно прикасался лишь к шершавой коре деревьев; взгляд его привык видеть лишь птичьи перья, пушистый мех зверей и чешую рыб—словом, всю гамму красок, которую открывает глазу эта сторона мира; он ощущал, как зеленый ток, словно кровь, струится в жилках листа, и, конечно, столь глубокое вторжение в царство дикой природы, где жизнь во всех своих формах, будь то побег растения, клюв дрозда или стайка рыбок, так не похожа на человеческую, могло по-иному вылепить его душу и даже лишить вообще людского обличья. Между тем, какие бы новые качества ни приобрел Козимо, живя в царстве растений и борясь с дикими животными, я видел, что истинное место брата по-прежнему было среди нас.

И все же поневоле он все реже соблюдал некоторые обычаи, а потом и вовсе от них отказался. Взять, к примеру, обыкновение ходить к обедне. Первые месяцы он старался ее не пропускать. Каждое воскресенье мы, принарядившись, отправлялись всей семьей в церковь и неизменно видели на дереве Козимо, который тоже старался одеться по-праздничному—к примеру, в свой старый фрак или в треуголку вместо меховой шапки.

Мы шли в церковь, а он перебирался за нами по ветвям, под

любопытными взглядами жителей Омброзы; очень скоро, однако, они к этому привыкли, и наш отец вздохнул с облегчением. Мы чинно и важно добирались до церковного двора, а Козимо словно летел следом по воздуху, что являло со стороны довольно странное зрелище, особенно зимой, когда деревья стоят черные и голые.

Мы входили в церковь, садились на отведенную нашему семейству скамью, а брат оставался на дворе и устраивался возле бокового нефа на каменном дубе, как раз на высоте большого церковного окна. С нашей скамьи мы видели через стекло тени ветвей и силуэт самого Козимо, прижимавшего шляпу к груди и низко склонявшего голову. Отец договорился с одним из причетников, чтобы по воскресеньям это окно оставалось приоткрытым, и брат мог со своего дерева слушать всю службу. Но прошло некоторое время, и у обедни мы его уже не видели. А окно закрыли из-за сильного сквозняка в церкви.

Многое из того, что прежде было для брата очень важным, утеряло для него всякую ценность. Весной состоялась помолвка нашей сестры. Кто бы мог об этом подумать всего год назад? Приехали граф и графиня д'Эстома с сыном, и отец устроил настоящее празднество. Комнаты были ярко освещены, собралась вся окрестная знать, в зале танцевали. Где уж тут помнить о Козимо? Между тем все мы думали о нем. Я то и дело выглядывал в окно посмотреть, не появится ли он, а отец был очень грустен, и в эти минуты его мысли пребывали с тем, кто один не принимал участия в нашем семейном торжестве. И мать, распорядившаяся на празднике, словно генерал на плацу, пыталась тем самым лишь заглушить щемящую боль по отсутствующему. Даже Баттиста, которая стала неузнаваема, сбросив одежды монахини и облачившись в парик, словно сделанный из марципана, и в *grand papier*¹, украшенный кораллами и бог весть кем сшитый, даже Баттиста, кружась в танце, бьюсь об заклад, думала о нем.

Много позже я узнал, что в это самое время он незаметно для всех нас сидел в тени на верхушке платана и, поеживаясь от холода, глядел на залитые светом окна, на такие знакомые и сейчас празднично украшенные комнаты, на танцующих людей в париках. Какие мысли носились в его голове? Жалел ли он хоть немного, что порвал с нашей жизнью? Думал ли о том, какой короткий путь отделяет его от мира семейных радостей, как легко и быстро он может преодолеть этот путь! Кто знает, о чем Козимо думал, чего желал, прижимаясь к коре платана. Знаю лишь, что он просидел на дереве, пока не кончилось празднество, не потухли один за другим шандалы и вся вилла не погрузилась во тьму.

¹ Кринолин (франц.).

Так или иначе, но отношения Козимо с семьей не прервались до конца. Больше того, с одним из членов нашей семьи он даже сблизился, впервые, можно сказать, поняв его. Это был кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега. Козимо обнаружил, что этот скрытный, едва ли не полоумный человек, вечно пропадавший неизвестно где, занятый неведомо чем, был, единственный из всей семьи, завален множеством дел, причем ни одно из них не было бесполезным.

Обычно он выходил из дому в самый жаркий полуденный час, водрузив на круглую макушку феску; мелкими шажками, путаясь в длиннополом халате, он шел по саду и внезапно исчезал, словно проглоченный трещинами в глине, густыми зарослями или камнями ограды. Даже Козимо, который забавы ради ничего не упускал из поля зрения, словно часовой (впрочем, это стало уже не забавой, а естественным свойством, словно горизонт, который он охватывал взглядом, позволял ему все постигнуть), даже Козимо и тот терял дядюшку из виду.

Иногда брат мчался следом, перескакивая с ветки на ветку, к тому месту, где только что был Энеа-Сильвио, но так и не понял ни разу, куда же тот девался. Лишь один признак неизменно отличал эти места: поблизости всегда летали пчелы. В конце концов Козимо пришел к твердому убеждению, что присутствие кавалер-адвоката было как-то связано с пчелами и обнаружить его можно, лишь проследив за их полетом. Но как это сделать? Над каждым распустившимся цветком раздавалось гулкое жужжание пчел; брату пришлось, не отвлекаясь и не обращая внимания на отдельные случайные перелеты, пройти вдоль невидимой воздушной дороги, по которой пчелы сновали все чаще и чаще, пока он не увидел наконец, как за живой изгородью выются густым облаком мириады насекомых. Здесь на доске стояли в ряд ульи, а над ними среди тучи жужжащих пчел склонялся кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега.

Одним из тайных занятий нашего дядюшки было пчеловодство; впрочем, не совсем тайным, потому что время от времени он за обедом клал на стол только что вынутые из улья сочащиеся медом соты. Но разводил он пчел за пределами наших владений, в потайных местах, и явно не хотел, чтобы мы эти места знали. Возможно, его предосторожности объяснялись нежеланием положить доходы от этого промысла в дырявую сумку нашего семейного бюджета, а скорее всего — поскольку Энеа-Сильвио был человек совсем не жадный, да и выручка от нескольких фунтов меда и воска невелика, — стремлением избежать мелочной опеки нашего отца, любившего во все совать свой нос. Впрочем, не исключено, что дядюшка не хотел смешивать пчеловодство, одно из немногих любимых им дел, с неприятными обязанностями управляющего именем. А кроме того, отец никогда не позволил бы Энеа-Сильвио держать ульи вблизи от дома, ибо панически боялся пчелиных укусов и, случайно на-

ткнувшись в сад на пчелу или осу, сломя голову, с безумным видом мчался по аллеям, обеими руками придерживая на бегу парик, словно защищая себя от ударов орлиного клюва.

Однажды ветер сорвал парик у него с головы, перепуганная пчела ринулась на отца и всадила ему жало в голый череп. Целых три дня отец прикладывал к голове смоченные в уксусе носовые платки; такой уж он был—сохранял мужество и стойкость в серьезных переделках, но сходил с ума от страха при малейшей царапине или прыщике.

Итак, Энеа-Сильвио Каррега разбросал свои небольшие пасеки почти по всей долине Омброзы. Крестьяне за банку меда разрешали дядюшке ставить два-три улья по краям их полей, и он целыми днями переходил с места на место и хлопотал над ульями, причем его маленькие руки в черных митенках, защищавших от укусов, шевелились, словно пчелиные лапки. Голову дядюшки надежно предохраняла феска, а лицо—черная кисея, легонько колыхавшаяся при каждом вздохе.

Возясь с ульями, Энеа-Сильвио, чтобы отогнать насекомых, выпускал дым из какой-то штуковины. Жужжание пчелиного роя, черная кисея на лице, облако дыма—все это казалось брату колдовством, с помощью которого этот человек пытался раствориться в воздухе, исчезнуть, чтобы затем возродиться в ином обличье, в другие времена и в другом месте. Но волшебником он был довольно немощным, ибо неизменно возникал из облака совсем таким же, как прежде, разве что посасывал ужаленный палец.

Пришла весна. Однажды утром Козимо увидел, как встревоженный воздух дрожит, колеблемый неслыханным доселе звуком—жужжанием громким, как рев, и рассекаемый градом, который, однако, не падал на землю, а стелился над ней, уплывая вслед за плотным клубящимся облаком. То были пчелы, бесчисленное множество пчел, а вокруг зеленела трава, благоухали цветы и ярко светило солнце. Козимо, не понимая, что же происходит, ощутил вдруг необъяснимое, мучительное волнение.

— Кавалер-адвокат! Пчелы разбегаются! Убегают пчелы!—закричал он и помчался по деревьям на поиски дядюшки.

— Не убегают, а роятся,—раздался голос кавалер-адвоката.

Энеа-Сильвио вырос, словно гриб из-под земли, и подал Козимо знак молчать. Потом бросился куда-то и тут же исчез. Куда он делся?

Наступила пора роя. Темная масса пчел, покинув старый улей, летела за маткой. Козимо осмотрелся вокруг. В дверях кухни появился кавалер-адвокат, вооруженный сковородой и котелком. Он бил сковородой о котелок, извлекая невероятно гулкие звуки: «Дон! Дон! Дон!», отдававшиеся в барабанных перепонках таким неприятным звоном, что хоть уши затыкай. Через каждые три шага кавалер-адвокат ударял в котелок, неотступно следуя за роем пчел. При каждом ударе рой на

мгновение падал вниз, как от толчка, и вновь взмывал ввысь; теперь жужжание стало глуше, пчелы метались из стороны в сторону.

Козимо не удавалось хорошенько разглядеть, что происходит, но ему казалось, что весь рой устремился к какой-то точке в зеленой чаще и там застыл, закружился на месте. А Энеа-Сильвио продолжал бить в котелок.

— Что с ними такое, кавалер-адвокат? Что вы делаете? — подобравшись поближе, спросил Козимо.

— Скорее перелезай на то дерево, где сели пчелы, но смотри не качай его, пока я не подойду...

Пчелы опускались на гранатовое дерево. Козимо добрался до него и вначале ничего не заметил, но вскоре увидел большой, похожий на сосновую шишку плод, свисавший с нижней ветки; это был живой клубок пчел, который с каждой секундой рос и ширился.

Козимо, затаив дыхание, сидел на самой верхушке граната. Книзу свисала пчелиная гроздь, словно прикрепленная к ветке тоненькими нитями — лапками старой пчелы-матки, и чем больше эта гроздь становилась, тем казалась легче; вся она была точно склеена из тончайших и прозрачных бумажных крылышек, посеребренных круглые в черных и желтых полосках брюшки бесчисленных пчел.

Кавалер-адвокат, подпрыгивая, подбежал к дереву, неся в руках улей, затем, держа его вверх дном под веткой с пчелиной гроздью, он тихонько приказал Козимо:

— Потряси слегка дерево.

Козимо еле-еле качнул гранат. Пчелиный рой, словно сухой лист, отделился от ветки и свалился в улей. В тот же миг кавалер-адвокат накрыл улей доской.

— Вот и все.

Так в общем деле родилось согласие между Козимо и кавалер-адвокатом Каррегой, которое можно было бы назвать дружбой, если только это слово применимо к отношениям двух столь необщительных людей.

Энеа-Сильвио и брат сумели столкнуться и в том, что касалось оросительных работ. Это может показаться странным, ведь тому, кто все время проводит на деревьях, трудно заниматься канавами и колодцами, но я уже упоминал о подвесном водопроводе, который Козимо соорудил из коры тополя и который подавал воду из ручья прямо к ветвям дуба. А от взгляда Энеа-Сильвио, обычно такого рассеянного и невнимательного, не ускользало ничего, что было связано даже с самой маленькой речкой или ручьем в округе.

Сидя в кустах, Энеа-Сильвио с обрыва наблюдал, как Козимо извлек свою трубочку (напившись вдоволь, он каждый раз снова

прятал ее в густую листву, невольно усвоив привычку недоверчивых дикарей, прячущих все и вся), приладил узкую трубку с одной стороны на сук, а с другой — на камни русла и стал жадно пить.

Не знаю, что взбрело дядюшке на ум, только при виде водопровода он пришел в совершенный восторг, что с ним случалось чрезвычайно редко. Выскочив из кустов, он захлопал в ладоши, два-три раза подскочил, словно прыгал через веревочку, разбрызгал воду и едва не свалился в поток и не полетел с обрыва. Потом он принялся объяснять Козимо, какая чудесная идея пришла ему в голову. Идея была весьма туманной, а объяснение и того туманнее: обычно кавалер-адвокат, скорее из скромности, чем по незнанию языка, говорил на диалекте, но в моменты крайнего возбуждения он незаметно для себя переходил на турецкий, и уж тут нельзя было понять ни слова. Короче говоря, у него возникла мысль соорудить подвесной водопровод, который держался бы на ветвях деревьев и позволил бы оросить противоположный засушливый склон долины. Козимо на лету схватил суть этого плана, а предложенное им усовершенствование — проделать кое-где в трубах дырки, чтобы вода попутно орошала посевы, — буквально восхитило дядюшку.

Он тут же заперся у себя в кабинете и стал набрасывать план за планом. Козимо тоже не сидел сложа руки, ибо все, что можно было делать на деревьях, доставляло ему удовольствие, и к тому же он полагал, что это придаст особый вес и значение его необычному образу жизни. Ему казалось, что в лице Энеа-Сильвио Карреги он неожиданно обрел друга.

Они назначали деловые свидания на самых низких деревьях, куда кавалер-адвокат взбирался с помощью стремянки, крепко держа свернутые в трубочку чертежи, и где оба они, сидя рядом на суку, часами обсуждали все более сложные проекты водопровода.

Однако дальше планов дело не пошло. Энеа-Сильвио быстро охладел к своей затее, стал все реже видаться с Козимо, так и не закончил чертежи, а через неделю, по-видимому, вообще забыл о водопроводе. Впрочем, Козимо не жалел об этом; очень скоро он обнаружил, что вся эта история доставила ему уйму хлопот, и ничего больше.

Было совершенно ясно, что дядюшка мог бы в области орошения добиться весьма многого. Дело это он любил, и способностей у него хватало, но претворять свои планы в жизнь он не умел: возился, суетился, но все его замыслы кончались ничем — так вода в неудачно проложенном канале после бесполезных блужданий исчезает, поглощенная бесчисленными трещинами почвы на бесплодном пустыре.

Возможно, причина была вот в чем: если разведением пчел

Энеа-Сильвио мог заниматься только для себя, тайком и лишь время от времени неожиданно, без всяких просьб с нашей стороны, дарить нам мед или воск, то при орошении полей ему приходилось считаться с интересами многих землевладельцев и подчиняться советам и приказаниям нашего отца или того, кто поручал ему работу. Робкий и нерешительный, Каррега никогда не противился чужой воле, но быстро охладевал к порученному делу и не доводил его до конца.

В любое время кавалер-адвоката можно было увидеть на поле в окружении людей, вооруженных мотыгами и лопатами. Держа в руке рейку и свернутый в трубку чертеж, кавалер-адвокат показывал, где надо рыть канал, мерил расстояние шагами, стараясь ступать как можно шире, что при его коротких ножках было не так-то просто. Он заставлял крестьян копать землю в одном месте, затем в другом, внезапно останавливал их и вновь начинал что-то промерять. Наступал вечер, и работа прекращалась. Редко случалось, чтобы на следующее утро он решал продолжить работы на прежнем месте, а уж потом его целую неделю невозможно было отыскать.

Его страсть к оросительным работам находила полное удовлетворение в горячих порывах, коротких минутах вдохновения и надеждах. В сердце дядюшка хранил воспоминания о чудесных, превосходно орошенных землях султана, о садах и парках, где он, верно, единственный раз в жизни был по-настоящему счастлив; он постоянно сравнивал эти сады и поля Турции, а может, Берберии с полями Омброзы, испытывая неодолимое желание сделать их похожими на страну его воспоминаний; а поскольку его искусство сводилось к умению проводить каналы, то в него он и вкладывал всю свою жажду перемен, которая, постоянно сталкиваясь с враждебной действительностью, оставляла в его душе одни разочарования. Иногда он искал подземные воды с помощью лозы, но делал это незаметно, ибо в те времена подобные странные действия могли навлечь обвинения в колдовстве. Однажды Козимо увидел, как Энеа-Сильвио кружится по лугу, вытянув вперед рогатую палку. Но, вероятно, и тут дядюшка ограничился лишь попытками, ибо ровно ничего примечательного не произошло.

Когда Козимо разобрался в сложном характере Энеа-Сильвио, это во многом помогло ему понять, что значит быть одиноким, и сослужило впоследствии добрую службу. Я бы даже сказал, что перед глазами у него, как грозное предостережение, всегда стоял образ чудаковатого дядюшки: вот каким может стать человек, отделяющий свою судьбу от судьбы других людей; во всяком случае, Козимо сумел ни в чем ему не уподобиться.

Иногда Козимо просыпался ночью от криков:

— Караул! Разбойники! Держи!

Брат быстро добирался по деревьям до того места, откуда доносились крики. Чаще всего это был одинокий домик земледельца; по двору, в отчаянии схватившись за голову, метались полураздетые люди.

— Горе нам, горе! Ворвался Лесной Джан и унес всю выручку за урожай!

Быстро собирался народ.

— Это был Лесной Джан? Вы его видели?

— Он, он! Сам в маске, а в руке длинный пистолет. Сзади стояли еще двое в масках, а он отдавал приказания. Ясно, это он, Лесной Джан.

— А куда он скрылся?

— Ищи ветра в поле! Кто знает, где он теперь!

Иной раз захлебывался криком неудачливый путник, которого разбойники оставляли посреди дороги, обобрав до нитки,— без кошелька, без плаща и поклажи, без коня.

— Караул! Грабят! Лесной Джан!

— Как все произошло? Рассказывайте же!

— Выскочил оттуда, такой черный, бородатый, приставил мне пистолет к груди. Я чуть не умер со страха.

— Скорее! В погоню! В какую сторону он побежал?

— Туда! Хотя нет, наверно, сюда. Он несся как ветер.

Козимо решил во что бы то ни стало увидеть Лесного Джана. Он рыскал по лесу, гоняя зайцев или птиц, и все время повторял своей таксе: «Ищи, Оттимо-Массимо, ищи!» На самом же деле он хотел выкурить из норы лишь бандита Лесного Джана, и не с какой-то особой целью, а просто желал взглянуть на такую знаменитость. Но ему никак не удавалось повстречать грозного разбойника, даже проплував по лесу целую ночь. «Значит, этой ночью он не выходил!» — утешал себя Козимо. Между тем утром то в одном, то в другом конце долины у одинокого дома или у поворота дороги собравшиеся в кружок люди толковали о новом ограблении.

Козимо приближался и с широко раскрытыми глазами слушал эти удивительные истории.

— Вот ты целыми днями лазишь по деревьям, так неужто тебе ни разу не случилось встретить Лесного Джана? — спросил его однажды кто-то из крестьян.

Козимо устыдился.

— Э... пожалуй, что нет...

— Где уж ему увидеть, — вступился за Козимо другой крестьянин. — Лесной Джан прячется так хитро, что его век не отыщешь, и дороги выбирает такие, о которых никто и не слышал!

— За голову Лесного Джана обещана большущая награда! Кто

его поймает, тот до конца дней проживет безбедно.

— Это верно! Однако те, кто знают его убежище, тоже не в ладах с законом, хоть им, конечно, куда до него! Пусть только объявятся—сразу сами угодят на виселицу.

— Лесной Джан да Лесной Джан! Как будто он один совершил все эти преступления!

— А велика ли разница! На нем столько всяких обвинений, что если даже от десяти грабежей он отопрется, так за одиннадцатый повесят!

— Он разбойничал по всему побережью!

— В молодости он убил своего атамана!

— Это всем разбойникам разбойник!

— То-то он и укрылся в наших краях!

— Потому что мы уж больно храбрые!

Всеми новостями Козимо тут же делился с лудильщиками.

Среди поселившихся в лесу ремесленников было в то время немало весьма подозрительных бродяг: лудильщики, корзинщики, старьевщики ходили по домам и уже с утра присматривали, что бы украсть вечером. В лесу у них была вовсе и не мастерская, а тайник, где они хранили краденое.

— Знаете, этой ночью Лесной Джан напал на карету.

— Да ну? Что ж, и такое бывает.

— Он схватил лошадей под уздцы и остановил их на всем скаку.

— Хм, либо это не он был, либо ему не лошади, а клячи попались.

— Что вы? Значит, по-вашему, это был не Лесной Джан?

— Что ты мальчишке голову морочишь? Конечно, это Лесной Джан постарался!

— Да он на все горазд, этот Лесной Джан.

— Ха-ха-ха!

Слыша такие разговоры о грозном разбойнике, Козимо в полнейшей растерянности перебирался по деревьям к другому лагерю лесных бродяг и спрашивал:

— Как по-вашему, это Лесной Джан напал ночью на карету?

— Разве ты не знаешь? Любой налет—дело рук Лесного Джана. Понятно, если он удался.

— Почему, если удался?

— Потому, что если дельце не выгорело, так уж это точно был Лесной Джан.

— Ха-ха, этот раззява!

Козимо окончательно запутался.

— Лесной Джан раззява?

Тут остальные поспешно прерывали товарища:

— Да нет, что ты! Его боятся все вокруг!

— А вы сами его видели?

— Мы-то? Да разве его кто видел?

— Но вы уверены, что есть такой разбойник?

— Вот те на! Конечно, есть. Но если б его даже не было, то...

— То?..

— То все равно был бы. Ха-ха-ха!

— Но все говорят...

— Ясное дело. И надо, чтобы так говорили: этот ужасный злодей, Лесной Джан, всех грабит и убивает. Хотел бы я посмотреть, кто смеет сомневаться.

— А у тебя, мальчуган, хватило бы мужества сомневаться в этом?

В конце концов Козимо понял, что если в долине Лесной Джан на всех нагнал страху, то по всему лесистому склону чем выше подынешься, тем чаще услышишь двусмысленные, а порой даже насмешливые отзвывы о нем.

У Козимо пропала охота отыскивать его, ибо он понял, что людям поопытнее до Лесного Джана просто дела не было. И как раз тогда-то ему и привелось встретиться с неувлимым разбойником.

Однажды в полдень Козимо сидел на ореховом дереве и читал. С недавних пор им овладела охота к чтению—ведь нельзя же целый день сидеть, выставив из листовки ружье, ждать, пока в небе появится какой-нибудь зяблик.

Итак, брат читал «Жиль Блаза» Лесажа, держа в одной руке книгу, а в другой—ружье. Оттимо-Массимо, который не любил, когда хозяин читал, кружил по лужайке, ища любой предлог, лишь бы его отвлечь: к примеру, завидев бабочку, он начинал лаять, в тайной надежде, что Козимо тут же вскинет ружье.

И вдруг по горной тропинке, тяжело дыша, сбежал вниз бородатый человек в лохмотьях. Он был безоружен, а за ним гнались двое сбиров, которые размахивали саблями и надсадно кричали:

— Держи его! Это Лесной Джан! Наконец мы его выкурили!

Разбойник сумел немного оторваться от преследователей, но, если бы он и дальше бежал так же неуверенно, словно боясь сбиться с пути или угодить в ловушку, сбирь вскоре бы его настигли. Конечно, ему ни за что бы не удалось вскарабкаться по гладкому стволу орешника, но у брата всегда была наготове веревка, помогавшая ему перебираться с дерева на дерево в самых трудных местах. Он привязал один конец веревки к ветке, а другой бросил вниз. Конец ее едва не угодил разбойнику прямо в нос, он заметил его, секунду в растерянности переминался на месте, затем уцепился за веревку и мгновенно вскарабкался на дерево—видно, он был одним из тех нерешительных, но порывистых или, вернее, порывистых, но нерешительных людей, которые на первый взгляд, кажется, вот-вот упустят благоприятный момент, хотя на самом деле каждый раз умудряются мгновенно сообразить, что к чему.

Подбежали сбиры. Козимо успел смотать веревку, а Лесной Джан спрятался рядом с ним в листе орехового дерева. В этом месте тропинка раздваивалась. Один из преследователей помчался вправо, другой—влево, затем они снова встретились и теперь не знали, куда бежать дальше. И тут им попался на глаза Оттимо-Массимо, крутившийся поблизости.

— Послушай,—сказал один из сбиров другому,—по-моему, это собака баронского сына, ну того самого, что живет на деревьях! Если мальчишка где-нибудь рядом, он может нам помочь.

— Я здесь, наверху!—подал голос Козимо.

Но он крикнул это не с орехового дерева, где прятался разбойник, а с каштана напротив, куда он мгновенно перебрался, поэтому сбиры сразу же устались на каштан, даже не поглядев на соседние деревья.

— Простите, ваша милость,—сказали они.—Вы случайно не видели, куда побежал разбойник Лесной Джан.

— Я такого не знаю,—ответил Козимо,—но если вы ищете того человечка, который пробежал здесь сломя голову, так он помчался к реке.

— Человечка! Да он здоровенный детина и на любого страху нагонит.

— Возможно, но сверху все кажется маленьким.

— Спасибо, ваша милость!—И они бросились к реке.

Козимо перелез на ореховое дерево и снова принялся читать «Жиль Блаза». Лесной Джан по-прежнему прижимался к ветке: он был бледен, из его взлохмаченной бороды и рыжих волос торчали сосновые иглы, колючая шелуха каштанов и сухие листья. Он пристально глядел на Козимо испуганными круглыми и совсем зелеными глазами. Он был некрасив, просто уродлив.

— Ушли?—решился он наконец задать вопрос.

— Ушли, ушли,—дружелюбно отозвался Козимо.—Так это вы—разбойник Лесной Джан?

— Откуда вы меня знаете?

— Так, понаслышке!

— А вы тот самый юноша, который никогда не слезает с деревьев?

— Да. Откуда вы знаете?

— Да так, слухом земля полнится.

Они с симпатией посмотрели друг на друга, как люди известные, которые случайно встретились и им приятно, что заочно они уже знакомы.

Козимо не знал, что еще сказать, и внозь погрузился в чтение.

— Что вы такое читаете?

— «Жиль Блаза» Лесажа.

— Интересно?

— Да, очень.

— Много вам еще осталось?

— А что? Ну, страниц двадцать.

— Понимаете, я хотел спросить, не дадите ли вы мне ее почитать, когда кончите?— смущенно сказал Лесной Джан.— Ведь я целыми днями прячусь и частенько просто не знаю, чем заняться. Вот я и думаю: если б у меня была книга! Однажды я остановил карету. Ценностей там особых не было, зато я взял книгу. Так и унес с собой под кафтаном: я бы всю остальную добычу отдал за одну эту книгу. Вечером зажег я лампу, раскрыл книгу и вижу—она по-латыни. Я ни слова не понял...— Он покачал головой.— Понимаете, я латыни не знаю.

— Еще бы, латынь очень трудная,—ответил Козимо и с досадой отметил, что невольно заговорил покровительственным тоном.— Эта книга на французском...

— Французский, тосканский, провансальский, кастильский, я их все разбираю,—сказал Лесной Джан.— Немного и по-каталонски знаю: Bon dia! Bona nit! Està la mar mòlt alborotada¹.

Через полчаса Козимо дочитал книгу и отдал ее Лесному Джану.

Так завязалась дружба между моим братом и грозным разбойником. Кончив одну книгу, Лесной Джан торопился вернуть ее Козимо, брал у него другую, забирался в свою нору и тут же погружался в чтение.

Книги для Козимо доставал я из домашней библиотеки, и брат, прочитав их, тут же отдавал мне. Теперь он стал держать их дольше, потому что после него эти же книги читал Лесной Джан, и часто они возвращались растрепанными, с пятнами плесени и следами улиток, потому что один бог знает, где хранил их свирепый разбойник.

В условленные дни Козимо и Лесной Джан встречались на определенном дереве, обменивались книгами и немедля разбежались, потому что по лесу беспрестанно рыскали сбирьы. Эта весьма несложная операция была чревата серьезными опасностями не только для Лесного Джана, но и для брата, который, попадись, не смог бы, понятно, оправдать свою дружбу с преступником. Но Лесной Джан до того увлекся чтением, что проглатывал один роман за другим и за день, проведенный в укрытии, прочитывал тома, на чтение которых у брата уходило не меньше недели. Ненасытный разбойник постоянно требовал новой книги, и никакая сила не могла его остановить: если в тот день у него не была назначена встреча с Козимо, он носился по полям и деревьям в поисках моего брата, пугая сельских жителей и подымая в погоню все наличные силы сбирьов в Омброзе.

Теперь Козимо, которого разбойник одолевал своими просьбами, уже не хватало приносимых мною книг, и ему пришлось

¹ Добрый день! Спокойной ночи! На море сильная буря (каталонск.).

искать новых поставщиков. Он познакомился с одним книгопродавцем, евреем по имени Орбекке, который доставал ему даже многотомные сочинения. Обычно Козимо стучал к нему в окно, свешиваясь с ветки рожкового дерева, и отдавал только что подстреленных зайцев, куропаток и дроздов в обмен на толстые тома.

Но у Лесного Джана были свои вкусы, ему нельзя было всучить какую-нибудь чепуху, иначе он на следующий же день прибегал к Козимо и требовал обменять книгу. Козимо был в том возрасте, когда появляется вкус к серьезному чтению, и ему приходилось соблюдать осторожность, после того как однажды Лесной Джан вернул брату «Приключения Телемаха», пригрозив, что, если в следующий раз Козимо даст ему такую скучную книгу, он подпилит под ним дерево.

Тогда Козимо решил отделить те книги, которые он хотел прочесть спокойно, не спеша, от книг, покупаемых специально для разбойника. Но из этого ничего не вышло: ему приходилось бегло перелистывать и книги, отложенные для Лесного Джана, потому что разбойник с каждым днем становился все разборчивее, требовательнее: прежде чем забрать книгу, настаивал, чтобы Козимо рассказал ему содержание, и брату изрядно доставалось, если он попадал впросак. Брат дал было ему коротенькие романы о любви, но разбойник примчался и в ярости спросил, уж не принимает ли он его за легкомысленную даму. Часто невозможно было угадать, какая книга придется ему по вкусу.

Вскоре для брата, вечно подгоняемого ненасытным разбойником, чтение из получасовой забавы превратилось в основное занятие и главную цель. Вечно с книгами в руках, оценивая и отбирая все новые и новые сочинения, предназначенные для Лесного Джана, Козимо так пристрастился к чтению, ко всему, что дано знать человеку, что дня от рассвета до заката ему уже не хватало, и он продолжал читать вечером при свете фонаря.

Наконец он натолкнулся на романы Ричардсона. Лесному Джану Ричардсон понравился. Закончив один роман, он тут же требовал другой. Орбекке раздобыл для него целую гору книг. Их хватило Лесному Джану на полный месяц. Он на время оставил Козимо в покое, и тот с жадностью набросился на «Жизнеописание» Плутарха.

Целыми днями Лесной Джан лежал на подстилке и, откидывая с нахмуренного лба рыжие всклокоченные волосы, в которых застряли сухие листья, пробегал покрасневшими от напряжения глазами строчку за строчкой, беззвучно шевеля губами и заранее поднимая смоченный слюной указательный палец, чтобы не теряя времени перевернуть страницу. Романы Ричардсона обострили давно уже крившуюся в его душе тоску по размеренной жизни в семейном кругу, по родным и близким, по их любви, внушили ему отвращение к людям преступным и порочным. Все, что окружало его, стало ему безразлично и, более того, даже отвратительно.

Теперь он вылезал из своей норы лишь затем, чтобы сбегать к Козимы и получить очередную книгу, особенно если роман был в нескольких томах и чтение приходилось прерывать на самом интересном месте. Он проводил долгие часы в полном одиночестве, не ведая, какая буря негодования зреет в лесу среди его некогда верных сообщников: им надоел такой бездеятельный главарь, за которым вдобавок гонялась целая свора сбиров. Раньше и те, у кого были не столь уж серьезные счета с правосудием, мелкие воришки, вроде этих бродячих лудильщиков, и настоящие преступники из разбойничьей шайки—все шли за ним. Опыт и слава Лесного Джана помогали им совершать грабежи, к тому же, прикрываясь, как щитом, его грозным, передаваемым из уст в уста именем, сами они оставались в тени. Даже тем, кто не принимал участия в грабежах, в случае удачи кое-что перепало: ведь в лесу было полным-полно краденых вещей и контрабанды—их надо было спрятать или сбыть, и все причастные к этому делу получали свою выгоду. А те, кто совершали налеты на свой страх и риск без ведома Лесного Джана, присваивали это наводящее трепет имя, чтобы нагнать еще больше ужаса на свою жертву и взять с нее все, что возможно. Обыватели жили в постоянном страхе, в каждом преступнике видели Лесного Джана или одного из его банды и торопились развязать кошельки.

Это благодатное время длилось очень долго. Лесной Джан, понимая, что он может отлично жить, так сказать, на ренту, постепенно изрядно обленился. Он думал, будто все осталось как прежде, не ведая, что люди приободрились и его имя уже не внушает былого почтения. Кому нужен был теперь Лесной Джан? Он безвылазно сидел в своей берлоге и покрасневшими глазами глотал роман за романом, на грабежи больше не выходил, ничего не добывал, зато в лесу уже никто не мог заниматься своими делами, потому что каждый день, разыскивая его, лес обшаривали сбiry, и любой, кто казался им подозрительным, немедля попадал в тюрьму. Если прибавить к этому соблазн получить большую награду, обещанную за голову преступника, нетрудно понять, что дни Лесного Джана были сочтены.

Но два молодых разбойника, выпестованных Лесным Джаном, никак не хотели примириться с потерей главаря и решили дать ему шанс вновь отличиться в деле. Звали их Угассо и Бель-Лоре, это были те самые мальчишки из шайки, шнырявшей по садам. Теперь они подросли и стали настоящими разбойниками.

И вот они отправились к Лесному Джану, в его пещеру. Главарь лежал на соломенной подстилке.

— Ну, что там у вас?—спросил он, не отрываясь от книги.

— Мы хотим предложить тебе одно дельце, Лесной Джан.

— М-м-м? Какое?—И продолжал читать.

— Ты знаешь, где находится дом таможенника Костанцо?

— Да, да... А? Что? Какой такой таможенник?

Бель-Лоре и Угасо обменялись недовольными взглядами. Если не забрать у него этой проклятой книги, он не поймет ни слова.

— Закрой на минуту книгу, Лесной Джан. Послушай.

Лесной Джан обеими руками схватил томик Ричардсона, встал на колени и, заложив было пальцем страницу, прижал том к груди; но желание узнать, что же произошло дальше, было столь велико, что он снова раскрыл книгу и, все так же крепко сжимая ее в руках, уткнулся носом в страницу. И тут Бель-Лоре осенило. С потолка свисала паутина, которую плел огромный паук. Бель-Лоре снял паутину и внезапно бросил ее в лицо Лесному Джану. А злосчастный разбойник до того переменился, что испугался жалкого паука. Едва на лицо ему упали липкие нити и защекотали кожу паучьи лапки, как он, не поняв, в чем дело, громко вскрикнул, выронил книгу и стал обмахиваться руками, отплевываясь и выпучив зеленые глаза.

Угасо проворно нагнулся и схватил книгу прежде, чем Лесной Джан успел наступить на нее ногой.

— Отдай книгу!— крикнул Лесной Джан, одной рукой пытаясь смахнуть с лица паутину и паука, а другой— вырвать у молодого разбойника книгу.

— Нет, сначала послушай, что я тебе скажу!— ответил Угасо, пряча книгу за спину.

— Я читаю «Клариссу». Отдай книгу! Я остановился на самом интересном месте.

— Выслушай меня. Сегодня мы отнесем дрова в дом к таможеннику. В мешок вместо дров мы положим тебя. Ночью ты вылезешь из мешка и...

— А я хочу дочитать «Клариссу»!

Ему удалось стряхнуть остатки паутины, и теперь он бросился вырывать у своих мучителей книгу.

— Нет, дай нам досказать. Ночью ты вылезешь из мешка, пригрозил таможеннику пистолетами и отнимешь у него всю пошлину за неделю, он ее хранит в кованом сундучке у изголовья кровати.

— Дайте хоть до главы дочитать. Ну будьте так добры...

Оба бандита подумали о тех временах, когда Лесной Джан любому, кто смел ему противоречить, тут же приставлял два пистолета к животу. Им стало горько.

— Хорошо, ты заберешь у таможенника мешки с деньгами, принесешь их нам, а мы отдадим тебе книгу, и тогда читай, сколько хочешь. Договорились? Идет?— печально спросили они.

— Ничего не выйдет, я не пойду!

— Ах, не пойдешь?.. Не пойдешь, значит! Тогда гляди!— Угасо схватил наугад страницу в самом конце книги («Нет!»— взревел Лесной Джан), вырвал ее («Ай, не надо!»), скомкал и бросил в огонь.

— О-о-о! Собака! Как ты мог? Теперь я не узнаю, чем все кончилось,— кричал Лесной Джан, бегая за Угассо и пытаясь отнять у него книгу.

— Ну как, пойдешь к таможеннику?

— Нет, не пойду!

Угассо выдрал еще две страницы.

— Постой! Ведь я еще этого места не читал. Не смей их жечь!

Угассо бросил их в печку.

— Собака! «Кларисса»! Нет!

— Так пойдешь?

— Я...

Угассо выдрал еще три страницы и кинул их в огонь.

Лесной Джан рухнул на подстилку и закрыл лицо руками.

— Пойду,— сказал он.— Только обещайте, что будете ждать меня с книгой у дома таможенника.

Двое бандитов спрятали Лесного Джана в мешок, а сверху положили вязанку сучьев. Бель-Лоре нес мешок за спиной, а сзади шел Угассо с книгой в руке. Каждый раз, когда Лесной Джан начинал жалобно мычать и дергаться в мешке, явно давая понять, что передумал, Угассо пугал его шелестом вырываемой страницы, и разбойник тут же затихал. Таким путем Угассо и Бель-Лоре, переодетые дровосеками, притащили свой груз в дом таможенника и оставили его там. Потом они спрятались неподалеку от дома за оливковым деревом и стали ждать, когда Лесной Джан, закончив дело, присоединится к ним.

Но Лесной Джан очень торопился и вылез из мешка до наступления темноты, когда в доме еще было полно народу.

— Руки вверх!

Но это был уже не прежний Лесной Джан, теперь он словно глядел на себя со стороны и казался самому себе немного смешным.

— Руки вверх, кому я говорю! Все, становись к стенке, живо!

Но где там, он и сам не верил в грозную силу своих слов и делал все так, лишь бы отделаться.

— Все тут?— Он даже не заметил, как из комнаты выскользнула маленькая девочка.

Нельзя было терять ни минуты. Между тем таможенник тянул время, притворялся олухом, никак не мог найти ключи. Лесной Джан видел, что его не принимают всерьез, и в глубине души был даже рад этому.

Наконец он вышел, неся в обеих руках сумки, полные монет, и вслепую помчался к оливковому дереву, где его должны были ждать сообщники.

— Вот вам вся добыча! Отдайте мне «Клариссу»!

Четыре, восемь, десять крепких рук схватили его за плечи, за руки, за ноги. Сбиры целым отрядом связали его, словно тук белья, и взвалили на плечи.

— Клариссу ты, дружок, увидишь через решетку!— И отвели его в тюрьму.

Тюрьмой в Омброзе служила невысокая башня на берегу моря. Неподалеку от башни росло несколько сосен. По ним Козимо добирался почти до самой камеры Лесного Джана и через прутья решетки видел лицо разбойника.

Лесной Джан меньше всего думал о допросах и о самом процессе: ведь его в любом случае ждала виселица; зато мысль о том, что дни в тюрьме проходят впустую, без книг, не давала ему покоя, как и воспоминания о недочитанном романе. Козимо раздобыл новый томик «Клариссы» и поднялся с ним на дерево.

— На чем ты остановился?

— На том, как Кларисса бежит из дома разврата.

Козимо полистал страницы.

— А, нашел! Так вот.— И он стал громко читать, обращаясь к решетке, за которую крепко уцепился своими ручищами Лесной Джан.

Следствие продвигалось медленно; разбойник стойко переносил пытки, и, чтобы заставить его признаться в каждом из бесчисленных преступлений, требовалось немало времени. Каждый день до и после допроса Лесной Джан слушал, как Козимо с дерева читал ему вслух. Покончив с «Клариссой» и видя, что заключенный заметно приуныл, Козимо решил, что на человека, сидящего в тюрьме, Ричардсон действует несколько угнетающе. Поэтому теперь он выбрал для чтения из романов Филдинга, ибо рассказ о бурных приключениях героя хоть как-то мог возместить узнику утраченную свободу.

Уже начался суд, но мысли Лесного Джана были поглощены похождениями Джонатана Уайльда Великого. День казни наступил прежде, чем Козимо успел дочитать роман. На телеге, в сопровождении священника Лесной Джан проехал последний в своей жизни путь. Преступников в Омброзе вешали обычно на высоком дубу, стоявшем посреди площади. Вокруг толпился народ. Когда Лесному Джану накинули петлю на шею, он услышал свист, донесшийся из листьев. Он поднял голову. Наверху сидел Козимо с закрытой книгой в руках.

— Скажи, чем кончился роман,—попросил разбойник.

— Не хочется мне тебя огорчать, Джан, но Джонатан кончил свои дни на виселице,—ответил Козимо.

— Спасибо. Да будет так и со мной! Прощай!—Он сам оттолкнул лесенку и закачался в воздухе.

Толпа, когда тело перестало дергаться, разошлась по домам.

Козимо до поздней ночи просидел на суку, где болтался повешенный. И едва подлетал ворон, чтобы выклевывать мертвецу глаз, Козимо отгонял его, размахивая шапкой.

За время знакомства с разбойником у Козимо развилась неумемая страсть к чтению и серьезным занятиям, сохранившаяся потом на всю жизнь. Теперь его чаще всего можно было увидеть с раскрытой книгой в руках: он сидел верхом, выбрав ветку поудобнее, и читал или же, облокотившись о ветку как о парту, и положив лист бумаги на дощечку, макал гусиное перо в чернильницу, запрятанную в дупле, и что-то писал.

Теперь он сам искал аббата Фошлафлера, чтобы тот задал ему урок либо разобрал с ним текст Тацита или Овидия, объяснил движение небесных тел и химические законы, но старый священник там, где дело не касалось основ грамматики и богословия, барахтался в море сомнений и находил много пробелов в своих знаниях, а потому в ответ на вопросы ученика лишь разводил руками и сокрушенно воздевал очи к небу.

— Monsieur l'Abbé, сколько жен разрешается иметь в Персии? Monsieur l'Abbé, кто викарий Савойи? Monsieur l'Abbé, можете вы мне объяснить классификацию Линнея?

— Alors... maintenant... voyons...¹—начинал аббат, но тут же терялся и умолкал.

Однако Козимо, который поглощал самые разные книги и половину времени проводил за чтением, а вторую половину на охоте, чтобы было чем заплатить книгопродавцу Орбекке, сам мог немало порассказать аббату, например о Руссо, который, собирая гербарий, бродил по лесам Швейцарии, о Бенджамине ФранкLINE, ловившем бумажным змеем молнии, о бароне де ла Онтане, что счастливо жил среди туземцев Америки.

Старый аббат Фошлафлер с восторгом внимал рассказам Козимо—не знаю уж, из неподдельного любопытства или же на радостях, что ему самому не придется объяснять все это ученику. Он кивал головой и всякий раз, когда Козимо спрашивал у него: «А вы знаете, как это бывает?»—отвечал: «Non! Dites-le moi!» или же «Tiens! Mais c'est épatant!»²

А когда Козимо сам давал ответ, он говорил «Mon Dieu!»³ таким тоном, что это в равной мере могло означать и восхищение перед новыми проявлениями величия творца, открывшимися ему в этот миг, и огорчение перед лицом вездесущего зла, которое в разных обличьях неотвратимо правит миром.

Я был еще слишком молод, а друзья Козимо принадлежали к низшим слоям и были сплошь неграмотны, так что свою потребность поделиться с кем-то необычайными сведениями, вычитанными из книг, он удовлетворял, засыпая вопросами и объяснениями своего старого наставника. Аббат, как известно, со всем согла-

¹ Ну что же... Сейчас... Посмотрим... (франц.)

² Нет! Расскажите мне об этом!.. Да ну! Это изумительно! (франц.)

³ О боже! (франц.)

шался и не вступал в споры, что проистекало из его глубокого убеждения в суетности всего и вся,—а Козимо пользовался этим.

Вскоре Козимо и старый аббат как бы поменялись ролями: теперь Козимо стал учителем, а Фошлафлер—учеником. Брат взял над аббатом такую власть, что ему удавалось увлечь за собой дрожащего от страха священника в странствия по деревьям. Однажды старый аббат, свесив с ветки тоненькие ножки, просидел целый день на могучем каштане в саду д'Ондарива, любуясь отражением закатного солнца в поросшем кувшинками пруду, разглядывая редкостные растения и беседуя с братом о монархическом и республиканском правлении, о сущности и истинности различных религий, о китайских ритуалах, о лиссабонском землетрясении, о лейденском банке и о сенсуализме.

Я томился в ожидании урока греческого языка, но мой учитель куда-то исчез. Наконец вся семья всполошилась: аббата искали в поле, в лесу и даже на дне рыбного садка, решив, что Фошлафлер по рассеянности мог в него свалиться и утонуть. Аббат вернулся лишь вечером, жалуясь на боль в пояснице от долгого сидения на ветке в крайне неудобном положении.

Не надо, однако, забывать, что у старого янсениста долгие периоды пассивного приятия всех событий и новшеств перемежались неожиданными и бурными проявлениями врожденной склонности к неукоснительной духовной суровости. Если в минуты рассеянности и апатии он без сопротивления воспринимал любую крамольную идею, к примеру мысль о равенстве людей перед законом, о неиспорченности дикарей или пагубном влиянии предрассудков, то буквально спустя четверть часа, подхваченный порывом, он вдруг проникался идеей, только что столь легкомысленно им одобренной, и развивал ее с присущим ему стремлением к логике и моральной строгости. Тогда в его устах обязанности свободных и равноправных граждан или добродетели человека, исповедующего естественную религию, становились непреложными правилами, канонами фанатической веры, причем вне этих канонов он видел лишь картину всеобщего разложения и считал, будто все современные философы слишком поверхностны и мягки в обличении зла, между тем как тернистый путь совершенства не допускает компромиссов и умолчаний.

В минуты этих внезапных взрывов Козимо не решался вставить ни слова из страха, что аббат сочтет его непоследовательным и недостаточно суровым, и возникший в его юношеских мечтах светлый мир вдруг превращался в кладбище, полное унылых мраморных надгробий. К счастью, аббат быстро уставал от такого напряжения воли и, обессилев, умолкал, словно от этих его стараний выхолостить любое понятие, свести его к голой сути и сам попадал во власть расплывчатых, неосозаемых теней,—он принимался хлопать глазами, глубоко вздыхал, затем начинал зевать и наконец вновь погружался в нирвану.

Но независимо от того, в каком состоянии духа он пребывал,

понуждаемый Козимо, аббат посвящал свои дни занятиям и был связующим звеном между лесом и лавкой Орбекке, которому он вручал список книг, кои следовало выписать у книгопродавцев Парижа или Амстердама, и забирал новые поступления. Это и послужило причиной его бед. Разнесся слух, что в Омброзе живет священник, который следит за всеми самыми что ни на есть кощунственными книгами в Европе; об этом проведал и церковный трибунал.

Однажды в полдень на нашу виллу явились сбирь и произвели обыск в комнатке аббата. Среди его молитвенников они нашли тома Бейля, правда еще не разрезанные, но и этого им оказалось достаточно, чтобы увести беднягу с собой.

Помнится, небо заволочли тучи, и я из окна моей комнаты растерянно наблюдал за этой грустной сценой, перестав учить спряжение аориста, ибо понял, что больше уроков не будет. Старый аббат шел по аллее посреди вооруженных головорезов и смотрел на деревья, в какое-то мгновение он рванулся, словно желая подбежать и взобраться на вяз, но у бедняги подкосились ноги. Козимо в тот день был в лесу на охоте и ничего не знал. Так они и не попрощались.

Мы ничем не могли помочь аббату. Отец заперся в комнате и не желал даже прикоснуться к пище из боязни, что иезуиты хотят его отравить. Аббат провел остаток жизни в тюрьме и монастыре, непрестанно предаваясь покаянным молитвам. Он посвятил всю жизнь богу, но до конца дней своих так и не смог понять, во что же он верит, однако при этом до последнего вздоха старался быть стойким в своих верованиях.

Арест аббата все же не помешал Козимо продолжить свое образование. Именно в это время он вступил в переписку с крупнейшими учеными и философами Европы, к которым обращался с просьбой разрешить его сомнения и подтвердить догадки, а иногда и ради удовольствия заочно побеседовать с величайшими умами и заодно поупражняться в иностранных языках. Жаль, что все бумаги, которые он прятал в дуплах деревьев, известных ему одному, бесследно пропали — наверняка были изъедены плесенью и изгрызены белками, — иначе достоянием истории стали бы письма, написанные рукой самых знаменитых мыслителей века.

Для хранения книг Козимо одну за другой соорудил своего рода подвесные библиотечки, защищенные, насколько возможно, от дождя и грызунов; их он постоянно переносил с места на место в зависимости от своих нужд и настроения, ибо смотрел на книги словно на птиц и не хотел, чтобы они лежали неподвижно и были заключены в клетку.

— Это чтобы им не было грустно, — объяснял мне брат.

В самом массивном из этих книжных шкафов выстраивались тома «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, по мере того как они

поступали к брату от одного книгопродавца из Ливорно. И если в последнее время от беспрестанного чтения мысли Козимо стали витать в облаках и он во многом утратил интерес к окружающему, то теперь, просматривая великолепные статьи «Энциклопедии» — такие, как «Abeille, Arbre, Bois, Jardin»¹, — брат заново открывал мир вокруг себя. Среди заказанных им книг были теперь и практические руководства, к примеру справочник по лесному делу, и брату не терпелось на опыте проверить свои новые познания.

Труд человека всегда интересовал Козимо, но до сих пор его жизнь на деревнях, внезапные исчезновения и появления зависели от необъяснимой, мгновенной прихоти, словно он был беспечной птичкой. Теперь же им овладело желание сделать что-либо на благо ближним. И если хорошенько разобраться — этому его тоже научило знакомство с разбойником. Отныне ему доставляло радость быть полезным и нужным для других.

Он научился подрезать деревья, и зимой, когда они простирают к небу хаотически сплетенные ветви и словно молят придать им более разумную форму, чтобы легче было весной зацвести, украситься листьями и плодами, Козимо предлагал свои услуги окрестным садоводам. Он хорошо знал свое дело и брал за работу совсем немного, так что не было ни одного арендатора или садовода, который не обращался бы к нему за помощью, и нередко можно было видеть, как в кристально чистом утреннем воздухе, широко расставив ноги и закутав шею шарфом, брат вскидывал садовые ножницы и — раз, раз! — безошибочными движениями обрезаł засохшие ветки и побеги. Столь же искусно действовал он, вооружившись ножовкой, в парках среди красавцев деревьев, призванных давать людям прохладу, и в лесах, где, сменив могучий топор дровосека, годный лишь на то, чтобы рубить под корень вековые дубы, на легкий топорик, умело работал наверху, среди ветвей.

Одним словом, любовь к деревьям, как всякая истинная любовь, научила его быть беспощадным и одновременно добрым, научила ранить и резать, чтобы дерево могло расти и хорошеть. Конечно, обрубая ветки и прореживая заросли, он заботился не только об интересах землевладельца, но и о собственных интересах путешественника, которому нужно расчистить свои воздушные пути; поэтому сучья, служившие ему мостом между двумя деревьями, он старался не только убрать, но и дать им набраться силы за счет других — тех, что он срезал секатором. Своим искусством он сделал природу Омброзы, с самого начала благосклонную к нему, еще благосклоннее: он сумел стать другом и ближнему своему, и природе, и самому себе. Преимуществами

¹ Пчела, дерево, лес, сад (франц.).

столь мудрых действий Козимо воспользовался уже в преклонном возрасте, когда удобная форма деревьев все больше восполняла недостаток былой ловкости и силы. Но едва пришло нам на смену поколение людей неразумных, забывающих в своей алчности о будущем, не любящих ни природы, ни даже самих себя, как все изменилось: теперь ни Козимо, ни кто-либо другой уже не сможет шествовать по деревьям.

XIV

Хотя число друзей Козимо возрастало, он успел нажить себе и врагов. Лесные бродяги после обращения Лесного Джана и его дальнейшего падения и гибели затаили на Козимо злобу. Однажды ночью, когда брат спал в лесу в своем меховом мешке, подвешенном к ясеню, его вдруг разбудил лай верной таксы. Он протер глаза и увидел свет, который шел снизу, где у самого подножия горел огонь и языки пламени уже лизали ствол дерева. Лесной пожар! Кто его устроил? Козимо хорошо помнил, что в тот вечер он даже не вынимал огнива. Значит, это дело рук тех негодяев! Они хотели не только спалить лес и пожить потом дровами, но также свалить всю вину на Козимо, а если удастся, и сечь его живьем.

В первую секунду Козимо думал не о грозившей ему опасности, а лишь о том, что все его бескрайнее царство тайных дорог и убежищ может погибнуть, и это страшило брата больше всего. Оттимо-Массимо, чтобы не сгореть, уже убежал из лесу, беспрестанно оборачиваясь и отчаянно лая: огонь распространялся все дальше, охватывая подлесок.

Козимо не растерялся. На ясень, служивший ему убежищем, он еще раньше перенес множество разных вещей, и среди них бочонок оршада, чтобы летом утолять жажду. Он подобрался к бочонку. По ветвям ясеня удирали встревоженные белки, из гнезд вылетали птицы. Козимо схватил бочонок и собрался уже выдернуть затычку и полить ствол ясеня, чтобы спасти его от пламени, как вдруг подумал, что огонь уже охватил траву, сухие листья и кусты и вскоре перекинется на соседние деревья. Козимо решил рискнуть: «Пусть уж лучше сгорит один ясень! Если мне удастся облить землю вокруг, куда огонь еще не добрался, я остановлю пожар». Выдернув затычку, брат принялся поливать землю по кругу, направляя струю на самые дальние языки пламени, пока не потушил их. Теперь огонь встретил на своем пути мокрую траву и листья и уже не смог пробиться дальше. С ясеня Козимо перепрыгнул на росший неподалеку бук. И как раз вовремя: подгоревший снизу ствол рухнул в огонь, под отчаянный писк несчастных белок. Но удалось ли Козимо окончательно загасить пожар? Искры и языки пламени уже перелетали на соседние кусты: понятно, узенький барьер из

мокрой травы и листьев не сможет долго преграждать путь пожару.

— Горит! Горит!—что есть мочи закричал Козимо.—Пожа-а-ар!

— Что случилось? Кто кричит?—раздались голоса.

Неподалеку была угольная яма, и друзья Козимо, угольщики-бергамасцы, спали в своем барачке.

— Пожар! На помо-о-щ!

Вскоре все холмы огласились громкими криками. Это угольщики со всех сторон перекликались на своем непонятном наречии. И вот уже они сбегаются к месту пожара.

Лес был спасен.

Эта первая злонамеренная попытка устроить пожар и лишить брата жизни должна бы убедить его держаться подальше от леса. А он, напротив, стал думать о том, как бы сберечь лес от огня. Лето в тот год выдалось жаркое и сухое. В прибрежных лесах, где-то в стороне Прованса, полыхал гигантский пожар. Ночью с гор были видны отсветы пламени, похоже на последние сполохи вечерней зари. Воздух был душный, кусты и деревья, утопая в зное, казалось, готовы были вспыхнуть как порох. Ветер словно нес пламя в наши края, и, займись у нас случайно или по злому умыслу пожар, весь прибрежный лес запылал бы как один громадный костер. Омброза жила в постоянном ожидании опасности, словно крепость с соломенной крышей, осажденная врагами-поджигателями. Даже небо было насыщено пламенем: каждую ночь по нему проносились падающие звезды, и мы боялись, что они упадут прямо на нас.

В эти дни полной растерянности Козимо закупил множество бочонков и, наполнив их водой, установил на верхушках самых высоких деревьев, господствовавших над долиной. Ведь доказано, что пользу, пусть и небольшую, они могут принести. Не удовлетворившись этим, он начал изучать режим пересекавших лес ручьев, сильно обмелевших в то лето, и ключей, из которых сочились теперь лишь тоненькие струйки воды. Он решил посоветоваться с кавалер-адвокатом.

— Ну да!—воскликнул Энеа-Сильвио Каррега, хлопнув себя ладонью по лбу.—Водоемы! Плотины! Надо составить планы!

Он кричал, подсказывая от восторга, в голове у него уже роились тысячи идей. Козимо посадил его делать расчеты и чертежи, а сам призвал владельцев лесных угодий, подрядчиков, промышленявших рубкой общинных лесов, дровосеков и угольщиков. Все вместе под началом кавалер-адвоката, которому волей обстоятельств пришлось командовать людьми и не отвлекаться, и Козимо, руководившего работами сверху, они вырыли небольшие водохранилища, так что, где бы ни вспыхнул пожар, рядом можно было немедля установить насосы.

Но и этого было недостаточно, предстояло еще создать пожарные дружины, которые в случае опасности встали бы цепочкой и, передавая ведра с водой из рук в руки, сумели бы загасить пламя раньше, чем оно распространится по лесу. И вскоре создано было своего рода ополчение, несшее дозорную службу и совершавшее ночные обходы. Добровольцев набирал Козимо из числа крестьян и ремесленников Омброзы. Сразу же, как это бывает в любом добровольном содружестве, возник дух товарищества и соревнования между отрядами, и все готовы были на самые трудные дела. Козимо тоже почувствовал новый прилив сил и бодрости; он открыл в себе способность сплотить людей и возглавить их,— способность, которой он, к счастью, никогда не злоупотреблял и пользовался лишь в редчайших случаях, когда необходимо было добиться важных результатов, а потому его начинаниям всегда сопутствовал успех. Он понял, что содружество делает человека сильнее, являет всем лучшие качества каждого и дает почти недоступную тем, кто живет в одиночку, счастливую возможность увидеть, сколько вокруг хороших, честных людей, ради которых стоит стремиться к добру. Тогда как с теми, кто живет в одиночку, чаще происходит обратное: они видят худшие стороны человеческой души, заставляющие их постоянно держать руку на эфесе шпаги.

Словом, то засушливое лето оказалось для Козимо во многом удачным, у всех было общее дело, и каждый ставил его выше своих собственных интересов, а наградой за это были дружба и уважение многих порядочных людей. Позже Козимо понял, что, когда общая задача решена, содружество уже не столь хорошо, как прежде, и лучше оставить руководство и вернуться к жизни в одиночестве. А пока, даже во главе ополчения, Козимо, как и прежде, проводил ночи совершенно один на каком-нибудь дереве, бдительно охраняя лес.

На случай, если где-нибудь вспыхнет очаг пожара, Козимо приспособил на верхушке дерева колокольчик, который в момент тревоги было слышно далеко вокруг.

Благодаря этому окрестным жителям несколько раз удавалось вовремя потушить пожары и спасти лес. А так как это были не случайные пожары, а поджоги, то вскоре нашли виновников. Ими оказались бандиты Угассо и Бель-Лоре, которых власти немедленно изгнали с территории общины. В конце августа начались проливные дожди — угроза миновала.

В те времена жители Омброзы только и делали, что хвалили моего брата. Эти голоса проникали и в наш дом: «Молодец он все-таки» или «Впрочем, в некоторых вещах он отлично разбирается». И все это произносилось таким тоном, каким говорят обычно, когда хотят беспристрастно оценить человека другой религии или враждебной партии и показать широту своих взгля-

дов, позволяющую понять чуждые идеи.

Мать-генеральша реагировала на все эти новости решительно и законично.

— А оружие у них есть?—спрашивала она, услышав о созданных Козимо пожарных дружинах.—Учения они проводят?—Она уже думала о создании вооруженного ополчения, которое в случае надобности смогло бы принять участие в военных действиях.

Отец, наоборот, выслушивал все, молча кивая головой, и нельзя было понять, огорчают ли его новости о Козимо, или же он, весьма польщенный в глубине души, соглашается с похвалами, словно только и ждал повода вновь поверить в своего сына. Вероятно, это второе предположение было более справедливо, потому что через несколько дней отец оседлал коня и поскакал искать Козимо.

Встретились они на открытой поляне, окруженной невысокими деревцами. Отец сразу же увидел Козимо, но, не глядя на него, несколько раз объехал поляну. Козимо, прыгая с дерева на дерево, подобрался к самому краю поляны. Очутившись неподалеку от отца, он снял соломенную шляпу, сменявшую летом традиционную меховую шапку, и сказал:

— Добрый день, батюшка!

— Добрый день, сын!

— Как вы поживаете?

— Неплохо, если принять во внимание мои годы и недуги.

— Рад видеть вас в добром здравии.

— А я рад за тебя. Я слышал, Козимо, ты немало делаешь для общего блага.

— Мне хочется защитить лес, ведь я здесь живу, батюшка.

— Знаешь ли ты, что часть леса мы получили по наследству еще от твоей покойной бабушки Елизаветы?

— Да, батюшка. В урочище Берлио. Там растут тридцать каштанов, двадцать два бука, восемь пиний и один клен. У меня есть копия всех кадастровых карт. Как один из владельцев леса, я и постарался объединить и поднять на его защиту всех заинтересованных лиц.

— Вот именно,—сказал отец, одоблив тем самым ответ сына. Потом добавил:—Мне сказали, что в это содружество входят всякие там пекари, огородники и кузнецы.

— Да, и они тоже. Люди самых разных профессий, разумеется честных.

— Известно ли тебе, что ты будешь иметь право, обладая герцогским титулом, повелевать вассалами из числа дворян?

— Я знаю одно: если мне приходит в голову больше идей, чем другим, я делюсь ими со всеми, а уж они вольны их принять или отвергнуть. Это и называется повелевать.

«И чтобы повелевать, нынче непременно нужно жить на деревьях?» Этот вопрос уже готов был сорваться у барона с

языка. Но что толку ворошить эту историю? Он глубоко вздохнул, вновь охваченный своими невеселыми думами. Затем расстегнул перевязь, на которой висела шпага.

— Тебе уже восемнадцать лет... Для тебя наступила пора зрелости... Мне недолго осталось жить...— Он протянул шпагу, держа ее обеими руками за клинок.— Ты помнишь, что ты барон ди Рондо?

— Да, батюшка, я помню свое имя.

— Будешь ли ты достоин имени и титула, которые носишь?

— Я постараюсь быть достойным имени человека, а значит, и достойным всего, что дается человеку.

— Возьми эту шпагу, мою шпагу.— Он привстал в стременах. Козимо свесился с ветки, и отец сумел надеть ему перевязь.

— Благодарю вас, батюшка. Обещаю вам с честью распорядиться ею.

— Прощай, сын мой.

Отец повернул лошадь, натянул поводья и медленно поехал прочь. Козимо хотел было отсалютовать ему шпагой, но потом решил, что отец вручил ему шпагу для защиты, а не для эффектных жестов, и так и не вынул клинок из ножен.

xv

Именно в это время, сойдясь поближе с кавалер-адвокатом, Козимо заметил в его поведении нечто странное или, вернее, отличное от прежнего, хотя невозможно было определить, стал ли он менее или еще более чудаковатым. Казалось, его задумчивый вид вызван не обычной рассеянностью, а неотвязно преследующей его мыслью. Он куда чаще вступал в разговоры, и если раньше по застенчивости и нелюдимости никогда не бывал в городе, то теперь часто можно было увидеть, как он болтает с моряками или портовыми рабочими либо сидит на откосе в обществе старых судовладельцев и толкует о каждом отплывающем или прибывающем судне, о каждом набеге пиратов.

К нашим берегам тогда еще подбирались фелюги берберийских пиратов, мешая мореплаванию. Правда, их дело изменилось: давно уже не было прежних пиратских набегов, и несчастные пленники не кончали больше свою жизнь рабами где-нибудь в Тунисе или Алжире и не лишались ушей и носа. Теперь, когда магометанам случалось захватить тартану¹ из Омброды, они забирали груз: бочонки соленой трески, круги голландского сыра, тюки разных тканей—и удирали прочь. Иногда нашим морякам удавалось уйти от погони и дать залп из мортиры по мачтам фелюги; в ответ пираты плевались, злобно ругались и грозились кулаками. Словом, это был мирный разбой, продолжавшийся потому, что паши этих областей утверждали, будто обязаны

¹ Тартана—небольшое одномачтовое судно.

взыскать с наших торговцев и судовладельцев некогда вверенные им суммы, ибо те якобы не выполнили условий каких-то поставок или попросту обманули мусульман. И вот теперь эти паши пытались вернуть долг с помощью морского разбоя, не отказываясь и от торговых переговоров, во время которых обе стороны то яростно спорили, то шли на уступки, но ни та, ни другая сторона не хотела прибегать к крайним мерам. Конечно, плавание в те времена оставалось делом рискованным и далеко не безопасным, но прежних кровавых трагедий уже не случалось.

Историю, которую я собираюсь поведать, Козимо рассказал мне в нескольких вариантах. Я буду придерживаться одного из них, наиболее связного и богатого подробностями. И хотя брат, повествуя о своих приключениях, явно кое-что присочинял, я из-за отсутствия других источников стараюсь в точности воспроизвести его рассказ.

Итак, однажды Козимо, привыкнув за время борьбы с пожарами просыпаться ночью, заметил огонек, спускавшийся в долину. Козимо крадучись двинулся за ним по ветвям и увидел, что это Энеа-Сильвио Каррега в своем халате и феске торопливо пробирается куда-то, держа в руках фонарь.

С чего это кавалер-адвокату, который обычно ложился спать с курами, вздумалось гулять в такое позднее время? Козимо двинулся следом. Он старался не наделать шума, хотя знал, что дядюшка, когда он шагает вот так, словно одержимый, ничего не слышит и уж наверняка не видит дальше собственного носа.

По горным тропкам кавалер-адвокат кратчайшим путем добрался до усыпанного галькой побережья и стал размахивать фонарем. Ночь была безлунная, и в темном море можно было разглядеть лишь колыхание белой пены. Козимо сидел на сосне, довольно далеко от берега, потому что лес здесь сильно редел и по ветвям можно было пробраться не всюду. Все же он хорошо видел старика в высокой феске, который, стоя на пустынном берегу, размахивал фонарем; вдруг из непроглядной морской тьмы ему ответил другой фонарь, сверкнув так близко, словно его только что зажгли. И тут, будто вынырнув из волн, подлетел баркас с черным квадратным парусом, не похожий на здешние лодки.

В колеблющемся свете фонарей Козимо увидел людей с тюрбанами на голове. Одни из них остались на баркасе и, подгребая веслами, удерживали его вблизи берега, другие высадились на сушу, и теперь нетрудно было разглядеть их широкие красные шаровары и поблескивающие кривые сабли у пояса. Козимо пошире раскрыл глаза и наострил уши. Дядюшка и пришельцы негромко переговаривались на каком-то языке, который нельзя было понять, хоть и казалось, будто все в нем понятно — видно, это и было пресловутое франкское наречие.

Время от времени до Козимо доносились слова на нашем родном языке, которые Энеа-Сильвио упрямо повторял по нескольку раз, мешая их с другими, непонятными словами. Знакомые слова были названиями судов, тарган и бригаантин, принадлежавших омброзским судовладельцам и плававших между нашим и некоторыми ближними портами.

Нетрудно было догадаться, о чем говорил Энеа-Сильвио. Он сообщал пиратам о днях прибытия и отплытия наших судов, об их грузе, курсе и вооружении. Вскоре дядюшка, как видно, выложил все, что знал, потому что повернулся и быстро зашагал прочь, а пираты сели на баркас и мгновенно растворились в морской тьме. Судя по тому, как быстро закончился разговор, это была не первая встреча. Кто знает, как давно пираты устраивали в море засады, руководствуясь указаниями дядюшки?

Козимо остался на сосне, не в силах покинуть этот пустынный берег. С моря тянуло ветром, волны набегали на прибрежные камни, дерево жалобно скрипело, а у брата дробно стучали зубы — не от холода, а от ужаса перед мрачным открытием.

Так значит, этот робкий, чудаковатый старичок, которого мы, дети, всегда считали вероломным и которого, как полагал Козимо, ему удалось мало-помалу оценить и понять, оказался низким, неблагодарным предателем, желавшим зла городу, приютившему его, жалкого неудачника, невзирая на полную заблуждений жизнь... Но почему он так поступал? Неужели его толкали на это тоска по его второй родине, где он однажды в жизни узнал счастье? А может быть, он затаил непримиримую злобу против нашего городка, где каждый кусок хлеба напоминал ему о беспрестанном унижении! Козимо не знал, бежать ли ему в Омбразу, чтобы разоблачить козни пиратского сообщника и спасти товары наших купцов, или же промолчать, чтобы не причинить боль отцу, который питал к Энеа-Сильвио необъяснимую любовь.

Козимо представил себе, как сбирь ведут закованного в наручники Энеа-Сильвио, как жители Омбразы со всех сторон осыпают его проклятиями, как его приводят на площадь, накидывают веревку на шею, как он повисает на суку. После печального бдения над телом Лесного Джана Козимо поклонялся себе самому ни разу больше не присутствовать при казни; и вот теперь он должен был стать судьей и решить, обречь ли на позорную смерть своего родича!

Всю ночь он мучился этим вопросом и весь следующий день яростно прыгал с ветки на ветку, сердито топал ногами, мгновенно спускался по стволу и тут же стремительно подтягивался на руках, как делал всегда, когда какая-нибудь неотвязная мысль одолевала его. Наконец он принял решение: он должен спугнуть пиратов и дядюшку, чтобы они прекратили свои темные дела сами, без вмешательства правосудия. Ночью он засядет на сосне, прихватив три-четыре заряженных ружья (теперь у него был

цельный арсенал для всяких охотничьих надобностей) и, едва Энеа-Сильвио и пираты сойдутся, начнет стрелять подряд из всех ружей, так чтобы пули свистели у них над головами. Услышав пальбу, пираты наверняка разбегутся кто куда. А кавалер-адвокат, который храбростью никогда не отличался, в страхе, что его раскрыли, и будучи уверен, что кто-то следит за этими встречами на берегу, поостережется вновь вступать в тайные сношения с экипажами мусульманских фелюг.

Две ночи Козимо прождал на сонсе, нацелив ружья на берег. Но пираты не появлялись. Настала третья ночь, и вот Энеа-Сильвио в своей неизменной феске спускается к морю, спотыкаясь о камни, и начинает подавать сигналы фонарем; а вот и баркас причаливает к берегу, и из него выходят люди в турбанах.

Козимо взвел курок, но так и не выстрелил. Потому что на этот раз все происходило совсем по-другому. Посовещавшись немного, двое из моряков, сошедших на берег, посигналили своим товарищам на баркасе, и те принялись сгружать бочки, ящики, тюки, мешки, оплетенные бутылки, бочонки с сыром. Баркасов было множество, все полны разных грузов, и длинная цепочка носильщиков в турбанах растянулась по берегу, а впереди, своей неуверенной походкой, шел дядюшка, показывая дорогу к пещере среди скал. Там чужаки сложили все товары — добычу последних пиратских набегов.

Но почему они снесли свою добычу на берег? Впоследствии все объяснилось, и очень просто. Фелюге предстояло бросить якорь в одном из наших портов и закупить на законном основании товары, ибо в перерывах между пиратскими набегами мусульмане занимались и мирной торговлей, а следовательно, подвергались таможенному досмотру. Но для этого надо сначала спрятать в надежном месте награбленное, чтобы незаметно забрать его на обратном пути. Таким образом, пираты с фелюги доказали бы свою непричастность к последним грабегам и заодно укрепили бы нормальные торговые связи с нашей страной.

Все эти закулисные обстоятельства стали ясны несколько позже. Сейчас у Козимо не было времени задаваться вопросами. Пираты спрятали награбленные сокровища в пещере, а сами направились к баркасу. Нужно было как можно скорее завладеть их добычей. В первую секунду Козимо собрался бежать в Омброзу и разбудить тамошних купцов, законных хозяев награбленного добра. Но тут он вспомнил о своих друзьях-угольщиках, которые впроголодь жили в лесу с семьями. Не колеблясь ни минуты, он помчался по ветвям к тому месту, где на серой утрамбованной площадке в жалких хижинах спали бергамасцы.

— Вставайте! Скорее! Я нашел пиратский клад!

Из палаток и шалашей донеслись громкие зевки, брань, фырканье, а потом удивленные восклицания, вопросы:

— Золото? Серебро?

— Я хорошенько не рассмотрел...— отвечал Козимо.— По

запаху похоже на сушеную треску и овечий сыр!

После этих слов лесные жители вскочили все до единого. У кого были ружья—взяли ружья, остальные—топоры, вертелы и лопаты; многие тащили ведра, старые корзины из-под угля, мешки, чтобы было куда класть захваченное добро. К морю потянулась целая процессия.

— Hura! Nota!

Женщины несли на головах пустые корзины, мальчишки, закутанные по шею в мешки, высоко вздымали факелы. Козимо летел впереди, ловко прыгая с лесной сосны на оливковое дерево, с оливкового дерева—на прибрежную сосну.

Они уже подошли к выступу скалы, за которой находилась пещера, как вдруг на вершине кривого фигового дерева возникла тень пирата—он взмахнул саблей и подал сигнал тревоги. Козимо в два прыжка взобрался на верхушку дерева, вонзил дозорному в бок шпагу, и тот, вскрикнув, свалился со скалы.

В пещере держали военный совет главари пиратов. В сутолоке и неразберихе Козимо не заметил, что часть мусульман осталась на суше. Услышав крик дозорного, пираты выскочили наружу и увидели, что они окружены ордой вооруженных лопатами мужчин и женщин, с черными от сажи лицами и с мешками на головах. Пираты выхватили сабли и ринулись пробивать себе дорогу.

— Иншалла!¹

— Nota! Hura!

Началось кровавое сражение.

Угольщиков было больше, но пираты были лучше вооружены. Известно, что против сабли нет оружия страшней лопаты. «Бум! Дзинь!»—и марокканский клинок в два счета зазубривался как пила. От ружей же, кроме грохота и дыма, никакой пользы не было. У нескольких пиратов, как видно офицеров, тоже были ружья, удивительно красивые, с насечкой из золота и серебра, но в гроте кремни отсырели и не давали искры. Самые ловкие из угольщиков норовили оглушить офицеров-пиратов ударом лопаты по голове и стянуть ружья. Но благодаря пышным тюрбанам, каждый такой удар был для пиратов словно легкий шлепок по подушке. Куда лучше бить коленом в живот, прямо в голый пупок.

Поняв, что из всех видов оружия в изобилии имеются лишь камни, угольщики принялись метать ими в пиратов. Те не остались в долгу. Теперь битва наконец приняла более упорядоченный вид, но так как угольщики рвались в пещеру, привлекаемые доносившимся оттуда запахом сушеной трески, а пираты пробивались к лодке на берегу, у воюющих сторон не было особенно серьезных причин для продолжения схватки.

Наконец бергамасцы пошли на штурм и проложили себе дорогу в пещеру. Мусульмане отчаянно защищались под градом

¹ С богом! (араб.)

камней и вдруг увидели, что путь к морю свободен. Зачем же дальше сражаться? Лучше поднять паруса и удрать в открытое море.

Подбежав к баркасу, трое офицеров распустили парус. Козимо ловко спрыгнул с сосны на мачту, уцепился за клотик, и, крепко сжимая коленями ствол мачты, обнажил шпагу. Пираты подняли сабли. Брат размахивал шпагой направо и налево, удерживая всех троих на почтительном расстоянии. Стоявший у берега баркас качался из стороны в сторону. Взошла луна: в ее лучах заблестела шпага, подаренная бароном сыну, и кривые турецкие клинки. Брат соскользнул вниз по стволу мачты, вонзил шпагу в грудь первого пирата, и тот свалился за борт. Юркий, словно ящерица, Козимо поспешил наверх, парируя выпады двух врагов, затем мигом спустился ниже и насквозь проткнул второго пирата, потом опять вскарабкался наверх, после короткого поединка с третьим офицером и, еще раз соскользнув, заколол и его.

Трое мертвых врагов уже погрузились в воду у самого берега, и в бородах у них запутались водоросли. Остальные пираты у выхода из пещеры совершенно ошалели под градом камней и ударов лопатами. Козимо, не слезая с мачты, победоносно осматривался кругом, как вдруг из пещеры выскочил кавалер-адвокат и опустив голову помчался по камням, словно кот, которому привязали к хвосту горящую паклю. Он подбежал к баркасу, оттолкнул его от берега, взобрался на него, схватил весла и, направив баркас в открытое море, принялся отчаянно грести.

— Кавалер! Что вы делаете? Да вы с ума сошли!— кричал Козимо, уцепившись за клотик.— Скорее возвращайтесь на берег! Куда вы?

Но где там! Ясно было, что Энеа-Сильвио хотел добраться до корабля пиратов и там укрыться от кары. Теперь его предательство было раскрыто, и, останься он на берегу, не миновать ему виселицы. Он греб и греб, и Козимо не знал, что делать, хоть и держал в руках обнаженную шпагу, а старик был слаб и безоружен. Честно говоря, ему не хотелось трогать дядюшку, да к тому же, чтобы добраться до него, Козимо надо было спуститься с мачты. Между тем брат совсем не был уверен, не поступил ли он уже своими принципами, спрыгнув с дерева на мачту, и понимал, что сейчас совсем не подходящий момент для решения сложного вопроса: ступить ногой в лодку и ступить на землю—равнозначно ли это? Поэтому он, ничего не предпринимая, поудобнее уселся на поперечине, обхватив обеими ногами ствол мачты, и смотрел, как баркас несется по волнам; легкий ветерок надувал паруса, а старик все налегал на весла.

И тут Козимо услышал негромкий лай. Он вздрогнул от радости. Оттимо-Массимо, которого он в горячке сражения потерял из виду, свернувшись клубочком, лежал на дне лодки и как ни в чем не бывало вилял хвостом.

Козимо подумал, что вообще-то особенно расстраиваться не стоит: ведь он, можно сказать, в тесном семейном кругу, вместе с дядюшкой и верным Отгимо-Массимо плывет в лодке по морю, что после стольких лет жизни на деревьях можно даже считать приятным развлечением. Над морем висела луна. Старик стал выбиваться из сил. Теперь он греб тяжело и плакал, то и дело повторяя:

— О Заира... О аллах, аллах... Заира... О Заира... иншалла...

Так, не переставая бормотать, он сквозь слезы повторял это женское имя, которое Козимо никогда прежде не слышал.

— Что вы говорите, кавалер? Что с вами? Куда мы плывем? — беспокойно спрашивал Козимо.

— Заира... О Заира... аллах, аллах,— шептал старик.

— Кто такая Заира, кавалер? Так вы надеетесь отсюда попасть к ней?

Энеа-Сильвио кивал, что-то шепча сквозь слезы, и с его уст, словно обращенное к луне, слетало странное женское имя. При слове «Заира» в голове у Козимо роем закружились тысячи догадок. Быть может, здесь кроется самая глубокая тайна этого скрытного и непонятного человека. Раз кавалер-адвокат, плывя к пиратскому кораблю, надеется встретиться с этой Заирой, значит, она живет в одной из мусульманских стран. Может быть, на всю его жизнь наложила отпечаток тоска по этой женщине, может, в мечтах о ней воплощалось то утраченное счастье, которое он тщетно искал, разводя пчел и прокладывая каналы. Возможно, она была его женой или любовницей там, в цветущих садах заморской страны, или — что много вероятнее — это его дочь, и он не видел ее много лет. Чтобы отыскать ее, дядюшке пришлось не раз обращаться к капитанам турецких и мавританских судов, которые приставали к нашим берегам, и в конце концов он, видно, получил о ней какие-то вести. Быть может, он узнал, что она стала рабыней, и турки в качестве выкупа потребовали у него сведения о путях омброзских тартан. Или такой ценой он должен был заплатить за право вернуться к мусульманам, на родину Заиры.

Теперь, когда интрига дядюшки была раскрыта, ему ничего не оставалось, как бежать из Омброзы, а берберам — его принять. В прерывистых, бессвязных речах кавалер-адвоката мольба и надежда перемежались со страхом, отчаянным страхом: а вдруг и на этот раз какое-нибудь несчастье не позволит ему соединиться с обожаемой Заирой.

Он уже не в силах был больше грести, как вдруг, словно тень, рядом возникла вторая пиратская лодка. Наверно, с корабля услышали шум битвы и послали разведчиков. Козимо соскользнул до середины мачты, чтобы спрятаться за парусом. Старик же, протягивая руки, закричал на франкском наречии, чтобы пираты взяли его и отвезли на корабль. Его просьба была исполнена. Двое пиратов в тюрбанах, едва лодка приблизилась на

достаточное расстояние, схватили его за плечи, легко приподняли и перенесли в свой баркас. Лодка Козимо от толчка подалась назад, парус надуло ветром, и брат, который уже не надеялся спастись, избежал гибели.

Подгоняемая ветром, лодка уносилась все дальше, и до Козимо долетели раздраженные голоса мусульман, как видно споривших о чем-то; злобный возглас одного из пиратов и стон дядюшки, в беспамятстве повторявшего: «О Заира! О Заира!» — не оставлял сомнения в том, какой прием оказали берберы кавалер-адвокату. Они наверняка сочли его виновным в том, что их отряд попал на берегу в засаду, потерял всю добычу и нескольких офицеров, и вот теперь обвиняли его в измене.

Послышался отчаянный вопль, всплеск воды и... наступила тишина. Козимо вдруг вспомнил, как кричал отец, гонясь за сводным братом по лугу: «Энеа-Сильвио! Энеа-Сильвио!» — вспомнил так явственно, будто услышал этот крик на берегу, и уткнулся лицом в парус.

Немного спустя брат снова взобрался повыше, чтобы посмотреть, куда плывет баркас. В воде покачивалось нечто вроде буйка, уносимого течением, но у этого буйка был хвост. На воду упал свет луны, и Козимо увидел, что это не буюк, а голова в высокой феске с кисточкой, и узнал запрокинутое лицо кавалер-адвоката, который, разинув рот, с обычным недоуменным выражением смотрел в небо. Туловище погрузилось в воду, и его не было видно. Козимо крикнул:

— Кавалер! Что вы делаете? Скорее влезайте в лодку. Хватайтесь же за борт! Я вам помогу подняться, кавалер!

Но дядюшка не отвечал, лишь легонько покачивался на волнах, недоуменно глядя ввысь невидящими глазами.

Козимо приказал:

— Оттимо-Массимо, сюда! Прыгай в воду! Хватай дядюшку за шею! Спасай его! Спасай!

Послушная собака прыгнула в море, попыталась схватить старика зубами за шею, но не сумела и вцепилась в бороду.

— За шею, Оттимо-Массимо! Тебе говорят, за шею! — крикнул Козимо, но собака подняла зубами голову и подтащила ее к самому борту. И тут Козимо увидел, что шеи нет, нет тела, нет ничего, кроме головы Энеа-Сильвио Карреги, отсеченной ударом сабли.

XVI

Вначале о гибели кавалер-адвоката брат рассказывал совсем по-иному. Когда ветер пригнал к берегу баркас с прижавшимся к мачте Козимо и следом приплыл Оттимо-Массимо, волочивший отрубленную голову Энеа-Сильвио, брат поведал сбежавшимся на его крик людям куда более простую историю: перебравшись с помощью веревки на сосну, он рассказал, что

Энеа-Сильвио был похищен пиратами и затем убит ими. Возможно, эту версию он сочинил, подумав о том, какую боль причинит отцу весть о смерти второго брата и вид его жалких останков, и не решаясь отягчать ее рассказом о предательстве Энеа-Сильвио. Больше того, прослышав о глубоком отчаянии отца, Козимо попытался позже окружить убитого дядюшку ореолом ложной славы и для этого придумал историю про то, как дядюшка втайне долго и хитроумно боролся с пиратами, но затем был ими разоблачен и предан страшной смерти. Однако в рассказе его было множество пробелов и противоречий еще и потому, что Козимо остерегался упоминать о пещере, в которой пираты схоронили свою добычу, и о нападении угольщиков. Ведь если бы жители Омбросы узнали об этом, они бы примчались в лес и отобрали у бергамасцев свое добро.

Лишь спустя несколько недель, уверенный, что угольщики уже успели распорядиться захваченным, он рассказал о штурме пещеры. Те из жителей, кто отправились в пещеру, вернулись, понятно, с пустыми руками. Угольщики поделили по справедливости сушеную треску, свиную колбасу, сыр, а остальные яства сложили вместе, и потом целый день в лесу шел пир горой.

Отец как-то сразу постарел, горе, испытанное при вести о гибели Энеа-Сильвио, наложило странный отпечаток на его характер. Он твердо вознамерился продолжить начинания единокровного брата. И даже решил самолично заняться разведением пчел и со всем усердием приступил к делу, хотя до этого никогда не видел улья. За советами он обращался к Козимо, который кое-чему научился от дядюшки; он не снисходил до вопросов, но заводил разговор о пчеловодстве и слушал объяснения Козимо, а затем, отдавая распоряжения, повторял его слова таким раздраженным и надменным тоном, словно это должно быть известно каждому. К пчелам он опасался подходить слишком близко — как бы не ужалили, — но изо всех сил старался победить в себе этот страх, и одному богу известно, чего это ему стоило. Кроме того, он приказывал рыть каналы, желая осуществить проекты бедного Энеа-Сильвио. Впрочем, было бы просто удивительно, если б ему удалось завершить то, что даже покойный, останься он в живых, не сумел бы довести до конца.

Увы, эта поздняя страсть барона к хозяйственным делам длилась недолго. Однажды, когда он с озабоченным видом метался между ульями и каналом, вдруг, в минуту очередной вспышки гнева, увидел, что прямо на него летят две пчелы. Отец испугался, отчаянно замахал руками, опрокинул улей и бросился прочь, неотступно преследуемый роем пчел. Несясь вслепую, он угодил в канал, который как раз наполняли водой, и его извлекли оттуда промокшим до нитки.

Беднягу немедленно уложили в постель. Целую неделю его

знобило от пчелиных укусов и мучила простуда после невольного купания, потом он, можно сказать, совсем выздоровел. Но им внезапно овладела полная апатия, и он потерял всякую охоту бороться с недугом.

Целыми днями лежал он в кровати, совершенно утерев волю к жизни. Из всех его замыслов ничего не вышло, о герцогстве никто и слушать не хотел, его старший сын даже теперь, став взрослым, не спустился с деревьев, единокровный брат убит, дочь поселилась далеко от родного дома, выйдя замуж за человека еще более неприятного, чем она сама, я был еще слишком молод, чтобы стать ему опорой, а жена — слишком властолюбива и резка. Отец начал бредить и в забытьи говорил, что иезуиты захватили его дом и он не может выйти из комнаты. Он умер, как и жил, полный горечи, одержимый манией величия. Козимо следовал за похоронной процессией, перелезая с дерева на дерево, но на кладбище ему попасть не удалось, ибо забраться на покрытые густой и жесткой хвоей кипарисы было просто невысказано.

Он смотрел через изгородь, как опускают в могилу отца, а когда все мы бросили по горсти земли на его гроб, брат кинул зеленую ветку. И я подумал, что все мы были столь же далеки от отца, как и Козимо на своих деревьях.

Теперь Козимо стал бароном ди Рондо. Его жизнь не изменилась. Конечно, он заботился о наших владениях и делах, но лишь от случая к случаю. Когда управляющий или арендаторы его искали, то им ни разу не удалось его найти, а когда им меньше всего хотелось его видеть, он внезапно появлялся на ветке. Деловые интересы нашей семьи заставляли брата чаще бывать в городе, где он обычно останавливался на высоком ореховом дереве посреди площади либо на каменном дубу у порта. Жители почтительно называли его «господин барон», и он, как это часто бывает с юношами, принимал позу умудренного опытом человека и охотно рассказывал омброзцам, собравшимся у дерева в круг, всякие были и небылицы.

Он по-прежнему с увлечением живописал историю гибели нашего дядюшки, причем все время по-разному, мало-помалу приоткрывая истину про стовор кавалера с пиратами; однако, желая погасить справедливый гнев сограждан, он поведал им историю о Заире, да так, словно ее рассказал ему перед смертью сам Энеа-Сильвио, и сумел даже растрогать слушателей печальной судьбой старика.

Мне думается, что от чистой выдумки Козимо, постепенно уточняя свой рассказ, добрался до весьма правдивого изложения всех фактов. Он старался ничего не присочинять, но, видя, что и жители Омброзы, готовые без устали слушать его рассказ, и новые слушатели требуют красочных подробностей, Козимо стал добавлять гиперболические описания своих подвигов, вводить

новые персонажи и новые эпизоды, и постепенно история приобрела еще более фантастический вид, чем в самом начале.

Отныне у Козимо появились слушатели, готовые внимать с раскрытым ртом всему, что бы он ни придумал. Ему очень понравилось выступать в роли рассказчика, и его жизнь на деревьях, охота, разбойник Лесной Джан, такса Оттимо-Массимо—все служило темой для бесконечных занятных историй. Многие эпизоды переданы мною в точности так, как он их излагал перед своей простодушной аудиторией, и я упоминаю об этом для того, чтобы попросить у вас прощения, если не все, о чем здесь написано, кажется правдоподобным и согласным с гармонической картиной природы и человеческих деяний. К примеру, один из бездельников спрашивал:

— Правда, что вы ни разу не слезали с деревьев, господин барон?

И Козимо начинал рассказ:

— Да, но однажды я по ошибке ступил на рога оленя. Я думал, что это клен, а это оказался олень, убежавший из королевского заповедника и застывший в неподвижности. Олень почувствовал на рогах какую-то тяжесть и помчался по лесу. Ох, уж и трясло меня! Острые рога ранили мне ноги, колючки вонзались в тело, ветки хлестали по лицу... Олень рвался то влево, то вправо, пытаюсь меня сбросить, но я держался крепко...

Он прерывал рассказ, и тут слушатели изумлялись:

— Как же вы спаслись, ваша милость?

И Козимо каждый раз придумывал иной конец:

— Олень бежал, бежал, пока не встретил оленье стадо. Увидев на рогах человека, олени вначале его сторонились, но потом любопытство взяло верх и они подошли поближе. У меня за плечами висело ружье, я прицелился и, представьте, перестрелял их одного за другим. Пятьдесят оленей!

— Когда же это в наших краях столько оленей было?!— недоумевал один из простаков.

— Да, теперь они все вывелись. Потому что эти пятьдесят оленей все были самки, понимаете? Только захочет мой олень подойти к самке, а та падает мертвой. Олень ничего не мог понять и под конец совсем отчаялся. Тогда... тогда он решил покончить с собой, взбежал на высокую скалу и кинулся вниз. Но я успел вскочить на сосну—и вот вернулся к вам!

В другой раз он рассказывал, как двое оленей, затеяв сражение, начали яростно сшибаться рогами и он беспрестанно перелетал то к одному, то к другому на рога, пока особенно сильный толчок не забросил его на дуб.

Словом, как все заправские рассказчики, он никак не мог решить, что лучше—подлинные истории, заставляющие вас вновь испытать счастье, скуку, неуверенность и самообольщение, мелкие чувства и презрение к самому себе, или же истории вымышленные, в которых все передано крупными мазками и

кажется таким легким, где, чем больше придумываешь, тем чаще возвращаешься к случившемуся или пережитому тобой в действительности. Козимо еще был в том возрасте, когда страсть рассказывать усиливает жажду жизни, когда вам кажется, что вы еще слишком мало видели и потому, собственно, рассказывать-то не о чем; поэтому брат отправлялся на охоту, пропадал где-то несколько недель, а потом возвращался на ореховое дерево посреди площади, держа за хвост куницу, лису или барсука, и вновь рассказывал омброзам истории, из истинных превращавшиеся в придуманные, а из придуманных — в истинные.

Но за этой страстью крылось глубокое недовольство, неудовлетворенность, за поисками все новых слушателей таились иные поиски. Козимо до сих пор не познал любви, а без этого чего стоил весь его опыт?! Много ли проку, что он рисковал жизнью, еще не узнав вкус этой самой жизни?

Через площадь Омброзы проходили крестьянские девушки и торговки рыбой, проезжали в каретах юные барышни, и Козимо с дерева мельком окидывал их взглядом, никак не понимая, почему во всех было лишь нечто от того, что он искал, и ни в одной не находил всего целиком. Ночью, когда в домах зажигались огни, а Козимо одиноко сидел на ветке, глядя во тьму своими желтыми, как у филина, глазами, он предавался мечтам о любви.

Парочки, назначавшие свидание в кустах или в винограднике, вызывали у него восхищение и зависть, и он неотрывно смотрел, как они удаляются, растворяясь в темноте; но если влюбленные располагались на травке у подножия его дерева, он тут же в смущении исчезал.

И чтобы победить природную стыдливость, он останавливался и наблюдал, как любят животные.

Весной мир над деревьями становился сплошным брачным хоромом: белки ласкали друг друга, почти совсем как люди, птицы спаривались, хлопая крыльями, даже ящерицы ползали в траве, крепко сплетаясь хвостиками, а ежи и дикобразы, чтобы их объятия были понежнее и помягче, сами переставали быть колючими. Оттимо-Массимо, нимало не страдая оттого, что он — единственная такса во всей Омброзе, бесстрашно и нахально ухаживал за огромными овчарками и самками-волкодавами, полагаясь на свое природное обаяние. Иной раз он возвращался весь искусанный, но достаточно было одной удачи в любви, чтобы он утешился.

Козимо, как и Оттимо-Массимо, был единственным в своем роде. В своих грезах наяву он видел, что его любят прекраснейшие девушки. Но как ему отыскать свою любовь здесь, на деревьях? В мечтах он предпочитал не уточнять, произойдет ли эта встреча на земле или наверху. Это место виделось ему как бы вне пространства, туда можно попасть, не спускаясь на землю, а подымаясь все выше и выше. Ведь должно же быть такое высокое дерево, по которому легко добраться до другого мира, до луны.

А пока, часами болтая с ротозеями на площади, он испытывал все большее недовольство собой. Однажды в рыночный день торговец, приехавший из ближнего города Оливабасса, увидев его, воскликнул:

— А, значит, и у вас есть свой испанец!

На изумленные вопросы омброзцев он ответил:

— В Оливабассе на деревьях живет целая колония испанцев!

И с этой минуты Козимо не находил покоя до тех пор, пока не отправился через леса в трудное путешествие в Оливабассу.

XVII

Оливабасса была расположена вдали от побережья. Козимо добрался до нее за два дня, с великим риском преодолевая участки, где почти нет растительности. Жители придорожных селений, увидев его, вскрикивали от изумления, а некоторые даже кидали ему вслед камни; поэтому Козимо старался по возможности оставаться незамеченным. Но как только он приблизился к Оливабассе, сразу заметил, что одинокий дровосек, волопас или крестьянка, собиравшая оливки, обнаружив его, ничуть не удивлялись, больше того, мужчины, сняв соломенные шляпы, приветствовали его, словно хорошего знакомого, на каком-то непонятном языке, совсем не похожем на местный диалект и звучавшем в их устах довольно странно.

— ¡Señor! ¡Buenos días, Señor!

Была зима, многие деревья стояли голые. Двойной ряд платанов и вязов пересекал городок. Подобравшись поближе, брат увидел, что на голых ветвях — по двое, а иногда и по трое на каждом дереве — сидят и стоят люди в важных позах. В несколько прыжков Козимо очутился подле них.

Судя по треугольным шляпам, украшенным перьями, и широким богатым мантиям, мужчины были знатными сеньорами. Женщины в прозрачных вуалях — видимо, тоже благородные дамы, — сидя на ветвях, что-то вышивали, то и дело поглядывая вниз, на дорогу, и при этом слегка наклоняясь вбок и облокотясь о ветку, словно о подоконник.

Мужчины здоровались с Козимо тоном горестного сочувствия:

— ¡Buenos días, Señor!

Козимо в ответ кланялся и снимал шляпу. Один из испанцев, тучный мужчина, с желтым цветом лица, как у больного печенью, и с бритыми щеками, на которых ясно проступала щетина выбритых усов и бороды, еще черная, несмотря на его преклонный возраст, по-видимому, был самый знатный из всех. Он чудом втиснулся в развилку крепкого сука на платане, и оттуда его, казалось, уже не выгатишь никакими силами. Этот сеньор, судя по всему, спросил у своего соседа, щедедушного человечка в

¹ Сеньор! Добрый день, сеньор! (исп.)

черном одеянии, с такой же иссиня-черной щетиной на бритых щеках, кто этот незнакомец, что приближается по деревьям аллеи.

Козимо решил, что самое время представиться. Он перебрался на платан, на котором сидел важный испанец, поклонился и сказал:

— Барон Козимо Пьоваско ди Рондо!

— ¿Rondos? ¿Rondos? — переспросил толстяк — ¿Aragonés? ¿Gallego?¹

— Нет, сеньор.

— ¿Catalán?²

— Нет, сеньор. Я из этих мест.

— ¿Desterrado también?

Тоший сеньор почел своим долгом вступить в разговор в качестве толмача и высокопарно произнес:

— Его светлость герцог Фредерико Алонсо Санчес де Гуатамурра-и-Тобаска спрашивает, не является ли и ваша милость изгнанником, поскольку, как мы видим, вы тоже обитаете на ветвях?

— Нет, сеньор. По крайней мере я стал изгнанником не по чужой воле.

— ¿Viaja usted sobre los árboles por gusto?

Толмач перевел:

— Его светлость Фредерико Алонсо пожелал узнать, по своей ли прихоти ваша милость путешествует по деревьям.

Козимо подумал немного и ответил:

— Я бы сказал—по велению долга, хотя никто меня к этому не принуждал.

— ¡Feliz usted! — воскликнул Фредерико Алонсо Санчес и вздохнул.— ¡Ay de mí, ay de mí!

Человек в черном одеянии пояснил еще более высокопарно:

— Его светлость изволили заметить, что ваша милость вправе почитать себя счастливецом, ибо вы пользуетесь полной свободой, каковую мы, увы, не можем не сравнивать с нашим унижением, переносимым нами с должным смирением перед волей всевышнего.

Он перекрестился.

Так по отрывистым восклицаниям герцога Алонсо Санчеса и по обстоятельному их пересказу сеньором в черном Козимо удалось воссоздать историю испанской колонии, поселившейся на платанах. Это были испанские дворяне, возмущившиеся против короля Карла III из-за каких-то спорных феодальных привилегий и посему вместе с семьями изгнанные из страны. Когда они добрались до Оливабассы, им было запрещено продолжать путешествие: дело в том, что город Оливабасса, по старинному

¹ Рондос? Рондос? Арагонец? Галисиец? (исп.)

² Каталонец? (исп.)

договору с его католическим величеством, не имел права не только давать убежище лицам, изгнанным из Испании, но и разрешать им пройти через свою территорию. Положение этих благородных испанских грандов и их семей было весьма сложным, но власти Оливабассы, с одной стороны, не желавшие ссориться с иностранными канцеляриями, а с другой—не имевшие причин враждовать с богатыми путешественниками, нашли хитроумный выход. Согласно договору, изгнанники не могли «ступить на землю Оливабассы», следовательно, если поселить их на деревьях, то буква соглашения будет соблюдена.

И вот изгнанники взобрались на платаны и вязаы по приставным лестницам, которые были любезно предоставлены им общиной, а затем убраны. Уже несколько месяцев испанская колония жила на деревьях, уповая на мягкий климат, на скорейшее появление королевского указа об амнистии и на провидение. У опальных дворян был изрядный запас испанских дублонов, и они закупали всевозможные припасы, чем весьма оживили городскую торговлю. Чтобы поднимать наверх еду, они приспособили несколько корзин на веревках. На самых крепких деревьях изгнанники раскинули балдахины, служившие им опочивальней. Словом, гранды устроились довольно удобно, хотя вернее было бы сказать, что тут постарались жители Оливабассы—понятно, не без выгоды для себя. Сами же изгнанники целыми днями пребывали в полнейшей праздности.

Козимо впервые встретил других людей, обитающих на деревьях, и сразу засыпал их практическими вопросами.

— А когда дождь идет, что вы делаете?

— ¡Sacramos todo el tiempo, Señor!¹

И толмач, падре Сульписио де Гуадалете, из Общества Иисусова, попавший в опалу, когда его орден был в Испании запрещен, немедля перевел:

— Под защитой наших балдахинов мы обращаем свои помыслы к всевышнему, дабы возблагодарить его за то немногое, чем мы довольствуемся.

— А охотой вы занимаетесь?

— Señor, algunas veces con el visco.

— Время от времени кто-нибудь из нас, развлечения ради, мажет ветку птичьим клеем.

Козимо не устал расспрашивать их о том, как они разрешили трудности, встретившиеся и ему.

— А с мытьем, как вы с мытьем устраиваетесь?

— ¿Para lavar? ¡Hoy lavaderos!—пожав плечами, ответил дон Фредерико.

— Мы отдаем наше белье здешним прачкам,—перевел дон Сульписио.—Точнее говоря, каждый понедельник мы спускаем вниз на веревке корзину с грязным бельем.

¹ Все время чертыхаемся, сеньор! (исп.)

— Нет, я спрашиваю, как вам удастся помыть лицо и тело?
Дон Фредерико что-то пробормотал и недоуменно пожал плечами с таким видом, словно мысль об этом ему даже в голову не приходила.

Дон Сульписио почел нужным объяснить:

— По мнению его высочества, это личное дело каждого.

— А где вы, простите, справляете нужду?

— Ollas, Señor¹.

И дон Сульписио все тем же смиренным тоном:

— Собственно, мы пользуемся небольшими глиняными кувшинами.

Когда Козимо распрощался с доном Фредерико, падре Сульписио повел его знакомиться с остальными дворянами колонии, каждый из которых имел собственную резиденцию на дереве. Все эти идалго и знатные дамы, невзирая на понятные и неизбежные неудобства постоянного пребывания на деревьях, сохраняли прежние привычки и обычную невозмутимость.

Некоторые мужчины, садясь верхом на ветку, подкладывали кавалерийские седла, что очень понравилось Козимо, которому за все годы жизни на деревьях подобная мысль даже в голову не приходила. Он сразу сообразил, как удобно не свешивать ноги вниз, отчего они вскоре затекают, а держать их в стременах. Многие наводили на соседние деревья морские подзорные трубы (один из изгнанников имел даже звание адмирала)—вероятно, лишь для того, чтобы из любопытства подглядывать друг за другом и потом сплетничать.

Все дамы и барышни сидели на собственноручно вышитых подушках, вязали (они единственные в колонии хоть что-то делали) или гладили жирных котов. Котов на этих деревьях было великое множество, так же как птиц, сидевших в клетках (возможно, они стали жертвами клея), и лишь несколько голубей летали, где им вздумается, и садились на ладони девушек, печально гладивших их белые перышки.

В этих воздушных гостиных Козимо встречали с церемонным радушием. Угощали кофе и тут же принимались рассказывать об оставленных в Севилье и Гранаде дворцах, об обширных поместьях, закромах и конюшнях и приглашали его к себе после того, как им вернут утраченные права и владения. Об изгнавшем их короле они говорили с фанатичной ненавистью и в то же время с рабской преданностью, и нередко им удавалось весьма четко провести различие между самим монархом—человеком, против которого они вели упорную борьбу,—и королевским титулом, престиж которого служил опорой их собственной власти. Иногда же двойственность их отношения проявлялась столь сумбурно, что Козимо каждый раз, когда заходила речь о монархе, не знал, как ему себя вести.

¹ На горшках, сеньор (*исп.*).

В их жестах и речах сквозили печаль и скорбь, отчасти отвечавшие их натуре, отчасти же объяснявшиеся избранной ими позой, как это бывает с теми, кто борются за дело, не очень ясное им самим, и недостаток убежденности пытаются возместить внушительностью осанки.

У девушек этой необычной колонии, которые на первый взгляд показались Козимо слишком волосатыми и темнокожими, иногда прорывались вспышки озорного кокетства, которые они умели, однако, вовремя подавлять. Две из них играли в волан. Тук-тук, тук-тук — волан перелетал от одного платана к другому, потом вдруг негромкий вскрик — волан упал на дорогу. Его молниеносно поднял мальчишка из Оливабассы и соглашался вернуть не иначе как за две песеты.

На последнем могучем вязе сидел старик без парика, неряшливо одетый, прозванный Эль Конде. Падре Сульписио, приблизившись к нему, понизил голос, и Козимо невольно последовал его примеру. Эль Конде беспрестанно раздвигал рукой ветви и смотрел на склон холма и на равнину — то зеленую, то голую — как бы волнами убегающую в безбрежную даль.

Дон Сульписио прошептал Козимо, что сын Эль Конде сидит в тюрьме короля Карла, где его подвергают пыткам. Козимо понял: все эти идальго — изгнанники скорее по названию, и им нередко приходится напоминать себе об этом, старик же один из всех мучится и страдает по-настоящему. Сам жест, каким он раздвигал ветви, словно ожидая увидеть родную землю, его взгляд, который скользил все дальше и дальше по волнистому пространству, словно надеясь заглянуть за горизонт и увидеть страну, увы, бесконечно далекую, — все это было первым явным признаком изгнания, который Козимо увидел здесь. И он понял, сколь важно для этих идальго присутствие Эль Конде, как-то объединявшее их и придававшее смысл их борьбе. Вероятно, на родине он был наименее богатым и влиятельным из всех, но сейчас именно благодаря ему изгнанникам становилось ясно, за что они должны страдать и на что надеяться.

Возвращаясь после визитов, Козимо заметил на ольхе девушку, которой прежде не видел. В два прыжка он очутился рядом. У девушки были чудесные глаза цвета барвинка и нежная ароматная кожа. Она держала в руке ведро.

— Как это я всех видел, а вас нет?

— Я ходила за водой к колодцу. — И она улыбнулась.

Из слегка наклоненного ведра пролилось немного воды. Козимо помог девушке удержать его в равновесии.

— Значит, вы слезаете с деревьев?

— Нет, прямо у колодца растет кривая вишня. С нее мы опускаем ведра в колодец. Идемте туда.

По веткам они перебрались через ограду дворика. Девушка показала Козимо путь к вишне. Прямо под ними чернел колодец.

— Теперь вы видите, барон?

— Откуда вы знаете, что я барон?

— Я все знаю,— улыбнулась девушка.— Сестры сразу рассказали мне о вашем визите.

— Те, что играли в волан?

— Да, Ирена и Раймунда.

— Дочки дона Фредерико?

— Да...

— А как вас зовут?

— Урсула.

— Вы ходите по деревьям лучше всех.

— Я еще девочкой этому научилась. У нас в Гранаде в патио было много высоких деревьев.

— Вы бы смогли сорвать вон ту розу?

На вершине одного из деревьев расцвела ползучая роза.

— Увы, нет.

— Что ж, тогда я сорву ее для вас.

Он взобрался на дерево и вернулся с цветком. Урсула улыбнулась и протянула руку.

— Нет, я сам ее приколю. Скажите только куда.

— Спасибо. К волосам.— И поднесла его руку к своей головке.

— А вот до того миндального дерева вы смогли бы добраться?— спросил Козимо.

— Но как?— Она засмеялась.— Ведь я не умею летать.

— Смотрите.— Козимо вытащил веревку.— Если позволите вас обвязать, я вас мигом туда доставлю.

— Нет... Я боюсь...— сказала она и улыбнулась.

— Это я сам придумал. Уже много лет я так перебираюсь с дерева на дерево, без посторонней помощи.

— Ой!

Он переправил ее на миндальное дерево. Затем перебрался сам. Дерево было стройное и не очень развесистое. Они очутились на ветке совсем рядышком. Урсула еще не успела отдышаться, лицо ее раскраснелось от пережитого волнения.

— Испугались?

— Нет.— Но он чувствовал, как бьется ее сердце.

— А роза не упала,— заметил он и поправил цветок.

Так, сидя на одной ветке, они при каждом движении невольно прижимались друг к другу.

— Ах!— вдруг почти одновременно воскликнули они и поцеловались.

Так началась их любовь; Козимо был счастлив и несказанно изумлен, а она счастлива и ничуть не удивлена, потому что у девушек ничто не бывает случайно. Козимо долго ждал этой любви, а она пришла совсем неожиданно и была до того прекрасна, что брат уже не понимал, откуда он мог заранее знать о том, как она прекрасна. Самым неожиданным в этой любви была ее простота, и Козимо в тот миг показалось, что так будет всегда.

Зацвели миндальные и персиковые деревья, зацвели черешни. Козимо и Урсула целые дни проводили среди цветущих ветвей. Весна окрашивала в радостные тона даже столь унылое соседство, как родичи Урсулы.

Брат очень скоро сумел стать весьма полезным для колонии испанских изгнанников, научив их различным способам перехода с дерева на дерево и побуждая благородных сеньоров и дам выйти из состояния привычной бездеятельности и хоть немного размяться. Он проложил даже веревочные мосты, позволявшие более почтенным изгнанникам наносить друг другу визиты. Так, прожив почти год среди испанцев, он снабдил колонию целым рядом приспособлений собственного изобретения: резервуарами для воды, печками, меховыми спальными мешками. Жажда новых изобретений заставляла его подчиниться тем из обычаев идалго, которые противоречили идеям его любимых авторов. К примеру, увидев, что эти благочестивые господа не могут обойтись без регулярной исповеди, он вырубил в стволе большого дерева своего рода исповедальню, в которую мог протиснуться худой дон Сульписио и через окошко с тоненькой занавеской отпустить грехи.

Но одной лишь страсти к техническим усовершенствованиям было мало, чтобы спастись от слепого подчинения существующим в колонии порядкам; тут нужны были еще и идеи. Козимо написал книготорговцу Орбекке, и тот из Омброзы переслал брату почтой полученные им за истекшее время книги. Теперь Козимо смог прочесть Урсуле «Поля и Виргинию» и «Новую Элоизу».

Изгнанники часто держали совет на могучем дубе, обсуждая текст посланий государю. Эти послания по первоначальному замыслу должны были выразить их протест и грозное предостережение, стать своего рода ультиматумом. Но рано или поздно то один, то другой из благородных дворян предлагал более мягкую и почтительную формулу, и постепенно гневное послание выливалось в мольбу о прощении, с которой они припадали к всемилостивейшим стопам их величеств.

Но тут поднимался Эль Конде. Все умолкали. Старик, глядя ввысь, начинал говорить дрожащим глухим голосом и высказывал все, что накопилось у него на душе. Когда он вновь садился, остальные по-прежнему хранили мрачное молчание. Никто больше не заикался о прощении.

Козимо, ставший теперь полноправным членом колонии, тоже принимал участие в совещаниях. Он с юношеской горячностью излагал идеи философов о виновности монархов и о том, как можно управлять государством по законам разума и справедливости. Но из всех к его словам прислушивались только Эль Конде, который, несмотря на преклонный возраст, силился все постичь и найти свое отношение ко всему, Урсула, которая прочла несколь-

ко книг, да несколько девушек, обладавших более живым, чем у других, умом. Остальные были столь тупоумны, что хоть кол на голове теши.

В итоге Эль Конде, мало-помалу бросив свое постоянное занятие—бесконечное созерцание пейзажа,—пристрастился к чтению. Руссо показался ему немного тяжеловесным, а вот Монтескье очень понравился: это было уже немалым шагом вперед. Остальные идалго и того не сделали, хотя некоторые тайком от падре Сульписио брали у Козимо «Девственницу», чтобы втихомолку почитать самые пикантные места. Теперь, когда Эль Конде проникся новыми идеями, совещания на дубе приняли совсем иной оборот: поговаривали даже о том, чтобы вернуться в Испанию и поднять там мятеж.

Падре Сульписио не сразу учуял опасность. Он от природы не был человеком сообразительным да вдобавок, отрезанный от всей иерархии высшего духовенства, перестал так остро воспринимать пагубность крамольных умствований. Но едва иезуит сумел собраться с мыслями, или, как говорят злые языки, едва он получил некие письма с епископской печатью, как тотчас начал утверждать, что в колонию проник дьявол и недалеко тот страшный час, когда господь в гневном испелелит молниями деревья и самих изгнанников.

Однажды ночью Козимо разбудили жалобные стоны. Он схватил фонарь и увидел, что Эль Конде привязан к стволу своего дерева, а иезуит потуже затягивает веревку.

— Остановитесь, падре! Что это значит?

— Рука Святой Инквизиции, сын мой! Сейчас настала очередь этого жалкого старика покаяться в ереси и извергнуть овладевшего им демона, но потом придет и твой черед!

Козимо выхватил шпагу и перерубил веревку.

— Берегитесь, падре! Есть и другие руки, готовые послужить разуму и справедливости!

Иезуит вытащил из-под плаща обнаженную шпагу.

— Барон ди Рондо, мой орден давно уже собирается рассчитаться с вашим семейством.

— Значит, прав был покойный отец!—воскликнул Козимо, скрестив шпагу с врагом.—Иезуиты не прощают!

Они сошлись в беспощадной схватке на ветвях вяза. Дон Сульписио был отменным фехтовальщиком, и брату пришлось туго. Иезуит уже в третий раз бросился в атаку, когда Эль Конде, придя в себя, начал кричать. Проснулись остальные изгнанники, подбежали к дуэлянтам и встали между ними. Дон Сульписио мгновенно спрятал шпагу и, словно ничего не случилось, стал призывать дворян к спокойствию.

Замолчать столь драматическое событие было бы просто немислимо в любом другом сообществе, но только не в колонии опальных идалго с их единственным желанием—чтобы в голове было как можно меньше мыслей. В итоге дон Фредерико,

выступив посредником, добился примирения между иезуитом и Эль Конде, и все осталось как прежде.

Козимо, понятно, принужден был остерегаться и, гуляя с Урсулой по деревьям, чувствовал, что иезуит неотступно следит за ними. Он знал, что священник нашептывает дону Фредерико, что нельзя отпускать девушку одну с этим молодым вольнодумцем. Семьи почтенных дворян, надо сказать, были воспитаны в очень строгих правилах, но в изгнании, на деревьях, они на многое смотрели сквозь пальцы. Козимо казался им приятным юношей, к тому же титулованным; помимо всего, он умел быть им полезен и остался с ними, хотя никто его к этому не принуждал. Они понимали, что Урсула и Козимо любят друг друга, и часто наблюдали, как влюбленные вдвоем удаляются по фруктовым деревьям, срывая цветы и плоды, но на все закрывали глаза, не желая видеть в этом ничего дурного.

Теперь же, когда дон Сульписио ополчился против Козимо, дон Фредерико не мог больше делать вид, будто ничего не знает. Он призвал Козимо на свой платан для беседы. Рядом стоял в черном одеянии тощий дон Сульписио.

— Барон, говорят, ты часто бываешь с моей пиña¹!

— Она учит меня *hablar vuestro idioma*², ваша светлость!

— Сколько тебе лет?

— Скоро *diez y nueve*³.

— *Joven*⁴. Слишком молод. Моя дочка уже на выданье. Por qué⁵ ты за ней ходишь?

— Урсуле семнадцать лет...

— Ну а ты сам собираешься *casarte*⁶?

— Что-что?

— Плохо тебя учит моя дочка *el castellano, hombre*⁷. Я спрашиваю, намерен ли ты выбрать себе *novia*⁸, обзавестись собственным домом?

Сульписио и Козимо почти одновременно всплеснули руками. Беседа приобрела характер весьма нежелательный как для иезуита, так и для моего брата.

— Вот мой дом...— ответил Козимо и показал вокруг на самые высокие ветви, на облака.— Мой дом— всюду, куда я могу добраться, не спускаясь на землю.

— ¡No es esto!⁹—И герцог Фредерико Алонсо покачал головой. Барон, если ты захочешь приехать в Гранаду, когда мы

¹ Дочерью (*исп.*).

² Говорить на вашем языке (*исп.*).

³ Девятнадцать (*исп.*).

⁴ Молод (*исп.*).

⁵ Зачем (*исп.*).

⁶ Жениться (*исп.*).

⁷ Кастильскому языку, юноша (*исп.*).

⁸ Жenu (*исп.*).

⁹ Не то! (*исп.*)

вернемся, то увидишь самое богатое поместье в Сьерре. Mejor que aquí¹.

Тут уж дон Сульписио не удержался:

— Но, ваша светлость, этот юноша вольтерьянец... Он не должен видаться с вашей дочкой.

— Oh, es joven, es joven², идеи приходят и уходят, que se case³, сразу образумится. Поедем, юноша, в Гранаду, поедем.

— Muchas gracias a usted⁴. Я подумаю...

Теребя в руках шапку из кошачьего меха и низко кланяясь, Козимо поспешно удалился. Встретившись с Урсулой, он мрачно сказал:

— Знаешь, Урсула, я беседовал с твоим отцом. Он завел со мной разговор о тебе.

Урсула испугалась.

— Он не разрешает нам больше видаться?

— Нет, не о том... Он хочет, чтобы я поехал с вами в Гранаду, когда кончится срок вашего изгнания.

— О, это было бы чудесно!

— Да, понимаешь, я люблю тебя, но привык жить на деревьях и хочу на них остаться...

— О, Косме, у нас в Гранаде тоже есть прекрасные деревья!

— Да, но, чтобы добраться до Гранады, мне придется слезть с деревьев, а уж если раз слезешь, то...

— Не волнуйся, Косме. Ведь мы пока что в изгнании и, может, пробудем здесь всю жизнь.

Брат сразу успокоился и больше об этом не вспоминал.

Но Урсула ошиблась. Вскоре дону Фредерико прибыло письмо с королевскими печатями. Милостью его католического величества изгнанникам было даровано прощение. Опальные дворяне получили право вернуться на родину в свои дома и владения. И сразу же они ожили и зашумели на своих платанах:

— Мы возвращаемся! Мы возвращаемся! В Мадрид! В Кадис! В Севилью!

Слух о королевском указе распространился и по городу. Сбежались оливабасцы с приставными лестницами. Одни из недавних изгнанников спустились на землю, приветствуемые местными жителями, другие принялись укладываться.

— Но этим дело не кончится!— воскликнул Эль Конде.— Нас еще услышат кортесы! И сам король!

Но так как никто из его друзей по колонии не обращал внимания на его слова, а дамы ужасались, что их платья вышли уже из моды и надо обновлять гардероб, старик обратился с речью к оливабасцам:

¹ Лучше, чем здесь (*исп.*).

² Он молод, он молод (*исп.*).

³ Когда женится (*исп.*).

⁴ Большое вам спасибо... (*исп.*)

— Мы вернемся в Испанию, и тогда увидите, мы рассчитаемся с врагами. Я и этот юноша восстановим справедливость!

Он показал на Козимо. Брат смущенно покачал головой.

Дона Фредерико торжественно снесли на руках на землю.

— ¡Ваја, јовен биззаро!¹— крикнул он Козимо.— Спускайся, доблестный юноша! Едем с нами в Гранаду!

Козимо, прижавшись к ветке, робко отнекивался.

— ¿Сомо по?²— вмешался дон Фредерико.— Ты мне будешь вместо родного сына!

— Изгнание кончилось!— сказал Эль Конде.— Наконец-то мы сможем испытать на деле то, что так долго обдумывали! Что тебе жить на деревьях, барон? Нет больше причин!

Козимо развел руками.

— Я поселился на деревьях до вас, останусь на них и после вас!

— Хочешь отступить?— крикнул Эль Конде.

— Нет, выстоять!— ответил Козимо.

Урсула, которая спустилась одной из первых и сейчас вместе с сестрами помогала укладывать в карету багаж, бросилась к дереву.

— Тогда я останусь с тобой. Я остаюсь с тобой!— И стала взбираться по лестнице.

Четыре человека схватили ее, оторвали от дерева и поспешно убрали лестницу.

— Adios, Урсула, будь счастлива!— крикнул Козимо, когда ее силой втолкнули в готовую к отъезду карету. И тут раздался торжествующий лай. Это Оттимо-Массимо, который явно не одобрял пребывание своего хозяина в Оливабассе и особенно недоволен был тем, что ему самому приходилось постоянно ссориться с котами испанцев, приветствовал вновь обретенное счастье. Дурачась, он принялся охотиться на забытых грандами котов, которые ошетились и злобно зашипели на своего врага.

Кто верхом, кто в повозке, кто в карете, бывшие изгнанники отбыли домой. Дорога опустела. На деревьях Оливабассы остался лишь мой брат. Кое-где на ветвях еще сиротливо висели перья, слегка колыхавшееся на ветру кружево или лента, перчатка, зонтик, веер, сапог со шпорой.

ХІХ

В то лето, когда барон вновь появился в Омброзе, особенно громко квакали лягушки, свистели зяблики и ярко светила на небе полная луна. Казалось, и братом овладело какое-то птичье беспокойство: он прыгал с ветки на ветку, непоседливый, хмурый и какой-то растерянный. Вскоре распро-

¹ Спускайся, юный сумасброд! (исп.)

² Как нет? (исп.)

страшился слух, что некая Кеккина с того края долины стала его любовницей. Эта девушка и в самом деле жила вместе с глухой теткой на отшибе, и ветка оливкового дерева клонилась к самому ее окошку. Бездельники на площади спорили, в самом ли деле Козимо и Кеккина — любовники.

— Я сам их видел, она на подоконнике, он на ветке. Он размахивал руками, как летучая мышь крыльями, а она смеялась!

— А потом он прыг в окно.

— Да что ты! Ведь он поклялся в жизни не спускаться с деревьев.

— Э, раз он себе сам правило установил, то сам же может сделать исключение.

— Ну нет, сегодня одно исключение, завтра другое...

— Да все не так было: это она прыгнула из окна на ветку.

— Как же они устраиваются, уж больно на дереве неудобно.

— А я вам говорю, что он до нее пальцем не дотронулся. Он ли за ней увивается, или она его завлекает, а только барон с дерева ни разу не спускался.

Да, нет, он, она, подоконник, прыжок, ветка — спорам не было конца. Женихи и мужья приходили в ярость, если их невесты или жены бросали взгляды в сторону дерева. Женщины же, едва встречались, начинали шептаться: «Шу-шу-шу!» И о ком же был разговор? Конечно, о нем.

Кеккина или не Кеккина, но любовные интрижки у брата были, и он заводил их, не слезая с деревьев. Однажды я сам видел, как он скакал по ветвям с матрацем на плече с такой же непринужденностью, с какой носил ружье, канаты, топоры, мешки, фляги, патронташи.

Некая Доротея, женщина легкого поведения, призналась мне однажды, что сама добилась любовного свидания с моим братом — не ради денег, а просто из любопытства.

— Ну и как?

— Мне понравилось.

Другая любвеобильная дама, некая Зобеида, рассказала мне, что ей приснился «ползучий мужчина» (так она его назвала), но ее сон был столь достоверным и подробным, что все, видимо, происходило наяву.

Затрудняюсь объяснить причину, но только Козимо очень нравился женщинам. Он с того времени, как побывал в колонии испанских изгнанников, начал больше заботиться о своей внешности и перестал бродить по деревьям в одеянии из шкур, словно медведь. Теперь он носил узкий фрак, цилиндр на английский манер, чулки; стал бриться и шеголял в завитом парике. По его костюму всегда можно было безошибочно угадать, отправляется ли он на охоту или на любовное свидание.

Некая благородная дама зрелых лет из Омброзы (имени ее я называть не буду, ибо живы ее дети и внуки и они могут оскорбиться, хотя в свое время все знали об этой истории) всегда

разъезжала в карете одна и каждый раз приказывала кучеру везти ее по лесной дороге. Проехав немного, она говорила кучеру: — Джовита, в лесу уйма грибов. Берите корзину и отправляйтесь за грибами, когда наберете полную, возвращайтесь.

И протягивала ему плетеный короб.

Бедняга Джовита, страдавший ревматизмом, с кряхтением слезал с облучка, водружал на плечи короб, углублялся в лес, раздвигая влажные от росы папоротники, и, склонившись, искал в опавших листьях под буками белые и дождевики. Тем временем благородная дама выпархивала из кареты и пропадала в густой листве деревьев, подступавших к самой дороге, точно незримая рука возносила ее на небо. Что было потом, мне неизвестно, но случайные прохожие не раз видели в лесу пустую неподвижную карету. Потом дама вновь появлялась в карете столь же внезапно, как исчезала, и устремляла томный взор в пустоту. Возвращался весь в грязи Джовита, держа в руке корзину с каким-нибудь жалким десятком грибов, и карета трогалась в путь.

Подобных историй рассказывалось немало, особенно в доме хорошо известных генуэзских дам, собиравших у себя мужчин из состоятельных семей (я тоже там бывал до женитьбы); этим пяти прелестницам, видно, захотелось самим нанести визит моему брату. Еще и посейчас сохранился дуб, который все называют дубом пяти синичек, и мы, старики, знаем, что это означает. Рассказал об этом Дже, торговец изюмом, а уж ему-то можно верить. Был приятный солнечный день, и Дже отправился в лес на охоту; подошел к дубу — и что же он видит? На ветвях сидят все пять милых дам и, раскрыв светлые зонтики, чтобы кожа не обгорела, совершенно голые греются на солнышке, а Козимо, устроившись посредине, читает им латинские стихи, не то Овидия, не то Лукреция.

Одним словом, о брате рассказывали множество всяких историй, так что я и не знаю, где правда, где нет. В те времена он стыдливо умалчивал о вещах такого рода. А к старости, наоборот, часто рассказывал об этом, но почти сплошь небылицы, в которых сам скоро запутывался. Во всяком случае, в те годы так и повелось: если девица понесла неизвестно от кого, вину обычно сваливали на Козимо. Одна девушка божилась, что однажды, когда она собирала оливки, ее вдруг схватили и подняли на ветку две длинные, как у обезьяны, руки... Немного спустя она родила двух близнецов. Омброза наполнялась подлинными и мнимыми бастардами моего брата. Теперь они выросли, и некоторые из них и в самом деле похожи на него... Но, может быть, это сходство объясняется простым самовнушением, потому что беременные женщины, увидев Козимо, прыгавшего по ветвям, иной раз приходили в волнение.

Сам я большинству этих рассказней, призванных оправдать появление на свет младенцев, не очень-то верю. Не знаю, было ли у Козимо так много женщин, как говорят, но те, кто действитель-

но были с ним близки, предпочитали молчать.

К тому же если у него в самом деле было столько женщин, то чем объяснить, что в лунные ночи он, словно кот, прыгал с фигового дерева на сливу, со сливы на гранат, рыскал по садам, прилегающим к крайним домам Омброзы, и не то жалобно вздыхал, не то зевал или стонал; и, хотя он пытался сдерживаться, чтобы звуки эти походили на обычные, человеческие, все же из его горла вырывалось что-то вроде завыванья или мяуканья. Омброзцы уже привыкли к этому и, разбуженные ночью криками, ничуть не пугались, а лишь вздыхали, ворочаясь в постели.

— Опять барон ищет женщину. Будем надеяться, что он ее найдет и даст нам спокойно спать.

Иногда какой-нибудь старик из тех, что страдают бессонницей и охотно подходят к окну, заслышав шум, высовывался в сад и видел среди ажурных теней, отбрасываемых в лунных лучах ветвями фигового дерева, силуэт Козимо.

— Никак не можете заснуть, ваша милость?

— Да, сколько ни ворочаюсь, все не сплю,— отвечал Козимо, словно он лежал в постели, зарывшись лицом в подушку, и мечтал поскорее сомкнуть отяжелевшие веки, а не висел на дереве, словно циркач.— Не знаю, что со мной нынче ночью... жарко, тяжело... Может, это к перемене погоды. Вы сами-то ничего не чувствуете?

— Чувствую, чувствую... Но я уже стар, а в вас кровь играет.

— И правда, играют.

— Шли бы вы, ваша милость, куда-нибудь в другое место: здесь вашему горю не помогут, здесь одни бедняки, которым завтра вставать на рассвете, а вы им спать не даете.

Козимо ничего не отвечал и обычно исчезал в соседнем саду. Он никогда не переступал определенных границ, а жители Омброзы со своей стороны снисходительно относились к его странностям: во-первых, потому, что он все же был барон, а во-вторых, потому, что совсем не походил на остальных баронов.

Нередко звериные вопли, вырывавшиеся у него из груди, залетали в окна, где его слушали более благосклонно. Достаточно было, чтобы зажженная свеча вырвала из мрака чью-то тень или раздался приглушенный смех и женский голос, то ли зазывавший и дразнивший его, то ли насмежавшийся над ним,— и моему брату, который метался по ветвям, словно одинокий чиж, уже грезилась пылкая любовь.

И вот уже какая-нибудь девица побойчее подходит к окну, будто бы желая посмотреть, кто это кричит,— еще теплая со сна, с призывной улыбкой на пухлых полураскрытых губах, с обнаженной грудью и распущенными волосами— и начинается тихая беседа.

— Кто это? Кот?

А он:

— Человек, человек!

- Человек, который мяукает?
- Это я вздыхаю.
- О чем? Чего тебе не хватает?
- Того, что есть у тебя.
- Что же это?
- Иди ко мне, я тебе объясню...

Брату никогда не доставалось от ревнивых мужчин, и никто ему не мстил, и это, по-моему, верный признак того, что он никому не казался особенно опасным. Лишь однажды он был ранен при таинственных обстоятельствах. Весть об этом распространилась утром. Хирургу городка пришлось взобраться на ореховое дерево, откуда доносились стоны Козимо. В ногу брата впилось множество мелких дробинок, которыми обычно стреляют по воробьям, и хирург немало потрудился, извлекая их одну за другой острым пинцетом. Никто так и не узнал толком, как все случилось. Брат утверждал, что он сам нечаянно нажал курок, взбираясь с ружьем на сук.

Пока брат выздоравливал, он был вынужден неподвижно сидеть на дереве, а потому снова со всем рвением погрузился в занятия. Именно в тот год он начал сочинять «Проект Конституции идеального государства, расположенного на деревьях», в котором описывал воображаемую надземную республику, населенную справедливыми людьми.

Начал он свое сочинение как трактат о законах и форме правления, но страсть к придумыванию запутанных историй взяла верх, и в итоге получился своеобразный альманах приключений, полный дуэлей и любовных походов, причем последние вплетены были в главу о браке и семейном праве. Закончиться его книга должна была следующим образом: автор, основав совершенное государство и убедив людей поселиться на деревьях, где они могли бы зажить мирно и счастливо, спускается на обезлюдившую землю. Таким должен был стать эпилог; но Козимо так и не довел свое сочинение до конца. Краткое изложение своих трудов он послал Дидро, скромно подписавшись «Козимо Рондо, читатель энциклопедии». Дидро ответил коротким благодарственным письмом.

XX

Вообще об этом периоде жизни брата я не могу рассказать подробно, так как на то время приходится мое первое путешествие по Европе. Мне исполнился двадцать один год, и я мог как угодно распоряжаться отцовским наследством, ибо брат удовлетворялся малым, а матери, которая в последние годы сильно сдала, тоже немного было нужно. Брат хотел даже подписать документ о передаче мне пожизненных прав на все

наши владения при условии, что я буду выплачивать ему ежемесячно небольшую сумму, вносить за него налоги и вести дела. А потому мне ничего не оставалось, как взять на себя управление всеми поместьями, найти жену и зажить мирной, размеренной жизнью, что мне и удалось, несмотря на великие потрясения нашего беспокойного века.

Но прежде, чем взяться за хозяйство, я решил немного попутешествовать. И попал в Париж как раз вовремя, чтобы увидеть, с каким триумфом встречают там Вольтера, после многих лет изгнания приехавшего в столицу на первое представление своей трагедии.

Но это уже воспоминания о моей жизни, не представляющей никакого интереса для читателя; я хотел лишь сказать, что во время путешествия меня поразило, сколь широко распространилась по Европе слава о живущем на деревьях человеке из Омброзы. В одном альманахе я даже увидел рисунок с надписью внизу: «L'homme sauvage d'Ombreuse (Rép.Génoise). Vit seulement sur les arbres¹».

Художник изобразил его волосатым, звероподобным существом с длинной бородой и хвостом, жадно поедающим саранчу. Рисунок был помещен в главе о чудовищах, между гермафродитом и сиреной.

Перед лицом столь нелепых выдумок я обычно остерегался говорить, что дикий человек — мой брат. Но я открыто и смело объявил всем об этом, когда меня пригласили в Париже на прием в честь Вольтера.

Старый философ восседал в кресле, окруженный стайкой поклонниц, беззаботный, как младенец, и колючий в ответах, как дикобраз.

Узнав, что я приехал из Омброзы, он обратился ко мне:

— C'est chez vous, mon cher Chevalier, qu'il y a ce fameux philosophe qui vit sur les arbres comme un singe?²

Весьма польщенный, я не удержался и ответил:

— C'est mon frère, Monsieur, le Baron de Rondeau³.

Вольтер был весьма удивлен — возможно, потому, что брат такой достопримечательности оказался совершенно нормальным человеком, и задал мне вопрос:

— Mais c'est pour approcher du ciel, que votre frère reste là-haut?⁴

— Брат утверждает, — ответил я, — что тому, кто хочет лучше рассмотреть землю, надо держаться от нее на известном расстоянии.

¹ «Дикарь из Омброзы (Генуэзская респ.). Постоянно живет на деревьях» (франц.).

² Это у вас, мой дорогой кавалер, завелся знаменитый философ, который, словно обезьяна, живет на деревьях? (франц.)

³ Это мой брат, сударь, барон ди Рондо (франц.).

⁴ Ваш брат живет наверху, чтобы быть ближе к небу? (франц.)

Вольтер весьма оценил мой ответ.

— Jadis, c'était seulement la Nature que créait des phénomènes vivants,— заключил он,— maintenant c'est la Raison¹.— И, произнеся эти слова, мудрый старец снова вернулся к оживленной болтовне с очаровательными ревностными теистами в юбках.

Вскоре срочная депеша заставила меня прервать путешествие и вернуться в Омброзу. У матери внезапно обострилась астма, бедняжка совсем не вставала с постели.

Входя в калитку и бросив первый взгляд на отцовскую виллу, я не сомневался, что увижу его. И верно, Козимо сидел на ветке тутового дерева, спускавшейся прямо к подоконнику матушкиной комнаты.

— Козимо,— негромко окликнул я брата.

Он кивнул мне, как бы давая понять, что матушке немного легче, хотя состояние все еще тяжелое, и что я могу подняться к ней, но как можно тише.

Комната утопала в полутьме. Матушка, полулежавшая на подушках, казалась выше и грузнее, чем обычно. У постели суетились служанки. Баттиста еще не приехала, так как граф, ее муж, который должен был ее сопровождать, задержался из-за сбора винограда. В полутьме белело открытое окно, за ним виден был сидевший на ветке брат.

Я наклонился и поцеловал матери руку. Она сразу меня узнала и положила ладонь мне на голову.

— А, ты приехал, Бьяджо...

Когда приступ удушья немного ее отпускал, она говорила еле слышно, но отчетливо и весьма разумно. Меня поразило, что она обращалась и ко мне и к брату так, словно оба мы сидели у изголовья постели. Козимо с дерева тут же ей отвечал.

— Я давно принимала лекарство, Козимо?

— Нет, матушка, всего несколько минут назад, сейчас еще рано снова пить его, все равно пользы не будет.

Внезапно она сказала:

— Козимо, дай мне дольку апельсина.— Это несказанно изумило меня. Но еще сильнее я поразился, когда увидел, что Козимо через окно просунул в комнату нечто похожее на гарпун, поддел им дольку апельсина, лежащую на столике, и подал матери прямо в руку.

Я заметил, что за мелкими услугами она предпочитала обращаться к Козимо, а не ко мне.

— Козимо, дай мне шаль.

И брат самодельным гарпуном отыскивал среди валявшихся в кресле вещей шаль и протягивал ее матери.

¹ Раньше лишь Природа создавала подобные живые уникамы, теперь же их создает Разум (франц.).

— Вот, матушка.

— Спасибо, сынок.

Она говорила так, словно он был рядом, но избегала просить то, чего он не мог сделать, не слезая с дерева. В этих случаях она обращалась только ко мне или к служанкам.

Ночью матушка никак не могла уснуть. Козимо остался на всю ночь присматривать за ней, повесив на ветку светильник, чтобы больной было видно его даже в темноте.

По утрам дудуше особенно жестоко терзало мать. Единственное, чем можно было облегчить ее страдания,—это хоть как-то развлечь ее; и Козимо играл на свирели незатейливые песенки, подражал пению птиц, ловил бабочек и выпускал их в комнату либо развешивал гирлянды из цветов глицинии.

Был яркий солнечный день. Козимо с дерева стал выдувать из трубочки мыльные пузыри, загоняя их в комнату, прямо к постели больной. Матушка смотрела на плывущие по воздуху и заполонившие комнату радужные шарики и говорила:

— Ну что это вы затеяли?!

Словно вернулись времена детства, когда все наши игры вызывали ее неодобрение, ибо казались ей слишком ребяческими и несерьезными. Но сейчас, быть может впервые, ей была приятна эта игра. Мыльные пузыри подлетали к самому ее лицу и лопались от ее дыхания, а она улыбалась. Один подобрался к самым ее губам и остался целым. Мы склонились над кроватью. Козимо выронил трубочку. Матушка была мертва.

На смену скорби рано или поздно приходит радость—таков закон жизни. Спустя год после смерти матери я обручился с молодой девушкой, дочерью дворян из соседнего поместья. Моя невеста не сразу примирилась с перспективой поселиться в Омброзе—она боялась брата. Мысль о том, что там живет человек, способный затаиться в листве, следить через окно за каждым вашим движением и появиться внезапно, когда вы меньше всего этого ждете, наполняла ее ужасом еще и потому, что она никогда не видела Козимо и представляла его себе самым настоящим дикарем. Чтобы развеять ее страхи, я устроил праздничный обед на свежем воздухе, под деревьями, пригласив на него и Козимо. Козимо ел над нами, сидя на буке и пристроив блюда на особой полочке, и должен сказать, что брат, хотя и давным-давно не бывал на званых обедах, вел себя безупречно. Моя невеста немного успокоилась, увидев, что брат, хоть и живет на деревьях, в остальном ничем не отличается от других людей. Но инстинктивного недоверия к нему она так и не смогла преодолеть.

Даже когда мы обвенчались и поселились на вилле Омброза, она всячески избегала не только разговоров с деверем, но и встреч с ним, хотя он, бедняга, часто дарил ей букеты цветов и

ценные меха убитых зверей. Когда же у нас родились и стали подрастать дети, она вбила себе в голову, что само соседство Козимо может оказать на них дурное влияние. Она успокоилась только после того, как мы восстановили наш родовой замок Рондо, давным-давно пришедший в запустение, и стали, чтобы избавить детей от дурного примера, проводить больше времени там, нежели в Омброзе.

Козимо наконец-то стал замечать, что время летит, особенно когда глядел на Оттимо-Массимо, который начал стареть и уже больше не бросался вслед за стаей гончих, преследовавших лису, не пытался завести немыслимую любовную интригу с овчарками или догами. Целыми днями он лежал, словно ради того, чтобы приподнять брюхо от земли на столь крохотное расстояние, не стоило утруждать лапы. Растянувшись во всю длину под деревом, на котором сидел Козимо, пес подымал усталый взгляд на хозяина и тихонько помахивал хвостом. Козимо испытывал постоянное неудовлетворение. Быстротечность времени вызывала у него смутную досаду на то, что жизнь проходит в бесцельных скитаниях по деревьям крохотной Омброзы. Ни книги, ни охота, ни мимолетная любовь — ничто не доставляло ему теперь полной радости. Он сам не знал, чего хочет; охваченный слепой яростью, он молниеносно взбирался на верхушку самых нежных и тонких деревьев, словно ища другие деревья, растущие на вершине первых, чтобы взобраться и на них.

Однажды Оттимо-Массимо повел себя как-то странно. Казалось, он учуял весенний ветерок. Он поднимал морду, нюхал воздух и снова опускал ее на лапы. Дважды он подымался и снова укладывался под деревом. Внезапно он вскочил и побежал. Теперь он бежал медленно, с трудом и то и дело останавливался, переводя дыхание. Козимо следовал за ним по ветвям.

Оттимо-Массимо свернул на лесную дорогу. Как видно, он отлично знал, куда держит путь; время от времени останавливался, мочился и, высунув от усталости язык, отдыхал, поглядывая на хозяина, но вскоре решительно устремлялся дальше. Теперь он уже забрался в малознакомые, вернее, совсем неизвестные Козимо места, примыкавшие к охотничьему заповеднику герцога Толемайко. Герцог был дряхлый старик и бог весть с каких пор не ходил на охоту, но в заповедник ни один браконьер не смел сунуть носа, ибо его охраняло множество бдительных сторожей, и Козимо, уже успевший познакомиться с ними, предпочитал держаться подалеже от этих мест. Сейчас Оттимо-Массимо и Козимо углублялись в заповедник герцога Толемайко, но ни собака, ни ее хозяин не собирались выкуривать из нор драгоценную дичь. Такса бежала по лесу, следуя какому-то таинственному призыву, а Козимо, сгоравшему от любопытства, не терпелось узнать, куда это устремилась собака.

Но вот Оттимо-Массимо добрался до опушки леса, за которой начинался луг. Два каменных льва на пьедесталах держали щит с герцогским гербом. Отсюда, по-видимому, начинается парк или сад старого Толемаико, решил было Козимо. Но нет, здесь не было ничего, кроме двух каменных львов и огромного луга позади них, луга, поросшего низенькой зеленой травой, в самом конце которого можно было различить черные силуэты дубов. Небо над лугом было подернуто легкой дымкой облаков. Ни единая птица не нарушала молчания.

Один вид этого бескрайнего луга привел Козимо в растерянность. Ему, жившему среди густой растительности Омбросы, уверенному в том, что он доберется по деревьям до любого места, достаточно было увидеть перед собой недоступную голую равнину под безбрежным небом, чтобы ощутить головокружение.

Пес ринулся на луг и, словно к нему вернулась молодость, помчался во всю прыть. Козимо с ясеня принялся свистеть и звать его:

— Оттимо-Массимо, назад! Куда ты?

Но тот не слушался и, даже не оборачиваясь, летел и летел по лугу, пока хвост его не стал маленькой запятой где-то вдаль, а потом и вовсе исчез.

Козимо, сидя на дереве, в отчаянии заломил руки. К исчезновениям и побегам таксы он уже привык, но сейчас собака скрылась на недоступном лугу, и ее побег усиливал испытанную минуту назад растерянность, рождая смутные предчувствия и ожидание чего-то необычного там, за лугом.

Погруженный в свои мысли, он услышал чьи-то шаги у самого ясеня и увидел лесного сторожа, который шел мимо, засунув руки в карманы и насвистывая. По правде говоря, для грозного сторожа герцогской усадьбы у него был слишком благодушный и беспечный вид, но на ливрее виднелись знаки отличия герцогской стражи, и Козимо прижался к стволу. Но беспокойство за Оттимо-Массимо взяло верх, и брат окликнул сторожа:

— Эй, сержант, вы не видели мою таксу?

Сторож поднял голову.

— А, это вы! Охотник, который летает по небу, а собака его стелется по земле! Нет, не видел. Ну, кого вы сегодня подстрелили?

Козимо узнал в стороже одного из злейших преследователей и горячо возразил:

— Что вы! У меня удрала собака, и мне пришлось гнаться за ней до самого луга. Да у меня и ружье-то не заряжено!

Лесной сторож засмеялся.

— О, можете его заряжать и стрелять сколько душе угодно. Все равно теперь!..

— Почему теперь?

— Теперь, когда герцог умер, кому охота охранять его заповедник!

— Вот как, он умер, а я и не знал.

— Умер и похоронен три месяца тому назад. А его наследники от первого и второго брака да в придачу молодая вдовушка вовсю ссорятся между собой.

— У него была третья жена?

— Да, он женился за год до смерти, когда ему было восемьдесят лет, а ей двадцать один или того меньше. С ума он сошел, да и только: она с ним и дня вместе не прожила, лишь теперь стала объезжать свои владенья, да и то они ей не нравятся.

— Как это не нравятся?

— Ну, приедет она, скажем, в какой-нибудь дворец или поместье со всей своей свитой, за ней целый хвост рыцарей тянется, а через три дня все ей кажется уродливым, унылым — она и отбывает. Тут налетает свора остальных наследников, предъявляет свои права и норовит захватить владенье. А она... Раз так, забирайте его! Сейчас она здесь, в охотничьем павильоне герцога, но кто знает, сколько она тут пробудет? Думаю, недолго.

— А где этот охотничий павильон?

— За лугом, в дубовой роще.

— Значит, моя собака туда и удрала.

— Она, верно, бросилась кости искать... Уж извините, но, по-моему, вы, ваша милость, держите ее впроголодь! — Он громко захотал.

Козимо ничего не ответил, он смотрел на недоступный луг и ждал, не вернется ли такса.

Но в тот день она не вернулась. Наутро Козимо снова сидел на ясене и неотрывно глядел на луг, словно уже не мог обойтись без испытанного вчера смутного волнения.

Такса появилась к вечеру — маленькая точка на лугу, которую лишь зоркий взгляд Козимо смог различить издалека. Точка приближалась, становилась все виднее.

— Оттимо-Массимо! Сюда, сюда! Где ты был?

Собака остановилась, она виляла хвостом, смотрела на хозяйина, громко лаяла, точно приглашая Козимо последовать за ней, но потом, как будто вспомнив, что ему не одолеть длиннющий луг, поворачивала назад, делала несколько неуверенных шагов и снова оборачивалась.

— Оттимо-Массимо! Иди сюда! Оттимо-Массимо!

Но такса уже бежала по лугу к дубам и вскоре исчезла вдали. Немного спустя мимо прошли двое лесных сторожей.

— Все ждете собаку, ваша милость? А мы ее видели в павильоне, она там в хороших руках...

— Как так?

— Ну да. Маркиза, вернее, вдовствующая герцогиня, взяла ее себе. Мы ее по старой памяти маркизой называем... так вот, она этой собачке до того обрадовалась, словно всегда была ее хозяйкой. Позвольте вам заметить, ваша милость, эта собака

нежное обращение любит. Теперь она нашла место, где потеплее да посытнее, и там останется.

И оба сторожа с ехидной ухмылкой пошли дальше.

Оттимо-Массимо больше не возвращался. Козимо целыми днями сидел на ясене и следил за лугом, точно в нем было воплощено что-то давно мучившее его — само понятие отдаления, недостижимости, ожидания, которое может длиться дольше, чем сама жизнь.

XXI

Однажды Козимо смотрел вдаль со своего неизменного ясения. Луч яркого солнца упал на луг, и тот из светло-зеленого мгновенно стал изумрудным.

Внизу, в черноте дубовой рощи, заколыхалась листва, и на луг вылетел конь. На скакуне в богатом седле сидел наездник, одетый в широкий черный плащ; хотя нет, это не плащ, а юбка, и несется на коне, отпустив поводья, не наездник, а белокурая амазонка.

У Козимо часто забилось сердце: в нем родилась надежда, что наездница приблизится настолько, что он увидит ее лицо и оно окажется прекрасным. Но, кроме надежды увидеть незнакомку и рассмотреть ее красоту, у него появилась еще одна, тесно переплетавшаяся с первой: ему хотелось, чтобы эта лучезарная красота воскресила давнее полузабытое воспоминание, от которого остались только контуры и краски, а еще лучше — чтобы воспоминание стало чем-то видимым, материальным.

Он с нетерпением ждал, когда наездница промчится по краю луга мимо него и мимо двух возвышавшихся, как башни, каменных постаментов со львами. Вскоре это ожидание стало просто мучительным, ибо он заметил, что амазонка пересекает луг не прямо, а по диагонали и, значит, через минуту вновь исчезнет в лесу.

Он уже почти потерял ее из виду, когда она резко повернула коня и вновь поскакала через луг, пересекая его так, что непременно должна была чуть ближе подъехать к Козимо, но затем все-таки исчезнуть на той стороне, за лесом.

Между тем Козимо с досадой увидел, что из лесу на луг вылетели два гнедых коня с молодыми наездниками. Он попытался тут же о них забыть — ведь достаточно было посмотреть, как беспомощно мечутся они в разные стороны, стараясь не отстать, чтобы понять, сколь мало они стоят, — но вынужден был признаться, что совсем не рад их появлению.

Амазонка, прежде чем покинуть луг, снова повернула коня, на этот раз удаляясь от Козимо... Хотя нет, конь сделал круг на месте и помчался в прежнем направлении: видимо, этот маневр был продлан, чтобы сбить с толку незадачливых всадников, которые неслись где-то далеко позади и еще не сообразили, что амазонка уже летит в противоположном направлении.

Теперь все шло как нельзя лучше. Амазонка скакала, освещенная солнцем, все более прекрасная, именно такая, какой жаждал видеть ее Козимо, обуреваемый воспоминаниями; единственное, что смущало брата,—это непрерывные смены направления, никак не позволявшие определить ее намерений. Двое всадников тоже не понимали, куда она держит путь, и пытались повторить ее маневры, ретиво, но без толку носясь по лугу, однако сохраняя при этом все свое достоинство.

Быстрее, чем Козимо ожидал, наездница подскочила к самому краю луга, поблизости от его дерева, и промчалась между двумя каменными львами, которые, казалось, стояли на своих могучих пьедесталах лишь для того, чтобы ее приветствовать: тут она обернулась, оглядела луг и все, что за ним, подняла руку, словно прощаясь,—и вот уже она пронеслась мимо ясеня... Козимо прекрасно видит ее фигуру, выпрямившуюся в седле, ее лицо—надменно-женственное и одновременно детское, ее лоб, счастливый тем, что под ним горят такие глаза, ее глаза, счастливые тем, что украшают такое лицо, нос, рот, подбородок, шею, гордые друг другом,—и все это, все напоминает ему о девочке, которую он двенадцатилетним мальчишкой увидел на качелях в первый день своей жизни на деревьях. О Синфорозе Виоле Виоланте д'Ондарива.

Козимо знал это с первой минуты, только не решился признаться самому себе, и сейчас это открытие, или, вернее, возможность признать свое открытие, наполняло Козимо лихорадочным волнением. Он хотел окликнуть ее, чтобы она бросила взгляд на ясень и увидела его, Козимо, но из горла у него вырвался лишь глухой крик бекаса, и она не обернулась.

Теперь белый конь мчался по каштановой роще, и копыта, ударяя по валявшимся на земле колючим плодам, сбивали с них зеленую оболочку и обнажали блестящую и крепкую кожуру. Амазонка направляла коня то в одну, то в другую сторону, и Козимо то видел ее вдалеке и уже не надеялся догнать, то прыгая с дерева на дерево, к своему изумлению, вновь обнаруживал ее в просвете между стволами, и это преследование еще больше разжигало огонь чудесных воспоминаний, захвативших его. Он хотел позвать ее, дать знать о себе, но с его губ слетел лишь посвист серой куропатки, на который Виола не обратила внимания. Следовавшие за ней всадники, видимо, вообще не понимали ее намерений и каждый раз устремлялись невпопад—в кусты ежевики или в болото, а она тем временем стрелой уносилась прочь, уверенная и недосыгаемая. Время от времени она даже взмахивала хлыстом или срывала и кидала рожковые стручки, словно желая отдать приказ или приободрить всадников, показать им, в какую сторону скакать... И они тут же галопом мчались в указанном направлении, через луга и обрывы, а Виола, круто развернувшись, улетала в другую сторону, даже не взглянув на них.

«Это она! Это она!»—думал Козимо, охваченный страстной надеждой, и хотел окликнуть ее, но с его губ слетел лишь печальный и долгий крик, похожий на курлыканье журавля.

Вскоре он заметил, что, совершая мгновенные повороты, дразня своих преследователей и словно играя с ними, Виола все же не отклоняется от какой-то линии, неправильной и ломаной, но наверняка устремленной к определенной цели.

Угадывая эту скрытую цель и не выдерживая больше этого тщетного преследования, Козимо решил: «Я пойду туда; ведь она обязательно туда придет, если это Виола. Она здесь только для того, чтобы побывать там».

И он, прыгая по веткам, направился к старому, заброшенному саду д'Ондарива.

Здесь, в этой тени, в этом душистом уголке, где те же листья, те же деревья были совсем не похожи на листья и деревья в других местах, его так захватили воспоминания детства, что он почти позабыл об амазонке, или, вернее, не позабыл, но сказал себе, что даже если это и не она, то все равно его ожидание и надежда на встречу дали ему не меньше, чем дала бы сама встреча.

Тут он услышал шум. То был стук копыт белого коня по гравию. Конь шел шагом—видно, его хозяйка хотела рассмотреть все до мельчайших подробностей. Двух неловких кавалеров как не бывало—вероятно, ей удалось окончательно сбить их со следа.

Козимо увидел ее: она объехала вокруг фонтана, вокруг беседки, вокруг садовых ваз. Смотрела на ставшие огромными растения с длинными воздушными корнями, на целый лес магнолий. Но его, Козимо, она не видела, хотя он пытался привлечь ее внимание то криком удода, то трелью луговой шеврицы—негромкими призывными звуками, терявшимися, увы, в щебетании бесчисленных птиц в саду.

Наконец амазонка соскочила с коня и пошла дальше, ведя его в поводу. Она подошла к вилле, отпустила коня и вступила под портик. Затем принялась звать слуг:

— Гортензия! Гаэтано! Тарквинио! Здесь надо побелить стены, покрасить жалюзи и повесить гобелены! Вот тут поставьте столик, там—этажерку, посреди комнаты—спинет. Все картины нужно перевесить!

Тут только Козимо обнаружил, что дом, показавшийся его рассеянному взору, как обычно, пустым и заколоченным, сейчас был открыт и полон слуг, которые убирали, подметали пол, проветривали комнаты, расставляли мебель, выбивали ковры.

Так значит, это Виола; она вернулась и теперь снова поселилась в Омброзе на своей вилле, где жила еще девочкой! Но радостное биение сердца у Козимо мало чем отличалось от учащенного сердцебиения, порождаемого страхом, потому что возвращение и постоянное соседство этой гордой, загадочной женщины могло означать, что она больше не будет принадлежать

ему даже в воспоминаниях, овеянных таинственным запахом листьев, окрашенных цветом пронизанной солнечными лучами зелени, и ему, возможно, придется избегать ее, а значит, избегать и воспоминаний о той белокурой девочке.

И вот с надеждой и страхом Козимо наблюдал, как она ходит среди слуг, приказывая перенести диваны, клавирины, шкафы, как спускается в сад, вскакивает в седло и, отмахнувшись от слуг, ждавших новых распоряжений, объясняет садовникам, где надо расчистить заросшие клумбы и снова посыпать галькой дорожки, размытые дождями, где поставить плетеные кресла и повесить качели...

Энергично взмахнув рукой, она показала, на каком дереве висели качели прежде, велела приладить их там же и теперь, объяснила, какой длины должны быть веревки и какой величины размах качелей. Так, указывая то на одно, то на другое дерево, она перевела наконец взгляд на ту магнолию, на которой однажды заметила Козимо. И тут увидела его.

Она была поражена. Несказанно поражена. Конечно, она тут же овладела собой и, как всегда, притворилась равнодушной, но в первое мгновение она очень удивилась, и глаза ее засмеялись, а губы раскрылись в улыбке, обнажив чуть неровный, как в детстве, зуб.

— Ты?!— И, стараясь придать своему тону непринужденность, словно речь идет о самых обычных вещах, но не в силах скрыть своего любопытства и радости, спросила:— Значит, ты с тех пор так и оставался здесь, ни разу не слезал на землю?

Из горла Козимо готово было вырваться чириканье воробья, но ему удалось все же выдавить:

— Да, это я, Виола, ты меня помнишь?

— Так ты ни разу, ни единого разу не ступал на землю?

— Ни разу.

И она небрежным тоном человека, который и так слишком далеко зашел, бросила:

— Значит, ты сумел сдержать слово? Как видно, это было не так уж трудно.

— Я ждал тебя.

— Отлично. Эй, куда вы тащите этот тент? Оставьте все как было!

Она снова взглянула на него. Козимо в тот день был одет по-охотничьи, небритый, в меховой шапке, с ружьем за плечами.

— Ты похож на Робинзона!

— А ты читала?— воскликнул он, желая показать, что он в курсе всех литературных новинок.

Но Виола уже повернулась к слугам.

— Газтано! Ампелио! Уберите сухие листья! Тут полно опаснейшей листвы!

Потом сказала:

— Через час в глубине парка. Жди меня.

И помчалась на своем коне отдавать приказания.

Козимо бросился в листву; ему хотелось, чтобы она была в тысячу раз гуще, чтобы это было целое море листьев, веток, игл, каприфолий, в которое можно забраться, зарыться и лишь тогда понять, отчего ты обезумел—от страха или от счастья.

Оседлав ветку старого дерева в глубине парка и поминутно глядя на старинные часы-луковицу, принадлежавшие некогда дедушке, генералу фон Куртевицу, он твердил себе: «Она придет». Но Виола прискакала на своем коне почти без опоздания. Даже не взглянув наверх, остановила коня у самого дерева. Она была уже не в шляпе и амазонке, а в белой, отделанной кружевами блузе и черной юбке, почти по-монашески простой. Приподнявшись на стременах, она протянула ему руку, потом встала на седло и, по-прежнему не глядя на Козимо, с его помощью быстро взобралась на дерево; там она отыскала удобный сук и села. Козимо примостился у ее ног и, не зная, как начать разговор, спросил:

— Значит, ты вернулась?

Виола с иронией посмотрела на него. Она осталась такой же белокурой, как в детстве.

— Как ты догадался?—притворно изумилась она.

Но Козимо, не поняв насмешки, ответил:

— Я увидел тебя на лугу, в охотничьем заповеднике герцога.

— Заповедник теперь мой. Пусть хоть чертополохом зарастет, мне безразлично! Ты все знаешь? Обо мне, разумеется?

— Нет... Я только сейчас понял, что ты и есть вдова...

— Конечно, я вдова.— Она расправила пальцами черную юбку и заговорила быстро-быстро:— Да ничего ты не знаешь. Целыми днями сидишь на деревьях, суешь нос в чужие дела—и все-таки ничего не знаешь. Я вышла замуж за старика Толемайко, потому что меня родные заставили, понимаешь, заставили. Они говорили, что я становлюсь кокеткой и мне нельзя больше жить без мужа. Целый год я была герцогиней Толемайко, и это был самый тоскливый год в моей жизни, хотя со стариком я пробыла не больше недели. Ноги моей не будет в этих замках! Сплошные развалины, мышиные норы! Пусть в них змеи живут! С нынешнего дня я поселюсь здесь, где жила еще девчонкой. Пробуду тут, сколько мне захочется, а потом уеду, ведь я вдова и наконец-то могу делать все, что вздумается. Хотя, по чести говоря, я всегда делала, что мне вздумается. Я и за Толемайко вышла, потому что так мне было удобнее. Неправда, что меня заставили выйти замуж именно за него; родные непременно хотели, чтобы я вышла замуж, и тогда я выбрала самого дряхлого из всех претендентов. Так я скорее останусь вдовой, сказала я себе, и вот видишь, я уже вдова.

Козимо был просто оглушен этой лавиной новостей и безапелляционных утверждений. Виола показала ему далекой как никогда: кокетка, вдовствующая герцогиня—она была частицей

недоступного для него мира. Он смог лишь произнести:

— С кем же ты кокетничала?

А она:

— Ах, вот как! Уж не ревнуешь ли ты? Смотри, я тебе не позволю меня ревновать.

Козимо хотел было возмутиться, как и все ревнивцы, готовые в любую минуту затеять ссору, но тут его осенило: «Погоди-ка... Ревнуешь? Значит, она допускает, что я могу ее ревновать? Почему она сказала: «Я не позволю тебе ревновать? Выходит, она думает, что мы...»

Красный от волнения, он хотел сказать ей, спросить, услышать, но она прервала его довольно сухо:

— А теперь ты расскажи, что ты делал все это время!

— О, я много чего делал,— начал он.— Охотился, даже на кабанов, но чаще всего на лисиц, зайцев, куниц, ну и понятно, на дроздов... Потом высадились турецкие пираты, была жаркая битва, мой дядюшка погиб... И еще я читал книги, много книг для себя и для одного друга-разбойника, которого повесили. У меня вся «Энциклопедия» Дидро есть, я ему написал, и он мне ответил из Парижа. А еще я трудился, подрезал деревья и даже спас лес от пожаров.

— И ты будешь всегда любить меня, любить больше всего на свете, и все для меня сделаешь?

Вопрос прозвучал неожиданно, и Козимо в растерянности произнес:

— Да...

— Ты жил на деревьях только ради меня, чтобы научиться меня любить?..

— Да... да...

— Поцелуй меня.

Он прижал ее к стволу и крепко поцеловал. Подняв голову, он словно впервые увидел, как хороша Виола.

— Какая ты красивая!

— Только для тебя.

Она расстегнула белую блузку. Ее грудь была юной, упругой. Козимо несмело коснулся ее, Виола скользнула в листву и словно полетела по воздуху. Он пробирался за ней по ветвям, и перед глазами у него колыхалась ее юбка.

— Куда ты меня ведешь?!— воскликнула Виола, точно это он увлекал ее за собой, а не она его.

— Сюда,— воскликнул Козимо и сам повел ее. Каждый раз, когда они перебирались на другую ветку, он брал Виолу за руку или за талию, показывая ей самый удобный путь.— Сюда.

И они взбирались на оливковые деревья, клонившиеся над кручей, и оттуда, с вершины дерева, море, которое до сих пор они видели словно по кусочкам в просветах между листьями, вдруг предстало их взорам целиком, спокойное и бесконечное, как небо. Голубой, высокий, необъятный горизонт был прям, как стрела, и

пустынен, без единого паруса, так что можно было сосчитать одну за другой еле заметные морщинки волн. Лишь легкая зыбь чуть слышно, точно вздыхая о чем-то, плескалась о прибрежные камни.

Ослепленные, Козимо и Виола снова окунулись в темно-зеленую тень листвы.

— Сюда.

На одном из ореховых деревьев в седловине ствола зияла глубокая рана, давным-давно оставленная чьим-то топором,— углубление в форме раковины: здесь Козимо устроил себе еще один тайник. Углубление было устлано кабаньей шкурой, тут же лежала фляжка, несколько рабочих инструментов и дудочка.

Виола сразу же растянулась на шкуре.

— Ты водил сюда других женщин?

Козимо молчал в нерешительности.

— Если не водил, ты просто не мужчина,— сказала Виола.

— Водил... Иногда...

И получил увесистую пощечину.

— Так-то ты меня ждал?

Козимо гладил покрасневшую щеку и не знал, что сказать, но Виола, казалось, снова настроилась весьма миролюбиво.

— И какие они были? Расскажи мне, какие?

— Не такие, как ты, Виола, совсем не такие.

— Откуда ты знаешь, какая я, откуда?

Теперь она стала ласковой, и Козимо совершенно терялся от этих неожиданных смен ее настроения. Он приблизился к ней. Виола вся была словно из золота и меда.

— О, Виола...

— О, Козимо...

Они познали друг друга. Он познал ее и себя самого, потому что по-настоящему он себя до этого не знал. А она познала его и самое себя, ибо хотя она и знала себя, но не так полно.

XXII

Свое первое паломничество они совершили к тому дереву, на котором крупными буквами было вырезано «Козимо, Виола» и чуть пониже «Оттимо-Массимо», причем буквы со временем настолько изменили свой цвет и вид, что уже не казались делом рук человеческих.

— Кто это побывал там, наверху? И когда?

— Это я, еще тогда.

Виола растрогалась.

— А это что значит?— Она показала на слова «Оттимо-Массимо».

— Это моя собака. Вернее, твоя. Такса.

— Тюркаре?

— Я назвал ее Оттимо-Массимо.

— Тюркаре! Как я плакала, когда уже в пути заметила, что не взяла его в карету... Расстаться навсегда с тобой мне было ничуть не жаль, но я так убивалась, что оставила таксу.

— Если бы не она, я бы тебя не нашел. Это Оттимо-Массимо учуял, что ты близко, и не успокоился, пока не разыскал тебя...

— Я его тут же узнала, едва он влетел в павильон... Все удивились: «А этот откуда взялся?» Я наклонилась, чтобы лучше его разглядеть,—масть, пятна. «Так это же Тюркаре! Такса, которая была у меня еще в детстве, здесь, в Омброзе!»

Козимо улыбался. Внезапно она наморщила нос.

— Оттимо-Массимо! Какое некрасивое имя! Где ты берешь такие дурацкие имена?

У Козимо сразу же сбежала улыбка с лица.

Зато для Оттимо-Массимо наступила пора безоблачного счастья. Его старое сердце, сердце верной собаки, раздраемое любовью к двум хозяевам, наконец-то обрело покой после того, как он несколько дней подряд всячески старался завлечь Виолу к ясеню на краю луга, где сидел Козимо. Он тянул ее зубами за юбку или уносил что-нибудь из ее вещей и мчался к лугу в надежде, что хозяйка побежит за ним.

— Что тебе? Куда ты меня тянешь? Тюркаре, перестань! Какая беспокойная собака!

Но самый вид таксы уже пробудил в душе Виолы воспоминания детства, тоску по Омброзе. И она немедленно приказала готовиться к переселению из герцогского павильона в ее старинное родовое имение, окруженное садом с удивительными растениями. Наконец-то Виола вернулась. Для Козимо, да и для Виолы тоже, началось самое прекрасное время в жизни: она носилась по полям и дорогам на своей белой лошадке и, завидев Козимо между листвой и небом, тут же слезла с коня, взбиралась по кривому стволу и густым ветвям; она научилась передвигаться по деревьям почти с такой же легкостью, как он сам, и повсюду настигала возлюбленного.

— О, Виола, не знаю, что со мной делается. Я готов взобраться невесть куда.

— Ко мне,—тихо говорила Виола, и он окончательно терял голову.

Любовь была для нее непрерывным подвигом: наслаждение переплеталось с постоянными испытаниями мужества, душевной щедрости и преданности, с напряжением всех душевных сил. Их обителью были самые непроходимые чащи ветвей, самые искривленные деревья.

— Туда!—воскликнула она, показывая на развилину у верхушки дерева, и они бросались на штурм.

Между ними начиналось состязание в ловкости, всегда заканчивавшееся объятиями. Они любили друг друга, повиснув в пустоте, опираясь на ветки или крепко уцепившись за них, и она, бросаясь к нему, словно парила в воздухе.

На одержимость Виолы Козимо отвечал не меньшей одержимостью, и порой это даже приводило к ссорам. Козимо претила ленивая изнеженность, изощренность; в любви лишь естественное доставляло ему радость. В воздухе уже веял дух республиканских перемен, приближалась пора суровых и в то же время распущенных нравов, Козимо, ненасытный любовник, был вместе с тем стоиком, аскетом, пуританином. Непрестанно ища в любви полного блаженства, он оставался врагом сладострастия. Он даже перестал доверять поцелую, ласке, нежным словам—всему, что затемняло или подменяло собой здоровую естественность любви. Именно Виола открыла в нем всю полноту чувств; с ней он никогда не знал провозглашенной богословами печали после свершения любви; он написал об этом философское письмо Руссо, но тот, возможно шокированный, не ответил.

Но Виола была женщина капризная, утонченная, избалованная, истинная католичка душой и телом. Любовь Козимо давала удовлетворение всем ее чувствам, но не оставляла простора ее причудам. Из-за этого возникали размолвки. Однако мир вокруг и жизнь были столь разнообразны, что длились эти размолвки совсем недолго.

Устав от любви, они укрывались в потайных местах на самых густых и развесистых деревьях: в гамаках, плотно окутывающих тело, или в воздушных павильонах, где полог колеблется ветром, или на ложе из птичьих перьев. Внезапно тут проявился один удивительный дар донны Виолы: везде, куда бы она ни попадала, создавать вокруг себя уют, роскошь и замысловатые удобства, замысловатые лишь с виду, ибо она добивалась всего с поразительной легкостью и все, чего ей хотелось, должно было любой ценой свершиться немедленно.

На эти воздушные альковы садились петь коноплянки, в шатры, преследуя друг друга, залетали то и дело две бабочки—брачная пара. В летний полдень, когда сон одолевал двух обнявшихся влюбленных, иногда появлялась юркая белка, ища, что бы погрызть, и нечаянно гладила их лица пушистым хвостом либо кусала Козимо за палец. Тогда они стали плотнее закрывать полог, но сурки прогрязли потолок павильона, и он рухнул на беспечных влюбленных.

То было время, когда они постепенно узнавали один другого, рассказывая о своей жизни и засыпая друг друга вопросами.

— Ты чувствовал себя одиноким?

— Мне недоставало тебя, Виола.

— Но ты чувствовал себя так, словно ты один в целом свете?

— Нет.

— Почему же?

— Я всегда был занят делом и не избегал людей. Я собирал плоды, подрезал деревья, изучал с аббатом философию, сражался с пиратами. Разве остальные живут иначе?

— Ты один такой, и поэтому я тебя люблю.

Но Козимо еще не понял толком, что Виола в нем приемлет и что отвергает. Иной раз достаточно было пустяка, одного его слова или замечания, чтобы вызвать неудержимый гнев маркизы.

К примеру, он говорил:

— С Лесным Джаном я читал романы, с кавалер-адвокатом составлял планы оросительных работ...

— А со мной?..

— С тобой я предаюсь любви. Как прежде собирал плоды, подрезал деревья...

Она молчала, застыв в неподвижности. Козимо тотчас замечал, что она разгневана: глаза ее внезапно становились холодными как лед...

— Что с тобой, Виола? Что я такого сказал?

Но она смотрела перед собой с каменным лицом и, казалось, не видела и не слышала его, словно уже была далеко, за тысячу миль от Козимо.

— Виола, Виола, что с тобой, послушай?

Виола вставала и легко, без всякой помощи, спускалась с дерева.

Козимо еще не догадывался, что ее оскорбило, еще не успевал об этом подумать, а может быть, и вообще не хотел думать — с чистой душой легче доказывать свою невинность.

— Ты меня не так поняла, Виола, подожди...

Он спускался за ней на самую нижнюю ветку.

— Виола, не уходи, не надо, Виола.

Она что-то говорила, но не ему, а коню, потом, отвязав его, вскакивала в седло и мчалась прочь. Козимо приходил в отчаянье, прыгал с дерева на дерево.

— Виола, нет-нет! Ответь мне, Виола!

Но она уже уносилась вдаль. Козимо гнался за ней по ветвям.

— Умоляю тебя, Виола, я люблю тебя, Виола.— Но ее уже не было видно. Он бесстрашно прыгал по тонким веточкам.— Виола! Виола!

Уверенный, что потерял ее, Козимо не в силах был сдержать рыдания, но вдруг она пронеслась вскачь мимо дерева, не удостоив Козимо даже взглядом.

— Смотри, смотри, Виола, как я страдаю!—И он начинал колотиться о ствол головой, которая, по правде говоря, была у него довольно крепкая.

Но она уносилась вдаль.

Козимо ждал, пока она вновь промчится, лавируя между деревьями.

— Виола! Я в отчаянии!—И он бросался с ветки, повисал вниз головой над землей, крепко цепляясь ногами за сук и осыпая лицо и голову градом ударов. Или же он начинал крушить ветки, и развесистый вяз в несколько минут становился голым и безлистным, словно после сильного града.

Однако ни разу он не грозил покончить самоубийством,

больше того, вообще ничем не грозил, ибо домогаться чего-либо, играя на чувствах возлюбленной, было не в его правилах. Все, что он собирался сделать, он непременно делал и, уже творя свои безумства, но никак не прежде, объявлял о них.

В какой-то миг гнев донны Виолы утихал столь же неожиданно, как вспыхивал. Из всех безумств Козимо, казалось ничуть ее не трогавших, какое-нибудь одно внезапно пробуждало в ней жалость и любовь.

— Нет-нет, Козимо, дорогой, подожди!

Она спрыгивала с коня, бежала к дереву и взбиралась по стволу, а сверху его крепкие руки уже тянулись, чтобы подхватить любимую.

И снова любовь их вспыхивала столь же неистово, как недавняя ссора. Собственно, и ссора была проявлением любви, но Козимо этого не понимал.

— Почему ты заставляешь меня страдать?

— Потому что я люблю тебя.

Теперь уже он начинал негодовать.

— Нет, ты меня не любишь! Кто любит, хочет счастья, а не страдания.

— Кто любит, хочет только любви, даже ценой страдания.

— Значит, ты нарочно заставляешь меня страдать.

— Да, чтобы убедиться, любишь ли ты меня!

Тут уж философия барона не могла ему помочь.

— Страдание есть противное природе состояние души!

— Любовь — это все.

— Но со страданием нужно бороться.

— Любовь ничего не отвергает.

— Нет-нет, с этим я никогда не примирюсь.

— Еще как примиришься! Ведь ты любишь и страдаешь.

Порой Козимо вдруг овладевали порывы пьянящей неудержимой радости, такие же бурные, как и приступы отчаяния. Иногда ощущение счастья было столь сильно, что он непременно должен был оставить на время возлюбленную, чтобы, прыгая по ветвям, громогласно прославить достоинства своей дамы:

— Yo quiero the most wonderful puellam de todo el mundo!¹

Бездельники и старые моряки, сидевшие на скамейках Омброзы, уже привыкли к его внезапным появлениям. Вот он вынырнул из рощи и, прыгая с дуба на дуб, декламирует:

— Zu dir, zu dir, gunàika!

Стремлюсь в счастливый плен

En la isla de Jamaica

Du soir jusqu'au matin!²

¹ Я люблю (исп.) самую чудесную (англ.) девушку (лат.) во всем мире! (исп.)

² К тебе, к тебе (нем.), о женщина! (греч.) На остров Ямайку (исп.) с вечера до утра! (франц.)

или же:

— Il ya un pré where the grass grows toda de oro,

Take me away, take me away¹, не то умру я скоро,
и исчезает.

Хотя познания брата в древних и новых языках были не столь глубоки, они все же позволяли ему вышеописанным образом во всеуслышание объявлять о своих чувствах, и чем сильнее трепетала его душа от волнения, тем непонятнее становились его речи. Старики вспоминают, что однажды жители Омброзы на праздник святого — покровителя городка собрались посреди площади, где было установлено дерево, увитое гирляндами флажков, с призами наверху. Внезапно на кроне платана появился брат и с ловкостью, присущей лишь ему, одним прыжком перескочил на празднично украшенное дерево, взобрался на его верхушку и крикнул:

— Que viva die schöne Venus posterior².

Он соскользнул почти до самой земли по вымазанному маслом стволу, обхватив его ногами, потом молниеносно взобрался на верх дерева, сорвал трофей — розовый круг сыра, могучим прыжком вновь перескочил на платан и умчался, оставив омброзцев в полнейшей растерянности.

Ничто не доставляло Виоле такого счастья, как эти неистовства возлюбленного, побуждавшие ее столь же бурно проявлять свою любовь.

Омброзцы, завидев, как она несется вскачь, почти уткнувшись лицом в белую гриву коня, знали, что маркиза летит на свидание с бароном. И в этой бешеной скачке находила выражение вся сила ее любви. Но здесь уже Козимо не мог последовать за своей Виолой; ее страсть к верховой езде, хотя и вызывала у него восхищение, была в то же время причиной тайной ревности, ибо он видел, что Виоле принадлежит более обширный мир, нежели его собственный, и понимал, что ему никогда не удастся безраздельно владеть ею, удержать ее в пределах своего древесного царства. Виола также, вероятно, страдала, что не может быть дамой сердца и амазонкой одновременно, иногда ею овладевало безотчетное желание, чтобы их любовь проходила не только на деревьях, но и в седле, и ей уже мало было самой носиться по ветвям — она мечтала промчаться по ним на своем скакуне.

А конь, привыкший скакать по холмам и обрывам, научился взбираться на кручи, как косуля, и Виола нередко заставляла его с разгона взлетать на низкие деревья, к примеру на старые оливы с изогнутым и наклонным стволом. Иной раз коню удавалось избежать до нижних крепких веток, и Виола стала привязывать

¹ Тут есть лужок (*франц.*), на нем растет трава (*англ.*) вся золотая (*исп.*).
Уведи меня отсюда, уведи меня отсюда (*англ.*).

² Да здравствует (*исп.*) прекрасная (*нем.*) Венера наших дней (*лат.*).

его не на земле, а прямо на оливе. Она слезала с седла и оставляла скакуна жевать листья и тоненькие нежные побеги.

Однако, когда один сплетник, проходя через оливковую рощу, вскинул свои любопытные глаза и увидел обнимающихся Козимо и Виолу, а потом, рассказывая об этом, добавил: «И белая лошадка тоже была на ветвях», его приняли за вралю и не поверили ему. На этот раз тайна влюбленных была спасена.

XXIII

Рассказанный мною случай подтверждает, что омброзцы, насколько они были щедры на сплетни о прежних галантных похождениях моего брата, настолько теперь, перед лицом этой страстной любви, разыгравшейся, можно сказать, прямо у них над головами, хранили почтительное молчание, словно это было выше их. Нельзя сказать, что они не осуждали поведение маркизы, но больше за внешние проявления, скажем за бешеную скачку («Поди разбери, куда это она несется сломя голову?» — говорили они, хотя отлично знали, что она мчится на свидание с Козимо) или за балдахины и павильоны, которые по ее воле установили на вершинах деревьев. Впрочем, они уже привыкли смотреть на все это как на новую моду, на одну из множества причуд знати.

— Теперь все развлекаются на деревьях, мужчины, женщины, что-то они еще выдумают?

Словом, приближались времена большей терпимости, но и большего ханжества.

На дубах центральной площади Козимо появлялся теперь с большими перерывами, и его появление было верным признаком того, что Виола уехала. Ибо Виола иногда отсутствовала по несколько месяцев, объезжая свои владения, разбросанные по всей Европе, и ее отъезд каждый раз совпадал с размолвкой между нею и Козимо, никак не желавшего понять в любви всего того, что она хотела дать ему понять. Не то чтобы Виола уезжала в обиду на него — они каждый раз успевали прежде помириться, но у Козимо неизменно оставалось сомнение: не решилась ли она на это путешествие, пресытившись любовью, а он не смог ее удержать; быть может, она уже отдалилась от него, а путешествие и долгие раздумья приведут ее к мысли и вовсе не возвращаться в Омброзу. Так что брат все время пребывал в тревоге. С одной стороны, он пытался вернуться к прежнему образу жизни, какой вел до ее возвращения в эти места: вновь ходить на охоту, на рыбную ловлю, заниматься подрезкой деревьев, науками, похвалиться перед зеваками на площади — словом, вести себя так, будто он никогда не отвлекался от этих занятий. В своей юношеской гордыне он упорно не желал признать, что подпал под чужое влияние, и вместе с тем

радовался тому ощущению окрыленности, гордости, которое давала ему эта большая любовь. Но, с другой стороны, он замечал, что многое из прежнего уже не волнует его, что без Виолы жизнь утрачивает вкус и что его мысли все время возвращаются к ней. Чем упорнее он старался после бурных дней с возлюбленной вновь стать господином своих страстей и наслаждений, обрести прежнюю мудрую умеренность во всех порывах души, тем сильнее ощущал оставленную Виолой пустоту и еще больше жаждал ее снова увидеть. Словом, он был влюблен именно так, как того хотела Виола, а не как он сам желал бы. Даже когда эта женщина странствовала где-то далеко, она всегда выходила победительницей, и Козимо в конце концов невольно этому радовался.

Внезапно маркиза возвращалась. На деревьях вновь наступала пора любви и ревности. Где была Виола все это время? Что она делала? Козимо не терпелось это узнать, но в то же время его пугала ее манера отвечать на его расспросы намеками: каждый такой намек пробуждал в нем новые подозрения, и хотя он понимал, что она так ведет себя, просто чтобы помучить его, но ведь ее слова могли быть и правдой, и барон, терзаясь душой, то скрывал свою ревность, то изливал ее в бурных вспышках, на которые Виола каждый раз отвечала по-иному, совершенно неожиданно, так что подчас казалась ему близкой, как никогда, подчас далекой и холодной.

Какую жизнь в действительности вела маркиза во время своих путешествий, мы, омбродцы, оторванные от европейских столиц с их сплетнями, знать не могли. Но в это время я совершил свое второе путешествие в Париж, чтобы заключить сделки на поставку лимонов, ибо многие дворяне в те годы занялись торговлей, и я — одним из первых.

Как-то вечером в одном из самых блестящих салонов Парижа я встретил донну Виолу. На ней было столь роскошное платье, а голову украшала до того величественная прическа, что я даже вздрогнул, завидев ее. Но узнал я ее сразу, потому что Виолу невозможно спутать ни с какой другой женщиной. Она равнодушно ответила на мой поклон, но вскоре нашла способ уединиться со мной в углу гостиной и засыпала вопросами, не давая мне времени ответить.

— Есть у вас новости о брате? Вы скоро вернетесь в Омброду? Вот, передайте ему это от меня на память.

И, вынув из-за корсажа шелковый носовой платок, сунула мне в руку. Затем сразу же вернулась к толпе поклонников, следовавших за ней словно тень.

— Вы знакомы с маркизой? — тихонько спросил один мой парижский друг.

— Едва-едва, — ответил я, и это было правдой: в дни своего

пребывания в Омброзе донна Виола, как бы заразившись от Козимо его дикостью, и не думала наносить визиты местным дворянам.

— Редко подобная красота сочетается с подобной неугомонностью,— сказал мой друг.— Сплетники утверждают, что в Париже она переходит от одного любовника к другому с такой быстротой, что никто не может назвать ее своей и похвастаться, что стал ее избранником. Время от времени она исчезает на целые месяцы, и ходят слухи, будто она удаляется в монастырь и там изнуряет плоть покаянием.

Я с трудом удержался от смеха, узнав, что парижане полагают, будто маркиза посвящает покаянию месяцы, на самом деле проводимые ею на деревьях Омброзы. И все же эти сплетни меня встревожили, ибо я предвидел, что брата ждет тяжелое разочарование.

Чтобы уберечь Козимо от неприятных неожиданностей, я решил сам рассказать ему обо всем, что узнал, и, вернувшись в Омброзу, сразу же отправился в лес на поиски. Козимо долго расспрашивал меня о путешествии, о новостях из Франции, но, что бы я ни сообщал ему о политике или о литературе, все уже было для него не ново.

В конце разговора я вынул из кармана платок донны Виолы.

— В Париже в одном салоне я встретил даму, которая знает тебя и в знак приветствия просила передать тебе вот это.

Брат поспешно спустил корзину, подвешенную на веревке, поднял наверх шелковый платок и поднес его к лицу, чтобы вдохнуть нежный запах.

— А, ты видел ее? Ну как она? Расскажи же, как она там?

— Она ослепительна и прекрасна,— неторопливо ответил я,— но говорят, что многие имели случай понюхать этот дивный цветок.

Козимо засунул платок за пазуху, словно боясь, что его могут отнять. Потом, весь красный, обратился ко мне:

— И у тебя не было шпаги, чтобы воткнуть ее в горло негодяю, передававшему тебе эту сплетню?

Я признался, что мне это даже в голову не пришло. Он долго молчал. Потом пожал плечами.

— Все это ложь. Я знаю, что она принадлежит только мне.— И, не попрощавшись, исчез среди ветвей.

Это была манера Козимо отвергать все, что могло бы заставить его покинуть мир деревьев. С тех пор я часто видел, как он, печальный и встревоженный, бесцельно прыгает по ветвям; а когда он принимался свистеть, состязаясь с дроздами, его трели всегда были грустными и беспокойными.

Но вот маркиза приехала. Как всегда, ревность Козимо была ей приятна: она слегка поддразнивала брата и подшучивала над его беспричинной ревностью. Начались чудесные дни любви, и Козимо был счастлив.

Но маркиза отныне не упускала случая упрекнуть Козимо в том, что у него слишком узкие взгляды на любовь.

— Что ты этим хочешь сказать? Что я ревнив?

— Очень хорошо, что ты ревнив. Но ты пытаешься подчинить ревность разуму.

— Конечно. Тогда она становится еще оправданнее.

— Ты слишком много рассуждаешь. Зачем в любви рассуждать?

— Чтобы любить тебя еще больше. Любая вещь, если делать ее разумно, приобретает новую силу и красоту.

— Живешь на деревьях, а мыслишь, как подагрик нотариус.

— Самые смелые подвиги совершают те, кто просты душою.

Он до тех пор сыпал поучениями, пока Виола не убежала от него; тогда он бросался за ней следом, начинал бурно выражать свое отчаянье, рвать на себе волосы.

В это время на рейде Омброзы бросил якорь флагманский корабль английского флота. Адмирал устроил у себя бал для дворян Омброзы и офицеров стоявших в порту кораблей. Маркиза тоже отправилась на бал, а Козимо вновь узнал муки ревности. Двое офицеров с двух кораблей влюбились в донну Виолу, и теперь их все время можно было видеть на берегу, где они ухаживали за своей дамой, стараясь превзойти один другого в учтивости и любезности. Один из них был лейтенант королевского английского флота, другой — тоже лейтенант, но только неаполитанского флота.

Наняв двух гнедых коней, оба лейтенанта гарцевали под балконом маркизы, и, когда они встречались, неаполитанец бросал на врага испепеляющий взор, а взгляд прищуренных глаз англичанина пронзал соперника, точно острие шпаги.

А донна Виола? Эта кокетка теперь целые часы проводила в комнатах или устраивалась у окна в открытом *matinée*, словно вдовушка, только-только снявшая траур. Козимо, который не видел ее больше у себя на деревьях, не слышал приближающегося цоканья копыт, был сам не свой от ревности и в конце концов тоже занял позицию вблизи ее балкона, чтобы не выпускать из виду и маркизу, и лейтенантов.

Он обдумывал, какую бы штуку сыграть над соперниками, чтобы заставить их поскорее убраться на свои корабли, но, увидев, что Виола одинаково благосклонно принимает ухаживания обоих офицеров, вновь обрел надежду: она, видно, хочет подшутить над обоими лейтенантами, а заодно и над ним. И все же он не ослабил наблюдения: при первых же признаках того, что Виола отдает предпочтение одному из двух соперников, Козимо готов был принять свои меры.

И вот однажды утром к балкону подскакал англичанин. Виола уже сидела у окна. Они улыбнулись друг другу. Маркиза как бы

невзначай уронила записку. Лейтенант поймал ее на лету, прочел, поклонился и мгновенно умчался, красный от волнения. Любовное свидание?! Значит, англичанин ее избранник? Козимо поклялся еще до вечера свести с ним счеты.

В этот момент к балкону подскочил неаполитанец, Виола кинула записку и ему. Офицер прочел ее, поднес к губам и поцеловал. Значит, он считает себя ее избранником? А что же другой? С кем из двух ему надо бороться?! Одному из них Виола наверняка назначила свидание, над другим же она подшутила по своему обыкновению. А может быть, она хотела посмеяться над обоими сразу?

Что же до места тайного свидания, то подозрения Козимо пали на беседку в глубине парка. Незадолго до этого маркиза велела ее перестроить и обставить, и Козимо сгорал от ревности, потому что прошли времена, когда, по велению донны Виолы, палатки и диваны водружали на вершинах деревьев: теперь она предпочитала места, куда ему ни за что не добраться.

«Буду следить за беседкой,—решил про себя Козимо.—Если она назначила свидание одному из лейтенантов, то только там». И он спрятался в листе конского каштана.

Перед закатом послышался топот. Подскочил неаполитанец.

«Сейчас я его позлю!»—решил Козимо и залепил ему в шею шариком из белчьего помета. Офицер дернулся, недоуменно поглядел вокруг. Козимо высунулся из листы и увидел за кустами изгороди английского лейтенанта, который слез с седла и привязывал коня к дереву. «Значит, это он, а тот, другой, очутился здесь случайно». И шарик белчьего помета угодил прямо в нос англичанину.

— Who's there?!¹—воскликнул английский офицер и готов был уже пролезть сквозь изгородь, как вдруг столкнулся лицом к лицу со своим неаполитанским собратом, который, сойдя с коня, тоже воскликнул:

— Кто там?!

— I beg your pardon, Sir²,—говорит англичанин,—но я вынужден просить вас немедленно удалиться отсюда.

— Я здесь нахожусь по праву,—парирует неаполитанец,—и предлагаю вашей милости покинуть это место!

— Ваше право ничто в сравнении с моим,—отвечает англичанин.—I'm sorry³, но я не позволю вам здесь оставаться.

— Это вопрос чести,—говорит соперник,—и порукой тому мое происхождение. Я—Сальваторе ди Сан-Катальдо ди Санта-Мария Капуа Ветере, лейтенант военно-морского флота Королевства Обеих Сицилий!

— Сэр Осберт Каслфайт, третий в роду,—представился англичанин.—Клянусь честью, вам придется уступить мне место.

¹ Кто там?! (англ.)

² Прошу прощения, сэр (англ.).

³ Весьма сожалею (англ.).

— Ну нет, раньше я прогоню вас этой шпагой!— И неаполитанец выхватил шпагу из ножен.

— Вы желаете сразиться, синьор?!— воскликнул сэр Осберт, становясь в позицию.

Начался поединок.

— Я ждал этого случая, сэр, и не один день!— сказал неаполитанец, делая выпад.

Сэр Осберт отвечал, парируя удар:

— Я давно уже следил за вами, лейтенант, и жаждал с вами помериться силами.

Равно искусные фехтовальщики, оба лейтенанта не уступали друг другу в атаках и ложных выпадах. Поединок был в самом разгаре, как вдруг послышалось:

— Остановитесь, ради всего святого!

На пороге беседки появилась донна Виола.

— Маркиза, этот человек!..— в один голос воскликнули оба лейтенанта, опустив шпаги и показывая друг на друга.

— Мои дорогие друзья, прошу вас, вложите шпаги в ножны. Разве можно так пугать даму? Я люблю эту беседку, потому что это самое тихое и уединенное место в парке, и вот, не успела я заснуть, как меня разбудил лязг оружия!

— Но, миледи,— произнес англичанин,— разве вы не пригласили меня сюда?

— Но ведь вы, синьора, ждали здесь меня!— воскликнул неаполитанец.

Из уст донны Виолы вырвался смешок, легкий, как шелест крыльев.

— Ах да, да, я приглашала вас... или нет, вас... О, моя вечная забывчивость... Но чего же вы ждете? Входите, усаживайтесь поудобнее, прошу вас.

— Миледи, я думал, что приглашен один. Я ошибся. С вашего позволения я удаляюсь. Мое почтение!

— Я хотел сказать то же самое и откланяться.

Маркиза негромко смеялась.

— О, мои добрые друзья... Мои милые, добрые друзья. Я такая рассеянная! Я думала, что назначила сэру Осберту свидание на один час... и дону Сальваторе— на другой. Ах нет, все не так: я назначила сэру Осберту свидание в одном месте, а дону Сальваторе в другом... Словом, раз уж вы пришли оба, то почему бы нам не присесть и мирно не побеседовать?

Оба лейтенанта обменялись недоуменными взглядами, а затем посмотрели на донну Виолу.

— Как прикажете это понять, маркиза? Вы принимали наши ухаживания только из желания подшутить над нами?

— Почему же, мои милые друзья? Наоборот, совсем наоборот... Ваша преданность не могла оставить меня равнодушной... Вы оба так дороги мне. Это и заставляет меня мучиться... Предпочта эlegantность сэра Осберта, я потеряла бы вас, дон

Сальваторе, самого пылкого моего поклонника. А предпочтя страстность лейтенанта Сан-Катальдо, я принуждена была бы отказаться от вас, сэр! О, почему... почему?..

— Что почему?— в один голос спросили оба офицера.

И донна Виола, опустив голову:

— Почему я не могу принадлежать обоим сразу?..

На верхушке конского каштана хрустнули ветки, Козимо не в силах был усидеть на месте.

Но лейтенанты были слишком взволнованы, чтобы его слышать. Они оба отступили на шаг.

— Это невозможно, синьора!

Маркиза подняла свое прекрасное лицо и одарила претендентов самой лучезарной из своих улыбок.

— Однако я буду принадлежать тому из вас, кто в доказательство своей любви, желая во всем угодить мне, первым объявит, что он готов делить меня с соперником.

— Синьора...

— Миледи...

Оба лейтенанта, отвесив Виоле сухой прощальный поклон, повернулись друг к другу и пожали друг другу руки.

— I was sure you were a gentleman¹, синьор Катальдо,— сказал англичанин.

— Я тоже не сомневался в вашем благородстве, сэр Осберт!— воскликнул неаполитанец.

Они повернулись к маркизе спиной и направились к лошадям.

— Друзья мои... Вы обиделись... Какие вы оба глупые...— говорила Виола, но оба офицера уже поставили ногу в стремя.

Этой минуты Козимо дождался давно, предвкушая, как он насладится своей хитроумной мстью: обоих соперников ждал крайне неприятный сюрприз. Но сейчас, увидев, как благородно повели себя оба, распрощавшись с коварной маркизой, Козимо сразу утерял к ним всю вражду. Но было слишком поздно! Теперь уже невозможно изъять ужасное орудие мести. В тот же миг Козимо великодушно решил их предупредить.

— Стойте!— крикнул он с дерева.— Не садитесь в седло!

Оба офицера тут же подняли головы.

— What are you doing up there? Что вы делаете там, наверху? Как вы смеете? Come down!²

Позади послышался легкий шелестящий смех Виолы.

Оба соперника пребывали в полнейшей растерянности. Значит, был еще третий, и он присутствовал при их объяснении. Положение осложнилось.

— In any way³,— воскликнули они,— мы остаемся заодно!

— Клянемся честью!

¹ Я всегда считал вас джентльменом (англ.).

² Спускайтесь! (англ.)

³ Во всяком случае (англ.).

— Ни один из нас не позволит делить любовь миледи с кем бы то ни было!

— Никогда в жизни!

— Но если вы все же согласитесь...

— И в этом случае только заодно. Мы согласимся лишь вместе.

— Хорошо! А теперь прочь отсюда!

При этих словах Козимо стал кусать палец, в бешенстве оттого, что готов был помешать свершению мести. «Так пусть же она свершится!» И он снова скрылся в листве. «Сейчас они закричат»,— подумал Козимо и зажал уши. И тут из двух глоток одновременно вырвался отчаянный вопль. Оба лейтенанта сели на ежей, спрятанных под попоной.

— Измена!— Оба скатились на землю, оглашая воздух криками, отчаянно извиваясь, готовые, казалось, броситься на маркизу.

Но донна Виола, разгневанная больше их, крикнула ввысь:

— Подлая, злая обезьяна!— И, подскочив к каштану, полезла по стволу, столь быстро исчезнув из поля зрения офицеров, что они решились, будто она сквозь землю провалилась.

Наверху, в ветвях, Виола встретила лицом к лицу с Козимо. Они смотрели друг на друга горящими глазами и в своем священном гневе были чисты, как неумолимые архангелы. Казалось, они вот-вот разорвут друг друга, как вдруг Виола воскликнула:

— О мой дорогой! Ты такой, каким я хочу тебя видеть,— ревнивый, беспощадный.

Она обвила его шею руками, и Козимо позабыл обо всем на свете. Но вот она выскользнула из его объятий, слегка откинула голову и задумчиво проговорила:

— Но ты видел, как они меня любят? Они уже готовы делить меня между собой.

Казалось, еще миг, и Козимо бросится на Виолу, но вместо этого он залез по веткам еще выше, стал кусать листья, биться головой о ствол.

— Они оба черви-и-и!..

Виола отпрянула от него, лицо у нее стало каменным.

— Тебе многому надо у них поучиться.

Она повернулась и поспешно спустилась с дерева.

Двум соперникам не оставалось ничего другого, как, забыв о недавней схватке, терпеливо вытаскивать друг у друга острые иглы. Донна Виола прервала их занятие:

— Садитесь в мою карету, живо!

Они скрылись за беседкой. Карета тронулась и вскоре исчезла вдаль. Козимо на конском каштане закрыл лицо руками.

Для Козимо и для двух недавних соперников началось время жестоких мучений. Впрочем, вряд ли и Виоле было особенно весело. Я думаю, что маркиза мучила других лишь для того, чтобы помучить себя. Двое неразлучных офицеров неотступно

следовали за ней, появлялись вдвоем то у нее под окнами, то, по ее приглашению, в гостиной, то коротали время в остерии в бесконечном томительном ожидании. Виола обольщала сразу обоих, требуя от них новых и новых доказательств любви, и соперники неизменно изъявляли готовность выполнить все ее требования и даже согласны были уже делить ее не только между собой, но и с другими; скатываясь все ниже по наклонной плоскости уступок, они уже не могли остановиться: движимые желанием растрогать ее повиновением и заставить наконец сдержать свои обещания, в то же время связанные с соперником словом чести, снедаемые ревностью и ослепленные надеждой одолеть врага, они были уже неспособны противостоять тайному зову трясины, в которую погружались все глубже.

После каждого нового обещания, вырванного у лейтенантов, Виола садилась на коня и мчалась к Козимо.

— Знай же, англичанин согласен на то-то и то-то... И неаполитанец тоже,—бросала она, едва завидев Козимо, с мрачным видом сидевшего на суку.

Козимо ничего не отвечал.

— Это и есть безграничная любовь,—не унималась она.

— Безграничное свинство!—кричал в ответ Козимо и исчезал в листве.

Такова была теперь их любовь, и они не находили выхода из этой взаимной жестокой пытки.

Английский флагманский корабль должен был сняться с якоря.

— Вы, конечно, останетесь!—сказала Виола сэру Осберту.

Сэр Осберт не явился на корабль и был объявлен дезертиром. Из солидарности и духа соперничества дон Сальваторе тоже дезертировал.

— Они оба стали дезертирами!—объявила победоносно Виола моему брату.—Из-за меня! А ты...

— А я?..—закричал Козимо и пронзил Виолу столь гневным взглядом, что она не произнесла больше ни слова.

Сэр Осберт и Сальваторе ди Сан-Катальдо—дезертиры военно-морских флотов двух монархов—проводили время в остерии, играя в кости, бледные, беспокойные, стараясь обратить друг друга до нитки, а Виола дошла до предела недовольства собой и всем, что ее окружало.

Однажды она вскочила на коня и поскакала в лес. Козимо сидел на дубе. Она остановилась внизу, на лужайке.

— Я устала.

— От них?

— От всех вас.

— Ах так!

— Они дали мне высшее доказательство своей любви.

Козимо сплюнул.

— Но этого мне недостаточно.

Козимо взглянул на нее. А она продолжала:

— Ты не веришь, что любовь — это беспредельное самопожертвование, отказ от самого себя...

Там, на лужайке, она была прекрасна, как никогда, и достаточно было одного жеста, чтобы стерлось холодное выражение ее лица, исчезла гордая неприступность в осанке и она вновь очутилась в его объятиях...

Козимо мог сказать ей любые ласковые слова, ну хотя бы:

— Скажи мне, что я должен сделать для тебя, я готов...— И для него, для них обоих наступила бы пора безоблачного счастья.

Но он ответил:

— Любви не может быть, если не стремиться изо всех сил остаться самим собой.

Виола досадливо и устало махнула рукой. И все же она могла понять его, да, собственно, и понимала в глубине души, и у нее даже готовы были сорваться с губ слова: «Ты такой, каким я хочу тебя видеть», ее подмывало подняться к нему...

Она закусила губу. Сказала:

— Оставайся же самим собой один.

«Но тогда бессмысленно быть самим собой»,— хотел ответить Козимо. Вместо этого он процедил:

— Если ты предпочитаешь этих двух червей...

— Я не позволю тебе оскорблять моих друзей!— вскричала она, а сама думала: «Ты один мне нужен, лишь для тебя я делаю все эти глупости!»

— Значит, только меня можно...

— Я презираю твой образ мыслей!..

— Я неотделим от него.

— Тогда прощай. Сегодня же вечером уезжаю. Ты меня больше не увидишь.

Она помчалась на виллу, собрала вещи и уехала, не сказав лейтенантам ни звука. Она сдержала слово. Больше в Омброзу она не вернулась. Она отправилась во Францию, а потом исторические события пресекли дорогу ее желаниям, когда она ни о чем другом не помышляла, как только о возвращении. Вспыхнула революция, потом война; маркиза, вначале заинтересованная новым ходом событий (она была в окружении Лафайета), эмигрировала в Бельгию, а оттуда в Англию. В лондонском тумане, во время долгих лет войны с Наполеоном, она грезилась о деревьях Омброзы. Позже она вышла замуж за лорда, владевшего акциями Ост-Индской компании, и поселилась в Калькутте. Со своей веранды она смотрела на лес, на деревья, еще более причудливые, чем в саду ее детства, и ей все время казалось, что вот-вот, раздвигая листву, появится Козимо. Но то была тень обезьяны или ягуара.

Сэр Осберт Каслфайт и Сальваторе ди Сан Каталдьо остались связаны друг с другом на веки вечные и сделались заправскими авантюристами. Их видели в игорных домах Венеции, в Гёттинген-

не—на богословском факультете, в Петербурге—при дворе Екатерины II, а затем их следы затерялись.

Козимо долго бродил в лохмотьях по деревьям, рыдая и откашываясь от еды. Он рыдал громко, словно грудной ребенок, и птицы, которые прежде стаями удирали прочь при одном приближении этого не знавшего промаха охотника, теперь подлетали к нему совсем близко, садились на вершины соседних деревьев или кружили над его головой; печально чирикали воробьи, верещали щеглы, ворковала горлинка, заливался трелями дрозд, щебетали зяблики и крапивники; из дупел и нор вылезали белки, совы, полевые мыши и присоединяли свой писк к жалобному хору; и мой брат шел, окутанный облаком звериных и птичьих причитаний.

Потом на смену печали пришла жажда разрушения: каждое дерево брат мгновенно превращал в голый остов, обрывал листок за листком, начиная с верхушки, даже если густая листва была почти непроницаемой. Затем брат снова взбирался на вершину и начинал ломать все тонкие ветки, щадя лишь самые большие и крепкие, снова поднимался на самый верх и перочинным ножиком принимался срезать кору; обнаженные белесые стволы имели ужасающий вид, словно живые существа, с которых содрали кожу.

Но во всем этом неистовстве не было больше гнева против Виолы, а лишь глубокая обида на себя за то, что он ее потерял, не смог удержать и глубоко ранил своей несправедливой, глупой гордостью! Теперь он понял, что Виола оставалась ему верна, и если она позволяла волочиться за собой двум лейтенантам, то лишь желая показать, что только Козимо достоин быть ее возлюбленным, и все ее причуды и вспышки гнева объяснялись лишь неистовым желанием сделать их любовь еще сильнее, чтобы она никогда не знала границ. А он... ничего не понял и озлобил свою любимую до того, что в конце концов потерял навсегда.

Несколько недель Козимо провел в лесу, одинокий, как никогда, ибо с ним не было даже Оттимо-Массимо, которого Виола, уезжая, забрала с собой. Когда брат вновь появился в Омброзе, все увидели, как сильно он изменился. Даже я не мог больше тешить себя иллюзиями: на этот раз Козимо окончательно сошел с ума.

XXIV

В Омброзе давно судачили, что Козимо не в себе, с того самого дня, когда он двенадцатилетним мальчиком взобрался на дерево и отказался оттуда слезть. Но впоследствии, как это часто случается, все примирились с его безумием, и не только с этой его манией жить на деревьях, но и со многими другими странностями в его характере и почитали моего брата всего лишь

чудаком. В самый разгар их любви с Виолой все слышали его странные выкрики на непонятных языках; особенно дико он вел себя на празднике покровителя Омброзы, и большинство жителей нашли его тогдашнее поведение просто кощунственным, а его слова о Венере, произнесенные, скорее всего, на карфагенском языке, а может, на языке пелагианцев,—еретическими. С тех пор пошли разговоры, будто барон сошел с ума, на что более благообразные горожане неизменно отвечали:

— Как мог сойти с ума тот, кто всегда был безумен?

А пока омброзцы судили да рядили, Козимо и в самом деле тронулся. Если прежде он ходил в меховой шапке, то теперь, словно индейцы Америки, стал украшать голову яркими перьями удода и зеленого вьюрка, и даже одежда его была утыкана перьями. В конце концов он сшил себе фрак, сплошь изукрашенные перьями, и стал подражать привычкам разных птиц, к примеру дятла, извлекая из коры червячков и личинок и хвастая ими, словно огромным богатством.

Он произносил также хвалебные речи птицам, обращаясь к жителям Омброзы, собравшимся под деревьями, чтобы послушать его и посмеяться над ним. Из охотника он превратился в защитника пернатых, объявлял себя то дроздом, то филином, то реполовом, нацепляя на одежду их перья, и громогласно клеймил весь род людской за неспособность разглядеть в птицах своих истинных друзей—этими своими притчами он бросал обвинения всему обществу. Птицы тоже заметили, как изменился его образ мыслей, и подлетали к нему совсем близко, не обращая внимания на собравшихся внизу людей. Так что брат мог подкреплять свою речь живыми примерами, показывая на сидевших поблизости птиц.

Благодаря этой его близости к миру пернатых охотники Омброзы не раз собирались использовать Козимо как приманку, но никто не осмелился стрелять в птиц, садившихся рядом с ним, ибо барон и теперь, окончательно свихнувшись, внушал к себе известное почтение. Над ним, правда, насмехались, и частенько шайка озорников и бездельников передразнивала его, но все же брата уважали и обычно слушали с вниманием.

Его деревья украшали теперь исписанные листы и целые тетради с изречениями Сенеки и Шефтсбери, а также развешанные в определенном порядке пучки перьев, церковные свечи, серпы, венки, дамские корсеты, оружие, весы. Жители Омброзы часами пытались разгадать тайный смысл этих ребусов: намек ли то на дворянство, папу, войну, на доблесть. А по-моему, эти предметы вообще не имели никакого скрытого смысла и служили Козимо лишь упражнением для ума и доказательством, что даже сумасбродные идеи могут быть правильными.

А еще брат стал сочинять поэмы под названиями вроде «Песня дрозда», «Стучащий дятел», «Диалоги филинов» и распространять их среди публики. Именно в этот период своего безумия он

овладел искусством книгопечатания и начал публиковать своего рода брошюры и газеты (среди них «Кукушкин курьер»), которые потом объединил в один орган под названием «Монитор двуногих».

Он раздобыл и поднял на ореховое дерево станок, раму, пресс, наборную кассу, бочку типографской краски и теперь целыми днями набирал и печатал свои произведения. Иной раз между рамой и бумагой попадали пауки, бабочки, и их отпечаток оставался на странице, иногда соня прыгала на еще не просохший лист и ударами хвоста размазывала краску, нередко белки утаскивали в свое дупло букву алфавита, думая, что она съедобная, как это случилось с буквой «Q», которую пушистые зверьки из-за ее закругленной, слегка продолговатой формы и хвостика принимали за ягоду.

Все это было бы очень мило, но у меня в то время сложилось впечатление, что брат не только помешался в уме, но и поглупел: это намного страшнее и печальнее, ибо если безумие в любых своих проявлениях есть следствие переизбытка природных сил, то глупость — проявление ничем не восполнимой слабости природы.

Зимой Козимо погрузился в своего рода спячку. Он висел на дереве в своем меховом мешке, высунув наружу голову, словно птенец из гнезда, и если в не слишком холодные дни отправлялся прямоком к речушке Поганке, чтобы справиться нужду, то это было почти подвигом с его стороны. Обычно он лежал в мешке, почитывая книгу, для чего вечером зажигал масляный светильник, или же бормотал что-то себе под нос, а иногда тихонько напевал. Но большую часть времени он спал.

Для утоления голода у него были свои припрятанные запасы, но он не отказывался от тарелки супа или пельменей, когда какая-нибудь добрая душа, приставив лестницу, подавала их ему прямо наверх. У бедного люда стало своего рода приметой: если угостить чем-то барона, это приносит счастье (верный признак того, что он по-прежнему внушал то ли страх, то ли симпатию — думаю, что, скорее, второе). То, что барон ди Рондо кормится подаваниями чужих людей, казалось мне крайне неприятным, а главное, я подумал, как было бы горестно узнать об этом нашему покойному отцу. Я сам до сих пор ни в чем не мог себя упрекнуть: брат всегда презирал домашний уют и подписал бумагу, согласно которой, кроме небольшой ренты, уходившей у Козимо почти целиком на книги, я ничем ему не был обязан. Но теперь, видя, что он не способен добывать себе еду, я на свой риск послал к нему по приставной лестнице одного из наших слуг в ливрее и белом парике с индюшачьей ножкой и бутылкой бургундского на медном подносе. Я полагал, что брат откажется во имя какого-нибудь таинственного принципа, но он сразу охотно все принял, и с того дня мы почти никогда не забывали послать ему на дерево его долю обеда.

Словом, это было глубокое падение. К счастью, случилось нашествие волков, и Козимо вновь проявил лучшие свои качества. Та зима была суровой, и снег выпал даже в наших лесах. Стаи волков, которых голод согнал с гор, спустились в прибрежные долины. Несколько дровосеков видели их и разнесли ужасную весть повсюду. Омброзцы, со времени борьбы с лесными пожарами привыкшие объединяться в минуту опасности, стали ходить дозором вокруг города, чтобы не подпустить к Омброзе голодных и злобных хищников. Но никто не решался выйти дальше крайних домов, особенно ночью.

— Жаль, барон уже не тот, что прежде!— говорили омброзцы.

Эта на редкость холодная зима не могла не отразиться на здоровье Козимо. Он покачивался в своем меховом мешке, съездившись, словно гусеница в коконе, под носом у него застыли сосульки, а лицо посинело и распухло. Город жил в постоянной тревоге, ожидая нападения волков, и люди, проходя под деревом, подшучивали над братом:

— Эх, барон, барон, раньше ты стоял часовым на своих деревьях, охранял нас, а теперь мы тебя охраняем.

Козимо молчал, смежив веки, точно ничего не слышал или ко всему потерял интерес. Внезапно он поднял голову, шмыгнув носом и прохрипел:

— Овцы... Чтобы прогнать волков... Поднимите овец на деревья. И привяжите.

Внизу стали собираться люди— послушать, какую он еще ерунду выдумает, и поиздеваться над ним. Но он, отдуваясь и отплевываясь, вылез из мешка и сказал:

— Я сам покажу где,— и пошел по ветвям.

Козимо выбрал несколько ореховых деревьев и дубов, росших между лесом и полями, велел поднять туда овец и ягнят и сам привязал живых, отчаянно блеявших животных к ветвям, так, чтобы они не могли упасть на землю. На каждом дереве он спрятал заряженное пулей ружье. Сам он тоже нарядился в овчины: плащ с капюшоном, куртка и штаны— все было из свежесодранных овечьих шкур. И стал ждать под открытым небом на одном из дубов наступления ночи. Все посчитали это одним из самых больших его безумств.

Ночью нагрянули волки. Учув овечий запах, услышав блянье и увидев наверху животных, вся стая останавливалась у дерева и начинала выть, разевая голодные пасти и царапая когтями ствол. Тут, прыгая по ветвям, подбирался Козимо, и волки при виде существа, похожего и на овцу и на человека, скакавшего, словно птица, не могли прийти в себя от изумления. Вдруг «бум-бум»— волки получали прямо в глотку две пули. Две, потому что одно ружье Козимо брал с собой и всякий раз его перезаряжал, а другое, заранее заряженное пулей, лежало наготове на каждом дереве. Так что на обледелой земле неизменно оставалось по два убитых волка. Таким образом Козимо уничто-

жил множество волков, и после каждого выстрела стая вслепую кидалась наутек, а прибегавшие на вой охотники добивали уцелевших. Об охоте на волков Козимо впоследствии повествовал по-разному, и я затрудняюсь сказать, какая из этих версий истинная. К примеру, он рассказывал так:

— Битва складывалась как нельзя лучше. Подкравшись к дереву, где была привязана последняя овца, я увидел на нем трех волков, они сумели взобраться по ветвям и уже приканчивали бедное животное. Я почти совсем оглох и ослеп от простуды и не замечал волков, пока не столкнулся с ними нос к носу. Волки увидели еще одну овцу, шагавшую на двух ногах по ветвям, и оцерили свои красные от крови пасти. Ружье мое было не заряжено, потому что от такой пальбы у меня весь порох вышел. А до ружья, спрятанного на дереве, я не мог добраться, потому что дорогу мне преграждали волки. Я стоял на крайней ветке, довольно тонкой, а прямо надо мной рос большой толстый сук. Я попятился назад, медленно отступая от ствола. Один из волков осторожно пополз за мной. Держась руками за крепкий сук, я притворился, будто переступаю ногами по тонкой ветке, на самом деле я висел на суку. Обманутый этим, волк решил пойти дальше; ветка под ним обломилась, а я одним прыжком перескочил на верхний сук. Волк взвизгнул по-собачьи, свалился на землю, сломав себе шею, да так и остался лежать.

— А два других волка?

— Два других внимательно глядели на меня, не двигаясь с места. Тогда я с быстротой молнии скинул свою овчинную куртку с капюшоном и бросил в них. Один из волков, увидев, что на него летит белая тень ягненка, попытался схватить ее зубами, но хищник приготовился удерживать изрядную тяжесть, а это была лишь легонькая овчина, он потерял равновесие, грохнулся оземь и тоже сломал себе шею.

— Значит, остался еще один...

— Да, оставался еще один, но, когда я скинул куртку, на меня от холода напал такой чих, что небо затряслось. Волк от испуга и неожиданности подскочил, свалился с ветки и тоже, как другие, сломал себе шею.

Так брат рассказывал о своей ночной битве. Одно было несомненно: для него, уже и до того не совсем здорового, простуда едва не оказалась роковой. Семь дней он находился между жизнью и смертью, и община Омброзы в знак благодарности лечила его за свой счет. Он лежал в гамаке, а к нему по приставным лестницам один за другим подымались врачи. Лучшие лекари округа были приглашены на консилиум: кто назначал ему клистир, кто кровопускание, кто горчичники, а кто припарки.

Никто больше не называл барона ди Рондо безумцем, а все говорили о нем как об одном из величайших гениев и феноменов века. Но лишь до тех пор, пока он болел. Когда он выздоровел, одни продолжали говорить, что он мудр, другие — что он так же

безумен, как всегда. Так или иначе, но прежних странных выходов он уже не совершал. Он продолжал печатать еженедельный журнал, который назывался теперь не «Монитор двуногих», но «Разумное позвоночное».

XXV

Я не знаю, когда в Омброзе была основана ложа вольных каменщиков; я стал масоном много позже, после первого похода Наполеона, вместе с большей частью состоятельных горожан и мелких дворян нашего края, и поэтому не могу сказать, каковы были вначале отношения брата с ложей.

В этой связи расскажу об одном случае примерно тех времен — истинность его подтверждается многими свидетельствами. Однажды в Омброзу прибыли двое заезжих испанцев. Они направились к дому некоего Бартоломео Каваньи, булочника, убежденного франкмасона. Кажется, они назвались братьями из Мадридской ложи, и тогда булочник отвел их вечером на тайное собрание масонов Омброзы, которые сходились при свете факелов и свечей на лесной просеке. Все это известно лишь по слухам и предположениям; но я знаю точно, что на следующий день за обоими испанцами, едва они вышли из гостиницы, последовал Козимо, незаметно наблюдавший за ними с деревьев.

Двое путешественников вошли во двор пригородной остерии. Козимо притаился рядом на падубе. За столом уже сидел посетитель, явно поджидавший испанцев; лицо его, затененное черной широкополой шляпой, невозможно было разглядеть. Три головы, вернее, три черные шляпы склонились над белым квадратом скатерти, и после короткого разговора руки незнакомца стали что-то писать на узком листке бумаги, под диктовку тех двух, и, судя по тому, что он располагал слова столбцом, это был список имен.

— Добрый день, господа! — сказал Козимо.

Три шляпы приподнялись, и три пары изумленных глаз ошеломленно уставились на человека, оседлавшего ветку падуба. Один из трех — тот, что был в шляпе с широкими полями, — тут же снова наклонил голову, да так низко, что буквально коснулся стола кончиком носа. Однако брат успел разглядеть лицо приезжего, которое показалось ему знакомым.

— ¡Buenos días a usted! — отозвались двое испанцев. — У вас что, принято представляться иностранцам, спустившись с неба, словно голубь? Надеемся, вы немедля слезете и объясните нам свое поведение!

— Тот, кто сидит наверху, виден со всех сторон, — ответил Козимо, — а бывают такие, что готовы ползти по земле, лишь бы скрыть свое лицо.

— Знайте же, синьор, каждый из нас обязан показывать вам

свое лицо ничуть не больше, чем свой зад.

— Я знаю лишь, что есть люди, которые занимаются столь почетным ремеслом, что предпочитают прятать свое лицо.

— Соблаговолите сказать, каким ремеслом?

— К примеру, ремеслом шпиона!

Двое испанцев вздрогнули. Тот, что склонился над столом, даже не пошевелился, но Козимо впервые услышал его голос.

— Или же члена тайного общества,—отчеканил он.

Этот намек можно было истолковать по-разному.

Козимо так его и понял и громко ответил:

— Этот намек, синьор, можно истолковать по-разному. Вы говорите о «членах тайного общества», подразумевая, что к тайному обществу принадлежу я, или же что принадлежите вы, или принадлежим мы оба, либо не принадлежим ни вы, ни я, но другие. Как бы то ни было, ваши слова, очевидно, имеют целью выяснить мои намерения...

— ¿Сомо, сомо? ¹ — переспросил человек в широкополой шляпе и, в растерянности позабыв, что должен прятать лицо, приподнял голову и посмотрел Козимо в глаза.

Брат узнал его: это был иезуит дон Сульписио, его враг еще с тех времен, когда он жил в Оливабассе.

— Ага, я не ошибся! Хватит притворяться, достопочтенный падре!—воскликнул барон.

— Вы! Я так и знал!—ответил испанец, снял шляпу и поклонился, обнажив тонзуру.—Дон Сульписио де Гуадалете, superior de la Compañía de Jesus ².

— Козимо ди Рондо, вольный каменщик, принятый в братство!

Двое других испанцев тоже представились с легким поклоном:

— Дон Калисто!

— Дон Фульхенсио!

— Вы тоже иезуиты?

— ¡Nosotros también! ³

— Разве ваш орден не был недавно распущен по приказу папы?

— Но не для того, чтобы оставить в покое подобных вам еретиков и вольнодумцев,—сказал дон Сульписио, обнажая шпагу.

Это были испанские иезуиты, которые после роспуска их ордена предприняли новый поход, пытаясь повсюду создать вооруженное ополчение, чтобы бороться с новыми идеями и теизмом. Козимо тоже взялся за шпагу. Вокруг собралось много народу.

— Соблаговолите сойти вниз, если вы хотите сразиться со мной caballerosamente ⁴!—воскликнул дон Сульписио.

¹ Как-как? (исп.)

² Высокий чин иезуитского ордена (исп.).

³ Да, мы тоже! (исп.)

⁴ Как подобает дворянину! (исп.)

Чуть поодаль начиналась роща ореховых деревьев. Было время сбора плодов, и крестьяне развесили между деревьями полотнища, чтобы собирать в них сбитые палкой орехи. Козимо добежал до одного из деревьев, прыгнул на полотно и сразу же выпрямился, напружинив ноги, скользившие по гладкой ткани этого своеобразного огромного гамака.

— Поднимитесь немного вы, дон Сульписио, потому что я и так спустился ниже, чем это в моих правилах!—И обнажил шпагу.

Иезуит вскочил на туго натянутое полотнище. Ткань все время проваливалась под их тяжестью, грозя заключить дуэлянтов в мешок; обоим трудно было удерживать равновесие, но их ненависть была столь велика, что противникам удалось скрестить шпаги.

— Во славу Всевышнего!

— Во славу Великого творца Вселенной!

Они обменялись первыми ударами.

— Раньше чем моя шпага вонзится вам в брюхо, поведайте мне о судьбе сеньориты Урсулы,—сказал Козимо.

— Она умерла в монастыре.

Козимо это известие явно привело в замешательство, хотя думаю, что дон Сульписио все выдумал; бывший иезуит воспользовался минутной растерянностью Козимо, чтобы нанести вероломный удар. Сделав ложный выпад, он разрубил узел, которым полотнище было привязано к ветвям на стороне Козимо. Брат наверняка свалился бы на землю, если бы одним стремительным прыжком не перескочил на другую сторону и не уцепился за край полотнища. Когда он прыгнул, его шпага, несмотря на ряд парирующих маневров дона Сульписио, вонзилась врагу прямо в живот. Дон Сульписио выронил из рук оружие, согнулся, соскользнул вниз по обвисшей простыне и свалился на землю там, где сам перерезал веревку. Козимо мгновенно вскарабкался на дерево.

Два других бывших иезуита, подхватив тело своего раненого или убитого (это так и осталось неизвестным) собрата, умчались прочь и больше у нас не показывались.

Вокруг окровавленной простыни столпились люди. С того дня мой брат повсюду прослыл франкмасоном.

Таинственность, окутывавшая деятельность братства, не позволила мне узнать больше. Когда я, как уже упоминал, тоже вступил в тайное сообщество, то о Козимо говорили как о давнем масоне, отношения которого с ложей были, правда, не совсем ясны: одни называли его «нерадивым братом», другие — еретиком, принявшим иной обряд, третьи даже отступником, но все неизменно с глубоким уважением вспоминали о его прежней деятельности. Не исключено даже, что именно он был легендарный мастер

Дятел-каменщик, которому приписывали основание ложи «Восток Омброзы»; к тому же описание изначально принятого этой ложей ритуала говорит о явном влиянии брата — достаточно сказать, что неوفитам завязывали глаза, поднимали на вершину дерева и оттуда спускали на веревках.

Первые собрания франкмасонов происходили у нас ночью в лесу. Так что участие в них Козимо было более чем оправданно, независимо от того, он ли получил от своих заграничных корреспондентов издания с масонскими уставами и основал в Омброзе ложу, или же кто-то иной, приняв посвящение во Франции либо в Англии, ввел масонские обряды у нас. Не исключено, что масонская ложа существовала в Омброзе уже давно, но Козимо о ней не знал, пока однажды ночью, бродя по лесу, не увидел на освещенной факелами просеке сборище людей в странных одеждах, державших в руках какие-то странные орудия, и не остановился послушать; не утерпев, он, видимо, вмешался, посеяв всеобщую растерянность одним из своих неожиданных афоризмов, к примеру таким: «Коль ты воздвигаешь стену, подумай о том, что останется снаружи». Эту фразу я слышал от него не раз, как и другие. Столь же загадочные, и масоны, признав его высокую ученость, приняли брата в ложу, возложив на него особые поручения и введя, по его предложению, целый ряд новых обрядов и символов.

Как бы то ни было, все время, пока мой брат был связан с масонской ложей под открытым небом (называю ее так, чтобы отличить от ложи, собиравшейся впоследствии в одном из домов), набор ритуальных предметов был весьма богат и включал в себя телескопы, сов, сосновые шишки, гидравлические насосы, грибы, картезианских водолазов, паутину, Пифагоровы таблицы. В большом количестве были представлены и черепа, причем не только человеческие, но и коровьи, волчьи, орлиные. Сюда же входили и лопатки каменщика, ватерпасы и компасы, составлявшие неотъемлемую часть обычной масонской литургии. Все это в те времена можно было видеть на ветвях в самых причудливых сочетаниях и приписывалось безумию брата. Лишь немногие намекали, что теперь эти ребусы имели куда более серьезный смысл; Впрочем, так и не удалось провести четкую грань между прежними и новыми наборами предметов, и нельзя было с уверенностью утверждать, что с самого начала это не были сокровенные знаки какого-нибудь тайного общества.

Ведь Козимо еще задолго до возникновения в Омброзе масонской ложи входил в состав множества ремесленных объединений или братств, как, например, братства св. Криспина, созданного сапожниками, или союзов «Добродетельных бочаров», «Праведных оружейников», «Совестливых шапочников». Изготавливая все необходимое своими руками, брат знал самые различные ремесла и мог гордиться принадлежностью к многим корпорациям, которые были только рады случаю принять в свои ряды

отпрыска столь знатного семейства, человека столь необычного таланта и испытанного бескорыстия.

Каким образом неизменное стремление Козимо жить в людском содружестве сочеталось в нем с постоянным желанием отдалиться от общества—осталось для меня загадкой. Это была одна из главных его странностей. Я бы сказал, что чем непреклоннее была его решимость не покидать своего убежища в чаще ветвей, тем сильнее ощущал он потребность во все новых связях с людьми.

Хотя время от времени он со всем рвением и пылом принимался за создание нового братства, тщательно вырабатывая его устав, цели, отбирая людей наиболее способных к тому или другому делу, собратья Козимо никогда не знали, до каких пределов они могут рассчитывать на него, где они смогут его встретить и когда он, внезапно повинувшись инстинкту вольной птицы, вновь станет неуловим. Если попытаться свести к единой причине эти противоречивые порывы, то можно предположить, что Козимо одинаково не принимал ни одной из существовавших тогда форм человеческого общежития и потому избегал их и упорно пытался создать новые; но ни одну из них он не считал достаточно справедливой и отличной от прежних, чем и объясняются его постоянные возвращения к лесному одиночеству.

Его влекли мечты о всемирном братстве. Всякий раз, когда он старался объединить людей—будь то дружины, созданные с определенной целью, скажем для борьбы с лесными пожарами или с волками, будь то ремесленные корпорации вроде «Искусных точильщиков» или же «Просвещенных дубильщиков кож»,—ему всегда удавалось собрать своих соратников ночью в лесу, вокруг дерева, с которого он держал речь, и в этой обстановке, где царил заговорщический, сектантский, еретический дух, разговор очень быстро и легко от частностей переходил к общим вопросам и от обычных правил ремесла—к проекту установления Всемирной республики свободных, равноправных и справедливых граждан.

Поэтому в масонской ложе Козимо лишь повторял то, что говорил и делал в других тайных или полутайных обществах, в которые он входил. Некий лорд Ливерпук, посланный Великой ложей Лондона посетить братьев на континенте, попал в Омброзу, когда Мастером ложи был мой брат; его недостаточная ортодоксальность так шокировала лорда, что он написал в британскую столицу, будто ложа Омброзы—это новое масонское общество шотландского толка, созданное на деньги Стюартов, с целью их реставрации и свержения Ганноверской династии. После этого произошел описанный мною случай, когда двое заезжих испанцев представились как масоны булочнику Бартоломео Каванье. Приглашенные на собрание масонской ложи, они нашли, что ритуал соблюдается так же неукоснительно, как в ложе «Восток Мадрида». Это-то и вызвало подозрения Козимо, который отлично знал, что большая часть ритуала придумана им самим: он стал следить

за лазутчиками, разоблачил их и восторжествовал над своим старым врагом, доном Сульписио.

Думаю, впрочем, что эти изменения в ритуале были отчасти вынужденными, потому что Козимо, понятно, мог использовать в качестве символов орудия любого ремесла, кроме ремесла каменщиков, ибо сам он никогда не хотел ни жить в каменных домах, ни строить их.

XXVI

Омброза была также краем виноградников. Я не имел случая об этом упомянуть, потому что, не покидая Козимо, поневоле говорил лишь о деревьях. Но по широким склонам холмов были разбросаны виноградники, и в августе под резными листьями протянувшихся рядами лоз розовые гроздья наливались винно-красным соком. На некоторых виноградниках лозы сплетались в длинный крытый коридор; я говорю об этом, потому что, состарившись, Козимо стал таким маленьким и легким и так хорошо овладел искусством ступать едва ли не по воздуху, что планки, поддерживавшие лозы, не ломались под ним. Таким образом, он мог ходить и по виноградникам, то держась за шесты, то перелезая на росшие вдоль межей фруктовые деревья, и это позволяло ему участвовать в работах виноградарей: зимой подрезать голые лозы, тонкой плетью обвивающие проволоку, летом прореживать слишком густую листву и отыскивать вредных насекомых, а в сентябре собирать спелые гроздья.

Во время сбора винограда все омброзцы на целый день уходили на виноградники, и среди зеленых шпалер всюду виднелись яркие юбки да береты с кисточкой. Погонщики мулов водружали на спины животных корзины, полные винограда, а затем опоражничали их в чаны. Часть урожая шла сборщикам налогов, которые прибывали с целыми отрядами сбиров взимать десятину в пользу местных дворян, правительства Генуэзской республики, духовенства. Каждый год из-за этого случались стычки.

Необходимость отдавать большую часть урожая была едва ли не главной причиной многочисленных протестов; их заносили в «тетрадь жалоб», появившуюся после того, как во Франции началась революция. Подобные тетради завели и в Омброзе, так, ради пробы, потому что толку от них здесь не было никакого. Идея принадлежала Козимо, которому в то время уже незачем было ходить на собрания логи и спорить с местными выпивохами-масонами. Он проводил целые дни на деревьях площади, а внизу собирались моряки и крестьяне, брат растолковывал им последние новости, потому что он получал по почте газеты, и к тому же у него было много друзей, с которыми он состоял в переписке, и среди них астроном Балли, ставший потом мэром Парижа, и

другие члены революционных клубов. Новости приходили поминутно: Неккер, Клятва в зале для игры в мяч, Бастилия, Лафайет на белом коне, король Людовик, переодевшийся лакеем.

Козимо все объяснял и разыгрывал в лицах, прыгая с ветки на ветку; на одной он изображал Мирабо на трибуне, на другой — Марата среди якобинцев, на третьей — короля Людовика в Версале, напялившего красный колпак, чтобы задобрить кумушек, пешком пришедших из Парижа.

Объяснив, что такое «тетрадь жалоб», Козимо прибавил:

— Давайте попробуем завести ее у нас.

Он взял школьную тетрадь и подвесил ее на бечевке к дереву; каждый подходил к нему и охотно записывал свои претензии и обиды. Обиды были самые разные: рыбаки жаловались на низкие цены на рыбу, виноградари — на проклятую десятину, пастухи — на размежевание выгонов; жаловались лесорубы, предъявляя права на общинные леса, жаловались те, у кого были родственники на каторге, те, кого за разные проступки высекли кнутом, те, на чьих жен и дочерей посягали дворяне, — словом, обидам не было конца. Козимо подумал, что, хоть это и «тетрадь жалоб», все же нехорошо, если в ней найдется место для одних только печалей, и ему пришло на ум предложить, чтобы каждый записал свое самое заветное желание. И снова все подходило к дереву и записывали в тетрадь каждый свое: кто хотел пшеничных лепешек, кто — тарелку супа, кто мечтал о блондинке, кто — о двух брюнетках, кому хотелось спать целыми днями, кому — круглый год собирать грибы, один хотел иметь карету, запряженную четверней, другой довольствовался одной козой, одни хотели вновь повидать умершую мать, другие — встретиться с богами Олимпа. Все, что есть на свете хорошего, было записано в этой тетради, а подчас нарисовано — потому что многие не знали грамоты, — иной раз даже красками.

Козимо же написал одно лишь имя «Виола» — имя, которое он уже многие годы вырезал на всех деревьях.

Тетрадь получилась очень интересной, и Козимо назвал ее «Тетрадь горестей и радостей». Но когда была заполнена последняя страница, не нашлось никакого высокого собрания, которому можно было бы ее вручить, и тетрадь осталась висеть на дереве, привязанная бечевкой. Пошли дожди, тетрадь постепенно набухла, чернила расплылись, и это грустное зрелище наполняло горечью сердца омброзцев, недовольных своей жалкой участью, и пробуждала в них жажду мятеха.

Одним словом, и у нас были налицо все причины, вызвавшие Французскую революцию. Но вот только жили мы не во Франции и революции у нас не было. Ведь мы живем в стране, где есть причины, но не бывает следствий.

Однако же и в Омброзе наступили тревожные времена. Совсем неподалеку республиканские войска сражались против королевских полков Австрии и Сардинии: Массена стоял в Коларденте,

Лагарп—на Нервии, Муре шел вдоль побережья. Наполеон был еще только генералом артиллерии, и канонаду, грохот которой ветер доносил подчас и в Омброзу, производили его пушки.

В сентябре начались приготовления к сбору винограда. Но казалось, что готовятся к какому-то таинственному и страшному делу. Из дома в дом полз шепоток:

— Виноград созрел!

— Созрел! Давно созрел!

— Как не созреть! Собирать пора!

— И давить!

— Все пойдем! Ты где будешь?

— На винограднике за мостом! А ты? А ты?

— На виноградниках графа Пиньи.

— А я на винограднике у мельницы.

— Видел, сколько сборов? Слетелись, как дрозды на гроздь.

— Ежели они дрозды, так мы все—охотники.

— В этом году им ни зернышка не склевать!

— А кое-кто в угол забился. Некоторые даже удирают.

— Не пойму, с чего в этом году многим не по душе сбор винограда?

— У нас даже хотели отложить. Да только виноград созрел!

— Созрел!

На следующий день сбор винограда начался в полном молчании. На виноградниках сплошной цепочкой вдоль шпалер стояли люди, но песен было не слышно. Раздавались лишь отдельные оклики да редкие возгласы:

— Все собрались? Виноград созрел!

Бесшумно двигались группы сборщиков винограда, и в воздухе веяло чем-то мрачным—возможно, еще и потому, что небо, хотя и не совсем затянутое облаками, все же хмурилось немного; и если чей-то голос затягивал песню, она тут же обрывалась, не подхваченная хором. Погонщики мулов отвозили полные корзины к чанам. Раньше первым делом сдавали часть урожая, причитавшуюся дворянам, епископу и правительству. В нынешнем году, казалось, все об этом позабыли.

Сборщики налогов, примчавшиеся взимать десятину, нервничали и не знали, как себя вести. Время шло, ничего особенного не происходило, но напряжение нарастало и нарастало. Сбиры все отчетливее понимали: надо действовать, но плохо представляли себе, что же предпринять.

Козимо, ступая мягко, словно кот, перебирался от одной шпалеры к другой. Держа в руках ножницы, он то там, то тут срезал виноградные гроздья, протягивал их сборщикам или сборщицам внизу и что-то говорил им вполголоса. Глава сборов больше не в силах был сдерживаться.

— Ну как, долго нам еще ждать десятины?—спросил он. И сразу же раскаялся в своих словах.

Над виноградниками пронесся глухой звук—не то вой, не то

свист: это один из сборщиков подул в огромную витую раковину — подобие трубы, — и по долинам разнесся сигнал тревоги. Со всех холмов ему ответили те же тревожные звуки, виноградари вскинули раковины, словно горны, а с высоты им вторил Козимо.

Из-за виноградных шпалер взметнулась песня, вначале такая прерывистая, нестройная, что нельзя было даже понять мотив. Но потом певцы подладились друг к другу, нашли верный тон, и голоса слились в один могучий хор: песня неслась над виноградниками, и вместе с нею, казалось, мчались бегом мужчины и женщины, стоявшие неподвижно, полускрытые шпалерами, мчались подпорки и лозы, сам собой шел сбор, гроздь прыгали в корзины, а из них — в чаны, сам собой выдавливался сок, а воздух, солнце, облака — все превратилось в густое пахучее сусло, и уже можно было разобрать сначала мотив, а затем и слова песни, ритмичное: «*Ça ira! Ça ira!*» Молодые парни давили виноград красными босыми ногами: «*Ça ira!*» Девушки вонзали острия ножиц, словно кинжалы, в густую зелень, рая искривленные черенки кистей: «*Ça ira!*» Мошкара плотным облаком повисла над горами оципаных гроздьев, готовых прессов: «*Ça ira!*» Сбиры опомнились и заорали:

— Молчать! Хватит! Прекратить галдеж! Кто будет петь, застрелим! — И давай палить в воздух.

Им ответил столь мощный ружейный залп, что, казалось, целые полки выстроились на холмах, готовые вступить в бой. Стреляли все охотничьи ружья Омброзы, и Козимо с вершины фигового дерева дул в огромную раковину, подавая сигнал. Виноградники наполнились движением. Уже нельзя было понять — сбор ли это винограда или схватка: мужчины, гроздь, женщины, лозы, садовые ножи, виноградные листья, подпорки, ружья, корзины, кони, проволока, удары кулаком, брыкающиеся мулы, ноги, груди — все смешалось, и над всем этим звучало могучее: «*Ça ira!*»

— Вот вам десятина!

Кончилась схватка тем, что сбиров и сборщиков налогов головой окунули в чаны, полные винограда. Выбрались они оттуда совершенно ошалевшие, измазанные с ног до головы виноградным соком, заляпанные раздвоенными виноградинами, выжимками, ветками, которые пристали к ружьям, патронташам, усам... Словом, пришлось сбирам уйти с пустыми руками.

Сбор винограда продолжался, словно праздник, ибо все были уверены, что покончили с феодальными привилегиями. Мы же, крупные и мелкие дворяне, забаррикадировались в своих дворцах, вооруженные и готовые дорого продать свою жизнь. Я, по правде говоря, ограничился тем, что не высовывался за порог, главным образом для того, чтобы другие дворяне не обвинили меня в сговоре с этим антихристом, моим братом, который слыл главным подстрекателем, якобинцем и заговорщиком в нашей округе. Но в тот день, прогнав сборщиков и сбиров, крестьяне никого даже

пальцем не тронули. Все они были по горло заняты подготовкой к празднику. В подражание французским обычаям было воздвигнуто и дерево свободы; только омброзцы не знали толком, что это такое, да к тому же у нас росло столько деревьев, что незачем было сооружать искусственное. Поэтому они украсили настоящее дерево, высокий вяз, цветами, виноградными кистями, гирляндами и надписями.

На самой верхушке стоял мой брат с трехцветной кокардой на меховой шапке и произносил речь о Руссо и Вольтере, но не было слышно ни одного его слова, потому что под деревом все, взявшись за руки, громко распевали «Vive la Grande Nation!»¹. Веселье длилось недолго. В Омброзу прибыли крупные воинские силы: генуэзцев — для обеспечения нейтралитета округа и взимания десятины, австрийцев и сардинцев — из-за того, что распространился слух, будто якобинцы Омброзы намерены объявить о своем присоединении «к великой нации человечества», иначе говоря, к Французской республике. Восставшие пытались сопротивляться, построили несколько баррикад, закрыли ворота города...

Но этого, понятно, было недостаточно! Войска ворвались в город с разных сторон, поставили дозоры на всех проселочных дорогах, а все омброзцы, известные им по донесениям как главные зачинщики, были арестованы, за исключением Козимо — его поймать было невысказано — да еще нескольких его помощников.

Суд над заговорщиками был скорый: обвиняемым удалось доказать, что они тут ни при чем, а настоящие главари те, кто удрали в лес. В итоге все они были освобождены, тем более что теперь, когда в Омброзе были расквартированы войска, можно было не опасаться новых беспорядков. В городе остался также гарнизон австрийцев и сардинцев, чтобы предотвратить возможное проникновение вражеских отрядов, и во главе гарнизона стоял муж Баттисты, мой шурин д'Эстома, эмигрировавший из Франции в свите графа Прованского.

Я снова мог наслаждаться обществом моей сестрицы; какое это мне доставило удовольствие, предоставляю судить вам самим. Она обосновалась в моем доме вместе с мужем-офицером, с лошадьми и взводом ординарцев. Целыми вечерами она рассказывала нам о последних казнях в Париже. У нее даже была миниатюрная гильотина с настоящим ножом, и, желая показать, как печально кончили свою жизнь ее друзья и новые родственники, она отрубала головы ящерицам, медяницам, червям и даже мышам. Так мы проводили вечера. Я завидовал Козимо, который был в бегах и скрывался где-то в лесу и днем и ночью.

¹ Да здравствует Великая Нация! (франц.)

О подвигах, совершенных им в лесу во время войны, Козимо рассказывал столько всяких историй, одна другой невероятнее, что мне трудно решить, какую из них следует предпочесть. Поэтому я предоставлю слово ему самому, в точности передав некоторые его рассказы.

В лес отваживались углубляться лишь разведывательные отряды враждующих армий. С высоких ветвей я при малейшем шорохе шагов и треске сучьев напрягал слух, чтобы определить, французы это или австрийцы.

Однажды явился белобрый австрийский лейтенантик, командовавший отрядом солдат, одетых по всей форме: парик с косицей и буклями, треуголка, кожаные гетры, белая перевязь крест-накрест, ружье со штыком; они шагали строем, пытаюсь на этих извилистых тропинках сохранить равнение. Совершенно не зная леса, но твердо уверенный, что он в точности выполняет приказ, офицерик вел отряд строго по маршруту, указанному на карте, беспрестанно натываясь на стволы, заставляя солдат в подбитых гвоздями башмаках скользить по гладким камням или едва не выкалывать себе глаза в зарослях ежевики, но не теряя непоколебимой убежденности в превосходстве императорского оружия.

Солдаты и впрямь были отменные. Притаившись на сосне, я подстерегал их у перевала. В руке у меня была сосновая шишка в полкилограмма весом, и я угодил ею прямо в голову замыкающего. Пехотинец раскинул руки, колени у него подкосились, и он свалился в папоротник. Никто ничего не заметил, отряд продолжал свой марш.

Я снова нагнал их. На этот раз я бросил свернувшегося в клубок ежа на затылок капралу. Капрал уронил голову на грудь и потерял сознание. Тут уж лейтенант заметил, что произошло, велел двоим взять носилки и приказал шагать дальше.

Отряд, словно нарочно, забирался в самую непроходимую во всем лесу чащу кустарника. И каждый раз его ждала новая засада. Я набрал в кулек голубых волосатых гусениц, которые, стоит только до них дотронуться, обжигают кожу хуже крапивы, и сотнями стал кидать их вниз. Отряд исчез в кустах и затем вновь выбрался на тропинку; солдаты отчаянно чесались, лица и руки у всех покрылись красными волдырями, но они упрямо шли вперед.

Удивительные солдаты и великолепный офицер! В лесу ему все было столь чуждо и непонятно, что он даже ничему не удивлялся и, хотя ряды солдат таяли на глазах, гордо и неумолимо продолжал свой путь. Тогда я прибегнул к помощи диких котов. Вначале я с минуту крутил каждого в воздухе, держа его за хвост, отчего он приходил в неопишемую ярость, а

потом швырял его вниз. Сперва раздавался шум, причем особенно выделялся вой kota, потом наступала тишина; отряд сделал привал. Австрийцы перевязывали раненых. Затем, все в бинтах, возобновили поход. «Остается только устроить, чтобы их взяли в плен»,— сказал я себе и поспешил их обогнать, надеясь разыскать французский патруль и предупредить его о приближении врага. Но французы на этом участке фронта давно уже не подавали никаких признаков жизни.

Когда я проползал над поросшей мхом полянкой, мне показалось, будто что-то шевелится внизу. Я остановился, прислушался.

Вначале до меня доносилось как бы журчание ручья, потом послышалось беспрестанное глухое бормотанье, в котором уже можно было разобрать отдельные слова вроде: «Mais alors... cré pot de... foutez-moi donc... tu m'emmer... quoi»¹.

Вглядевшись в полутьму, я увидел, что густой мох был не чем иным, как меховыми шапками и густыми бородами. То был взвод французских улан. За время зимней кампании их кожа настолько отсырела, что весной вся поросла мхом и плесенью.

Командовал передовым отрядом лейтенант Агриппа Папийон из Руана, поэт и волонтер республиканской армии. Убежденный в извечной доброте природы, лейтенант Папийон не хотел, чтобы его солдаты стряхивали с себя сосновые иглы, каштановую скорлупу, веточки, улиток, которые прилеплялись к ним при передвижении через лес. И вот патруль настолько слился с окружающей природой, что только мой опытный глаз смог его разглядеть.

В окружении расположившихся на биваке солдат офицер-поэт в треуголке и с длинными вьющимися волосами, обрамлявшими его худое лицо, декламировал, обращаясь к деревьям:

— О лес! О ночь! Я в вашей ныне власти. Неужели нежный побег жимолости, обвивая лодыжки этих доблестных солдат, может изменить судьбу Франции? О Вальми! Как далек тот славный день!

Я высунулся из листвы.

— Pardon, cytoiyen².

— Что? Кто там наверху?

— Патриот этого леса, гражданин офицер.

— Как? Здесь? Где же вы?

— Прямо над вами, гражданин офицер.

— А, вижу! Кто же вы? Человек-птица, сын Гарпии? А может, вы мифическое существо?

— Я—гражданин Рондо, рожденный людьми, уверяю вас, гражданин офицер. Я человек и по отцу, и по матери. Больше того, моя мать была храбрым солдатом во время войн за австрийское наследство.

¹ Обрывки французских ругательств.

² Простите, гражданин (франц.).

— Понимаю. О времена, о слава! Я верю вам, гражданин, и жажду услышать новости, которые вы, очевидно, желаете мне сообщить.

— Передовой отряд австрийцев проник в расположение ваших войск.

— Что вы говорите?! Пробил час битвы! О ручей, кроткий ручей, скоро воды твои окрасятся кровью! Вперед! К оружию!

Услышав приказ офицера-поэта, уланы стали собирать оружие и ранцы, но двигались они столь вяло и неохотно, потягиваясь, сплевывая, чертыхаясь, что я начал сомневаться в их боеспособности.

— Гражданин офицер, у вас есть план?

— План? О, иди прямо на врага!

— Да, но как?

— Как? Сомкнутыми рядами!

— Позвольте, однако, дать вам совет: я бы, наоборот, расставил солдат на большой дистанции и дождался, пока вражеский отряд сам не попадет в засаду.

Лейтенант Папийон был человеком стоворчивым и не стал возражать против моего плана. Рассыпавшихся по лесу уланы трудно было отличить от зеленых кустов, а австрийский лейтенант меньше всего был способен обнаружить разницу. Отряд императорской армии шел строго по маршруту, указанному на карте, время от времени раздавалась отрывистая команда «направо» или «налево». Они промаршировали прямо под носом у французских уланы, но так ничего и не заметили. Уланы шли почти неслышно (тишину нарушали лишь естественные в лесу шелест листьев да хлопанье крыльев) и незаметно взяли австрийцев в кольцо. Я с верхушек деревьев свистом иволги или криком совы давал им знать о том, какой им тропинкой лучше пробираться и куда движется вражеский отряд. Австрияки, ничего не подозревая, оказались в западне.

— Руки вверх! Во имя свободы, равенства и братства я объявляю вас своими пленниками!—внезапно услышали они крик с дерева, и меж ветвей появилась тень человека, размахивавшего длинноствольным ружьем.

— Ур-ра! Vive la Nation!—И все кусты вокруг мгновенно превратились во французских уланы, возглавляемых лейтенантом Папийоном.

Раздались глухие проклятья австрийцев, но, прежде чем они успели опомниться, их уже разоружили. Австрийский лейтенант, бледный, но с высоко поднятой головой, вручил свою шпагу лейтенанту Папийону.

Я стал бесценным помощником республиканской армии, но предпочитал охотиться на врагов один, призывая на помощь лесных зверей и насекомых, как, например, в тот раз, когда

обратил в бегство целую колонну австрийцев, напустив на них осыный рой.

Слава обо мне разнеслась по всему вражескому стану и возросла настолько, что начали поговаривать, будто лес кишит вооруженными якобинцами, которые прячутся на вершинах деревьев. Двигаясь по лесу, императорские и королевские отряды прислушивались к малейшему шороху: стукнет ли спелый каштан, выпавший из своей колючей оболочки, пискнет ли белка — они сразу же воображали, что окружены якобинцами, и сворачивали в сторону. Благодаря этому стоило мне с чуть слышным треском надломить сучок или прошелестеть листьями, и я заставлял сворачивать с пути колонны австрийцев и пьемонтцев и заводил их куда мне вздумается.

Однажды я завел их в густые заросли колючих кустарников, где им пришлось довольно туго. В зарослях пряталось семейство диких кабанов. Гром орудий выкурил их с гор, и они укрылись в лесах долины. Потеряв голову, австрийцы шли наугад, ничего не видя дальше своего носа, как вдруг из-под ног у них со злобным хрюканьем выскочило стадо грозно ошетилившихся кабанов. Звери кинулись под ноги солдатам, опрокидывая их, а потом топтали упавших острыми копытами и пропарывали им клыками животы. Весь батальон обратился в бегство под их натиском. Я и несколько моих друзей, устроившись на деревьях, преследовали убежавших врагов ружейным огнем. Те, кому удалось вернуться в лагерь, рассказывали всякие небылицы: одни о том, что внезапно земля под ногами у них ошетибилась и разверзлась, другие — о битве против банды якобинцев, выскочивших словно из-под земли, потому что эти якобинцы не иначе как дьяволы, полулюди-полузвери, и живут они не то на деревьях, не то в чащобе.

Я уже говорил, что предпочитал наносить удары либо сам, либо с помощью моих друзей из Омброзы, которые вместе со мной укрылись в лесу после того памятного сбора винограда. С французскими отрядами я старался иметь поменьше дел, потому что, сами знаете, войско, где ни пройдет, все разоряет на своем пути. Но я привязался всей душой к передовому отряду лейтенанта Папийона и был изрядно обеспокоен его судьбой. В самом деле, для отряда под командованием поэта затишье на фронте могло стать роковым. На мундире солдат утвердились мох и лишайник, а у иных даже вереск и папоротники; на киверах свили гнезда крапивники и цвели ландыши, сапоги накрепко приросли к почве — весь отряд пустил корни. Покорность лейтенанта Агриппы природе приводила к тому, что этот отряд хабарцов сливался с миром животных и растений, растворялся в нем. Необходимо было встряхнуть их. Но как? У меня возникла идея, и я отправился изложить ее лейтенанту Папийону. Поэт декламировал, обращаясь к луне:

— О луна! Круглая, как жерло пушки, как ядро, что и после того, как угасла сила порохового взрыва, продолжает бесшумно и

медленно катиться, вычерчивая в небе свою траекторию! Когда же ты взорвешься, о луна, взметнув высоко облако искр и пыли, и погребешь вражеское войско и троны, и откроешь для меня путь к славе, пробивши брешь в крепкой стене пренебрежения, что выказывают мне мои сограждане! О Руан! О луна! О судьба! О конвент! О лягушки! О девушки! О моя жизнь!

Я окликнул его:

— Citoyen...

Папийон, раздосадованный, что я вечно ему мешаю, отрывисто бросил:

— Что вам?

— Я хотел только сказать, гражданин офицер, что, кажется, есть способ пробудить ваших людей от ставшей уже опасной спячки.

— Я возблагодарил бы небеса, гражданин. Как вы видите, я жажду действовать. Что же это за способ?

— Блохи, гражданин офицер.

— Мне жаль вас огорчить, гражданин. У республиканского войска нет блох. Они все сдохли от истощения в результате блокады и дороговизны.

— Я могу вас снабдить ими, гражданин офицер.

— Не пойму, говорите вы серьезно или шутите. Во всяком случае, я доложу высшему командованию, а там видно будет. Гражданин, я благодарю вас за все, что вы делаете во имя республики! О слава! О Руан! О блохи! О луна!— И он удалился в полубреду.

Я понял, что придется действовать на свой риск. Запасшись большим количеством блох, я, едва увидев с дерева улана, кидал на него блоху, стараясь попасть прямо за шиворот. Затем я стал разбрасывать блох целыми пригоршнями. Мне угрожала опасность, ибо, если бы меня поймали на месте преступления, не помогла бы и моя слава патриота: меня бы арестовали, отвезли во Францию и там гильотинировали как агента Питта. Однако мое вмешательство оказалось благотворным, укусы блох пробудили в уланах вполне понятное и достойное желание почесаться, поискать зловредных насекомых и избавиться от них. Бравые уланы скинули заплесневелую одежду, ранцы и котомки, поросшие грибами и затянутые паутиной, стали мыться, бриться, причесываться. Одним словом, они вновь осознали себя людьми, обрели чувство гражданственности, освободились от власти первобытной природы. К тому же ими овладела давно забытая жажда деятельности, рвение и воинственный пыл. К моменту общего наступления они уже рвались в бой. Республиканское войско, сломив сопротивление врага, прорвало фронт и двинулось вперед к победам под Дега и Миллезимо...

Наша сестра и ее муж, эмигрант д'Эстома, удрали из Омброзы как раз вовремя: они едва не попали в плен к республиканской армии. Омброзцы словно вернулись к дням сбора винограда. Они воздвигли дерево свободы, на этот раз более отвечавшее французскому образцу — иначе говоря, немного походившее на дерево с призмами.

Козимо, разумеется, взобрался на него с фригийским колпаком на голове, но ему это быстро надоело, и он удалился в лес.

У дворцов местной знати народ немного шумел:

— Аристократов, аристократов на фонарь!

Меня, так как я был братом Козимо, да к тому же всегда считался никудышным дворянином, оставили в покое. Более того, впоследствии меня даже признали патриотом, и, когда были восстановлены прежние порядки, мне пришлось испытать немало неприятностей.

Был создан муниципалитет, избран мэр, все на французский лад; брат был введен в состав временной городской управы, хотя многие были против — считали его полоумным. Странники старого режима злорадно усмехались и говорили, что это сборище сумасшедших.

Заседания городской управы происходили в старинном дворце бывшего наместника Генуэзской республики. Козимо устраивался на рожковом дереве примерно на высоте окон и оттуда следил за обсуждением. Иногда он с громким криком вмешивался в спор и неизменно участвовал в голосовании.

Известно, что революционеры подчас большие формалисты, чем консерваторы; члены городской управы утверждали, что так вести дела нельзя, что это подрывает престиж уважаемого собрания и тому подобное. В итоге, когда вместо олигархической Генуэзской республики была создана Лигурийская республика, моего брата не избрали в новую городскую управу. Между тем, именно в это время Козимо напечатал и распространил «Проект Конституции Республиканской общины в совокупности с Декларацией Прав Человека, сиречь Мужчин, Женщин, Детей, а также Домашних и Диких Животных, включая Птиц, Рыб и Насекомых, а также Деревьев, Садовых растений и Трав». Это был великолепный труд, который мог бы стать неисчерпаемым источником мудрости для всех правителей. Однако никто не обратил на него внимания, и Декларация так и осталась на бумаге.

Большую часть времени Козимо по-прежнему проводил в лесу, наблюдая, как саперы французской армии прокладывают дорогу для своей артиллерии. С длинными бородами, казались начинавшими от самых шапок и исчезающими под кожаными фартуками, саперы были не похожи на всех остальных солдат. Возможно,

это объяснялось тем, что в отличие от других родов войск саперы оставляли после себя не пожарища и развалины, а вещи, созданные их руками, и двигала ими не жажда разрушения, но благородное честолюбие, заставлявшее их делать свое дело как можно лучше. И потом, они многое знали и много могли порассказать: они прошли немало стран, пережили осады и битвы, некоторые из них были даже свидетелями великих событий в Париже — взятия Бастилии и террора. Козимо целыми вечерами слушал теперь их рассказы. Сложив кирки и лопаты, саперы усаживались вокруг костра и, покуривая короткие трубки, предавались воспоминаниям. Днем брат помогал саперам прокладывать путь. Никто не преуспел бы в этом лучше его: он знал все места, по которым дорога могла пройти с наименьшим уклоном и наименьшим ущербом для деревьев. И прежде всего он думал не о французской артиллерии, а об интересах местных жителей. Эти вороватые вояки принесли по крайней мере одну пользу: на их деньги проложили дорогу.

И на том спасибо, потому что оккупационные войска, особенно с тех пор, как из республиканских они стали императорскими, вконец осточертели жителям. И те, понятно, бежали к патриотам излить все, что на душе накипело.

— Смотрите, что ваши друзья-то делают!

Патриоты разводили руками, подымали глаза к небу и вздыхали.

— Увы, что поделаешь, солдаты остаются солдатами. Будем надеяться, что все образуется!

Солдаты Наполеона уводили из хлевов свиней, коров, даже коз. Что же до налогов и десятин, то от них просто житья не стало. А тут еще рекрутский набор! В наших краях никто не мог уразуметь, зачем войскам нужно куда-то отправляться. И новобранцы разбегались по лесам.

Козимо делал все возможное, чтобы как-то облегчить эти беды: присматривал за скотом, когда земледельцы в страхе перед реквизицией угоняли его в лес, или же охранял обозы, перевозившие зерно на мельницу и оливки к давяльному прессу тайком от французов, которые могли нагрязнуть и забрать свою часть; нередко он показывал беглым новобранцам пещеры в лесу, где они могли бы спрятаться. Словом, он всячески старался защитить жителей от самоуправства оккупантов, но ни разу не нападал на них прямо, а в лесах к тому времени объявились вооруженные отряды «бородачей», причинявших французам немало неприятностей.

Упрямый по натуре, Козимо не желал признавать себя неправым и, будучи издавна другом Франции, считал своим долгом сохранять лояльность, хотя многое — увы! — изменилось и пошло не так, как он ожидал. К тому же надо учесть, что он начал стареть и у него пропала охота утруждать себя ради одной либо ради другой стороны.

Наполеон отправился в Милан для коронации, а затем совершил несколько поездок по Италии. В каждом городе его шумно чествовали и водили осматривать памятники старины и достопримечательности. В программу пребывания Наполеона в Омброзе была включена и встреча «с патриотом, живущим на деревьях», ибо, как часто случается, Козимо, на которого у нас никто не обращал внимания, был в других местах, и особенно за границей, широко известен.

Это была не простая встреча. Муниципальный совет Омброзы, занятый организацией празднеств, все продумал заранее, чтобы не ударить лицом в грязь. Выбрали красивое дерево; вначале хотели подыскать старый дуб, но потом решили, что ореховое дерево на площади расположено лучше, и тогда его замаскировали дубовыми листьями, украсили трехцветными флажками Франции и Ломбардии, кокардами, знаменами.

Брата усадили наверху, одетого по-праздничному, но в прославленной меховой шапке; на плече устроилась белка. Встреча была назначена на десять, собралась большая толпа, но, само собой разумеется, до половины двенадцатого Наполеон не появлялся, к вящему неудовольствию моего брата, у которого под старость обнаружилась болезнь мочевого пузыря, так что ему то и дело приходилось прятаться за ствол.

Наконец прибыл император, окруженный свитой. В воздухе плыли треуголки. Уже наступил полдень. Наполеон смотрел сквозь ветки вверх на Козимо. Солнце слепило ему глаза. Он обратился к брату с приличествующими любезными словами.

— Je sais très bien que vous, citoyen...¹ — начал он и закрылся ладонью от солнца, — parmi les forets... — он слегка отодвинулся вправо, чтобы солнце не било ему прямо в глаза, — parmi les frondaisons de notre luxuriante...² — и шагнул влево, потому что Козимо поклонился и снова подставил Наполеона жгучим лучам солнца.

Заметив беспокойство Бонапарта, Козимо вежливо спросил:

— Могу я быть вам чем-нибудь полезен, mon Empereur³?

— Да-да, — ответил Наполеон, — прошу вас, поднимитесь немного повыше, чтобы заслонить солнце. Вот так, хорошо, а теперь не шевелитесь... — Он умолк, словно охваченный какой-то навязчивой мыслью, затем обратился к вице-королю принцу Евгению: — Tout cela me rapelle quelque chose... Quelque chose que j'ai déjà vu...⁴

Козимо пришел ему на помощь.

— То были не вы, ваше величество, а Александр Македонский.

¹ Я хорошо знаю, что вы, гражданин... (франц.)

² Среди лесов... Среди зелени нашего великолепного... (франц.)

³ Мой император (франц.)

⁴ Это напоминает мне нечто... Нечто такое, что я уже видел... (франц.)

— Ну конечно же!—воскликнул Наполеон.— Встреча Александра с Диогеном!

— Vous n'oubliez jamais votre Plutarque, mon Empereur¹,— сказал Богарне.

— Только тогда было наоборот,— заметил Козимо,— Александр спросил у Диогена, не может ли он что-нибудь сделать для него, а Диоген попросил его отойти в сторону.

Наполеон щелкнул пальцами, словно нашел наконец фразу, которую так долго искал.

Убедившись, что свита внимает его словам, он сказал на превосходном итальянском языке:

— Если бы я не был императором Наполеоном, я бы хотел быть гражданином Козимо Рондо!

Потом он повернулся и быстро удалился. Свита последовала за ним, громко звеня шпорами.

Этим все и кончилось. Все ждали, что в течение недели Козимо пришлют крест Почетного легиона.

Но император молчал.

Брату, правда, было глубоко безразлично, наградят его или нет. Но нам, его родственникам, это было бы приятно.

XXIX

Молодость быстро проходит и на земле, что же говорить о деревьях, где все—и плоды и листья—обречено упасть, облететь? Козимо сильно постарел. Груз лет, ночи, проведенные в холоде, на ветру, под дождем, без надежного укрытия, жизнь без дома, без очага, часто без горячей еды... Козимо превратился в скрюченного старичка, с кривыми ногами и длинными, как у обезьяны, руками, сторбился и все время кутался в меховой плащ, который заканчивался капюшоном, отчего брат походил на монаха в мохнатой рясе. Обожженное солнцем лицо сморщилось, словно печеный каштан, а среди морщин терялись выцветшие круглые глаза.

Войско Наполеона было разбито наголову на Березине, англичане высадились в Генуе, а мы проводили дни в ожидании известий о новых переворотах. Козимо не показывался в Омбросе, он сидел, прижимаясь к стволу сосны, у обочины той дороги, по которой прошли орудия, стрелявшие при Маренго, и смотрел на восток, где теперь по пустынной колее тащились лишь редкие пастухи с козами да груженые хворостом мулы. Чего он ждал? Наполеона он видел, чем закончилась революция—знал; теперь можно было ждать только худших времен. И все же брат сидел на сосне и не спускал глаз с дороги, словно у поворота с минуты на минуту должны были появиться французские солдаты с

¹ Вы никогда не забываете вашего любимого Плутарха, мой император (франц.).

застывшими на усах русскими сосульками и сам Наполеон на коне, небритый, изможденный, бледный, низко свесивший голову...

Наполеон остановится под сосной. За ним постепенно стихнет глухой гул шагов, с шумом упадут на землю ранцы и ружья, обессиленные солдаты разуются у обочины, разбинтуют израненные ноги. Император скажет: «Ты был прав, гражданин Рондо. Дай мне написанную тобой Конституцию, повтори свой совет, который ни Директория, ни Консульство, ни Империя не захотели выслушать, начнем все сначала, вновь воздвигнем деревья Свободы, спасем Всемирную Республику!»

Таковыми были, наверное, мечты и надежды Козимо.

Вместо этого однажды на дороге показались три фигуры, которые брели с востока, сильно прихрамывая. Один опирался на костыль, у второго на голове высился тюрбан из бинтов, у третьего, видно наименее пострадавшего, была всего лишь черная повязка на глазу. Полиявшие рваные мундиры, обрывки шнуров, болтавшиеся у них на груди, кивер без макушки, но с плюмажем, сохранившийся у одного из них, высокие разорванные сапоги говорили о том, что они из бывшей наполеоновской гвардии. Однако оружия при них не было, вернее, один из офицеров потрясал пустыми ножнами, другой нес через плечо ружейный ствол, повесив на него, словно на простую палку, свой узелок.

Они шли, распевая, как пьяные:

— De mon pays... De mon pays...¹

— Эй, чужестранцы,— крикнул им брат,— кто вы такие?

— Посмотри-ка, что за птичка! Что ты делаешь наверху? Шишки поедает?

А другой:

— Кто это хочет нас шишками угостить? Мы голодны, как волки, а он вздумал нас шишками потчевать!

— А знаешь, как нас мучит жажда? Правда, мы изрядно хлебнули, но только снега.

— Мы— третий полк улан.

— В полном составе.

— Все, кто остались в живых.

— Трое из трехсот, это не так уж мало!

— По мне, самое главное, что я уцелел, а там наплевать!

— Не зарекайся! Ты еще не приволок домой свою шкуру.

— Типун тебе на язык!

— Мы— аустерлицкие победители...

— ... Разбитые у Вильно. Вот потеха!

— Скажи нам, говорящая птица, нет тут поблизости винного погребка?

— Мы прошли пол-Европы и всюду осушали бочонки, но жажда так и не проходит!

¹ Из моей страны... из моей страны... (франц.)

— А все потому, что мы продырявлены пулями и вино из нас вытекает.

— Тебе-то пули только заднее место и продырявили!

— Покажи нам погребок, который бы нас напоил в кредит.

— А заплатим мы в другой раз.

— Наполеон заплатит!

— Хм!

— Царь заплатит! Он за нами следом идет, вот вы ему счет и предъявите.

Козимо сказал:

— Вина тут нет, но неподалеку есть ручей, и там вы сможете напиться.

— Чтоб тебе утонуть в том ручье, филин!

— Не потеряй я ружье в Висле, я бы тебя подстрелил и поджарил на вертеле, как дрозда!

— Подождите, я схожу опущу в ручей ногу, а то она вся горит.

— По мне, так заодно можешь помыть и задницу.

Однако к ручью отправилась вся троица, чтобы, разувшись, вымыть ноги и лицо, постирать белье. Мыло они взяли у Козимо, который принадлежал к числу тех стариков, которые с годами делаются чистоплотными, потому что становятся противны сами себе, чего в молодости никогда не бывает. Поэтому Козимо всегда носил с собой мыло. Свежая, холодная вода немного отрезвила уцелевших улан. Проходило опьянение, и вместе с ним проходило веселье, его сменяла грусть, овладевавшая ими при воспоминании о том, до чего они дошли; уланы принялись вздыхать и стонать. Но в их унылом настроении чистая прохладная вода показалась уланам таким бальзамом, что, наслаждаясь ею, все трое снова начали распевать: «*De mon pays... De mon pays...*»

Козимо вернулся на свою дозорную вышку у обочины дороги. Вдруг послышался конский топот. Вздывая пыль, галопом скакал отряд кавалеристов. На всадниках были невиданные мундиры; лица под большущими шапками, обрамленные густой бородой, были плоские, с узкими зелеными глазами. Козимо помахал шляпой.

— Каким ветром вас сюда занесло?

Кавалеристы остановились.

— *Здравствуй!*¹ Скажи, *батюшка*, далеко еще до места?

— *Здравствуйте*, солдаты,—ответил Козимо, который знал понекому все языки, в том числе и русский.

— *Куда вам?*

— Туда, куда ведет дорога...

— Так эта дорога в разные места ведет. Вы куда путь держите?

¹ Слова, выделенные курсивом, в оригинале даны по-русски.

— В Париж.

— Ну, в Париж есть более удобные дороги.

— Нет, не в Париж. Во Францию, за Наполеоном. Куда ведет эта дорога?

— Э, в самые разные места: в Оливабассу, Сассокорто, в Траппу...

— Как? Оливабасса? Нет, нет.

— Ну, при желании по ней можно попасть в Марсель.

— В Марсель... да-да, Марсель... Франция...

— А что вам надо во Франции?

— Наполеон пошел войной на нашего царя, а теперь наш царь гонится за Наполеоном.

— Откуда вы?

— Из Харькова. Из Киева. Из Ростова.

— Значит, вы немало городов и стран повидали? Где вам больше нравится: у нас или в России?

— Повидали мы красивые места, повидали и некрасивые, а только нам Россия всего милее.

Цокот копыт, густое облако пыли; у дерева остановился конь, и всадник-офицер прикрикнул на казаков:

— Вон! Марш! Кто вам позволил остановиться?

— До свидания, батюшка,— закричали казаки брату.— Нам пора...— И, прищипорив коней, они умчались.

Офицер на коне остался под сосной один. Он был высокий, тонкий, с благородным и печальным лицом. Вскинув непокрытую голову, он глядел на слегка подернутое облаками небо.

— Bonjour, monsieur,— обратился он к Козимо.— Vous connaissez notre langue?¹

— Да, господин офицер,— ответил брат,— mais pas mieux que vous le français quand-même!

— Êtes-vous un habitant de ce pays? Étiez-vous ici pendant qu'il y avait Napoléon?

— Oui, monsieur l'officier.

— Comment ça allait-il?

— Vous savez, monsieur, les armées font toujours des dégâts, quelles que soient les idées qu'elles apportent.

— Oui, nous aussi nous faisons beaucoup de dégâts, mais nous n'apportons pas d'idées...²

Он был печален и озабочен, хоть и принадлежал к армии победителей. Брату русский офицер понравился, и он решил его подбодрить.

¹ Добрый день, мсье. Вы знаете наш язык? (франц.)

² Но не лучше, чем вы французский.— Вы местный житель? Вы были здесь, пока тут стоял Наполеон?— Да, господин офицер.— И как обстояли дела?— Знаете ли, господин офицер, армии всегда несут с собой разорение, какие бы идеи они ни приносили.— Да, мы тоже разоряем немало. Но мы не несем с собой идей... (франц.)

— Но вы победили.

— Oui. Nous avons bien combattu. Très bien. Mais peut-être...

Раздались вопли, всплеск, лязг оружия.

— *Кто там?! —* крикнул офицер.

Вернулись казаки, волоча за собой по земле полуголые тела, одной рукой они вздымали вверх кривые обнаженные и — увы — окровавленные сабли, а другой сжимали что-то: это были головы трех давешних французоз-бородачей.

— *Французы! Наполеон.* Всех перебили.

Офицер отрывисто приказал немедля унести трупы. Затем повернул голову и вновь обратился к брату:

— Vous voyez... La guerre... Il y a plusieurs années que je fais le mieux que je puis une chose affreuse: la guerre... e tout cela pour des idéals que je ne saurais presque expliquer moi-même...²

— Я тоже, — ответил Козимо, — уже много лет живу и борюсь ради идеалов, смысла которых не смог бы объяснить даже себе самому. Mais je fais une chose tout à fait bonne: je vis dans les arbres³.

Печальный офицер забеспокоился.

— Alors, — сказал он, — je dois m'en aller. — Он по-военному отдал честь. — Adieu, monsieur. Quel est votre nom?

— Le Baron Cosme de Rondeau! — крикнул ему Козимо, когда тот уже тронул коня. — *Прощайте, господин...* Et le votre?

— Je suis le Prince Andrej...⁴ — Стук копыт заглушил фамилию незнакомца.

xxx

Я не знаю, что нам принесет этот девятнадцатый век, который начался плохо, а продолжается еще хуже. Над Европой нависла тень Реставрации; все реформаторы, будь то якобинцы или бонапартисты, разбиты; абсолютизм и иезуиты вновь торжествуют победу, идеалы юности, светлые огни и надежды нашего восемнадцатого века — все превратилось в пепел.

Я поверяю свои мысли этой тетради, иначе я не смог бы выразить их; я всегда был человеком уравновешенным, без особых порывов и причуд, добрым отцом семейства, дворянином по происхождению, приверженцем просвещения по образу мыслей, послушным закону гражданином. Безудержные политические страсти никогда не волновали меня слишком сильно, и я надеюсь,

¹ Да. Мы хорошо сражались. Очень хорошо. Но может быть... (франц.)

² Видите... Война... Вот уже несколько лет я занимаюсь этим ужасным делом, насколько это в моих силах. И все это во имя идеалов, которые мне самому непонятны (франц.).

³ Но я занимаюсь добрым делом: я живу на деревьях (франц.).

⁴ Ну вот... мне надо уезжать... Прощайте, сударь. Как ваше имя? — Барон Козимо ди Рондо... А ваше? — Я князь Андрей... (франц.)

что так будет и впредь. Но в глубине души—какая тоска!

Раньше все было иначе, был жив мой брат. Я говорил себе: «Хватит того, что он обо всем думает»—и мог с головой уйти в повседневную жизнь. Для меня знаком великих перемен был не приход австрийцев и русских, не присоединение к Пьемонту, не новые налоги, но то, что, открыв окно, я больше не вижу Козимо, сидящего на ветке. Теперь, когда его не стало, мне кажется, я должен заниматься уймай всяких вещей: и философией, и политикой, и историей; я ломаю голову над отвлеченными вопросами, внимательно слежу за газетами, читаю книги, но не нахожу в них того, что хотел сказать Козимо, того, что он охватывал своим могучим умом, но мог выразить не словами, а лишь живя так, как он жил. Только оставаясь самим собой, как оставался он до самой смерти, он мог что-то дать людям.

Вспоминаю, как он занемог. Мы догадались об этом потому, что он перенес свою постель на большое ореховое дерево посреди площади. Прежде, подчиняясь своим инстинктам дикого животного, Козимо тщательно скрывал места ночлега. Теперь же он испытывал потребность все время быть на виду у людей. У меня случилось сердце; я всегда думал, что ему не захочется умереть в одиночестве: быть может, это первый признак... Мы послали к нему врача, который поднялся по приставной лестнице; спустившись, он лишь состроил сокрушенную мину и развел руками. Тогда я сам залез наверх.

— Козимо,—начал я,—тебе шестьдесят пять лет, как ты можешь дальше жить на деревьях? Ты уже сказал все, что хотел сказать, и мы поняли, какую силу духа ты проявил; но ты сделал свое дело... теперь имеешь право слезть. Даже те, кто проводят всю жизнь в море, сходят на берег, когда приходит срок.

Какое там! Он только махнул рукой, отвергая мои доводы. Разговаривать он уже почти не мог. Время от времени он подымался, закутанный в шерстяное одеяло, и садился на ветку немного погреться на солнышке. На верхушку дерева он уже не забирался. Старуха крестьянка, святая женщина и наверняка одна из его прежних возлюбленных, присматривала за ним и приносила ему горячую еду. К стволу постоянно была прислонена лестница, потому что Козимо поминутно нуждался в помощи и приходилось часто подниматься к нему, к тому же мы не теряли надежды, что он вот-вот решится сойти на землю. Впрочем, надеялись все, кроме меня: я-то знал, что он за человек. На площади у дерева, чтобы как-то развлечь его, постоянно собирались люди; они болтали между собой, а изредка обращались с шуткой и к нему, хотя знали, что у него уже нет охоты ни с кем разговаривать.

Вскоре ему стало хуже. Мы взгромоздили на дерево кровать и сумели прочно установить ее. Козимо охотно в нее улегся. Нам стало немного стыдно, что мы не догадались сделать это раньше: ведь, по правде говоря, брат отнюдь не отказывался от удобств и,

хотя жил на деревьях, всегда старался устроиться как можно лучше. Тотчас же мы поспешили создать ему и другие удобства: циновки, чтобы защитить его от ветра, балдахин, жаровню. Его состояние немного улучшилось, и мы установили между двух ветвей кресло. Теперь Козимо просиживал в нем целые дни, закутавшись в одеяло.

Но однажды утром мы не увидели его ни в кровати, ни в кресле. С бьющимся сердцем мы посмотрели наверх. В одной рубаше он влез на вершину дерева и уселся на самой высокой ветке.

— Что ты там делаешь?

Козимо не отвечал. Он почти закоченел. Казалось, он лишь чудом держится на ветке. Мы приготовили широкое полотнище из тех, в которые обычно собирают оливки, и поставили человек двадцать держать ее натянутой, ибо ожидали, что он вот-вот свалится.

А пока что к нему отправился врач. Взобраться на самую верхушку было нелегко, пришлось связать две лестницы. Врач спустился и сказал:

— Пошлите к нему священника.

Мы заранее договорились, что к нему поднимется некий дон Перикле, его давний друг, священник, присягнувший Конституции во времена французов, входивший в масонскую ложу, когда это было еще разрешено священнослужителям, и лишь недавно, после долгих мытарств, вновь получивший от епископа свой приход. Он взобрался наверх вместе со служкой, взяв причастие и дарохранильницу. Там он оставался недолго, они о чем-то поговорили с братом, и затем священник спустился на землю.

— Дон Перикле, принял он причастие?

— Нет-нет, он сказал, что у него все хорошо.

Больше нам ничего не удалось от него добиться. Люди, державшие полотно, устали. Козимо сидел наверху и не шевелился. Подул юго-западный ветер, верхушка дерева легонько покачивалась, и мы были наготове. И тут в небе появился монгольфьер.

Какие-то английские воздухоплаватели совершали пробные полеты на воздушном шаре вдоль побережья. Шар был красивый, украшенный цветами и бахромой, и к нему на канатах была подвешена корзина из ивовых прутьев; в корзине двое офицеров в остроконечных треуголках и с золотыми эполетами любовались в подзорную трубу видом расстилавшейся внизу зеленой долины. Они направили трубу на площадь, разглядывая человека на дереве, растянутое полотнище, толпу: картина была довольно странная.

Козимо, подняв голову, внимательно наблюдал за летящим шаром. Внезапно порыв ветра подхватил шар и, кружа его, словно волчок, понес к морю. Воздухоплаватели, не потеряв присутствия духа, постарались, как видно, ослабить давление внутри шара и

одновременно опустили якорь, стараясь зацепиться за что-нибудь. Подвешенный к длинному канату якорь, отливая серебром, плыл по небу, слегка отклонившись назад и повторяя сложные эволюции шара, пролетел над площадью примерно на высоте орехового дерева, так что мы даже испугались, как бы он не задел Козимо. Но мы даже представить себе не могли того, что произойдет сейчас на наших глазах.

Умиравший Козимо в тот самый миг, когда канат пролетал мимо, вдруг прыгнул с поистине юношеской ловкостью, с силой ухватился за него и, став ногами на якорь, сжался в комок; на миг шар замедлил свое движение, и мы увидели, как Козимо, уносимый ветром, исчезает где-то в морской дали.

Воздухоплататели пересекли залив, и им удалось приземлиться на другом берегу. На канате покачивался один лишь якорь. Захватенные борьбой с ветром, авиаторы ничего не заметили. Оставалось предположить, что умирающий старец сорвался, когда шар летел над заливом.

Так исчез Козимо, не доставив нам утешения увидеть, как он возвращается на землю хотя бы мертвым.

В фамильном склепе стоит в его память плита, а на ней высечены такие слова: «Козимо Пьоваско ди Рондо. Жил на деревьях. Всегда любил землю. Вознесся на небо».

То и дело я отрываюсь от своих записей и подхожу к окну. Небо совсем открытое, и нам, старикам Омброзы, привыкшим жить под зелеными сводами, больно глядеть в него. Кажется, что деревья не пережили кончины брата или что людьми овладела страсть крушить все вокруг топором. К тому же растительность сильно изменилась, нет больше вязов, дубов, падубов. Теперь растения Африки, Австралии, Южной и Северной Америки и Вест-Индии протянули и сюда свои ветви и корни. Прежние могучие деревья отступили вверх: лишь на холмах растут оливы, лишь в горных лесах — сосны и каштаны. Внизу весь берег теперь — сплошная Австралия, красная от эвкалиптов и слоноподобная от фикусов, этих садовых растений, огромных и одиноких; а все остальное пространство занято негостеприимными деревьями пустыни — пальмами с их растрепанной гривой.

Омброзы больше нет. Глядя на голое небо, я спрашиваю себя, существовала ли она когда-то. Это кружево ветвей и листьев, развилин, семян и чешуек, это небо, видневшееся лишь неровными осколками, — быть может, они существовали только потому, что по деревьям проходил неслышно и невесомо мой брат. Быть может, то был лишь узор, вышитый в пустоте, подобный чернильному узору, которым я усердно украшал страницу за страницей, — узору, чья нить прерывается вычеркиваниями, возвратами, посаженными в волнении кляксами, пятнами и пробелами, узору, который то рассыпается крупными знаками, округлыми, как вишневые косточки, то мельчится в крохотные, как маковые зерна, буковки, то становится извилистым, то

разветвляется, то собирается сгустками фраз, сохраняющих очертания облаков и листьев, то останавливается, то вьется вновь и бежит, бежит, разматываясь, пока не вычертит последнюю безумную гроздь слов, мыслей, мечтаний и не придет к концу.

10 декабря 1956 г.—26 февраля 1957 г.

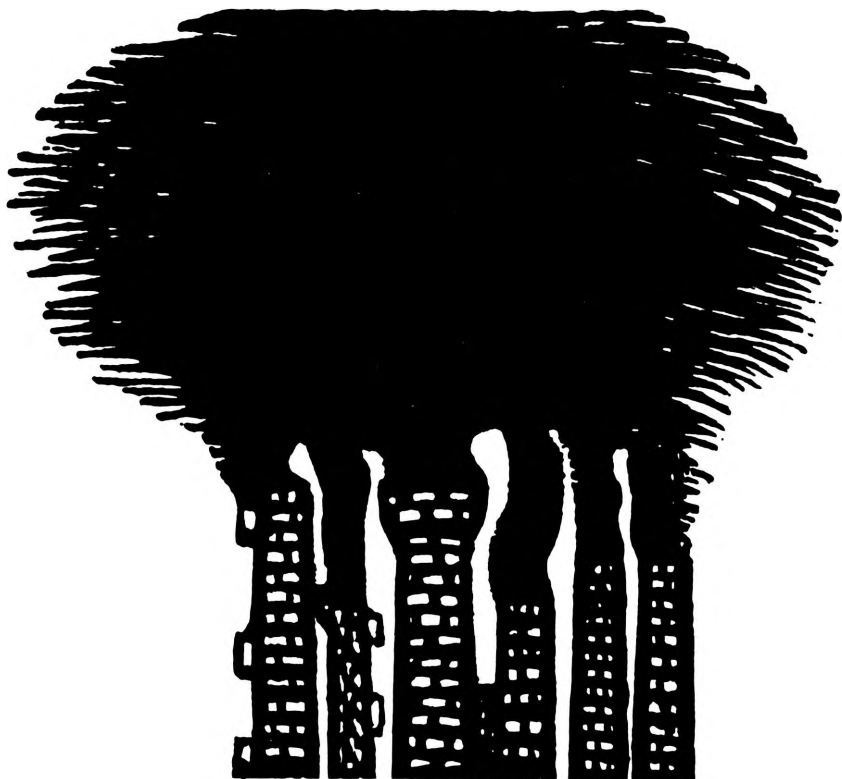


ОБЛАКО СМОГА



La nuvola di smog

Перевод А. Короткова



Это был период в моей жизни, когда ничто на свете не имело для меня никакого значения. Как раз тогда я и приехал, чтобы обосноваться в этом городе. Впрочем, «обосноваться» — не то слово. У меня не было ни малейшего желания обосновываться; напротив, мне хотелось, чтобы вокруг меня все оставалось зыбким и непостоянным. Мне казалось, что только это поможет мне сохранить внутреннее равновесие, так сказать, внутреннюю основательность, хотя, по правде говоря, я понятия не имел, в чем она состоит. Вот почему, используя целую цепочку рекомендаций и получив предложение занять место редактора в журнале «Проблемы очистки воздуха», я переехал в этот город и стал искать квартиру.

Кому не известно, что едва ты сошел с поезда и очутился в незнакомом городе, то для тебя он весь в привокзальном районе.

Кружишь и кружишь, и тебе все время попадают улицы одна мрачнее и непригляднее другой; неизменно оказываешься среди каких-то мастерских, складов, кабачков с цинковыми стойками, грузовиков, извергающих тебе в лицо клубы ядовитого дыма; перекладываешь чемодан из одной руки в другую и чувствуешь, что белье противно липнет к спине, а потные руки отекли и не сгибаются; ты взвинчен, нервничаешь, и все, что проходит у тебя перед глазами, тоже как бы взвинчено и изломано. Как раз на такой улице я и приискал себе подходящую меблированную комнату. Я шел, то и дело останавливаясь, чтобы перехватить чемодан другой рукой, и вдруг увидел у одного из подъездов две грозди болтающихся на веревочках картонных прямоугольников, вырезанных из обувных коробок, с печатями в углу и коряво написанными объявлениями о сдаче комнат. Я вошел. На каждой лестнице, на каждом этаже сдавалось по нескольку комнат. Выбрав лестницу «В», я поднялся на второй этаж и позвонил.

Комната была самая обыкновенная, немного темноватая, потому что единственное ее окно выходило во двор. Собственно, это было не окно, а дверь, которая вела на огражденную ржавыми перилами галерею, тянувшуюся вокруг двора, так что комната была совершенно изолирована от остальной квартиры. Однако, чтобы попасть в нее, надо было пройти через несколько дверей, которые всегда были заперты на ключ. Хозяйка, синьорина Маргарити, была глуха и потому имела все основания опасаться воров. Ванна отсутствовала, уборная, представлявшая собой досчатую будочку, помещалась на галерее. В комнате стоял умывальник, над которым торчал один водопроводный кран. Горячей воды не было. Впрочем, чего же мне еще искать? Плата меня устраивала, потому что комната дороже была бы мне не по карману, а дешевле я, пожалуй, и не нашел бы; кроме того, именно здесь я и мог обрести те зыбкость и непостоянство, к которым стремился.

— Да-да, я готов,—сказал я синьорине Маргарити, которая, решив, что я спрашиваю ее, как быть в случае холодов, указала на печку.

Я уже разглядел все, что нужно, и теперь мог оставить чемодан и уйти. Но прежде я подошел к умывальнику и повернул кран. Еще на вокзале я мечтал вымыть руки, но мне лень было открывать чемодан и доставать мыло, и я решил только слегка сполоснуть их.

— О, что же вы не сказали? Я вам сию минуту принесу полотенце! — воскликнула синьорина Маргарити.

Она выбежала из комнаты и, вернувшись с хорошо выглаженным полотенцем, повесила его на спинку стула. Чтобы освежиться, я плеснул немного воды в лицо и, ничуть не освежившись, стал вытираться полотенцем. Тут наконец хозяйка поняла, что я беру комнату.

— Ах, так вы согласны! Значит, снимаете? Вот и хорошо!

Пожалуйста, переодевайтесь, распаковывайте чемодан, располагайтесь как дома, вот тут вешалка, давайте мне пальто!

Пальто я не снял, потому что собирался уходить. У меня оставалась последняя забота—сказать хозяйке, что мне нужен книжный шкаф, поскольку вскоре должен был прийти ящик с моими книгами, той скромной библиотечкой, которую мне удалось собрать, несмотря на беспорядочную жизнь. После долгих усилий мне наконец удалось объяснить глухой, чего я хочу. Поняв, в чем дело, она повела меня в свои комнаты, показала маленькую этажерку, где лежали ее коробки для рукоделья, шкатулочки с катушками, выкройки и образцы вышивок, и объяснила, что может освободить ее и перенести в мою комнату. Я вышел на улицу.

Журнал «Проблемы очистки воздуха» был органом одной частной компании. В редакцию этого журнала мне и предстояло сейчас явиться, чтобы ознакомиться со своими обязанностями. Новая работа, другой город... Будь я немного помоложе или имел чуть больше оптимизма, все это меня бы воодушевило, взбодрило. Но сейчас... сейчас я видел только окружавшие меня серость, убожество и желал погрузиться в них с головой—не потому, что примирился с ними, нет, просто это мне нравилось, мне было даже приятно лишний раз убедиться в том, что жизнь и не может быть иной. Я доходил до того, что, выбирая дорогу, старался блуждать самыми захолустными, узенькими, безымянными переулками, хотя иной раз было бы гораздо проще выйти на большие улицы со сверкающими витринами и шикарными кафе. Но мне было жаль покидать проходных с изможденными лицами, убогие фасады дешевеньких закусовых, затхлые лавчонки, жаль отрешиться от звуков, постоянно сопровождающих человека на узеньких улицах,—от грохота трамваев, визга тормозящих грузовиков и шипения паяльников, доносившегося из подворотен. И если бы я вдруг расстался с окружавшими меня усталостью и скрежетом, то, пожалуй, стал бы придавать слишком большое значение усталости и скрежету, которые я носил в себе.

Но чтобы добраться по указанному адресу, мне все же пришлось в какой-то момент вступить в другой, аристократический, утопающий в зелени район, застроенный старинными особняками, район, где на тихих улицах почти не было машин и где главные магистрали были настолько широки, что транспорт на них не скапливался и двигался почти бесшумно. Наступала осень. Некоторые деревья стояли все в золоте. Вдоль тротуаров тянулись уже не стены домов, а литые решетки оград, за которыми были видны ряды кустов, клумбы, усыпанные гравием аллейки и в центре высились нарядные дома с лепными украшениями— нечто среднее между дворцами и загородными виллами. Я и здесь чувствовал свою остранинность, но несколько иного рода: я больше не узнавал себя в окружающих предметах и не смог бы угадать по ним будущее. Не то чтобы я верил в приметы, но для впечатлительного человека, оказавшегося в незнакомом месте,

любая попавшаяся на глаза вещь всегда что-то значит и в каком-то смысле примета.

Потому-то, наверно, я и был немного сбит с толку, когда, войдя в помещение, нашел вовсе не то, что ожидал. Передо мной были залы фамильного дворца с зеркалами, консолями, мраморными каминами, коврами и штофными обоями (правда, сама мебель была уже из нынешней эпохи, вполне подходящая для учреждения двадцатого века, да и освещение вполне современное — лампы дневного света). Мне сразу же стало как-то неловко за мое новое жилище — такое убогое и темное. Это чувство усилилось, когда меня провели в кабинет главы компании, инженера Корда, который немедленно меня принял, встретив с преувеличенной сердечностью, как равного себе не только по общественному и служебному положению — что уже было для меня невыносимо, — но и по опыту и знанию тех проблем, которыми занималась компания и журнал «Проблемы очистки воздуха». И хотя, если говорить откровенно, работу в этом журнале я считал не более чем случайным, временным занятием, за которое берешься только потому, что нужно что-то делать, и о котором говоришь с усмешкой, все-таки пришлось притворяться, будто я всю жизнь мечтал работать именно здесь.

Инженеру Корда было лет пятьдесят; подтянутый, с черными усами, он явно принадлежал к тому типу людей, которые, несмотря ни на что, навсегда сохранили моложавый вид и с которыми у меня никогда не было ничего общего. Все в инженере Корда: и манера говорить, и одежда (на нем был безукоризненный серый костюм и ослепительной белизны рубашка), и жесты (чтобы придать словам большую весомость, он размахивал рукой с зажатой между пальцами сигаретой) — все свидетельствовало о том, что он человек энергичный, обходительный, жизнерадостный и свободный от предрассудков. Он показал выпущенные без меня номера «Проблем очистки воздуха», подготовленные им (он был главным редактором журнала) совместно с заведующим отделом печати доктором Авандеро (мне его представили позже, и он оказался одним из тех субъектов, которые говорят так, словно читают речь, заранее отпечатанную на машинке). Номеров было немного, все тоненькие, и чувствовалось, что делали их дилетанты. Воспользовавшись своими скромными сведениями о том, как выпускаются журналы, я осторожно и, само собой разумеется, не критикуя уже сделанную работу стал объяснять ему, каким, на мой взгляд, должен быть журнал и какие бы я предложил технические усовершенствования. Я решил взять тот же тон, что был у него: тон человека практического, уверенного в том, что он может принести пользу, и с удовлетворением заметил, что мы начинаем понимать друг друга. С удовлетворением, потому что чем больше я притворялся деятельным оптимистом, тем больше думал о той нищей комнатухе, которую только что снял, об убогих улицах, о том назойливом; разъедающем душу чувстве,

которое я носил внутри, о моем fullest безразличии ко всему на свете, и мне казалось, что мы только играем в авторитет, что на глазах у инженера Корда и доктора Авандеро я превращаю в бесформенную кучу пыли все их знания и опыт в области техники и промышленности, а они даже не замечают этого, и Корда, воодушевившись, согласно кивает.

— Великолепно! Значит, вы с завтрашнего дня. Непременно. Договорились. А пока...— говорил мне Корда,— пока, чтобы ввести вас в курс дела...

Чтобы ввести меня в курс дела, он собирался дать мне на прочтение протокол их последнего конгресса.

— Вот.— Он подвел меня к одному из шкафов, в котором высились стопы отпечатанных на гектографе докладов.— Видите? Возьмите, пожалуйста, вот этот, затем вот этот, а этот у вас уже есть? Ну вот, пересчитайте, все ли,— говорил он, вытаскивая нужные тетради и складывая их на столе.

И тут я увидел, что с каждой из них взлетает облачко пыли и на каждой от самого легкого прикосновения пальцев остаются следы. Инженер Корда тоже заметил это. Теперь, перед тем как взять очередную тетрадку, он легонько дул на нее и старался незаметно встряхнуть, делая вид, будто это выходит нечаянно и он не догадывается, что листы запылены. Он внимательно следил за тем, чтобы ненароком не коснуться пальцем первой страницы какого-нибудь доклада, но стоило ему задеть ее кончиком ногтя, и на листе появлялась изломанная белая полоска, благодаря которой сразу было видно, что бумага совсем серая от покрывающего ее тончайшего слоя пыли. И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, кончики пальцев у него, видимо, становились грязными. Чувствуя это, он все время пытался их обтереть, то подгибая к ладони, то вытирая большим пальцем и в результате пачкая пылью всю руку. Тогда он машинально опускал ее, словно желая вытереть о свои серые фланелевые брюки, но вовремя спохватываясь и снова брался за доклады. Так мы передавали друг другу эти тетрадки, растопырив пальцы и стараясь брать за самый краешек, будто это были листья крапивы, и при этом не переставали улыбаться, радостно соглашаясь друг с другом, снова улыбаясь и наперебой восклицать:

— О да, очень интересный конгресс! О, какая благородная деятельность!

Однако я заметил, что инженер все больше чувствует себя не в своей тарелке. Он был уже не так уверен в себе, как раньше, и с трудом выдерживал мой торжествующий взгляд, торжествующий и в то же время отчаянный, потому что все получалось именно так, как я думал.

Заснул я поздно. Комната, сперва показавшаяся такой тихой, ночью наполнялась всевозможными звуками, которые я мало-

помалу научился распознавать. Временами до меня доносился искаженный динамиком голос, отдававший какие-то неразборчивые распоряжения. Задремав, я тотчас же просыпался с мыслью, что еду в поезде, потому что по интонации и тембру голос не отличался от выкриков вокзальных громкоговорителей, долетающих ночью до слуха дремлющих пассажиров. Я начал прислушиваться, и в конце концов мне удалось разобрать некоторые слова.

— Два раза равиоли¹ под соусом...— гремел динамик.— Один бифштекс... Одну вырезку...

Комната помещалась как раз над кухней пивного бара «Урбано Раттацци», где горячие блюда подавались даже после полуночи. Приняв заказ, официанты прямо от стойки через микрофон передавали его поварам. Часто в комнату врвался из бара приглушенный гомон или слышалось нестройное пение какой-нибудь компании. А вообще это было приличное, довольно дорогое заведение—всякий сброд в такие не ходит. Редко случалось, чтобы кто-нибудь из посетителей, напившись, устроил среди ночи дебош и начал опрокидывать столики с посудой. Голоса, которые я слышал сквозь дрему, голоса чужой бессонной жизни, казались глухими, бесцветными, лишенными живых интонаций, словно доносившимися из тумана, а гнусавый голос динамика был полон безропотной тоски.

— На гарнир жареный картофель!.. Будут когда-нибудь готовы равиоли?..

Около половины третьего бар «Урбано Раттацци» опускал гофрированные жалюзи. Из кухонной двери выходили официанты; подняв воротники пальто, надетых поверх форменных тирольских курток, они, переговариваясь, проходили по двору. Около трех двор наполнялся грохотом железа—подсобные рабочие выволакивали с кухни пустые тяжелые бидоны из-под пива; они катили их, опрокинув набок, складывали, со звоном ударяя друг о друга, а потом принимались мыть. Этот народ терпеть не мог тишины. Они, несомненно, на почасовой оплате, поэтому работали с прохладцей, посвистывая, и битых два часа неистово гремели гулками цинковыми чудовищами. Около шести утра во двор въезжал грузовик пивоваренного завода, привозил полные бидоны и забирал пустые. К этому времени в зале «Урбано Раттацци» уже гудели электрополотеры: начинался новый день.

В минуты тишины, глубокой ночью, из погруженных во мрак комнат синьорины Маргариты вдруг вырывалось частое-частое бормотание, смешки, вопросы и ответы, произносимые одним и тем же пронзительным женским фальцетом. Все, что думала, глухая говорила вслух: она не умела различать эти два действия и потому в любой час дня или даже проснувшись среди ночи принималась беседовать сама с собой и, одолеваемая своими

¹ Итальянское блюдо, похожее на русские пельмени.

мыслями, воспоминаниями, угрызениями, разыгрывала в лицах целые диалоги. К счастью, она тараторила с таким пылом, что ничего невозможно было разобрать, однако трудно было избавиться от неприятного чувства, будто ты подслушиваешь чужие секреты.

Иногда, неожиданно зайдя в кухню, чтобы попросить горячей воды для бритвы (стука она не слышала, поэтому я вынужден был «попасться» ей на глаза, чтобы известить о своем присутствии), я заставал ее перед зеркалом — она разговаривала со своим отражением, улыбалась ему, строила гримасы или же рассказывала себе самой какие-то истории, сидя на стуле и вперив взгляд в пустоту. В этом случае она тотчас спохватывалась и говорила: «Вот разговорились тут с котом...» или «Ах, извините, не заметила вас, я молилась...» (она была очень набожна); но чаще всего она просто не отдавала себе отчета в том, что ее слышат.

Многие ее тирады действительно были обращены к коту. Она умудрялась говорить с ним часами. Иногда по вечерам она усаживалась у окна и, поджидая, когда он вернется домой после своих скитаний по балконам, крышам и чердакам, не переставая звала: «Кис-кис-кис... котя-котя-котя...» «Котя» был тощим диким котом с черной шерстью, которая после каждой его прогулки становилась пепельно-серой, словно он вбирал в себя всю пыль и сажу квартала. Завидев меня издали, он опрометью мчался прочь и прятался под какую-нибудь мебель, как будто я собирался по меньшей мере дать ему пинка, на самом деле я даже не глядел в его сторону. Зато, как видно, в мое отсутствие он частенько забирался ко мне в комнату. Воротничок и манишка свежeweыстиранной белой рубашки, которую хозяйка раскладывала на мраморной крышке комода, вечно были испещрены черными кошачьими следами. Я начинал кричать и ругаться, но, опомнившись, замолкал — ведь глухая все равно меня не слышала — и, захватив рубашку, нес ее на половину хозяйки, чтобы она своими глазами увидела это безобразие. Она сокрушенно всплескивала руками, бросалась искать кота, чтобы примерно наказать его, и принималась мне объяснять, что, по всей вероятности, в тот момент, когда она входила ко мне, чтобы положить рубашку, кот незаметно прошмыгнул следом, и она заперла его в комнате, а потом он захотел выйти, обнаружил, что дверь заперта, и со злости прыгнул на комод.

У меня было всего три рубашки, и мне то и дело приходилось отдавать их в стирку. Не знаю почему, то ли жизнь, которую я вел, была слишком неустроенной, то ли в редакции, где я работал, надо было убирать получше, но только к середине дня рубашка на мне оказывалась совершенно грязной. К тому же мне частенько приходилось отпраиваться на службу с кошачьими следами на воротничке.

Нередко я находил эти следы даже на подушке. Видно, кот опять оказался запертым в комнате, потому что прошмыгнул за

синьориной Маргарити, которая приходила по вечерам перестелить постель.

Впрочем, стоило ли удивляться, что кот был такой грязный? Ведь достаточно было положить руку на балконные перила, как на ладони отпечатывалась черная полоса. Каждый раз, когда я возвращался домой, повозившись предварительно с ключами у четырех внутренних и всяких замков и дважды просунув пальцы между планками жалюзи, чтобы открыть и снова закрыть свою дверь-окно, руки мои становились такими грязными, что, очутившись наконец в комнате, я поднимал их кверху, чтобы чего-нибудь не запачкать, и прежде всего направлялся к умывальнику.

Вымыв и вытерев руки, я сразу чувствовал огромное облегчение, как будто вновь обрел их после долгого перерыва, и принимался трогать и переставлять те немногие предметы, которые меня окружали. Надо сказать, синьорина Маргарити держала комнату в относительной чистоте. Пыль она вытирала каждый день, но когда мне случалось прикоснуться к такому месту, до которого она не могла дотянуться (она была очень маленького роста, с короткими ручками), как пальцы у меня опять покрывались пушистым слоем пыли, и надо было снова мыть руки.

Хуже всего обстояло с книгами. Я аккуратно разложил их на этажерке синьорины Маргарити и только благодаря им чувствовал себя в этой комнате до некоторой степени дома. Работа моя оставляла мне достаточно свободного времени, и я с удовольствием провел бы часок-другой за чтением. Но, по-видимому, ни одна вещь не способна так пропитываться пылью, как книги. Если я брал с полки одну из них, то, прежде чем открыть, должен был со всех сторон обтереть ее тряпкой, а потом еще хорошенько постучать ею обо что-нибудь, причем каждый раз из нее вылетало целое облако пыли. Затем я снова мыл руки и только после этого ложился на кровать и принимался за чтение. Но стоило перевернуть несколько страниц, и я убеждался, что все мои старания пропали даром, так как пальцы вскоре покрывались сперва едва заметным, а потом все более толстым и густым налетом пыли, отравляя мне всякое удовольствие от чтения. Я вставал, шел к умывальнику, еще раз ополаскивал руки, но теперь уже чувствовал, что пропылилась и рубашка, и вообще вся одежда. Мне хотелось почитать еще немного, но теперь у меня были чистые руки — жалко было их пачкать. И я в конце концов решал уйти.

Само собой разумеется, выходя, я повторял все манипуляции с жалюзи, перилами, замками, и руки у меня становились еще грязнее, чем прежде; но тут уж я ничего не мог поделать — надо было терпеть до тех пор, пока я не приходил на службу. Добравшись до редакции, я немедленно бежал в уборную мыть руки. Однако висевшее там полотенце было все в пятнах, и, прикасаясь к нему руками, я не столько вытирал их, сколько снова пачкал.

Первые дни своей службы я посвятил тому, чтобы навести порядок на отведенном мне письменном столе, который загроможила целая гора всякой всячины—каких-то рукописей, писем, папок, старых газет. Очевидно, до моего прихода на этот стол сваливали без разбору все, чему не могли найти постоянного места. Сперва я решил было совершенно освободить его от бумаг, но, начав разбираться, обнаружил, что среди них немало материалов, нужных для журнала и вообще довольно интересных; я дал себе слово поизучить их более обстоятельно. Словом, уборка кончилась тем, что я не только ничего не выбросил, но к старым бумагам добавил много новых. Правда, теперь все это уже не валялось бесформенной грудой, а было приведено в порядок, который я старался поддерживать. Понятно, что все заваливающиеся на столе бумаги были насквозь пропылены, и от них набиралась пыли только что положенные мною кипы. Ревниво охраняя наведенный порядок, я приказал уборщицам ничего не трогать на моем столе; это привело к тому, что каждый день на бумаги садился тонкий слой пыли и даже новые писчие принадлежности—белые листы, конверты с грифом фирмы—меньше чем за неделю приобретали такой жалкий и грязный вид, что до них противно было дотронуться.

В ящиках стола творилось то же самое. Там десятилетиями наслаивались друг на друга пропыленные кипы бумаг—свидетельство того, что мой стол имел уже немалый стаж службы в разных государственных и частных конторах. Что бы я ни делал за этим столом, через несколько минут я уже ощущал потребность вымыть руки.

А вот у моего коллеги, доктора Авандеро, руки—хрупкие, изящные, но вместе с тем лишённые чрезмерной нервной чувствительности—всегда оставались чистыми, выхоленными, с блестящими белыми, ровно подрезанными ногтями.

— Простите,—решился я как-то спросить его,—неужели у вас не бывает, что, как только вы посидите немного здесь, за столом, руки сразу становятся... вот, полюбуйтесь, видите, какие грязные?

— По-видимому, доктор,—по своему обычаю сокрушенно ответил Авандеро,—вы брались за какие-нибудь вещи или бумаги, с которых недостаточно хорошо стерли пыль. Если позволите, я дам вам совет. Видите ли, самое лучшее—чтобы на столе никогда не было ни одной бумажки.

И в самом деле, на безукоризненно чистом полированном столе Авандеро не было абсолютно ничего, кроме того материала, с которым он в данный момент работал, и шариковой ручки, которую держал в руке.

— Эту привычку,—добавил он,—весьма ценит директор.

Действительно, инженер Корда как-то говорил мне, что если на столе у руководителя нет ни одной бумажки, то сразу видно, что этот руководитель никогда не запускает дел и способен

быстро решить любую проблему.

Но самого Корда никогда не бывало на месте, а если он и появлялся изредка в своем кабинете, то не больше чем на четверть часа. Он сразу же требовал статистические данные и графики, вычерчиваемые на огромных листах бумаги, отдавал быстрые и не очень конкретные распоряжения подчиненным, распределял задания, нисколько не заботясь о том, кому достанется более легкое, а кому потруднее, молниеносно диктовал стенографистке несколько писем, подписывал готовую к отправке корреспонденцию и исчезал.

А вот Авандеро, наоборот, с утра до вечера просиживал в редакции с таким видом, будто трудится не покладая рук, заваливал работой стенографисток и машинисток и при этом умудрялся все делать так, чтобы ни одна бумажка не задерживалась у него на столе больше десяти минут. Этого уж я никак не мог вынести и принялся подсматривать за ним. Вскоре я заметил, что, полежав некоторое время у него на столе, бумаги неизменно переключивались к кому-нибудь другому и там оседали. Однажды я застиг его в тот момент, когда он, повертев в руках несколько писем и не зная, что с ними делать, подошел к моему столу (я как раз в это время вышел, чтобы вымыть руки), положил их среди других бумаг и прикрыл папкой. После этого, вытащив из кармана носовой платок, он обтер руки и вновь уселся перед своей шариковой ручкой, лежащей параллельно краю девственно чистого листа бумаги.

Я имел полную возможность войти и поставить его в глупое положение. Но мне достаточно было увидеть это, достаточно было убедиться, что все обстоит именно так, как я предполагал.

Я входил к себе в комнату через балкон, поэтому остальная часть квартиры оставалась для меня в полном смысле слова белым пятном. Синьорина Маргарити жила одна, сдавая две соседние комнаты, выходящие во двор. Одну из них занимал я, что же касается другого жилья, то о его существовании я догадывался только по тяжелым шагам, долетавшим ко мне через стену рано утром и глубокой ночью. Он, как я узнал, служил сержантом в полиции, и днем его никогда не бывало дома. Вся остальная — судя по всему, достаточно просторная — часть квартиры оставалась в полном распоряжении синьорины Маргарити.

Иной раз мне приходилось разыскивать ее, чтобы позвать к телефону. Звонка для нее не существовало, и в конце концов отвечать должен был я. Но голос в трубке она слышала достаточно хорошо, и длинные беседы с приятельницами по приходской общине были одним из главных ее развлечений.

— К телефону! Синьорина Маргарити! Вас просят к телефону! — кричал я ей в дверь.

Однако кричать, а тем более стучать к ней было совершенно

бесполезно. Надо было идти и разыскивать ее; во время своих блужданий по хозяйской половине я воочию убедился в существовании длинного ряда комнат — гостиных, столовых, загроможденных обветшалой, но претенциозной мебелью, абажурами, разными безделушками, картинками в рамках, статуэтками и календарями. Во всех комнатах царил идеальный порядок и чистота — везде блестел натертый паркет и сияли белоснежные чехлы на креслах. Вот уж где не было ни пылинки.

В какой-нибудь из дальних комнат я находил наконец синьорину Маргарити. В косынке и вылинявшем халатике она самозабвенно поллировала паркет или протирала мебель. Я принимался неистово махать руками в сторону телефона, глухая бежала в коридор и заводила свои бесконечные разговоры, по интонации ничем не отличавшиеся от ее бесед с котом.

Я возвращался к себе в комнату, замечал на подставке умывальника или на абажуре слой пыли чуть не в палец толщиной, и меня охватывала страшная ярость. Эта женщина целыми днями только тем и занималась, что наводила чистоту и порядок в своих комнатах, а у меня не удосужилась хотя бы смахнуть пыль! Круто повернувшись, я снова направлялся к хозяйке с твердым намерением выразить ей свое возмущение — если не на словах, то хотя бы пользуясь жестами и гримасами, — и заставал ее в кухне. Тут было еще грязнее, чем у меня в комнате. На столе заляпанная, потерявшая клеенка, в буфете невымытые чашки, пол черный от грязи, с расшатанными кафельными плитками. И у меня опускались руки: я понимал, что кухня была единственным во всей квартире местом, где синьорина Маргарити действительно жила, а все остальное, все эти разукрашенные, без конца подметаемые и натираемые комнаты были чем-то вроде произведения искусства, в которое она вкладывала свои мечты о красоте; и, желая сохранить их идеальное совершенство, она обрекала себя на то, чтобы никогда в них не жить, чтобы входить туда не хозяйкой, а лишь прислужгой и чтобы оставшиеся после уборки часы проводить в грязи и пыли.

«Проблемы очистки воздуха» выходили два раза в месяц и имели подзаголовок: «От дыма, от вредных химических испарений и продуктов сгорания». Журнал был органом КОАГИПР — «Компании по очистке атмосферы городов и промышленных центров». КОАГИПР был связан с родственными организациями других стран, присылавшими свои бюллетени и брошюры. Нередко созывались международные конгрессы, посвященные прежде всего обсуждению остро стоящей проблемы смога.

Мне никогда не приходилось заниматься подобными вопросами, но я знал, что выпускать такой специальный журнал легче, чем кажется на первый взгляд. Для этого, как правило, просматривают иностранные журналы, некоторые статьи переводят, к

ним добавляют заметки, полученные из агентства газетных вырезок,— и вот уже готова информационная часть. Кроме того, всегда находятся два-три специалиста, готовые в любой момент прислать нужную статейку, или какой-нибудь изобретатель, желающий оповестить всех об очередном своем творении, просит напечатать в виде статьи описание его нового патента. Да и компания со своей стороны, как ни мизерна ее деятельность, всегда может поместить какое-нибудь сообщение о текущих задачах—его набирают обычно жирным шрифтом. А когда проходит какой-либо конгресс, то ему посвящается по меньшей мере номер от первой до последней страницы, и еще останутся доклады и отчеты, которые можно растянуть на несколько номеров, если нечем будет заполнить три-четыре полосы.

Писать передовицу входит в обязанность главного редактора, он же президент компании. Однако инженер Корда, вечно до предела занятый (он был членом правления многих предприятий и компании мог уделять лишь ничтожную часть своего времени), тут же перепоручил это дело мне. Я должен был развить в ней идеи, которые он изложил мне с присущей ему ясностью и лаконизмом. Статью надлежало подготовить к его приезду. Разъезжал он много, так как его предприятия были разбросаны чуть ли не по всей стране. Но из всей его обширной деятельности президентство в КОАГИПРе—должность почетная, но ничего, кроме почета, не приносящая—давало ему, по его словам, самое большое удовлетворение, «ибо,—пояснил он,—это битва, которую я веду из идейных соображений».

У меня, напротив, никаких идейных соображений не было, и я совершенно не хотел их иметь. Единственное, чего я хотел,—это написать статью, которая бы ему понравилась, чтобы сохранить за собой место—оно было не лучше и не хуже всякого другого—и свой образ жизни, потому что он тоже был не лучше и не хуже любого возможного образа жизни. Я уже ознакомился с тезисами инженера Корда («Если бы все последовали нашему примеру, атмосфера была бы уже чистой...»), с его излюбленными формулировками («Мы не утописты, пусть каждый имеет это в виду, мы деловые люди, которые...») и готовился писать именно так, как он ожидал, слово в слово. А что я еще должен был написать? То, что думал, до чего дошел собственным умом? Хорошенькая бы вышла статья, уверяю вас! Какой в ней был бы оптимистический взгляд на весь этот деловой мир—мир людей, приносящих пользу! Но стоило мне перевернуть вверх ногами свое душевное состояние (сделать это я мог без труда—достаточно было обозлиться на себя самого), и я уже чувствовал вдохновение, необходимое для того, чтобы написать передовицу в стиле моего президента.

«Мы уже стоим на пороге разрешения проблемы летучих продуктов сгорания,—писал я,—и оно наступит, непременно наступит,—я отчетливо представлял удовлетворенную улыбку на

лице инженера,—и тем скорее, чем более ясное понимание встретит действенный импульс, данный технике Частной Инициативой—(в этом месте инженер, по всей вероятности, взмахнет рукой, чтобы выделить мою мысль),—со стороны органов Государства, к которым уже столько раз зывали...»

Это место я прочел вслух доктору Авандеро. Пока я читал, Авандеро смотрел на меня с обычной своей бесцветно-вежливой миной, и его маленькие холеные ручки ни разу не сдвинулись с чистого листа бумаги, лежавшего в центре его письменного стола.

— Ну что скажете? Вам не нравится?

— Нет, что вы, что вы!..—поспешно проговорил он.

— Тогда послушайте конец: «Возражая тем, кто предрекает промышленной цивилизации самое мрачное и катастрофическое будущее, мы утверждаем, что никогда не возникнет (как, впрочем, никогда в действительности и не возникало) противоречия между свободным и закономерным расширением промышленности и требованиями необходимой для человеческого организма гигиены,—читая, я несколько раз бросал взгляд на Авандеро, но он не отрывал глаз от листа бумаги перед собой,—между дымом наших неумолимых заводских труб и голубизной и зеленью несравненных красот нашей природы...» Ну, как по-вашему?..

Некоторое время Авандеро без всякого выражения смотрел на меня, не разжимая губ.

— По-моему,—сказал он,—ваша статья, несомненно, очень хорошо выражает самую суть... скажем так, конечной цели, которую выдвигает наша компания. Действительно, всеми силами стремиться...

— Хм,—пробормотал я.

Признаться, я ожидал, что даже такой церемонный субъект, как мой коллега, не станет все же прибегать к подобным выкрутасам, чтобы похвалить мою статью.

Дня через два, как только вернулся инженер Корда, я явился к нему и отдал передовицу. Он при мне внимательно прочитал ее, дойдя до последней строчки, аккуратно собрал листы, словно собирался прочесть еще раз, но вместо этого сказал:

— Хорошо.—Подумал немного и повторил:— Хорошо.— Еще немного помолчал и добавил:— Вы молоды.

И, как видно ожидая, что я стану возражать, хоть я и не думал этого делать, быстро заговорил:

— Нет, я, позвольте вам заметить, вовсе не собираюсь критиковать вас. Вы молоды, полны веры, смотрите далеко вперед. Но положение, позвольте вам заметить, очень серьезно, да-да, гораздо серьезнее, чем можно заключить из вашей статьи. Будем говорить начистоту: опасность отравления атмосферы больших городов чрезвычайно велика. Положение тяжелое, это подтверждают результаты анализов. Именно потому, что проблема так сложна, мы и работаем здесь над ее разрешением. Если мы ее не решим, то наши города задохнутся в облаке смога.— Он

поднялся и начал ходить взад и вперед по комнате.—Мы не скрываем трудностей. Мы не похожи на других—на тех, которые обязаны были бы прежде всего заниматься этим делом, а на самом деле на него плюют. Хуже того—ставят нам палки в колеса.—Он остановился против меня и, понизив голос, продолжал: — Именно потому, что вы молоды, вы, возможно, полагаете, что все с нами согласны. Нет! Наоборот! Нас очень мало. И на нас нападают со всех сторон. Да-с, молодой человек! Со всех сторон. И все-таки мы не опускаем руки. Мы во всеуслышание говорим об опасности. Мы действуем, наконец. Решаем проблему. Вот что я хотел бы ясно услышать в вашей статье. Вы поняли?

Да, я отлично понял. В своем озлоблении, притворяясь, что стою на точке зрения, противоположной моей собственной, я хватил через край. Но теперь-то уж я сумею правильно расставить акценты в моей статье. Новая передовица должна была лежать на столе у инженера через три дня. Я переписал ее с начала до конца. Две трети статьи заняла мрачная картина европейских городов, пожираемых смогом, одну треть я отвел на описание образцового города, нашего города, светлого, богатого кислородом, где разумные и целенаправленные усилия различных звеньев не разобщены, и так далее.

Чтобы легче было сосредоточиться, я писал статью дома, лежа на кровати. Луч солнца, косо спускавшийся в колодец во дворе, пробирался через стекла в комнату, и я видел, как сквозь него проносились мириады неосязаемых пылинок. Одеяло, на котором я лежал, наверно, было сплошь пропитано ими. Еще немного, думал я, и оно покроется таким же черным налетом, как планки жалюзи и перила галереи.

Доктор Авандеро, когда я дал ему почитать свою новую статью, отнесся к ней, как мне показалось, чуть доброжелательнее, чем к первой.

— Этот контраст,—сказал он,—контраст между положением в нашем городе и в других городах, который, я уверен, вы ввели по указанию президента, по-настоящему удался вам.

— Нет-нет, инженер мне ничего не говорил, это моя находка,—возразил я, немного уязвленный тем, что коллега не считает меня способным самостоятельно мыслить.

Реакция Корда явилась для меня неожиданностью. Он положил отпечатанные листы на стол и покачал головой.

— Нет, мы не поняли друг друга, не поняли друг друга,—быстро сказал он и принялся засыпать меня цифрами, характеризующими объем промышленного производства в нашем городе, количество угля и нефти, сжигаемых ежедневно, число двигателей внутреннего сгорания, каждый день появляющихся на улицах. Потом он перешел к метеорологическим данным, а после этого молниеносно сравнил те и другие показатели с показателями крупнейших европейских городов.—Мы живем в огромном задымленном промышленном центре. Вы понимаете? А отсюда ясно,

что смог есть также и у нас, и не меньше, чем в любом другом городе. Так можно ли утверждать, уподобляясь конкурирующим с нами городам в нашей собственной стране, что у нас смога меньше, чем у них? Нет, нельзя, и об этом вы можете совершенно недвусмысленно написать в своей статье, и не только можете, но и должны написать! В нашем городе проблема загрязненности воздуха стоит острее, чем где бы то ни было, но в то же время мы делаем больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы быть на высоте положения. В то же самое время, вы понимаете?

Я понимал, но понимал также, что нам никогда не понять друг друга. Эти почерневшие фасады домов, эти мутные стекла, эти подоконники, на которые нельзя облокотиться, эти расплывчатые пятна вместо человеческих лиц, эта мгла, которая теперь, в самый разгар осени, уже не ощущалась как влажное дыхание непогоды, а стала как бы принадлежностью, свойством самих предметов, словно каждое живое существо, каждая вещь день ото дня становились все более бесформенными, обесцвечивались и мертвели,— словом, все то, что для меня было олицетворением всеобщей нищеты, для таких, как он, служило, по-видимому, признаком богатства, превосходства и могущества и вместе с тем кричало об опасности уничтожения, о трагедии и тем самым давало возможность этим людям топтаться на месте, чувствуя себя исполненными героического величия.

Я в третий раз переписал статью. Теперь она получилась. Только самый конец («Итак, мы находимся перед лицом проблемы, тающей в себе страшную опасность для общества. Решим ли мы ее?») вызвал у инженера Корда некоторые возражения.

— Не слишком ли это неуверенно?—спросил он.— Не отнимет ли это у читателя убежденность в том, что проблема будет решена?

Проще всего было убрать вопросительный знак. «И мы ее решим». Вот так, без всяких вопросительных знаков—спокойная уверенность.

— А не покажется ли, что мы слишком уж спокойно относимся к этому вопросу?— снова возразил Корда.— Словно это самая заурядная проблема, которую можно решить административным путем?

В таком случае следовало повторить фразу дважды. Один раз с вопросительным знаком, один раз без него. «Решим ли мы ее? Мы ее решим».

Да, но так, возможно, подумают, будто мы откладываем это решение на далекое будущее. Тогда мы попробовали поставить все в настоящем времени. «Решаем ли мы ее? Мы ее решаем». В таком виде фраза не звучала.

Всякий, кто пробовал писать, знает, как это нелегко: переставишь одну-единственную запятую, и приходится подыскивать другое слово, потом изменять конструкцию всего предложения, и вот уже все разлетается вдребезги. Мы проспорили полчаса. Под

конец я предложил поставить вопрос и ответ в разных временах. «Решим ли мы ее? Мы ее решаем». Президент был в восторге, и с этого дня его вера в мои способности ни разу не была поколеблена.

Как-то ночью меня разбудил телефон. Звонки были долгими — вызывала междугородная. Я зажег свет, было около трех. И прежде чем я решил встать, раньше чем бросился в коридор и схватил в темноте телефонную трубку, в первое же мгновение, как только до меня сквозь сон смутно долетел телефонный звонок, я уже знал, что это Клаудия.

И вот сейчас из трубки выплескивался ее голос, словно долетавший с другой планеты, и мне казалось, будто у меня перед глазами, еще полными сна, мелькают и гаснут искорки и слепящие вспышки, тотчас же снова превращающиеся в переливы ее голоса, полного той драматической взволнованности, которую она вкладывала во все, о чем бы ни говорила, и которая теперь достигла меня даже здесь, в убогом коридоре синьорины Маргариты. И вдруг я понял: никогда я не сомневался в том, что Клаудия найдет меня, больше того, только ее звонок и ждал я все последние месяцы.

Она даже не подумала спросить, как я жил все это время, как случилось, что я оказался здесь, даже не объяснила, как ей удалось меня найти. Ей нужно было со всеми подробностями рассказать мне тьму вещей, которые, как все ее дела, были крайне запутанны и связаны со сферами, совершенно мне неизвестными и чуждыми.

— Ты мне нужен, сейчас же, немедленно! Приезжай с первым поездом.

— Да, но у меня тут служба... Компания...

— А-а! Так ты, наверно, увидишь коммендаторе... Скажи ему...

— Да нет, пойми, я всего-навсего...

— Милый, приезжай, приезжай сейчас, хорошо?

Как объяснить ей, что я разговариваю из такого места, где все покрыто пылью, где планки жалюзи обросли шершавой черной коростой, что на моих воротничках черные кошачьи следы, что только в этом мире я и могу жить, что во всей вселенной только он подходит для меня, а тот, в котором живет она, может показаться мне реальным только благодаря оптическому обману? Да она бы меня и слушать не стала. Она слишком привыкла смотреть на все сверху вниз и, вполне естественно, просто не заметила бы убожества теперешней моей жизни. И вообще наши отношения, разве не были они плодом этой ее высокомерной рассеянности? Именно рассеянность не позволяла Клаудии ясно понять, что я лишь скромный провинциальный журналист без будущего, без всякого честолюбия, и заставляла ее по-прежнему

относиться ко мне так, будто я принадлежал к аристократическому кругу богачей и людей искусства, где она все время вращалась и где однажды летом я был ей представлен благодаря чистой случайности, какие нередко приключаются на курортах. Да она и не хотела этого понимать, потому что в таком случае ей пришлось бы признаться себе в том, что она ошиблась. И Клаудия продолжала приписывать мне достоинства, влияние и вкусы, которых я был начисто лишен. Вопрос о том, кто я на самом деле, был, в сущности, мелочью, однако в мелочах она не терпела опровержений.

Ее голос становился все нежнее, сердечнее — наступал тот момент, которого я, сам себе в том не признаваясь, все время ждал, потому что такие порывы обычно сметали все перегородки между нами и как бы оставляли нас наедине друг с другом; в такие минуты нам обоим было все равно, кто мы. Однако едва мы успели сказать друг другу несколько нежных слов, как сзади, за стеклянной дверью, зажегся свет и послышался глухой кашель. Эта застекленная дверь, возле которой висел телефон, вела к моему соседу, полицейскому. Моментально понизив голос, я договорил прерванную фразу, но теперь, когда я знал, что меня подслушивают, естественная сдержанность заставляла меня выбирать менее пылкие выражения, и наконец я дошел до того, что стал бормотать какие-то холодные, невнятные фразы. Свет за стеклянной дверью погас, но тут начались упреки на другом конце провода:

— Что ты такое говоришь? Говори громче! И это все, что ты хотел мне сказать?

— Но я же не один...

— Как? С кем же ты?

— Да нет, послушай, здесь... понимаешь, я разбудил соседей, сейчас поздно...

Теперь она сердилась. Не таких объяснений ждала она от меня; ей хотелось, чтобы я откликнулся иначе, более горячо, так, чтобы вдруг улетучилось как дым разделявшее нас расстояние. Но все мои ответы были осторожными, жалобными, заискивающими.

— Но послушай, Клаудия, не надо так, я тебя уверяю, умоляю тебя, Клаудия, я...

В комнате сержанта снова зажегся свет. Мои любовные признания превратились в нытье, я что-то бормотал, почти прижав трубку к губам.

Рабочие во дворе катали пустые бидоны из-под пива. Из темных комнат синьорины Маргарити доносилось невнятное бормотание, прерываемое короткими взрывами смеха, словно у нее были гости.

Сержант разразился проклятиями на своем южном диалекте. Я стоял босиком на кафельном полу, а с другого конца провода страстный голос Клаудии тянулся ко мне, и я со своим бессвяз-

ным лепетом пытался броситься ей навстречу, но каждый раз едва нам удавалось перекинуть друг к другу шаткий мостик, как он тут же разлетался в щепки, и слова любви, раздавленные грубым напором обстоятельств, дробились одно за другим, превращаясь в мертвую пыль недомолвок.

С той поры телефон стал звонить в любой час дня и ночи, и в темный коридор рыжим пламенем, испещренным черными провалами пауз, врвался голос Клаудии. Он врвался слепым прыжком леопарда, который не знает, что перед ним ловушка, и потом следующим прыжком уже выскакивает на свободу, даже не заметив предательской западни. Зато я, мечущийся между нежностью и болью, радостью и злостью, я-то видел, как ее голос смешивается с окружающим убожеством и запустением, как смешивается с ревом громкоговорителя в баре «Урбано Раттацци», выкрикивающего: «Один раз равнولي в бульоне», с грязными тарелками синьорины Маргарити в раковине умывальника, и мне казалось, что вот-вот и сама Клаудия замарается всем этим. Но нет, она уносила прочь по незримым проводам, так ничего и не заметив, и я снова оказывался один на один с пустотой, оставшейся после ее исчезновения.

Иногда Клаудия была весела, беззаботна, смеялась, отвечала невпопад, пыталась подшутить надо мной, и я под конец заражался ее весельем, но в этих случаях мне было еще горше видеть унылый двор и пыль, потому что я готов был поддаться искушению и признать, что жизнь может быть совсем иной.

Иногда же, наоборот, Клаудия казалась подавленной, охваченной какой-то лихорадочной тоской, и эта ее тоска делала еще безрадостнее мое обиталище, мою работу в журнале «Проблемы очистки воздуха», и, не в силах освободиться от своего угнетенного состояния, я жил ожиданием нового, еще более трагического телефонного звонка, ждал, что он разбудит меня в самый глухой час ночи, и, когда вместо этого ее голос, долетавший до меня, оказывался неожиданно веселым или томным, словно она уже совсем не помнила о безысходном отчаянии, владевшем ею накануне вечером, я, прежде чем почувствовать облегчение, еще некоторое время пребывал в совершенной растерянности.

— Алло, ты меня хорошо слышишь? Откуда ты звонишь, из Таормины?

— Да, я здесь с друзьями. Здесь восхитительно! Вылетай немедленно!..

Клаудия звонила всегда из разных городов и каждый раз, тоскуя или радуясь жизни, обязательно требовала, чтобы я немедленно примчался к ней и разделил с ней это ее настроение. Я принимался подробнейшим образом объяснять ей, почему для меня сейчас абсолютно немисливо двинуться в путь, но она никогда не давала мне договорить, тотчас же перескакивала на

другую тему, чаще всего обрушиваясь на меня с обвинительной речью или вдруг ни с того ни с сего раздражаясь взволнованной тирадой по поводу каких-то моих выражений, которые я, сам того не заметив, употребил в разговоре и которые показались ей отвратительными или, напротив, очаровательными.

Когда время разговора кончалось и телефонистки дневной или ночной смены, подключаясь к нам, говорили: «Разъединяем», Клаудия, не задумываясь, словно мы обо всем уже договорились, бросала: «Так в котором часу ты приезжаешь?» Я, запинаясь, принимался что-то бормотать в ответ, и мы решали окончательно договориться в следующий раз, когда она мне позвонит или когда я ей позвоню. Я был уверен, что за это время у Клаудии семь раз переменятся планы, и хотя необходимость в моем немедленном приезде останется, но уже при других условиях, а это оправдывает новые отсрочки. И все же в глубине души я чувствовал нечто вроде угрызений совести, так как, положив руку на сердце, не мог сказать, что у меня нет совершенно никакой возможности поехать: ведь я мог, например, попросить аванс в счет будущего месяца и под каким-нибудь благовидным предлогом получить отпуск дня на три, на четыре,—но меня одолевали сомнения, и я грыз себя за свою нерешительность.

Синьорина Маргарити ровно ничего не слышала. Если, проходя по коридору, она видела меня у телефона, то молча кивала мне, не подозревая о тех бурях, что бушевали у меня в душе в эту минуту. Ее жилец, наоборот, из своей комнаты слышал абсолютно все и по своей должности полицейского, должно быть, обращал внимание на малейшее мое движение. К счастью, его почти никогда не бывало дома, и порой наши телефонные разговоры становились по-настоящему свободными и непринужденными; если настроение Клаудии располагало к этому, между нами снова возникала та атмосфера внутренней близости, когда каждое слово звучит теплее, доверчивее и будит самый горячий отклик. Иногда же, напротив, случалось так, что она была в самом нежном расположении духа, а я находился в осаде и мог отвечать только односложными восклицаниями, туманными, уклончивыми фразами, потому что за дверью, на расстоянии одного метра, торчал сержант полиции. Однажды он даже приоткрыл дверь, высунул в коридор свою черную усатую голову и окинул меня любопытным взглядом. Надо сказать, что при других обстоятельствах я попросту не обратил бы внимания на этого человека, однако, когда мы, оба в пижамах, впервые столкнулись лицом к лицу среди ночи в этой дыре — я уже полчаса объяснялся в любви по междугородному телефону, а он недавно вернулся домой с дежурства,—мы, конечно, сразу же возненавидели друг друга.

В разговорах Клаудии частенько проскальзывали громкие имена людей, с которыми она постоянно общалась. Я же, во-первых, ровным счетом никого не знаю, во-вторых, терпеть не

могу привлекать к себе внимание. Поэтому, если мне все же приходилось отвечать ей, я старался не называть имен, говорил обиняками, а она, не понимая, что все это значит, выходила из себя. Кроме того, я всегда держался подальше от политики, именно потому, что не люблю выставлять себя напоказ, а сейчас, когда я зависел от компании, контролируемой государством, я тем более поставил себе за правило ничего не знать ни о правых, ни о левых. А Клаудии как-то вечером вдруг взбрело в голову спросить меня об известных депутатах. Надо было что-то отвечать немедля, не задумываясь, а за дверью находился этот сержант.

— Первый, которого ты назвала, да-да, первый,— пробормотал я.

— Кто? Кого ты имеешь в виду?

— Да вот этого—ну, того, что потолще... нет, того, что пониже...

Одним словом, я ее любил. И был несчастен. Но разве она могла понять мое несчастье? Есть люди, которые обрекают себя на самое серое, самое убогое существование из-за того, что пережили какое-то горе, какую-то неудачу, однако есть и другие, которые поступают так потому, что не в силах выдержать слишком большое счастье, выпавшее на их долю.

Я питался в одном из недорогих ресторанчиков, которые в этом городе всегда содержат выходцы из Тосканы. Их семья связаны между собой родственными узами, а девушки, работающие в этих ресторанах официантками,—все до одной уроженки деревни Альтопашо. Они проводят здесь всю молодость, никогда не забывая об Альтопашо и держась особняком; по вечерам ходят гулять только с парнями из Альтопашо, которые работают при кухне в тех же ресторанах или на заводиках и в механических мастерских, но и в этом случае держатся поближе к ресторанчикам, которые для них нечто вроде околиц их деревни. Рано или поздно эти девушки и парни женятся, некоторые возвращаются в Альтопашо, другие оседают в городе, работают в ресторанах своих родственников и односельчан в надежде в один прекрасный день открыть собственное дело.

Известно, кто питается в таких ресторанах. Если не считать случайных посетителей, сюда ходят главным образом холостые служащие, старые девы из контор, несколько студентов и военных. Все здесь знают друг друга, между столиками завязываются разговоры, потом организуются общие столы, и наконец, у людей, которые в общем-то не поддерживают знакомства, входит в привычку обедать вместе.

Ни один из завсегдатаев никогда не упустит случая пошутить с официантками. Шутки, понятно, самые добродушные: тосканок спрашивают об их суженых, обмениваются остротами, а если не находится подходящей темы для беседы, обращаются к телевидению, обсуждают, кто из актеров, участвовавших в последних

программах, симпатичный и кто несимпатичный.

Что до меня, то я никогда не заговаривал с официантками и обращался к ним только затем, чтобы заказать обед. А поскольку я сидел на диете, заказы мои были всегда одинаковы — спагетти с маслом и отварное мясо с зеленью. Я никогда не называл девушек по именам (хотя даже я в конце концов запомнил все имена) и предпочитал всем одинаково говорить «синьорина», только чтобы не подумали, будто я с ними на короткой ноге, и вообще чтобы показать, что в этот ресторанный я попал случайно, к завсегдатаям не принадлежу и, даже если буду еще бог знает сколько времени каждый день заходить сюда, все-таки предпочитаю чувствовать себя прохожим, который сегодня здесь, завтра там. Так мне было спокойнее.

Не то чтобы эти девушки были мне неприятны, нет, напротив, и официантки, и постоянные посетители этого заведения были приятные, симпатичные люди, и всегдашняя сердечная атмосфера, царившая вокруг, мне нравилась, больше того, мне бы, наверное, чего-то не хватало, не будь здесь такой атмосферы, и все же я предпочитал наслаждаться ею со стороны. Я избегал вступать в разговоры с завсегдатаями ресторана, старался даже не здороваться, потому что известно, к чему ведут такие знакомства. Завязать их ничего не стоит, а потом оказываешься связанным по рукам и ногам. Кто-нибудь спрашивает: «Что вы делаете сегодня вечером?» — и вот ты уже сидишь вместе со всеми у телевизора или в кино. С этого вечера ты попадаешь в компанию людей, совершенно тебе безразличных, ты принужден рассказывать о своих делах и, хочешь не хочешь, слушать рассказы о чужих.

Я старался выбирать пустой столик, разворачивал утреннюю или вечернюю газету (я покупал ее по дороге на работу, просматривал заголовки, а чтение откладывал до обеда, когда сяду за столик в ресторане) и принимался читать ее от строчки до строчки. Газета помогала мне и в тех случаях, когда свободных столиков не было и приходилось довольствоваться столиком, за которым уже кто-то сидел. Я углублялся в чтение, и никто не приставал ко мне с разговорами. Но вообще я старался всегда устроиться за отдельным столом и из-за этого усвоил себе привычку опаздывать к обеденному часу и являться, когда основной массы посетителей уже не было в ресторане.

Правда, тут имелось свое неудобство — крошки. Частенько мне случалось занимать столик, который только-только освободился и был усыпан крошками. Сидя за таким столом, я избегал смотреть на него до тех пор, пока не приходила официантка, не уносила прочь грязные тарелки и стаканы, не обмахивала скатерть и не стелила новую бумажную салфетку. Иногда это делалось наспех и между скатертью и бумажной салфеткой оставались хлебные крошки, действовавшие мне на нервы.

Выбирая время, скажем, для завтрака, лучше всего заметить

час, когда официантки, думая, что все посетители уже прошли, старательно прибирают в зале, готовят столики к вечеру, после чего вся семья— и хозяева, и официантки, и повара, и кухонные рабочие—накрывает общий стол и садится наконец поесть сама. Как раз в этот момент я обычно и входил в ресторан со словами:

— О, я, наверно, слишком поздно, вы уже не сможете меня покормить?

— Как так не сможем? Располагайтесь, пожалуйста, где вам удобно. Лиза, займись доктором.

Я усаживался за чистый столик, один из поваров возвращался на кухню, я читал газету, спокойно ел и слушал, как за общим столом смеются, шутят и рассказывают разные истории, случившиеся в Альтопашо. Порой мне приходилось по четверть часа ждать следующего блюда, так как официантки, сидя поодаль, ели, болтая между собой. Иногда я даже решался напомнить им о себе:

— Синьорина, апельсин...

— Сию минуту!— тотчас отзывались они.— Анна, сходи ты! Или ты, Лиза!

Но меня все это устраивало, я был доволен.

Покончив с едой и чтением, я выходил из ресторана, унося с собой свернутую в трубку газету, возвращался домой, поднимался к себе в комнату, бросал газету на кровать и мыл руки. Моего прихода уже дождалась синьорина Маргарити. Заметив, что я пришел, она подстерегала минуту, когда я снова уходил из дому, и, едва я оказывался за дверью, входила ко мне в комнату и брала газету. Не решаясь попросить ее у меня, она уносила газету потихоньку и так же потихоньку снова клала ее на кровать до моего возвращения. Можно было подумать, что она стыдится своего желания просмотреть газету, считает его проявлением легкомысленного любопытства. Как выяснилось, она читала один-единственный раздел—извещения о смерти.

Однажды, вернувшись домой, я застал ее с газетой в руках. Она страшно смутилась и решила, что должна оправдаться передо мной.

— Вы уж извините меня,—забормотала она,—я у вас иногда беру газету, смотрю, кто умер, потому что, знаете, иной раз встречаются знакомые среди усопших...

Моя идея—завтракать и обедать как можно позже—приводила к тому, что иногда, например в те вечера, когда я ходил в кино, я и вовсе не попадал в свой ресторанчик. Немного обалдевший после фильма, я выходил на улицу, когда вокруг неоновых вывесок уже собиралась густая осенняя мгла, помещавшая город в иное измерение. Взглянув на часы, я говорил себе, что в маленьких ресторанчиках я, пожалуй, ничего уже для себя не найду или что теперь я все равно выбился из своего

привычного графика и мне едва ли удастся снова войти в него, и принимал решение поужинать в пивном баре «Урбано Раттацци», в нижнем этаже моего дома.

Войти с улицы в бар значило не просто перейти от тьмы к свету, войти туда значило оказаться совсем в другом мире, вступить из расплывчатого, разреженного, зыбкого мира улицы в мир прочных форм, весомых объемов, сверкающих яркими красками поверхностей, в мир, где рядом с пурпуром ветчины, которую резали на стойке, мелькала зелень тирольских курток на официантах и горело золото пива. В зале всегда было полно народу. На улице я привык смотреть на прохожих как на безликие тени, да и себя представлял тенью, одной из многих теней, скользящих мимо домов. А здесь передо мной вдруг открывалась целая вереница лиц, мужских и женских, ярких, как плоды, и каждое из них не походило на все остальные, и все были чужими. Какое-то время я еще надеялся сохранить среди них безликость призрака, но вскоре убеждался, что и сам стал таким же, как они, обрел настолько отчетливый внешний вид, что даже мог разглядеть в зеркале черные точки отросшей с утра бороды. Здесь негде было укрыться. Даже дым, поднимавшийся от бесчисленных сигарет и плотным облаком заволакивающий потолок, существовал как бы сам по себе, имел свои, четко очерченные границы, свою плотность и нисколько не изменял окружающих предметов.

Протолкавшись к стойке, возле которой всегда толпился народ, я поворачивался спиной к залу, к смеху и выкрикам, летящим от каждого столика, садился на первый освободившийся табурет и пытался завладеть вниманием официанта, чтобы заполучить квадратную картонную тарелочку, кружку пива и меню. Я понимал, что нелегко заставить его выслушать меня здесь, в баре «Урбано Раттацци», за которым я наблюдал из ночи в ночь, каждый час жизни которого был мне так хорошо известен, чей гомон (сейчас в нем терялся и мой голос) каждый вечер пробирался ко мне в комнату, перелетая через ржавые перила.

— Клецки в масле, пожалуйста,—говорил я.

Наконец официант за стойкой обратился на меня внимание, наклонился к микрофону и отчеканивал:

— Один раз клецки в масле!

В памяти у меня тут же возникал механический крик динамика в кухне, и мне казалось, что я в одно и то же время сижу здесь, у стойки, и лежу на кровати там, наверху, в своей комнате; слушая эту частую очередь слов, которые, сталкиваясь, перемешиваясь со звоном стаканов и звяканьем приборов, носились между веселыми компаниями пьющих и едящих людей, я пытался раздробить их, уловить тот гул, что преследовал меня каждый вечер.

Сквозь отчетливые линии и краски этой стороны мира я постепенно различал его обратную сторону—единственную, где

я чувствовал себя дома. А может быть, оборотная сторона, изнанка, была именно здесь, среди сияющих огней и широко открытых глаз, в то время как единственной стороной, которая что-то значила, лицом всех вещей была как раз та, что скрывалась в тени? Может быть, и бар «Урбано Раттацци» существовал лишь затем, чтобы я мог слышать в темноте грохот пустых бидонов и искаженный до неузнаваемости голос, выкрикивающий: «Один раз клецки в масле!» — или затем, чтобы разорвать задернувший лицу туман неоновым светом вывески и яркими квадратами запотевших витрин со смутно вырисовывающимися за ними силуэтами людей?

Как-то утром меня разбудил телефонный звонок Клаудии. Однако это был не вызов междугородной станции: Клаудия была в городе, на вокзале, она только что приехала и звала меня, так как, выходя из спального вагона, в котором ехала, потеряла один из своих многочисленных чемоданов.

Я примчался как раз в тот момент, когда она во главе целого кортежа носильщиков выходила из здания вокзала. В ее безмятежной улыбке не было и следа того волнения, которым она заразила меня всего несколько минут назад, когда звонила по телефону. Она, как всегда, была очень красива и весьма элегантна. Каждый раз при виде ее у меня дух захватывало, словно за то время, что мы не встречались, я умудрялся забыть, какая она. Сейчас она неожиданно объявила, что без ума от этого города, и одобрила мое решение поселиться здесь. Стоял свинцово-пасмурный день, а Клаудия восхищалась светом и яркими красками улиц.

Она заказала номер в одной из самых больших гостиниц. Для меня войти в холл, обратиться к портье, потребовать, чтобы он по телефону дал знать о нашем прибытии, подняться в сопровождении грума в лифте было истинной пыткой, насилием над собой. То, что Клаудия якобы по каким-то своим делам, а на самом деле, видимо, только для того, чтобы побыть со мной, решила на несколько дней приехать в этот город, очень растрогало меня, растрогало и в то же время повергло в смущение, потому что уж теперь-то между ее образом жизни и моим развернется настоящая бездна.

Как бы там ни было, но в это хлопотливое утро я с честью сумел выпутаться из положения, справился со всеми делами и даже улучил минутку забежать на службу и взять аванс в счет следующего месяца, дабы без боязни встретить все, что мне уготовано в эти несколько дней. В первую очередь надо было решить вопрос, куда возить ее обедать, — ни о роскошных ресторанах, ни о каких-либо заведениях в народном стиле у меня никаких сведений не было. Для начала я решил съездить с ней на холм.

Я взял такси. Только теперь я обнаружил, что в этом городе каждый, чей заработок превышает установленную цифру, обяза-

тельно имел собственную машину (она была даже у моего коллеги Авандеро). У меня же машины не было, да я бы никогда и не научился водить ее. До сих пор я не придавал таким вещам никакого значения, но теперь мне приходилось краснеть перед Клаудией. Однако она приняла это как должное, потому что, как она выразилась, доверить мне машину — значит наверняка попасть в аварию. К моей величайшей обиде, она даже не скрывала, что невысоко ставит мои деловые качества и уважает меня совсем за другие достоинства — за какие именно, я так и не смог уразуметь.

Итак, мы взяли такси. Нам попался старенький, разболтанный автомобиль и не менее древний водитель. Я попытался представить это в юмористическом свете, шутливо пожаловавшись на то, что жизнь вечно подсовывает мне одни обломки и развалины, но Клаудию убогий вид нашего такси ничуть не огорчил, как будто она вообще подобным вещам не придавала значения. И я не знал, то ли мне облегченно вздохнуть, то ли посетовать, что теперь я совсем уже брошен на произвол судьбы.

Машина взбиралась по зеленому склону холма, огибавшего восточную часть города. День прояснился, и все вокруг было залито золотистым осенним светом. Окрестные долины тоже одевались в золотые цвета. Я обнял Клаудию. Если бы я сумел раствориться в том чувстве, которое она мне дарила, то, может, мне и удалось бы постичь эту зеленую и золотую жизнь, что бежала сейчас расплывчатыми образами (обняв Клаудию, я снял очки) по обе стороны дороги.

Прежде чем отправиться в трактир, я приказал старику шоферу отвезти нас к видовой площадке на вершине холма. Мы вышли из машины. Клаудия была в черной шляпе с широкими полями. Ступив на землю, она быстро повернулась на каблуках, и от этого движения складки ее широкой юбки разлетелись веером. Я же метался взад и вперед, то показывая ей на белесые пики Альп, выплывавшие из небесного океана (не умея отличить одну вершину от другой, я называл их наугад), то на волнистый, прихотливый рельеф холмов с разбросанными там и сям деревнями, дорогами и речушками, то на лежавший внизу город, похожий на мозаику, составленную из ровных рядов матовых и поблескивающих на солнце квадратиков. Не знаю уж, что было тому причиной — шляпа и широкая юбка Клаудии или открывавшаяся передо мной панорама, но только я вдруг с необыкновенной остротой ощутил необъятность здешних просторов. Для осенней поры небо было довольно чистым и светлым, хотя и не везде воздух оставался таким прозрачным, как в зените: у подножия гор стлалась мгlistая дымка, над речками клубился белый плотный туман, а выше бежали подгоняемые ветром цепочки причудливых облаков. Мы стояли рядом, опершись о парапет. Я обнял ее за талию и при виде этой пестроты расстилавшихся передо мной пейзажей сразу же почувствовал непреодолимое желание пофилософствовать и обозлился на себя, потому что

почти ничего не знал ни о здешних местах, ни о местной природе. У Клаудии, наоборот, поток новых впечатлений мог в любую минуту вызвать неожиданную смену настроения, или бурный взрыв, или просто замечания, совершенно не относящиеся к тому, что было у нее перед глазами. И вдруг я увидел это.

— Смотри!—воскликнул я, схватив Клаудию за руку.— Видишь, там, внизу?

— Что?

— Вон там, ниже. Смотри! Двигается!

— Да что там такое? Что ты увидел?

Как объяснить ей, что это было? От облаков или тумана, которые в зависимости от того, как конденсируется влага в холодных струях воздуха, бывают то серыми, то синеватыми, то белесыми, а подчас даже черными, оно отличалось разве что особым, каким-то неопределенным цветом, то ли коричневатым, то ли буро-черным,—вернее, даже не цветом, а оттенком, грязным оттенком, который, казалось, иногда сгущался по краям, иногда в центре, пачкал все облако, менял его плотность (этим оно также отличалось от остальных облаков), делая тяжелым, заставляя лхнуть к самой земле, к разноцветному пространству города, над которым оно медленно проползало, на какое-то время затемняя одну его часть, а потом снова открывая ее, но при этом оставляло за собой лохматый широкий след, тянувшийся словно бесконечные грязные волокна.

— Смог!—крикнул я Клаудии.— Видишь? Это облако смога!

Но она уже не слушала меня—ее вниманием завладела стайка птиц, летящая в небе.

Я же, свесив голову над парапетом, впервые в жизни смотрел со стороны на то облако, которое ежедневно окутывало меня, в котором жил я и которое жило во мне; и, глядя на него, я знал, что из всего окружающего меня многообразного мира только оно одно имеет для меня значение.

Вечером я повел Клаудию поужинать в бар «Урбано Раттацци», так как не знал ни одного заведения, кроме тех, где обеды отпускались по твердым ценам, и боялся попасть в такой ресторан, где пришлось бы оставить все деньги. Стоило мне прийти в бар «Урбано Раттацци» с такой женщиной, как Клаудия, как там все изменилось: тирольские куртки забегали как заведенные, нам отвели хороший столик, к которому со всех концов зала устремились тележки с шоколадом, сигаретами и прочей мелочью. Я старался держаться с непринужденностью опытного кавалера, но меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что все давно уже узнали жильца, снимающего комнатку с окном во двор, и посетителя, который всегда наспех съедает свой нехитрый ужин за стойкой. От всех этих мыслей я стал неловким, то и дело говорил глупости и очень скоро вывел Клаудию из себя. Мы начали ссориться, и довольно бурно; наши головы тонули в шуме, наполнявшем бар, на нас были обращены глаза не только

официантов, готовых повиноваться каждому знаку Клаудии, но и многих посетителей бара, которых очень заинтриговало, как такая красивая, элегантная и независимая женщина могла появиться в компании столь незначительного субъекта. Приглядевшись, я понял, что окружающие отлично слышат каждую нашу фразу, тем более, что Клаудия, которой вся эта публика была более чем безразлична, вовсе не собиралась маскировать нашу ссору. Мне казалось, все только того и ждот, чтобы Клаудия, окончательно рассердившись, встала и ушла, бросив меня одного, чтобы я снова стал тем безвестным, незначительным человеком, каким был всегда: такой человек привлекает к себе не больше внимания, чем пятно сырости на стене.

Однако, как всегда у нас бывало в таких случаях, за ссорой последовало нежное примирение. Это произошло в конце ужина, и Клаудия, зная, что я живу где-то поблизости, вдруг сказала:

— Я зайду к тебе.

Откровенно говоря, я назвал Клаудию в «Урбано Раттацци» только потому, что этот бар был единственным известным мне заведением с твердыми ценами, а вовсе не потому, что он находился в моем доме. Больше того, у меня сжималось сердце при одной мысли о том, что, заглянув в подворотню, она сразу составит себе представление о доме, в котором я обитаю, и уповал только на ее рассеянность.

И вот она хочет подняться ко мне. Чтобы показать ей всю нелепость этой затеи, я принялся описывать в самых мрачных красках грязь и убожество моего жилища. Но, поднимаясь по лестнице и проходя по балкону, она отмечала одни только достоинства старинной и вовсе не отталкивающей, на ее взгляд, архитектуры и ту разумность, с какой планировались старые квартиры.

— Что ты мне наговорил?!—воскликнула она, когда мы вошли в комнату.—Превосходная комната! Чего тебе еще надо?

Раньше, чем помочь ей снять пальто, я подошел к умывальнику, потому что, входя, как всегда, перепачкал руки. А вот она—нет. Ее руки словно пушинки летали среди пыльной мебели, по-прежнему оставаясь чистыми.

Скоро комнату наполнили необычные предметы—шляпка с вуалеткой, горжетка, бархатное платье, нижняя юбка из блестящего шелка, атласные туфельки, шелковые чулки,—и каждый из этих предметов я старался сразу же повесить в шкаф или положить в ящик комода, иначе, как мне представлялось, их тут же покроет налет копоти.

И вот уже белая фигурка Клаудии лежит на кровати, на той самой кровати, по которой достаточно хлопнуть рукой, чтобы к потолку взлетело облако пыли. Она протянула руку к этажерке, стоявшей рядом, взяла книгу...

— Осторожно, она пыльная!

Но она уже открыла ее, полистала немного и небрежно

выронила из рук. Я смотрел на ее грудь, еще совсем юную, терзался мыслью, что на нее уже осыпалась пыль, осевшая между страницами книги. Протянув руки, я коснулся этих упругих холмиков движением, которое можно было принять за ласку, но которое в действительности было вызвано желанием стереть ту незаметную глазу пыль, что успела слететь с бумаги.

Нет, ее кожа была бархатной, свежей, чистой. Но я видел, как в конусе света, падавшего от лампы, танцуют мельчайшие пылинки, которые, оседая, конечно же, попадают на Клаудию. И я бросился к ней и сжал в объятиях, движимый главным образом желанием закрыть ее, защитить, спасти от пыли, принять всю эту пыль на себя.

После того как она уехала, немного разочарованная: мое общество наскучило ей, несмотря на то что она по-прежнему упорно приписывала своим ближним блеск, который на самом деле был только отражением ее собственного блеска,—я с удвоенным рвением взялся за редакционную работу, отчасти потому, что из-за приезда Клаудии мне пришлось порядком запустить дела и нужно было наверстывать упущенное, готовя очередной номер журнала, отчасти чтобы не думать о ней, а отчасти и потому, что вопросы, освещаемые на страницах «Проблем очистки воздуха», стали для меня теперь уже не такими далекими и неинтересными, как раньше.

У меня еще не было передовицы, но на этот раз инженер Корда не оставил мне никаких инструкций.

— Попробуйте сами. Прошу вас!—сказал он.

Я принялся строчить обычную зажигательную тираду, но мало-помалу увлекся описанием облака смога, тяжело плывущего по городским крышам, такого, каким я увидел его недавно. Я описывал жизнь, окутанную этим облаком, фасады старых домов, где каждый выступ, каждая ниша покрывались густым черным налетом, и фасады новых, современных зданий, гладкие, одноцветные прямоугольники, которые постепенно приобретают серый оттенок, словно белые воротнички конторских служащих, проработавших подня среди пыльных бумаг. Я писал о том, что пока еще есть и, может быть, всегда будут люди, живущие за пределами облака смога. Такой человек может пройти через это облако, даже на некоторое время задержаться в самой его середине, и ни единая струйка дыма, ни единая крупинка угля не коснется его лица, не нарушит особого ритма его жизни, не испортит его красоты—красоты этого существа из другого мира; но важно не то, что находится за пределами облака смога, а то, что ютится в нем, в его недрах. Только погрузившись в самое сердце облака, только вдыхая по утрам мгlistый воздух наших городов (надвигающаяся зима уже заворачивала утренние улицы в непроницаемую вату тумана), можно до конца постичь правду и,

таким образом, обрести освобождение. Все эти фразы были не что иное, как спор с Клаудией, я тотчас понял это и тут же разорвал статью, даже не показав ее Авандеро.

Доктора Авандеро я до сих пор не мог понять как следует. В понедельник утром я, придя, как всегда, на работу, увидел там своего коллегу, но в каком виде? Загоревшего! Да, вместо знакомого лица, напоминавшего цветом отварную рыбу, перед моими глазами была красно-бурая физиономия со следами ожогов на лбу и скулах.

— Что это с тобой случилось?—спросил я. (С недавнего времени мы перешли с ним на «ты».)

— Ходил на лыжах. По первому снегу. Снег великолепный, сухой, сыпучий. Едем вместе в воскресенье?

С этого дня Авандеро избрал меня наперсником, которому поверял свою страсть к лыжам. Я не оговорился, именно наперсником, потому что в его разговорах о лыжном спорте звучало нечто большее, чем просто пристрастие к филигранной технике и отточенности движений, ко всем этим креплениям и мазиям, к пейзажу, превращенному в чистую белую страницу,— это была война, которую он, безупречный, старательный чиновник, втайне вел со своей службой, война, проявлявшаяся в снисходительных смешках и ехидных замечаниях.

— Вот где истинная «очистка воздуха». А весь смог я оставляю вам!—говорил он и тотчас спохватывался:— Я, конечно, шучу...

Но я понимал, что даже этот столь преданный компании сотрудник совершенно не верит ни в нее, ни в идеи инженера Корда.

Как-то в субботу после обеда я встретил Авандеро с лыжами на плече, в шапочке с козырьком, торчавшим, словно клюв скворца. Мой коллега спешил к автобусу, который уже осаждала толпа лыжников и лыжниц.

— Остаешься в городе?—спросил он, кивнув мне с обычным своим самодовольным видом.

— Я—да. Какой смысл ехать? Завтра вечером все равно возвращаться на каторгу.

— А какой смысл жить в городе, если нет возможности убраться отсюда хоть на субботу и воскресенье?—возразил он, нахмурившись под своим козырьком, и стал суетиться около автобуса, предлагая новый способ укладывать лыжи в багажнике на крыше.

Авандеро, подобно сотням тысяч людей, всю неделю старательно выполняющих свою нудную работу только для того, чтобы иметь возможность сбежать от нее в выходные дни, смотрел на город как на гиблое место, как на машину для добывания средств, позволяющих сбежать на несколько часов и снова вернуться в город. После зимних месяцев, которые он посвящал лыжам, для Авандеро начиналась пора загородных

поездок, потом рыбалка, форель, потом подходил летний отпуск—море и фотоаппарат. Теперь, узнав его покорооче, я уже начинал довольно подробно представлять себе историю его жизни: она была историей транспортных средств. Сперва велосипед с мотором, потом мопед, потом мотоцикл, сейчас малолитражка, а будущие годы приближались под знаком новых автомобилей, все более комфортабельных и мощных.

Очередной номер «Проблем очистки воздуха» пора было сдавать в печать, а инженер Корда все еще не проглядел корректуру. В тот день я ожидал его в редакции, но он так и не появился и только под вечер позвонил мне по телефону, прося привезти ему корректуру в контору завода ВАФД, откуда он не может отлучиться. Он даже прислал за мной свою машину с шофером.

ВАФД принадлежал к числу тех предприятий, где Корда был членом правления. Забившись в глубину огромного лимузина, с пакетом на коленях, я промчался по незнакомым улицам окраины, проехал вдоль глухой стены, приветствуемый охраной завода, миновал широкие литые ворота и высадился у лестницы, ведущей в помещение дирекции.

Инженер Корда, окруженный руководителями завода, сидел за письменным столом в своем кабинете и просматривал какие-то графики или производственные планы, вычерченные на огромных, заваливших весь стол листах ватмана.

— Извините, доктор, одну минуту,—сказал он мне.—Сейчас я буду к вашим услугам.

Я смотрел на стену у него за спиной. Она была вся из стекла—гигантское окно, за которым простиралась панорама завода и дыбились в туманном вечернем сумраке неясные тени. На переднем плане выделялся силуэт цепного транспортера, поднимавшего наверх огромные бадьи чего-то серого—думаю, чугуниного порошка. Железные черпаки лезли вверх непрерывными толчками, слегка покачиваясь, и мне казалось, что кучи, выстулавшие над их краями, незаметно меняют свою форму и над ними при каждом толчке взлетают в воздух едва заметные облачка пыли, разлетающиеся повсюду и оседающие даже на огромном окне кабинета инженера Корда.

В этот момент Корда попросил зажечь свет, и на темном фоне вечернего неба стекла мгновенно стали похожи на листы мелкой наждачной бумаги. Окна, несомненно, были покрыты тонким налетом чугуниной пыли, сверкавшей сейчас, словно серебряная россыпь Млечного Пути. Тени, что отпечатывались на стеклах, вдруг исчезли, и от этого еще отчетливее стали видны на заднем плане силуэты заводских труб, увенчанные красноватыми отблесками, а по контрасту с этим багровым заревом еще чернее казались чернильные крылья дыма, закрывавшие все небо, и еще

стремительнее взлетали и кружились в воздухе раскаленные крупинки угля.

Но вот Корда взялся за корректуру «Проблем очистки воздуха» и, тотчас перенесшись в сферу иных идеалов и иных стремлений, волнуящих его как главу КОАГИПРа, принялся вместе со мной и руководителями ВАФДа обсуждать статьи журнала. Сколько раз, встречаясь с ним в помещениях компании, я, подаваясь естественному для подчиненного духу противоречия, мысленно объявлял себя сторонником смога, его тайным агентом, пробравшимся в штаб противника, но лишь теперь я понял, насколько глупой была эта игра. Инженер Корда — вот кто истинный хозяин смога, вот кто дышит смогом на весь город, и КОАГИПР — это тоже детище смога, рожденное необходимостью дать тем, кто работает ради процветания хозяев смога, надежду на жизнь, в которой будет что-то, кроме смога, и в то же время прославляющее его могущество.

Корда остался доволен номером и пожелал отвезти меня домой на своей машине. Вечер был пропитан густым туманом. Шофер вел машину медленно, так как, кроме редких фонарей, мелькавших тусклыми пятнами, вокруг ничего нельзя было разглядеть. В порыве оптимизма президент смелыми штрихами рисовал город будущего: кварталы-сады, заводы в окружении клумб и водоемов, специальные устройства, сметающие с неба дым заводских труб. Разглагольствуя так, он то и дело тыкал пальцем в начинающуюся прямо за стеклами машины пустоту, словно все, что рисовалось его воображению, уже было претворено там в действительность. Я слушал его с каким-то непонятным чувством — то ли с ужасом, то ли с восхищением: в этом человеке ловкий промышленник уживался с мечтателем, и один не мог обойтись без другого.

Неожиданно мне показалось, что я узнаю знакомые места.

— Остановитесь, остановитесь здесь, я приехал, — сказал я шоферу.

Пожелав президенту всего хорошего и поблагодарив, я вышел из машины. Но как только она отъехала, я заметил, что ошибся. Я вылез в совершенно незнакомом районе, а вокруг ничего не было видно.

Я по-прежнему питался в своем ресторанчике, сидя в одиночестве под прикрытием газеты. Некоторое время спустя я заметил еще одного посетителя, который поступал точно так же. Иногда, не найдя свободного места, мы садились за один столик и отгораживались друг от друга развернутыми газетами. Мы читали разные газеты. Я всегда покупал самую влиятельную в городе газету, которую читали все. Да и зачем мне было читать другую? Чтобы кто-то сказал, что я не такой, как все; или (если бы я вдруг стал читать газету моего соседа по столу) что у меня

особые политические убеждения? Я старался держаться подальше от политики и политических партий, но иногда по вечерам случалось так, что, сидя за одним столиком с этим нелюдимым посетителем, я откладывал газету, и он, протягивая к ней руку, спрашивал: «Разрешите?», а потом, указывая на свою, добавлял: «Может быть, хотите почитать эту?»

Таким образом я познакомился с его газетой, которая, если так можно выразиться, представляла собою изнанку моей. И не столько потому, что подерживала противоположные идеи, но также и потому, что освещала вопросы, которые для любой другой газеты попросту не существовали. В ней, скажем, сообщалось об увольнении служащих, о машинистах, потерявших руку при смазке зубчатых передач (помещались их портреты), печатались таблицы, где приводились данные о бюджете рабочих семей, и тому подобное. Но главное ее отличие заключалось не в этом. Любая газета прежде всего старается блеснуть великолепным изложением материала и привлечь читателя пикантными историями, например сообщениями о разводах светских красавиц, в этой же все статьи были написаны одинаковым, шаблонным языком, а заголовки всегда подчеркивали только отрицательную сторону явлений. Даже шрифт в этой газете был однообразно серый и утомительно густой. И тут у меня мелькнула мысль: «Ба! А ведь мне нравится».

Я попробовал выразить это мнение своему соседу, остерегаясь, разумеется, толковать отдельные статьи и высказывания (он уже как-то пытался спрашивать, что я думаю об одном сообщении из Азии) и в то же время стараясь смягчить отрицательную сторону своей оценки, так как он показался мне человеком, не склонным принимать критику, а вязываться с ним в спор у меня не было никакой охоты.

Однако вместо того, чтобы спорить, он словно продолжал мыслить вслух, и его слова сделали бесполезной и даже неуместной мою оценку газеты.

— Знаете,— сказал он,— наша газета пока что делается не так, как следовало бы. Во всяком случае, она не такая, какой я хотел бы ее видеть.

Мой собеседник был молодой человек небольшого роста, но очень пропорционально сложенный. Его темные вьющиеся волосы были очень тщательно причесаны, а совсем еще мальчишеское лицо, бледное, с нежно-розовым румянцем на щеках, тонкими правильными чертами и длинными черными ресницами, отличалось сдержанно-важным, почти надменным выражением. Одевался он с чрезвычайной, даже несколько изысканной аккуратностью.

— В ней еще слишком много общих мест,— продолжал он,— ей еще недостает конкретности, особенно там, где речь идет о наших проблемах. Она еще слишком похожа на другие газеты. Ту газету, о которой я мечтаю, должны были бы делать в основном

сами читатели. Она должна стараться давать всегда научно обоснованную, точную информацию обо всем, что происходит в мире производства.

— Вы работаете техником на каком-нибудь заводе?—спросил я.

— Я кадровый рабочий.

Мы познакомились. Его звали Омар Базалуцци. Узнав, что я работаю в КОАГИПРе, он заинтересовался, потому что ему нужны были некоторые данные, которые он мог бы использовать в одной из своих корреспонденций. Я назвал ему кое-какие печатные материалы (так или иначе доступные всем); ему, во всяком случае, я с улыбкой заметил, что не открываю никаких редакционных секретов; он, вынув маленький блокнотик, аккуратно записал всю сообщенную мною библиографию.

— Я занимаюсь тем, что изучаю всевозможные статистические данные,—сказал он.—Наша организация очень отстает в этом.

Мы уже одевались, собираясь уходить. У Базалуцци было спортивное пальто элегантного покроя и берет из непромокаемой ткани.

— Очень отстает,—повторил он,—хотя, по-моему, это должен быть основной раздел.

— А работа оставляет вам время, чтобы заниматься всем этим?—спросил я его.

— Видите ли,—сказал он (он всегда отвечал немного свысока, этаким менторским тоном),—здесь все дело в методичности. Восемь часов в день у меня забирает завод, кроме того, каждый вечер, даже по воскресеньям, обязательно бывает какое-нибудь собрание. Поэтому просто нужно уметь организовать работу. Вот я создал кружки по изучению статистики для молодых рабочих нашего завода...

— И много у вас... таких, как вы?

— Мало. И чем дальше, тем становится меньше. Нас одного за другим выставляют за ворота. В один прекрасный день вы увидите здесь,—он показал на газету,—мою фотографию и под ней подпись: «Еще один уволенный. Новая жертва репрессий».

Мы шагали по холодной ночной улице. Я съежился в своем пальто и поднял воротник. Омар Базалуцци шел спокойно, высоко подняв голову, из его тонко очерченных губ вырывались маленькие облачка пара; часто он вынимал руку из кармана, чтобы подчеркнуть какую-нибудь свою мысль, и при этом останавливался, словно не мог идти дальше до тех пор, пока не изложит ее ясно и четко.

Я больше не слушал его. Я шел и думал, что такие, как Омар Базалуцци, не ищут случая убежать от продымленной серости, окружающей их, нет, она создает для них особые моральные ценности, диктует новые внутренние нормы поведения.

— Смог...—сказал я.

— Смог? Да, я знаю, Корда хочет быть современным предпринимателем... мечтает очистить городской воздух. Но пусть попробует рассказать об этом своим рабочим! Уж если кто и займется очисткой воздуха, то только не он. Главное здесь — социальная структура. Если нам удастся изменить ее, то и проблема смога будет решена. И решим ее мы, а не они.

Он пригласил меня зайти вместе с ним на профсоюзную конференцию, где собрались представители различных предприятий города. Я сел в дальнем углу прокуренного зала. Омар Базалуцци занял место за столом президиума рядом с мужчинами, каждый из которых был гораздо старше него. Зал не отапливался: все сидели в пальто и шляпах.

Каждый, кто получал слово, поднимался, подходил к столу президиума и говорил, стоя перед ним. У всех была одна и та же манера обращаться к аудитории — безличная, лишенная выражения, все начинали выступления и связывали свои мысли одними и теми же формулами, как видно общеупотребительными. По гулу, возникавшему в зале, я догадывался, что нанесен удачный полемический удар, однако никто не спорил открыто, и каждый начинал с того, что присоединялся к выступавшим ранее. Мне казалось, что выпады многих ораторов направлены в первую очередь против Омара Базалуцци. Юноша, непринужденно, немного боком сидевший за столом президиума, вытащил из кармана кожаный кисет, короткую английскую трубку, не спеша, медленными движениями маленьких рук набил ее и принялся сосредоточенно курить, полускрыв глаза и подперев щеку рукой.

Комнату все больше заволакивало табачным дымом. Кто-то предложил открыть на минуту верхнюю фрамугу окна. Порывы холодного ветра разогнали дым, но зато с улицы начал заползать туман, и скоро почти совсем нельзя было разглядеть, что делается в противоположном конце зала. Со своего места в заднем ряду я не отрываясь глядел на маячившие передо мной неподвижные, скованные холодом спины людей, на поднятые воротники, на закутавшиеся в пальто тени за столом президиума и на огромного, словно медведь, человека, который говорил, стоя у стола; смотрел на плывущий по залу туман, окутывавший, пронизывавший не только всех этих людей, но даже их слова, их каменное упрямство.

В феврале ко мне снова приехала Клаудия. Мы пошли позавтракать в дорогой ресторан, приютившийся в глубине парка у реки. Сидя в зале, мы смотрели на заросшие берега, на деревья, на бледное небо — весь пейзаж был полон какого-то старомодного изящества.

Мы спорили о красоте и никак не могли прийти к единому мнению.

— Люди утратили чувство красоты, — говорила Клаудия.

— Люди выдумывают красоту непрерывно, каждую минуту,— говорил я.

— Красота всегда красота, она вечна.

— Чтобы родилась красота, нужен толчок.

— Да, но греки!

— Что греки?

— Красота—это цивилизация!

— И отсюда...

— Вот и получается...

Так мы могли спорить до завтрашнего дня.

— Этот парк, эта река...

«Этот парк, эта река,—думал я,—в нашей жизни они оттеснены куда-то в сторону, могут быть разве что мимолетным утешением. Нет, старая красота не может устоять перед новым уродством».

— Этот угорь...

Посреди ресторанного зала стоял стеклянный ящик аквариума, в котором плавали большие угри.

— Смотри!

У аквариума остановилось несколько важных посетителей— богатое семейство, любители со вкусом поесть: мать, отец, взрослая дочь, сын-подросток. Вместе с ними подошел метрдотель, огромный, тучный, во фраке и ослепительно белой манишке. В руках он держал сетку, похожую на детский сачок для ловли бабочек. Все семейство внимательно, без улыбки разглядывало плававших рыб. Но вот синьора подняла руку и указала на одного из угрей. Метрдотель погрузил в аквариум свой сачок, быстро подцепил выбранную рыбу, вытащил ее из воды и направился в кухню, держа перед собой, как копьё, потяжелевшую сетку, в которой бился, извиваясь, обреченный угорь. Семья проводила его взглядом, потом уселась за стол и стала ждать, когда рыба вернется к ней, должным образом приготовленная.

— Жестокость...

— Цивилизация...

— Все вокруг жестоко...

Мы решили не вызывать такси и пошли пешком. Газоны, стволы деревьев были подернуты еле заметной влажной дымкой, поднимавшейся с реки. Здесь эта дымка еще казалась дыханием природы. Клаудия шла, закутавшись в меховую шубку с откиннутым на плечи воротником, спрятав руки в муфту, а волосы под большую пушистую шапку. Мы были лишь маленькой деталью картины, двумя силуэтами влюбленных.

— Красота...

— Твоя красота...

— К чему она? Разве что...

Я сказал:

— Красота вечна.

— Ага! Теперь ты говоришь то же, что и я?

— Нет, как раз наоборот.

— С тобой совершенно невозможно спорить.

Она отстранилась, словно решив идти одна. По траве стлалась тонкая полоса тумана, и закутанная в меха фигурка Клаудии, двигавшаяся передо мной по аллее, казалось, плыла над землей.

Вечером я проводил Клаудию в гостиницу. Войдя в холл, мы увидели, что он полон мужчин в смокингах и декольтированных дам. Шла карнавальная неделя, и в салоне гостиницы устраивался благотворительный бал.

— Какая прелесть! Ты пойдешь со мной? Я только схожу переоденусь в вечернее платье.

Я не создан для балов-маскарадов и чувствовал себя не в своей тарелке.

— Но мы не приглашены,— пробормотал я.— К тому же я не в черном костюме...

— Я не нуждаюсь в приглашениях. А ты мой кавалер.

Она побежала переодеваться. Я остался внизу и стоял как потерянный. В холле было много девушек, впервые в жизни надевших вечернее платье. Готовясь переступить порог салона, они пудрили носики и возбужденно шушукались. Я встал в сторонку, надеясь сойти за посыльного, которого направили сюда с пакетом.

Но вот дверь лифта распахнулась. Появилась Клаудия в длинном, до пола, платье, с ниткой жемчуга на розовой груди и в полумаске, поблескивавшей бриллиантами. Пришлось расстаться с ролью посыльного. Я встал рядом с ней.

Вот и салон. Все глаза впились в Клаудию. Я раздобыл себе нечто вроде бумажной маски с длинным носом. Мы пошли танцевать. Мы с Клаудией кружились, а все остальные пары расступались, чтобы видеть ее. Я же, почти не умея танцевать, все время старался замешаться в толпу, из-за чего наш танец очень напоминал игру в прятки. Клаудия заметила, что у меня кислый вид и что я совершенно не умею веселиться.

Танец кончился. Направляясь к своему столику, мы столкнулись с группой беседующих мужчин.

— Ба!

Я увидел перед собой инженера Корда. Он был во фраке и в оранжевой бумажной шляпе. Мне пришлось остановиться и поздороваться с ним.

— Неужели это и вправду вы, доктор? Я смотрю и глазам не верю!— говорил он, не отрывая взгляда от Клаудии, и я понимал, что он хотел сказать: он никак не ожидал встретить меня здесь с такой женщиной, да еще в обычном моем наряде, в том самом пиджаке, в каком я хожу на работу.

Мне ничего не оставалось, как представить его Клаудии. Корда поцеловал ей руку и в свою очередь представил ей пожилых синьоров, которые стояли вместе с ним. Клаудия, как всегда рассеянная и высокомерная, пропустила их имена мимо

ушей, я же, наоборот, то и дело мысленно восклицал: «Ах, черт! Подумать только, такие персоны!» Все это были крупные промышленники. Потом Корда представил меня:

— Доктор — редактор нашего журнала, вы знаете, «Проблемы очистки воздуха»... совершенно верно, руководимого мной...

Мне было ясно, что все они немного робеют перед Клаудией и оттого говорят чушь. Это придало мне смелости.

Я видел, что назревает некое событие, иными словами, я не мог не заметить, что Корда так и подмывает пригласить Клаудию на танец. Поэтому, сказав: «Ну что же, мы еще увидимся, не правда ли?» — я сделал общий поклон и снова потащил Клаудию в отведенную для танцев часть зала.

— Да подожди, ты же не знаешь этого танца! Ты только вслушайся. Теперь понимаешь, что это такое?

Но я понимал только одно: что своим появлением рядом с Клаудией я несколько подпортил им праздник, хотя, быть может, они и сами не сумели еще понять каким образом. И это было единственное приятное впечатление от всего бала.

— Ча-ча-ча!.. — напевал я, притворяясь, будто делаю нужные па, о которых не имел ни малейшего представления, на самом же деле лишь слегка поддерживая Клаудию за руку и стараясь не мешать ей двигаться, как она хочет.

Да и почему бы мне не повеселиться? Ведь здесь карнавал. Беспорядочные вопли труб слились в дикую какофонию; пригоршни конфетти, словно обломки штукатурки, барабанили по фракам и обнаженным плечам женщин, забываясь под декольте и за крахмальные воротнички; гирлянды звезд из блестящей канители тянулись от люстр до самого пола, где их пинали, сваливая в комки, шаркающие ноги танцующих; эти гирлянды свисали сверху, словно жилы, вытянутые из тела, словно скелеты голой арматуры, болтающиеся среди обвалившихся стен, среди всеобщего разрушения.

— Вы приемлете этот отвратительный мир таким, какой он есть, поскольку знаете, что должны его разрушить, — сказал я Омару Базалуцци отчасти для того, чтобы его подзадорить, иначе было бы неинтересно разговаривать.

— Одну минуту, — сказал Омар, ставя на стол чашечку кофе, которую уже поднес было к губам, — мы же не говорим: чем хуже, тем лучше. Мы — за улучшение. Мы не реформисты и не сторонники крайних мер.

Я говорил о своем, он — о своем. С того дня когда я вместе с Клаудией побывал в парке, меня преследовало желание найти новое толкование мира, которое придало бы какой-то смысл нашему серому существованию, отстояло бы утрачиваемую красоту, спасло бы ее.

— Новое лицо мира...

Юноша открыл черную кожаную папку и вытащил из нее иллюстрированный журнал.

— Видите?

Это была серия фотографий. Несколько человек, принадлежащих, видимо, к одной из азиатских народностей, в меховых шапках и сапогах, со счастливым видом ловили рыбу. На другой фотографии те же люди были сняты в школе: учитель показывал им изображенные на простыне буквы непонятого алфавита. На следующем снимке был запечатлен праздник. У каждого на голове был бумажный дракон, и среди этих драконов двигался трактор, над которым был укреплен транспарант. На последней фотографии двое рабочих в таких же меховых шапках работали за токарным станком.

— Видите? — повторил Омар. — Вот оно — другое лицо мира.

Я посмотрел на Базалуцци.

— Но вы ведь не ходите в меховых шапках, не ловите осетров, не играете с драконами.

— Ну и что же?

— А то, что у вас нет с ними ничего общего, кроме этого, конечно, — я показал на токарный станок, — вот это у вас уже есть.

— Э, нет, у нас будет так же, как там, потому что у нас изменится сознание. Так же, как и они, мы прежде станем иными внутренне, а затем уже внешне...

Говоря это, Базалуцци продолжал листать журнал. На одной странице были фотографии доменных печей и рабочих с очками на лбу и суровыми лицами.

— Да, тогда тоже будут трудности, — говорил он, — не надо обольщаться и думать, что не сегодня завтра... Оно еще долго будет тяжелым, производство... Но мы сделаем шаг вперед... Такие, например, вещи, какие случаются сейчас, уже не повторятся...

Тут он снова принялся говорить о том, о чем говорил всегда, — о проблемах, изо дня в день волновавших его.

Я понял: ему не так уж важно, наступит или не наступит тот большой день, самое основное для Омара — это избранный им путь, с которого он уже не свернет.

— Шероховатости, понятно, будут всегда... Глупо надеяться на рай земной... Ведь и сами мы не ангелы.

Интересно, стали бы святые жить иначе, если бы знали, что им не уготовано райское блаженство?

— Меня уволили на прошлой неделе, — заметил вдруг Омар Базалуцци.

— И как же вы теперь?

— Работаю в профсоюзе. Может быть, еще до зимы там освободится постоянное место.

Ему надо было на завод ВАФД, где утром начались серьезные волнения.

— Пойдете со мной?—спросил он.

— Э! Вот туда-то как раз я и не могу показаться, думаю, вы понимаете почему.

— Я тоже не могу туда показаться. Мое появление там скомпрометировало бы товарищей. Встретимся в кафе, неподалеку от завода.

Я пошел с ним. Из окна третьесортного кафе мы видели рабочих, расходящихся после смены; некоторые, выходя за ворота, вели рядом велосипеды, другие набивались в трамваи. И у каждого на лице было написано только одно—желание поспать. Несколько человек, вероятно предупрежденных заранее, поодиночке заходили в кафе и тотчас же направлялись к Омару. Скоро вокруг его столика в углу собралась небольшая группа рабочих и завязался оживленный разговор.

Ничего не понимая в их делах, я стал наблюдать за рабочими, стараясь определить, чем отличаются лица тех, что целым роем высыпали сейчас за ограду завода и, без сомнения, не помышляли ни о чем, кроме семьи и воскресного отдыха, от тех, что задержались с Омаром, то есть от самых упорных и ожесточенных. Но сколько я ни всматривался, мне не удавалось уловить ни малейшего различия: и у тех и у других лица были одинаковые—пожилые или преждевременно повзрослевшие, лица детей одной жизни. То, что их отличало, крылось, видимо, внутри.

Тогда я принялся всматриваться в лица и вслушиваться в слова рабочих, сидевших рядом с Омаром. Мне хотелось узнать, отличаются ли чем-нибудь люди, живущие мыслью о том, что «наступит день», от таких, для которых, как для Омара, ничего не менялось от того, наступит этот день или нет. И пришел к выводу, что их тоже нельзя отличить друг от друга, как видно потому, что все они принадлежали ко второй категории, даже те, кого на первый взгляд можно было отнести к первым из-за их нетерпеливости или словоохотливости.

Теперь я уже не знал, на что мне смотреть, и принялся глядеть на небо. Был один из первых дней ранней весны, и над домами городской окраины простиралось сияющее голубизной безоблачное небо. Но, приглядевшись хорошенько, я различил на нем похожие на тени разводы, как на старой пожелтевшей фотографии. Да, небо над городом не очищалось даже в самую хорошую погоду.

Омар Базалуци надел темные очки в огромной толстой оправе и продолжал что-то говорить окружавшим его людям, подробно, обстоятельно, высокомерно и немного в нос.

Я напечатал в «Проблемах очистки воздуха» взятую из одной иностранной газеты заметку о загрязнении атмосферы радиоактивными осадками после атомных испытаний. Заметка была набрана петитом, и инженер Корда, просматривая корректуру, не

обратил на нее внимания. Когда же он наткнулся на нее в свежем номере журнала, то немедленно послал за мной.

— Боже праведный, неужели же я должен проверять каждую мелочь? У меня же не сто глаз!— воскликнул он.— Как вам могло прийти в голову напечатать такую заметку? Ведь наша компания не занимается этими вопросами. Только этого нам не хватает! Напечатать, не сказав мне ни слова, да еще на такую шекотливую тему! Теперь будут говорить, что мы занимаемся пропагандой!

Я что-то пробормотал в свое оправдание.

— Видите ли, здесь ведь тоже идет речь о загрязнении воздуха, вы извините, но я думал...

Я уже был на пороге, когда Корда снова окликнул меня.

— Послушайте, доктор, а вы-то сами верите в эти радиоактивные осадки? То есть что они действительно уже представляют собой такую серьезную опасность?

Мне были известны некоторые выводы конгресса ученых, и я рассказал о них. Корда слушал, кивая головой, раздосадованный.

— Подумать только, в какое ужасное время нам приходится жить, дорогой доктор!— посетовал он и вдруг стал прежним, хорошо знакомым мне Корда.— Это опасность, дорогой доктор, и мы должны во что бы то ни стало избежать ее, потому что слишком многое поставлено на карту, да, дорогой мой, слишком многое!— Несколько минут он сидел, опустив голову, потом заговорил снова:— Я не хочу переоценивать наши заслуги, но в своей области мы делаем то, что должны делать, свою лепту мы вносим, в своей области мы на высоте положения.

— Это несомненно, синьор Корда. Я убежден в этом.

Мы посмотрели друг на друга смущенно, но оба не были вполне искренни в своем смущении. По сравнению с гигантской радиоактивной тучей облако смога стало казаться нам совсем маленьким, не облаком, а еле заметным облачком, крошечным барашком.

Прибавив несколько общих фраз, свидетельствующих о моей благонамеренности, я оставил кабинет инженера Корда, и на сей раз не сумев понять до конца, воюет ли он против облака или за него. С того дня я не допускал в заголовках никаких упоминаний об атомных взрывах или радиоактивности, но в то же время старался в каждом номере, в разделе технической информации, проталкивать кое-какие сообщения по этому вопросу. Кроме того, в некоторых статьях вместе со сведениями о процентном содержании в городском воздухе угля или нефти и об их отрицательном воздействии на организм я помещал и данные относительно районов, подвергшихся радиации. Ни Корда, ни кто-либо другой не делали мне теперь никаких замечаний, но это не столько радовало меня, сколько укрепляло во мне мнение, что до «Проблем очистки воздуха» решительно никому нет дела.

У меня уже накопилась целая папка материалов об атомной радиации, так как, просматривая газеты и выбирая наметанным

глазом сообщения и статьи, которые могли пригодиться для журнала, я всегда находил что-нибудь на эту тему, вырезал и складывал в отдельную папку. Кроме того, от агентства, присылавшего компании газетные вырезки на тему «загрязнение атмосферы», приходило все больше материалов об атомной бомбе, в то время как вырезок, где говорилось бы о смоге, становилось все меньше и меньше.

Таким образом, получалось, что мне каждый день попадали на глаза то статистические данные о страшных болезнях, то рассказы о рыбаках, застигнутых в открытом море смертоносной тучей, или о подопытных животных, родившихся с двумя головами после экспериментов с ураном. Я поднимал глаза от газет и смотрел в окно. На дворе уже наступил июнь, а лета все не было. Погода стояла тяжелая. Дни были придавлены мутной мглой. В полуденные часы город наполнялся каким-то апокалиптическим сиянием, а прохожие казались тенями, сфотографированными в подземном царстве после того, как душа оставила их бренные тела.

Времена года словно изменили свою привычную очередность, по Европе один за другим проносились сильнейшие циклоны. Начало лета ознаменовалось грозами, несколько дней воздух был перенасыщен электричеством, потом неделями лили дожди, время от времени прерывавшиеся неожиданной жарой, которая ни с того ни с сего сменялась поистине мартовскими холодами. Газеты всячески отрицали, что эти атмосферные беспорядки вызваны атомными взрывами. Только отдельные, очень немногие ученые как будто склонялись к тому, чтобы признать такое влияние (впрочем, неизвестно, насколько им можно было верить). Зато анонимные слухи, расползавшиеся среди обывателей, которые, как известно, всегда готовы принять на веру самые невероятные вещи, упорно поддерживали именно эту версию.

Мне уже стала действовать на нервы синьорина Маргарити, которая каждое утро пускалась в дурацкие рассуждения об атомной бомбе, предупреждая меня, что и сегодня нужно захватить зонт. Но все же, открывая жалюзи и взглянув на наш свинцово-серый двор, где в неверном свете переплетались частой решеткой темные линии и квадраты, я испытывал невольное желание отступить назад и спрятаться под крышу, как будто именно сейчас, в этот момент, с неба сыплются невидимые частицы смертоносной пыли.

Это бремя недомолвок, превращаясь в суеверие, всей своей тяжестью давило на самые обыденные разговоры о том, какая нынче погода, на те самые разговоры, которые испокон веков считались наиболее безобидными. Люди избегали говорить о погоде, а уж если приходилось упомянуть о том, что идет дождь или проясняется, то об этом говорили чуть ли не со стыдом, будто чувствовали, что умалчивают о какой-то мрачной, лежащей на всех ответственности. Авандеро, который всю неделю готовил-

ся к воскресной поездке за город, относился к погоде с деланным безразличием. Но я видел, что это его безразличие фальшивое, рабское.

Я сделал номер «Проблем очистки воздуха», в котором не было ни одной статьи, где не говорилось бы о радиоактивных осадках. Но и на этот раз обошлось без нотаций. Нет, я не мог сказать, что журнала никто не читает, читать читали, но вещи такого рода стали теперь привычными, и, даже если бы появилось сообщение, что в скором времени придет конец роду человеческому, оно никого бы не взволновало.

Даже в еженедельниках, посвященных самым злободневным вопросам, стали теперь появляться статьи, от которых мороз подирал по коже. Но люди, казалось, интересовались только цветными фотографиями улыбающихся девиц на обложках. В одном из таких журналов появилась фотография Клаудии в купальном костюме, летящей на водных лыжах. Я пришил эту обложку четырьмя кнопками на стену своей комнаты.

Каждый день по утрам и среди дня я направлялся в тихий район с широкими спокойными бульварами, где находилась редакция. Подходя к этому району, я иногда вспоминал тот осенний день, когда впервые пришел сюда и во всем, что попадалось мне на глаза, старался увидеть некое предзнаменование, все казалось мне слишком светлым и чистым для моего тогдашнего настроения. Да и теперь мой взгляд искал только предзнаменования, другого я просто не в состоянии был увидеть. Предзнаменования чего? Кто знает? Одно предзнаменование указывало на другое, и так до бесконечности.

Иногда мне случалось встречать там нагруженную мешками двуколку, которую тащил по противоположной стороне улицы усталый мул. Иной раз я видел эту двуколку у какого-нибудь подъезда: между оглоблями, понуро опустив голову, стоял мул, а на куче белых мешков сидела девочка.

Потом я заметил, что не одна, а множество таких тележек разъезжает по улицам этого квартала. Трудно сказать, когда я стал обращать на них внимание. Иногда на глаза попадаете тьма вещей, но их как бы не замечаешь. Они могут даже как-то поразить тебя, и все-таки ты их не заметишь, пока в один прекрасный момент тебе не придет в голову связать одну вещь с другой, и тогда сразу все приобретает смысл.

При виде этих тележек у меня становилось как-то светлее на душе: мне достаточно было встретить такую не совсем обычную штуку, как сельская двуколка, заехавшая в город, забитый автомобилями, чтобы вспомнить, что не все в мире скроено на один манер.

И вот мало-помалу я начал присматриваться к этим тележкам. На вершине белой горы мешков обычно сидела девочка с косичками и читала журналчик, потом из подворотни выходил мужчина с двумя мешками, клал их поверх других на тележку, поворачивал ручку тормоза, негромко кричал мулу: «Н-но-о!», тележка вместе с девочкой, которая, не слезая с кучи мешков, продолжала читать, катилась дальше, останавливалась у другого подъезда, мужчина снимал сверху несколько мешков и вместе с ними скрывался в дверях.

Немного дальше, по противоположной стороне улицы, двигалась еще одна тележка. Там в кузове сидел старичок, а по домам ходила женщина, сновавшая вверх и вниз по лестницам с огромными тюками на голове.

Я стал замечать, что в те дни, когда мне встречались тележки, я чувствовал себя веселее и увереннее, чем обычно, и что это всегда случалось по понедельникам — в тот день, когда по городу разъезжают прачки, развозя пакеты с чистым бельем и увозя узлы с грязным.

Когда я это осознал, тележки уже не ускользали от моего взгляда. Теперь поутру, направляясь на работу и заметив одну из них, я не успевал еще воскликнуть про себя: «Э, да ведь нынче понедельник!», как тотчас же на противоположной стороне показывалась другая, сопровождаемая тявкающей собачонкой, и третья, которая скрывалась уже за горбом круто спускавшейся вниз улицы, так что видна была только грудa желто-белых полосатых мешков.

Как-то после работы я сел в трамвай, который шел по другим улицам, гораздо более шумным и многолюдным. Но и здесь на перекрестке внезапно задержался весь транспорт, пережидая, пока тележка, развозившая белье и лениво катившаяся на своих огромных колесах с длинными спицами, переседет улицу. Я заглянул в один из боковых переулков: там, примостившись у края тротуара, стоял мул, а мужчина в соломенной шляпе снимал с тележки пакеты с бельем.

В тот день я возвращался домой кружным путем, и, по каким бы улицам ни шел, мне все время попадались тележки прачек. Я чувствовал, что это для жителей города что-то вроде праздника — все были счастливы избавиться от белья, прокопченного дымом, и хоть ненадолго почувствовать себя чистыми.

В следующий понедельник мне захотелось проследить за прачками, чтобы узнать, куда они уезжают, сдав чистое белье и забрав грязное. Некоторое время я шел наудачу то за одной тележкой, то за другой и вскоре понял, что все они в конечном счете движутся в определенном направлении, к одним и тем же улицам. Встречаясь на этих улицах, они выстраивались в колонну, возчики степенно здоровались и перекидывались спокойными шуточками. Я продолжал идти за ними, иногда надолго теряя их из виду, пока окончательно не выбился из сил. Но прежде чем

вернуться восвояси, я убедился, что существует целый поселок прачек — все они были из предместья, именуемого Барка Бертул-ла.

Туда-то я и отправился как-то вечером. Миновав мост через речку, я вдруг оказался посреди полей. Правда, вдоль проезжей дороги еще тянулись дома, но за ними все было зелено. Никакого намека на прачечную. На берегах каналов, перегороженных запрудами, виднелись тенистые, увитые виноградом навесы сельских кабачков. Я зашагал дальше, все время озираясь по сторонам, заглядывая за решетчатые заборчики, просматривая каждую тропинку.

Постепенно дома кончились, и за дорогой побежали ряды тополей, отмечающие берега прорытых на каждом шагу каналов. А вдалеке, за тополями, я увидел луговину, словно плывущую под белыми парусами, — там висело бельё.

Я пошел по тропинке. Во всю ширину раскинувшихся по обе стороны полян на высоте человеческого роста были натянута веревки, плотно увешанные простынями и пододеяльниками всего города, еще сырыми и бесформенными, неотличимыми одинаковыми, в мелких морщинках, которые образовывались на материи от теплых лучей солнца. Вокруг, куда ни глянь, тянулись длинные белые коридоры белья. Некоторые поляны были голыми, но их тоже разлиновали параллельные линии веревок, и от этого они казались виноградниками, лишенными лоз.

Я бродил между этими свежестыранными полями, и вдруг взрыв смеха заставил меня обернуться. На берегу одного из каналов, у запруды, возвышался настил, и оттуда, высоко над моей головой, выглядывали раскрасневшиеся лица прачек — стройных девушек и толстых старух в платках; там раздавался смех, звенели голоса, пестрели разноцветные платья, мелькали закатанные выше локтей рукава, прыгали груди под кофточками у молодых, ходили взад и вперед округлые руки все в хлопьях мыльной пены, ловко подхватывались на согнутые локти скрученные жгуты отжатого белья. Тут и там мужчины в соломенных шляпах выгружали из корзин бельё, складывая его отдельными аккуратными кучами, или наравне с прачками орудовали большими квадратными кусками марсельского мыла и били деревянными вальками.

Теперь я увидел все, что хотел. Сказать им мне было нечего, да и к чему соваться не в свое дело? Я пошел назад. По краю дороги торчали жиденькие пучки травы, и я старался ступать по ней, чтобы не запылить ботинок и держаться подальше от проезжавших грузовиков. Я провожал глазами ручейки проточной воды, которые мелькали между лугами, живыми изгородями и тополями, глядел на низкие строения с вывеской: «Паровая прачечная. Прачечный кооператив Барка Бертулла», на лужайки, по которым, словно во время сбора винограда, ходили женщины с корзинами и снимали с веревок высохшее бельё, на озаренную

солнцем деревенскую зелень, проглядывавшую между белыми рядами простынь, и на воду, что сбегала вниз, вздуваясь голубоватыми пузырями. Конечно, это не бог весть что, но мне, не искавшему ничего, кроме образов, которые запечатлелись бы у меня в голове, довольно было и этого.



ПУТЬ В ШТАБ

Лес был редкий, почти начисто выжженный пожарами. Он серел обгоревшими пнями и казался красноватым от сухих игл пиний. Двое — вооруженный и безоружный — шли по лесу, петляя между деревьями и спускаясь вниз.

— В штаб,— говорил вооруженный.— Пошли в штаб. Полчаса ходу, самое большее.

— А потом?

— Что — потом?

— Я говорю, потом меня отпустят?— спросил безоружный.

Он внимательно выслушивал ответ, не пропуская ни единого слова, словно пытаясь уловить фальшивую ноту.

— Конечно, отпустят,— сказал вооруженный.— Я отдам документы в батальон, они там сверят их со списком, и вы сможете вернуться домой.

Безоружный покачал головой. Он был мрачно настроен.

— Эх, долго это протянется, я знаю...— Он сказал так, возможно, лишь для того, чтобы еще раз услышать: «Вас тут же отпустят, уверяю».

— Я рассчитывал,— добавил он.— я рассчитывал к вечеру быть уже дома. Ладно. Потерплю.

— Говорят вам, поспеете,— сказал вооруженный.— Они там только составят протокол и отпустят вас. Надо же, чтобы они вычеркнули ваше имя из списка шпионов.

— У вас есть список шпионов?

— Еще бы. Мы знаем всех, кто шпионит. И берем их одного за другим.

— И мое имя внесено в список?

— Да. В список внесено и ваше имя. Теперь надо его вычеркнуть, а то вас могут взять еще раз.

— Тогда нужно, чтобы я пошел туда и объяснил им все как есть.

— Затем мы и идем. Надо, чтобы они посмотрели, проверили.

— Но ведь теперь,— сказал безоружный,— теперь-то вы знаете, что я из ваших, что я вовсе не шпионил.

— Конечно. Теперь мы знаем. Теперь вы можете быть спокойны.

Безоружный кивнул и огляделся вокруг. Они вышли на большую поляну, кое-где поросшую опаленными пожаром пиниями и чахлыми лиственницами, заваленную опавшими ветками. Они теряли, снова находили и опять теряли тропинку. Шли они словно наугад. Безоружный не узнавал этих мест. Вечер спускался легкими волнами тумана—внизу лес уже совсем потонул во мраке.

То, что они сошли с тропинки, обеспокоило его. Видя, что другой бредет наудачу, он попытался свернуть вправо, туда, где, как ему казалось, проходила тропинка. Другой, как бы случайно, тоже свернул вправо. Он шел за ним следом, беря то влево, то вправо, в зависимости от того, где легче было идти.

Безоружный решился спросить:

— А где штаб?

— Мы идем туда,— ответил вооруженный.— Придем— увидите.

— А в каких местах, в каком районе, ну хотя бы приблизительно?

— Как вам сказать, в каком месте, в каком районе,— ответил вооруженный.— Штаб там, где штаб. Понимаете?

Да, он понимал; он знал, что к чему, этот безоружный. И все-таки спросил:

— А нет дороги, которая ведет туда?

Другой ответил:

— Дороги? Видите ли, дорога всегда куда-нибудь да ведет. Но в штаб не ходят по дорогам. Понимаете?

Безоружный понимал; он знал, что к чему; он был пройдоха. Он спросил:

— Вы часто ходите в штаб?

— Часто,— сказал вооруженный.— Я хожу туда часто.

У него было печальное лицо и потухший взгляд. Он плохо знал эти места. По временам казалось, что он заблудился, но он все-таки шел, словно это его совсем не трогало.

— Вас послали проводить меня, потому что вы в наряде?— спросил безоружный, внимательно оглядев его.

— Это моя работа—проводить вас,—ответил он.—Я провожаю людей в штаб.

— Вы связной?

— Да,— ответил вооруженный.— Я связной.

«Странный связной,— подумал безоружный.— Связной, который не знает, куда идти. Впрочем,— решил безоружный,— он не хочет идти по дороге, чтобы я не узнал, где штаб. Он не доверяет мне». Это дурной знак—то, что ему все еще не доверяют. Безоружный упрямо думал об этом. Но этот дурной знак вселял уверенность в том, что его действительно ведут в штаб и что его отпустят. Гораздо худшее сулил лес, который делался все гуще и из которого не было видно выхода. Гораздо страшнее были молчание и печаль вооруженного человека.

— Секретаря тоже вы провожали в штаб? И братьев мельника? И учительницу?— Он выпалил это одним духом, не задумываясь. Это был самый страшный вопрос, ответ на который должен был решить для него все: муниципальный секретарь, братья мельника, учительница—все это были те, кого увели и кто больше не вернулись; никто о них так ничего и не узнал.

— Секретарь был фашист,— сказал вооруженный,— братья мельника служили в милиции, а учительница—во вспомогательных войсках.

— Я просто хотел узнать о них, ведь они не вернулись.

— Ладно,— оборвал его вооруженный.— Они были, кем были. А вы тот, кто вы есть. И нечего тут сравнивать.

— Конечно,— согласился безоружный.— Нечего сравнивать. Я спросил о них просто так, из любопытства.

Он почувствовал в себе уверенность, этот безоружный. Он самый большой пройдоха во всем селенье—его не проведешь. Другие—секретарь и учительница—не вернулись, но он-то, конечно, вернется. «Я великий камарад,— скажет он сержанту.— Партизан капут, меня нет. Я капут всех партизан». Может быть, сержант посмеется.

Однако обгоревшим деревьям не было конца, и в мыслях безоружного человека возникали неясность и неизвестность, словно прогалины посреди леса.

— Я не знаю ничего толком о секретаре и об остальных. Я связной.

— Но в штабе-то о них знают,— упорствовал безоружный.

— Конечно. Вот вы и спросите о них в штабе. Там о них знают.

Настал вечер. Идти приходилось осторожно, выбирая, куда поставить ногу, чтобы не споткнуться о притаившиеся в густом кустарнике камни. И надо было тщательно следить за тем, как в смутной тревоге одна за другой возникают мысли, чтобы не оказаться вдруг наедине со своим страхом.

Если бы они считали его шпионом, то, конечно, не оставили бы вот так в лесу с этим человеком, который, по-видимому, не обращает на него никакого внимания. Он бы мог удрать от него когда угодно. А если он вдруг попытается бежать, что сделает тот, другой?

Спускаясь между деревьями, безоружный стал мало-помалу увеличивать расстояние между собой и тем, другим. Он сворачивал вправо, когда тот сворачивал влево. Вооруженный по-прежнему, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. Так они шли по редкому лесу, один поодаль от другого. Иногда они даже теряли друг друга из виду, скрываясь за пнями и зарослями кустарника. Но потом безоружный вдруг снова видел над собой вооруженного. Казалось, тот шел сам по себе, и все же всякий раз оказывался возле него.

До сих пор безоружный думал: «Если только они отпустят меня хотя бы на минуту, им меня уж не поймать». Теперь он стал думать: «Если мне удастся удрать от него, то...» И мысленно он уже видел немцев, немцев, построенных в колонны, немцев в грузовиках и в танках. Для других картина эта означала смерть, но для него она значила спасенье, для него — пройдохи, человека, которого не проведешь.

Они оставили позади себя поляны и перелески и вошли в густой зеленый лес, пощаженный пожарами. Земля в нем была покрыта сухими иглами пиний. Вооруженный остался где-то позади, вероятно, он пошел другой дорогой. Тогда безоружный осторожно, затаив дыхание, ускорил шаг; он углублялся все дальше в чащу, пробираясь вниз по обрывам среди пиний. Он убежал и уже сам понимал, что убегает. На него напал страх. Он заметил, что ушел слишком далеко и что тот, другой, несомненно, уже догадался, что он решил убежать, и, конечно, теперь преследует его. Осталось только бежать дальше. Ему не поздоровится, если он опять попадет к нему в лапы — теперь, после того как он пытался удрать.

Он обернулся на шорох позади себя: в нескольких метрах от него был вооруженный, который шел своей спокойной, ленивой походкой. В руке он держал автомат. Он сказал:

— Вон там должна быть кратчайшая дорога, — и сделал ему знак идти вперед.

Снова все стало как прежде. Снова неясность и неизвестность: то ли все хорошо, то ли все плохо; лес, вместо того чтобы кончиться, стал еще гуще; этот человек, не сказав ни слова, чуть не дал ему убежать.

Он спросил:

— А что, этот лес никогда не кончится?

— Только обойдем вон тот холм — и мы пришли, — сказал другой. — Не бойтесь, к ночи вы будете дома.

— А меня правда отпустят домой? Меня не оставят, скажем, как заложника?

— Мы не немцы, чтобы брать заложников. Самое большее, у вас могут взять в залог башмаки, ведь все мы полубосые.

Безоружный принялся ворчать, словно больше всего на свете боялся именно за свои башмаки. Но в глубине души он обрадовался. Каждая подробность, касающаяся его дальнейшей судьбы, —

хорошая или плохая—придавала ему немного уверенности.

— Послушайте,— сказал вооруженный,— раз уж вы так беспокоитесь, сделаем вот что: наденьте мои башмаки, пока мы не придем в штаб, они у меня совсем износились, и никто их у вас не возьмет. Я надену ваши, а когда буду провожать вас обратно, верну их вам.

Теперь все понял бы даже младенец. Вооруженный хотел заполучить его башмаки. Ладно, он, безоружный, отдаст ему башмаки, он знает, что к чему, и рад, что может отделаться так дешево. «Я великий камарад,— скажет он сержанту.— Я отдал им башмаки, и они меня отпустили». Может быть, сержант подарит ему пару высоких сапог, какие носят немецкие солдаты.

— Так вы не задерживаете у себя никого? Не берете ни заложников, ни пленных? Вы не оставили у себя даже секретаря муниципалитета и других?

— Секретарь приказал схватить трех наших товарищей, братья мельника участвовали в облавах, учительница спала с офицерами из десятой дивизии.

Безоружный снова остановился. Он сказал:

— Но ведь вы не считаете, что я тоже шпион? Вы привели меня сюда не для того, чтобы убить?— Он оскалил зубы, пытаясь улыбнуться.

— Если бы мы считали, что вы шпион,— сказал вооруженный,— я просто сделал бы так.— Он снял предохранитель.— И вот так.— Он прицелился ему в спину и сделал вид, будто стреляет.

«Ну вот,— подумал шпион,— он не выстрелил».

Но тот, другой, не опустил автомат. Вместо этого он нажал на гашетку.

«Очередь, он выпустил очередь»,— успел подумать шпион. А когда на него обрушились нескончаемые удары огненного кулака, у него еще промелькнула мысль: «Он думает, что убил меня, а я жив».

Он упал лицом на землю, и последнее, что увидел, были обутые в его башмаки ноги, перешагнувшие через него.

Он остался лежать в чаще леса. Рот его был наполнен иглами. Через два часа его уже всего облепили муравьи.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Хлодовский. Об Итало Кальвино, его предках, истории и о наших современниках</i>	5
* Тропа паучьих гнезд. <i>Перевод Р. Хлодовского</i>	18
Несуществующий рыцарь. <i>Перевод С. Ошерова</i>	128
Раздвоенный виконт. <i>Перевод М. Архангельской</i>	210
* Барон на дереве. <i>Перевод Л. Вершинина</i>	268
* Облако смога. <i>Перевод А. Короткова</i>	440
* Путь в штаб. <i>Перевод Р. Хлодовского</i>	488

ИТАЛО КАЛЬВИНО

ТРОПА ПАУЧЬИХ ГНЕЗД

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ

РАЗДВОЕННЫЙ ВИКОНТ

БАРОН НА ДЕРЕВЕ

ОБЛАКО СМОГА

ПУТЬ В ШТАБ

Составитель

Руф Игоревич Хлодовский

ИБ № 818

Редактор И. М. Заславская
Художник Т. В. Толстая
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор И. К. Дерва
Корректор В. Ф. Пестова

Сдано в набор 1.9.83. Подписано в печать 16.5.84. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 2. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 28,83. Усл. кр.-отт. 57,66. Уч.-изд. л. 34,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2279. Цена 3 р. 80 к. Изд. № 35269

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли Москва, 11985⁹, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли 113054, Москва, Валуевая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

(до 1982 г.— «Прогресс»)

СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ»

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

- | | |
|--|---|
| К. Х. СЕЛЫ (<i>Испания</i>) | А. МАРШАЛЛА (<i>Австралия</i>) |
| М. ВАРГАСА ЛЬОСЫ (<i>Перу</i>) | Х. ЛАКСНЕССА (<i>Исландия</i>) |
| Ф. МОРИАКА (<i>Франция</i>) | М. А. АСТУРИАСА (<i>Гватемала</i>) |
| Я. КАВАБАТЫ (<i>Япония</i>) | Р. ВАЙЯНА (<i>Франция</i>) |
| С. ДЫГАТА (<i>Польша</i>) | А. МОРАВИА (<i>Италия</i>) |
| М. ЛАУРИ (<i>Канада</i>) | Р. РАЙТА (<i>США</i>) |
| В. КЁППЕНА (<i>ФРГ</i>) | К. ОЭ (<i>Япония</i>) |
| В. ЭЛСХОТА (<i>Бельгия</i>) | Д. ИЙЕША (<i>Венгрия</i>) |
| К. ЧАНДАРА (<i>Индия</i>) | Й. РАДИЧКОВА (<i>Болгария</i>) |
| С. ВЕСТДЕЙКА (<i>Голландия</i>) | Ч. АЧЕБЕ (<i>Нигерия</i>) |
| У. ФОЛКНЕРА (<i>США</i>) | Ю. БОРГЕНА (<i>Норвегия</i>) |
| Ч. ПАВЕЗЕ (<i>Италия</i>) | Г. ГАРСИА МАРКЕСА (<i>Колумбия</i>) |
| Э. КОША (<i>Югославия</i>) | ДЖ. КЭРИ (<i>Англия</i>) |
| В. ХАЙНЕСЕНА (<i>Дания</i>) | М. ЛАЛИЧА (<i>Югославия</i>) |
| И. ВО (<i>Англия</i>) | П. ЛАГЕРКВИСТА (<i>Швеция</i>) |
| К. ФУЭНТЕСА (<i>Мексика</i>) | ЛАО ШЭ (<i>Китай</i>) |
| А. ЗЕГЕРС (<i>ГДР</i>) | Э. СТАНЕВА (<i>Болгария</i>) |
| Р. К. НАРАЙЯНА (<i>Индия</i>) | Х. ФОН ДОДЕРЕРА (<i>Австрия</i>) |
| М. ДЕЛИБЕСА (<i>Испания</i>) | М. ОТЕРО СИЛЬВЫ (<i>Венесуэла</i>) |
| О. КЕМАЛЯ (<i>Турция</i>) | Э. БАЗЕНА (<i>Франция</i>) |
| М. ФРИША (<i>Швейцария</i>) | Л. НЕМЕТА (<i>Венгрия</i>) |
| ТО ХОАЯ (<i>СРВ</i>) | Г. НОССАКА (<i>ФРГ</i>) |
| Х. КОРТАСАРА (<i>Аргентина</i>) | Т. ПАРНИЦКОГО (<i>Польша</i>) |
| Т. ФАЙЛДЕНА (<i>США</i>) | К. АБЭ (<i>Япония</i>) |
| НГУТИ ВА ТХИОНГО (<i>Кения</i>) | А. АЛВЕСА РЕДОЛА (<i>Португалия</i>) |
| П. УАЙТА (<i>Австралия</i>) | Т. ВЕСОСА (<i>Норвегия</i>) |